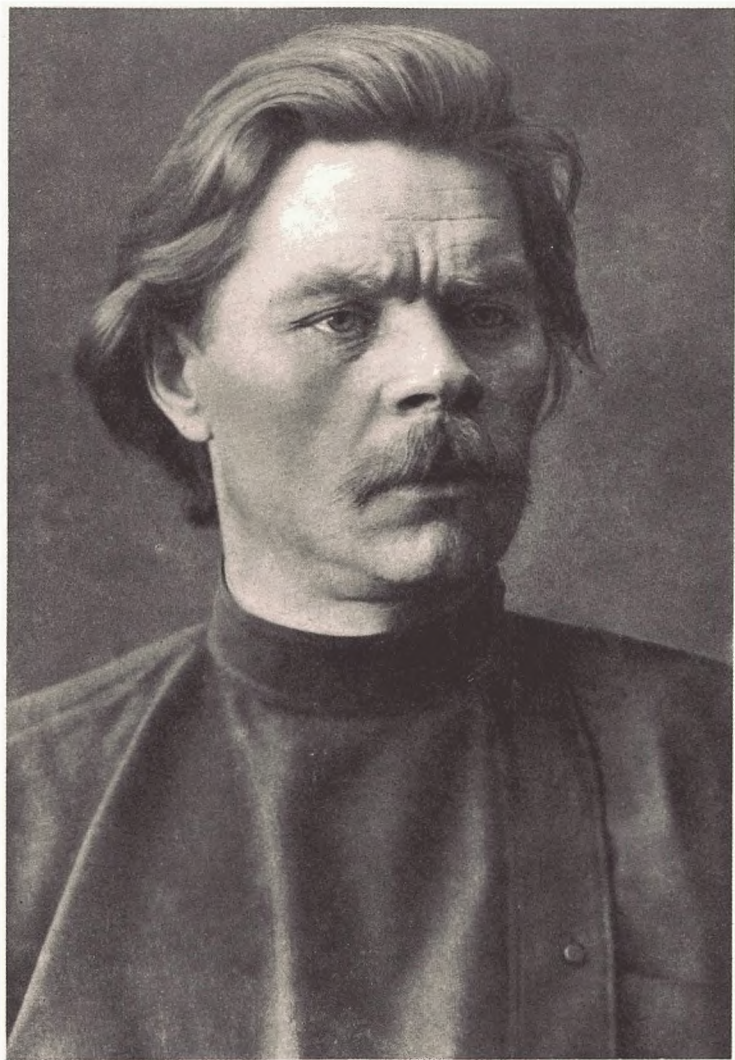


М. ГОРЬКИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

5



А. М. ГОРЬКИЙ
Нижний Новгород, 1900—1901 г.
Фото М. Дмитриева.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО



М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

«ТРОЕ»
РАССКАЗЫ, НАБРОСКИ

1899—1901

МОСКВА • 1970

7-3-1

Подписное

I

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ И ОДНА

ПОЭМА

Нас было двадцать шесть человек — двадцать шесть живых машин, запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую пред ними и выложенную кирпичом, зеленым от сырости; рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин забил окна железом для того, чтоб мы не могли дать кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей, которые, живя без работы, голодали,— наш хозяин называл нас жуликами и давал нам на обед вместо мяса — тухлую требушину...

Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени... Мы вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и — тупые, равнодушные — в шесть уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день с утра до десяти часов вечера одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтоб не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой. И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипящая вода в котле, где крендели варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала о под печи, сбрасывая скользкие варевые куски теста на горячий кирпич. С утра до вечера в одной стороне печи горели дрова и красный отблеск пламени трепетал на стене мастерской, как будто безмолвно смеялся над нами. Огромная печь была похожа на уродливую голову сказочного чудовища,— она как бы вы-

сунулась из-под пола, открыла широкую пасть, полную яркого огня, дышала на нас жаром и смотрела на бесконечную работу нашу двумя черными впадинами отдушин над челом. Эти две глубокие впадины были как глаза — безжалостные и бесстрастные очи чудовища: они смотрели всегда одинаково темным взглядом, как будто устав смотреть на рабов, и, не ожидая от них ничего человеческого, презирали их холодным презрением мудрости.

Изо дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими ногами со двора, в густой пахучей духоте мы рассучивали тесто и делали крендели, смачивая их нашим потом, и мы ненавидели нашу работу острой ненавистью, мы никогда не ели того, что выходило из-под наших рук, предпочитая кренделям черный хлеб. Сидя за длинным столом друг против друга, — девять против девяти, — мы в продолжение длинных часов механически двигали руками и пальцами и так привыкли к своей работе, что никогда уже и не следили за движениями своими. И мы до того присмотрелись друг к другу, что каждый из нас знал все морщины на лицах товарищей. Нам не о чем было говорить, мы к этому привыкли и всё время молчали, если не ругались, — ибо всегда есть за что обругать человека, а особенно товарища. Но и ругались мы редко — в чем может быть виновен человек, если он полумертв, если он — как истукан, если все чувства его подавлены тяжестью труда? Но молчание страшно и мучительно лишь для тех, которые всё уже сказали и нечего им больше говорить; для людей же, которые не начинали своих речей, — для них молчанье просто и легко... Иногда мы пели, и песня наша начиналась так: среди работы вдруг кто-нибудь вздыхал тяжелым вздохом усталой лошади и запевал тихонько одну из тех протяжных песен, жалобно-ласковый мотив которых всегда облегчает тяжесть на душе поющего. Поет один из нас, а мы сначала молча слушаем его одинокую песню, и она гаснет и глохнет под тяжелым потолком подвала, как маленький огонь костра в степи сырой осенней ночью, когда серое небо висит над землей, как свинцовая крыша. Потом к певцу пристаёт другой, и — вот уже два голоса тихо и тоск-

ливо плавают в духоте нашей тесной ямы. И вдруг сразу несколько голосов подхватят песню,— она вскипает, как волна, становится сильнее, громче и точно раздвигает сырые, тяжелые стены нашей каменной тюрьмы...

Поют все двадцать шесть; громкие, давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую; песне тесно в ней; она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет сердце тихой щекочущей болью, бередит в нем старые раны и будит тоску... Певцы глубоко и тяжело вздыхают; иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну. Иной, тоскливо крикнув: «эх!» — поет, закрыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем,— широкой дорогой, и он видит себя идущим по ней...

Пламя в печи всё трепещет, всё шаркает по кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на стене всё так же дрожит, безмолвно смеясь... А мы выпеваем чужими словами свое тупое горе, тяжелую тоску живых людей, лишенных солнца, тоску рабов. Так-то жили мы, двадцать шесть, в подвале большого каменного дома, и нам было до того тяжело жить, точно все три этажа этого дома были построены прямо на плечах наших...

Но, кроме песен, у нас было еще нечто хорошее, нечто любимое нами и, может быть, заменявшее нам солнце. Во втором этаже нашего дома помещалась золотопшвейня, и в ней, среди многих девушек-мастериц, жила шестнадцатилетняя горничная Таня. Каждое утро к стеклу окошечка, прорезанного в двери из сеней к нам в мастерскую, прислонялось маленькое розовое личико с голубыми веселыми глазами и звонкий ласковый голос кричал нам:

— Арестантики! дайте кренделечков!

Мы все оборачивались на этот ясный звук и радостно, добродушно смотрели на чистое девичье лицо, славно улыбавшееся нам. Нам было приятно видеть приплюснутый к стеклу нос и мелкие белые зубы, блестящие из-под розовых губ, открытых улыбкой. Мы бросались

открыть ей дверь, толкая друг друга, и — вот она — веселая такая, милая — входит к нам, подставляя свой передник, стоит пред нами, склонив немного набок свою головку, стоит и всё улыбается. Длинная и толстая коса каштановых волос, спускаясь через плечо, лежит на груди ее. Мы, грязные, темные, уродливые люди, смотрим на нее снизу вверх, — порог двери выше пола на четыре ступеньки, — мы смотрим на нее, подняв головы кверху, и поздравляем ее с добрым утром, говорим ей какие-то особые слова, — они находятся у нас только для нее. У нас в разговоре с ней и голоса мягче и шутки легче. У нас для нее — всё особое. Пекарь вынимает из печи лопату кренделей самых поджаристых и румяных и ловко сбрасывает их в передник Тани.

— Смотри, хозяину не попадись! — предупреждаем мы ее. Она плутовато смеется, весело кричит нам:

— Прощайте, арестантики! — и исчезает быстро, как мышонок.

Только... Но долго после ее ухода мы приятно говорим о ней друг с другом — всё то же самое говорим, что говорили вчера и раньше, потому что и она, и мы, и всё вокруг нас такое же, каким оно было и вчера и раньше... Это очень тяжело и мучительно, когда человек живет, а вокруг него ничто не изменяется, и если это не убьет насмерть души его, то чем дольше он живет, тем мучительнее ему неподвижность окружающего... Мы всегда говорили о женщинах так, что порой нам самим противно было слушать наши грубо бесстыдные речи, и это понятно, ибо те женщины, которых мы знали, может быть, и не стоили иных речей. Но о Тани мы никогда не говорили худо; никогда и никто из нас не позволял себе не только дотронуться рукою до нее, но даже вольной шутки не слыхала она от нас никогда. Быть может, это потому так было, что она не оставалась подолгу с нами: мелькнет у нас в глазах, как звезда, падающая с неба, и исчезнет, а может быть — потому, что она была маленькая и очень красивая, а всё красивое возбуждает уважение к себе даже и у грубых людей. И еще — хотя каторжный наш труд и делал нас тупыми волами, мы все-таки оставались людьми и, как все люди, не могли жить без того, чтобы не поклоняться

чему бы то ни было. Лучше ее — никого не было у нас, и никто, кроме нее, не обращал внимания на нас, живших в подвале, — никто, хотя в доме обитали десятки людей. И наконец — наверно, это главное — все мы считали ее чем-то своим, чем-то таким, что существует как бы только благодаря нашим кренделям: мы вменили себе в обязанность давать ей горячие крендели, и это стало для нас ежедневной жертвой идолу, это стало почти священным обрядом и с каждым днем всё более прикрепляло нас к ней. Кроме кренделей, мы давали Тане много советов — теплее одеваться, не бегать быстро по лестнице, не носить тяжелых вязанок дров. Она слушала наши советы с улыбкой, отвечала на них смехом и никогда не слушалась нас, но мы не обижались на это: нам нужно было только показать, что мы заботимся о ней.

Часто она обращалась к нам с разными просьбами, просила, например, открыть тяжелую дверь в погреб, наколоть дров, — мы с радостью и даже с гордостью какой-то делали ей это и всё другое, чего она хотела.

Но когда один из нас попросил ее починить ему его единственную рубаху, она, презрительно фыркнув, сказала:

— Вот еще! Стану я, как же!..

Мы очень посмеялись над чудачком и — никогда ни о чем больше не просили ее. Мы ее любили, — этим всё сказано. Человек всегда хочет возложить свою любовь на кого-нибудь, хотя иногда он ею давит, иногда пачкает, он может отравить жизнь ближнего своей любовью, потому что, любя, не уважает любимого. Мы должны были любить Таню, ибо больше было некого нам любить.

Порой кто-нибудь из нас вдруг почему-то начинал рассуждать так:

— И что это мы балуем девчонку? Что в ней такого? а? Очень мы с ней что-то возимся!

Человека, который решался говорить такие речи, мы скоро и грубо укрощали — нам нужно было что-нибудь любить: мы нашли себе это и любили, а то, что любим мы, двадцать шесть, должно быть неизбежно для каждого, как наша святыня, и всякий, кто идет

против нас в этом, — враг наш. Мы любим, может быть, и не то, что действительно хорошо, но ведь нас — двадцать шесть, и поэтому мы всегда хотим дорогое нам — видеть священным для других.

Любовь наша не менее тяжела, чем ненависть... и, может быть, именно поэтому некоторые гордецы утверждают, что наша ненависть более лестна, чем любовь... Но почему же они не бегут от нас, если это так?

Кроме крендельной, у нашего хозяина была еще и булочная; она помещалась в том же доме, отделенная от нашей ямы только стеной; но булочники — их было четверо — держались в стороне от нас, считая свою работу чище нашей, и поэтому, считая себя лучше нас, они не ходили к нам в мастерскую, пренебрежительно подсмеивались над нами, когда встречали нас на дворе; мы тоже не ходили к ним: нам запрещал это хозяин из боязни, что мы станем красть сдобные булки. Мы не любили булочников, потому что завидовали им: их работа была легче нашей, они получали больше нас, их кормили лучше, у них была просторная, светлая мастерская, и все они были такие чистые, здоровые — противные нам. Мы же все — какие-то желтые и серые; трое из нас болели сифилисом, некоторые — чесоткой, один был совершенно искривлен ревматизмом. Они по праздникам и в свободное от работы время одевались в пиджаки и сапоги со скрипом, двое из них имели гармоники, и все они ходили гулять в городской сад, — мы же носили какие-то грязные лохмотья и опорки или лапти на ногах, нас не пускала в городской сад полиция — могли ли мы любить булочников?

И вот однажды мы узнали, что у них зашил пекарь, хозяин рассчитал его и уже нанял другого и что этот другой — солдат, ходит в атласной жилетке и при часах с золотой цепочкой. Нам было любопытно посмотреть на такого щеголя, и в надежде увидеть его мы, один за другим, то и дело стали выбегать на двор.

Но он сам явился в нашу мастерскую. Пинком ноги ударив в дверь, он отворил ее и, оставив открытой, стал на пороге, улыбаясь, и сказал нам:

— Бог на помощь! Здорово, ребята!

Морозный воздух, врываясь в дверь густым дымчатым облаком, крутился у его ног, он же стоял на пороге, смотрел на нас сверху вниз, и из-под его белокурых, ловко закрученных усов блестели крупные желтые зубы. Жилетка на нем была действительно какая-то особенная — синяя, расшитая цветами, она вся как-то сияла, а пуговицы на ней были из каких-то красных камешков. И цепочка была...

Красив он был, этот солдат, высокий такой, здоровый, с румяными щеками, и большие светлые глаза его смотрели хорошо — ласково и ясно. На голове у него был надет белый туго накрахмаленный колпак, а из-под чистого, без единого пятнышка, передника выглядывали острые носки модных, ярко вычищенных сапог.

Наш пекарь почтительно попросил его затворить дверь; он не торопясь сделал это и начал расспрашивать нас о хозяине. Мы наперебой друг перед другом сказали ему, что хозяин наш выжига, жулик, злодей и мучитель, — всё, что можно и нужно было сказать о хозяине, но нельзя написать здесь. Солдат слушал, шевелил усами и рассматривал нас мягким, светлым взглядом.

— А у вас тут девчонок много... — вдруг сказал он.

Некоторые из нас почтительно засмеялись, иные скорчили сладкие рожи, кто-то пояснил солдату, что тут девчонок — девять штук.

— Пользуетесь? — спросил солдат, подмигивая глазом.

Опять мы засмеялись, не очень громко и сконфуженным смехом... Многим бы из нас хотелось показаться солдату такими же удалыми молодцами, как и он, но никто не умел сделать этого, ни один не мог. Кто-то сознался в этом, тихо сказав:

— Где уж нам...

— Н-да, вам это трудно! — уверенно молвил солдат, пристально рассматривая нас. — Вы чего-то... не того... Выдержки у вас нет... порядочного образа... вида, значит! А женщина — она любит вид в человеке! Ей чтобы корпус был настоящий... чтобы всё — аккуратно! И притом она уважает силу... Рука чтобы — во!

Солдат выдернул из кармана правую руку с засу-

ченным рукавом рубахи, по локоть голую, и показал ее нам... Рука была белая, сильная, поросшая блестящей, золотистой шерстью.

— Нога, грудь — во всем нужна твердость... И опять же — чтобы одет был человек по форме... как того требует красота вещей... Меня вот — бабы любят. Я их не зову, не маню, — сами по пяти сразу на шею лезут...

Он присел на мешок с мукой и долго рассказывал о том, как любят его бабы и как он храбро обращается с ними. Потом он ушел, и, когда дверь, взвизгнув, затворилась за ним, мы долго молчали, думая о нем и о его рассказах. А потом как-то вдруг все заговорили, и сразу выяснилось, что он всем нам понравился. Такой простой и славный — пришел, посидел, поговорил. К нам никто не ходил, никто не разговаривал с нами так, дружески... И мы всё говорили о нем и о будущих его успехах у золотошвеек, которые, встречаясь с нами на дворе, или, обидно поджимая губы, обходили нас стороной, или шли прямо на нас, как будто нас и не было на их дороге. А мы всегда только любовались ими и на дворе, и когда они проходили мимо наших окон — зимой одетые в какие-то особые шапочки и шубки, а летом — в шляпках с цветами и с разноцветными зонтиками в руках. Зато между собою мы говорили об этих девушках так, что если б они слышали нас, то все взбесились бы от стыда и обиды.

— Однако как бы он и Танюшку... не испортил! — вдруг озабоченно сказал пекарь.

Мы все замолчали, пораженные этими словами. Мы как-то забыли о Тане: солдат как бы загородил ее от нас своей крупной красивой фигурой. Потом начался шумный спор: одни говорили, что Таня не допустит себя до этого, другие утверждали, что ей против солдата не устоять, третьи, наконец, предлагали в случае, если солдат станет привязываться к Тане, — переломать ему ребра. И наконец все решили наблюдать за солдатом и Таней, предупредить девочку, чтобы она опасалась его... Это прекратило споры.

Прошло с месяц времени; солдат пек булки, гулял с золотошвейками, часто заходил к нам в мастерскую,

но о победах над девицами не рассказывал, а всё только усы крутил да смачно облизывался.

Таня каждое утро приходила к нам за «кренделечками» и, как всегда, была веселая, мглая, ласковая с нами. Мы пробовали заговаривать с нею о солдате, — она называла его «шучеглазым теленком» и другими смешными прозвищами, и это успокоило нас. Мы гордились нашей девочкой, видя, как золотошвейки льнут к солдату; отношение Тани к нему как-то поднимало всех нас, и мы, как бы руководствуясь ее отношением, сами начинали относиться к солдату пренебрежительно. А ее еще больше полюбили, еще более радостно и добродушно встречали ее по утрам.

Но однажды солдат пришел к нам немного выпивши, уселся и начал смеяться, а когда мы спросили его: над чем это он смеется? — он объяснил:

— Две подрались из-за меня... Лидька с Грушкой... Ка-ак они себя изуродовали, а? Ха-ха! За волосы одна другую, да на пол ее в сених, да верхом на нее... ха-ха-ха! Рожи поцарапали... порвались... умора! И почему это бабы не могут честно биться? Почему они царапаются? а?

Он сидел на лавке, здоровый, чистый такой, радостный, сидел и всё хохотал. Мы молчали. Нам он почему-то был неприятен в этот раз.

— Н-нет, как мне везет на бабу, а? Умора! Мигнешь, и — готова! Ч-чёрт!

Его белые руки, покрытые блестящей шерстью, поднялись и вновь упали на колени, громко шлепнув по ним. И он смотрел на нас таким приятно удивленным взглядом, точно и сам искренно недоумевал, почему он так счастлив в делах с женщинами. Его толстая, румяная рожа самодовольно и счастливо лоснилась, и он всё смачно облизывал губы.

Наш пекарь сильно и сердито шаркнул лопатой о шесток печи и вдруг насмешливо сказал:

— Не великой силой валят елочки, а ты сосну повали...

— То есть — это ты мне говоришь? — спросил солдат.

— А тебе...

— Что такое?

— Ничего... проехало!

— Нет, ты погоди! В чем дело? Какая сосна?

Наш пекарь не отвечал, быстро работая лопатой в печи: сбросит в нее сваренные крендели, подденет готовые и с шумом швыряет на пол, к мальчишкам, называющим их на мочалки. Он как бы позабыл о солдате и разговоре с ним. Но солдат вдруг впал в какое-то беспокойство. Он поднялся на ноги и пошел к печи, рискуя наткнуться грудью на черенок лопаты, судорожно мелькавший в воздухе.

— Нет, ты скажи — кто такая? Ты меня обидел... Я? От меня не отобьется ни одна, не-ет! А ты мне говоришь такие обидные слова...

Он действительно казался искренно обиженным. Ему, должно быть, не за что было уважать себя, кроме как за свое умение совращать женщин; быть может, кроме этой способности, в нем не было ничего живого, и только она позволяла ему чувствовать себя живым человеком.

Есть же люди, для которых самым ценным и лучшим в жизни является какая-нибудь болезнь их души или тела. Они носятся с ней всё время жизни и лишь ею живы; страдая от нее, они питают себя ею, они на нее жалуются другим и этим обращают на себя внимание ближних. За это взимают с людей сочувствие себе, и, кроме этого, — у них нет ничего. Отнимите у них эту болезнь, вылечите их, и они будут несчастны, потому что лишатся единственного средства к жизни, — они станут пусты тогда. Иногда жизнь человека бывает до того бедна, что он невольно принужден ценить свой порок и им жить; и можно сказать, что часто люди бьются порочны от скуки.

Солдат обиделся, лез на нашего пекаря и выл:

— Нет, ты скажи — кто?

— Сказать? — вдруг повернулся к нему пекарь.

— Ну?

— Таню знаешь?

— Ну?

— Ну и вот! Попробуй...

— Я?

— Ты!

— Ее? Это мне — тьфу!

— Поглядим!

— Увидишь! Х-ха!

— Она тебя...

— Месяц сроку!

— Экий ты хвальбишка, солдат!

— Две недели! Я покажу! Кто такая? Танька! Тьфу!..

— Ну, пошел прочь... мешаешь!

— Две недели — и готово! Ах ты...

— Пошел, говорю!

Наш пекарь вдруг освирепел и замахнулся лопатой. Солдат удивленно попятился от него, посмотрел на нас, помолчал и, тихо, зловеще сказав: «Хорошо же!» — ушел от нас.

Во время спора мы все молчали, заинтересованные им. Но когда солдат ушел, среди нас поднялся оживленный, громкий говор и шум.

Кто-то крикнул пекарю:

— Не дело ты затеял, Павел!

— Работай знай! — свирепо ответил пекарь.

Мы чувствовали, что солдат задет за живое и что Тане грозит опасность. Мы чувствовали это, и в то же время всех нас охватило жгучее, приятное нам любопытство — что будет? Устоит ли Таня против солдата? И почти все уверенно кричали:

— Танька? Она устоит! Ее голыми руками не возьмешь!

Нам страшно хотелось испробовать крепость нашего божка; мы напряженно доказывали друг другу, что наш божок — крепкий божок и выйдет победителем из этого столкновения. Нам наконец стало казаться, что мы мало раззадорили солдата, что он забудет о споре и что нам нужно хорошенько разбередить его самолюбие. Мы с этого дня начали жить какой-то особенной, напряженно нервной жизнью, — так еще не жили мы. Мы целые дни спорили друг с другом, как-то поумнели все, стали больше и лучше говорить. Нам казалось, что мы играем в какую-то игру с чёртом и ставка с нашей стороны — Таня. И когда мы узнали от булочников, что солдат начал «приударять за нашей Танькой», нам сдела-

лось жутко хорошо и до того любопытно жить, что мы даже не заметили, как хозяин, пользуясь нашим возбуждением, набавил нам работы на четырнадцать пудов теста в сутки. Мы как будто даже и не уставали от работы. Имя Тани целый день не сходило у нас с языка. И каждое утро мы ждали ее с каким-то особенным нетерпением. Иногда нам представлялось, что она войдет к нам, — и уже это будет не та, прежняя Таня, а какая-то другая.

Мы, однако, ничего не говорили ей о происшедшем споре. Ни о чем не спрашивали ее и по-прежнему относились к ней любовно и хорошо. Но уже в это отношение вкралось что-то новое и чуждое прежним нашим чувствам к Тане — и это новое было острым любопытством, острым и холодным, как стальной нож...

— Братцы! Сегодня срок! — сказал однажды утром пекарь, становясь к работе.

Мы хорошо знали это и без его напоминания, но все-таки встрепнулись.

— Смотрите на нее... сейчас придет! — предложил пекарь.

Кто-то с сожалением воскликнул:

— Да ведь разве глазами что увидишь!

И снова между нами разгорелся живой, шумный спор. Сегодня мы узнаем наконец, насколько чист и недоступен для грязи тот сосуд, в который мы вложили наше лучшее. В это утро мы как-то сразу и впервые почувствовали, что действительно играем большую игру, что эта проба чистоты нашего божка может уничтожить его для нас. Мы все эти дни слышали, что солдат упорно и неотвязно преследует Таню, но почему-то никто из нас не спросил ее, как она относится к нему. А она продолжала аккуратно каждое утро являться к нам за крендельками и была всё такая же, как всегда.

И в этот день мы скоро услышали ее голос:

— Арестантики! Я пришла...

Мы поторопились впустить ее, и когда она вошла, то, против обыкновения, встретили ее молчалием. Глядя на нее во все глаза, мы не знали, о чем нам говорить с ней, о чем спросить ее. И стояли мы пред нею темной, молчаливой толпой. Она, видимо, удивилась непривыч-

ной для нее встрече,— и вдруг мы увидели, что она побледнела, забеспокоилась, как-то завозилась на месте и сдавленным голосом спросила:

— Что это вы... какие?

— А ты? — угрюмо бросил ей пекарь, не сводя с нее глаз.

— Что — я?

— Н-ничего...

— Ну, давайте скорее крендельки...

Никогда раньше она не торопила нас...

— Поспеешь! — сказал пекарь, не двигаясь и не отрывая глаз от ее лица.

Тогда она вдруг повернулась и исчезла в двери.

Пекарь взялся за лопату и спокойно молвил, отворачиваясь к печке:

— Значит — готово!.. Ай да солдат!.. Подлец!..

Мы, как стадо баранов, толкая друг друга, пошли к столу, молча уселись и вяло начали работать. Вскоре кто-то сказал:

— А может, еще...

— Ну-ну! Разговаривай! — закричал пекарь.

Мы все знали, что он человек умный, умнее нас. И окрик его мы поняли, как уверенность в победе солдата... Нам было грустно и беспокойно...

В 12 часов, во время обеда, пришел солдат. Он был, как всегда, чистый и щеголеватый и, как всегда, смотрел нам прямо в глаза. А нам неловко было смотреть на него.

— Ну-с, господа честные, хотите, я вам покажу солдатскую удаль? — сказал он, гордо усмехаясь. — Так вы выходите в сени и смотрите в щели... поняли?

Мы вышли и, навалившись друг на друга, прильнули к щелям в дощатой стене сеней, выходящей на двор. Мы недолго ждали... Скоро спешной походкой, с озабоченным лицом, по двору прошла Таня, перепрыгивая через лужи талого снега и грязи. Она скрылась за дверью в погреб. Потом, не торопясь и посвистывая, туда прошел солдат. Руки у него были засунуты в карманы, а усы шевелились...

Шел дождь, и мы видели, как его капли падали в лужи и лужи морщились под их ударами. День был сырой,

серый — очень скучный день. На крышах еще лежал снег, а на земле уже появились темные пятна грязи. И снег на крышах тоже был покрыт бурым, грязноватым налетом. Дождь шел медленно, звучал он уныло. Нам было холодно и неприятно ждать...

Первым вышел из погреба солдат; он пошел по двору медленно, шевеля усами, засунув руки в карманы, — такой же, как всегда.

Потом — вышла и Таня. Глаза у нее... глаза у нее сияли радостью и счастьем, а губы — улыбались. И шла она, как во сне, пошатываясь, неверными шагами...

Мы не могли перенести этого спокойно. Все сразу мы бросились к двери, выскочили на двор и засвистали, заорали на нее злобно, громко, дико.

Она вздрогнула, увидав нас, и стала, как вкопанная, в грязь под ее ногами. Мы окружили ее и злорадно, без удержу, ругали ее похабными словами, говорили ей бесстыдные вещи.

Мы делали это не громко, не торопясь, видя, что ей пекуда идти, что она окружена нами и мы можем издеваться над ней, сколько хотим. Не знаю почему, но мы не били ее. Она стояла среди нас и вертела головой то туда, то сюда, слупая наши оскорбления. А мы — всё больше, всё сильнее бросали в нее грязью и ядом наших слов.

Краска сошла с ее лица. Ее голубые глаза, за минуту пред этим счастливые, широко раскрылись, грудь дышала тяжело, и губы вздрагивали.

А мы, окружив ее, мстили ей, ибо она ограбила нас. Она принадлежала нам, мы на нее расходовали наше лучшее, и хотя это лучшее — крохи нищих, но нас — двадцать шесть, она — одна, и поэтому нет ей муки от нас, достойной вины ее! Как мы ее оскорбляли!.. Она всё молчала, всё смотрела на нас дикими глазами, и всю ее била дрожь.

Мы смеялись, ревели, рычали... К нам откуда-то подбегали еще люди... Кто-то из нас дернул Таню за рукав кофты...

Вдруг глаза ее сверкнули; она, не торопясь, подняла руки к голове и, поправляя волосы, громко, но спокойно сказала прямо в лицо нам:

— Ах вы, арестанты несчастные!..

И она пошла прямо на нас, так просто пошла, как будто нас и не было перед ней, точно мы не преграждали ей дороги. Поэтому никого из нас действительно не оказалось на ее пути.

А выйдя из нашего круга, она, не оборачиваясь к нам, так же громко, гордо и презрительно еще сказала:

— Ах вы, сво-олочь... га-ады...

И — ушла, прямая, красивая, гордая.

Мы же остались среди двора, в грязи, под дождем и серым небом без солнца...

Потом и мы молча ушли в свою сырую каменную яму. Как раньше, солнце никогда не заглядывало к нам в окна, и Таня не приходила больше никогда!..

TPOE

Среди лесов Керженца рассеяно много одиноких могил; в них тлеют кости старцев, людей древнего благочестия, об одном из таких старцев — Антипе — в деревнях, на Керженце, рассказывают:

Суровый характером, богатый мужик Антипа Лунев, дожив во грехе мирском до пятидесяти лет, задумался крепко, затосковал и, бросив семью, ушел в леса. Там, на краю крутого оврага, он срубил себе келью и жил в ней восемь лет кряду, зиму и лето, не допуская к себе никого: ни знакомых, ни родных своих. Порою люди, заблудясь в лесу, случайно выходили к его келье и видели Антипу: он молился, стоя на коленях у порога ее. Был он страшный: иссох в посте и молитве и весь, как зверь, оброс волосами. Завидев человека, он поднимался на ноги и молча кланялся ему до земли. Если его спрашивали, как выйти из леса, он без слов указывал рукою дорогу, еще кланялся человеку до земли и, уходя в свою келью, запирался в ней. За восемь лет его видели часто, но никто никогда не слышал его голоса. Жена и дети приходили к нему; он принимал от них пищу и одежду и, как всем людям, кланялся им земно, но, как всем людям, им тоже ни слова не сказал.

Умер он в год, когда разоряли скиты, и смерть его была такова:

Приехал в лес исправник с командой, и увидели они, что стоит Антипа среди кельи на коленях, безмолвно молится.

— Ты! — крикнул исправник. — Уходи! Ломать будем твое логовище!..

Но Антипа не слышал его.

И сколько ни кричал исправник — ни слова не от-

ветил ему старец. Исправник велел вытащить Антипу из кельи. Но люди, видя старца, который, не замечая их, всё молился истово и неустанно, смутились пред твердостью его души и не послушали исправника. Тогда исправник приказал ломать келью, и осторожно, боясь ударить молящегося, они стали разбирать крышу.

Стучали над головой Антипы топоры, трещали доски, падая на землю, гулкое эхо ударов понеслось по лесу, заметались вокруг кельи птицы, встревоженные шумом, задрожала листва на деревьях. Старец молился, как бы не видя и не слыша ничего... Начали раскатывать венцы кельи, а хозяин ее всё стоял неподвижно на коленях. И лишь когда откатили в сторону последние бревна и сам исправник, подойдя к старцу, взял его за волосы, Антипа, вскинув очи в небо, тихо сказал богу:

— Господи милосливый... Прости их!

И, упав навзничь, умер.

Когда это случилось, старшему сыну Антипы, Якову, было двадцать три года, а младшему, Терентию, — восемнадцать лет. Красавец и силач Яков, еще будучи подростком, приобрел в селе прозвище Бесшабашного, а ко времени смерти отца был первым кутилой и буяном во всей округе. На него все жаловались — мать, староста, соседи; его сажали в холодную, пороли розгами, били и просто так, без суда, но это не укрощало Якова, и всё теснее становилось ему жить в деревне, среди раскольников, людей хозяйственных, как кроты, суровых ко всяким новшествам, упорно охранявших заветы древнего благочестия. Яков курил табак, пил водку, одевался в немецкое платье, на молитвы и радения не ходил, а когда степенные люди увещевали его, напоминая ему об отце, он насмешливо отзывался:

— Погодите, старички почтенные, — всему мера есть. Нагрешу вдоволь — покаюсь и я! А теперь — рано еще. Батюшкой меня не корите, — он пять десятков лет грешил, а каялся — всего восемь!... На мне грех — как на птенце пух, а вот вырастет греха, как на вбране пера, тогда, значит, молодцу пришла каяться пора...

— Еретик! — говорили про Якова Лунева, ненавидели и боялись его.

Года через два после смерти отца Яков женился. Он под корень подорвал разгульной жизнью крепкое, тридцатилетним трудом сколоченное хозяйство отца, и уже никто в родном селе не хотел выдать ему девушку в жены. Где-то в дальней деревне он взял красавицу-сироту, а для того, чтоб сыграть свадьбу, продал отцов пчельник. Его брат Терентий, робкий, молчаливый горбун с длинными руками, не мешал ему жить; мать, хвора, лежала на печи и оттуда говорила ему зловещим, хриплым голосом:

— Окаянный!.. Пожалей свою душеньку!.. Опомнись!..

— Не беспокойтесь, маменька! — отвечал Яков. — Отец за меня перед богом заступится!..

Сначала, почти целый год, Яков жил с женою мирно и тихо, даже начал работать, а потом опять закутил и, на целые месяца исчезая из дома, возвращался к жене избитый, оборванный, голодный... Умерла мать Якова; на поминках по ней пьяный Яков изувечил старосту, давнего своего врага, и за это был посажен в арестантские роты. Отсидев срок, он снова явился в деревню, бритоголовый, угрюмый и злой. Деревня всё более ненавидела его, перенося свою ненависть и на семью Якова, а особенно на безобидного горбуна Терентия, — он с малых лет служил посмешищем для девок и парней. Якова звали арестантом и разбойником, Терентия — уродом и колдуном. Терентий молчал в ответ на ругань и насмешки, Яков же открыто грозил всем:

— Ладно! Погодите!.. Я вам покажу!

Ему было около сорока лет, когда в деревне случился пожар; он был обвинен в поджоге и сослан в Сибирь.

На руках Терентия осталась жена Якова, помешавшаяся в уме во время пожара, и сын его Илья, десятилетний мальчик, крепкий, черноглазый, серьезный. Когда этот мальчик появлялся на улице, ребятишки гонялись за ним и бросали в него камнями, а большие, видя его, говорили:

— У, демоненок! Каторжное семя!.. Чтоб те сдохнуть!..

Неспособный к работе, Терентий до пожара торговал дегтем, нитками, иглами и всякой мелочью, но огонь,

истребивший половину деревни, уничтожил избу Луневых и весь товар Терентия, так что после пожара у Луневых осталась только лошадь да сорок три рубля денег — и больше ничего. Видя, что в деревне нельзя и нечем жить, Терентий сдал жену брата на попечение бобылке за полтинник в месяц, купил старенькую телегу, посадил в нее племянника и решил ехать в губернский город, надеясь, что там ему поможет жить дальний родственник Луневых Петруха Филимонов, буфетчик в трактире.

Выехал Терентий из родного пепелища ночью, тихо, как вор. Правил он лошадью и всё оглядывался назад большими, точно у телят, черными глазами. Лошадь шла шагом, телегу потряхивало, и скоро Илья, зарывшись в сено, уснул крепким сном ребенка...

Проснулся он среди ночи от какого-то жуткого и странного звука, похожего на волчий вой. Ночь была светлая, телега стояла у опушки леса, около нее лошадь, фыркающая, щипала траву, покрытую росой. Большая сосна выдвинулась далеко в поле и стояла одинокая, точно ее выгнали из леса. Зоркие глаза мальчика беспокойно искали дядю, в тишине ночи отчетливо звучали глухие и редкие удары копыт лошади по земле, тяжелыми вздохами разносилось ее фыркание, и уныло плавал непонятный дрожащий звук, пугая Илью.

— Дя-дя! — тихо позвал он.

— Ась? — торопливо отозвался Терентий, и вой вдруг замер.

— Ты где?

— Тут... Спи знай...

Илья увидал, что дядя, черный и похожий на пень, вывороченный из земли, сидит у опушки леса на холме.

— Я боюсь, — сказал мальчик.

— Чего бояться?.. Одни мы...

— Кто-то воет...

— Приснилось тебе...

— Ей-богу, воет...

— Ну — волк это... Он — далеко... Спи...

Но Илье не спалось. Было жутко от тишины, а в ушах всё дрожал этот жалобный звук. Он пристально оглядел местность и увидал, что дядя смотрит туда, где,

над горой, далеко среди леса, стоит пятиглавая белая церковь, а над нею ярко сияет большая, круглая луна. Илья узнал, что это ромодановская церковь, в двух верстах от нее, среди леса, над оврагом, стоит их деревня — Китежная.

— Недалеко мы уехали,— сказал он задумчиво.

— Что? — спросил дядя.

— Дальше бы уехать, говорю... Еще придет кто-нибудь оттуда...

Илья неприятно кивнул головой по направлению к деревне.

— Уедем, погоди! — молвил дядя.

Снова стало тихо. Илья, облокотясь на передок телеги, тоже стал смотреть туда, куда дядя смотрел. Деревню было не видно в густой, черной тьме леса, но ему казалось, что он видит ее, со всеми избами и людьми, со старой ветлой у колодца, среди улицы. У корней ветлы лежит отец его, связанный веревкой, в изорванной рубахе; руки у него прикручены за спину, голая грудь выпятилась вперед, а голова будто приросла к стволу ветлы. Лежит он неподвижно, как убитый, и страшными глазами смотрит на мужиков. Их много, все они кричат, ругаются. От этого воспоминания мальчику сделалось скучно и у него начало щипать в горле. Он почувствовал, что заплачет сейчас, но ему не хотелось тревожить дядю, и он сдерживался, всё плотнее сжимая свое маленькое тельце...

Вдруг снова в воздухе раздался тихий вой. Сначала кто-то тяжело вздохнул, всхлипнул и потом нестерпимо жалобно заныл:

— О-о-у-о-о!..

Мальчик вздрогнул от страха и замер. А звук всё дрожал и рос в своей спле.

— Дядя! Это ты воешь?.. — крикнул Илья.

Терентий не ответил, не пошевелился. Тогда мальчик прыгнул с телеги, подбежал к дяде, упал ему на ноги, вцепился в них и тоже зарыдал. Сквозь рыдания он слышал голос дяди:

— Выжили нас... Го-спо-ди! Куда пойдём... а?

А мальчик, захлебываясь слезами, говорил:

— Погоди... вырасту большой... я им задам!..

Наплакавшись, он стал дремать. Дядя взял его на руки, снес в телегу, а сам опять ушел прочь и снова завыл протяжно, жалобно, как маленькая собака.

Помнил Илья, как он приехал в город. Проснулся он рано утром и увидал перед собою широкую мутную реку, а за нею, на высокой горе, кучу домов с красными и зелеными крышами и густые сады. Дома поднимались по горе густою красивой толпой всё выше, на самом гребне горы они вытянулись в ровную линию и гордо смотрели оттуда через реку. Золотые кресты и главы церквей поднимались над крышами, уходя глубоко в небо. Только что взошло солнце; косые его лучи отражались в окнах домов, и весь город горел яркими красками, сиял золотом.

— Вот так — а-яй! — воскликнул мальчик, широко раскрытыми глазами глядя на чудесную картину, и замер в молчаливом восхищении. Потом в душе его родилась беспокойная мысль, — где будет жить он, маленький, вихрастый мальчик в пестрядинных штанишках, и его горбатый, неуклюжий дядя? Пустят ли их туда, в этот чистый, богатый, блестящий золотом, огромный город? Он подумал, что их телега именно потому стоит здесь, на берегу реки, что в город не пускают людей бедных. Должно быть, дядя пошел просить, чтобы пустили.

Илья с тревогой в сердце стал искать глазами дядю. Вокруг их телеги стояло еще много возов; на одних торчали деревянные стойки с молоком, на других корзины с птицей, огурцы, лук, лукошки с ягодами, мешки с картофелем. На возах и около них сидели и стояли мужики, бабы, — совсем особенные. Говорили они громко, отчетливо, а одеты не в синюю пестрядину, а в пестрые ситцы и ярко-красный кумач. Почти у всех на ногах сапоги, и хотя около них расхаживал человек с саблей на боку, но они не только не боялись его, а даже не кланялись ему. Это очень понравилось Илье. Сидя на телеге, он осматривал ярко освещенную солнцем живую картину и мечтал о времени, когда тоже наденет сапоги и кумачную рубаху.

Вдали, среди мужиков, появился дядя Терентий.

Он шел, крепко упираясь ногами в глубокий песок, высоко подняв голову; лицо у него было веселое, и еще издали он улыбался Илье, протянув к нему руку, что-то показывая.

— Господь за нас, Илюха! Дядю-то сразу нашел я... На-ка вот, погрызи пока что!..

И дал Илье баранку.

Мальчик почти с благоговением взял ее, сунул за пазуху и беспокойно спросил:

— Не пускают в город-то?

— Сейчас пустят... Вот придет паром — и поедем.

— И мы?

— А как же? И мы!

— Ух! А я думал — нас не пустят... А там где мы будем жить-то?

— Это неизвестно...

— Вон бы в том большом-то, красном...

— Это казарма!.. Там солдаты живут...

— Ну, и вон в том, — в-вон в этом!

— Ишь ты! Высоко нам до него!..

— Ничего! — уверенно сказал Илья. — Долезем!..

— Э-эх ты! — вздохнул дядя Терентий и снова куда-то ушел.

Жить им пришлось на краю города, около базарной площади, в огромном сером доме. Со всех сторон к его стенам прилипли разные пристройки, одни — поновее, другие — такие же серо-грязные, как сам он. Окна и двери в этом доме были кривые, и всё в нем скрипело. Пристройки, забор, ворота — всё наваливалось друг на друга, объединяясь в большую кучу полугнилого дерева. Стекла в окнах тусклы от старости, несколько бревен в фасаде выпятились вперед, от этого дом был похож на своего хозяина, который держал в нем трактор. Хозяин тоже старый и серый; глаза на его дряхлом лице были похожи на стекла в окнах; он ходил, опираясь на толстую палку; ему, должно быть, тяжело было носить выпяченный живот.

Первые дни жизни в этом доме Илья всюду лазил и всё осматривал в нем. Дом поразил его своей удивительной емкостью. Он был так тесно набит людьми, что казалось — людей в нем больше, чем во всей деревне Китеж-

ной. В обоих этажах помещался трактир, всегда полный народа, на чердаках жили какие-то пьяные бабы; одна из них, по прозвищу Матица, — черная, огромная, басовитая, — пугала мальчика сердитыми, темными глазами. В подвале жил сапожник Перфишка с больной, безногою женой и дочкой лет семи, тряпичник дедушка Еремей, нищая старуха, худая, крикливая, ее звали Полоротой, и извозчик Макар Степаныч, человек пожилой, смирный, молчаливый. В углу двора помещалась кузница; в ней с утра до вечера горел огонь, наваривали шины, ковали лошадей, стучали молотки, высокий, жилистый кузнец Савел густым, угрюмым голосом пел песни. Иногда в кузнице являлась Савелова жена, небольшая, полная женщина, русоволосая, с голубыми глазами. Она всегда накрывала голову белым платком, и было странно видеть эту белую голову в черной дыре кузницы. Она смеялась серебристым смехом, а Савел вторил ей громко, точно молотом бил. Но — чаще он в ответ на ее смех рычал.

В каждой щели дома сидел человек, и с утра до поздней ночи дом сотрясался от крика и шума, точно в нем, как в старом, ржавом котле, что-то кипело и варилось. Вечерами все люди выползали из щелей на двор и на лавочку к воротам дома; сапожник Перфишка играл на гармонике, Савел мычал песни, а Матица — если она была выпивши — пела что-то особенное, очень грустное, никому не понятными словами, пела и о чем-то горько плакала.

Где-нибудь в углу на дворе около дедушки Еремея собирались все жившие в доме ребятишки и, усевшись в кружок, просили его:

— Де-едушка! Расскажи сказочку!..

Дедушка смотрел на них болящими, красными глазами, из которых, не иссякая, текли по морщинам лица мутные слезы, и, крепко нахлобучив на голову старую рыжую шапку, заводил нараспев дрожащим, тонким голосом:

— «А и в некотором царствии, вот и в некотором государствии уродился фармазон-еретик от неведомых родителей, за грехи сыном наказанных богом господом всевидящим...»

Длинная седая борода дедушки Еремея вздрагивала и тряслась, когда он открывал свой черный, беззубый рот, тряслась и голова, а по морщинам щек одна за другой всё катились слезы.

— «А и дерзок был сей сын-еретик: во Христа-бога не веровал, не любил матери божией, мимо церкви шел — не кланялся, отца, матери не слушался...»

Ребятишки слушали тонкий голос старика и молча смотрели в его лицо.

Всех внимательнее слушал русский Яшка, сын буфетчика Петрухи, тощий, остроносый, с большой головой на тонкой шее. Когда он бежал, его голова так болталась от плеча к плечу, точно готова была оторваться. Глаза у него тоже большие и беспокойные. Они всегда пугливо скользили по всем предметам, точно боясь остановиться на чем-либо, а остановившись, странно выкатывались, придавая лицу мальчика овечье выражение. Он выделялся из кучи ребят тонким бескровным лицом и чистой, крепкой одеждой. Илья сразу подружился с ним, в первый же день знакомства Яков тайноспленно спросил нового товарища:

— У вас в деревне колдунов много?

— Есть,— ответил Илья.— У нас шабер колдун был.

— Рыжий? — шёпотом осведомился Яков.

— Седой... они все седые...

— Седые — ничего... Седые — добрые... А вот которые рыжие — ух ты! Те кровь пьют...

Они сидели в лучшем, самом уютном углу двора, за кучей мусора под бузиной, тут же росла большая, старая липа. Сюда можно было попасть через узкую щель между сараем и домом; здесь было тихо, и, кроме неба над головой да стены дома с тремя окнами, из которых два были заколочены, из этого уголка не видно ничего. На ветках липы чирикали воробьи, на земле, у корней ее, сидели мальчики и тихо беседовали обо всем, что занимало их.

Целые дни перед глазами Ильи вертелось с криком и шумом что-то большее, пестрое и ослепляло, оглушало его. Сначала он растерялся и как-то поглупел в кипучей сутолоке этой жизни. Стоя в трактире около стола, на котором дядя Терентий, потный и мокрый,

мыл посуду, Илья смотрел, как люди приходят, пьют, едят, кричат, целуются, дерутся, поют песни. Тучи табачного дыма плавают вокруг них, и в этом дыму они возятся, как полоумные...

— Эй-эй! — говорил ему дядя, потряхивая горбом и неустанно звеня стаканами. — Ты чего тут? Иди-ка на двор! А то хозяин увидит — заругает!..

«Вот так — а-яй!» — мысленно произносил Илья свое любимое восклицание и, ошеломленный шумом трактирной жизни, уходил на двор. А на дворе Савел стучал молотом и ругался с подмастерьем, из подвала на волю рвалась веселая песня сапожника Перфишки, сверху сыпались ругань и крики пьяных баб. Пашка, Савелов сын, скакал верхом на палке и кричал сердитым голосом:

— Тру, дьявол!

Его круглая задорная рожица вся испачкана грязью и сажей; на лбу у него шишка; рубаха рваная, и сквозь ее бесчисленные дыры просвечивает крепкое тело. Это первый озорник и драчун на дворе; он уже успел дважды очень больно поколотить неловкого Илью, а когда Илья, заплакав, пожаловался дяде, тот только руками развел, говоря:

— Ну что сделаешь? Потерпи!..

— Я вот пойду да так его вздую! — сквозь слезы пообещал Илья.

— Не могли! — строго молвил дядя. — Никак этого нельзя!..

— А он что?

— То — он!.. Он тутошний... свой... А ты — чужой...

Илья продолжал угрожать Пашке, но дядя рассердился и закричал на него, что с ним бывало редко. Тогда Илья смутно почувствовал, что ему нельзя равняться с «тутошними» ребятишками, и, затаив неприязнь к Пашке, еще больше сдружился с Яковом.

Яков вел себя степенно: он никогда ни с кем не дрался, даже кричал редко. Он почти не играл, но любил говорить о том, в какие игры играют дети во дворах у богатых людей и в городском саду. Из всех детей на дворе, кроме Ильи, Яков дружился только с семилетней Машкой, дочерью сапожника Перфишки, чумазой

тоненькой девчоночкой, — ее маленькая головка, осыпанная темными кудрями, с утра до вечера торчала на дворе. Ее мать тоже всегда сидела у двери в подвал. Высокая, с большой косой на спине, она постоянно шла, низко согнувшись над работой, а когда поднимала голову, чтобы посмотреть на дочь, Илья видел ее лицо. Оно было толстое, синее, неподвижное, как у покойника, черные добрые глаза на этом неприятном лице тоже неподвижны. Она никогда ни с кем не разговаривала и даже дочь свою подзывала к себе знаками, лишь иногда — очень редко — вскрикивая хриплым, задушенным голосом:

— Маша!

Сначала Илье что-то нравилось в этой женщине, но когда он узнал, что она уже третий год не владеет ногами и скоро помрет, — он стал бояться ее.

Однажды, когда Илья проходил вблизи нее, она протянула руку, схватила его за рубаху и привлекла испуганного мальчика к себе.

— Попрошу я тебя, — сказала она, — не обижай Машу!..

Ей трудно было говорить: она задыхалась отчего-то.

— Не обижай, — милый!..

И, жалобно взглянув в лицо Ильи, отпустила его. С этого дня Илья вместе с Яковом стал внимательно ухаживать за дочерью сапожника, стараясь оберечь ее от разных неприятностей жизни. Он не мог не оценить просьбы со стороны взрослого человека, потому что все другие большие люди только приказывали и всегда били маленьких. Извозчик Макар лягался ногами и шлепал ребятишек по лицу мокрой тряпкой, если они подходили близко к нему, когда он мыл пролетку. Савел сердился на всех, кто заглядывал в его кузницу не по делу, и бросал в детей угольными мешками. Перфиска швырял чем попало во всякого, кто, останавливаясь пред его окном, закрывал ему свет... Иногда били и просто так, от скуки, из желания пошутить с детьми. Только дедушка Еремей не дрался.

Вскоре Илье стало казаться, что в деревне лучше жить, чем в городе. В деревне можно гулять, где хочешь, а здесь дядя запретил уходить со двора. Там простор-

нее, тише, там все люди делают одно и то же всем понятное дело,— здесь каждый делает, что хочет, и все — бедные, все живут чужим хлебом, впроголодь.

Однажды за обедом дядя Терентий сказал племяннику, тяжело вздыхая:

— Осень идет, Илюха... Подвернет она нам с тобой гайки-то!.. О, господи!..

Он задумался, уныло глядя в чашку со щами. Задумался и мальчик. Обедали они на том же столе, на котором горбун мыл посуду.

— Петруха говорит, чтобы тебя с Яшуткой в училище отдать. Надо, я понимаю... Без грамоты здесь — как без глаз!.. Да ведь одеть, обуть надо тебя для училища!.. О, господи! На тебя надежда!..

От вздохов дяди, от грустного его лица у Ильи защемило сердце, он тихо предложил:

— Давай уйдем отсюда!..

— Ку-уда-а? — протяжно и уныло спросил горбун.

— А — в лес?! — сказал Илья и вдруг воодушевился. — Дедушка, ты говорил, сколько годов в лесу жил — один! А нас — двое! Лыки бы драли!.. Лис, белок били бы... Ты бы ружье завел, а я — силки!.. Птицу буду ловить. Ей-богу! Ягоды там, грибы... Уйдем?..

Дядя поглядел на него ласковыми глазами и с улыбкой спросил:

— А волки? А медведи?

— С ружьем-то? — горячо воскликнул Илья. — Да я, когда большой вырасту, я зверей не побоюсь!.. Я их руками душить стану!.. Я и теперь уж никого не боюсь! Здесь — житье тугое! Я хоть и маленький, а вижу! Здесь больнее дерутся, чем в деревне! Кузнец как треснет по башке, так там аж гудит весь день после того!..

— Эх ты, сирота божия! — сказал Терентий и, бросив ложку, поспешно ушел куда-то.

Вечером этого дня Илья, устав бродить по двору, сидел на полу около стола дяди и сквозь дрему слушал разговор Терентия с дедушкой Еремеем, который пришел в трактир попить чайку. Тряпичник очень подружился с горбуном и всегда усаживался пить чай рядом со столом Терентия.

Издание товарищества „ЗНАНИЕ“ (Спб., Невскій, 92).

М. Горькій.

томъ пятый

С
РАЗСКАЗЫ.

СОДЕРЖАНІЕ

Сказки
Трое.

изъ цикла „Макъ“
Възвѣстникъ буревѣстника.

изданіе ВОСЬМОЕ.

Цѣна 1 рубль.

С. ПЕТЕРБУРГЪ

1909.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЯТОГО ТОМА
СОЧИНЕНИЙ М. ГОРЬКОГО С ПОПРАВКОЙ АВТОРА.

— Ничего-о! — слышал Илья скрипучий голос Еремея. — Ты только одно знай — бог! Ты вроде крепостного у него... Сказано — раб! Бог твою жизнь видит. Придет светлый день твой, скажет он ангелу: «Слуга мой небесный! иди облегчи житее Терентию, мирному рабу моему...»

— Я, дедушка, уповаю на господа, — что больше могу я? — тихо говорил Терентий.

Голосом, похожим на голос буфетчика Петрухи, когда он сердился, — дед сказал Терентию:

— На снаряженье Илюшки в училище я тебе дам!.. Поскребусь и наберу... Взаимы. Богат будешь — отдашь...

— Дедушка! — тихо воскликнул Терентий.

— Стой, молчи! А покамест ты его, мальчишку-то, дай-ка мне, — нечего тут ему делать!.. А мне вместо процента он и послужит... Тряпку поднимет, кость подаст... Всё мне, старику, спины не гнуть...

— Ах ты!.. Господь тебе!.. — вскричал горбун звенящим голосом.

— Господь — мне, я — тебе, ты — ему, а он — опять господу, так оно у нас колесом и завертится... И никто никому не должен будет... Ми-ила-й! Э-эх, брат ты мой! Жил я, жил, глядел, глядел, — ничего, кроме бога, не вижу. Всё его, всё ему, всё от него да для него!..

Илья заснул под эти речи. А на другой день рано утром дед Еремей разбудил его, весело говоря:

— Айда гулять, Илюшка! Ну-ка, живенько!

Хорошо зажил Илья под ласковой рукой тряпничника Еремея. Каждый день, рано утром, дед будил мальчика, и они, вплоть до позднего вечера, ходили по городу, собирая тряпки, кости, рваную бумагу, обломки железа, куски кожи. Велик город, и много любопытного в нем, так что первое время Илья плохо помогал деду, а всё только разглядывал людей, дома, удивлялся всему и обо всем расспрашивал старика... Еремей был словоохотлив. Низко наклонив голову и глядя в землю, он ходил со двора на двор и, постуки-

вая палкой с железным концом, утирал слезы рукавом своих лохмотьев или концом грязного мешка и, не умолкая, певуче, однотонно рассказывал своему помощнику:

— А этот дом Пчелина купца, Саввы Петровича. Богатый человек купец Пчелин!..

— Дедушка,— спрашивал Илья,— а как богатыми делаются?

— Трудятся для этого, работают, значит... И день работают, и ночь, и всё деньги копят. Накопят — выстроят дом, заведут лошадей, посуду разную и всякое такое, эдакое. Новое всё! Наймут приказчиков, дворников и разных людей, чтобы они работали, а сами отдыхают — живут. Ну, тогда говорится: разжился человек честным трудом... и-да!.. А то есть, которые от греха богатеют. Про Пчелина-купца говорят люди, будто он душу погубил, когда молодой был. Может, это от зависти сказано, а может, и правда. Злой он, Пчелин-то, глаз у него пугливой... Всё бегаёт глаз, прячется... Может, и врут про Пчелина... Бывает, что человек богатеет сразу... Удача ему... Удача на него взглянула... Один бог в правде живет, а мы все ничего не знаем!.. Люди мы! А люди — семена божии... семена, душа, люди-то! Посеял нас господь на земле — растите! А я погляжу,— какой хлеб насущный будет из вас?.. Так-то! А вот это вот — Сабанеев дом, Митрия Павлыча... Он еще Пчелина богаче. Уж он настоящий злодей,— я знаю... Не сужу — богу судить,— а знаю верно... В нашей деревне бурмистром он был и всех нас продал, всех ограбил!.. Долго ему бог терпел это, да и начал с ним считаться. Перво-наперво — оглох Митрий Павлов, потом сына у него лошади убили... А недавно вот дочь сбежала из дома...

Илья внимательно слушал его, поглядывая на огромные дома, и порой говорил:

— Хоть бы глазом одним в нутро-то взглянуть!..

— Увидишь! Знай — учись, вырастешь — всё увидишь! Может, и сам разбогатеешь... Живи знай... Охо-хо-о! Вот я жил-жил, глядел-гляддел — глаза-то себе и испортил... Вот они, слезы-то, текут да текут у меня... и оттого стал я тощой да хилый... Истек, значит, слезой-то!

Приятно было Илье слушать уверенные и любовные речи старика о боге, от ласковых слов в сердце мальчика рождалось бодрое, крепкое чувство надежды на что-то хорошее, что ожидает его впереди. Он повеселел и стал больше ребенком, чем был первое время жизни в городе.

Он с увлечением помогал старику рыться в мусоре. Очень интересно раскапывать кучи разного хлама, а особенно приятно было видеть радость старика, когда в мусоре находилось что-нибудь особенное. Однажды Илья нашел большую серебряную ложку, — дед купил ему за это полфунта мятных пряников. Потом он откопал маленький, покрытый зеленой плесенью кошелек, а в нем оказалось больше рубля денег. Порой попадались ножи, вилки, гайки, изломанные медные вещи, а в овраге, где сваливался мусор со всего города, Илья отрыл тяжелый медный подсвечник. За каждую из таких ценных находок дед покупал Илье гостинцев.

Находя такую диковину, Илья радостно кричал:

— Дедушка, гляди-ка! Вот так — а-яй!

А дед, беспокожно оглядываясь, увещевал его:

— Да ты не кричи! Не кричи ты!.. Ах, господи!..

Он всегда пугался, когда находили необыкновенные вещи, и, быстро выхватывая их из рук мальчика, прятал в свой огромный мешок.

— Молчи знай, — помалкивай!.. — ласково говорил старик, а слезы всё текли и текли из его красных глаз.

Он дал Илье небольшой мешок, палку с железным концом, — мальчик гордился этим орудием. В свой мешок он собирал разные коробки, поломанные игрушки, красивые черепки, ему нравилось чувствовать все эти вещи у себя за спиной, слышать, как они постукивают там. Собирать всё это научил его дед Еремей.

— А ты собирай эти штучки и тащи их домой. Принесешь, ребятишек обделишь, радость им дашь. Это хорошо — радость людям дать, любит это господь... Все люди радости хотят, а ее на свете ма-ало-мало! Так-то ли мало, что иной человек живет-живет и никогда ее не встретит, — никогда!..

Городские свалки нравились Илье больше, чем хождение по дворам. На свалках не было никого, кро-

ме двух-трех стариков, таких же, как Еремей, здесь не нужно было оглядываться по сторонам, ожидая дворника с метлой в руках, который явится, обругает нехорошими словами да еще и ударит, выгоняя со двора.

Каждый день, порывшись в свалках часа два, Еремей говорил мальчику:

— Будет, Илюша! Отдохнем давай, поедим!

Вынимал из-за пазухи ломоть хлеба, крестясь, разламывал его, и они ели, а поев, отдыхали с полчаса, лежа на краю оврага. Овраг выходил устьем на реку, ее видно было им. Широкая, серебристо-синяя, она тихо катила мимо оврага свои волны, и, глядя на нее, Илье хотелось плыть по ней. За рекою разворачивались луга, стоги сена стояли там серыми башнями, и далеко, на краю земли, в синее небо упиралась темная зубчатая стена леса. Было в лугах тихо, ласково, и чувствовалось, что воздух там чистый, прозрачный и сладко пахучий... А здесь душно от запаха преющего мусора; запах этот давил грудь, щипал в носу, у Ильи, как у деда, тоже слезы из глаз текли...

Лежа на спине, мальчик смотрел в небо, не видя конца высоте его. Грусть и дрема овладевали им, какие-то неясные образы зарождались в его воображении. Казалось ему, что в небе, неуловимо глазу, плавает кто-то огромный, прозрачно-светлый, ласково греющий, добрый и строгий, и что он, мальчик, вместе с дедом и всею землей поднимается к нему туда, в бездонную высь, в голубое сиянье, в чистоту и свет... И сердце его сладко замирало в чувстве тихой радости.

Вечером, возвращаясь домой, Илья входил на двор с важным видом человека, который хорошо поработал, желает отдохнуть и совсем не имеет времени заниматься пустяками, как все другие мальчишки и девчонки. Всем детям он внушал почтение к себе солидной осанкой и мешком за плечами, в котором всегда лежали разные интересные штуки...

Дед, улыбаясь ребятишкам, говорил им какую-нибудь шутку.

— Вот и пришли Лазари, весь город облазили, везде напроказили!.. Илька! Иди, помой рожу да приходи в трактир чай пить!..

Илья вразвалку шел к себе в подвал, а ребяташки гурьбой следовали за ним, осторожно ощупывая содержимое его мешка. Только Пашка дерзко, загораживая дорогу Илье, говорил:

— Эй, ветошник! Ну-ка, кажи, что принес...

— погодишь! — говорил Илья сурово. — Напьюсь чаю, покажу...

В трактире его встречал дядя, ласково улыбаясь.

— Пришел, работник? Ах ты, сердяга!.. Устал?

Илье было приятно слышать, что его называют работником, а слышал это он не от дяди только. Однажды Пашка что-то созорничал; Савел поймал его, ущемил в колени Пашкину голову и, нахлестывая его веревкой, приговаривал:

— Не озоруй, шельма, не озоруй! На вот тебе, на! на! Другие ребята в твои годы сами себе хлеб добывают, а ты только жрешь да одежду дерешь!..

Пашка визжал на весь двор и дрягал ногами, а веревка всё шлепалась об его спину. Илья со странным удовольствием слушал болезненные и злые крики своего врага, но слова кузнеца наполнили его сознанием своего превосходства над Пашкой, и тогда ему стало жаль мальчика.

— Дядя Савел, брось! — вдруг закричал он.

Кузнец ударил сына еще раз и, взглянув на Илью, сказал сердито:

— А ты — цыц! Заступник!.. Вот я те дам!.. — Отшвырнув сына в сторону, он ушел в кузницу. Пашка встал на ноги и, спотыкаясь, как слепой, пошел в темный угол двора. Илья отправился за ним, полный жалости к нему. В углу Пашка встал на колени, уперся лбом в забор и, держа руки на ягодицах, стал выть еще громче. Илье захотелось сказать что-нибудь ласковое избитому врагу, но он только спросил Пашку:

— Больно?

— У-уйди! — крикнул тот.

Этот крик обидел Илью, он поучительно заговорил:

— Вот — ты всех колотишь, вот и...

Но раньше, чем договорил он, Пашка бросился на него и сшиб с ног. Илья тоже освирепел, и оба они комом покатались по земле. Пашка кусался и царапался, а

Илья, схватив его за волосы, колотил о землю его голову до поры, пока Пашка не закричал:

— Пусти-и!

— То-то! — сказал Илья, вставая на ноги, гордый своей победой. — Видал? Я сильнее! Значит — ты меня не задирай теперь!

Он отошел прочь, отирая рукавом рубахи в кровь расцарапанное лицо. Среди двора стоял кузнец, мрачно нахмутив брови. Илья, увидев его, вздрогнул от страха и остановился, уверенный, что сейчас кузнец изобьет его за сына. Но тот повел плечами и сказал:

— Ну, чего уставил буркалы на меня? Не видал раньше? Иди, куда идешь!..

А вечером, поймав Илью за воротами, Савел легонько щелкнул его пальцем в темя и, сумрачно улыбнувшись, спросил:

— Как делишки, мусорщик?

Илья радостно хихикнул, — он был счастлив. Сердитый кузнец, самый сильный мужик на дворе, которого все боялись и уважали, шутит с ним! Кузнец схватил его железными пальцами за плечо и добавил ему еще радости:

— Ого-о! — сказал он. — Да ты — крепкий мальчишка! Не скоро износишься, нет, парень!.. Ну, расти!.. Вырастешь — я тебя в кузнию возьму!..

Илья охватил у колена огромную ногу кузнеца и крепко прижался к ней грудью. Должно быть, Савел ощутил трепет маленького сердца, задышавшегося от его ласки: он положил на голову Ильи тяжелую руку, помолчал немножко и густо молвил:

— Э-эх, сирота!.. Ну-ка, пусти-ка!..

Сияющий и веселый принялся Илья в этот вечер за обычное свое занятие — раздачу собранных за день диковин. Дети уселись на землю и жадными глазами глядели на грязный мешок. Илья доставал из мешка лоскутки ситца, деревянного солдатика, полинявшего от невзгод, коробку из-под ваксы, помадную банку, чайную чашку без ручки и с выбитым краем.

— Это мне, мне, мне! — раздавались завистливые крики, и маленькие грязные ручонки тянулись со всех сторон к редкостным вещам.

— Погоди! Не хватай! — командовал Илья. — Разве игра будет, коли вы всё сразу растащите? Ну, открываю лавочку! Продаю кусок ситцу... Самый лучший ситец! Цена — полтина!.. Машка, покупай!

— Купила! — отвечал Яков за сапожникову дочь и, доставая из кармана заранее приготовленный черепок, совал его в руку торговцу. Но Илья не брал.

— Ну — какая это игра? А ты торгуйся, чё-орт! Никогда ты не торгуешься!.. Разве так бывает?

— Я забыл! — оправдывался Яков.

Начинался упорный торг; продавец и покупатели увлекались им, а в это время Пашка ловко похищал из кучи то, что ему нравилось, убегал прочь и, приплясывая, дразнил их:

— А я украл! Разини вы! Дураки, черти!

Он такими выходками приводил всех в исступление: маленькие кричали и плакали, Яков и Илья бегали по двору за вором и почти никогда не могли схватить его. Потом к его выходкам привыкли, уже не ждали от него ничего хорошего, единодушно невзлюбили его и не играли с ним. Пашка жил в стороне и усердно старался делать всем что-нибудь неприятное. А большеголовой Яков возился, как нянька, с курчавой дочерью сапожника. Она принимала его заботы о ней как должное, и хотя звала его Яшечка, но часто царапала и била. Дружба с Ильей крепла у него, и он постоянно рассказывал товарищу какие-то странные сны.

— Будто у меня множество денег и всё рубли — агромадный мешок! И вот я тащу его по лесу. Вдруг — разбойники идут. С ножами, страшные! Я — бежать! И вдруг будто в мешке-то затрепыхалось что-то... Как я его брошу! А из него птицы разные ф-р-р!.. Чижи, синицы, щеглята — видимо-невидимо! Подхватили они меня и понесли, высоко-высоко!

Он прерывал рассказ, глаза его выкатывались, лицо принимало овечьё выражение...

— Ну? — поощрял его Илья, нетерпеливо ожидая конца.

— Так я совсем и улетел!.. — задумчиво докапчивал Яков.

— Куда?

— А... совсем!

— Эх ты! — разочарованно и пренебрежительно говорил Илья. — Ничего не помнишь!..

Из трактира выходил дед Еремей и, приставив ладонь ко лбу, кричал:

— Илюшка! Ты где? Иди-ка спать, пора!..

Илья послушно шел за стариком и укладывался на свое ложе — большой куль, набитый сеном. Сладко спалось ему на этом куле, хорошо жил он с тряпичником, но быстро промелькнула эта приятная и легкая жизнь.

Дедушка Еремей купил Илье сапоги, большое, тяжелое пальто, шапку, и мальчика отдал в школу. Он пошел туда с любопытством и страхом, а воротился обиженный, унылый, со слезами на глазах: мальчики узнали в нем спутника дедушки Еремея и хором начали дразнить:

— Тряпичник! Вонючий!

Иные щипали его, другие показывали языки, а один подошел к нему, потянул воздух носом и с гримасой отскочил, громко крикнув:

— Вот так вонько пахнет!

— Что они дразнятся? — с недоумением и обидой спрашивал он дядю. — Али это зазорно, тряпки-то собирать?

— Ничего-о! — глядя мальчика по голове, говорил Терентий, скрывая свое лицо от вопрошающих и пытливых глаз племянника. — Это они так... просто озоруют... Ты потерпи!.. Привыкнешь...

— И над сапогами смеются, и над пальтом!.. Чужое, говорят, из помойной ямы вытащено!..

Дед Еремей, весело подмигивая глазом, тоже утешал его:

— Терпи знай! Бог зачтет!.. Кроме его — никого!

Старик говорил о боге с такой радостью и верой в его справедливость, точно знал все мысли бога и проник во все его намерения. Слова Еремея на время гасили обиду в сердце мальчика, но на другой же день она вспыхивала еще сильнее. Илья уже привык считать себя величиной, работником: с ним даже кузнец Савел

говорил благосклонно, а школьники смеялись над ним, дразнили его. Он не мог помириться с этим: обидные и горькие впечатления школы, с каждым днем увеличиваясь, всё глубже врезывались в его сердце. Посещение школы стало тяжелой обязанностью. Он сразу обратил на себя внимание учителя своей понятливостью; учитель стал ставить его в пример другим, — это еще более обостряло отношение мальчиков к нему. Сидя на первой парте, он чувствовал у себя за спиной врагов, а они, постоянно имея его перед своими глазами, тонко и ловко подмечали в нем всё, над чем можно было посмеяться, и смеялись. Яков учился в этой же школе и тоже был на худом счету у товарищей; они прозвали его Бараном. Рассеянный, неспособный, он постоянно подвергался наказаниям, но относился к ним равнодушно. Он вообще плохо замечал то, что творилось вокруг него, живя своей особенной жизнью в школе, дома, и почти каждый день он вызывал удивление Ильи непонятными вопросами.

— Илька! Это отчего, — глаза у людей маленькие, а видят всё!.. Целый город видят. Вот — всю улицу... Как она в глаза убирается, большая такая?

Сначала Илья задумывался над этими речами, но потом они стали мешать ему, отводя мысли куда-то в сторону от событий, которые задевали его. А таких событий было много, и мальчик уже научился тонко подмечать их.

Однажды он пришел из школы домой и, оскалив зубы, сказал Еремею:

— Учитель-то?! Гы-ы!.. Тоже понятливый!.. Вчера лавошника Малафеева сын стекло разбил в окошке, так он его только пожурил легонько, а стекло-то сегодня на свои деньги вставил...

— Видишь, какой добрый человек! — с умилением сказал Еремей.

— Добрый, да-а! А как Ванька Ключарев разбил стекло, так он его без обеда оставил да потом Ванькина отца позвал и говорит: «Подай на стекло сорок копеек!..» А отец Ваньку выпорол!..

— А ты этого не замечай себе, Илюша! — посоветовал дед, беспокожно мигая глазами. — Ты так гляди,

будто не твое дело. Неправду разбирать — богу принадлежит, не нам! Мы не можем. А он всему меру знает!.. Я вот, видишь, жил-жил, глядел-глядел,— столько неправды видел — сосчитать невозможно! А правды не видал!.. Восьмой десяток мне пошел, однако... И не может того быть, чтобы за такое большое время не было правды около меня на земле-то... А я не видал... не знаю ее!..

— Ну-у! — недоверчиво сказал Илья. — Тут чего знать-то? Коли с одного сорок, так и с другого сорок: вот и правда!..

Старик не согласился с этим. Он еще много говорил о слепоте людей и о том, что не могут они правильно судить друг друга, а только божий суд справедлив. Илья слушал его внимательно, но всё угрюмее становилось его лицо и глаза всё темнели...

— Когда бог судить-то будет? — вдруг спросил он деда.

— Неведомо! Ударит час, снизойдет он со облак судити живых и мертвых... а когда? Неведомо... Ты вот что, пойдем-ка со мной ко всеобщей!..

В субботу Илья стоял со стариком на церковной паперти, рядом с нищими, между двух дверей. Когда отворялась наружная дверь, Илью обдавало морозным воздухом с улицы, у него зябли ноги, и он тихонько топал ими по каменному полу. Сквозь стекла двери он видел, как огни свечей, сливаясь в красивые узоры трепетно живых точек золота, освещали металл риз, черные головы людей, лики икон, красивую резьбу иконостаса.

Люди в церкви казались более добрыми и смиренными, чем они были на улице. Они были и красивее в золотом блеске, освещавшем их темные, молчаливо и смиренно стоящие фигуры. Когда дверь из церкви растворялась, на паперть вылетала душистая, теплая волна пения; она ласково обливала мальчика, и он с наслаждением вдыхал ее. Ему было хорошо стоять около дедушки Еремея, шептавшего молитвы. Он слушал, как по храму носились красивые звуки, и с нетерпением ожидал, когда отворится дверь, они хлынут на него и опахнут лицо его душистым теплом. Он знал, что на клиросе

поет Гришка Бубнов, один из самых злых насмешников в школе, и Федька Долганов, силач и драчун. Но теперь он не чувствовал ни обиды на них, ни злобы к ним, а только немножко завидовал. Ему самому хотелось бы петь на клиросе и смотреть оттуда на людей. Должно быть, это очень хорошо — петь, стоя у золотых царских врат выше всех. Он ушел из церкви, чувствуя себя добрым и готовый помириться с Бубновым, Долгановым, со всеми учениками. Но в понедельник он пришел из школы такой же, каким и прежде приходил, — угрюмый и обиженный.

Во всякой толпе есть человек, которому тяжело в ней, и не всегда для этого нужно быть лучше или хуже ее. Можно возбудить в ней злое внимание к себе и не обладая выдающимся умом или смешным носом: толпа выбирает человека для забавы, руководствуясь только желанием забавляться. В данном случае выбор пал на Илью Лунева. Наверное, это кончилось бы плохо для Ильи, но как раз в этот момент его жизни произошли события, которые сделали школу окончательно не интересной для него, в то же время приподняли его над нею.

Началось с того, что однажды, подходя к дому вместе с Яковом, Илья увидал какую-то суету у ворот.

— Гляди! — сказал он товарищу, — опять, видно, дерутся?.. Бежим!

Они стремглав бросились вперед и, прибежав, увидели, что по двору испуганно мечутся чужие люди, кричат:

— Полицию зовите! Связать его надо!

Около кузницы люди собрались большой плотной кучей. Ребятишки пролезли в центр толпы и попятились назад. У ног их, на снегу, лежала вниз лицом, женщина; затылок у нее был в крови и каком-то тесте, снег вокруг головы был густо красен. Около нее валялся смятый белый платок и большие кузнечные клещи. В дверях кузни, скорчившись, сидел Савел и смотрел на руки женщины. Они были вытянуты вперед, кисти их глубоко вцепились в снег. Брови кузнеца сурово нахмурены, лицо осунулось; видно, что он сжал зубы: скулы торчали двумя большими шишками. Пра-

вой рукой он упирался в косяк двери; черные пальцы его шевелились, и, кроме пальцев, всё в нем было неподвижно.

Люди смотрели на него молча; лица у всех были строгие, и хотя на дворе было шумно и суетно, здесь, около кузницы, — тихо. Вот из толпы вылез дедушка Еремей, растрепанный, потный; он дрожащей рукой протянул кузнецу ковш воды:

— На-ко, испей-ко...

— Не воды ему, разбойнику, а петлю на шею, — сказал кто-то вполголоса.

Савел взял ковш левой рукою и пил долго, долго. А когда выпил всю воду, то посмотрел в пустой ковш и заговорил глухим своим голосом:

— Я ее упреждал, — перестань, стерво! Говорил — убью! Прощал ей... сколько разов прощал... Не вникла... Ну и вот!.. Пашка-то... сирота теперь... Дедушка... Погляди за ним... Тебя вот бог любит...

— И-эх ты-ы! — печально сказал дед и потрогал кузнеца за плечо дрожащей рукой, а из толпы снова сказали:

— Злодей!.. про бога говорит тоже!..

Тогда кузнец вскинул брови и зверем заревел:

— Чего надо? Прочь все!

Крик его, как плетью, ударил толпу. Она глухо заворчала и отхлынула прочь. Кузнец поднялся на ноги, шагнул к мертвой жене, но круто повернулся назад и — огромный, прямой — ушел в кузню. Все видели, что, войдя туда, он сел на наковальню, схватил руками голову, точно она вдруг нестерпимо заболела у него, и начал качаться вперед и назад. Илье стало жалко кузнеца; он ушел прочь от кузницы и, как во сне, стал ходить по двору от одной кучки людей к другой, слушая говор, но ничего не понимая.

Явилась полиция и начала гонять людей по двору, а потом кузнеца забрали и повели.

— Прощай, дедушка! — крикнул Савел, выходя из ворот.

— Прощай, Савел Иваныч, прощай, милый! — то-ропливо и тонко крикнул Еремей, порываясь за ним.

Кроме его — никто не простился с кузнецом...

Стоя на дворе маленькими кучками, люди разговаривали, сумрачно поглядывая на тело убитой, кто-то прикрыл голову ее мешком из-под углей. В дверях кузни, на место, где сидел Савелий, сел городской с трубкой в зубах. Он курил, сплевывал слюну и, мутными глазами глядя на деда Еремея, слушал его речь.

— Разве он убил? — таинственно и тихо говорил старик. — Черная сила это, она это! Человек человека не может убить... Не он убивает, люди добрые!

Еремей прикладывал руки к своей груди, отмахивая ими что-то от себя, и кашлял, объясняя людям тайну события.

— Однако клещами-то ее не чёрт двинул, а кузнец, — сказал полицейский и сплюнул.

— А кто ему внушил? — вскричал дед. — Ты разгляди, кто внушил?

— погоди! — сказал полицейский. — Он кто тебе, кузнец этот? Сын?

— Нет, где там!..

— погоди! Родня он тебе?

— Не-ет. Нет у меня родни...

— Так чего же ты беспокоишься?

— Я-то? Господи!..

— Я тебе вот что скажу, — строго молвил полицейский, — всё это ты от старости лопочешь... Пошел прочь!

Полицейский выпустил из угла губ густую струю дыма и отвернулся от старика. Но Еремей взмахнул руками и вновь заговорил быстро, визгливо.

Илья, бледный, с расширенными глазами, отошел от кузницы и остановился у группы людей, в которой стояли извозчик Макар, Перфишка, Матица и другие женщины с чердака.

— Она, милые, еще до свадьбы погуливала! — говорила одна из женщин. — Может, Пашка-то не кузнеца сын, а — учителя, что у лавошника Малафеева жил...

— Это застрелился который? — спросил Перфишка.

— Вот! Она с ним и начала...

Безногая жена Перфишки тоже вылезла на двор и, закутавшись в какие-то лохмотья, сидела на своем месте у входа в подвал. Руки ее неподвижно лежали на

коленях; она, подняв голову, смотрела черными глазами на небо. Губы ее были плотно сжаты, уголки их опустились. Илья тоже стал смотреть то в глаза женщины, то в глубину неба, и ему подумалось, что, может быть, Перфишкина жена видит бога и молча просит его о чем-то.

Вскоре все ребята тоже собрались в тесную кучку у входа в подвал. Зябко кутаясь в свои одежки, они сидели на ступенях лестницы и, подавленные жутким любопытством, слушали рассказ Савелова сына. Лицо у Пашки осунулось, а его лукавые глаза глядели на всех беспокойно и растерянно. Но он чувствовал себя героем: никогда еще люди не обращали на него столько внимания, как сегодня. Рассказывая в десятый раз одно и то же, он говорил как бы нехотя, равнодушно:

— Как ушла она третьего дня, так еще тогда отец зубами заскрипел и с той поры так и был злющий, рычит. Меня то и дело за волосы дерет... Я уж вижу — ого! И вот она пришла. А квартира-то заперта была — мы в кузне были. Я стоял у мехов. Вот вижу, она подошла, встала в двери и говорит: «Дай-ко ключ!» А отец-то взял клещи и пошел на нее... Идет это он тихо так, будто крадется... Я даже глаза зажмурил — страшно! Хотел ей крикнуть: «Беги, мамка!» Не крикнул... Открыл глаза, а он всё идет еще! Глазищи горят! Тут она пятиться начала... А потом обернулась задом к нему, бежать хотела...

Лицо у Пашки дрогнуло, всё его худое, угловатое тело задергалось. Глубоким вздохом он глотнул много воздуха и выдохнул его протяжно, сказав:

— Тут он ее клещами ка-ак брякнет!

Неподвижно сидевшие дети зашевелились.

— Она взмахнула руками и упала... как в воду мырнула...

Он взял в руки какую-то щепочку, внимательно осмотрел ее и бросил ее через головы детей. Они все сидели неподвижно, как будто ожидая от него чего-то еще. Но он молчал, низко наклонив голову.

— Совсем убил? — спросила Маша тонким, дрожащим голосом.

— Дура! — не подняв головы, сказал Пашка.

Яков обнял девочку и подвинул ее ближе к себе, а Илья подвинулся к Пашке, тихо спросив его:

— Тебе ее жалко?

— А что тебе за дело? — сердито отозвался Пашка.

Все сразу и молча взглянули на него.

— Вот она всё гуляла,— раздался звонкий голос Маши, но Яков торопливо и беспокойно перебил ее речь:

— Загуляешь! Вон он какой был, кузнец-то!.. Черный всегда, страшный, урчит!.. А она веселая была, как Перфишка...

Пашка взглянул на него и заговорил угрюмо, солидно, как большой:

— Я ей говорил: «Смотри, мамка! Он тебя убьет!..» Не слушала... Только просит, чтоб я ему не сказывал ничего... Гостинцы за это покупала. А фетьфебель всё пятаки мне дарил. Я ему принесу записку, а он мне сейчас пятак даст... Он — добрый!.. Силач такой... Усищи у него...

— А сабля есть? — спросила Маша.

— Еще какая! — ответил Пашка и с гордостью прибавил: — Я ее раз вынимал из ножен, — чижолоя, дьявол!

Яков задумчиво сказал:

— Вот и ты теперь сирота... как Илюшка...

— Как бы не так,— недовольно отозвался сирота. — Ты думаешь, я тоже в тряпичники пойду? Наплевал я!

— Я не про то...

— Я теперь что хочу, то и делаю!.. — подняв голову и сердито сверкая глазами, говорил Пашка гордым голосом. — Я не сирота... а просто... один буду жить. Вот отец-то не хотел меня в училище отдать, а теперь его в острог посадят... А я пойду в училище да и выучусь... еще лучше вашего!

— А где одежду возьмешь? — спросил его Илья, усмехаясь с торжеством. — В училище драного-то не больно примут!..

— Одежу? А я — кузницу продам!

Все взглянули на Пашку с уважением, а Илья почувствовал себя побежденным. Пашка заметил впечатление и понесся еще выше.

— Я еще лошадь себе куплю... живую, всамделишную лошадь! Буду ездить в училище верхом!..

Ему так понравилась эта мысль, что он даже улыбнулся, хотя улыбка была какая-то пугливая,— мелькнув, тотчас же исчезла.

— Бить тебя уж никто теперь не будет,— вдруг сказала Маша Пашке, глядя на него с завистью.

— Найдутся охотники! — уверенно возразил Илья. Пашка взглянул на него и, ухарски сплюнув в сторону, спросил:

— Ты, что ли? Сунься-ка!

Снова вмешался Яков.

— А как чудно, братцы!.. был человек и ходил, говорил и всё... как все,— живой был, а ударили клещами по голове — его и нет!..

Ребятишки, все трое, внимательно посмотрели на Якова, а у него глаза полезли на лоб и остановились, смешно выпученные.

— Да-а! — сказал Илья. — Я тоже думаю про это...

— Говорят — умер,— тихо и таинственно продолжал Яков,— а что такое умер?

— Душа улетела,— сумрачно пояснил Пашка.

— На небо,— добавила Маша и, прижавшись к Якову, взглянула на небо. Там уже загорались звезды; одна из них — большая, яркая и немерцающая — была ближе всех к земле и смотрела на нее холодным, неподвижным оком. За Машей подняли головы кверху и трое мальчиков. Пашка взглянул и тотчас же убежал куда-то. Илья смотрел долго, пристально, со страхом в глазах, а большие глаза Якова блуждали в синеве небес, точно он искал там чего-то.

— Яшка! — окликнул его товарищ, опуская голову.

— А?

— Я вот всё думаю... — голос Ильи оборвался.

— Про что? — тихонько спросил Яков.

— Как они... Убили человека... суетятся, бегают... говорят разное... А никто не заплакал... никто не пожалел...

— Еремей плакал...

— Он всегда уж... А Пашка-то какой? Ровно сказку рассказывал...

— Форсит... Ему — жаль, только он стыдится. А вот теперь побежал и, чай, так-то ли ревет,— держись!

Они посидели несколько минут молча, плотно прижавшись друг к другу.

Маша уснула на коленях Якова, лицо ее так и осталось обращенным к небу.

— А страшно тебе? — шёпотом спросил Яков.

— Страшно,— так же ответил Илья.

— Теперь душа ее ходить будет тут...

— Да-а... Машка-то спит...

— Надо стащить ее домой... А и шевелиться-то боязно...

— Идем вместе.

Яков положил голову спящей девочки на плечо себе, охватил руками ее тонкое тельце и с усилием поднялся на ноги, шёпотом говоря:

— Погоди, Илья, я вперед пойду...

Он пошел, покачиваясь под тяжестью ноши, а Илья шел сзади, почти упираясь носом в затылок товарища. И ему чудилось, что кто-то невидимый идет за ним, дышит холодом в его шею и вот-вот схватит его. Он толкнул товарища в спину и чуть слышно шепнул ему:

— Иди скорее!..

Вслед за этим событием начал прихварывать дедушка Еремей. Он всё реже выходил собирать тряпки, оставался дома и скучно бродил по двору или лежал в своей темной копуре. Приближалась весна, и в те дни, когда на небе ласково сияло теплое солнце,— старик сидел где-нибудь на припеке, озабоченно высчитывая что-то на пальцах и беззвучно шевеля губами. Сказки детям он стал рассказывать реже и хуже. Заговорит и вдруг закашляется. В груди у него что-то хрипело, точно просилось на волю.

— Будет тебе! — увещевала его Маша, любившая сказки больше всех.

— По...г-годи!.. — задыхаясь, говорил старик. — Сейчас... отступит...

Но кашель не отступал, а всё сильнее тряс иссохшее тело старика. Иногда ребятишки так и расходились, не дождавшись конца сказки, и, когда они уходили, дед смотрел на них особенно жалобно.

Илья заметил, что болезнь деда очень беспокоит буфетчика Петруху и дядю Терентия. Петруха по нескольку раз в день появлялся на черном крыльце трактира и, отыскав веселыми серыми глазами старика, спрашивал его:

— Как делишки, дедка? Полегче, что ли?

Коренастый, в розовой ситцевой рубашке, он ходил, засунув руки в карманы широких суконных штанов, заправленных в блестящие сапоги с мелким набором. В карманах у него всегда побрякивали деньги. Его круглая голова уже начинала лысеть со лба, но на ней еще много было кудрявых русых волос, и он молодецки встряхивал ими. Илья не любил его и раньше, но теперь это чувство возросло у мальчика. Он знал, что Петруха не любит деда Еремея, и слышал, как буфетчик однажды учил дядю Терентия:

— Ты, Тереха, надзирайте за ним! Он — скаред!.. У него в подушке-то, поди, накоплено немало. Не зовай! Ему, старому кроту, веку немного осталось; ты с ним в дружбе, а у него — ни души родной!.. Сообрази, красавец!..

Вечера дедушка Еремей по-прежнему проводил в трактире около Терентия, разговаривая с горбуном о боге и делах человеческих. Горбун, живя в городе, стал еще уродливее. Он как-то отсырел в своей работе; глаза у него стали тусклые, пугливые, тело точно растаяло в трактирной жаре. Грязная рубашка постоянно взползала на горб, обнажая поясницу. Разговаривая с кем-нибудь, Терентий всё время держал руки за спиной и оправлял рубашку быстрым движением рук, — казалось, он прячет что-то в свой горб.

Когда дед Еремей сидел на дворе, Терентий выходил на крыльцо и смотрел на него, прищуривая глаза и прислоняя ладонь ко лбу. Желтая бородавка на его остром лице вздрагивала, он спрашивал виноватым голосом:

— Дедушка Ерема! Не надо ли чего?

— Спасибо!.. Не надо... ничего не надо... — отвечал старик.

Горбун медленно поворачивался на тонких ногах и уходил.

— Не оправиться мне, — всё чаще говорил Еремей. — Видно — время помирать!

И однажды, ложась спать в норе своей, он, после приступа кашля, забормотал:

— Рано, господи! Дела я моего не сделал!.. Деньги-то... сколько годов копил... На церковь. В деревне своей. Нужны людям божии храмы, убежище нам... Мало накопил я... Господи! Ворон летает, чует кус!.. Илюша, знай: деньги у меня... Не говори никому! Знай!..

Илья, выслушав бред старика, почувствовал себя носителем важной тайны и понял, кто ворон.

Через несколько дней, придя из школы и раздеваясь в своем углу, Илья услышал, что Еремей всхлипывает и хрипит, точно его душат:

— Кш... кшш... про-очь!..

Мальчик боязливо толкнулся в дверь к деду, — она была заперта.

За нею раздавался торопливый шёпот:

— Кшш!.. Господи... помилуй... помилуй...

Илья прислонил лицо к щели в переборке, замер, присмотрелся и увидел, что старик лежит на своей постели вверх грудью, размахивая руками.

— Дедушка! — тоскливо окрикнул мальчик.

Старик вздрогнул, приподнял голову и громко забормотал:

— Петруха, — гляди, — бо-ог! Это ему! Это — на храм... Кш... Ворон ты... Господи... тво-ое!.. Сохрани... помилуй... помилуй...

Илья дрожал от страха, но не мог уйти, глядя, как бессильно мотающаяся в воздухе черная, сухая рука Еремея грозит крючковатым пальцем.

— Гляди — богово!.. Не моги!..

Потом дед весь подобрался и — вдруг сел на своем ложе. Белая борода его трепетала, как крыло летящего голубя. Он протянул руки вперед и, сильно толкнув ими кого-то, свалился на пол.

Илья, взвизгнув, бросился вон. В ушах у него шипело, преследуя его:

«Кш... кш...»

Мальчик вбежал в трактир и, задыхаясь, крикнул:

— Помер...

Терентий охнул, затопал ногами на одном месте и стал судорожно оправлять рубаху, глядя на Петруху, стоявшего за буфетом.

— Ну что ж? — перекрестясь, строго сказал буфетчик. — Царство небесное! Хороший был старичок, между прочим... Пойду... погляжу... Илья, ты побудь здесь, — понадобится что, прибеги за мной, — слышишь? Яков, стой за буфетом...

Петруха пошел, не торопясь, громко стучая каблучками... Мальчишки слышали, как за дверями он сказал горбуну:

— Иди, иди, — дурья голова!..

Илья был сильно испуган, но испуг не мешал ему замечать всё, что творилось вокруг.

— Ты видел, как он помирал? — спросил Яков из-за стойки.

Илья посмотрел на него и ответил вопросом:

— А зачем они пошли туда?..

— Смотреть!.. Ты же их позвал!..

Илья крепко закрыл глаза, говоря:

— Как он его толкал!..

— Кого? — любопытно вытянув голову, спросил Яков.

— Чёрта! — ответил Илья не сразу.

— Ты видел чёрта? — подбегая к нему, тихо крикнул Яков. Но товарищ его снова закрыл глаза, не отвечая.

— Испугался? — дергая его за рукав, спрашивал Яков.

— погоди! — вдруг сказал Илья. — Я... выбегу на минуту... Ты отцу не говори, — ладно?

Подгоняемый своей догадкой, он через несколько секунд был в подвале, бесшумно, как мышонок, подкрался к щели в двери и вновь прильнул к ней. Дед был еще жив, — хрипел... тело его валялось на полу у ног двух черных фигур.

Во мгле они обе сливались в одну — большую, уродливую. Илья разглядел, что дядя, стоя на коленях у ложа старика, торопливо зашивает подушку. Был ясно слышен шорох нитки, прoderгиваемой сквозь мате-

рию. Петруха, стоя сзади Терентия, наклонясь над ним, шептал:

— Скорее... Говорил я тебе — держи наготове иглу с ниткой... Так — нет, вздевать пришлось... Эх ты!

Шёпот Петрухи, вздохи умирающего, шорох нитки и жалобный звук воды, стекавшей в яму пред окном, — все эти звуки сливались в глухой шум, от него сознание мальчика помутилось. Он тихо откачнулся от стены и пошел вон из подвала. Большое черное пятно вертелось колесом перед его глазами и шипело. Идя по лестнице, он крепко цеплялся руками за перила, с трудом поднимал ноги, а дойдя до двери, встал и тихо заплакал. Пред ним вертелся Яков, что-то говорил ему. Потом его толкнули в спину и раздался голос Перфишки:

— Кто — кого? Чем — почему? Помер? Ах, ч-чёрт!.. — И, вновь толкнув Илью, сапожник побежал по лестнице так, что она затрещала под ударами его ног. Но внизу он громко и жалобно вскричал:

— Э-эхма-а!

Илья слышал, что по лестнице идут дядя, Петруха, ему не хотелось плакать при них, но он не мог сдержать своих слез.

— Ах ты!.. — восклицал Перфишка. — Так вы были уж там?

Терентий прошел мимо племянника, не взглянув на него, а Петруха, положив руку на плечо Ильи, сказал:

— Плачешь? Это хорошо... Значит, ты паренек благодарный и содеянное тебе добро можешь понимать. Старик был тебе ба-альшим благодетелем!..

И, легонько оттолкнув Илью в сторону, добавил:

— Но, между прочим, в дверях не стой...

Илья вытер лицо рукавом рубахи и посмотрел на всех. Петруха уже стоял за буфетом, встряхивая кудрями. Пред ним стоял Перфишка и лукаво ухмылялся. Но лицо у него, несмотря на улыбку, было такое, как будто он только что проиграл в орлянку последний свой пятак.

— Ну-с, чего тебе, Перфил? — поводя бровями, строго спросил Петруха.

— Могарыча не будет? — сказал Перфишка.

— По какому такому случаю? — медленно и строго спросил буфетчик.

— Эхма! — вскричал сапожник, притопнув ногой по полу. — И рот широк, да не мне пирог! Так тому и быть! Одно слово — желаю здравствовать вам, Петр Якимыч!

— Что ты мелешь? — миролюбиво спросил Петруха.

— Так я, — от простоты сердца!

— Стало быть, поднести тебе стаканчик, — к этому ты клонил? Хе-хе!

— Ха, ха, ха! — раскатился по трактиру звонкий смех сапожника.

Илья качнул головой, словно вытряхивая из нее что-то, и ушел.

Он лег спать не у себя в каморке, а в трактире, под столом, на котором Терентий мыл посуду. Горбун уложил племянника, а сам начал вытирать столы. На стойке горела лампа, освещая бока пузатых чайников и бутылки в шкафу. В трактире было темно, в окна стучал мелкий дождь, толкался ветер... Терентий, похожий на огромного ежа, двигал столами и вздыхал. Когда он подходил близко к лампе, от него на пол ложилась густая тень, — Илье казалось, что это ползет душа дедушки Еремея и шипит на дядю:

«Кш... кшш!...»

Мальчику было холодно и страшно. Душила сырость, — была суббота, пол только что вымыли, от него пахло гнилью. Ему хотелось попросить, чтобы дядя скорее лег под стол, рядом с ним, но тяжелое, нехорошее чувство мешало ему говорить с дядей. Воображение рисовало сутулую фигуру деда Еремея с его белой бородой, в памяти звучал ласковый скрипучий голос:

«Господь меру знает... Ничего-о!..»

— Ложился бы ты! — не вытерпев, сказал Илья жалобным голосом.

Горбун вздрогнул и замер. Потом тихо, робко ответил:

— Сейчас! Сейчас!.. — и завертелся около столов быстро, как кубарь. Илья, поняв, что дяде тоже страшно, подумал:

«Так тебе и надо!..»

Дробно стучал дождь. Огонь в лампе вздрагивал, а чайники и бутылки молча ухмылялись. Илья закрылся с головой дядиным полушубком и лежал, затаив дыхание. Но вот около него что-то завозилось. Он весь похолодел, высунул голову и увидал, что Терентий стоит на коленях, наклонив голову, так что подбородок его упирался в грудь, и шепчет:

— Господи, батюшка!.. Господи!

Шёпот был похож на хрип деда Еремея. Тьма в комнате как бы двигалась, и пол качался вместе с ней, а в трубах выл ветер.

— Не молись! — звонко крикнул Илья.

— Ой, что ты это? — вполголоса сказал горбун. — Спи, Христа ради!

— Не молись! — настойчиво повторил мальчик.

— Н-ну — не буду!..

Темнота и сырость всё тяжелее давили Илью, ему трудно было дышать, а внутри kloкотал страх, жалость к деду, злое чувство к дяде. Он завозился на полу, сел и застонал.

— Что ты? Что!.. — испуганно шептал дядя, хватая его руками. Илья отталкивал его и со слезами в голосе, с тоской и ужасом говорил:

— Господи! Хоть бы спрятаться куда-нибудь... Господи!

Слезы перехватили ему голос. Он с усилием глотнул гнилого воздуха и зарыдал, ткнув лицо в подушку.

Сильно изменился характер мальчика после этих событий. Раньше он держался в стороне только от учеников школы, не находя в себе желания уступать им, сближаться с ними. Но дома он был общителен со всеми, внимание взрослых доставляло ему удовольствие. Теперь он начал держаться одиноко и не по летам серьезно. Выражение его лица стало сухим, губы плотно сжались, он зорко присматривался ко взрослым и с подстрекательским блеском в глазах вслушивался в их речи. Его тяготило воспоминание о том, что он видел в день смерти деда Еремея, ему казалось, что и он вместе с Пет-

рухой и дядей тоже виноват пред стариком. Может быть, дед, умирая и видя, как его грабят, подумал, что это он, Илья, сказал Петрухе про деньги. Эта мысль родилась в Илье незаметно для него и наполнила душу мальчика скорбной тяжестью и всё более возбуждала подозрительное чувство к людям. Когда он замечал за ними что-нибудь нехорошее, ему становилось легче от этого, — как будто вина его пред дедом уменьшалась.

А нехорошего он видел много. Все во дворе называли буфетчика Петруху приемщиком краденого, мошенником, но все ласкались к нему, уважительно раскланивались и называли Петром Якимычем. Бабу Матицу звали бранным словом; когда она напивалась пьяная, ее толкали, били; однажды она, выпивши, села под окно кухни, а повар облил ее помоями... И все постоянно пользовались ее услугами, никогда ничем не вознаграждая ее, кроме ругани и побоев, — Перфишка приглашал ее мыть свою больную жену, Петруха заставлял бесплатно убирать трактир перед праздниками, Терентию она шпала рубахи. Она ко всем шла, всё делала безропотно и хорошо, любила ухаживать за больными, любила водиться с детьми...

Илья видел, что самый работающий человек во дворе — сапожник Перфишка — живет у всех на смеху, замечают его лишь тогда, когда он, пьяный, с гармоникой в руках, сидит в трактире или шляется по двору, наигрывая и распевая веселые, смешные песенки. Но никто не хотел видеть, как осторожно этот Перфишка вытаскивал на крыльцо свою безногую жену, как укладывал спать дочь, осыпая ее поцелуями и строя, для ее потехи, смешные рожи. И никто не смотрел на сапожника, когда он, смеясь и шутя, учил Машу варить обед, убирать комнату, а потом садился работать и шил до поздней ночи, согнувшись в три погибели над худым грязным сапогом.

Когда кузнеца увели в острог, никто не позаботился о его сыне, кроме сапожника. Он тотчас же взял Пашку к себе, Пашка сучил дратву, мыл комнату, бегал за водой и в лавочку — за хлебом, квасом, луком. Все видели сапожника пьяным в праздники, но никто не слышал, как на другой день, трезвый, он разговаривал с женой:

— Ты меня, Дуня, прости! Вездь я пью не потому, что потерянный пьяница, а — с устатку. Целую неделю работаешь,— скушно! Ну, и — хватишь!..

— Да разве я виною? О, господи! Жалею я тебя!.. — хриплым голосом говорила жена, и в горле у нее что-то переливалось.— Разве, думаешь, я твоих трудов не вижу? Камнем господь положил меня на шею тебе. Умереть бы!.. Освободить бы мне тебя!..

— Не моги так говорить! Я не люблю этих твоих речей. Я тебя обижаю, не ты меня!.. Но я это не потому, что злой, а потому, что — ослаб. Вот, однажды, переедем на другую улицу, и начнется всё другое... окна, двери... всё! Окна на улицу будут. Вырежем из бумаги сапог и на стекла наклеим Вывеска! И повалит к нам вар-род! За-акипит дело!.. Э-эх ты! Дуй, бей,— давай углей! Шибко живем, деньги куем!

Илья знал до мелочей жизнь Перффишки, видел, что он бьется, как рыба об лед, и уважал его за то, что он всегда со всеми шутил, всегда смеялся и великолепно играл на гармонии.

А Петруха сидел за буфетом, играл в шашки да с утра до вечера пил чай и ругал половых. Вскоре после смерти Еремея он стал приучать Терентия к торговле за буфетом, а сам всё только расхаживал по двору да посвистывал, разглядывая дом со всех сторон и стучая в стены кулаками.

Много замечал Илья, но всё было нехорошее, скучное и толкало его в сторону от людей. Иногда впечатления, скопляясь в нем, вызывали настойчивое желание поговорить с кем-нибудь. Но говорить с дядей не хотелось: после смерти Еремея между Ильей и дядей выросло что-то невидимое, но плотное и мешало мальчику подходить к горбуну так свободно и близко, как раньше. А Яков ничего не мог объяснить ему, живя тоже в стороне ото всего, но на свой особый лад.

Его опечалила смерть старого тряпичника. Он часто с жалобой в голосе и на лице вспоминал о нем.

— Скушно стало!.. Кабы жив был дедушка Ерема — сказки бы рассказывал нам; ничего нет лучше сказок!

Однажды Яков таинственно сказал товарищу:

— Хочешь — я покажу тебе одну штуку? Только сперва побожись, что никому не скажешь! Будь я, анафема, проклят,— скажи!..

Илья повторил клятву, и тогда Яков отвел его в угол двора, к старой липе. Там он снял со ствола искусно прикрепленный к нему кусок коры, и под нею в дереве открылось большое отверстие. Это было дупло, расширенное ножом и красиво убранное внутри разноцветными тряпочками и бумажками, свинцом от чая, кусочками фольги. В глубине этой дыры стоял маленький, литой из меди образок, а пред ним был укреплен огарок восковой свечи.

— Видал? — спросил Яков, снова прилаживая кусок коры.

— Это зачем?

— Часовня! — объяснил Яков. — Я буду, по ночам, тихонечко уходить сюда молиться... Ладно?

Илье понравилась мысль товарища, но он тотчас же сообразил опасность затеи.

— А увидят огонь-то? Выпорет тогда отец тебя!..

— Ночью — кто увидит? Ночью все спят; на земле совсем тихо... Я — маленький: днем мою молитву богу не слышно... А ночью-то будет слышно!.. Будет?

— Не знаю!.. Может, услышит!.. — задумчиво сказал Илья, глядя на большеглазое бледное лицо товарища.

— Ты со мной будешь молиться? — спросил Яков.

— А ты о чем хочешь молиться? Я о том, чтобы умным быть... И еще — чтобы у меня всё было, чего захочу!.. А ты?

— И я тоже...

Но подумав, Яков объяснил:

— Я просто так хотел,— безо всего... Просто бы молился, и всё тут!.. А он как хочет!.. Что даст...

Они уговорились начать молиться в эту же ночь, и оба легли спать с твердым намерением проснуться в полночь. Но не проснулись ни в эту, ни в следующую, и так проспали много ночей. А потом у Ильи явились новые впечатления, заслонив часовню.

На той же липе, в которой Яков устроил часовню,— Пашка вешал западни на чижей и синиц. Ему жилось

тяжело, он похудел, осунулся. Бегать по двору ему было некогда: он целые дни работал у Перфишки, и только по праздникам, когда сапожник был пьян, товарищи видели его. Пашка спрашивал их о том, что они учат в школе, и завистливо хмурился, слушая их рассказы, полные сознанием превосходства над ним.

— Не больно зазнавайтесь,— выучусь и я!..

— Перфишка-то не пустит!..

— А я убегу,— решительно говорил Пашка.

И действительно, вскоре сапожник говорил, посмеиваясь:

— Подмастерье-то мой! Сбежал, дьяволенок!..

День был дождливый. Илья поглядел на растрепанного Перфишку, на серое, угрюмое небо, и ему стало жалко товарища. Он стоял под навесом сарая, прижавшись к стене, и смотрел на дом, — казалось, что дом становится всё ниже, точно уходит в землю. Старые ребра выпячивались всё более, как будто грязь, накопленная в его внутренностях за десятки лет, распирала дом и он уже не мог сдерживать ее. Насквозь пропитанный несчастьями, всю жизнь свою всасывая пьяные крики, пьяные, горькие песни, расшатанный, избитый ударами ног по доскам его пола, — дом не мог больше жить и медленно разваливался, печально глядя на свет божий тусклыми стеклами окон.

— Эхма! — говорил сапожник. — Скоро лопнет лукошко, рассыплются грибы. Поползем мы, жители, кто куда... Будем искать себе щелочек по другим местам!.. Найдем и жить по-другому будем... Всё другое заведется: и окна, и двери, и даже клопы другие будут кусать!.. Скорее бы! А то надоел мне этот дворец!..

Но сапожник напрасно мечтал: дом не разорвало, его купил буфетчик Петруха. Купив, он дня два озабоченно шупал и ковырял эту кучу старого дерева. Потом привезли кирпичей, досок, обставили дом лесами, и месяца два он стонал и вздрагивал под ударами топоров. Его пилили, рубили, вколачивали в него гвозди, с треском и пылью выламывали его гнилые ребра, вставляли новые и наконец, увеличив дом в ширину новой пристройкой, — обшили его тесом. Приземистый, широкий, он теперь стоял на земле прямо, точно пу-

стил в нее новые корни. На его фасаде Петруха повесил большую вывеску — золотом по синему полю было написано:

«Веселое убежище друзей П. Я. Филимонова».

— А внутри он все-таки гнилой! — сказал Перфишка.

Илья, слыша это, сочувственно улыбнулся. И ему перестроенный дом казался обманом. Он вспомнил о Пашке, который жил где-то в другом месте и видел всё иное. Илья, как и сапожник, тоже мечтал о других окнах, дверях, людях... Теперь в доме стало еще хуже, чем раньше. Старую липу срубили, укромный уголок около нее исчез, занятый постройкой. Исчезли и другие любимые места, где, бывало, беседовали ребяташки. Только на месте кузницы, за огромной кучей щеп и гнилушек, образовался уютный угол, но там было страшно сидеть, — всё чудилось, что под этой кучей лежит Савелова жена с разбитой головой.

Петруха отвел дяде Терентию новое помещение — маленькую комнатку за буфетом. В нее сквозь тонкую переборку, заклеенную зелеными обоями, проникали все звуки из трактира, и запах водки, и табачный дым. В ней было чисто, сухо, но хуже, чем в подвале. Окно упиралось в серую стену сарая; стена загораживала небо, солнце, звезды, а из окошка подвала всё это можно было видеть, встав пред ним на колени...

Дядя Терентий оделся в сиреневую рубаху, надел свех ее пиджак, который висел на нем, как на ящике, и с утра до вечера торчал за буфетом. Теперь он стал говорить с людьми на «вы», отрывисто, сухим голосом, точно лаял, и смотрел на них из-за стойки глазами собаки, охраняющей хозяйское добро. Илье он купил серую суконную курточку, сапоги, пальто и картуз, и, когда мальчик падел эти вещи, ему вспомнился старый тряпичник. Он почти не разговаривал с дядей, жизнь его тянулась однообразно, медленно. Всё чаще он вспоминал о деревне; теперь ему особенно ясно казалось, что там лучше жить: тише, понятнее, проще. Вспоминались густые леса Керженца, рассказы дяди Терентия об отшельнике Антипе, а мысль об Антипе рождала другую — о Пашке. Где он? Может быть, тоже убежал в лес, вы-

рыл там пещеру и живет в ней. Гудит в лесу вьюга, воют волки. Это страшно, но сладко слышать. А зимой, в хорошую погоду, там всё блестит серебром и бывает так тихо, что ничего не слышать, кроме того, как снег хрустит под ногой, и если стоять неподвижно, тогда услышишь только одно свое сердце.

В городе всегда шумно и бестолково, даже ночь полна звуков. Поют песни, кричат, стонут, ездят извозчики, от стука их пролеток и телег вздрагивают стекла в окнах. Озорничают мальчишки в школе, большие ругаются, дерутся, пьянствуют. Люди все какие-то взбалмошные — то жулики, как Петруха, то злые, как Савел, или никчемные вроде Перфишки, дяди Терентия, Матицы... Сапожник всех больше поражал Илью своей жизнью.

Однажды утром, когда Илья собрался в школу, Перфишка пришел в трактир растрепанный, невыспавшийся и молча встал у буфета, глядя на Терентия. Левый глаз у него вздрагивал и прищуривался, нижняя губа смешно отвисла. Дядя Терентий взглянул на него, улыбнулся и налил сапожнику стаканчик за три копейки, обычную Перфишкину порцию утром. Перфишка взял стакан дрожащей рукой, опрокинул его в рот, но не крикнул, не выругался, как всегда. Он снова уставился на буфетчика странно вздрагивающим левым глазом, а правый был тускл, неподвижен и как будто не видал ничего.

— Что это у вас с глазом-то? — спросил Терентий.

Перфишка потер глаз рукой, поглядел на палец и вдруг громко, внятно сказал:

— Супруга наша Авдотья Петровна скончалась...

Терентий, взглянув на образ, перекрестился.

— Царствие ей небесное!

— А? — спросил Перфишка, упорно разглядывая лицо Терентия.

— Говорю: царствие ей небесное!

— Да-с... Померли!.. — сказал сапожник. Круто повернулся и ушел.

— Чудак! — сокрушенно качая головой, проговорил Терентий. Илье сапожник тоже показался чудаком... Идя в школу, он на минутку зашел в подвал посмотреть на покойницу. Там было темно и тесно.

Пришли бабы сверху и, собравшись кучей в углу, где стояла постель, вполголоса разговаривали. Матица примеривала Маше какое-то платьишко и спрашивала:

— Под мышками режет?

А Маша растопырила руки и тянула капризным голосом:

— Да-а-а!..

Сапожник, согнувшись, сидел на столе, смотрел на дочь, и глаз у него всё мигал. Илья взглянул на белое, пухлое лицо усопшей, вспомнил ее темные глаза, теперь навсегда закрывшиеся, и ушел, унося тяжелое, жуткое чувство.

А когда он воротился из школы и вошел в трактир, то услышал, что Перфишка играет на гармонии и уда-
лым голосом поет:

Эх ты, моя милая,
Мое сердце вынула.
Зачем сердце вынула,
Д'куды его кинула?

— Их — ты!.. Выгнали меня бабы! Пошел, кричат, вон, изверг неестественный! Морда, говорят, пьяная... Я не сержусь... я терпеливый... Ругай меня, бей! только дай мне пожить немножко!.. дай, пожалуйста! Эхма! Братья! Всем пожить хочется,— вот в чем штука! У всех душа одинакова, что у Васьки, что у Якова!..

Кто там рыдает?
Чего ожидает?
Молчи, не тужи,
Суши корочки гложки!

Рожа у Перфишки была отчаянно веселая; Илья смотрел на него с отвращением и страхом. Ему подумалось, что бог жестоко накажет сапожника за такое поведение в день смерти жены. Но Перфишка был пьян и на другой день, за гробом жены он шел спотыкаясь, мигал глазом и даже улыбался. Все его ругали, кто-то даже ударил по шее...

— Вот так — а-яй!.. — сказал Илья товарищу вечером после похорон. — Перфишка-то? Настоящий еретик!

— Пес с ним! — равнодушно отозвался Яков.

Илья и раньше замечал, что с некоторого времени Яков изменился. Он почти не выходил гулять на двор, а всё сидел дома и даже как бы нарочно избегал встречи с Ильей. Сначала Илья подумал, что Яков, завидуя его успехам в школе, учит уроки. Но и учиться он стал хуже; учитель постоянно ругал его за рассеянность и непонимание самых простых вещей. Отношение Якова к Перфишке не удивило Илью: Яков почти не обращал внимания на жизнь в доме, но Илье захотелось узнать, что творится с товарищем, и он спросил его:

— Ты что какой стал? Не хочешь, что ли, дружить со мной?

— Я? Что ты врешь? — удивленно воскликнул Яков и вдруг быстро заговорил: — Слушай, ты — иди домой!.. Иди, я сейчас тоже приду... Что я тебе покажу!

Он сорвался с места и убежал, а Илья, заинтересованный, пошел в свою комнату. Яков прибежал, запер за собой дверь и, подойдя к окну, вынул из-за пазухи какую-то красную книжку.

— Иди сюда! — тихо сказал он, усевшись на постель дяди Терентия и указывая Илье место рядом с собою. Потом развернул книжку, положил ее на колени, согнулся над нею и начал читать:

— «Вдали храбрый рыцарь увидел гору... высотой до небес, а в середине ее железную дверь. Огнем отваги запылало... его мужественное сердце, он наклонил копьё и с громким криком помчался вперед, приш...порив коня, и со всей своей могучей силой ударил в ворота. Тогда раздался страшный гром... железо ворот разлетелось в куски... и в то же время из горы хлынуло пламя и дым и раздался громовой голос... от которого сотряслась земля и с горы посыпались камни к ногам рыцарева коня. „Ага! ты явился... дерзкий безумец!.. Я и смерть давно ждали тебя!..“ Ослепленный дымом рыцарь...»

— Кто это? — удивленно спросил Илья, вслушиваясь в дрожащий от волнения голос товарища.

— А? — откликнулся Яков, подняв от книги бледное лицо.

— Кто это — рыцарь?

— Это такой... верхом на коне... с копьём... Рауль Бесстрашный... у него дракон невесту утащил... Прекрасная Луиза... да — ты слушай, чёрт!..— нетерпеливо крикнул Яков.

— Валяй, валяй!.. Погоди,— а дракон кто?

— Змея с крыльями... и с ногами... когтищи у нее железные... Три головы... и все дышат огнем — понимаешь?

— Здо-орово! — сказал Илья, широко открыв глаза.— Эдак-то он этому — за-адаст!..

Плотно прижавшись друг к другу, мальчики с трепетом любопытства и странной, согревающей душу радостью входили в новый, волшебный мир, где огромные, злые чудовища погибали под могучими ударами храбрых рыцарей, где всё было величественно, красиво и чудесно и не было ничего похожего на эту серую, скучную жизнь. Не было пьяных маленьких людей, одетых в лохмотья, вместо полугнилых деревянных домов стояли дворцы, сверкая золотом, неприступные замки из железа возвышались до небес. Дети входили в страну чудесных вымыслов, а рядом с ними играла гармоника и разудалый сапожник Перффишка отчетливо выговаривал:

Меня после смерти —
Не утащат черти!
Я живой того добыюсь,
Как до чёртиков напьюсь!

— Наяривай! Бог веселых любит!

Гармоника захлебывалась звуками, торопясь догнать звонкий голос сапожника, а он вперегонку с ней отчеканивал плясовой мотив:

И не пищи, что смолоду
И-н-атерпелся холоду,
Сдохнешь — в ад попадешь,
А там — будет жарко!

Каждый куплет частушки вызывал рев одобрений, взрывы хохота.

А в маленькой конуре, отделенной от этой бури звуков тонкими досками, два мальчика согнулись над книгой, и один из них тихо шептал:

— «Тогда рыцарь стиснул чудовище в своих железных объятиях, и оно громоподобно заревело от боли и ужаса...»

После книги о рыцаре и драконе явился «Гуак, или Непреоборимая верность», «История о храбром принце Францыле Венециане и прекрасной королевне Ренцивене». Впечатления действительности уступили в душе Ильи место рыцарям и дамам. Товарищи по очереди крали из выручки двугривенные, и недостатка в книгах у них не было. Они ознакомились с похождениями «Яшки Смертенского», восхищались «Япанчой, татарским наездником» и всё дальше уходили от неприглядной жизни в область, где люди всегда разрушали злые ковы судьбы, всегда достигали счастья.

Однажды Перфишку вызвали в полицию. Он ушел встревоженный, а воротился веселый и привел с собой Пашку Грачева, крепко держа его за руку. Пашка был такой же остроглазый, только страшно похудел, пожелтел, и лицо у него стало менее задорным. Сапожник притащил его в трактир и там рассказывал, судорожно подмигивая глазом:

— А вот вам, люди добрые, сам Павлуха Грачев! Только что прибыл из города Пензы по этапу... Вот какой народ нарождается,— не сидя на печи, счастья дожидается, а как только на задние лапы встает — сам искать счастья идет!

Пашка стоял рядом с ним, засунув одну руку в карман драных штанов, а другую всё пытался выдернуть из руки сапожника, искоса, угрюмо поглядывая на него. Кто-то посоветовал сапожнику выпороть Пашку, но Перфишка серьезно возразил:

— Зачем? Пускай его ходит, авось, счастье найдет.

— А ведь он, поди-ка, голодный! — догадался Терентий и, протянув мальчику кусок хлеба, сказал ему:

— Пашка, на!

Мальчик, не торопясь, взял хлеб и пошел вон из трактира.

— Фи-ю-ю! — свистнул сапожник вслед ему. — До свидания, нежное создание!

Илья, наблюдавший эту сцену из двери своей комнаты, поманил Пашку к себе, но, прежде чем войти к нему, Пашка нерешительно остановился, а войдя, подозрительно оглядел комнату и сурово спросил:

- Что надо?
- Здравствуй!..
- Ну, здравствуй!..
- Садись!..
- А зачем?
- Так!.. Поговорим!..

Илью смущали сердитые вопросы Грачева и его сиповатый голос. Ему хотелось расспросить Пашку, где он был, что видел. Но Пашка уселся на стул и с решительным видом, кусая хлеб, сам начал расспрашивать:

- Кончил учиться-то?
- Весной кончу!
- А я уж выучился!..
- Н-ну? — недоверчиво воскликнул Илья.
- У меня живо!
- А где ты учился?
- В остроге, у арестантов!..

Илья подошел ближе к нему и, с уважением глядя на его худое лицо, спросил:

- Страшно там?
- Ничего не страшно!.. Я во многих острогах был... в разных городах... Я, брат, к господам прилип там... И барыни были тоже... настоящие! На разных языках говорят. Я им камеры убирал! Веселые, черти, даром что арестанты!..

— Разбойники?

— Самые настоящие воры, — с гордостью выговорил Пашка.

Илья мигнул глазами и почувствовал еще больше уважения к Пашке.

— Русские они? — спросил он.

— Некоторые жида... Первый сорт народ!.. Они, брат, ого-го какие! Грабили всех как следует!.. Ну, их поймали да — в Сибирь!

— Как же ты выучился?

— А так... Говорю: выучите меня, — они и выучили...

— И читать и писать?

— Писать плохо!.. А читать — сколько хочешь могу! Я уж много книжек читал!..

Речь о книжках оживила Илью.

— И я с Яковом читаю!

Оба они наперебой друг перед другом стали называть прочитанные книжки. Вскоре Павел со вздохом сказал:

— Да-а, вы, черти, больше прочитали! А я — всё стихи... Там много было всяких, но хорошие-то только стихи...

Пришел Яков, удивленно выкатил глаза и засмеялся.

— Овца! — встретил его Пашка. — Чего хохочешь?

— Ты где был?

— Тебе туда не дойти!..

— Знаешь, — сказал Илья товарищу, — и он тоже книжки читал...

— О? — воскликнул Яков и тотчас же заговорил с Пашкой более дружески. Три мальчика уселись рядом, и между ними загорелся бессвязный, быстрый, удивительно интересный разговор.

— Я такие штуки видал — рассказать нельзя! — с гордостью и воодушевленно говорил Пашка. — Один раз не жрал двое суток... совсем ничего! В лесу ночевал... Один.

— Боязно? — спросил Яков.

— Поди, ночуй, — узнаешь! А то собаки меня загрызли было... Был в городе Казани... Там есть памятник одному, — за то, что стихи сочинял, поставили... Огромный был мужик!.. Ножищи у него во какие! А кулак с твою голову, Яшка! Я, братцы, тоже стихи сочинять буду, я уж научился немножко!..

Он вдруг съезжился, подобрал под себя ноги и, пристально глядя в одну точку, — нахмуренный, важный, — скороговоркой сказал:

По улице люди идут,
Все они одеты и сыты,
А попроси у них поесть,
Так они скажут — поди ты
Прочь!..

Он кончил, взглянул на мальчиков и тихо опустил голову. С минуту длилось неловкое молчание. Потом Илья осторожно спросил:

— Это разве стихи?

— А ты не слышишь? — сердито крикнул Пашка. — Сказано: сыты — поди ты, — значит, стихи!..

— Конечно, стихи! — торопливо воскликнул Яков. — Ты всегда придираешься, Илья!

— Я и еще сочинил, — оживленно обратился Пашка к Якову и тотчас же быстро выпалил:

Тучи — серы, а земля — сыра,
Вот приходит осенняя пора,
А у меня ни кола, ни двора,
И вся одежда — на дыре дыра!

— О-г-го-о! — протянул Яков, широко раскрыв глаза.

— Вот это уж — прямо стихи! — в тон ему подтвердил Илья.

Лицо Пашки вспыхнуло слабым румянцем, и глаза его так сощурились, точно в них откуда-то дым попал.

— Я и длинные стихи буду сочинять! — похвально ох. — Это ведь не больно трудно! Идешь и видишь — лес — лесá, небо — небеса!.. А то поле — воля!.. Само собой выходит!

— А теперь что ты будешь делать? — спросил его Илья.

Пашка мигнул глазами, оглянулся вокруг, помолчал и, наконец, негромко и неуверенно сказал:

— Что-нибудь!..

Но тотчас же снова решительным голосом объявил:

— А потом — опять убегу!..

Он стал жить у сапожника, и каждый вечер ребята собирались к нему. В подвале было тише и лучше, чем в каморке Терентия. Перфишка редко бывал дома — он пропил всё, что можно было пропить, и теперь ходил работать поуденно по чужим мастерским, а если работы не было — сидел в трактире. Он ходил полуголый, босый, и всегда под мышкой у него торчала старенькая гармония. Она как бы срослась с его телом, он вложил в нее частицу своей веселой души, и оба стали похожи

друг на друга — оборванные, угловатые, полные задорных песен и трелей. Вся мастеровщина в городе знала Перфишку как неистощимого творца разудалых и смешных «частушек», — сапожник был желанным гостем в каждой мастерской. Его любили за то, что тяжелую, скучную жизнь рабочего люда он скрашивал песнями и складными, шутливыми рассказами о разных разностях.

Когда ему удавалось заработать несколько копеек, он половину отдавал дочери — этим и ограничивались его заботы о ней. Она была полной хозяйкой своей судьбы. Она очень выросла, ее черные кудри спустились до плеч, темные глаза стали серьезнее и больше, и — тоненькая, гибкая — она хорошо играла роль хозяйки в своей норе: собирала щепы на постройках, пробовала варить какие-то похлебки и до полудня ходила с подоткнутом подолом, вся испачканная сажей, мокрая, озабоченная. А состряпав обед, убирала комнату, мылась, одевала чистое платье и садилась за стол к окну чинить что-нибудь из одежды.

К ней часто приходила Матица, принося с собой булки, чай, сахар, а однажды она даже подарила Маше голубое платье. Маша вела себя с этой женщиной, как взрослый человек и хозяйка дома; ставила маленький жестяной самовар, и, попивая горячий, вкусный чай, они говорили о разных делах и ругали Перфишку. Матица ругалась с увлечением, Маша вторила ей тонким голосом, но — без злобы, только из вежливости. Во всем, что она говорила про отца, звучало снисхождение к нему.

— А чтоб в него печенки зсохлись! — гудела Матица, свирепо поводя бровями. — Что ж? Забыл он, пьянчуга, что в него дитя малое осталось? Гадка́ его морда, чтоб здох, як пес!

— Он ведь знает, что я уж большая и всё сама могу... — говорила Маша.

— Боже мой, боже! — тяжело вздыхала Матица. — Что же это творится на свете белом? Что будет с девочкой? Вот и у меня была девочка, как ты!.. Осталась она там, дома, у городи Хороли... И это так далеко — город Хорол, что если б меня и пустили туда, так не нашла бы

я до него дороги... Вот так-то бывает с человеком!.. Живет он, живет на земле и забывает, где его родина...

Маше нравилось слушать густой голос этой женщины с глазами коровы. И хотя от Матицы всегда пахло водкой — это не мешало Маше влезать на колени бабе, крепко прижимаясь к ее большой, бугром выступавшей вперед груди, и целовать ее в толстые губы красиво очерченного рта. Матица приходила по утрам, а вечером у Маши собирались ребятишки. Они играли в карты, если не было книг, но это случалось редко. Маша тоже с большим интересом слушала чтение, а в особенно страшных местах даже вскрикивала тихонько.

Яков относился к девочке еще более заботливо, чем прежде. Он постоянно таскал ей из дома куски хлеба и мяса, чай, сахар, керосин в бутылках из-под пива, иногда давал деньги, оставшиеся от покупки книг. Он привык делать всё это, и всё выходило у него как-то незаметно, а Маша относилась к его заботам как к чему-то вполне естественному и тоже не замечала их.

— Яша! — говорила она, — углей нет!

Через некоторое время он или приносил ей угли, или давал семишник, говоря:

— Ступай, купи!.. Украсть нельзя было!

Илья тоже привык к этим отношениям, да и все на дворе как-то не замечали их. Порой Илья и сам, по поручению товарища, крал что-нибудь из кухни или буфета и тащил в подвал к сапожнику. Ему нравилась смуглая и тонкая девочка, такая же сирота, как сам он, а особенно нравилось, что она умеет жить одна и всё делает, как большая. Он любил видеть, как она смеется, и постоянно старался смешить Машу. А когда это не удавалось ему — Илья сердился и дразнил девочку:

— Черномазая чумичка!

Она прищуривала глаза и говорила:

— Скуластый чёрт!..

Слово за слово, и они ссорились серьезно: Маша быстро свирепела и бросалась на Илью с намерением поцарапать его, но он со смехом удовольствия убегал от нее.

Однажды, за картами, он уличил Машу в плутовстве и в ярости крикнул ей:

— Яшкина любовница!

А затем прибавил еще одно грязное слово, значение которого было известно ему. Яков был тут же. Сначала он засмеялся, но, увидав, что лицо его подруги искажилось от обиды, а на глазах ее блестят слезы, он замолчал и побледнел. И вдруг вскочил со стула, бросился на Илью, ударил его в нос и, схватив его за волосы, повалил на пол. Всё это произошло так быстро, что Илья даже защититься не успел. А когда он, ослепленный болью и обидой, встал с пола и, наклонив голову, быком пошел на Якова, говоря ему: «Н-ну, держись! Я тебя...» — он увидел, что Яков жалобно плачет, облокотясь на стол, а Маша стоит около него и говорит тоже со слезами в голосе:

— Не дружись с ним. Он поганый... Он злющий! Они все злые — у него отец в каторге... а дядя горбатый!.. У него тоже горб вырастет! Пакостник ты! — смело наступая на Илью, кричала она. — Дрянь паршивая!.. тряпичная душа! Ну-ка, иди? Как я тебе рожу-то расцарапаю! Ну-ка, сунься!

Илья не сунулся. Ему стало нехорошо при виде плачущего Якова, которого он не хотел обижать, и было стыдно драться с девчонкой. А она стала бы драться, это он видел. Он ушел из подвала, не сказав ни слова, и долго ходил по двору, нося в себе тяжелое, нехорошее чувство. Потом, подойдя к окну Перфишкиной квартиры, он осторожно заглянул в нее сверху вниз. Яков с подругой снова играли в карты. Маша, закрыв половину лица веером карт, должно быть, смеялась, а Яков смотрел в свои карты и нерешительно трогал рукой то одну, то другую. Илье стало грустно. Он походил по двору еще немного и смело пошел в подвал.

— Примите меня! — сказал он, подходя к столу.

Сердце у него билось, а лицо горело и глаза были опущены. Яков и Маша молчали.

— Я не буду ругаться!.. ей-богу, не буду! — сказал Илья, взглянув на них.

— Ну, уж садись, — эх ты! — сказала Маша.

А Яков строго добавил:

— Дурачина! Не маленький... Понимай, что говоришь...

— А как ты меня? — с упрёком сказал Илья Якову.
— За дело! — резонным тоном сказала ему Маша.
— Ну, ладно! Я ведь не сержусь... я виноват-то!.. — сознался Илья и смущенно улыбнулся Якову. — И ты не сердись — ладно?

— Ладно! Держи карты...

— Дикий чёрт! — сказала Маша, и этим всё закончилось.

Через минуту Илья, нахмутив брови, погрузился в игру. Он всегда садился так, чтобы ему можно было ходить к Маше: ему страшно нравилось, когда она проигрывала, и во всё время игры Илья упорно заботился об этом. Но девочка играла ловко, и чаще всего проигрывал Яков.

— Эх ты, лупоглазый! — с ласковым сожалением говорила Маша. — Опять дурак!

— Ну их к лешему, карты! Надоело! Давайте читать!

Они доставали растрепанную и испачканную книжку и читали о страданиях и подвигах любви.

Когда Пашка Грачев присмотрелся к их жизни, он сказал тоном бывалого человека:

— А вы, черти, здорово живете!

Потом он поглядел на Якова и Машу и с усмешкой, но серьезно добавил:

— А потом ты, Яков, возьми замуж Машку!

— Дурак!.. — смеясь, сказала Маша, и все четверо захохотали.

Когда прочитывали книжку или уставали читать, Пашка рассказывал о своих приключениях, — его рассказы были интересны не менее книг.

— Как уразумел я, братцы, что нет мне ходу без пачпорта, — начал я хитрить. Увижу будочника — иду скоро, будто кто послал меня куда, а то так держусь около какого-нибудь мужика, будто он хозяин мой, или, там, отец, или кто... Будочник поглядит и ничего, — не хватает... В деревнях хорошо, там будочников совсем нет: одни старики да старухи и ребятишки, а мужики в поле. Спросят: «Кто такой?» — «Нищий...» — «Чей?» — «Без роду...» — «Откуда?» — «Из города». Вот и всё! Поят, кормят хорошо. Идешь это... идешь, как хочется:

хоть бегом лупи, хоть на брюхе ползи... Поле везде, лес... жаворонки поют... так бы к ним и полетел! Коли сыт — ничего не хочется, всё бы и шел до самого до края света. Как будто кто тащит тебя вперед... как мать несет. А то и голодал я — фью-ю! Бывало, кишки трещали — вот до чего брюхо высыхало! Хоть землю жри! В башке мутилось... Зато как добьешься хлеба да воткнешь в него зубы-то — ы-ых! День и ночь ел бы. Хорошо было!.. А все-таки как в тюрьму попал — обрадовался... Сначала испугался, а уж потом радостно стало! Очень я будочников боялся. Думаю, схватят меня да ка-ак начнут пороть — и заперют! А он меня легонько... подошел сзади да за шиворот — цап! Я у магазина на часы смотрел... Множество часов — золотые и разные. Цап! Я как зареву! А он меня ласково: «Кто ты, да откуда?» Ну, я и сказал, — всё равно они узнали бы: они всё знают... Он меня в полицию... Там разные господа... «Куда идешь?» — «Странствую...» Хохочут... Потом в тюрьму... Там тоже все хохочут. А потом господа эти меня к себе приспособили... Вот черти были! Ого-го!

О господах он говорил больше междометиями, — очевидно, они очень поразили его воображение, но их фигуры как-то расплылись в памяти и смешались в одно большое, мутное пятно. Прожив у сапожника около месяца, Пашка снова исчез куда-то. Потом Перфишка узнал, что он поступил в типографию и живет где-то далеко в городе. Услышав об этом, Илья с завистью вздохнул и сказал Якову:

— А мы с тобой, видно, так тут и прокиснем...

Первое время после исчезновения Пашки Илье чего-то не хватало, но вскоре он снова попал в колею чудесного и чуждого жизни. Снова началось чтение книжек, и душа Ильи погрузилась в сладкое состояние полудремоты.

Пробуждение было грубо и неожиданно — однажды утром дядя разбудил его, говоря:

— Умойся почище, да скорее...

— Куда? — сонно спросил Илья.

— На место! Слава богу! Нашлось!.. В рыбной лавке будешь служить.

У Илья сжалось сердце от неприятного предчувствия. Желание уйти из этого дома, где он всё знал и ко всему привык, вдруг исчезло, комната, которую он не любил, теперь показалась ему такой чистой, светлой. Сидя на кровати, он смотрел в пол, и ему не хотелось одеваться... Пришел Яков, хмурый и нечесанный, склонил голову к левому плечу и, вскользь взглянув на товарища, сказал:

— Иди скорее, отец ждет... Ты приходишь сюда будешь?

— Буду...

— То-то... К Маньке зайди проститься.

— Чай, не навсегда уйду, — сердито молвил Илья.

Манька сама пришла. Она встала у дверей и, поглядев на Илью, грустно сказала:

— Вот тебе и прощай!

Илья с сердцем рванул курточку, которую надевал, и выругался. Манька и Яков, оба враз, глубоко вздохнули.

— Так приходи же! — сказал Яков.

— Да ла-адно! — сурово ответил Илья.

— Ишь зафорсил, приказчик!.. — заметила Маша.

— Эх ты — ду-ура! — тихо и с укором ответил Илья.

Через несколько минут он шел по улице с Петрухой, парадно одетым в длинный сюртук и скрипучие сапоги, и буфетчик внушительно говорил ему:

— Веду я тебя служить человеку почтенному, всему городу известному, Кириллу Иванычу Строганому... Он за доброту свою и благодеяния медали получал — не токмо что! Состоит он гласным в думе, а может, будет избран даже в градские головы. Служи ему верой и правдой, а он тебя, между прочим, в люди произведет... Ты парнишка сурьезный, не баловник... А для него оказать человеку благодеяние — всё равно что плюнуть...

Илья слушал и пытался представить себе купца Строганого. Ему почему-то стало казаться, что купец этот должен быть похож на дедушку Еремея, — такой же тощий, добрый и приятный. Но когда он пришел в лавку, там за конторкой стоял высокий мужик с огромным жи-

вотом. На голове у него не было ни волоса, но лицо от глаз до шеи заросло густой рыжей бородой. Брови тоже были густые и рыжие, под ними сердито бегали маленькие зеленоватые глазки.

— Кланяйся! — шепнул Петруха Илье, указывая глазами на рыжего мужика. Илье разочарованно опустил голову.

— Как зовут? — загудел в лавке густой бас. — Ну, Илье, гляди у меня в оба, а зри — в три! Теперь у тебя, кроме хозяина, никого нет! Ни родных, ни знакомых — понял? Я тебе мать и отец, — а больше от меня никаких речей не будет...

Илье исподлобья осматривал лавку. В корзинах со льдом лежали огромные сомы и осетры, на полках были сложены сушеные судаки, сазаны, и всюду блестяли жестяные коробки. Густой запах тузлука стоял в воздухе, в лавке было душно, тесно. На полу в больших чанах плавала живая рыба — стерляди, налимы, окуни, язи. Но одна небольшая щука дерзко металась в воде, толкала других рыб и сильными ударами хвоста разбрызгивала воду на пол. Илье стало жалко ее.

Один из приказчиков — маленький, толстый, с круглыми глазами и крючковатым носом, очень похожий на филина, — заставил Илью выбирать из чана уснувшую рыбу. Мальчик засучил рукава и начал хватать рыб как попало.

— За башки бери, дубина! — вполголоса сказал приказчик.

Иногда Илье по ошибке хватал живую неподвижно стоявшую рыбу; она выскользнула из его пальцев и, судорожно извиваясь, тыкалась головой в стены чана.

Илье уколол себе палец костью плавника и, сунув его в рот, стал сосать.

— Вынь палец! — басом крикнул хозяин.

Потом мальчику дали тяжелый топор, велели ему слезть в подвал и разбивать там лед так, чтоб он улегался ровно. Осколки льда прыгали ему в лицо, попадали за ворот, в подвале было холодно и темно, топор при неосторожном размахе задевал за потолок. Через несколько минут Илье, весь мокрый, вылез из подвала и заявил хозяину:

— Я разбил там какую-то банку...

Хозяин внимательно поглядел на него и молвил:

— На первый раз прощаю. За то прощаю, что — сам сказал... А второй раз — нарву уши...

И завертелся Илья незаметно и однообразно, как винтик в большой, шумной машине. Он вставал в пять часов утра, чистил обувь хозяина, его семьи и приказчиков, потом шел в лавку, мел ее, мыл столы и весы. Являлись покупатели, — он подавал товар, выносил покупки, потом шел домой за обедом. После обеда делать было нечего, и, если его не посылали куда-нибудь, он стоял у дверей лавки, смотрел на суету базара и думал о том, как много на свете людей и как много едят они рыбы, мяса, овощей. Однажды он спросил приказчика, похожего на филина:

— Михаил Игнатьич!

— Ну-с?

— А что будут люди есть, когда выловят всю рыбу и зарежут весь скот?

— Дурак! — ответил ему приказчик.

Другой раз он взял газету с прилавка и, стоя у двери, стал читать ее. Но приказчик вырвал газету из его рук, щелкнул его пальцем по носу и угрожающе спросил:

— Кто тебе позволил, а? Осел...

Этот приказчик не нравился Илье. Говоря с хозяином, он почти ко всякому слову прибавлял почтительный свистящий звук, а за глаза называл купца Строганого мошенником и рыжим чёртом. По субботам и перед праздниками хозяин уезжал из лавки ко всеобщей, а к приказчику приходила его жена или сестра, и он отправлял с ними домой кулек рыбы, икры, консервов. Любил он издеваться над нищими, среди которых было много стариков, напоминавших Илье о дедушке Еремее. Когда к дверям лавки подходил какой-нибудь старик и, кланяясь, тихо просил милостыню, приказчик брал за голову маленькую рыбку и совал ее в руку нищего хвостом — так, чтоб кости плавников вонзились в мякоть ладони просящего. И, когда нищий, вздрагивая от боли, отдергивал руку, приказчик насмешливо и сердито кричал:

— Не хочешь? Мало? Пшел прочь...

Однажды старуха-нищая взяла тихонько сушеного судака и спрятала его в своих лохмотьях; приказчик видел это; он схватил старуху за ворот, отнял украденную рыбу, а потом нагнул голову старухи и правой рукой, снизу вверх, ударил ее по лицу. Она не охнула и не сказала ни слова, а, наклонив голову, молча пошла прочь, и Илья видел, как из ее разбитого носа в два ручья текла темная кровь.

— Получила? — крикнул приказчик вслед ей.

И, обращаясь к другому приказчику, Карпу, сказал:

— Ненавижу я нищих!.. Дармоеды! Ходят, просят и — сыты! И хорошо живут... Братия Христова, говорят про них. А я кто Христу? Чужой? Я всю жизнь верчусь, как червь на солнце, а нет мне ни покоя, ни уважения...

Другой приказчик, Карп, был человек богомольный, разговаривал только о храмах, певчих, архиерейской службе и каждую субботу беспокоился, что опоздает ко всенощной. Еще его интересовали фокусы, и каждый раз, когда в городе появлялся какой-нибудь «маг и чародей», Карп непременно шел посмотреть на него... Был он высок, худ и очень ловок; когда в лавке скоплялось много покупателей, он извивался среди них, как змея, всем улыбаясь, со всеми разговаривая, и всё поглядывал на большую фигуру хозяина, точно хвастаясь пред ним своим умением делать дело. К Илье относился пренебрежительно и насмешливо, и мальчик тоже невзлюбил его. Но хозяин нравился Илье. С утра до вечера купец стоял за конторкой, открывал ящик и швырял в него деньги. Илья видел, что он делал это равнодушно, без жадности, и мальчику почему-то было приятно это. Приятно было и то, что хозяин разговаривал с ним чаще и ласковее, чем с приказчиками. В тихое время, когда покупателей не было, купец иногда обращался к Илье, понуро стоявшему у двери:

— Эй, Илья, дремлешь?

— Нет...

— А чего ты сурьезный всегда?

— Не знаю...

— Скушно, что ли?

— Да-а...

— Ну, поскучай! И я скучал, было время... С девяти до тридцати двух лет скучал по чужим людям... А теперь — двадцать третий год гляжу, как другие скучают...

И он покачивал головой, как бы договаривая:
«Ничего не поделаешь больше-то!»

После двух-трех таких разговоров Илью стал занимать вопрос: зачем этот богатый, почетный человек торчит целый день в грязной лавке и дышит кислым, едким запахом соленой рыбы, когда у него есть такой большой, чистый дом? Это был странный дом: в нем всё было строго и тихо, всё совершалось в неизблемом порядке. И было в нем тесно, хотя в обоих этажах, кроме хозяина, хозяйки и трех дочерей, жили только кухарка, горничная и дворник, он же — кучер. Все в доме говорили неполным голосом, а проходя по огромному чистому двору, жались к сторонке, точно боясь выйти на открытое пространство. Сравнивая этот спокойный, солидный дом с домом Петрухи, Илья неожиданно пришел к мысли, что в доме Петрухи лучше жить, хотя там и бедно, шумно, грязно. Мальчику страшно захотелось спросить купца: зачем он беспокоит себя, живя весь день на базаре, в шуме и суете, а не дома, где тихо и смирно?

Однажды, когда Карп ушел куда-то, а Михаил отбирал в подвале попорченную рыбу для богадельни, хозяин заговорил с Ильей, и мальчик сказал ему:

— Вам бы, Кирилл Иванович, бросить торговлю-то... Вы уже ведь богатый... Дома у вас хорошо, а здесь вонь... и скука!..

Строганный, облокотясь о конторку, зорко смотрел на него, рыжие брови у купца вздрагивали.

— Ну? — спросил он, когда Илья замолчал. — Всё сказал?

— Всё... — смущенно, с испугом в сердце, отозвался Илья.

— Подь-ка сюда!

Илья подошел. Тогда купец взял его за подбородок, поднял его голову кверху и, прищуренными глазами глядя в лицо ему, спросил:

— Это тебя научили или ты сам выдумал?

— Ей-богу, сам.

— Н-да... Коли сам, так — ладно! Ну, скажу я тебе вот что: больше ты со мной, хозяином твоим — понимаешь? — хозяином! — говорить так не смей! Запомни! Пошел на свое место...

А когда пришел Карп, хозяин вдруг, ни с того ни с сего, заговорил, обращаясь к приказчику, но искоса и заметно для Ильи поглядывая на него:

— Человек всю жизнь должен какое-нибудь дело делать — всю жизнь!.. Дурак тот, кто этого не понимает. Как можно зря жить, ничего не делая? Никакого смысла нет в человеке, который к делу своему не привержен...

— Совершенно справедливо, Кирилл Иванович! — отозвался приказчик и внимательно повел глазами по лавке, отыскивая дело для себя. Илья взглянул на хозяина и задумался. Всё скучнее жилось ему среди этих людей. Дни тянулись один за другим, как длинные, серые нити, разматываясь с какого-то невидимого клубка, и мальчику стало казаться, что конца не будет этим дням, всю жизнь он простоит у дверей, слушая базарный шум. Но его мысль, возбужденная ранее пережитыми впечатлениями и прочитанными книжками, не поддавалась умиротворяющему влиянию однообразия этой жизни и тихо, но неустанно работала. Порой ему — молчаливому и серьезному — становилось так скучно смотреть на людей, что хотелось закрыть глаза и уйти куда-нибудь далеко — дальше, чем Пашка Грачев ходил, — уйти и уж не возвращаться в эту серую скуку и непонятную людскую суету.

В праздники его посылали в церковь. Он возвращался оттуда всегда с таким чувством, как будто сердце его омыли душистою, теплою влагой. К дяде за полгода службы его отпускали два раза. Там всё шло по-прежнему. Горбун худел, а Петруха посвистывал всё громче, и лицо у него из розового становилось красным. Яков жаловался, что отец притесняет его.

— Всё журит: «Дело, говорит, делай... Я, говорит, книжника не хочу...» Но ежели мне противно за стойкой торчать? Шум, гам, вой, самого себя не слышно!.. Я говорю: «Отдай меня в приказчики, в лавку, где иконами торгуют... Покупателя там бывает мало, а иконы я люблю...»

Глаза у Якова грустно мигали, кожа на лбу отчего-то пожелтела и светилась, как лысина на голове его отца.

— Книжки-то читаете? — спросил Илья.

— А как же? Только и радости... Пока читаешь, словно в другом городе живешь... а кончишь — как с колокольни упал...

Илья посмотрел на него и сказал:

— Какой ты старый стал... А Машутка где?

— В богадельню пошла за милостыней. Теперь я ей не много помогаю: отец-то следит... А Перфишка всё хворает... Манька-то начала в богадельню ходить, — щей там дают ей и всего... Матица помогает еще... Сильно бьется Маша...

— Тоже и у вас скушно, — задумчиво сказал Илья.

— А тебе очень скушно?

— Смерть!.. У вас хоть книжки... а у нас во всем доме один «Новейший фокусник и чародей» у приказчика в сундуке лежит, да и того я не добьюсь почитать... не дает, жулик! Плохо зажили мы, Яков...

— Плохо, брат...

Они поговорили еще немного и простились, оба грустные.

Прошло еще несколько недель, и вдруг судьба сурово, но всё же милостиво улыбнулась Илье. Однажды утром, во время оживленной торговли, хозяин, стоя за конторкой, вдруг быстро начал перебирать всё на ней. Лоб его покраснел, густо налившись кровью, и на шее туго вздулись жилы.

— Илья! — крикнул он. — Погляди-ка на полу, — не лежит ли где десятирублевка...

Илья взглянул на купца, потом быстрым взглядом окинул пол и спокойно сказал:

— Нет...

— Я те говорю — погляди как следует!.. — рывкнул хозяин густым басом.

— Да я глядел...

— Хорошо же, упрямая шельма! — пригрозил ему хозяин.

А когда покупатели ушли, он позвал Илью, схватил крепкими и толстыми пальцами его ухо и начал рвать

из стороны в сторону, приговаривая рычащим голосом:

— Велят глядеть — гляди, велят глядеть — гляди...

Илья уперся обеими руками в брюхо хозяина, сильно оттолкнулся, вырвал ухо из его пальцев и злым голосом, с дрожью обиды во всем теле, громко закричал:

— Что вы деретесь? Деньги Михаил Игнатьич утащил... Они у него в левом кармане, в жилетке...

Совиное лицо приказчика изумленно вытянулось, дрогнуло, и вдруг, размахнувшись правой рукой, он ударил Илью по голове. Мальчик упал со стоном и, заливаясь слезами, пополз по полу в угол лавки. Как сквозь сон, он слышал звериный рев хозяина:

— Стой! Куда? Подай деньги...

— Он врет-с... — раздавался тонкий голос приказчика.

— Гирей кину в башку!

— Кирилл Иваныч... Мои это-с... Р-разрази меня...

— Молчать!..

И стало тихо. Хозяин ушел в свою комнату, оттуда донеслось громкое щелканье косточек на счетах. Илья, держась за голову руками, сидел на полу и с ненавистью смотрел на приказчика, а он стоял в другом углу лавки и тоже смотрел на мальчика нехорошими глазами.

— Что, сволочь, здорово я тебя двинул? — тихо спросил он, оскалив зубы.

Илья дернул плечами и промолчал.

— А сейчас я тебе еще дам, памятку!

Он, не торопясь, пошел на мальчика, уставив в лицо его свои круглые злые глаза. Но Илья встал на ноги, твердым движением взял с прилавка длинный и тонкий нож и сказал:

— Иди!

Тогда приказчик остановился, неподвижными глазами измеряя коренастую, крепкую фигурку с ножом в руке, остановился и презрительно протянул:

— А, ка-аторжное отродье...

— Ну, иди, иди! — повторил мальчик, шагнув навстречу ему. Пред глазами его всё вздрагивало и кру-

жилося, а в груди он ощущал большую силу, смело толкавшую его вперед.

— Брось нож! — раздался голос хозяина.

Илья вздрогнул, взглянув на рыжую бороду и налитое кровью лицо, но не тронулся с места.

— Положи, говорю, нож! — тише сказал хозяин.

Илья положил нож на прилавок, громко вскрикнул и снова сел на пол. Голова у него кружилась, болела, ухо саднило, он задышался от тяжести в груди. Она затрудняла биение сердца, медленно поднималась к горлу и мешала говорить. Голос хозяина донесся до него откуда-то издали:

— Получи расчет, Мишка...

— Позвольте-с...

— Вон! А то полицию позову...

— Хорошо-с! Я — уйду... Но и за этим мальчиком вы поглядывайте... Он с ножичком... хе-хе!

— Вон!

Снова в лавке стало тихо. Илья вздрогнул от неприятного ощущения: ему показалось, что по лицу его что-то ползет. Он провел рукой по щеке, отер слезы и увидел, что из-за конторки на него смотрит хозяин царапающим взглядом. Тогда он встал и пошел нетвердым шагом к двери, на свое место.

— Стой, погоди! — сказал хозяин. — Мог ты ударить его ножом?

— Ударил бы! — тихо, но твердо ответил мальчик.

— Та-ак... У тебя отец за что в каторгу ушел — убил?

— Поджег...

— И то хорошо...

Пришел Карп, смиренно сел у двери на табуретку и стал смотреть на улицу.

— Карпушка! — с усмешкой глядя на него, сказал хозяин. — Михаила-то я прогнал...

— Воля ваша, Кирилл Иванович!

— Воровать стал, а?

— А-я-яй! — тихонько и с испугом воскликнул Карп. — Да неужто? А-а?

Рыжая борода хозяина вздрогнула от усмешки, и он расхохотался, покачиваясь за конторкой.

— Ах, Карпушка... фокусник ты у меня...

Потом он вдруг перестал смеяться, глубоко вздохнул и задумчиво, сурово сказал:

— Эх, люди, люди! Все-то вы жить хотите, всем жрать надо! Н-ну, Илья, скажи-ка мне, — замечал ты раньше, что Михайло ворует?

— Замечал...

— А что же ты мне не сказал про это? Боялся его, что ли?

— Нет, не боялся...

— Значит, — теперь ты мне со зла сказал...

— Да, — твердо ответил Илья.

— Ишь ты, — какой! — воскликнул хозяин. Потом он долго гладил свою рыжую бороду, не говоря ни слова и серьезно разглядывая Илью.

— Ну, а сам ты, Илья, воровал?

— Нет...

— Верю... Ты — не воровал... Ну, а Карп, — вот этот самый Карп, — он как — ворует?

— Ворует! — повторил мальчик.

Карп с удивлением посмотрел на него, мигнул глазами и спокойно отвернулся в сторону. Хозяин угрюмо сдвинул брови и снова начал гладить бороду. Илья чувствовал, что происходит что-то странное, и напряженно ждал конца. В пахучем воздухе лавки жужжали мухи, был слышен тихий плеск воды в чане с живой рыбой.

— Карпушка! — окрикнул купец приказчика, неподвижно и со вниманием смотревшего на улицу.

— Чего изволите? — откликнулся Карп, быстро подходя к хозяину и глядя в лицо ему своими вежливо-ласковыми глазами.

— Слышал ты, что про тебя сказано? — с усмешкой спросил Строганий.

— Слышал...

— Ну и что же?

— Ничего!.. — пожав плечами, сказал Карп.

— Это как же — ничего?

— Очень просто, Кирилл Иванович. Я, Кирилл Иванович, имею свое достоинство, будучи человеком, уважающим себя, и потому на мальчика мне не подобает

обижаться. Как сами изволите видеть, мальчик откровенно глуп, не имеет никаких понятий...

— Ты мне зубов не заговаривай! ты скажи — правду он говорил?

— Что такое правда, Кирилл Иванович? — воскликнул Карп, снова пожимая плечами, и склонил голову набок. — Конечно, ежели вам угодно — то вы его слова примете за правду... Воля ваша!..

Карп вздохнул и обиженно развел руками.

— Н-да, на всё здесь воля моя... — согласился хозяин. — Так, по-твоему, мальчонка-то глуп?

— Совершенно глуп, — с глубокой уверенностью сказал Карп.

— Ну, это ты, пожалуй, врешь... — неопределенно сказал Строганный и вдруг захохотал.

— Нет, как это он ляпнул прямо в зенки тебе — хо-хо! «Ворует Карп?» — «Ворует!» Хо-хо-хо!

Когда хозяин засмеялся, Илья почувствовал, что в сердце его вслыхнула мстительная радость, он с торжеством взглянул на Карпа и с благодарностью — на хозяина. Карп прислушался к хозяйскому смеху и тоже выпустил из горла осторожный смешок:

— Хе-хе-хе!..

Но Строганный, услышав эти жиденские звуки, сурово скомандовал:

— Запирай лавку!..

Когда Илья шел домой, Карп, потрясая головою, говорил ему:

— Дурак ты, дурак! Ну, сообрази, зачем затеял ты канитель эту? Разве так пред хозяевами выслуживаются на первое место? Дубина! Ты думаешь, он не знал, что мы с Мишкой воровали? Да он сам с того жизнь начал... Что он Мишку прогнал — за это я обязан, по моей совести, сказать тебе спасибо! А что ты про меня сказал — это тебе не простится никогда! Это называется — глупая дерзость! При мне, про меня — эдакое слово сказать! Я тебе его припомню!.. Оно указывает, что ты меня не уважаешь...

Илья слушал эту речь, но плохо понимал ее. По его разумению, Карп должен был сердиться на него не так: он был уверен, что приказчик дорбогой поколотит его,

и даже боялся идти домой... Но вместо злобы в словах Карпа звучала только насмешка, и угрозы его не пугали Илью. Вечером хозяин позвал Илью к себе, наверх.

— Ага! Ну-ка, поди-ка! — проводил его Карп злобещим восклицанием.

Войдя наверх, Илья остановился у двери большой комнаты; среди нее, под тяжелой лампой, опускавшейся с потолка, стоял круглый стол с огромным самоваром на нем. Вокруг стола сидел хозяин с женой и дочерьми, — все три девочки были на голову ниже одна другой, волосы у всех рыжие, и белая кожа на их длинных лицах была густо усеяна веснушками. Когда Илья вошел, они плотно придвинулись одна к другой и со страхом уставились на него тремя парами голубых глаз.

— Вот он! — сказал хозяин.

— Скажите, пожалуйста, какой! — опасливо воскликнула хозяйка и так посмотрела на Илью, точно раньше она никогда не видала его. Строганный усмехнулся, погладил бороду, постучал пальцами по столу и внушительно заговорил:

— Позвал я тебя, Илья, затем, чтобы сказать тебе — ты мне больше не нужен, стало быть, собирай свою хурду-мурду и уходи...

Илья вздрогнул, удивленно раскрыл рот и, повернувшись, пошел вон из комнаты.

— Стой! — сказал купец, протянув к нему руку, и, стукнув по столу ладонью, повторил тоном ниже: — Стой!

Затем он поднял палец кверху и солидно, медленно заговорил:

— Позвал я тебя не за одним этим... Нет!.. Поучить тебя надо... Надо объяснить тебе — почему ты стал мне вреден? Худа ты мне не сделал, — паренек грамотный, не ленивый... честный и здоровый... Всё это — козыри. Но и с козырями ты мне не нужен... Не ко двору... Почему — вопрос?..

Илья удивился: его хвалят и — гонят вон. Это не объединялось в его голове, вызывало в нем двойственное чувство удовольствия и обиды. Ему казалось, что хозяин сам не понимает того, что он делает... Мальчик шагнул вперед и почтительно спросил:

— Вы меня за то прогоняете, что я — с ножом давеча?..

— А, батюшки! — испуганно воскликнула хозяйка. — Какой дерзкий! Ах, господи!..

— Вот! — сказал хозяин с удовольствием, улыбаясь Илье и тыкая пальцем по направлению к нему. — Ты — дерзок! Именно так! Ты — дерзок... Служащий мальчик должен быть смирен, — смиренномудр, как сказано в писании... Он живет на всем хозяйском... У него пища хозяйская, и ум хозяйский, и честность тоже... А у тебя — свое... Ты, например, в глаза человеку лепишь — вор! Это нехорошо, это дерзко... Ты — ежели честный — мне скажи об этом — тихонько скажи... Я уж сам определю всё, я — хозяин!.. А ты вслух — вор!.. Нет, ты погоди... Коли из троих один честен — это для меня ничего не значит... Тут особый счет надобен... Если же один честен, а девять подлецы, никто не выигрывает... Но человек пропадает. А ежели семеро честных на трех подлецов — твоя взяла... Понял? Которых больше, те и правы... Вот как о честности рассуждать надо...

Строганный отер ладонью пот со лба и продолжал:

— Опять же — хватаешь ты ножик...

— О господи Иусе! — с ужасом воскликнула хозяйка, а девочки еще плотнее прислонились одна к другой.

— Сказано — взявши нож, от него и погибнешь... Вот почему ты мне лишний... Так-то... На вот тебе полтинку, и — иди... Уходи... Помни — ты мне ничего худого, я тебе — тоже... Даже — вот, на! Дарю полтинник... И разговор вел я с тобой, мальчишкой, серьезный, как надо быть и... всё такое... Может, мне даже жалко тебя... но неподходящий ты! Коли чека не по оси — ее надо бросить... Ну, иди...

Речь хозяина Илье понял просто — купец прогонял его потому, что не мог прогнать Карпа, боясь остаться без приказчика. От этого Илье стало легко и радостно. И хозяин показался ему простым, милым.

— Прощайте! — сказал Илье, крепко сжав в руке серебряную монету. — Покорно благодарю!

— Не на чем! — ответил Строганный, кивнув ему головой.

— А-я-яй! Ни слезинки не выронил!..— донесся вслед Илье укоризненный возглас хозяйки.

Когда Илья, с узлом на спине, вышел из крепких ворот купеческого дома, ему показалось, что он идет из серой, пустой страны, о которой он читал в одной книжке,— там не было ни людей, ни деревьев, только одни камни, а среди камней жил добрый волшебник, ласково указывавший дорогу всем, кто попадал в эту страну.

Был вечер ясного дня весны. Заходило солнце, на стеклах окон пылал красный огонь. Это напомнило мальчику день, когда он впервые увидел город с берега реки. Тяжесть узла с пожитками давила ему спину,— он замедлил шаги. По тротуару шли люди, задевая его ношу, с грохотом ехали экипажи; в косых лучах солнца носилась пыль, было шумно, суетливо, весело. В памяти мальчика вставало всё то, что он пережил в городе за эти годы. Он чувствовал себя взрослым человеком, сердце его билось гордо и смело, и в ушах его звучали слова купца:

«Ты мальчик грамотный, не глухой, здоровый, не ленивый... Это твои козыри...»

Илья снова ускорил шаги, чувствуя в себе крепкую радость и улыбаясь при мысли, что завтра не надо идти в рыбную лавку...

Возвратясь в дом Петрухи Филимонова, Илья с гордостью убедился, что он действительно очень вырос за время службы в рыбной лавке. Все в доме относились к нему со вниманием и лестным любопытством. Перфишка подал ему руку.

— Приказчику — почтение! Что, брат, отслужил? Слышал я о твоих подвигах — ха-ха! Они, брат, любят, когда язык им пятки лижет, а не когда правду режет...

Маша, увидав его, радостно вскричала:

— О-го-о! Какой ты стал!

Яков тоже обрадовался.

— Ну вот, и опять вместе будем жить... А у меня книжка есть «Альбигойцы», — ну история, я тебе скажу! Есть там один — Симон Монфор... вот так чудище!

И Яков торопливо, сбивчиво начал рассказывать со-

держание книжки. А Илья, глядя на него, с удовольствием подумал, что его большеголовый товарищ остался таким же, каков был. В поведении Ильи у Строганого Яков не увидел ничего особенного. Он просто сказал ему:

— Так и надо было...

Петруха был удивлен поведением Ильи и не скрыл этого, одобрительно сказав:

— Ловко ты их поддел, ловко, брат! Ну, а Кирилл Ивановичу, конечно, нельзя менять Карпа на тебя. Карп дело знает, цена ему высокая. Ты по правде хочешь, в открытую пошел... Потому он тебя и перевесил...

Но на другой день дядя Терентий тихонько сказал племяннику:

— Ты с Петрухой-то не тово... не очень разговаривай... Осторожненько... Он тебя ругает... Ишь, говорит, какой правдолюб!

Илья засмеялся.

— А вчера он меня хвалил!

Отношение Петрухи не умерило в Илье повышенной самооценки. Он чувствовал себя героем, он понимал, что вел себя у купца лучше, чем вел бы себя другой в таких обстоятельствах.

Месяца через два, после тщетных поисков нового места, у Ильи с дядей завязался такой разговор:

— Да-а!.. — уныло тянул горбун. — Нету местов для тебя... Везде говорят — велик... Как же будем жить, милачок?

А Илья солидно и убедительно говорил:

— Мне пятнадцать лет, я грамотный. А ежели я дерзкий, так меня и с другого места прогонят... всё равно!

— Что же делать будем? — опасливо спрашивал Терентий, сидя на своей постели и крепко упираясь в нее руками.

— Вот что: закажи ты мне ящик и купи товару. Мылов, духов, иглоков, книжек — всякой всячины!.. И буду я ходить, торговать!

— Что-то я не понимаю этого, Илюша, — у меня трактир в голове, — шумит!.. Тук, тук, тук... Мне слабо думаться стало... И в глазах и в душе всё одно... Всё — это самое...

В глазах горбуна действительно застыло напряженное выражение, точно он всегда что-то считал и не мог сосчитать.

— Да ты попробуй! Ты пусти меня...— упрашивал его Илья, увлеченный своею мыслью, сулившей ему свободу.

— Ну, господь с тобой! Попробуем!..

— Увидишь, что будет! — радостно вскричал Илья.

— Эх! — глубоко вздохнул Терентий и с тоской заговорил: — Рос бы ты поскорее! Будь-ка ты побольше — охо-хо! Ушел бы я... А то — как якорь ты мне, — из-за тебя стою я в гнилом озере этом... Ушел бы я ко святым угодникам... Сказал бы им: «Угодники божи! Милостивцы и заступники! Согрешил я, окаянный!»

Горбун беззвучно заплакал. Илья понял, о каком грехе говорит дядя, и сам вспомнил этот грех. Сердце у него вздрогнуло. Ему было жалко дядю, и, видя, что всё обильнее льются слезы из робких глаз горбуна, он проговорил:

— Ну, не плачь уж...— Замолчал, подумал и утешительно добавил: — Ничего,— простят!..

И вот Илья начал торговать. С утра до вечера он ходил по улицам города с ящиком на груди и, подняв нос кверху, с достоинством поглядывал на людей. Нахлобучив картуз глубоко на голову, он выгибал кадык и кричал молодым, ломким голосом:

— Мыло! Вакса! Шпильки, булавки! Нитки, иголки!

Пестрой, шумной волной текла жизнь вокруг, он плыл в этой волне свободно и легко, толкался на базарах, заходил в трактиры, важно спрашивал себе пару чая и пил его с белым хлебом долго, солидно, — как человек, знающий себе цену. Жизнь казалась ему простой, легкой, приятной. Его мечты принимали простые и ясные формы: он представлял себя чрез несколько лет хозяином маленькой, чистенькой лавочки, где-нибудь на хорошей, не очень шумной улице города, а в лавке у него — легкий и чистый галантерейный товар, который не пачкает, не портит одежды. Сам он тоже чистый, здоровый, красивый. Все в улице уважают его, девушки смотрят ласковыми глазами. Вечером, закрыв лавку, он сидит в чистой, светлой комнате, пьет чай и читает

книжку. Чистота во всем казалась ему необходимым и главным условием порядочной жизни. Так мечталось ему, когда никто не обижал его грубым обращением, ибо с той поры, как он понял себя самостоятельным человеком, он стал чуток и обидчив.

Но когда ему не удавалось ничего продать, и он, усталый, сидел в трактире или где-нибудь на улице, ему вспоминались грубые окрики и толчки полицейских, подозрительное и обидное отношение покупателей, ругательства и насмешки конкурентов, таких же разносчиков, как он,— тогда в нем смутно шевелилось большое, беспокойное чувство. Его глаза раскрывались шире, смотрели глубже в жизнь, а память, богатая впечатлениями, подкладывала их одно за другим в механизм его рассудка. Он ясно видел, что все люди идут к одной с ним цели,— ищут той же спокойной, сытой и чистой жизни, какой хочется и ему. И никто не стесняется оттолкнуть со своей дороги другого, если он мешает ему; все жадны, безжалостны, часто обижают друг друга, не имея в этом надобности, без пользы для себя, только ради удовольствия обидеть человека. Иногда оскорбляют со смехом, и редко кто-нибудь жалеет обиженного...

От этих дум торговля казалась ему скучным делом, мечта о чистой, маленькой лавочке как будто таяла в нем, он чувствовал в груди пустоту, в теле вялость и лень. Ему казалось, что он никогда не выторгует столько денег, сколько нужно для того, чтоб открыть лавочку, и до старости будет шляться по пыльным, жарким улицам с ящиком на груди, с болью в плечах и спине от ремня. Но удача в торговле, вновь возбуждая его бодрость, оживляла мечту.

На одной из бойких улиц города Илья увидал Пашку Грачева. Сын кузнеца шел по тротуару беспечной походкой гуляющего человека, руки его были засунуты в карманы дырявых штанов, на плечах болталась не по росту длинная синяя блуза, тоже рваная и грязная, большие опорки звучно щелкали каблуками по камню панели. Картуз со сломанным козырьком молодецки сдвинут на левое ухо, половину головы пекло солнце, а лицо и шею Пашки покрывал густой налет маслянистой

грязи. Он издали узнал Илью, весело кивнул ему головой, но не ускорил шага навстречу ему.

— Каким ты фёртом... — сказал Илья.

Пашка крепко стиснул его руку и засмеялся. Его зубы и глаза блестели под маской грязи весело.

— Как живешь?

— Живем, как можем, есть пицца — гложем, нет — попищим, да так и ляжем!.. А я ведь рад, что тебя встретил, чёрт те дери!

— Ты что никогда не придешь? — спросил Илья, улыбаясь. Ему тоже было приятно видеть старого товарища таким веселым и чумазым. Он поглядел на Пашкины опорки, потом на свои новые сапоги, ценою в девять рублей, и самодовольно улыбнулся.

— А я почем знаю, где ты живешь!.. — сказал Грачев.

— Всё там, у Филимонова...

— А Яшка говорил, что ты где-то рыбой торгуешь...

Илья с гордостью рассказал Пашке о своей службе у Строганого.

— Ай да наши — чуваши! — одобрительно воскликнул Грачев. — А я тоже, — из типографии прогнали за озорство, так я к живописцу поступил краски тереть и всякое там... Да, чёрт ее, на сырую вывеску сел однажды... ну — начали они меня пороть! Вот пороли, черти! И хозяин, и хозяйка, и мастер... прямо того и жди, что помрут с устатка... Теперь я у водопроводчика работаю. Шесть целковых в месяц... Ходил обедать, а теперь на работу иду...

— Не торопиться.

— А пес с ней! Разве всю ее когда переделаешь? Надо будет зайти к вам...

— Приходи! — дружески сказал Илья.

— Книжки-то читаете?

— Как же! А ты?

— И я клюю помалу...

— А стихи сочиняешь?..

— И стихи...

Пашка снова весело захохотал.

— Приходи, а? Стихи тащи...

— Приду... Водочки принесу...

— Пьешь?

— Хлещем... Однако — прощай!..

— Прощай! — сказал Илья.

Он пошел своей дорогой, думая о Пашке. Ему казалось странным, что этот оборванный паренек не выказал зависти к его крепким сапогам и чистой одежде, даже как будто не заметил этого. А когда Илья рассказал о своей самостоятельной жизни, — Пашка обрадовался. Илья тревожно подумал: неужели Грачев не хочет того, чего все хотят, — чистой, спокойной, независимой жизни?

Особенно ясно чувствовал Илья грусть и тревогу после посещения церкви. Он редко пропускал обедни и всенощные. Он не молился, а просто стоял где-нибудь в углу и, ни о чем не думая, слушал пение. Люди стояли неподвижно, молча, и было в их молчании единодушие. Волны пения носились по храму вместе с дымом ладана, порой Илье казалось, что и он поднимается вверх, плавает в теплой, ласковой пустоте, теряя себя в ней. Торжественное настроение миротворно веяло на душу, и было в нем что-то совершенно чуждое суете жизни, непримиримое с ее стремлениями. Сначала в душе Илья это впечатление укладывалось отдельно от обычных впечатлений дня, не смешивалось с ними, не беспокоило юношу. Но потом он заметил, что в сердце его живет нечто, всегда наблюдающее за ним. Оно пугливо скрывается где-то глубоко, оно безмолвно в суете жизни, но в церкви оно растет и вызывает что-то особенное, тревожное, противоречивое его мечтам о чистой жизни. В эти моменты ему всегда вспоминались рассказы об отшельнике Антипе и любовные речи тряпичника:

«Господь всё видит, всему меру знает! Кроме его — никого!»

Илья приходил домой полный смутного беспокойства, чувствуя, что его мечта о будущем выцвела и что в нем же самом есть кто-то, не желающий открыть галантерейную лавочку. Но жизнь брала свое, и этот кто-то скрывался в глубь души...

Разговаривая с Яковым обо всем, Илья, однако, не говорил ему о своем раздвоении. Он и сам думал о нем только по необходимости, никогда своей волей не останавливая мысль на этом непонятном ему чувстве.

Вечера он проводил приятно. Возвращаясь из города, шел в подвал к Маше и хозяйским тоном спрашивал:

— Машутка! Как у нас насчет самоварчика?

Самоварчик уже был готов и стоял на столе, курлыкая и посвистывая. Илья всегда приносил с собой чего-нибудь вкусного: баранок, мятных пряников, медовой коврижки, а иногда и варенья паточного, — и Маша любила поить его чаем. Девочка тоже начала зарабатывать деньги: Матица научила ее делать из бумаги цветы, и Маше нравилось составлять из тонких, весело шуршавших бумажек яркие розы. Иногда она зарабатывала до гривенника в день. Ее отец заболел тифом, слишком два месяца пролежал в больнице и пришел оттуда сухой, тонкий, с прекрасными темными кудрями на голове. Он сбрил свою растрепанную, бесшабашную бороденку и, несмотря на желтые, ввалившиеся щеки, казался помолодевшим. По-прежнему он работал у чужих людей и даже ночевать домой являлся редко, предоставив квартиру в полное распоряжение дочери. Она тоже стала звать отца, как все, — Перфишкой. Сапожник забавлялся ее отношением к нему и, видимо, чувствовал уважение к своей кудрявой девочке, умевшей хохотать так же весело, как сам он.

Вечернее чаепитие у Маши вошло в привычку Ильи и Якова. Они пили долго, много, обливаясь потом, разговаривая обо всем, что задевало их. Илья рассказывал о том, что видел в городе, Яков, читавший целыми днями, — о книгах, о скандалах в трактире, жаловался на отца, а иногда — всё чаще — говорил нечто такое, что Илье и Маше казалось несуразным, непонятым. Чай был необыкновенно вкусен, а самовар, весь покрытый окисями, имел славную старческую рожу, ласково-хитрую. Почти всегда, когда ребята только что входили во вкус чаепития, самовар с добродушным ехидством начинал гудеть, ворчать, и в нем не оказывалось воды. Маша хватала его и тащила доливать; каждый вечер ей приходилось делать это по несколько раз.

Если всходила луна, то и ее луч попадал в компанию детей.

В этой яме, стиснутой полугнилыми стенами, накры-

той тяжелым, низким потолком, всегда чувствовался недостаток воздуха, света, но в ней было весело и каждый вечер рождалось много хороших чувств и наивных, юных мыслей.

Иногда при чаепитии присутствовал Перфишка. Обыкновенно он помещался в темном углу комнаты на подмостках около коренастой, осевшей в землю печи или влезал на печь, свешивал оттуда голову, и в сумраке блестели его белые мелкие зубы. Дочь подавала ему большую кружку чаю, сахар и хлеб; он, посмеиваясь, говорил:

— Покорнейше благодарю, Марья Перфильевна. Чувствительно растрясен!

Иногда он со вздохом зависти восклицал:

— А хорошо вы живете, ребята, чтоб вас дождем размочило! Совсем как люди.

И потом, улыбаясь и вздыхая, рассказывал:

— Житье-то? Всё улучшается! Всё приятнее жить человеку год от года. Я в ваши года, бывало, только со шпандырем беседы вел. Начнет это он меня по спине гладить, а я от удовольствия вою что есть мочи. Перестанет он — спина обидится, надуется и ноет, по милому другу тоскует. Ну, он долго себя ждать не заставлял, — чувствительный был шпандырь! Только всего и удовольствия видел я, ей-богу! Вот вы теперь вырастете большие и будете всё это вспоминать, — разговоры, случаи разные и всю вашу приятную жизнь. А я вот вырос — сорок шестой год мне, — а вспомнить нечего! Ни искры! Совсем нечего вспомнить. Вроде как бы слеп и глух был я в ваши годы. Только и помню, что во рту у меня всегда зубы щелкали с голоду да холоду, на роже синяки росли, — а уж как у меня кости, уши, волосы целы остались — этого я не могу понять. Не били меня, милого, только печкой, а об печку — сколько угодно! Н-да, старались, учили, как веревочку сучили... А хоть меня и били, и кожу с меня лупили, и кровь сосали, и на пол бросали — русский человек живуч! Хоть толки его в ступе — он всё на свое место вступит! Ха-ароший, крепкий человек... Вот я: меня и мололи и в щепы кололи, а я живу себе кукушкой, порхаю по трактирам, доволен всем миром! Бог меня любит... Раз взглянул на

меня, засмеялся, ах, говорит, — такой-сякой! И махнул на меня рукой...

Молодежь, слушая складные речи сапожника, смеялась. И Илья смеялся, но в то же время речи Перфишки будили в нем всегда одну и ту же навязчивую мысль. Однажды он с недоверчивой усмешкой спросил сапожника:

— Будто ты ничего и не хочешь?

— Кто говорит? Мне, примерно, всегда выпить хочется...

— Нет, ты правду скажи: ведь хочется чего-нибудь? — настойчиво спросил Илья.

— Вправду? Н-ну, тогда... гармонию бы!.. Ха-арошую бы гармонию желал я иметь... Целковых эдак в двадцать... пять! С-с-с!

Он тихо засмеялся, но тотчас же умолк, что-то сообразил и уже с полным убеждением сказал Илье:

— Нет, брат, и гармония тоже ни к чему мне... Во-первых — дорогую я обязательно пропью! Во-вторых — а вдруг она объявит себя хуже моей? Ведь теперь у меня какая гармония? Ей нет цены! В ней — душа моя квартирует! У меня гармония редкостная, — она, может, одна такая-то и живет на свете... Гармония, как жена... У меня вот жена тоже была — ангел, а не человек! И ежели мне теперь жениться, — как можно? Другую такую, как была, — не найдешь... К новой-то жене — обязательно старую мерку прикинешь, а она окажется уже... и будет оттого и мне и ей хуже!.. Эх, брат, не то ведь хорошо, что хорошо, а то — что любо!

С похвалами сапожника своей гармонии Илья соглашался. Перфишкин инструмент своей звучностью у всех вызывал единодушное удивление. Но Илья не мог верить тому, что у сапожника нет никаких желаний. Пред Луневым вставал определенный вопрос: неужели, всю жизнь живя в грязи, гуляя в отрепьях, пьянствуя и умея играть на гармонии, можно не желать ничего лучшего? Эта мысль позволяла ему относиться к Перфишке как к блаженненькому, но в то же время он всегда с интересом и недоверием присматривался к беспечному человеку и чувствовал, что сапожник по душе своей

лучше всех людей в этом доме,— хотя он пьяница ничемный...

Иногда молодежь подходила к тем огромным и глубоким вопросам, которые, раскрываясь пред человеком, как бездонные пропасти, властно влекут его пытливый ум и сердце в свою таинственную тьму. Эти вопросы возбуждал Яков. У него образовалась странная привычка: он стал ко всему прижиматься, точно чувствовал себя нетвердым на ногах. Сидя, он или опирался плечом на ближайший предмет, или крепко клал на него руку. Идя по улице быстрым, но неровным шагом, он зачем-то дотрогивался рукою до тумб, точно считал их, или тыкал ею в заборы, как бы пробуя их устойчивость. За чаем у Маши он сидел под окном, прижимаясь спиною к стене, и длинные пальцы его рук всегда цеплялись за стул или за край стола. Склонив набок большую голову, покрытую гладкими и мягкими волосами цвета сырого мочала, он поглядывал на собеседников, и голубые глаза на его бледном лице то прищуривались, то широко открывались. По-прежнему он любил рассказывать свои сны и никогда не мог изложить содержание прочитанной им книжки, не прибавив от себя чего-то странного. Илья уличал его в этом, но Яков не смущался и просто говорил:

— Так, как я рассказывал,— лучше. Ведь это только священное писание нельзя толковать, как хочется, а простые книжки — можно! Людьями писано, и я — человек. Я могу поправить, если не нравится мне... Нет, ты мне вот что скажи: когда ты спишь — где душа?

— А я почему знаю? — отвечал Илья, не любивший таких вопросов,— они вызывали в нем какую-то неприятную смуту.

— Я думаю, это верно, что она улетает,— объявил Яков.

— Конечно, улетает,— с уверенностью говорила Маша.

— А ты почему знаешь? — строго спрашивал Илья.

— Так...

— Улетает,— задумчиво улыбаясь, говорил Яков.— Ей тоже отдохнуть надо... Оттого и — сны...

Не зная, что сказать на это, Илья молчал, хотя всегда чувствовал в себе сильное желание возражать товарищу. И все молчали некоторое время, иногда несколько минут. В темной яме становилось как будто еще темнее. Коптила лампа, пахло углями из самовара, долетал глухой, странный шум: гудел и выл трактор, там, наверху. И снова раздавался тихий голос Якова:

— Шумят люди... работают и всё такое. Говорится — живут. Потом — хлоп! Человек умер... Что это значит? Ты, Илья, как думаешь, а?

— Ничего не значит... Пришла старость, надо умирать...

— Умирают и молодые и дети... Умирают здоровые.

— Значит, не здоровы, коли умирают...

— А зачем живут все?

— Повез! — насмешливо восклицал Илья. — Затем и живут, чтобы жить. Работают, добиваются удачи. Всякий хочет хорошо жить, ищет случая в люди выйти. Все ищут случаев таких, чтобы разбогатеть да жить чисто...

— Так это — бедные. А богатые? У них всё есть... Им чего искать?

— Ну, голова! Богатые! Коли их не будет — на кого бедным работать?

Яков подумал и спросил:

— Значит, все для работы живут, по-твоему?

— Ну да... Не совсем — все... Одни — работают, а другие просто так. Они уж наработали, накопили денег... и живут.

— А зачем?

— Да — чёрт! Хочется им, или — нет? Ведь тебе жить хочется? — кричал Илья, сердясь на товарища. Но ему было бы трудно ответить, почему он сердится: потому ли, что Яков спрашивает о таких вещах, или потому, что он плохо спрашивает?

— Ты зачем живешь, — ну? — кричал он товарищу.

— Вот я и не знаю! — покорно говорил Яков. — Я бы и умер... Страшно... а все-таки — любопытно...

И вдруг он начинал говорить голосом ласковым и упрекающим:

— Ты сердисься, а — напрасно. Ты подумай: люди

живут для работы, а работа для них... а они? Выходит — колесо... Вертится, вертится, а всё на одном месте. И непонятно — зачем? И где бог? Ведь вот она, ось-то,— бог! Сказано им Адаму и Еве: плодитесь, множьтесь и населяйте землю,— а зачем?

И, наклоняясь к товарищу, Яков таинственным шёпотом, с испугом в голубых глазах сказал:

— Знаешь что? Было и это сказано, сказано было — зачем? А кто-нибудь ограбил бога,— украл и спрятал объяснение-то... И это сатана! Кто другой? Сатана! Оттого никто и не знает — зачем?

Илья слушал бессвязную речь товарища, чувствовал, что она захватывает его, и молчал.

А Яков говорил всё торопливее, тише, глаза у него выкатывались, на бледном лице дрожал страх, и ничего нельзя было понять в его словах.

— Чего бог от тебя хочет — знаешь? Ага?! — вдруг выделялось из потока произносимых им слов торжествующее восклицание. И снова из его уст сыпались бессвязные слова. Маша смотрела на своего друга и покровителя, удивленно раскрыв рот. Илья сердито хмурил брови. Ему было обидно не понимать. Он считал себя умнее Якова, но Яков поражал его своей удивительной памятью и умением говорить о разных премудростях. Уставши слушать и молчать, чувствуя, что у него в голове вырос тяжелый туман, он наконец сердито прерывал оратора:

— Ну те к чёрту! Зачитался ты, сам ничего не понимаешь...

— Да я же про то и говорю, что ничего не понимаю! — с удивлением восклицал Яков.

— Так прямо и говори: не понимаю! А то лопочешь, как сумасшедший... А я его — слушай!

— Нет, ты погоди! — не отставал Яков. — Ведь ничего и нельзя понять... Примерно... вот тебе лампа. Огонь. Откуда он? Вдруг — есть, вдруг — нет! Чиркнул спичку — горит... Стало быть — он всегда есть... В воздухе, что ли, летает он невидимо?

Илью снова захватил этот вопрос. Пренебрежительное выражение сползло с его лица, он посмотрел на лампу и сказал:

— Кабы в воздухе он был,— тепло всегда было бы, а спичку и на морозе зажжешь... Значит, не в воздухе...

— А где? — с надеждой глядя на товарища, спросил Яков.

— В спичке,— подала голос Маша.

Но в разговорах товарищей о премудростях бытия голос девочки всегда пропадал без ответа. Она уже привыкла к этому и не обижалась.

— Где? — вновь с раздражением кричал Илья.— Я не знаю. И знать не хочу! Знаю, что руку в него нельзя совать, а греться около него можно. Вот и всё.

— Ишь ты какой! — воодушевленно и негодуя говорил Яков.— «Знать не хочу!» Эдак-то и я скажу, и всякий дурак... Нет, ты объясни — откуда огонь? О хлебе я не спрошу, тут всё видно: от зерна — зерно, из зерна — мука, из муки — тесто, и — готово! А как человек родится?

Илья с удивлением и завистью смотрел на большую голову товарища. Иногда, чувствуя себя забитым его вопросами, он вскакивал с места и произносил суровые речи. Плотный и широкий, он почему-то всегда в этих случаях отходил к печке, опирался на нее плечами и, взмахивая курчавой головой, говорил, твердо отчеканивая слова:

— Несуразный ты человек, вот что! И всё это у тебя от безделья в голову лезет. Что твое житье? Стоять за буфетом — не велика важность. Ты и прстоишь всю жизнь столбом. А вот походил бы по городу, как я, с утра до вечера, каждый день, да поискал сам себе удачи, тогда о пустяках не думал бы... а о том, как в люди выйти, как случай свой поймать. Оттого у тебя и голова большая, что пустяки в ней топорчатся. Дельные-то мысли — маленькие, от них голова не вспухнет...

Яков слушал его и молчал, согнувшись на стуле, крепко держась за что-нибудь руками. Иногда его губы беззвучно шевелились, глаза учащенно мигали.

А когда Илья, кончив говорить, садился за стол, Яков снова начинал философствовать:

— Говорят, есть книга,— наука,— черная магия, и в ней всё объяснено... Вот бы найти книгу такую да прочитать... Наверно — страшно!

Маша пересаживалась от стола на свою постель и оттуда смотрела черными глазами то на одного, то на другого. Потом она начинала позевывать, покачиваться, наконец сваливалась на подушку.

— Ну, спать пора! — говорил Илья.

— Погоди... вот я Машутку укрою да огонь погашу.

Но, видя, что Илья уже протянул руку и хочет отворять дверь, Яков торопливо и жалобно попросил:

— Да погоди-и! Я боюсь один, — темно!..

— Эхма! — презрительно воскликнул Лунев. — Шестнадцать лет тебе, а всё ты еще младенчик. Как это я ничего не боюсь, а? Хоть чёрта встречу — не охну!

Яков молча суетился около Маши, потом торопливо дул на огонь лампы. Огонь вздрагивал, исчезал, и в комнату отовсюду бесшумно вторгалась тьма. Иногда, впрочем, через окно на пол ласково опускался луч луны.

Однажды в праздник Лунев пришел домой бледный, со стиснутыми зубами и, не раздеваясь, свалился на постель. В груди у него холодным комом лежала злоба, тупая боль в шее не позволяла двигать головой, и казалось, что всё его тело ноет от нанесенной обиды.

Утром этого дня полицейский, за кусок яичного мыла и дюжину крючков, разрешил ему стоять с товаром около цирка, в котором давалось дневное представление, и Илья свободно расположился у входа в цирк. Но пришел помощник частного пристава, ударил его по шее, пнул ногой козлы, на которых стоял ящик, — товар рассыпался по земле, несколько вещей попортилось, упав в грязь, иные пропали. Подбирая с земли товар, Илья сказал помощнику:

— Это незаконно, ваше благородие...

— Ка-ак?.. — расправив рыжие усы, спросил обидчик.

— Драться нельзя...

— Да? Мигунов! Отведи его в часть! — спокойно приказал помощник.

И тот же полицейский, который позволил Илье стоять у цирка, отвел его в часть, где Лунев и просидел до вечера.

Столкновения с полицией бывали у Лунева и раньше, но в части он сидел еще впервые и первый раз ощущал в себе так много обиды и злобы.

Лежа на кровати, он закрыл глаза и весь сосредоточился на ощущении мучительно тоскливой тяжести в груди. За стеной в трактире колыхался шум и гул, точно быстрые и мутные ручьи текли с горы в туманный день осени. Гремело железо подносов, дребезжала посуда, отдельные голоса громко требовали водки, чаю, пива... Половые кричали:

— Сейчас!

И, прорезывая шум дрожащей стальной нитью, высокий горловой голос грустно пел:

Я-а не ча-ял... тебя измыкати...

Другой, басовой и звучный, утопая в хаосе звуков, подпевал негромко и красиво:

А-ах, измыкал я-а... сво-ою мо-лодо-ость.

Кто-то закричал так, точно горло у него было деревянное, высохшее, с трещинами:

— Вр-решь! Сказано: «Яко соблюл еси слово терпения моего, и аз тя соблюду в годину искушения»...

— Сам врешь,— отчетливо и горячо возражали ему,— там же сказано: «Понеже тепл еси, а не студен еси, ниже горящ — имам ти изблевати из уст моих»... вот! Что, взял?..

Раздался громкий хохот, и за ним посыпалась визгливая дробь:

— А я ее — по личику, а я ее — по нежному! да в ухо ей, да в зубы ей! раз, раз, раз!

Хохотали, а визгливый голос, захлебываясь, продолжал:

— Она — хлясь оземь! А я ее опять в рожицу, опять в милую! Н-на! Я первый целовал, я и изуродую...

— На-ачетчик! — насмешливо воскликнул кто-то.

— Нет, я буду горячиться!

— «Аз люблю, обличаю и наказую»... забыл?..

И еще: «Не суди, да не судим будеши»... Опять же — Давида-царя слова — забыл?

Илья слушал спор, песню, хохот, но всё это падало

куда-то мимо него и не будило в нем мысли. Пред ним во тьме плавало худое горбоносое лицо помощника частного пристава, на лице этом блестели злые глаза и двигались рыжие усы. Он смотрел на это лицо и всё крепче стискивал зубы. Но песня за стеной росла, певцы воодушевлялись, их голоса звучали смелее и громче, жалобные звуки нашли дорогу в грудь Ильи и коснулись там ледяного кома злобы и обиды.

Изошё-ол я, добрый молодец...
Эх, со устья до-о вершинушки...

И оба голоса слились в жалобу:

Всю сибирскую сто-оронушку,
Да всё искал домой до-оро-женьку...

Илья вздохнул, вслушиваясь в грустные слова. В густом шуме трактира они блестели, как маленькие звезды в небе среди облаков. Облака плывут быстро, и звезды то вспыхивают, то исчезают...

Ой, изжевал язык я с го-олоду,
Да изболели ко-ости с хо-олоду...

Илья подумал, что вот поют эти люди, хорошо поют, так, что песня за душу берет. А потом они напьются водки и, может быть, станут драться... Ненадолго хватает в человеке хорошего...

Эх! ты судьба ли мо-оя чё-орная...

— жаловался высокий голос.

Бас сильно и густо запел:

Ты как ноша мне чу-гун-на-ая...

Память Ильи вызвала из прошлого образ деда Еремея. Старик говорил, потрясая головой, со слезами на щеках:

— Глядел я, глядел, а правды не видал...

Илья подумал, что вот дедушка Еремей бога любил и потихоньку копил деньги. А дядя Терентий бога боится, но деньги украл. Все люди всегда как-то дwoятся сами в себе. В грудях у них словно весы, и сердце их, как стрела весов, наклоняется то в одну, то в другую сторону, взвешивая тяжести хорошего и плохого.

— Ага-а! — рывкнул кто-то в трактире. И вслед за тем что-то упало, с такой силой ударившись о пол, что даже кровать под Ильей вздрогнула.

— Стой!.. Ба-атюшки...

— Держи его...

— Кра-у-ул...

Шум сразу усилился, закипел, родилась масса новых звуков, все они завертелись, завывли, затрепетали в воздухе, сцепившись друг с другом, как стая злых и голодных собак.

Илья с удовольствием слушал, ему было приятно, что случилось именно то, чего он ожидал, и подтверждает его мысли о людях. Он закинул руки под голову и вновь отдал себя во власть думам.

«...А должно быть, велик грех совершил дед Антипа, если восемь лет кряду молча отмаливал его... И люди всё простили ему, говорили о нем с уважением, называли праведным... Но детей его погубили. Одного загнали в Сибирь, другого выжили из деревни...»

«Тут особый счет надобен! — вспомнились Илье внушительные слова купца Строганого. — Ежели один честен, а девять — подлецы, никто не выигрывает, а человек пропадет... Которых больше, те и правы...»

Илья усмехнулся. В груди его холодной змеей шевелилось злое чувство к людям. А память всё выдвигала пред ним знакомые образы. Большая, неуклюжая Матица валялась в грязи среди двора и стонала:

— Ма-атинко!.. Ма-атинко ридна! Коли б ты мнина ба-ачила!

Пьяненький Перфишка стоял около нее, покачиваясь на ногах, и укоризненно говорил:

— Нажралась! С-свинья...

А с крыльца смотрел на них, презрительно улыбаясь, Петруха, здоровый, румяный.

Скандал в трактире кончился. Три голоса — два женских и мужской — пытались запеть песню, — она не удалась им. Кто-то принес гармонию, поиграл на ней немного и нехорошо, потом замолк.

Раздался звонкий голос Перфишки, покрывая весь шум в трактире. Сапожник певучей скороговоркой кричал:

— И-эх, лей, кубышка, поливай, кубышка, не жалея, кубышка, хозяйского добришка! Будем пить, будем баб любить, будем по миру ходить! С миру по нитке — бедному петля! А от той петли избавишься — на своих жилах удавишься...

Раздался веселый хохот, крики одобрения...

Илья встал, вышел на двор и остановился на крыльце, полный желания уйти куда-нибудь и не зная, — куда идти? Было уже поздно; Маша спала; Яков угорел и лежал у себя дома, куда Илья не любил ходить, потому что Петруха всегда при виде его неприятно двигал бровями. Дул холодный ветер осени. Густая, почти черная тьма наполняла двор, неба не было видно. Все постройки на дворе казались большими кусками сгущенной ветром тьмы. В сыром воздухе что-то хлопало, шелестело, был слышен тихий, странный шёпот, напоминая людские жалобы на жизнь. Ветер бросался на грудь Ильи, крепко дул ему в лицо, дышал холодом за ворот... Илья вздрагивал, думая о том, что так жить совсем нельзя, нельзя! Надо уйти куда-нибудь от всей этой грязной суеты и склоки, надо жить одному, чисто, тихо...

— Это кто стоит? — вдруг раздался глухой голос.

— А кто говорит?

— Я... Матица...

— А ты где тут?

— На дровах сажу...

— Чего?

— Так...

И оба замолчали...

— А сегодня матери моей година, — сообщила Матица из тьмы.

— Давно померла? — спросил Илья, чтобы сказать что-нибудь.

— Давно-о... лет с пятнадцать... А то больше... А твоя жива?

— Нет... тоже померла... Тебе который же год?

Матица помолчала и ответила со свистом:

— С-с-тридцать уж... Болит у меня нога вот... Вспухла, как дыня, и болит... Я ж ее терла, терла всяким — не помогает.

Кто-то отворил дверь трактира; оттуда на двор вырвалась стая громких звуков. Ветер подхватил их и рассеял во тьме.

— Ты чего тут стоишь? — спросила Матица.

— Так... Скушно стало...

— Как я... Там у меня, как в гроби.

Илья услышал тяжелый вздох. Потом Матица сказала ему:

— Пойдем ко мне?

Илья взглянул по направлению голоса женщины и равнодушно ответил:

— Пойдем...

По лестнице на чердак Матица шла впереди Ильи. Она становила на ступеньки сначала правую ногу и потом, густо вздыхая, медленно поднимала кверху левую. Илья шел за нею без мысли и тоже медленно, точно тяжесть скуки мешала ему подниматься так же, как боль — Матице.

Комната женщины была узкая, длинная, а потолок ее действительно имел форму крышки гроба. Около двери помещалась печка-голландка, у стены, опираясь в печку спинкой, стояла широкая кровать, против кровати — стол и два стула по бокам его. Еще один стул стоял у окна, — оно было темным пятном на серой стене. Здесь шум и вой ветра были слышнее. Илья сел на стул у окна, оглядел стены и, заметив маленький образок в углу, спросил:

— Это какой образ?

— Святая Анна... — почтительно и тихо сказала Матица.

— А тебя как зовут?

— Тоже Анна... Не знал?

— Нет...

— Никто не знает, — сказала Матица, тяжело усаживаясь на кровать. Илья смотрел на нее, но не чувствовал желаний говорить. Женщина тоже молчала. Так, молча, они сидели долго, минуты три, каждый из них точно не замечал присутствия другого. Наконец женщина спросила:

— Ну, — что же мы будем делать?

— Не знаю... — ответил Илья.

— Ну еще бы! — недоверчиво усмехаясь, воскликнула женщина. — А ты угости меня. Купи пару пива... Нет, вот что — купи ты мне есть!.. Ничего не надо, а только есть...

Голос у нее перехватил, она кашлянула и виновато продолжала:

— Видишь ли... Как заболела нога, то не стало у меня дохода... Не выхожу... А всё уж прожила... Пятый день сижу вот так... Вчера уж и не ела почти, а сегодня просто совсем не ела... ей-богу, правда!

Тут только Илья вспомнил, что Матица — гулящая. Он пристально взглянул в ее большое лицо и увидел, что черные глаза ее немножко улыбаются, а губы так шевелятся, точно она сосет что-то невидимое... В нем вспыхнуло ощущение неловкости пред нею и особенно-го смутного интереса к ней.

— Сейчас я принесу...

Он быстро встал, торопливо сбежал по лестнице в сени трактира и остановился перед дверью в кухню. Ему вдруг не захотелось возвращаться на чердак. Но это нежелание блеснуло в скучной тьме его души, как искра, и тотчас же угасло. Он вошел в кухню, купил у повара на гривенник обрезков вареного мяса, кусков хлеба и еще остатков чего-то съедобного. Повар сложил всё это в засаленное решето. Илья взял его в обе руки, как блюдо, и, выйдя в сени, снова остановился, озабоченный мыслью о том, как достать пива. Самому купить в буфете нельзя — Терентий спросил бы, зачем это ему? Он вызвал из кухни посудника и попросил его купить. Посудник сбежал в буфет, пришел, молча ткнул ему бутылки и схватился за ручку двери в кухню.

— Постой! — сказал Илья. — Это не мне... Это — товарищ пришел...

— Что? — спросил посудник.

— Товарища я угощаю...

— Ага... ну, так что?

Илья почувствовал, что лгать было не нужно, и ему стало неловко. Наверх он шел не торопясь, чутко прислушиваясь ко всему, точно ожидая, что кто-то остановит его. Но, кроме шума ветра, ничего не было слышно, никто не остановил юношу, и он внес на чердак к жен-

щине вполне ясное ему, похотливое, хотя еще робкое чувство.

Матица, поставив решето себе на колени, молча вытаскивала из него большими пальцами серые куски пицци, клала их в широко открытый рот и громко чавкала. Зубы у нее были крупные, острые. И перед тем, как дать им кусок, она внимательно оглядывала его со всех сторон, точно искала в нем наиболее вкусные местечки.

Илья упорно смотрел на женщину, думая о том, как он обнимет ее, и боялся, что он не сумеет сделать этого, а она насмеется над ним. От этой мысли его бросало в жар и холод.

Ветер, залетая через слуховое окно на чердак, торкался в дверь комнаты, и каждый раз, когда дверь сотрясалась, Илья вздрагивал, ожидая, что вот сейчас войдет кто-то и застанет его тут...

— Я запру дверь? — сказал он.

Матица молча кивнула головой, составила решето на лежанку, перекрестилась.

— Слава тебе, святой, — вот и сытая стала баба! Ой, немного же надо человеку!

Илья промолчал. Женщина поглядела на него, вздохнула и сказала еще:

— А кто много хочет, с того много и спросят...

— Кто спросит? — отозвался Илья.

— А бог?

Илья снова не ответил ей. Имя божие в ее устах породило в нем острое, но неясное, неуловимое словом чувство, и оно противоречило его желанию обнять эту женщину. Матица уперлась руками в постель, приподняла свое большое тело и подвинула его к стене. Потом она заговорила равнодушно, каким-то деревянным голосом:

— Ела я и всё думала про Перфишкину дочку... Давно я о ней думаю... Живет она с вами — тобой да Яковом, — не будет ей от того добра, думаю я... Испортите вы девчонку раньше время, и пойдет она тогда моей дорогой... А моя дорога — поганая и проклятая... не ходят по ней бабы и девки, а, как черви, ползут...

Она помолчала и заговорила снова, разглядывая свои руки, лежавшие на коленях у нее:

— Скоро уже девочка взрастет. Я спрашивала которых знакомых кухарок и других баб — нет ли места где для девочки? Нет ей места, говорят... Говорят — продай!.. Так ей будет лучше... дадут ей денег и оденут... дадут и квартиру... Это бывает, бывает... Иной богатый, когда он уже станет хилым на тело да поганеньким и уже не любят его бабы даром... то вот такой мерзюга покупает себе девочку... Может, это и хорошо ей... а всё же противно должно быть сначала... Лучше бы без этого... Лучше уж жить ей голодной, да чистой, чем...

Она закашлялась, точно поперхнувшись каким-то словом, но тем же равнодушным голосом докончила:

— Чем и поганой и голодной...

Ветер всё летал по чердаку, дерзко торкался в дверь.

Равнодушный голос женщины и ее тяжелая, неподвижная фигура не позволяли чувству Ильи развиться и внушить юноше храбрость, необходимую для выражения его желания. Матица как бы отталкивала его всё дальше, он замечал это и раздражался против нее...

— Боже, боже мой! — тихонько вздохнув, сказала женщина. — Святая мати!..

Илья сердито двинулся на стуле и угрюмым голосом заговорил:

— Называешь себя поганой, а сама всё — бог, бог! Думаешь, ему это нужно от тебя?

Матица взглянула на него, помолчала и качнула головой.

— Не понимаю твоей речи...

— Понимать тут нечего! — продолжал Илья, встав со стула. — Блудите, блудите — а потом бог! Коли бог — так не блуди...

— Ой! — беспокойно воскликнула женщина. — Что это? Кто же будет о боге помнить, как не грешные?

— Уж я не знаю — кто! — молвил Илья, чувствуя прилив неукротимого желания обидеть эту женщину и всех людей. — Знаю, что не вам о нем говорить, да! Не вам! Вы им только друг от друга прикрываетесь... Не маленький... вижу я. Все ноют, жалуются... а за-

чем пакостничают? Зачем друг друга обманывают, грабят?.. Согрешит, да и за угол! Господи, помилуй! Понимаю я... обманщики, черти! И сами себя и бога обманываете!..

Матица смотрела на него молча, открыв рот и вытянув шею, в глазах ее было тупое удивление. Илья подошел к двери, резким движением сорвал крючок и вышел вон, сильно хлопнув. Он чувствовал, что жестоко обидел Матицу, и это было приятно ему, и на сердце стало легче и в голове ясней. Спускаясь с лестницы твердыми шагами, он свистал сквозь зубы, а злоба всё подсказывала ему обидные, крепкие, камням подобные слова. Казалось ему, что все эти слова раскалены, освещают тьму внутри его и показывают ему дорогу в сторону от людей. Уже он говорил свои слова не одной Матице, а и дяде Терентию, Петрухе, купцу Строганому — всем людям.

«Так-то вот! — выйдя на двор, думал он. — Нечего с вами церемониться, — сволочь!..»

Вскоре после посещения Матицы Илья начал ходить к женщинам. Первый раз это случилось так: однажды вечером он шел домой, а какая-то женщина и сказала ему:

— Пойдем?

Он взглянул на нее и молча пошел рядом с нею. Но идя, он наклонил голову и всё оглядывался кругом, боясь встретить знакомого. Через несколько шагов женщина еще сказала предупреждающим голосом:

— Смотри — целковый.

— Ладно! — сказал Илья. — Идем скорее...

И вплоть до квартиры женщины они шли молча. Вот и всё...

Но знакомство с женщинами сразу повело к большим расходам, и всё чаще Илья думал о том, что его торговля — пустая трата времени, не даст она ему возможности устроить чистую жизнь. Одно время он хотел, по примеру других разносчиков, заняться лотереей и обманывать публику, как все разносчики. Но, подумав, нашел эту затею мелкой и хлопотливой. Пришлось бы прятаться от городских или заискивать у них и платить им, — это было противно Илье. Он любил смотреть

всем в глаза прямо и смело и чувствовал острое удовольствие оттого, что всегда был одет опрятнее других разносчиков, не пил водки и не жульничал. Ходил он по улицам не торопясь, степенно, его скуластое лицо было сухо и серьезно; разговаривая, он прищуривал свои темные глаза, говорил немного, обдуманно. Часто он мечтал о том, как хорошо было бы найти денег рублей тысячу или больше. Рассказы о кражах возбуждали в нем жгучий интерес: он покупал газету, внимательно читал о подробностях кражи и долго потом следил, — напали воров или нет? А когда их находили, Илья сердился и осуждал их, говоря Якову:

— Попались, болваны!.. Уж не брались бы, коли не умеют, — черти!

Как-то вечером он сказал Якову:

— Жулики лучше живут, честные — хуже!

Лицо Якова напряглось, глаза прищурились, и он сказал тем пониженным, таинственным голосом, которым всегда говорил о мудрых вещах:

— Позапрошлый раз в трактире дядя твой чай пил с каким-то старичком, — начетчиком, должно быть. Старичок говорил, будто в Библии сказано: «Покойны дома у грабителей и безопасны у раздражающих бога, которые как бы бога носят на руках своих...»

— А — не врешь ты? — спросил Илья, внимательно прослушав товарища.

— Не мои слова... — разводя руками, словно нащупывая что-то в воздухе, продолжал Яков. — В Библии сказано... может, он и сам выдумал, старичишка-то... Переспросил я его... повторяет в одно слово...

И, наклоняясь к Илье, он сказал:

— Взять, к примеру, отца моего... Покоен! А бога раздражает...

— Еще как! — воскликнул Илья.

— В гласные его выбрали...

Яков опустил голову, тяжело вздохнул и добавил:

— Надо бы, чтобы каждое человеческое дело перед совестью кругло было, как яичко, а тут... Тошно мне... Ничего не понимаю... Сноровки к жизни у меня нету, приверженности к трактиру я не чувствую... А отец — всё долбит... «Будет, говорит, тебе шематонить, возь-

мись за ум, — дело делай!» Какое? Торгую я за буфетом, когда Терентия нет... Противно мне, но я терплю... А от себя что-нибудь делать — не могу...

— Надо учиться! — солидно сказал Илья.

— Трудно жить... — тихо молвил Яков.

— Трудно? Тебе? Врешь ты! — вскричал Илья, вскочив с кровати и подходя к товарищу, сидевшему под окном. — Мне — трудно, да! Ты — что? Отец состарится — хозяин будешь... А я? Иду по улице, в магазинах вижу брюки, жилетки... часы и всё такое... Мне таких брюк не носить... таких часов не иметь, — понял? А мне — хочется... Я хочу, чтобы меня уважали... Чем я хуже других? Я — лучше! А жулики предо мной кичатся, их в гласные выбирают! Они дома имеют, трактиры... Почему жулику счастье, а мне нет его? Я тоже хочу...

Яков поглядел на товарища и вдруг тихо, но внятно сказал:

— Не дай бог тебе удачи!

— Что? Почему? — вскричал Илья, остановившись среди комнаты и возбужденно глядя на Якова.

— Жаден ты, — ничем тебя не успокоишь, — объяснил тот.

Илья засмеялся сухо и со злобой.

— Не успокоишь? Ты скажи-ка отцу своему, чтоб он дал мне хоть половину тех денег, что у дедушки Еремея вместе с моим дядей они выкрали, — я и успокоюсь — да!

Но тут Яков встал со стула и, опустив голову, тихо пошел к двери. Илья видел, что плечи у него вздрагивают и шея так согнута, точно Якова больно ударили по ней.

— погоди! — смущенно сказал Илья, взяв товарища за руку. — Куда ты?

— Пусти, брат, — почти шёпотом молвил Яков, но остановился и взглянул на Илью. Лицо у него было бледное, губы плотно сжаты, и весь он как-то размяк, точно его раздавило...

— Ну... погоди! — виновато просил Илья, осторожно отводя его от двери. — Ты не сердись на меня. Правда ведь...

— Я знаю,— сказал Яков.

— Знаешь? Кто сказал?

— Все говорят...

— Н-да-а... Но ведь и говорят — тоже жулики!
Яков взглянул на него жалобными глазами и вздохнул.

— Не верил я,— думал, со зла говорят, из зависти. Потом — стал верить... А коли и ты — значит...

Он махнул рукой, отвернулся от товарища и замер неподвижно, крепко упираясь руками в сиденье стула и опустив голову на грудь. Илья отошел от него, сел на кровать в такой же позе, как Яков, и молчал, не зная, что сказать в утешение другу.

— Вот тут и живи,— вполголоса сказал Яков.

— Да-а,— отозвался Илья в тон ему.— Я, брат, понимаю — нехорошо тебе. Одно утешенье — все таковы, как поглядишь...

— Ты верно про то знаешь? — робко спросил Яков, не глядя на товарища.

— Помнишь — убежал я? Видел в щель, как они подушку зашивали... а он хрипел еще...

Яков повел плечами, встал и пошел к двери, сказав Илье:

— Прощай...

— Прощай. Ты не того... не очень грусти... Что поделаешь?

— Я — ничего... — отозвался Яков, отворяя дверь.

Илья проводил его глазами и тяжело свалился на постель. Ему было жалко Якова, и в нем снова вскипела злоба на дядю и Петруху, на всех людей. Среди них нельзя жить такому человеку, как Яков, а Яков был хороший человек, добрый, тихий, чистый. Илья думал о людях, память подсказывала ему разные случаи, рисовавшие людей злыми, жестокими, лживыми. Он много знал таких случаев, и ему легко было забрызгивать людей желчью и грязью воспоминаний. Чем темнее становились они пред ним, тем тяжелей было ему дышать от странного чувства, в котором была и тоска о чем-то, и злорадство, и страх от сознания своего одиночества в этой черной, печальной жизни, что крутилась вокруг него бешеным вихрем...

Когда, наконец, у него не стало больше терпения лежать одиноко в маленькой комнатке, сквозь доски стен которой просачивались мутные и пахучие звуки из трактира, он встал и пошел гулять. Долго в эту ночь он ходил по улицам города, нося с собой неотвязную и несложную, тяжелую думу свою. Ходил во тьме и думал, что за ним точно следит кто-то, враг ему, и неощутимо толкает его туда, где хуже, скучнее, показывает ему только такое, от чего душа болит тоской и в сердце зарождается злоба. Ведь есть же на свете хорошее — хорошие люди, и случаи, и веселье? Почему он не видит их, а всюду сталкивается только с дурным и скучным? Кто направляет его всегда на темное, грязное и злое?

Он шел во власти этих дум по полю около каменной ограды загородного монастыря и смотрел вперед себя. Навстречу ему из темной дали тяжело и медленно двигались тучи. Кое-где во тьме, над его головой, среди туч, проблескивали голубые пятна небес, на них тихо сверкали маленькие звезды. В тишину ночи изредка вливался певучий медный звук сторожевого колокола монастырской церкви, и это было единственное движение в мертвой тишине, обнимавшей землю. Даже из темной массы городских зданий, сзади Ильи, не долетало до поля шума жизни, хотя еще было не поздно. Ночь была морозная; Илья шел и спотыкался о мерзлую грязь. Жуткое ощущение одиночества и боязнь, рожденная думами, остановили его. Он прислонился спиной к холодному камню монастырской ограды, упорно думая: кто водит его по жизни, кто толкает на него всё дурное ее, всё тяжкое?

«Ты это, господи?» — вспыхнул в душе Ильи яркий вопрос.

Холодный ужас дрожью пробежал по телу его; охваченный предчувствием чего-то страшного, он оторвался от стены и торопливыми шагами, спотыкаясь, пошел в город, боясь оглянуться, плотно прижимая руки свои к телу.

.....
Через несколько дней после этого Илья встретил Пашку Грачева. Был вечер; в воздухе лениво кружились

мелкие снежинки, сверкая в огнях фонарей. Несмотря на холод, Павел был одет только в бумазейную рубаху, без пояса. Шел он медленно, опустив голову на грудь, засунув руки в карманы, согнувши спину, точно искал чего-то на своей дороге. Когда Илья поравнялся с ним и окликнул его, он поднял голову, взглянул в лицо Ильи и равнодушно молвил:

— А!

— Как живешь? — спросил Илья, идя рядом с ним.

— Надо бы хуже, да — нельзя... Ты как?

— Н-ничего...

— Тоже, видно, не сладко...

Помолчали, идя рядом и касаясь один другого локтями.

— Что к нам не придешь? — сказал Илья.

— Всё некогда... Свободного-то время не больно нам много отпущено, сам знаешь...

— Нашлось бы, коли захотел... — с упрёком сказал Илья.

— А ты не сердись... Меня зовешь, а сам ни разу и не спросил, где я живу, не то чтобы прийти ко мне...

— А ведь верно! — воскликнул Илья с улыбкой.

Павел взглянул на него и заговорил более оживленно:

— Я один живу, товарищей нет, — не встречаются по душе. Хворал, почти три месяца в больнице валялся, — никто не пришел за всё время...

— Чем хворал?

— Пьяный простудился... Брюшной тиф был... Выздоровливать стал — мука! Один лежишь весь день, всю ночь... и кажется тебе, что ты и нем и слеп... брошен в яму, как кутенок. Спасибо доктору... книжки всё давал мне... а то с тоски издох бы я...

— Книжки-то хорошие? — спросил Лунев.

— Да-а, хороши! Стихи читал я — Лермонтова, Некрасова, Пушкина... Бывало, читаю, как молоко пью. Есть, брат, стихи такие, — читаешь — словно милая целует. А иной раз стих хлыстнет тебя по сердцу, как искру высечет: вспыхнешь весь...

— А я отвыкать стал от книг, — вздохнув, сказал Илья. — Читаешь — одно, глядишь — другое...

— То и хорошо... Зайдем в трактир? Посидим, по-толкуем... Мне надо в одно место, да еще рано...

— Пойдем! — согласился Илья и дружески взял Павла за руку. Тот опять взглянул в лицо ему, улыбнулся и сказал:

— Никогда у нас с тобой особой дружбы не было, а встречать тебя мне приятно...

— Ну, не знаю, приятно ли тебе... А мне — да!

— Эх, брат! — прервал Павел его речь. — Догнал ты меня, когда я о таких делах думал, — лучше не вспоминать! — Махнув рукой, он замолчал и пошел медленнее.

Они зашли в первый попавшийся на пути трактир, сели там в уголок, спросили себе пива. При свете ламп Илья увидал, что лицо Павла похудело и осунулось, глаза у него беспокойны, а губы, раньше насмешливо полуоткрытые, теперь плотно сомкнулись.

— Ты где работаешь? — спросил он Грачева.

— Опять в типографии, — невесело сказал Павел.

— Трудно?

— Не работа ест, — забота.

Илья чувствовал смутное удовольствие, видя веселого и бойкого Пашку унылым и озабоченным. Ему хотелось узнать, что так изменило Павла, и он, усиленно подливая пива в стакан ему, выпрашивал:

— Стихи-то сочиняешь?

— Теперь — бросил, а раньше много сочинял. Показывал доктору — хвалит. Одни он даже в газете напечатал...

— Ого! — воскликнул Илья. — Какие же стихи? Ну-ка, скажи!

Горячее любопытство Ильи и несколько стаканов пива оживили Грачева. Его глаза вспыхнули, и на желтых щеках загорелся румянец.

— Какие? — переспросил он, крепко потирая лоб рукой. — Забыл я. Ей-богу, забыл! Погоди, может, вспомню. У меня их всегда в башке, как пчел в улье... так и жужжат! Иной раз начну сочинять, так разгорячусь даже... Кипит в душе, слезы на глаза выступают... хочется рассказать про это гладко, а слов нет... — Он вздохнул и, тряхнув головой, добавил: — В душе замешено густо, а выложишь на бумагу — пусто...

— Ты мне скажи какие-нибудь! — попросил Илья. Чем больше он присматривался к Павлу, тем сильнее росло его любопытство, и понемножку к любопытству этому примешивалось хорошее, теплое и грустное чувство.

— Я смешные сочиняю — про свою жизнь, — сказал Грачев, смущенно улыбаясь. Оглянулся вокруг, кашлянул и вполголоса начал говорить, не глядя в лицо товарища:

Ночь... Тошно! Сквозь тусклые стекла окна
Мне в комнату луч свой бросает луна,
И он, улыбаясь приятельски мне,
Рисует какой-то узор голубой
На каменной, мокрой, холодной стене,
На клочьях оборванных, грязных обой.
Сажу я, смотрю и молчу, всё молчу...
И спать я совсем не хочу...

Павел остановился, глубоко вздохнул и продолжал медленнее и тише:

Судьба меня душит, она меня давит...
То сердце царапнет, то бьет по затылку,
Сударку — и ту для меня не оставит.
Одно оставляет мне — водки бутылку...
Стоит предо мною бутылка вина...
Блестит при луне, как смеется, она...
Вином я сердечные раны лечу:
С вина в голове зародится туман,
Я думать не стану и спать захочу...
Не выпить ли лучше еще мне стакан?
Я — выпью!.. Пусть те, кому спится, не пьют!
Мне думы уснуть не дадут...

Кончив читать, Грачев мельком взглянул на Илью и, еще ниже опустив голову, тихо сказал:

— Вот... всё больше такие у меня...

Он застучал пальцами по краю стола и беспокойно задвигался на стуле.

Несколько секунд Илья пристально смотрел на Грачева с недоверчивым удивлением. В его ушах звучала складная речь, но ему было трудно поверить, что ее сложил этот худой парень с беспокойными глазами, одетый в старую толстую рубаху и тяжелые сапоги.

— Н-ну, брат, это не очень смешно! — медленно и негромко заговорил он, присматриваясь к Павлу. — Это хорошо... Меня за сердце взяло... право! Ну-ка, скажи еще раз...

Павел быстро вскинул голову, взглянул на своего слушателя веселыми глазами и, подвинувшись к нему ближе, тихонько спросил:

— Вправду — нравится?

— Чудак!.. Стану я врать?

Павел начал читать тихо, задумчиво, с остановками, глубоко вздыхая, когда у него не хватало голоса. И когда он прочитал, сомнение Ильи в том, что Павел сам сочинил стихи, возросло.

— А ну-ка другие? — попросил он.

— Я лучше к тебе приду с тетрадкой... А то у меня всё длинные... и пора мне идти! Потом — плохо я помню... Всё концы да начала вертятся на языке... Вот, есть такие стихи, — будто я иду по лесу ночью и запутался, устал... ну, — страшно... один я... ну, вот, я ищу выхода и жалуясь:

Изныли ноги,
Устало сердце —
Всё нет пути!
Земля родная!
Хоть ты скажи мне —
Куда идти?
Прилег к земле я —
К ее родимой
Сырой груди —
И слышал сердцем
Глубокий шёпот:
— Сюда иди!

— Слушай, Илья, пойдем со мной, а? Пойдем? Не хочется мне с тобой прощаться...

Грачев суетился, дергал Илью за рукав, ласково заглядывал в лицо.

— Иду! — сказал Илья. — Мне тоже хочется с тобой побыть... По правде скажу — и верю я тебе, и нет... Уж больно ты любопытен! Ловко у тебя стихи-то выходят...

— Не веришь, что мой?

— Коли твои — молодчина ты! — искренно воскликнул Илья.

— Я, брат, подучусь, так буду писать — держись только!

— Чеши!

— Эх, Илья! Кабы мне ума!..

Они быстро шагали по улице и, на лету схватывая слова друг друга, торопливо перекидывались ими, всё более возбуждаясь, всё ближе становясь друг к другу. Оба ощущали радость, видя, что каждый думает так же, как и другой, эта радость еще более поднимала их. Снег, падавший густыми хлопьями, таял на лицах у них, оседал на одежде, приставал к сапогам, и они шли в мутной кашнице, бесшумно кипевшей вокруг них.

— О, дьявол! — выругался Илья, остушившись в какую-то яму, полную грязи и снега.

— Держи левее...

— Куда мы идем?

— К Сидорихе, — знаешь?

— Знаю... — помолчав, ответил Илья и засмеялся. — Коротки, брат, дорожки наши!..

— Эх! — тихо сказал Павел, — я понимаю!.. Да надо мне туда: дело у меня... Скажу я тебе... Илья! Горько мне говорить про это...

Павел шумно плюнул.

— Видишь, — девушка там есть одна... Поглядишь какая... всю душу спалить может... Была она горничной у того доктора, что лечил меня. Ходил я к нему за книжками... когда выздоровел... Ну, придешь, сидишь... А она — тут... прыгает, смеется... Я — к ней... Она сразу сдалась, безо всяких слов... Началось у нас — такое! Небо вспыхнуло... Лечу к ней — как перо в огонь... Нацелуемся — губы вспухнут, кости ноют — эх! Чистенькая она, маленькая, как игрушечка, — обвинишь — и нет ее! Будто птичкой в сердце мне влетела и поет там песню... и поет...

Он замолчал и как-то странно всхлипнул жадным звуком.

— Ну? — спросил Илья, увлеченный его рассказом.

— Застала нас жена докторова... чёрт бы ее взял!

И барыня хорошая ведь, дура дьяволова! Бывало, тоже говорила со мной... славно так... Красивая... ведьма!..

— Ну? — повторил Илья.

— Ну — шум поднялся... Прогнали Верку... Изругали ее... И меня... Она — ко мне... А я в ту пору без места был... Проели всё до ниточки... Ну, а она — характерная... Убежала... Пропала недели на две... Потом явилась... одетая по-модному и всё... браслет... деньги...

Пашка скрипнул зубами и глухо сказал:

— Прибил я ее... больно...

— Ушла? — спросил Илья.

— Не-ет... кабы ушла, я бы в омут головой... Говорит — или убей, или — не тронь... Я, говорит, тебе тяжела... Души, говорит, никому не дам...

— А ты — что?

— Я — всё делал: и бил ее, и — плакал... А что я могу еще? Кормить мне ее нечем...

— А на место она — не хочет?

— Чёрт ее уломает! Говорит — хорошо! Но дети у нас пойдут — куда их? А так, дескать, всё цело, всё — твое, и детей не будет...

Илья Лунев подумал и сказал:

— Умная она...

Пашка промолчал, быстро шагая в снежной мгле.

Он опередил товарища шага на три, потом обернулся к нему, остановился и глухо, шипящим голосом произнес:

— Как подумаю я, что другие целуют ее, — словно свинец мне в грудь нальется...

— Бросить ее не можешь?

— Ее? — с удивлением крикнул Павел.

Илья понял его удивление, когда увидел девушку.

Они пришли на окраину города, к одноэтажному дому. Его шесть окон были наглухо закрыты ставнями, это делало дом похожим на длинный старый сарай. Мокрый снег густо облепил стены и крышу, точно хотел спрятать этот дом.

Пашка постучал в ворота, говоря:

— Тут — особенное заведение. Сидориха дает девушкам квартиру, кормит и берет за это пятьдесят целковых с каждой... Девушек четыре только... Ну, конеч-

но, вино держит Сидориха, пиво, конфеты... Но девушек не стесняет ничем: хочешь — гуляй, хочешь — дома сиди, — только полсотни в месяц дай ей... Девушки дорогие, — им эти деньги легко достать... Тут одна есть — Олимпиада, — меньше четвертной не ходит...

— А твоя — почему? — спросил Илья, стряхивая снег с одежды.

— Н-не знаю, — тоже дорого... — помолчав, тихим голосом ответил Грачев.

За дверью раздался шум, золотая нитка света задрожала в воздухе...

— Кто там?

— Я это, Васса Сидоровна... Грачев...

— А! — Дверь отворилась; маленькая, сухая старушка, с огромным носом на дряблом лице, освещая Павла огнем свечи, ласково сказала: — Здравствуй... А Верунька-то давно мечется, ждет тебя. Это кто с тобой?

— Товарищ...

— Кто пришел? — спросили откуда-то из темного, длинного коридора звучным голосом.

— К Вере это, Липочка... — сказала старуха.

— Верка, твой! — крикнул тот же звучный голос, гулко разносясь по коридору.

Тогда в глубине коридора быстро распахнулась дверь, и в широком пятне света встала маленькая фигурка девушки, одетой во всё белое, осыпанной густыми прядями золотистых волос.

— До-олго ты! — низким грудным звуком капризно протянула она. Потом приподнялась на носки, положила руки свои на плечи Павла и из-за него взглянула на Илью карими глазами.

— Это — товарищ... Лунев Илья...

— Здравствуйте!

Девушка протянула Илье руку, и широкий рукав ее белой кофточки поднялся почти до плеча. Илья пожал горячую ручку почтительно, бережливо, глядя на подругу Павла с той радостью, с какой в густом лесу, среди бурелома и болотных кочек, встречаешь стройную березку. И, когда она посторонилась, чтобы пропустить

его в дверь, он тоже отступил в сторону и уважительно сказал:

— Вы — первая!

— Ка-акой кавалер! — засмеялась она. И смех у нее был хороший — веселый, ясный. Павел тоже смеялся, говоря:

— Ошарашила ты, Верка, парня... смотри-ка, как медведь перед медом, стоит он пред тобой...

— Да разве? — весело спросила девушка Илью.

— Верно! — с улыбкой согласился тот. — Землю вы из-под ног у меня вышибли красотой вашей...

— Влюбись-ка! Зарежу!.. — пригрозил Павел, радостно улыбаясь. Ему было приятно видеть, какое впечатление произвела красота его милой на Илью, он гордо поблескивал глазами. И она тоже с наивным бесстыдством хвасталась собою, сознавая свою женскую силу. На ней была одета только широкая кофта поверх рубашки и юбка, белая, как снег. Незастегнутая кофточка распахивалась, обнажая крепкое, как молодая репа, тело. Малиновые губы маленького рта вздрагивали самодовольной улыбкой; девушка любовалась собою, как дитя игрушкой, которая ему еще не надоела. Илья, не отрывая глаз, смотрел, как ловко она ходит по комнате, вздернув носик, ласково поглядывая на Павла, весело разговаривая, и ему стало грустно при мысли, что у него нет такой подруги.

Среди маленькой, чисто убранной комнаты стоял стол, покрытый белой скатертью; на столе шумно кипел самовар, всё вокруг было свежо и молодо. Чашки, бутылка вина, тарелки с колбасой и хлебом — всё нравилось Илье, возбуждая в нем зависть к Павлу. А Павел сидел радостный и говорил складной речью:

— Как увижу тебя — словно в солнышке греюсь... и про всё позабуду, и на счастье надеюсь... Хорошо жить, такую красотку любя, хорошо, когда видишь тебя...

— Пашка! Славно как!.. — с восхищением вскричала Вера.

— Горячие! Сейчас испек... Эй, Илья! будет тебе!.. Свою заведи...

— Да — хорошую! — странным, каким-то новым голосом сказала девушка, взглянув в глаза Илье.

— Лучше вас — бог не даст! — вздохнув и улыбаясь, сказал Илья.

— Ну,— не говорите, про что не знаете...— тихонько молвила Вера.

— Он знает... — молвил Пашка, нахмурился и продолжал, обращаясь к Илье.— Понимаешь — всё хорошо, радостно... и вдруг это вспомнишь... так и резнет по сердцу!..

— А ты не вспоминай,— сказала Вера, наклонив голову над столом. Илья взглянул на нее и увидел, что уши у нее красные.

— Ты думай так,— тихо, но твердо продолжала девушка,— хоть день, да мой!.. Мне тоже не легко... Я — как в песне поется — мое горе — одна изопью, мою радость — с тобой разделю...

Павел, слушая ее речь, хмурился... Илья почувствовал желание сказать что-нибудь хорошее, ободряющее этим людям и, подумав, сказал:

— Что же делать, коли узла не развяжешь? А я... так вам обоим скажу: будь у меня денег тысяча,— я бы вам! Нател! Примите, сделайте милость, ради вашей любви... Потому — я чувствую — дело ваше с душой, дело чистое, а на всё прочее — плевать!

В нем что-то вспыхнуло и горячей волной охватило его. Он даже встал со стула, видя, как девушка, подняв голову, смотрит на него благодарными глазами, а Павел улыбается ему и тоже ждет еще чего-то от него.

— Я первый раз в жизни вижу, как люди любят друг друга... И тебя, Павел, сегодня оценил по душе — как следует!.. Сижу здесь... и прямо говорю — завидую... А насчет... всего прочего... я вот что скажу: не люблю я чуваш и мордву, противны они мне! Глаза у них — в гною. Но я в одной реке с ними купаюсь, ту же самую воду пью, что и они. Неужто из-за них откажется мне от реки? Я верю — бог ее очищает...

— Верно, Илья! Молодчина! — горячо крикнул Павел.

— А вы пейте из ручья,— тихо прозвучал голос Веры.

— Нет, уж лучше вы мне чайку налейте! — сказал Илья.

— Какой вы хороший! — воскликнула девушка.

— Покорно благодарю! — серьезно ответил Илья.

На Павла эта маленькая сцена подействовала, как вино. Его живое лицо разрумянилось, глаза воодушевленно засверкали, он вскочил со стула и заметался по комнате.

— Эх, чёрт меня съешь! Хорошо жить на свете, когда люди — как дети! Ловко я угодил душе своей, что привел тебя сюда, Илья... Выпьем, брат!

— Разыгрался! — сказала девушка, с ласковой улыбкой взглянув на него, и обратилась к Илье: — Вот он всегда таков — то вспыхнет, то станет серенький, скучный да злой...

В дверь постучались, кто-то спросил:

— Вера, — можно?

— Иди, иди! Вот, Илья Яковлевич, — это Липа, подруга моя...

Илья поднялся со стула, обернулся к двери: перед ним стояла высокая, стройная женщина и смотрела в лицо ему спокойными голубыми глазами. Запах духов струился от ее платья, щеки у нее были свежие, румяные, а на голове возвышалась, увеличивая ее рост, прическа из темных волос, похожая на корону.

— А я сижу одна, — скучно мне... слышу, у тебя смеются, — и пошла сюда... Ничего? Вот кавалер один, без дамы... я его занимать буду, — хотите?

Она плавным движением подвинула стул к Илье, села на него и спросила:

— Вам скучно с ними, скажите? Они тут любезничают, а вам завидно — да?

— С ними не скучно, — смущаясь от ее близости, сказал Илья.

— Жаль! — спокойно кинула женщина, отвернувшись от Ильи и заговорила, обращаясь к Вере: — Знаешь, — была я вчера у всеобщей в девичьем монастыре и такую там клирошанку видела — ах! Чудная девочка... Стояла я и всё смотрела на нее, и думала: «Отчего она ушла в монастырь?» Жалко было мне ее...

— А я бы не пожалела, — сказала Вера.

— Ну как же! Поверю я тебе...

Илья вдыхал сладкий запах духов, разливавшийся

в воздухе вокруг этой женщины, смотрел на нее сбоку и вслушивался в ее голос. Говорила она удивительно спокойно и ровно, в ее голосе было что-то усыпляющее, и казалось, что слова ее тоже имеют запах, приятный и густой...

— А знаешь, Вера, я всё думаю — идти мне к Полуэктову или нет?

— Я не знаю...

— Может быть, я пойду... Он старый, — богатый. Но — жадный... Я прошу, чтоб он положил в банк пять тысяч и платил мне полтора ста в месяц, а он дает три и сто...

— Липочка! Не говори про это, — попросила ее Вера.

— Хорошо, — не буду! — спокойно согласилась Липа и снова обернулась к Илье. — Ну-с, молодой человек, давайте разговаривать... Вы мне нравитесь... у вас красивое лицо и серьезные глаза... Что вы на это скажете?

— Ничего не могу, — смущенно улыбаясь, ответил Илья, чувствуя, что эта женщина окутывает его, как облако.

— Ничего? Да вы скучный... Вы кто?

— Разносчик...

— Да-а? А я думала, вы служите в банке... или приказчиком в хорошем магазине. Вы очень приличный...

— Я чистоту люблю, — сказал Илья. Ему стало томительно жарко, и от духов у него кружилась голова.

— Любите чистоту? Это хорошо... А вы — догадливый?

— Как это?

— Вы уже догадались, что мешаете вашему товарищу, или нет еще? — плавно спросила его голубоглазая женщина.

— Я сейчас уйду!.. — сконфузившись, сказал Илья.

— Вера, можно мне утащить его?

— Тащи, коли пойдет! — сказала Вера и засмеялась.

— Куда? — спросил Илья, волнуясь.

— А ты иди, дурашка! — крикнул Павел.

Илья, отуманенный, стоял и растерянно улыбался, но женщина взяла его за руку и повела за собой, спокойно говоря:

— Вы — дикий, а я капризная и упрямая. Если я захочу погасить солнце, так влезу на крышу и буду дуть на него, пока не испущу последнего дыхания... видите, какая я?

Илья шел рука об руку с ней, не понимал, почти не слушал ее слов и чувствовал только, что она теплая, мягкая, душистая...

Эта связь, неожиданная, капризная, захватила Илью целиком, вызвала в нем самодовольное чувство и как бы залечила царапины, нанесенные жизнью сердцу его. Мысль, что женщина, красивая, чисто одетая, свободно, по своей охоте, дает ему свои дорогие поцелуи и ничего не просит взамен их, еще более поднимала его в своих глазах. Он точно поплыл по широкой реке, в спокойной волне, ласкавшей его тело.

— Мой каприз! — говорила ему Олимпиада, играя его курчавыми волосами или проводя пальцем по темному пуху на его губе. — Ты мне нравишься всё больше... У тебя надежное, твердое сердце, и я вижу, что, если ты чего захочешь, — добьешься... Я — такая же... Будь я моложе — вышла бы за тебя замуж... Тогда вдвоем с тобой мы разыграли бы жизнь, как по нотам...

Илья относился к ней почтительно: она казалась ему умной и, несмотря на зазорную жизнь, уважающей себя. Тело у нее было такое же гибкое и крепкое, как ее грудной голос, и стройное, как характер ее. Ему нравилась в ней бережливость, любовь к чистоте, умение говорить обо всем и держаться со всеми независимо, даже гордо. Но иногда он, приходя к ней, заставлял ее в постели, лежащую с бледным, измятым лицом, с растрепанными волосами, — тогда в груди его зарождалось чувство брезгливости к этой женщине, он смотрел в ее мутные, как бы слинявшие глаза сурово, молча, не находя в себе даже желания сказать ей «здравствуй!»

Она, должно быть, понимала его чувство и, закутытаясь в одеяло, говорила ему:

— Уходи отсюда! Ступай к Вере... Скажи старухе, чтоб принесла воды со снегом...

Он уходил в чистенькую комнатку подруги Павла, а Вера, видя его нахмуренное лицо, виновато улыбалась. Однажды она спросила:

— Что, горька наша сестра?

— Эх, Верочка! — ответил он. — На вас и грех — как снег... Улыбнетесь вы — он растает...

— Бедненькие вы с Павлом, — пожалела его девушка.

Веру он любил, жалел ее, искренно беспокоился, когда она ссорилась с Павлом, мирил их. Ему нравилось сидеть у нее, смотреть, как она чесала свои золотистые волосы или шила что-нибудь, тихонько напевая. В такие минуты она нравилась ему еще больше, он острее чувствовал несчастье девушки и, как мог, утешал ее. А она говорила:

— Нельзя так жить, нельзя, Илья Яковлевич. Ну, я всё равно... так пачколей и буду... а Павел-то за что около меня?

Их беседы нарушала Олимпиада, являясь перед ними бесшумно, как холодный луч луны, одетая в широкий голубой капот.

— Идем чай пить, каприз!.. Потом и ты приходи, Верочка...

Розовая от холодной воды, чистая, крепкая и спокойная, она властно уводила за собой Илью, а он шел за нею и думал: ее ли это, час тому назад, он видел измятой, захватанной грязными руками?

За чаем она говорила:

— Жаль, что ты мало учился... Торговлю надо бросить, надо попробовать что-нибудь другое. Погоди, я найду тебе местечко... нужно устроить тебя... Вот, когда я поступлю к Полуэктову, мне можно будет сделать это...

— Что — дает пять-то тысяч? — спросил Илья.

— Даст! — уверенно ответила женщина.

— Ну, ежели я его когда-нибудь встречу у тебя, — оторву башку!.. — с ненавистью выговорил Илья.

— Погоди, когда он даст мне деньги, — смеялась женщина.

Купец дал ей всё, чего она желала. Вскоре Илья сидел в новой квартире Олимпиады, разглядывал тол-

стые ковры на полу, мебель, обитую темным плюшем, и слушал спокойную речь своей любовницы. Он не замечал в ней особенного удовольствия от перемены обстановки: она была так же спокойна и равна, как всегда.

— Мне двадцать семь лет, к тридцати у меня будет тысяч десять. Тогда я дам старику по шапке и — буду свободна... Учись у меня жить, мой серьезный каприз...

Илья учился у нее этой неуклонной твердости в достижении цели своей. Но порой, при мысли, что она дает ласки свои другому, он чувствовал обиду, тяжелую, унижавшую его. И тогда пред ним с особенною яркостью вспыхивала мечта о лавочке, о чистой комнате, в которой он стал бы принимать эту женщину. Он не был уверен, что любит ее, но она была необходима ему. Так прошло месяца три.

Однажды, придя домой после торговли, Илья вошел в подвал к сапожнику и с удивлением увидал, что за столом, перед бутылкой водки, сидит Перфишка, счастливо улыбаясь, а против него — Яков. Навалившись на стол грудью, Яков качал головой и нетвердо говорил:

— Если бог всё видит — он видит и меня... Отец меня не любит, он — жулик! Верно?

— Верно, Яша! Нехорошо, а — верно! — сказал сапожник.

— Как жить? — встряхивая растрепанными волосами, спрашивал Яков, тяжело ворочая языком.

Илья стоял в двери, сердце его неприятно сжалось. Он видел, как бессильно качается на тонкой шее большая голова Якова, видел желтое, сухое лицо Перфишки, освещенное блаженной улыбкою, и ему не верилось, что он действительно Якова видит, кроткого и тихого Якова. Он подошел к нему.

— Это ты что же делаешь?

Яков вздрогнул, взглянул в лицо его испуганными глазами и, криво улыбаясь, воскликнул:

— Я думал — отец...

— Что ты делаешь, а? — переспросил Илья.

— Ты, Илья Яковлич, оставь его, — заговорил Перфишка, встав со стула и покачиваясь на ногах. — Он в своем праве... Еще — слава тебе господи, что пьют...

— Илья! — истерически громко крикнул Яков. — Отец меня... избил!

— Совершенно правильно, — я тому делу свидетель! — заявил Перфишка, ударив себя в грудь. — Я всё видел, — хоть под присягой скажу!

Лицо у Якова действительно распухло, и верхняя губа вздулась. Он стоял пред товарищем и жалко улыбался, говоря ему:

— Разве можно меня бить?

Илья чувствовал, что не может ни утешать товарища, ни осуждать его.

— За что он тебя?

Яков шевельнул губами, желая что-то сказать, но, схватив голову руками, завыл, качаясь всем телом. Перфишка, наливая себе водки, сказал:

— Пускай поплачет, — хорошо, когда человек плакать умеет... Машутка тоже... Заливается во всю мочь... Кричит — зенки выцарапаю! Я ее к Матице отправил...

— Что у него с отцом? — спросил Илья.

— Вышло очень дико... Дядя твой начал музыку... Вдруг: «Отпусти, говорит, меня в Киев, к угодникам!..» Петруха очень доволен, — надо говорить всю правду — рад он, что Терентий уходит... Не во всяком деле товарищ приятен! Дескать — иди, да и за меня словечко угодникам замолви... А Яков — «Отпусти и меня...»

Перфишка вытаращил глаза, скорчил свирепую рожу и глухим голосом протянул:

— «Что-о?..» — «И меня — к угодникам!..» — «Как так?» — «Хочу, говорит, помолиться за тебя...» Петруха как рывкнет: «Я те помолюсь!» А Яков свое: «Пусти!» Кэ-ек Петруха-то хряснет его в морду! Да еще, да...

— Я не могу с ним жить! — закричал Яков. — Удавлюсь! За что он меня прибил? Я от сердца сказал...

Илье стало тяжело от его криков, он ушел из подвала, бессильно пожав плечами. Весть о том, что дядя уходит на богомолье, была ему приятна: уйдет дядя, и

он уйдет из этого дома, снимет себе маленькую комнатку — и заживет один...

Когда он вошел к себе, вслед за ним явился Терентий. Лицо у него было радостное, глаза оживились; он, встряхивая горбом, подошел к Илье и сказал:

— Ну — ухожу я! Господи! Как из темницы на свет божий лезу...

— А ты знаешь — Яков-то пьян напился... — сухо сказал Илья.

— А-а-а! Нехорошо-о!

— Отец-то его при тебе ведь ударил?

— При мне... А что?

— Что ж, ты не можешь понять, что он с этого и напился? — сурово спросил Илья.

— Разве с этого? Скажи, пожалуй, а?

Илья ясно видел, что дядю нимало не занимает судьба Якова, и это увеличивало его неприязнь к горбуну. Он никогда не видал Терентия таким радостным, и эта радость, явившаяся пред ним тотчас же вслед за слезами Якова, возбуждала в нем мутное чувство. Он сел под окном, сказав дяде:

— Иди в трактир-то...

— Там — хозяин... Мне поговорить с тобой надо...

— О чем?

Горбун подошел к нему и таинственно заговорил:

— Я скоро соберусь. Ты останешься тут один и... стало быть... значит...

— Да говори сразу, — сказал Илья.

— Сразу? — часто мигая глазами, воскликнул Терентий вполголоса. — Тут тоже не легко... накопил я денег... немного...

Илья взглянул на него и нехорошо засмеялся.

— Ты что? — вздрогнув, спросил его дядя.

— Ну, накопил ты денег...

И он особенно отчетливо выговорил слово «накопил».

— Да, так вот... — не глядя на него, заговорил Терентий. — Ну, значит... два ста решил я в монастырь дать. Сто — тебе...

— Сто? — быстро спросил Илья. И тут он открыл, что уже давно в глубине его души жила надежда получить с дяди не сто рублей, а много больше. Ему стало

обидно и на себя за свою надежду — нехорошую надежду, он знал это, — и на дядю за то, что он так мало дает ему. Он встал со стула, выпрямился и твердо, со злобой сказал дяде:

— Не возьму я твоих краденых денег...

Горбун понятился от него, сел на кровать, — жалкий, бледный. Съежившись и открыв рот, он смотрел на Илью с тупым страхом в глазах.

— Что смотришь? Не надо мне...

— Господи Исусе! — хрипло выговорил Терентий. — Илюша, — ты мне как сын был... Ведь я... для тебя... для твоей судьбы на грех решился... Ты возьми деньги!.. А то не простит мне господь...

— Та-ак! — насмешливо воскликнул Илья. — Со счетами в руках к богу-то идешь?.. И — просил я тебя дедушкины деньги воровать? Какого человека вы ограбили!..

— Илюша! И родить тебя не просил ты... — смешно протянув руку к Илье, сказал ему дядя. — Нет, ты деньги возьми, — Христа ради! Ради души моей спасенья... Господь греха мне не развяжет, коли не возьмешь...

Он умолял, а губы у него дрожали, а в глазах сверкал испуг. Илья смотрел на него и не мог понять — жалко ему дядю или нет?

— Ладно! Я возьму... — сказал он наконец и тотчас вышел вон из комнаты. Решение взять у дяди деньги было неприятно ему; оно унижало его в своих глазах. Зачем ему сто рублей? Что можно сделать с ними? И он подумал, что если б дядя предложил ему тысячу рублей, — он сразу перестроил бы свою беспокойную, темную жизнь на жизнь чистую, которая текла бы вдали от людей, в покойном одиночестве... А что, если спросить у дяди, сколько досталось на его долю денег старого тряпичника? Но эта мысль показалась ему противной...

С того дня, как Илья познакомился с Олимпиадой, ему казалось, что дом Филимонова стал еще грязнее и тесней. Эта теснота и грязь вызывали у него чувство физического отвращения, как будто тела его касались холодные, скользкие руки. Сегодня это чувство особенно угнетало его, он не мог найти себе места в доме,

пошел к Матице и увидел бабу сидящей у своей широкой постели на стуле. Она взглянула на него и, грозя пальцем, громко прошептала, точно ветер подул: — Тихо! Спит!..

На постели, свернувшись клубком, спала Маша. — Каково? — шептала Матица, свирепо вытаращив свои большие глаза. — Избивать детей начали, ироды! Чтоб земля провалилась под ними!..

Илья слушал ее шёпот, стоя у печки, и, рассматривая укутанную чем-то серым фигурку Маши, думал: «А что будет с этой девочкой?..»

— Знаешь ты, что он Марильку выдрал за косу, этот чёртов вор, кабацкая душа? Избил сына и ее и грозит выгнать их со двора, а? Знаешь ты? Куда она пойдет, ну?

— Я, может, достану ей место... — задумчиво сказал Илья, вспомнив, что Олимпиада ищет горничную.

— Ты! — укоризненно шептала Матица. — Ты ходишь тут, как важный барин... Растешь себе, как молодой дубок... ни тени от тебя, ни желудя...

— погоди, не шипи! — сказал Илья, найдя хороший предлог пойти сейчас к Олимпиаде. — Сколько лет Машутке? — спросил он.

— Пятнадцать... а сколько ж? А что с того, что пятнадцать? Да ей и двенадцати много... она хрупкая, тоненькая... она еще совсем ребенок! Никуда, никуда не годится детина эта! И зачем жить ей! Спала бы вот, не просыпалась уж до Христа...

Через час он стоял у двери в квартиру Олимпиады, ожидая, когда ему отворят. Не отворяли долго, потом за дверью раздался тонкий, кислый голос:

— Кто там?

— Я, — ответил Лунев, недоумевая, кто это спрашивает его. Прислуга Олимпиады — рябая, угловатая баба — говорила голосом грубым и резким и отворяла дверь не спрашивая.

— Кого надо? — повторили за дверью.

— Олимпиада Даниловна дома?

Дверь вдруг распахнулась, в лицо Ильи хлынул свет, — юноша отступил на шаг, щуря глаза и не веря им.

Перед ним стоял с лампой в руке маленький стари-

чок, одетый в тяжелый, широкий, малинового цвета халат. Череп у него был почти голый, на подбородке беспокойно тряслась коротенькая, жидкая, серая борода. Он смотрел в лицо Ильи, его острые, светлые глазки ехидно сверкали, верхняя губа, с жесткими волосами на ней, шевелилась. И лампа тряслась в сухой, темной руке его.

— Кто таков? Ну, входи... ну? — говорил он. — Кто таков?

Илья понял, кто стоит перед ним. Он почувствовал, что кровь бросилась в лицо ему и в груди его закипело. Так вот кто делит с ним ласки этой чистой, крепкой женщины.

— Я — разносчик... — глухо сказал он, перешагнув через порог.

Старик мигнул ему левым глазом и усмехнулся. Веки у него были красные, без ресниц, а во рту торчали желтые острые косточки.

— Разносчик-молодчик? Какой разносчик, а? Какой? — хитро посмеиваясь, спрашивал старик, приближая лампу к его лицу.

— Мелочной разносчик... торгую духами... лентами... всякой мелочью... — говорил Илья, опустив голову и чувствуя, что она кружится и красные пятна плавают пред его глазами.

— Так, так, так... ленты-позументы?.. Да, да, да... Ленточки, душки... милые дружки? Что же тебе надо, разносчик, а?

— Мне Олимпиаду Даниловну...

— А-а-а? А зачем тебе ее, а?

— Мне... деньги получить за товар... — с усилием выговорил Илья.

Он чувствовал непонятный страх перед этим скверным стариком и ненавидел его. В тихом, тонком голосе старика, как и в его ехидных глазах, было что-то сверлившее сердце Ильи, оскорбительное, унижающее.

— Денежки? Должок? Хо-орошо-о...

Старик вдруг отвел лампу в сторону от лица Ильи, привстал на носки, приблизил к Илье свое дряблое, желтое лицо и тихо, с ядовитой усмешкой спросил его:

— А записочка где? Давай записочку!

— Какую? — со страхом отступая, спросил Илья.

— А от барина твоего? Записочку к Олимпиаде Даниловне? Ну? Давай! Я отнесу ей... Ну,— скорее! — Старик лез на Илью. У парня высохло во рту от страха.

— У меня нет никакой записочки! — громко и с отчаянием сказал он, чувствуя, что вот, сейчас, произойдет что-то невероятное.

Но в эту минуту явилась высокая, стройная фигура Олимпиады. Она спокойно, не мигнув, взглянула на Илью через голову старика и ровным голосом спросила:

— Что у вас тут, Василий Гаврилович?

— Разносчик-с,— вот-с! Должок имеет за вами-с. Вы ленточки у него брали? А денежки не платили, а? Вот он и пришел-с... и явился...

Старик вертелся перед женщиной, щупая глазками то ее лицо, то лицо Ильи. Она отстранила его от себя властным движением правой руки, сунула эту руку в карман своего капота и сказала Илье строгим голосом:

— Что, ты не мог придти в другое время?

— Да-с! — визгливо крикнул старик.— Дурак эдакий, а? Ходишь, когда не нужно, а? Осел!

Илья стоял, как каменный.

— Не кричите, Василий Гаврилович! Нехорошо,— сказала Олимпиада и обратилась к Илье: — Сколько тебе следует, три рубля сорок? Получи...

— И — ступай вон! — снова крикнул старик.— Позвольте-с, я запру... я сам, сам!

Он запахнул свой халат и, отворив дверь, крикнул Илье:

— Иди!..

Илья стоял на морозе у запертой двери и тупо смотрел на нее, не понимая, дурной ли сон ему снится или всё это наяву? Он держал в одной руке шапку, а в другой крепко стиснул деньги Олимпиады. Он стоял так до поры, пока не почувствовал, что мороз сжимает ему череп ледяным обручем и ноги его морит от холода. Тогда, надев шапку, он положил деньги в карман, сунул руки в рукава пальто, сжался, наклонил голову и медленно пошел вдоль по улице, неся в груди оледеневшее сердце, чувствуя, что в голове его катаются какие-то

тяжелые шары и стучат в виски ему... Пред ним плыла темная фигура старика с желтым черепом, освещенная холодным огнем...

Лицо старика улыбалось победоносно, ехидно, лукаво...

На другой день Илья медленно и молча расхаживал по главной улице города. Ему всё представлялся ехидный взгляд старика, спокойные голубые очи Олимпиады и движение ее руки, когда она подала ему деньги. В морозном воздухе летали острые снежинки, покалывая лицо Ильи...

Он только что прошел мимо маленькой лавочки, укромно спрятанной во впадине между часовней и огромным домом купца Лукина. Над входом в лавочку висела проржавевшая вывеска:

«Размен денег В. Г. Полуэктова. Покупка в лом серебра, золота, ризы икон, драгоценные вещи и старинную монету».

Илье показалось, что, когда он взглянул на дверь лавки, — за стеклом ее стоял старик и, насмешливо улыбаясь, кивал ему лысой головкой. Лунев чувствовал непобедимое желание войти в магазин, посмотреть на старика вблизи. Предлог у него тотчас же нашелся, — как все мелочные торговцы, он копил попадавшуюся ему в руки старинную монету, а накопив, продавал ее менялам по рублю двадцать копеек за рубль. В кошельке у него и теперь лежало несколько таких монет.

Он воротился назад, смело отворил дверь лавки, пролез в нее со своим ящиком и, сняв шапку, поздоровался:

— Доброго здоровья...

Старик, сидя за узким прилавком, снимал с иконы ризу, выковыривая гвоздики маленькой стамеской. Мельком взглянув на вошедшего парня, он тотчас же опустил голову к работе, сухо сказав:

— Что надо?..

— Узнали меня? — зачем-то спросил Илья.

Старик снова взглянул на него.

— Может, и узнал, — что надо-то?

— Монету купите?

— Покажи...

Илья полез в карман за кошельком. Но рука его не находила кармана и дрожала так же, как дрожало сердце от ненависти к старику и страха пред ним. Шаря под полой пальто, он упорно смотрел на маленькую лысую голову, и по спине у него пробегал холод...

— Ну, скоро ты? — спросил старик сердитым голосом.

— Сейчас!.. — тихо ответил Илья.

Наконец ему удалось вынуть кошелек; он подошел вплоть к прилавку и высыпал на него монеты. Старик окинул их взглядом.

— Только-то?

И, хватая серебро тонкими желтыми пальцами, он стал рассматривать деньги, говоря под нос себе:

— Екатерининский... Анны... Екатерининский... Павла... тоже... крестовик... тридцать второго... пес его знает какой! На — этот не возьму, стертый весь...

— Да ведь видно по величине-то, что четвертак, — сурово сказал Илья.

Старик отшвырнул монету и, быстрым движением руки выдвинув ящик конторки, стал рыться в нем.

Илья взмахнул рукой, и крепкий кулак его ударил по виску старика. Меняла отлетел к стене, стукнулся об нее головой, но тотчас же бросился грудью на конторку и, схватившись за нее руками, вытянул тонкую шею к Илье. Лунев видел, как на маленьком темном лице сверкали глаза, шевелились губы, слышал громкий хриплый шёпот:

— Голубчик... Голубчик мой...

— А, — сволочь! — сказал Илья и с отвращением стиснул шею старика. Стиснул и стал трясти ее, а старик уперся руками в грудь ему и хрипел. Глаза у него стали красные, большие, из них лились слезы, язык высунулся из темного рта и шевелился, точно дразнил убийцу. Теплая слюна капала на руки Ильи, в горле старика что-то хрипело и свистело. Холодные крючковые пальцы касались шеи Лунева, — он, стиснув зубы, отгибал свою голову назад и всё сильнее встряхивал легкое тело старика, держа его на весу. И если б Илью в это время били сзади, он всё равно не выпустил бы из

рук хрустевшее под пальцами горло старика. С ненавистью и ужасом он смотрел, как мутные глаза Полуэктова становятся всё более огромными, всё сильнее давил ему горло, и, по мере того как тело старика становилось всё тяжелее, тяжесть в сердце Ильи точно таяла. Наконец он оттолкнул от себя менялу, и тот мягко свалился за прилавок.

Лунев оглянулся: в лавке было тихо и пусто, а за дверью, на улице, валил густой снег. На полу, у ног Ильи, лежали два куска мыла, кошелек и моток тесемки. Он понял, что эти вещи упали из его ящика, поднял их и положил на место. Затем, перегнувшись через прилавок, взглянул на старика: тот съежился в узкой щели между прилавком и стеной, голова его свесилась на грудь, был виден только желтый затылок. Тут Лунев увидел открытый ящик конторки — сверкнули золотые и серебряные монеты, бросились в глаза пачки бумажек... Он торопливо схватил одну пачку, другую, еще, сунул их за пазуху...

На улицу он вышел не торопясь, шагах в трех от лавки остановился, тщательно прикрыл свой товар клеенкой и снова пошел в густой массе снега, падавшего с невидимой высоты. И вокруг него и в нем бесшумно колебалась холодная, мутная мгла. Илья с напряжением всматривался в нее; вдруг он ощутил тупую боль в глазах, дотронулся до них пальцами правой руки и в ужасе остановился, точно ноги его вдруг примерзли к земле. Ему показалось, что глаза его выкатились, вылезли на лоб, как у старика Полуэктова, и что они останутся навсегда так, болезненно вытаращенными, никогда уже не закроются, и каждый человек может увидеть в них преступление. Они как будто умерли. Щупая пальцами зрачки, он чувствовал в них боль, но не мог опустить веки, и дыхание в его груди спиралось от страха. Наконец ему удалось закрыть глаза: он с радостью наслаждался тьмою, вдруг охватившей его, и так, ничего не видя, неподвижно стоял на месте, глубоко вдыхая воздух... Кто-то толкнул его. Он быстро оглянулся, — мимо него прошел высокий человек в полушубке. Илья смотрел вслед ему, пока тот не исчез в густом рое белых хлопьев снега. Тогда, поправив шапку рукой, Лунев зашагал по

тротуару, чувствуя боль в глазах и тяжесть в голове. Плечи у него вздрагивали, пальцы рук невольно сжимались, а в сердце зарождалось что-то упрямое, дерзкое и вытесняло страх.

Дойдя до перекрестка, он увидел серую фигуру полицейского и безотчетно, тихо, очень тихо пошел прямо на него. Шел он, и сердце его замирало...

— Снежище-то какой! — сказал он, подойдя вплоть к полицейскому и в упор глядя на него.

— Да-а, повалил! Теперь, слава те господи, потеплеет! — с удовольствием ответил полицейский. Лицо у него было большое, красное, бородатое.

— А сколько сейчас время? — спросил Илья.

— Поглядим! — Полицейский стряхнул снег с рукава и сунул руку за пазуху. Луневу было и жутко и любо стоять против этого человека. Он вдруг рассмеялся сухим, как бы вынужденным смехом.

— Ты что хохочешь? — спросил полицейский, отковыривая ногтем крышку часов.

— Эк тебя засыпало снегом-то! — воскликнул Илья.

— Засыплет, такая сила! Половина второго теперь... без пяти минут половина. Засыплет, брат!.. Ты вот теперь в трактир пойдешь, в тепло, а я тут до шести часов торчать должен... Гляди, сколько тебе навалило на ящик-то...

Полицейский вздохнул и щелкнул крышкой часов.

— Да, я пойду в трактир, — сказал Илья и, улыбнувшись криво, зачем-то добавил: — Вот, в этот самый...

— Уж не дразни...

В трактире Илья сел под окном. Из этого окна, — он знал, — было видно часовню, рядом с которой помещалась лавка Полуэктова. Но теперь всё за окном скрывала белая муть. Он пристально смотрел, как хлопья тихо пролетают мимо окна и ложатся на землю, покрывая пышной ватой следы людей. Сердце его билось торопливо, сильно, но легко. Он сидел и, без дум, ждал, что будет дальше.

Когда половой принес ему чай, он не утерпел и спросил:

— Что на улице... ничего?

— Теплее стало... гораздо теплее! — торопливо от-

ветил половой и убежал, а Илья, налив стакан чаю, не пил, не двигался, чутко ожидая. Ему стало жарко — он начал расстегивать ворот пальто и, коснувшись руками подбородка, вздрогнул — показалось, что это не его руки, а чьи-то чужие, холодные. Подняв их к лицу, он тщательно осмотрел пальцы — руки были чистые, но Лунев подумал, что все-таки надо вымыть их мылом...

— Полуэктова убили! — вдруг крикнул кто-то.

Илья вскочил со стула, как будто этим криком позвали его. Но в трактире все засуетились и пошли к дверям, на ходу надевая шапки. Он бросил на поднос грибенник, надел на плечо ремень своего ящика и пошел так же быстро, как и все они.

У лавки менялы собралась большая толпа, в ней сновали полицейские, озабоченно покрикивая, тут же был и тот, бородатый, с которым разговаривал Илья. Он стоял у двери, не пуская людей в лавку, смотрел на всех испуганными глазами и всё гладил рукой свою левую щеку, теперь еще более красную, чем правая. Илья встал на виду у него и прислушивался к говору толпы. Рядом с ним стоял высокий чернобородый купец со строгим лицом и, нахмутив брови, слушал оживленный рассказ седенького старичка в лисьей шубе.

— Мальчишка-то, значит, думал, что он сомлел, и бежит к Петру Степановичу — пожалуйста, дескать, к нам, хозяин захворал. Ну, тот сейчас — марш сюда, ан глядь — он мертвый! Ты подумай — дерзновение-то какое? Среди бела дня, на эдакой людной улице, — на-ко вот!

Чернобородый купец громко кашлянул и густым, суровым голосом сказал:

— Тут — перст божий! Стало быть, не захотел господь принять от него покаяния...

Лунев подвинулся вперед, желая еще раз взглянуть в лицо купца, и задел его ящиком.

— Ты! — крикнул купец, отстраняя его движением локтя и строго взглянув в лицо Ильи. — Куда лезешь?

И снова обратился к своему собеседнику:

— Сказано: и волос с головы человека не упадет без воли божией...

— Что и говорить! — кивнув головой, согласился старик, а потом вполголоса добавил, подмигивая: — Известно — бог шельму метит... Господи, прости! Грешно говорить, а и молчать трудно... да!

Лунев усмехнулся. Он, слушая этот разговор, чувствовал в груди прилив какой-то силы и жуткой, приятной храбрости. И если бы кто-нибудь спросил его в эту минуту: «Ты удушил?» — ему казалось, что он безбоязненно ответил бы: «Я...»

С тем же чувством в груди он протискался сквозь толпу и встал рядом с полицейским. Тот сердито толкнул его в плечо, крикнув:

— Куда? Какое тут твое дело, а? Пшол!

Илья пошатнулся и навалился на кого-то. Его еще толкнули.

— Дай ему по шее! Пьяный, что ли?

Тогда Лунев выбрался из толпы и сел на ступени часовни, внутренне посмеиваясь над людьми. Сквозь шорох снега под ногами и тихий говор до него долетали отдельные возгласы:

— И надо же было ему, разбойнику, в мое дежурство напакостить...

— По дисконту первый в городе был...

— Снег валит... ничего мне не видно...

— Шкуры драл безо всякой жалости...

— Гляди — жена приехала...

— Э-эх, несчастная! — громко вздохнул какой-то оборванный мужик.

Лунев поднялся на ноги и увидал, что из широких саней с медвежьей полостью тяжело вылезает пожилая толстая женщина в салопе и черном платке. Ее поддерживали под руки околочный и какой-то человек с рыжими усами.

— Ох, батюшки... — прозвучал в воздухе ее испуганный голос. Все притихли. Илья смотрел на старуху и вспоминал Олимпиаду...

— А сына — нету? — тихо спросил кто-то.

— В Москве.

— Он, чай, только того и ждал...

— Еще-е бы!

Луневу было приятно, что никто не жалеет Полуэк-

това, но в то же время все люди, кроме чернобородого купца, казались ему глупыми и даже противными. В купце было что-то строгое и верное, а все остальные стоят, как пни в лесу, и, толкая его, Илью, болтают гнусными языками злорадные слова.

Он дождался, когда маленькое тело менялы вынесли из лавки, и пошел домой, иззябший, усталый, но спокойный. Дома, запершись у себя в комнате, он сосчитал деньги: в двух толстых пачках мелких бумажек оказалось по пятисот рублей, в третьей — восемьсот пятьдесят. Была еще пачка купонов, но он их не стал считать, а, завернув все деньги в бумагу, задумался, облокотясь на стол, — куда их спрятать? Думая об этом, он почувствовал, что ему хочется спать. Решив спрятать деньги на чердаке, он пошел туда, держа пакет в руках, на виду. И в сенях он наткнулся на Якова.

— А, ты пришел уж! — сказал Яков. — Что это ты несешь?

— Это? — переспросил Илья, глядя на деньги. И, вздрогнув от страха проговориться, торопливо сказал, помахивая в воздухе пакетом: — Это... тесемка...

— Чай пить придешь? — спросил Яков.

— Сейчас!

Он пошел быстро, ноги его ступали нетвердо, и голова была мутная, тяжелая, как у пьяного. Идя по лестнице на чердак, он шагал осторожно, боясь напугать, боясь встретить кого-нибудь. А когда он зарывал деньги — в землю около трубы, — ему вдруг показалось, что в углу чердака, во тьме, кто-то притаился и следит за ним. Он ощутил желание бросить туда кирпичом, но вовремя опомнился и тихо сошел вниз. В нем не было больше страха, — он как бы спрятал его на чердаке вместе с деньгами, — но в сердце возникло тяжелое недоумение.

«Зачем я его удушил?» — спрашивал он себя.

Когда он вошел в подвал, Маша, возившаяся у печки над самоваром, встретила его радостным восклицанием:

— Как ты рано сегодня!

— Снег, — сказал он. И тотчас же раздраженно закричал: — Что за рано? Пришел, как всегда, — в свою пору... Видишь — темно.

— Здесь и в полдень темно, — чего ты орешь?

— А того и ору, что все вы, как сыщики, — рано пришел, куда идешь, чего несешь... Вам какое дело?

Маша пристально посмотрела на него и с упреком сказала:

— А-яй, Илья, как ты стал зазнаваться.

— А, ну вас к чёрту! — выругался Лунев и сел к столу. Маша обиженно фыркнула, отвернулась от него и стала дуть в трубу самовара. Тонкая, маленькая, она встряхивала черными кудрями, капляла и жмурилась от дыма. Лицо у нее было худое, темные пятна вокруг глаз увеличивали их блеск, и было в ней что-то похожее на один из тех цветков, что растут в глухих углах садов, среди бурьяна. Илья смотрел на нее и думал, что вот эта девочка живет одна, в яме, работает, как большая, не имеет никакой радости и едва ли найдет когда-либо радость в жизни. Он же теперь будет жить, как давно желал, — в покое, в чистоте. Ему стало приятно от этой мысли и, почувствовав себя виноватым перед Машей, он тихо окликнул ее.

— Ну что, злющий?.. — отозвалась она.

— Знаешь... я — поганый человек, — сказал Лунев, голос у него дрогнул: сказать ей или не говорить? Она выпрямилась, с улыбкой глядя на него.

— Колотить тебя некому, вот что!

И, быстро подойдя к нему, Маша торопливо заговорила:

— Слушай, голубчик, — попроси дядю, чтоб он меня с собой взял! Попроси! В ножки поклонюсь, право, поклонюсь!

— Куда? — устало спросил Лунев, занятый своими мыслями и плохо понимая ее слова.

— С собой, родненький! Попроси!

Она сложила руки ладонками вместе и стояла пред ним, как перед образом, а на глазах у нее появились слезы.

— Как бы хорошо-то, — вздыхая, говорила девочка. — Весной бы и пошли мы. Все дни я про это думаю, даже во сне снится, будто иду, иду... Голубчик! Он тебя послушает — скажи, чтобы взял! Я его хлеба не

буду есть... я милостину просить буду! Мне дадут — я маленькая... Илюша? Хочешь — руку поцелую?

И вдруг она, схватив его руку, наклонилась над нею. Илья оттолкнул девочку, вскочил со стула.

— Дура,— крикнул он,— разве это можно?.. Я — человека задушил...

Но испугался своих слов и тотчас же добавил:

— Может быть... я, может, такое сделал... а ты целовать хочешь?

— Ничего-о! — говорила Маша, подойдя вплоть к нему.— И поцеловала бы — велика важность! Петруха хуже тебя, а я у него за каждый кусок целую... Мне и противно, а он мне велит — целуй! Да еще щупает меня и щиплет,— срамник!

Оттого ли, что Илья сказал страшные слова, или оттого, что он не договорил их, но ему стало легко и весело. Улыбаясь, он тихо и с лаской в голосе сказал девочке:

— Ладно, я это устрою! Ей-богу, устрою! Пойдешь ты на богомолье... Денег дам на дорогу...

— Голубчик! — крикнула Маша и, подпрыгнув, обняла его за шею.

— погоди! — серьезно сказал Лунев.— Сказано — пойдешь! За меня помолись, Машутка...

— За тебя-то? Господи!..

В двери появился Яков и удивленно спросил Машу:

— Ты чего визжишь? Даже на дворе слышно...

— Япа! — радостно крикнула девочка и, захлебываясь словами, стала рассказывать Якову: — Иду я, ухожу, прощай! Вот — он обещал упрямить горбатого...

— Та-ак! — сказал Яков и тихонько свистнул.— Про-о-пала моя голова! Заживу теперь я совсем один, как месяц на небе...

— Няньку найми! — усмехнувшись, посоветовал Илья.

— Водку пить буду, — качнув головой, сказал Яков.

Маша взглянула на него и, опустив голову, отошла к двери. Оттуда раздался ее укоризненный, печальный голос:

— Экий ты, Яков, какой... слабый!

— А вы — крепкие! Бросаете человека... Черти!

Он угрюмо сел к столу против Ильи и сказал:

— Разве и мне уйти тихонько с Терентием?

— Иди... Я бы ушел...

— Ты бы! А на меня отец полицию науськает...

Все замолчали. Потом Яков с напускной веселостью заговорил:

— А хорошо, братцы, пьяному быть! Ничего не понимаешь... ни о чем не думаешь...

Маша поставила на стол самовар и сказала, качая головой:

— Эх ты, бесстыдник!

— Ну, ты молчи! — сердито крикнул Яков. — У тебя отпа-то всё равно что нет... разве он тебе мешает жить?

— Хорошо мне жить! — возразила Маша. — Бежала бы да и не оглянулась.

— Всем плохо! — негромко сказал Илья и снова задумался.

Снова заговорил Яков, мечтательно глядя в окно:

— А славно бы уйти куда-нибудь ото всего! Сесть где-нибудь у лесочка, над рекой, и подумать обо всем...

— Это дурацкая манера от жизни уходить! — с досадой сказал Илья.

Яков пристально взглянул в лицо ему и с некоторым страхом сказал:

— Знаешь — нашел-таки я одну книгу...

— Какую?

— Старинная... Переплетена в кожу, видом — как Псалтирь, — должно быть, еретицкая. У татарина за семь гривен купил...

— Как заглавие? — равнодушно спросил Илья. Ему совсем не хотелось говорить, но он чувствовал, что молчать опасно, и принуждал себя.

— Заглавие у нее оторвано, — понизив голос, рассказывал Яков, — но говорится в ней о начале вещей. Трудно читать... Написано там, что о начале вещей Фалес милесийский первый спрашивал: «Той бо воду нарече, от нея же вся произведена суть и производится, бога же Фалес нарече мыслию, яже из воды вся производит». И был еще Диагор безбожный, он — «ни единого бога быти разумеша», — стало быть, не верил в бога-то! И Эпикур еще... тот — «бога во правду гла-

голаша быти, но ничто же никому подающа, ничто же добро деюща, ни о чем же попечения имуща...» Значит — бог-то хоть и есть, но до людей ему нет дела, так я понимаю! Как хошь, стало быть, так и живи. Нет попечения о тебе...

Илья приподнялся со стула и, сурово нахмутив брови, сказал, прерывая медленную речь товарища:

— Взять бы эту книгу да по башке тебе ей!

— За что? — удивленно и с обидой воскликнул Яков.

— А за то, чтобы ты в нее не заглядывал! Дурак! А книгу писал — другой дурак!

Лунев обошел стол, наклонился к сидящему товарищу и со злобной страстностью заговорил, как молотком стучая по большой голове Якова:

— Бог — есть! Он всё видит! Всё знает! Кроме его — никого! Жизнь дана для испытанья... грех — для пробы тебе. Удержишься или нет? Не удержался — постигнет наказание, — жди! Не от людей жди — от него, — понял? Жди!

— Стой! — крикнул Яков. — Да разве я это говорю?

— Всё равно! Какой ты мне судья, а? — кричал Лунев, бледный от возбуждения и злости, вдруг охватившей его. — Волос с головы твоей не упадет без воли его! Слыхал? Ежели я во грех впал — его на то воля! Дурак!

— Да ты с ума сошел, что ли? — прижавшись к стене, с испугом закричал Яков. — В какой ты грех впал?

Лунев сквозь шум в ушах услышал этот вопрос, и на него точно холодом пахнуло. Он подозрительно оглядел Якова и Машу, тоже испуганную его возбуждением и криками.

— Для примера говорю, — глухо сказал он.

— Нездоровый ты какой-то, — робко сказала Маша.

— И глаза мутные, — добавил Яков, всматриваясь в его лицо.

Илья невольно провел рукой по глазам и тихо ответил:

— Это ничего... пройдет!..

Но ему было тяжело, неловко с людьми, и, отказавшись от чая, он ушел к себе.

Когда он лег на постель,— явился Терентий. С той поры, как горбун решил идти замаливать свой грех, глаза его сияли светло и блаженно, точно, он уже предвкушал радость освобождения от греха. Тихо, с улыбкой на губах, он подошел к постели племянника и, пощипывая бороденку, заговорил ласковым голосом:

— Вижу — пришел ты, дай, думаю, пойду, побалакаю с ним. Недолго уж нам вместе-то жить.

— Идешь? — сухо спросил Илья.

— Как только потеплее станет. К страстной неделе хочется мне попасть в Киев-от...

— Вот что,— возьми-ка с собой Машутку...

— Ку-уда! — воскликнул горбун, отмахнувшись рукой.

— А ты слушай,— твердо сказал Илья.— Делать ей тут нечего... а она в таком возрасте... Яков, Петруха... и всё такое... понял? Дом этот для всех вроде западни, — проклятый дом! Пусть она уйдет... может, и не воротится.

— Да куда же мне ее? — жалобно заговорил Терентий.

— Возьми, возьми! — настойчиво твердил Илья.— И сотню свою возьми на нее. Мне не надо твоего... А она за тебя помолится... Ее молитва много значит...

Горбун задумался и повторил:

— Много значит... н-да-а! Это ты... тово... правильно говоришь... Денег я не могу взять от тебя... это оставим, как решили... А насчет Машки — подумать надо...

Тут глаза Терентия вдруг радостно блеснули, и, наклонясь к Илье, он шёпотом, с увлечением заговорил:

— Н-ну, брат, ка-акого я человека видел вчера! Знаменитого человека — Петра Васильича... про начетчика Сизова — слышал ты? Неизреченной мудрости человек! И не иначе, как сам господь наслад его на меня,— для облегчения души моей от лукавого сомнения в милости господней ко мне, грешному...

Илья лежал молча. Ему хотелось, чтоб дядя ушел. Полузакрытыми глазами он смотрел в окно и видел пред собой высокую темную стену.

— Говорили мы с ним о грехах, о спасении души, — воодушевленно шептал Терентий. — Говорит он: «Как долоту камень нужен, чтоб тупость обточить, так и человеку грех надобен, чтоб растравить душу свою и бросить ее во прах под ноги господя всемилостивого...»

Илья взглянул на дядю и со злою улыбкой спросил:

— А что он, начетчик этот, на дьявола не похож?

— Ра-азве можно так говорить? — откачнувшись, воскликнул Терентий. — Он — благочестивый человек... О нем слава и теперь шире идет, чем о дедушке твоём... а-ах, брат!

И, укоризненно покачивая голсвой, горбун зачмокал губами.

— Ну, ладно! — сказал Илья грубо и неприязненно. — Что он еще говорил?

Илья засмеялся неприятным смехом. Дядя с удивлением на лице отодвинулся от него и спросил:

— Что ты?

— Ничего. Он ловко сказал, начетчик-то... Как раз впору мне... Я и сам так же думаю, — точь-в-точь так!

Он замолчал, пристально взглянул в лицо дяди и отвернулся к стене.

— Еще он сказал, — снова начал Терентий осторожным голосом, — грех, говорит, окрыляет душу покаянием и возносит ее ко престолу всевышнего...

— А ведь ты тоже на чёрта похож! — прервал его Илья и вновь тихонько засмеялся.

Горбун взмахнул руками, как большая птица крыльями, и замер, испуганный и обиженный. А Лунев сел на постели, толкнул дядю в бок рукой и сурово сказал:

— Пусти-ка!

Терентий быстро вскочил на ноги и встал среди комнаты, встряхнув горбом. Он тупо смотрел на племянника, сидевшего на кровати, упираясь в нее руками, на его приподнятые плечи и голову, низко опущенную на грудь.

— Но ежели я каяться не хочу? — твердо спросил Илья. — Ежели я думаю так: грешить я не хотел... само собой всё вышло... на всё воля божия... чего же

мне беспокоиться? Он всё знает, всем руководит... Если ему этого не нужно было — удержал бы меня. А он — не удержал, — стало быть, я прав в моем деле. Люди все неправдой живут, а кто кается?

— Не понимаю я твоих слов, Христос с тобой! — уныло сказал Терентий и вздохнул.

Илья усмехнулся.

— Не понимаешь и — не говори со мной...

Он снова лег на постель, сказав дяде:

— Нездоровится мне...

— То-то, я гляжу...

— Уснуть мне надо... ты иди!

Когда Илья остался один, он почувствовал, что в голове у него точно вихрь крутится. Всё пережитое им в эти несколько часов странно спуталось, слилось в какой-то тяжелый, горячий пар и жгло ему мозг. Ему казалось, что он давно уже чувствует себя так плохо, что он не сегодня задушил старика, а давно когда-то.

Он закрыл глаза и лежал неподвижно, а в ушах его звучал дряблый голос старика:

«Ну что же, скоро ты?»

Суровый голос чернбородого купца мешается с просьбой Маши, древние слова из еретической книги Якова впутываются в речь начетчика. Всё качается, колеблется и тянет куда-то книзу. Уснуть скорее, забыть всё это. Он уснул...

А когда проснулся поутру, то по освещенной стене против окна понял, что день ясный, морозный. Он вспомнил весь вчерашний день, прислушался к себе и почувствовал, что знает, как надо ему держаться. Через час он шел с ящиком на груди по улице и, прищуривая глаза от блеска снега, спокойно разглядывал встречных людей. Проходя мимо церкви, он по привычке снимал шапку и крестился. Перекрестился и у часовни рядом с запертой лавкой Полуэктова и пошел дальше, не ощущая ни страха, ни жалости, ничего беспокойного. В обеденное время, сидя в трактире, он прочитал в газете заметку о дерзком убийстве менялы. Дойдя до слов «полицией приняты энергичные меры к розыску преступника», — он с улыбкой отрицательно покачал голо-

вой, он был твердо уверен, что преступника не найдут никогда, если он сам не захочет, чтоб его нашли...

Вечером пришла прислуга Олимпиады и принесла Илье записку:

«В девять часов выходи на угол Кузнецкой улицы, к баням».

Прочитав, он почувствовал, что всё внутри его дрожит и сжимается, точно от холода. Перед ним встало пренебрежительное лицо любовницы, и в ушах его зазвучали ее резкие, обидные слова:

«Не мог прийти в другое время?»

Он смотрел на записку, думая — зачем зовет его Олимпиада? Ему было боязно понять это, сердце его снова забилось тревожно. В девять часов он явился на место свидания, и, когда среди женщин, гулявших около бань парами и в одиночку, увидел высокую фигуру Олимпиады, тревога еще сильнее охватила его. Олимпиада была одета в какую-то старенькую шубку, а голова у нее закутана платком так, что Илья видел только ее глаза. Он молча встал перед нею...

— Идем! — сказала она. И тотчас же тихо добавила: — Закрой лицо воротником...

Они прошли по коридору бань, скрывая свои лица, как будто от стыда, и скрылись в отдельном номере. Олимпиада тотчас же сбросила платок с головы, и при виде ее спокойного, разгоревшегося на морозе лица Илья сразу ободрился, но в то же время почувствовал, что ему неприятно видеть ее спокойной. А женщина села на диван рядом с ним и, ласково заглянув в лицо ему, сказала:

— Ну, мой каприз, скоро нас с тобою потащат к следователю...

— Зачем? — спросил Илья, вытирая ладонью растаявший иней на усах.

— Какой он у меня глупенький, — будто бы! — насмешливо и тихо воскликнула женщина.

Брови ее нахмурились, она шёпотом сообщила Илье:

— У меня сегодня сыщик был.

Илья взглянул на нее и сухо сказал:

— Мне до сыщиков и всех твоих поступков никакого дела нет. Говори прямо — зачем ты меня позвала? Олимпиада взглянула в его лицо и пренебрежительно улыбнулась, говоря:

— А-а! Обиделся ты,— так! Ну, мне не до того теперь... Вот что: вызовет тебя следователь, станет расспрашивать, когда ты со мной познакомился, часто ли бывал,— говори всё, как было, по правде... всё подробно,— слышишь?

— Слышу! — сказал Илья и усмехнулся.

— Спросит о старике — ты его не видел. Никогда. Не знаешь о нем. Не слыхал, что я на содержании у кого-то жила,— понимаешь?

Женщина смотрела на Илью внушительно и сердито. А он чувствовал, что в нем играет что-то жгучее и приятное. Ему казалось, что Олимпиада боится его; захотелось помучить ее, и, глядя в лицо ей прищуренными глазами, он стал тихонько посмеиваться, не говоря ни слова. Тогда лицо Олимпиады дрогнуло, побледнело, и она отшатнулась от него, шёпотом спрашивая:

— Что ты так смотришь? Илья?

— Скажи,— спросил он, оскалив зубы,— зачем я врать буду? Я старика у тебя видел.

И, облокотясь о мраморную доску стола, он с тоской и злобой, внезапно охватившими его, продолжал медленно и тихо:

— Смотрел я на него тогда и думал: «Вот кто стоит на моей дороге, вот кто жизнь мою перешиб». И ежели я его тогда не задушил...

— Вр-решь! — громко сказала Олимпиада, ударив ладонью по столу.— Врешь ты! Он на твоей дороге не стоял...

— Это как же? — сурово спросил Илья.

— Не стоял. Захотел бы ты — его не было бы... Не намекала я тебе, не говорила разве, что могу всегда прогнать его? Ты молчал да посмеивался,— ты ведь никогда по-человечески не любил меня... Ты сам, по своей воле, делил меня с ним пополам...

— Стой! Молчи! — сказал Илья. Он поднялся с дивана на ноги и — снова сел, чувствуя, что женщина словно ушибла его своим упреком.

— Я не хочу молчать! — говорила она. — Молоденький такой... здоровый, любимый мною... что ты мне сделал? Сказал ты мне: «Ну, выбирай, Олимпиада: я или он»? Сказал ты это? Нет, ты — кот, как все коты...

Илья вздрогнул от обиды, в глазах его потемнело, он сжал кулаки и вновь поднялся на ноги.

— Как ты можешь...

— А? Бить хочешь? — сверкнув глазами, зловец проговорила женщина и тоже оскалила зубы. — Ну — ударь! А я отворю дверь и крикну, что ты убил, ты по моему уговору... Ну — бей!

Илья испугался. Но испуг кольнул его в сердце и исчез.

Он снова сел на диван и, помолчав, засмеялся подавленным смехом. Он видел, что Олимпиада кусает губы и как бы ищет чего-то глазами в грязной комнате, полной теплого запаха пареных веников и мыла. Вот она села на диван около двери в баню и опустила голову, сказав:

— Смейся, дьявол!

— И буду...

— Я как увидела тебя, подумала: «Вот он. Он мне поможет...»

— Липа! — тихо сказал Илья.

Она не отвечала, сидя неподвижно.

— Липа! — повторил Лунев и, чувствуя себя так, точно полетел куда-то вниз, медленно выговорил: — Старика-то я задушил... ей-богу!

Она вздрогнула и, подняв голову, уставилась на него широко открытыми глазами. Потом губы у нее задрожали, и, точно задыхаясь, она с трудом выговорила:

— Ду-урак...

Илья понял, что она испугалась его слов, но не верит в их правду. Он встал, подошел к ней и сел рядом, растерянно улыбаясь. А она вдруг охватила его голову, прижала к своей груди и, целуя волосы, заговорила густым, грубым шёпотом:

— Зачем обижаешь меня?.. Я обрадовалась, что его задавили...

— Это я сделал, — кивнув головой, сказал Илья.

— Молчи! — беспокойно воскликнула женщина. —

Я рада, что его задавили,— всех бы их так! Всех, кто меня касался! Только ты один — живой человек, за всю жизнь мою первого встретила, голубчик ты мой!

Ее слова всё ближе притягивали Илью; он крепко прижался лицом к груди женщины, и, хотя ему трудно было дышать, он не мог оторваться от нее, сознавая, что это — близкий ему человек и нужен для него теперь больше, чем когда-либо.

— Когда ты смотришь на меня сердито... чистенький мой... чувствую я паскудную жизнь свою и за то люблю тебя... за гордость люблю...

На голову Лунева падали тяжелые слезы, ощущая их прикосновение к себе, он сам заплакал свободно и легко.

Она же оторвала голову его от груди своей и говорила, целуя мокрые глаза его, и щеки, и губы:

— Знаю ведь я — красотой моей ты доволен, а сердцем меня не любишь и осуждаешь меня... Не можешь жизнь мою простить мне... и старика...

— Не говори про него,— сказал Илья. Он вытер лицо платком с ее головы и встал на ноги.

— Что будет, то будет! — тихо и твердо сказал он. — Захочет бог наказать человека — он его везде настигнет. За слова твои — спасибо, Липа... это ты верно говоришь — я виноват пред тобой... Я думал, ты... не такая. А ты — ну, хорошо! Я — виноват...

Голос у него прерывался, губы вздрагивали, глаза налились кровью. Медленно, дрожащей рукой он пригладил растрепанные волосы и вдруг, взмахнув руками, глухо завыл:

— Я — во всем виноват! За что?

Олимпиада схватила его за руку; он опустился на диван рядом с ней и, не слушая ее, сказал:

— Понимаешь — я его удушил, я!

— Тихе! — со страхом, вполголоса крикнула Олимпиада. — Что ты?

И она крепко обняла его, заглядывая в лицо ему помутневшими от страха глазами.

— погоди. Вышло это — нечаянно. Бог — знает! Я — не хотел. Я хотел взглянуть на его рожу... вошел в лавку. Ничего в мыслях не было. А потом — вдруг!

Дьявол толкнул, бог не заступился... Вот деньги я напрасно взял... не надо бы... эх!

Он глубоко вздохнул, чувствуя, что с его сердца как будто какая-то кора отвалилась. Женщина, вздрагивая, всё крепче прижимала его к себе и говорила отрывистым, бессвязным шёпотом:

— Что денег взял — это хорошо. Значит — грабеж... Без этого подумали бы, что — ревность...

— Каяться я не буду, — говорил Илья задумчиво. — Пусть бог накажет... Люди — не судьи. Какие они судьи?.. Безгрешных людей я не знаю... не видал...

— Господи! — вздохнув, сказала Олимпиада. — Что будет?.. Голубчик... Я — ничего не могу... ни говорить, ни думать, и надо нам отсюда уходить...

Она встала и пошатнулась, как пьяная. Но, закутав голову платком, она вдруг заговорила спокойно:

— Как же теперь, Илюша? Неужто пропадать?

Илья отрицательно качнул головою.

— Так ты... у следователя-то говори всё, как было...

— Так и скажу... Ты думаешь, я за себя постоять не сумею? Думаешь, я из-за этого старика — в каторгу пойду? Ну, нет, я в этом деле не весь! Не весь, — поняла?

Он покраснел от возбуждения, и глаза его сверкали. А женщина наклонилась к нему, шёпотом спрашивая:

— Денег-то только две тысячи?

— Две... с чем-то...

— Бедненький ты! И это не удалось! — грустно сказала женщина, на глазах ее сверкнули слезы.

Илья, взглянув ей в лицо, усмехнулся с горечью.

— Разве я для денег? Ты — пойми... Погоди, я первый выйду отсюда... Мужчина всегда первый выходит...

— Ты — скорее приходи ко мне... Скрываться не надо нам... Скорее! — тревожно говорила ему Олимпиада.

Они поцеловались долгим, крепким поцелуем, и Лунев ушел. Выйдя на улицу, он нанял извозчика, и когда ехал, то всё оглядывался назад — не едет ли за ним кто-нибудь? Разговор с Олимпиадой облегчил его и вызвал в нем хорошее чувство к этой женщине.

Ни словом, ни взглядом она не задела его сердца, когда он сознался ей в убийстве, и не оттолкнула от себя, а как бы приняла часть греха его на себя. Она же за минуту перед тем, ничего еще не зная, хотела погубить его и погубила бы,— он видел это по ее лицу... Думая о ней, он ласково улыбался. А на следующий день Лунев почувствовал себя зверем, которого выслеживают охотники.

Утром его встретил в трактире Петруха, на поклон Илья чуть кивнул ему головой и при этом посмотрел на него как-то особенно пристально. Терентий тоже присматривался к нему и вздыхал, не говоря ни слова. Яков, позвав его в конурку к Маше, там испуганно сказал:

— Вчера вечером околоточный приходил и всё про тебя у отца расспрашивал... что это?

— О чем расспрашивал? — спокойно осведомился Илья.

— Как ты живешь... пьешь ли водку... насчет женщин. Называл какую-то Олимпиаду, — не знаете ли? — говорит. Что такое?

— А чёрт их знает! — сказал Илья и ушел.

Вечером этого дня он опять получил записку от Олимпиады. Она писала:

«Меня допрашивали о тебе, — сказала я всё подробно. Это совсем не страшно и очень просто. Не бойся. Целую тебя, милый».

Он бросил записку в огонь. В доме у Филимонова и в трактире все говорили об убийстве купца. Илья слушал эти рассказы, и они доставляли ему какое-то особенное удовольствие. Нравилось ходить среди людей, расспрашивать их о подробностях случая, ими же сочиненных, и чувствовать в себе силу удивить всех их, сказав:

«Это я сделал!..»

Некоторые хвалили его ловкость и храбрость, иные сожалели о том, что он не успел взять всех денег, другие опасались, как бы он не попался, и никто не жалел купца, никто не сказал о нем доброго слова. И то, что Илья не видел в людях жалости к убитому, вызывало в нем злорадное чувство против них. Он не

думал о Полуэктове, а лишь о том, что совершил тяжкий грех и впереди его ждет возмездие. Эта мысль не тревожила его: она остановилась в нем неподвижно и стала как бы частью его души. Она была как опухоль от удара, — не болела, если он не дотрагивался до нее. Он глубоко верил, что настанет час и — явится наказание от бога, который всё знает и законопреступника не простит. Эта спокойная, твердая готовность принять возмездие во всякий час позволяла Илье чувствовать себя почти спокойно. Он только более придирчиво стал отмечать в людях дурное.

Стал угрюмее, сосредоточенней, но так же, как раньше, с утра до вечера ходил по городу с товаром, сидел в трактирах, присматривался к людям, чутко слушал их речи. Однажды, вспомнив о деньгах, зарытых на чердаке, он подумал, что надо их перепрятать, но вслед за тем сказал себе:

«Не надо. Пускай лежат там... Будет обыск и найдут их — сознаюсь!..»

Но обыска не было, к следователю его всё не требовали. Позвали только на шестой день. Перед тем, как идти в камеру, он надел чистое белье, лучший свой пиджак, ярко начистил сапоги и нанял извозчика. Сани подскакивали на ухабах, а он старался держаться прямо и неподвижно, потому что внутри у него всё было туго натянуто и ему казалось — если он неосторожно двинется, с ним может случиться что-то нехорошее. И на лестницу в камеру он вошел не торопясь, осторожно, как будто был одет в стекло.

Следователь, молодой человек с курчавыми волосами и горбатым носом, в золотых очках, увидав Илью, сначала крепко потер свои худые белые руки, а потом снял с носа очки и стал вытирать их платком, всматриваясь в лицо Ильи большими темными глазами. Илья молча поклонился ему.

— Здравствуйте! Садитесь... сюда вот...

И он движением руки показал ему на стул у большого стола, покрытого малиновым сукном. Илья сел и осторожно локтем отодвинул какие-то бумаги, лежавшие на краю стола. Следователь заметил это, вежливо убрал бумаги, а потом сел за стол против Ильи и молча на-

чал перелистывать какую-то книгу, исподлобья поглядывая на Лупева. Это молчание не понравилось Илье, и он, отвернувшись от следователя, стал осматривать комнату, первый раз видя такое хорошее убранство и чистоту. На стенах висели портреты в рамах, картины. На одной был изображен Христос. Он шел задумчиво, наклонив голову, печальный и одинокий, среди каких-то развалин, всюду у ног его валялись трупы людей, оружие, а на заднем плане картины поднимался черный дым — что-то горело. Илья долго смотрел на эту картину, желая понять, что это значит, и ему даже захотелось спросить об этом, но как раз в ту минуту следователь шумно захлопнул книгу. Илья вздрогнул и взглянул на него. Лицо следователя стало сухим, скучным, а губы у него смешно оттопырились, точно он обиделся на что-то.

— Ну-с, — сказал он, постукивая пальцами по столу, — Илья Яковлевич Лунев, — так?

— Да...

— Вы догадываетесь, зачем я вас позвал?

— Нет, — ответил Илья и снова мельком взглянул на картину. В комнате было тихо, чисто, красиво, — никогда еще Лунев не видал такой чистоты и так много красивых вещей. От следователя пахло чем-то приятным. Всё это развлекало Лунева, успокаивало его и вызывало в нем завистливые думы:

«Ишь как живет... Должно быть, выгодно воров и убиец ловить... Сколько ему жалованья платят?»

— Нет? — повторил следователь, как бы удивленный чем-то. — А разве Олимпиада Петровна вам ничего не сообщала?

— Нет, — я ее давно уже не видал...

Следователь откачнулся на спинку кресла и опять смешно вытянул губы.

— А как давно?

— Н-не знаю... Дён... восемь, девять, пожалуй...

— Ага! Так-с... А что, скажите, часто вы у нее встречали старика Полуэктова?

— Это убитого-то?.. — спросил Илья, взглянув в глаза следователя.

— Вот, вот! Его...



**А. М. ГОРЬКИЙ, Е. П. ПЕШКОВА, МАКСИМ ПЕШКОВ
и А. И. ЛАНИН**

Ялта, 1900 г.

— Не встречал никогда...

— Никогда?! Мм...

— Никогда...

Следователь кидал вопросы быстро, небрежно, а когда Илья, отвечавший не торопясь, особенно замедлял ответ, чиновник нетерпеливо стучал пальцами по столу.

— Вам было известно, что Олимпиада Петровна жила на содержании Полуэктова? — неожиданно спросил он, глядя через очки в глаза Илье.

Лунев покраснел под этим взглядом, — ему стало обидно.

— Нет, — глухо ответил он.

— Да-с, она жила у него на содержании, — повторил следователь раздражающим голосом. — По-моему, это — нехорошо! — добавил он, видя, что Илья не собирается ответить ему.

— Чего уж хорошего! — негромко сказал Илья.

— Не правда ли?

Но Илья снова не ответил.

— А вы давно знакомы с ней?

— Больше года...

— Значит, познакомились до ее знакомства с Полуэктовым?

«Умная ты собака!» — подумал Илья и спокойно ответил:

— Как я могу это знать, ежели того, что она... с покойником жила, не знал?

Следователь сложил губы трубочкой, посвистал и начал просматривать какую-то бумагу. А Лунев вновь уставился на картину, чувствуя, что интерес к ней помогает ему быть спокойным. Откуда-то донесся веселый, звонкий смех ребенка. Потом женский голос, радостный и ласковый, протяжно запел:

Зои-нь-ка, ма-ти-нька, ду-си-нька, лю-би-нька!..

— Вас, кажется, очень занимает эта гравюра? — раздался голос следователя.

— Куда это Христос идет? — тихо спросил Илья.

Следователь посмотрел в лицо ему скучными, разочарованными глазами и, помолчав, сказал:

— А видите — сошел на землю и смотрит, как люди исполнили его благие заветы. Идет полем битвы, вокруг видит убитых людей, развалины домов, пожар, грабежи...

— А с неба-то он этого разве не видит? — спросил Илья.

— Мм... Это написано для вящей наглядности... для того, чтобы показать несоответствие между жизнью и учением Христа.

Снова посыпались какие-то маленькие, незначительные вопросы, надоедавшие Луневу, как осенние мухи. Он уставал от них, чувствуя, что они притупляют его внимание, что его осторожность усыпляется пустой, однообразной трескотней. И злился на следователя, понимая, что тот нарочно утомляет его.

— Вы не можете сказать, — небрежно, быстро спрашивал следователь, — где вы были в четверг между двумя и тремя часами?

— В трактире чай пил, — сказал Илья.

— А! В каком? Где?

— В «Плевне»...

— Почему вы с такой точностью говорите, что именно в это время вы были в трактире?

Лицо у следователя дрогнуло, он навалился грудью на стол, и его вспыхнувшие глаза как бы вцепились в глаза Лунева. Илья помолчал несколько секунд, потом вздохнул и, не торопясь, сказал:

— А перед тем, как в трактир идти, я спрашивал время у полицейского.

Следователь вновь откинулся на спинку кресла и, взяв карандаш, застучал им по своим ногтям.

— Полицейский сказал мне, что был второй час... двадцать минут, что ли... — медленно говорил Илья.

— Он вас знает?

— Да...

— У вас своих часов нет?

— Нет...

— Вы и раньше спрашивали у него о времени?

— Случалось...

— Долго сидели в «Плевне»?

— Пока не закричали про убийство...

— А потом куда пошли?

— Смотреть на убитого.

— Видел вас кто-нибудь на месте,— у лавочки?

— Тот же полицейский видел... он даже прогонял меня отсюда... толкал...

— Это прекрасно! — с одобрением воскликнул следователь и небрежно, не глядя на Лунева, спросил: — Вы о времени у полицейского спрашивали до убийства или уже после?

Илья понял вопрос. Он круто повернулся на стуле от злобы к этому человеку в ослепительно белой рубашке, к его тонким пальцам с чистыми ногтями, к золоту его очков и острым, темным глазам. Он ответил вопросом:

— А как я могу про это знать?

Следователь сухо кашлянул и потер руки так, что у него хрустели пальцы.

— Чудесно! — недовольным голосом сказал он. — Вели-ко-ле-пно... Еще несколько вопросов.

Теперь следователь спрашивал скучным голосом, не торопясь и, видимо, не ожидая услышать что-либо интересное; а Илья, отвечая, всё ждал вопроса, подобного вопросу о времени. Каждое слово, произносимое им, звучало в груди его, как в пустоте, и как будто задевало там туго натянутую струну. Но следователь уже не задавал ему коварных вопросов.

— Когда вы проходили в этот день по улице, не помните ли, не встретился ли вам человек высокого роста, в полушубке и черной барашковой шапке?

— Нет... — сурово сказал Лунев.

— Ну-с, послушайте ваше показание, а потом подпишите его... — И, закрыв лицо листом исписанной бумаги, он быстро и однотонно начал читать, а прочитав, сунул в руку Лунева перо. Илья наклонился над столом, подписал, медленно поднялся со стула и, поглядев на следователя, глухо и твердо выговорил:

— Прощайте!

Тот ответил ему небрежным, барским кивком головы и, наклонясь над столом, начал писать. Илья стоял. Ему хотелось сказать что-нибудь этому человеку, так

долго мучившему его. В тишине был слышен скрип пера, из внутренних комнат доносилось пение:

Потанцуйте, потанцуйте, маленькие куколки...

— Вы что? — спросил следователь вдруг, подняв голову.

— Ничего... — угрюмо ответил Лунев.

— Я вам сказал — можете идти...

— Ухожу...

Они смотрели друг на друга в упор, и Лунев почувствовал, что в груди у него что-то растёт — тяжелое, страшное. Быстро повернувшись к двери, он вышел вон и на улице, охваченный холодным ветром, почувствовал, что тело его всё в поту. Через полчаса он был у Олимпиады. Она сама отперла ему дверь, увидав из окна, что он подъехал к дому, и встретила его с радостью матери. Лицо у нее было бледное, а глаза увеличились и смотрели беспокойно.

— Умница ты! — воскликнула она, когда Илья сказал, что приехал прямо от следователя. — Так и надо, так! Ну, что он?

— Жулик! — злобно сказал Илья. — Ловушки ставил...

— Ему без этого нельзя, — резонно заметила женщина. — Такая должность...

— Говори прямо — так, мол, и так: думают на вас...

— Да ведь и ты не прямо! — с улыбкой сказала Олимпиада.

— Я? — с удивлением спросил Лунев. — Да-а... в самом деле! Ах, чёрт!.. — Его очень поразило что-то, и он, помолчав, сказал: — А сидя перед ним, я... ей-богу, правым себя чувствовал.

— Ну, слава богу! — радостно вскричала Олимпиада. — Всё хорошо обошлось...

Илья с улыбкой взглянул на нее и медленно заговорил:

— А ведь мне врать-то совсем немного пришлось... Везет мне, Липа!..

Он странно засмеялся.

— За мной сыщики поглядывают, — вполголоса сообщила Олимпиада. — Да и за тобой, наверно...

— Ка-ак же! — со злобой и насмешкой воскликнул Лунев. — Нюхают, обложить хотят, как волка в лесу. Ничего не будет, — не их дело! И не волк я, а несчастный человек... Я никого не хотел душить, меня самого судьба душит... как у Пашки в стихе сказано... И Пашку душит, и Якова... всех!

— Ничего, Илюша, — сказала женщина, заваривая чай. — Всё обойдется!

Лунев встал с дивана, подошел к окну и, глядя на улицу, угрюмо, со злым недоумением в голосе продолжал:

— Всю жизнь я в мерзость носом тычусь... Что не люблю, что ненавижу — к тому меня и толкает. Никогда не видал я такого человека, чтобы с радостью на него поглядеть можно было... Неужто никакой чистоты в жизни нет? Вот задавил я этого... зачем мне? Только испачкался, душу себе надорвал... Деньги взял... не брать бы!

— Не горюй! — утешала его Олимпиада. — Жалеть его — сердца нет.

— Я — не жалею... Я — оправдаться хочу. Всяк себя оправдывает, потому — жить надо!.. Вон следовательно — живет, как конфетка в коробочке... Он никого не удушит. Он может праведно жить — чистота вокруг...

— Погоди, уедем мы с тобой из этого города...

— Не-ет, я никуда не уеду! — твердо сказал Лунев, обращившись к женщине. И, грозя кому-то, он добавил: — Я подожду, погляжу, что дальше будет...

Олимпиада на минутку задумалась. Она сидела у стола, пред самоваром, пышная и красивая, в белом широком капоте.

— Я еще поспорю, — значительно кивая головой, говорил Лунев, расхаживая по комнате.

— А! — обиженно воскликнула женщина, — ты это потому не хочешь ехать, что боишься меня? Думаешь, я теперь навсегда тебя в руки заберу, думаешь, коли я про тебя... это знаю, — пользоваться буду? Ошибся, милый, да! Насильно я тебя за собой не потащу...

Она говорила спокойно, но губы у нее вздрагивали, как от боли.

— Что ты говоришь? — удивленно вслушиваясь в ее слова, спросил Лунев.

— Невольно я тебя не стану, не бойся! Иди, куда хочешь, — пожалуйста!

— погоди! — сказал Илья, садясь рядом с нею и взяв ее за руку. — Не понимаю я, с чего ты так заговорила?

— Притворяйся! — тоскливо крикнула Олимпиада, выдернув руку из его руки. — Знаю я — ты гордый, ты жесткий! Старика мне простить не можешь, и противна тебе жизнь моя... думаешь ты теперь, что из-за меня всё это вышло... ненавидишь меня!..

— Врешь! — гордо сказал Илья. — Врешь ты, — ни в чем я не виню тебя. Я знаю — для нашего брата чистых да безгрешных женщин не приготовлено... нам они дороги. На них ведь жениться надо: они детей родят... Чистое — всё для богатых... а нам — огрызки, нам — ососочки, нам — заплеванное да захватанное.

— И оставь меня, захватанную! — вскрикнула Олимпиада, вскочив со стула. — Уходи! — Но тут на глазах ее сверкнули слезы, и она осыпала Илью горячими, как угли, словами: — Я сама, своей волей залезла в эту яму... потому что в ней денег много... Я по ним, как по лестнице, назад поднимусь... и опять буду хорошо жить... ты мне в этом помог. Знаю... И люблю тебя — хоть десятерых задуши. Я в тебе не добродетель люблю — гордость люблю... молодость твою, голову кудрявую, руки сильные, глаза твои строгие... Укоры твои — как ножи в сердце мне... зато я тебе буду... по гроб благодарна... ноги поцелую, — на!

Она свалилась в ноги к нему и целовала его колени, вскрикивая:

— Бог — видит! Я для своего спасения согрешила, ведь ему же лучше, ежели я не всю жизнь в грязи проживу, а пройду сквозь ее и снова буду чистая, — тогда вымолю прощение его... Не хочу я всю жизнь маяться! Меня всю испачкали... всю испоганили... мне всех слез моих не хватит, чтобы вымыться...

Илья сначала отталкивал ее от себя, пытаясь подняться с пола, но она крепко вцепилась в него и, положив голову на колени, терлась лицом о его ноги и всё

говорила задыхающимся, глухим голосом. Тогда он стал гладить ее дрожащей рукой, а потом, приподняв с пола, обнял и положил ее голову на плечо себе. Горячая щека женщины плотно коснулась его щеки, и, стоя на коленях пред ним, охваченная его сильной рукой, она всё говорила, опуская голос до шёпота:

— Разве кому лучше, коли человек, раз согрешив, на всю жизнь останется в унижении?.. Девчонкой, когда вотчим ко мне с пакостью приставал, я его тяткой ударила... Потом — одолели меня... девочку пьяной напоили... девочка была... чистенькая... как яблочко, была твердая вся, румяная... Плакала над собой... жаль было красоты своей... Не хотела я, не хотела... А потом — вижу... всё равно! Нет поворота... Дай, думаю, хошь дороже пойду. Возненавидела всех, воровала деньги, пьянствовала... До тебя — с душой не целовала никого...

Она окончила свои слова тихим шёпотом и вдруг рванулась из объятий Ильи:

— Пусти!

Он еще крепче стиснул ее руками и начал целовать ее лицо со страстью, с отчаянием.

— На слова твои мне сказать нечего... — горячо говорил он. — Одно скажу — нас не жаль никому... ну, и нам жалеть некого!.. Хорошо говорила ты... Хорошая ты моя... люблю тебя... ну, не знаю как! Не словами это можно сказать...

Ее речи, ее жалобы возбудили в нем горячее, светлое чувство к этой женщине. Ее горе как бы слилось с его несчастьем в одно целое и породило их. Крепко обняв друг друга, они долго тихими голосами рассказывали один другому про свои обиды.

— Не будет нам с тобой счастья, — сказала женщина, качая головой безнадежно.

— Ну, — несчастье попразднуем!.. В каторгу понадобится идти — вместе айда? Слышишь? А пока — будем горе с любовью изживать... Теперь мне — хошь жги меня огнем... На душе — легко...

Взволнованные разговором, возбужденные ласками, они смотрели друг на друга, как сквозь туман. Им было жарко от объятий и тесно в одеждах...

За окнами небо было серое, скучное. Холодная мгла одевала землю, оседая на деревьях белым инеем. В палисаднике пред окнами тихо покачивались тонкие ветви молодой березы, стряхивая снежинки. Зимний вечер наступал...

Через несколько дней Лунев узнал, что по делу об убийстве купца Полуэктова полиция ищет какого-то высокого человека в барашковой шапке. При осмотре вещей в лавке убитого были найдены две серебряные ризы с икон, оказалось, что они краденые. Мальчик, служивший в лавке, показал, что эти ризы были куплены дня за три до убийства у человека высокого роста, в полушубке, по имени Андрея, что человек этот не однажды продавал Полуэктову серебряные и золотые вещи и что Полуэктов давал ему деньги в долг. Потом стало известно, что накануне и в самый день убийства человек, подходящий под описание мальчика, кутил в публичных домах.

Каждый день Илья слышал что-нибудь новое по этому делу: весь город был заинтересован дерзким убийством, о нем говорили всюду — в трактирах, на улицах. Но Лунева почти не интересовали эти разговоры: мысль об опасности отвалилась от его сердца, как корка от язвы, и на месте ее он ощущал только какую-то неловкость. Он думал лишь об одном: как теперь будет жить?

И чувствовал себя, как рекрут пред набором, как человек, собравшийся в далекий, неизвестный путь. Последнее время к нему усиленно приставал Яков. Растрепанный, одетый кое-как, он бесцельно совался по трактиру и по двору, смотрел на всё рассеянно блуждавшими глазами и имел вид человека, занятого какими-то особенными соображениями. Встречаясь с Ильей, он таинственно и торопливо, вполголоса или шёпотом, спрашивал его:

- У тебя нет время потолковать со мной?
- Погоди, некогда...
- Ах ты!.. а дело важное.
- Что такое? — спросил Илья.

— Книга-то! Объясняет себя так, брат, что ой-ой! — пугливо сказал Яков.

— А ну тебя, с книгами! Ты вот что скажи: с чего это отец твой на меня зверем смотрит?

Но то, что совершалось в действительности, не задевало внимания Якова. В ответ на вопрос товарища он с недоумением вытаращил глаза и осведомился:

— А что? Я ничего не знаю. Слышал я раз, — дяде твоему он говорил, — что-то вроде того, будто ты фальшивыми деньгами торгуешь... да ведь это так он, зря...

— А ты почему знаешь, что зря? — с улыбкой спросил Илья.

— Ну, что там? Какие деньги? Ерунда всё!.. — И, махнув рукой, Яков задумался. — Поговорить-то нет у тебя время? — спросил он через минуту, оглядывая товарища блуждающими глазами.

— Про книгу?

— Да-а... Тут одно место понял я, — фу, фу, фу-у, брат ты мой...

И философ сделал такую гримасу, точно обжегся чем-то горячим. Лунев смотрел на товарища как на чудака, как на юродивого. Порою Яков казался ему слепым и всегда — несчастным, негодным для жизни. В доме говорили — и вся улица знала это, — что Петруха Филимонов хочет венчаться со своей любовницей, содержавшей в городе один из дорогих домов терпимости, но Яков относился к этому с полным равнодушием. И, когда Лунев спросил его, скоро ли свадьба, Яков тоже спросил:

— Чья?

— Отца твоего...

— А! Кто его знает... Вот бесстыдник! Нашел жену — тьфу!

— А ты знаешь, что у нее сын есть — большой уж, в гимназии учится?

— Нет, не знал, — а что?

— Так... наследник будет твоему отцу...

— Ага! — равнодушно сказал Яков. И вдруг оживился. — Сын? Это на пользу мне, пожалуй, а? Вот бы отец-то мой этого бы самого сына-то да за буфет и определил! А меня — куда хочу!.. Вот бы...

И, предвкушая свободу, Яков смачно шелкнул языком. Лунев посмотрел на него с сожалением и сказал с усмешкой:

— Верно говорится, что глупому чаду — морковку надо, а дай хлеба ему — не подставит суму. Эх ты! Не придумаю я, как жить будешь?

Яков насторожился, выкатил глаза и быстрым шепотом поведал:

— Я думал про это! Прежде всего надо устроить порядок в душе... Надо понять, чего от тебя бог хочет. Теперь я вижу одно: спутались все люди, как нитки, тянет их в разные стороны, а кому куда надо вытянуться, кто к чему должен крепче себя привязать — неизвестно! Родился человек — неведомо зачем; живет — не знаю для чего, смерть придет — всё порвет... Стало быть, прежде всего надо узнать, к чему я определен... во-от!..

— Эх ты въелся в эти рассуждения твои, — напряженно сказал Лунев. — И какой в них толк?

Он чувствовал, что теперь темные речи Якова задевают его сильнее, чем прежде задевали, и что эти слова будят в нем какие-то особые думы. Ему казалось, что кто-то черный в нем, тот, который всегда противоречил всем его простым и ясным мечтам о чистой жизни, теперь с особенной жадностью вслушивается в речи Якова и ворочается в душе его, как ребенок в утробе матери. Это было неприятно Илье, смущало его, казалось ему ненужным, он избегал разговоров с Яковым.

Но отвязаться от товарища было нелегко.

— Какой толк? Самый простой. Без этого — как без огня.

— Ты, Яков, вроде старика, — скушно с тобой. И свинья ищет удачи, а человек — тем паче, — как говорится.

После этих разговоров он чувствовал себя так, точно много соленого поел: какая-то тяжкая жажда охватывала его, хотелось чего-то особенного. К его тяжелым, мглистым думам о боге примешивалось теперь что-то ожесточенное, требовательное.

«Всё видит, а — допускает!..» — думал он хмуро, чувствуя, что душа его заплуталась в неразрешимом про-

тиворечии. Шел к Олимпиаде и в ее объятиях прятался от своих дум, тревог.

Изредка посещал он и Веру. Веселая жизнь постепенно засасывала эту девушку в свой глубокий омут. Она с восторгом рассказывала Илье о кутежах с богатыми купчиками, с чиновниками и офицерами, о тройках, ресторанах, показывала подарки поклонников: платья, кофточки, кольца. Полненькая, стройная, крепкая, она с гордостью хвасталась тем, как ее поклонники ссорятся за обладание ею. Лунев любовался ее здоровьем, красотой и весельем, но не раз осторожно замечал ей:

— Завертитесь вы, Верочка, в этой игре...

— А — так что? Туда мне и дорога... По крайней мере — с шиком. Взяла сколько умела, и — кончено!

— А — Павел?..

Ее брови вздрагивали, и веселье исчезало.

— Отошел бы он от меня... Трудно ему со мной... Напрасно он мучается... Я уж не остановлюсь, — попала муха в паутку...

— Не любите его? — спросил Илья.

— Его нельзя не любить! — совершенно серьезно возразила она. — Он — удивительный!

— Так — что же? Жили бы с ним...

— Это чтобы на шее у него сидеть? Ведь он едва для себя хлеба добывается, как же ему содержать меня? Нет, мне его жалко...

— Смотрите, худа не было бы... — предупредил ее Лунев однажды.

— Ах, господи! — воскликнула Вера с досадой. — Ну как же быть? Неужели я для одного человека родилась? Ведь всякому хочется жить весело... И всякий живет, как ему нравится... И он, и вы, и я.

— Н-ну, это не так! — угрюмо и вдумчиво сказал Илья. — Живем мы... но только — не для себя...

— А для кого же?

— Вы вот — для купцов, для кутил разных...

— Я сама — кутила! — сказала Вера и весело расхохоталась.

Лунев уходил от нее с грустью. Павла он встречал за это время раза два, но мельком. Заставая товарища у Веры, Павел хмурился, злился. Он сидел при

Лунев молча, стиснув зубы, и на его худых щеках загорались красные пятна. Илья понимал, что товарищ ревнует его, и ему это было приятно. Но в то же время он ясно видел, что Грачев влез в петлю, из которой вряд ли вывернется без ущерба для себя. И, жалея Павла, а еще больше Веру, он перестал ходить к ней. С Олимпиадой он вновь переживал медовый месяц. Но и сюда врывался холодок, от которого у Ильи щемило сердце. Иногда среди разговора он вдруг угрюмо задумывался. Тогда Олимпиада говорила ему ласковым шёпотом:

— Милый! А ты не думай... Мало на свете людей, у которых руки-то чистенькие...

— Вот что,— сухо и серьезно отвечал ей Лунев,— прошу я тебя, не заводи ты со мной разговора об этом! Не о руках я думаю... Ты хоть и умная, а моей мысли понять не можешь... Ты вот скажи: как поступать надо, чтобы жить честно и безобидно для людей? А про старика молчи...

Но она не умела молчать о старике и всё уговаривала Илью забыть о нем. Лунев сердился, уходил от нее. А когда являлся снова, она бешено кричала ему, что он ее из боязни любит, что она этого не хочет и бросит его, уедет из города. И плакала, щипала Илью, кусала ему плечи, целовала ноги, а потом, в исступлении, сбрасывала с себя одежду и, нагая стоя перед ним, говорила:

— Али я не хороша? Али тело у меня не красивое? Каждой жилочкой люблю тебя, всей моей кровью люблю,— режь меня — смеяться буду...

Голубые глаза ее темнели, губы жадно вздрагивали, и грудь, высоко поднимаясь, как бы рвалась навстречу Илье. Он обнимал ее, целовал, сколько силы хватало, а потом, идя домой, думал: «Как же она, такая живая и горячая, как она могла выносить поганые ласки старика?» И Олимпиада казалась ему противной, он с отвращением плевал, вспоминая ее поцелуи. Однажды, после взрыва ее страсти, он, пресыщенный ласками, сказал ей:

— А ведь с той поры, как я старого чёрта удушил, ты меня крепче любить стала...

— Ну да,— а что?

— Та-ак. Смешно мне подумать... есть эдакие люди...

им тухлое яйцо — слаще свежего кажется, а иные любят съесть яблоко, когда оно загнило... Чудно!..

Олимпиада взглянула на него мутными глазами, лениво улыбнулась и не ответила.

Как-то раз, когда Илья, придя из города, раздевался, в комнату тихо вошел Терентий. Он плотно притворил за собою дверь, но стоял около нее несколько секунд, как бы что-то подслушивая, и, тряхнув горбом, запер дверь на крюк. Илья, заметив всё это, с усмешкой поглядел на его лицо.

— Илюша! — вполголоса сказал Терентий, садясь на стул.

— Ну?

— Развелись тут про тебя разные слухи... Нехорошо говорят...

И горбун тяжело вздохнул, опустив глаза.

— А как, примерно? — спросил Илья, снимая сапоги.

— Да... кто — что... Одни — будто ты к делу этому коснулся... Купца-то задавили... Другие — будто фальшивой монетой промышляешь ты...

— Завидуют, что ли? — спросил Илья.

— Ходят сюда разные... подобные тайной полиции... вроде как бы сыщиков... И всё Петруху спрашивают про тебя...

— Ну и пусть стараются, — равнодушно сказал Илья.

— Это — конечно. Что нам до них, коли мы за собой никакого греха не знаем?

Илья засмеялся и лег на постель.

— Теперь они уже перестали... не являются! Только — сам Петруха начал... — смущенно и робко говорил Терентий. — Ты бы, Илюша, на квартирку куда-нибудь съехал — нашел бы себе комнатенку и жил?.. А то Петруха говорит: «Я, говорит, темных людей в своем доме не могу терпеть, я, говорит, гласный человек...»

Илья повернул к дяде лицо, потемневшее от злости, и громко сказал:

— Ежели его лаковая рожа мила ему, — молчал бы! Так и скажи... Услышу я неуважительное слово обо мне — башку в дресву разобью. Кто я ни есть — не ему, жулику, меня судить. А отсюда я съеду... когда

захочу. Хочу пожить с людьми светлыми да праведными...

Горбун испугался гнева Ильи. Он с минуту молчал, сидя на стуле, и, тихонько почесывая горб, глядел на племянника со страхом. Илья, плотно сжав губы, широко раскрытыми глазами смотрел в потолок. Терентий тщательно ощущал взглядом его кудрявую голову, красивое серьезное лицо с маленькими усиками и крутым подбородком, поглядел на его широкую грудь, измерил всё крепкое и стройное тело и тихо заговорил:

— Молодец стал ты!.. В деревне девки за тобой стадами бегали бы... Н-да... Зажил бы ты там хорошо-о! Я бы деньжонок тебе добыл... Открыть бы тебе лавочку да на богатой и жениться!.. И полетит твоя жизнь, как санки под гору.

— А может, я хочу на гору? — сумрачно сказал Илья.

— А конечно — на гору! — быстро подхватил Терентий. — Ведь это я так сказал — легкая, мол, жизнь-то будет. Ну, а пойдет она в гору.

— А с горы куда? — спросил Илья.

Горбун взглянул на него и засмеялся дребезжащим смехом. Он снова начал что-то говорить, но Илья уже не слушал его, вспоминая пережитое и думая — как всё это ловко и незаметно подбирается в жизни одно к другому, точно нитки в сети. Окружают человека случаи и ведут его куда хотят, как полиция жулика. Вот — думал он уйти из этого дома, чтобы жить одному, — и сейчас же находится удобный случай. Он с испугом и пристально взглянул на дядю, но в это время раздался стук в дверь, и Терентий вскочил с места.

— Да ну, отпирай, — сердито и громко сказал Илья.

Когда горбун снял крючок, на пороге явился Яков с большой рыжей книгой в руках.

— Илья, идем к Машутке! — оживленно сказал он, подходя к постели.

— Что с ней такое? — быстро спросил Илья.

— С ней? Не знаю... Ее дома нет...

— Куда это она по вечерам шляться стала? — спросил горбун нехорошим голосом.

— Она с Матицей ходит, — сказал Яков.

— Ну, хорошего с ней не выходит, — медленно проговорил Терентий.

Яков схватил Лунева за рукав и дергал его.

— Ты что — с цепи сорвался? — сказал Лунев.

— Знаешь — а ведь она и есть — черная магия, не иначе! — вполголоса говорил Яков.

— Кто? — надевая валенки, спросил Илья.

— Эта самая книга... ей-богу! Вот увидишь... идем! Прямо говорю — чудеса! — продолжал Яков, ведя за собой товарища по темным сеням. — Даже страшно читать!.. Ну, только тянет она к себе, как в омут...

Илья чувствовал волнение товарища, слышал, как вздрагивает его голос, а когда они вошли в комнатку сапожника и зажгли в ней огонь, он увидел, что лицо у Якова бледное, а глаза мутные и довольные, как у пьяного.

— Ты выпил, что ли? — спросил он, подозрительно приглядываясь к Якову.

— Я? Нет, сегодня ни капли... Я ведь теперь не пью... так разве, для храбрости, когда отец дома, рюмки две-три хвачу! Боюсь отца... Пью только такое, которое не пахнет водкой... Ну — слушай!

Он с треском уселся на стул, раскрыл книгу, низко наклонился над ней и, водя пальцем по желтой от старости толстой бумаге, глухо, вздрагивающим голосом прочитал:

— «Глава третья. О первобытии человек» — слушай!

Вздохнув, он поднял кверху левую руку, а палец правой передвигая по странице, громко начал читать:

— «Повествуют, что первое человек бытие — якоже свидетельствует Диодор — у добродетельных мужей», — слышишь? — у добродетельных! — «иже о естестве вещей написаша — сугубое бе. Нецыи бо мняху яко не создан мир и нетленен и род человеческий без всякаго бе начала пред веки...»

Яков поднял голову от книги и, потрясая рукою в воздухе, шёпотом сказал:

— Слышишь? Без на-ча-ла!..

— Читай дальше! — сказал Илья, подозрительно разглядывая старую, переплетенную в кожу книгу.

Тогда вновь раздался тихий и восторженный голос Якова:

— «Сего мудрствования — свидетельствующу Цицерону — быша Пифагор Самийский, Архита Терентин, Платон Афинский, Ксенократ, Аристотель Стагиритский и мнози инии перипатетики тоежде мудрствовали глаголюще: что вся еже в вечнем сем мире суть и имуть быти — начала никакого не имяху», — видишь? опять без начала! «Но круг некий быти рождающих и рожденных, в нем же коегождо рожденного начало купно и конец быти познавается...»

Илья протянул руку и, захлопнув книгу, с усмешкой сказал:

— Брось! Ну ее к чёрту... Какие-то немцы мудрили тут — познавается! Ничего невозможно понять...

— погоди! — боязливо оглянувшись вокруг, воскликнул Яков и, вытаращив глаза в лицо товарища, тихо спросил: — Ты свое начало знаешь?

— Какое? — сердито крикнул Илья.

— Не кричи... Возьмем душу. С душой человек рождается, а?

— Ну?

— Стало быть, должен он знать — откуда явился и как? Душа, сказано, бессмертна — она всегда была... ага? Не то надо знать, как ты родился, а как ты понял, что живешь. Родился ты живой, — ну, а когда ты жив стал? В утробе матерней? Хорошо! А почему ты не помнишь не только того, как до родов жил, а и опосля, лет до пяти, ничего не знаешь? И если душа — то где она в тебя входит? Ну-ка?

Глаза Якова горели торжеством, его лицо освещала улыбка удовольствия, и с радостью, странной для Ильи, он вскричал:

— Вот те и душа!

— Дурак! — строго взглянув на него, сказал Илья. — Чему радуешься?

— Да — я не радуюсь, а просто так...

— То-то, просто! Не в том дело, отчего я жив, а — как мне жить? Как жить, чтобы всё было чисто, чтобы меня никто не задевал и сам я никого не трогал? Вот найди мне книгу, где бы это объяснялось...

Яков сидел, понурия задумчиво голову. Его радостное возбуждение погасло, не найдя отклика. И, помолчав, он сказал в ответ товарищу:

— Смотрю я на тебя — и чего-то не того — не нравится мне... Мыслей я твоих не понимаю... Вижу... начал ты с некоторой поры гордиться чем-то, что ли... Ровно ты праведник какой...

Илья засмеялся.

— Чего смеешься? Верно. Судишь всех строго... Никого не любишь будто...

— И не люблю, — сказал Илья твердо. — Кого любить? за что? Какие мне дары людьми подарены?.. Каждый за своим куском хлеба хочет на чужой шее доехать, а туда же говорят: люби меня, уважай меня! Нашли дурака! Уважь меня — я тебя тоже уважу. Подай мне мою долю, я, может, тебя полюблю тогда! Все одинаково жрать хотят...

— Ну, чай, не одного жранья люди ищут, — неприязненно и недовольно возразил Яков.

— Знаю! Всяк себя чем-нибудь украшает, но это — маска! Вижу я — дядюшка мой с богом торговаться хочет, как приказчик на отчете с хозяином. Твой папаша хоругви в церковь пожертвовал, — заключаю я из этого, что он или объегорил кого-нибудь, или собирается объегорить... И всё так, куда ни взгляни... На тебе грош, а ты мне пятак положишь... Так и все морочат глаза друг другу да оправданья себе друг у друга ищут. А по-моему — согрешил вольно или невольно, ну и — подставляй шею...

— Это ты верно, — задумчиво сказал Яков, — и про отца верно, и про горбатого... Эх, не к месту мы с тобой родились! Ты вот хоть злой; тем утешаешь себя, что всех судишь... и всё строже судишь... А я и того не могу... Уйти бы куда-нибудь! — с тоской вскричал Яков.

— Куда уйдешь? — спросил Илья, тонко усмехаясь.

Оба замолчали, уныло сидя друг против друга у стола. А на столе лежала большая рыжая книга в кожаном переплете с железными застежками...

В сенях кто-то завозился, слышались глухие голоса, потом чья-то рука долго скребла по двери, ища

скобу. Товарищи безмолвно ждали. Дверь отворилась медленно, не вдруг, и в подвал ввалился Перфишка. Он задел ногой за порог, покачнулся и упал на колени, подняв кверху правую руку с гармоникой в ней.

— Тпру! — сказал он и засмеялся пьяным смехом. Вслед за ним вошла Матица. Она тотчас же наклонилась к сапожнику, взяла его под мышки и стала поднимать, говоря тяжелым языком:

— Ось, як нализався... э, пьяница!

— Сваха! не тронь... я сам встану... са-ам...

Он закачался, встал на ноги и подошел к товарищам, протягивая им левую руку:

— Здрас-сте! Наше вам, ваше нам...

Матица густо и бессмысленно захохотала.

— Откуда это вы? — спросил Илья.

А Яков смотрел на пьяных с улыбкой и молчал.

— Откуда? М-мальчики! Милые, — эхма! — Перфишка затопал ногами по полу и зашел:

Косточки, н-недоросточки!

Ко-огда кости подрастут,

Их в лавочку пр-родад-дут!

Сваха! А то лучше споем ту, которой ты меня научила... Н-ну...

Он прислонился спиной к печи рядом с Матицей и, толкая бабу локтем в бок, нащупывал пальцами клавиши гармоники.

— Где Машутка? — сурово спросил Илья.

— Эй вы! — крикнул Яков, вскакивая со стула. — Где Марья-то, в самом деле?

Но пьяные не обратили внимания на окрики. Матица склонила голову набок и запела:

Ой, ку-уме, ку-уме, добра горилка...

А Перфишка взмахнул гармоникой и подхватил высоким голосом:

Выпьем, ку-уме, для понедилка-а...

Илья встал и, взяв его за плечо, тряхнул так, что Перфишка стукнулся затылком о печку.

— Дочь где?

— Пр-ропад-дала его д-дочь, да во самую во пол-ночь,— бессмысленно пробормотал Перфишка, хватаясь рукой за голову.

Яков допрашивал Матицу, но она, ухмыляясь, говорила:

— А не скажу! Н-не скажу и не скажу...

— Они ее, пожалуй, продали, дьяволы,— сурово усмехаясь, сказал Илья товарищу. Яков испуганно взглянул на него и жалким голосом спросил сапожника:

— Перфилий, слушай! Где Машутка?..

— Ма-ашу-тка! — насмешливо протянула Матица.— Хвати-ился...

— Илья! Как же? Что же делать? — с тревогой спрашивал Яков.

Илья молчал, мрачно глядя на пьяных.

Матица зловеще тянула песню, переводя свои огромные глаза с Ильи на Якова, и вдруг, нелепо взмахнув руками, заорала:

— И-идить вон з моей хаты! Бо це — моя хата! Бо мы тежь повенчаемось...

Сапожник, схватившись за живот, хохотал.

— Уйдем, Яков,— сказал Илья.— Чёрт их разберет...

— погоди! — растерянно и пугливо говорил Яков.

— Перфишка... скажи — где Маша?

— Матица! Супруга моя, бери их! Усь-усь... Лай на них, грызи... Где Маша?

Перфишка сложил губы трубой и хотел свистнуть, но не мог, а вместо того высунул язык Якову и снова захохотал. Матица лезла грудью на Илью и неистово орала:

— А ты хто? Хиба я того не знаю?

Илья оттолкнул ее и ушел из подвала. В сенях его догнал Яков, схватил за плечо и, остановив в темноте, заговорил:

— Разве это можно? Разве дозволено? Она — маленькая, Илья! Неужто они ее выдали замуж?

— Ну, не скули! — резко остановил его Илья.— Не к чему. Раньше бы присматривал за ними... Ты начала искал, а они, гляди,— кончили...

Яков умолк, но через минуту, идя по двору сзади Лунева, он вновь заговорил:

— Я не виноват... Я знал, что она на поденщину ходит, комнаты убирать куда-то...

— А мне чёрт с тобой, виноват ты или нет!.. — грубо сказал Илья, останавливаясь среди двора. — Бежать надо из этого дома... Поджечь его надо...

— О, господи... господи! — тихо сказал Яков, стоя за спиной Лунева, бессильно опустив руки вдоль тела и так наклоня голову, точно ждал удара.

— Заплачь! — насмешливо сказал Илья и ушел, оставив товарища в темноте среди двора.

Утром на другой день он узнал от Перфишки, что Машутку выдали замуж за лавочника Хренова, вдовца лет пятидесяти, недавно потерявшего жену.

Потряхивая болевшей с похмелья головой, Перфишка лежал на печи и спутанно рассказывал:

— Он мне, значит, и говорит: «У меня, говорит, двое детей... два мальчика. Дескать — надо им няньку, а нянька есть чужой человек... воровать будет и всё такое... Так ты-де уговори-ка дочь...» Ну, я и уговорил... и Матица уговорила... Маша — умница, она поняла сразу! Ей податься некуда... хуже бы вышло, лучше — никогда!.. «Всё равно, говорит, я пойду...» И пошла. В три дня всё окружили... Нам с Матицей дано по трешной... но только мы их сразу обе пропили вчера!.. Ну и пьет эта Матица, — лошадь столько не может выпить!..

Илья слушал и молчал. Он понимал, что Маша пристроилась лучше, чем можно было ожидать. Но всё же ему было жалко девочку. Последнее время он почти не видал ее, не думал о ней, а теперь ему вдруг показалось, что без Маши дом этот стал грязнее.

Желтая, опухшая рожа смотрела с печи на Илью, голос Перфишки скрипел, как надломленный сучок осенью на дереве.

— Поставил мне Хренов задачу, чтобы я к нему — ни ногой! В лавку, говорит, изредка заходи, на шкалик дам. А в дом, как в рай, — и не надейся!.. Илья Яковлевич! Не будет ли от тебя пяточка, чтобы мне опохмелиться? Дай, сделай милость...

— Ну, а ты теперь — как же? — сказал Лунев. Сапожник сплюнул на пол и ответил:

— Я теперь — окончательно сопьюсь... Когда Маша была не пристроена, я хоть стеснялся... иной раз и поработаю... вроде совести у меня к ней было... Ну, а теперь я знаю, что она сыта, обута, одета и как... в сундук заперта!.. Значит, свободно займусь повсеместным пьянством...

— Не можешь бросить водку?

— Никак! — отрицательно мотая всклокоченной башкой, ответил сапожник. — И — зачем? Чего человек хочет — о том судьба хлопочет, — вот оно что! А коли человек такой, что в него и не вложишь ничего, — какое судьбе дело до него? Я тебе вот что скажу: хотел я сделать одно дельце... в ту пору, когда еще покойница жена жива была... Хотел я тогда урвать кусок у дедушки Еремея... Думал так: «Не я — другой, всё равно старика ограбят...» Ну, слава богу, упредили меня в этом деле... Не жалею... Но тогда я понял, что и хотеть надо умеючи...

Сапожник засмеялся и стал слезать с печи, говоря:

— Ну, давай пятак... нуτρο горит — до смерти!..

— На,хвати стаканчик, — сказал Илья.

И, с улыбкой посмотрев на Перфишку, он проговорил:

— И шарлатан ты, и пьяница... всё это верно! Но иной раз мне кажется — что лучше тебя я не знаю человека.

Перфишка недоверчиво взглянул на серьезное, но ласковое лицо Лунева.

— Шутить?

— Хошь — верь, хошь — не верь... Я не в похвалу тебе сказал, а — так... в осуждение людям...

— Мудрено!.. Нет, видно, не моим лбом сахар колоть... не понимаю! Пойду выпью, авось поумнею...

— погоди! — остановил его Лунев, схватив за рукав рубахи. — Ты бога боишься?

Перфишка нетерпеливо переступил с ноги на ногу и почти с обидой сказал:

— Мне бога бояться нечего... Я людей не обижаю...

— А молишься ты? — допрашивал Илья, понижая голос.

— Н-ну... молюсь, известно... редко!..

Илья видел, что сапожник не хочет говорить, всей силой души стремясь в кабак.

— Иди, иди,— задумчиво сказал он.— Но вот что: умрешь — бог тебя спросит: «Как жил ты, человек?»

— А я скажу: «Господи! Родился — мал, помер — пьян,— ничего не помню!» Он посмеется да простит меня...

Сапожник счастливо улыбнулся и ушел.

Лунев остался один в подвале... Ему было странно думать, что в этой тесной, грязной яме никогда уже не появится Маша, да и Перфишку скоро прогонят отсюда.

В окно смотрело апрельское солнце, освещая давно не метенный пол. Всё в подвале было не прибрано, нехорошо и тоскливо, точно после покойника.

Сидя на стуле прямо, Илья смотрел на облезлую, коренастую печь пред ним, тяжелые думы наваливались на него одна за другой.

«Пойти разве покаяться?» — вдруг мелькнула в его голове ясная мысль.

Но он тотчас же со злостью оттолкнул ее от себя...

В тот же день вечером Илья принужден был уйти из дома Петрухи Филимонова. Случилось это так: когда он возвратился из города, на дворе его встретил испуганный дядя, отвел в угол за поленницу дров и там сказал:

— Ну, Ильюша, уходить тебе надо... Что у нас тут было-о!

Горбун в страхе закрыл глаза и, взмахнув руками, ударил себя по бедрам:

— Яшка-то напился вдрызг да отцу и бухнул прямо в глаза — вор! И всякие другие колючие слова: бесстыжий развратник, безжалостный... без ума орал!.. А Петруха-то его ка-ак тыпнет по зубам! Да за волосы, да ногами топтать и всяко,— избил в кровь! Теперь Яшка-то лежит, стонет... Потом Петруха на меня — как зыкнет! «Ты, говорит... Гони, говорит, вон Ильку...» Это-де ты Яшку-то настроил супротив его... И орал он — до ужастии!.. Так ты гляди...

Илья снял с плеча ремень и, подавая ящик дяде, сказал:

— Держи!..

— погоди! Куда-а?

Руки у Ильи тряслись от жалости к Якову и злобы к его отцу.

— Держи, говорю,— сквозь зубы сказал он и пошел в трактир. Он стиснул зубы так крепко, что скулам и челюстям стало больно, а в голове вдруг зашумело. Сквозь этот шум он слышал, что дядя кричит ему что-то о полиции, погибели, остроге, и шел, как под гору.

В трактире у буфета стоял Петруха и, разговаривая с каким-то оборванцем, улыбался. На его лысину падал свет лампы, и казалось, что вся голова его блестит довольной улыбкой.

— А, купец! — насмешливо вскричал он, увидя Илью, брови его сердито задвигались.— Тебя-то мне и надо...

Он стоял у двери в свои комнаты, заслоняя ее.

Илья подошел к нему, твердый, суровый, и громко сказал:

— Отойди прочь!..

— Что-о? — протянул Петруха.

— Пусти меня к Якову...

— Я те дам Якова...

Илья молча во всю свою силу ударил Петруху по щеке. Буфетчик застонал и свалился на пол. Из всех углов к нему бросились половые; кто-то закричал:

— Держи его! Бей!

Публика засуетилась, точно ее обдали кипятком, но Илья перешагнул через Петруху, вошел в дверь и запер ее за собою.

В маленькой комнате, тесно заставленной ящиками с вином и какими-то сундуками, горела, вздрагивая, жестяная лампа. В полутьме и тесноте Лунев не сразу увидал товарища. Яков лежал на полу, голова его была в тени, и лицо казалось черным, страшным. Илья взял лампу в руки и присел на корточки, освещая избитого. Синяки и ссадины покрывали лицо Якова безобразной темной маской, глаза его затекли в опухолях, он дышал тяжело, хрипел и, должно быть, ничего не видел, ибо спросил со стоном:

— Кто тут?

— Я, — тихо сказал Лунев, вставая на ноги.

— Дай испить...

Илья оглянулся. В дверь ломились. Кто-то командовал:

— С заднего крыльца заходи...

Тонкий, воющий голос Петрухи прорывался сквозь шум:

— Я его не трогал...

Илья злорадно усмехнулся. И, подойдя к двери, он спокойно вступил в переговоры с осаждающими:

— Эй вы! Погодите орать... Если я ему в морду дал, от этого он не издохнет, а меня за это судить будут. Значит, вам нечего лезть не в свое дело... Не напирайте на дверь, я отопру сейчас...

Он отпер дверь и встал в ней, как в раме, туго сжав кулаки на всякий случай. Публика отступила пред его крепкой фигурой и готовностью драться, ясно выражавшейся на его лице. Но Петруха стал расталкивать всех, завывая:

— Ага-а, ра-азбойник!..

— Уберите его прочь и глядите сюда — пожалуйте! — отступив от двери в сторону, приглашал Илья публику. — Полюбуйтесь, как он человека изуродовал...

Несколько гостей, косясь на Илью, вошли в комнату и наклонились над Яковом. Один с изумлением и со страхом проговорил:

— Ра-азутю-ужи-ил!..

— Принесите воды. Да полицию позвать надо... — говорил Илья.

Публика была на его стороне; он и видел и чувствовал это, и резко, громко заговорил:

— Вы все знаете Петрушку Филимонова, знаете, что это первый мошенник в улице... А кто скажет худо про его сына? Ну, вот вам сын — избитый лежит, может, на всю жизнь изувеченный, — а отцу его за это ничего не будет. Я же один раз ударил Петрушку — и меня осудят... Хорошо это? По правде это будет? И так во всем — одному дана полная воля, а другой не посмей бровью шевелить...

Несколько человек сочувственно вздохнули, иные молча ушли, а Петруха, визгливо вскрикивая, начал всех выгонять.

— Идите! Идите! Это мое дело, мой сын! Ступайте... Я полиции не боюсь... И суда мне не надо. Не надо-с. Я тебя и так, без суда, доеду... Иди вон!

Илья, встав на колени, поил Якова водой, с тяжелой жалостью глядя на разбитые, распухшие губы товарища. А Яков глотал воду и шёпотом говорил:

— Дышать больно... уведи меня... Илюша... голубчик!

Из опухолей под глазами сочились слезы...

— Его в больницу надо отвезти...— угрюмо сказал Илья, оборачиваясь к Петрухе.

Буфетчик смотрел на сына и что-то пробормотал невнятно. Один глаз у него был широко раскрыт, а другой, как у Якова, тоже почти затек от удара Илья.

— Слышишь ты? — крикнул Илья.

— Не кричи! — неожиданно тихо и миролюбиво сказал Петруха. — В больницу нельзя — огласка!.. мне это не фасон...

— Подлец ты! — сказал Илья и с презрением плюнул в ноги Филимонова. — Я тебе говорю — отправляй в больницу! Не отправишь — скандал подниму хуже еще...

— Ну-ну-ну! Не тово... не сердись... Он, поди, притворяется...

Илья вскочил на ноги. Но тогда Филимонов отпрыгнул к двери и крикнул:

— Иван! Позови извозчика — в больницу, пятиалтынный... Яков, одевайся! Нечего притворяться-то... не чужой человек бил — родной отец... Меня не так еще мяли...

Он забежал по комнате, снимая со стен одежду, и бросал ее Илье, быстро и тревожно продолжая говорить о том, как его били в молодости...

За буфетом стоял Терентий. В уши Илье лез его вежливый, робкий голос:

— Вам за три или за пять копеек?.. Икорки? Икорка вся вышла... Селедочкой закусите...

На другой день Илья нашел себе квартиру — маленькую комнату рядом с кухней. Ее сдавала какая-то барышня в красной кофточке; лицо у нее было розовое, с остреньким птичьим носиком, ротик крошечный, над узким лбом красиво вились черные волосы, и она часто взбивала их быстрым жестом маленькой и тонкой руки.

— Пять рублей за такую миленькую комнатку — недо рога! — бойко говорила она и улыбалась, видя, что ее темные живые глазки смущают молодого широкоплечего парня. — Обои совершенно новые... окно выходит в сад, — чего вам? Утром я вам поставлю самовар, а внесете вы его к себе сами...

— Вы горничная? — с любопытством спросил Илья.

Барышня перестала улыбаться, у нее дрогнули брови, она выпрямилась и с важностью сказала:

— Я не горничная, а хозяйка этой квартиры, и муж мой...

— Да разве вы замужем? — с удивлением воскликнул Илья и недоверчиво оглянул сухонькую, стройную фигурку хозяйки. На этот раз она не рассердилась, а засмеялась звонко и весело.

— Какой вы смешной! То горничной называет, то не верит, что замужем...

— Да как верить, ежели вы совсем девочка! — тоже с усмешкой сказал Лунев.

— А я уже третий год замужем, муж мой околоточный надзиратель...

Илья взглянул ей в лицо и тоже тихонько засмеялся, сам не зная чему.

— Вот чудак! — передернув плечиками, воскликнула женщина, с любопытством разглядывая его.

— Ну, что же, — снимаете комнату?

— Решенное дело! Прикажете дать задаток?

— Конечно!

— Я часика через два-три и перееду...

— Пожалуйста. Я рада такому постояльцу, — вы, кажется, веселый...

— Не очень... — усмехаясь, сказал Лунев.

Он вышел на улицу улыбаясь, с приятным чувством в груди. Ему нравилась и комната, оклеенная голубыми

обоями, и маленькая бойкая женщина. Но почему-то особенно приятным казалось ему именно то, что он будет жить на квартире околоточного. В этом он чувствовал что-то смешное, задорное и, пожалуй, опасное для него. Ему нужно было навестить Якова; он нанял извозчика, уселся в пролетку и стал думать — как ему поступить с деньгами, куда теперь спрятать их?..

Когда он приехал в больницу, оказалось, что Якова только что купали в ванне и теперь он спит. Илья остановился в коридоре у окна, не зная, что ему делать, — уйти или подождать, когда товарищ проснется. Мимо, тихо шлепая туфлями, проходили один за другим больные в желтых халатах, поглядывая на него скучающими глазами; со звуками их тихого говора сливались чьи-то стоны, долетавшие издали... Гулкое эхо разносило звуки по длинной трубе коридора... Казалось, что в пахучем воздухе больницы невидимо, бесшумно летает кто-то, вздыхая и тоскуя... Илье захотелось уйти из этих желтых стен... Но один из больных шагнул к Илье и, протягивая руку, сказал негромко:

— Здравствуй!..

Лунев поднял глаза на него и отшатнулся, изумленный...

— Павел!.. И ты здесь?

— А кто еще? — быстро спросил Павел.

Лицо у него было какое-то серое, глаза смущенно и тревожно мигали... Илья кратко рассказал ему о Якове и воскликнул:

— Как тебя перевернуло!

Павел вздохнул; губы у него вздрогнули, как виноватый в чем-то, низко опустив голову, он хриплым шепотом повторил:

— Перевернуло...

— Что у тебя? — участливо спросил Лунев.

— Ну... Будто не знаешь...

Павел мельком взглянул в лицо товарища и снова опустил голову.

— Заразился?

— Конечно...

— Неужто от Веры?

— От кого же? — угрюмо ответил Павел.

Илья тряхнул головой.

— Вот и я когда-нибудь тоже влечу...

Павел, доверчиво глядя в глаза ему, сказал:

— Я думал — ты побрезгуешь теперь мной... Шагаюсь тут, вдруг вижу — ты!.. Стыдно стало... отвернулся, прошел мимо...

— Умен! — с укором сказал Илья.

— Кто тебя знает, как взглянешь? Болезнь поганая... Вторую неделю здесь торчу... Такая тоска, такая мука!.. Ночью — словно на углях жарись... Время тянется, как волос по молоку... И как будто в трясину тебя засасывает, и некого крикнуть на помочь...

Он говорил почти шёпотом, а лицо у него вздрагивало, руки судорожно мяли полы халата.

— А Вера где? — задумчиво спросил Илья.

— Чёрт ее знает, — с горькой усмешкой сказал Грачев.

— Не ходит?

— Приходила раз — я выгнал... Видеть я ее не могу! — зло прошептал Павел.

Илья укоризненно взглянул на его искаженное лицо и сказал:

— Ну, это ты ерунду порешь!.. Коли хочешь справедливости, так и сам будь справедлив. Чем она виновата?

— А кого мне винить? — вполголоса горячо воскликнул Павел. — Кого? Я ночи напролет думаю — отчего моя жизнь скомкалась? Оттого, что я Веру полюбил, да?.. Про мою к ней любовь — в небе звездами не напишешь!..

Глаза Павла покраснели, из них тяжело выкатились две большие слезы. Он смахнул их со щек рукавом халата.

— Всё это пустые слова... — сказал Лунев, чувствуя, что ему Веру жалко больше, чем Павла. — Ты мед пил — хвалил: силен! — напился — ругаешь: хмелен!.. А каково ей? Ведь и ее заразили?

— И ее! — сказал Павел и дрогнувшим голосом спросил: — А ты думаешь, не жалко мне ее? Я ее выгнал... И, как пошла она... как заплакала... так тихо

заплакала, так горько,— сердце у меня кровью облилось... Сам бы заплакал, да кирпичи у меня тогда в душе были... И задумался я тогда надо всем этим... Эх, Илья! Нет нам жизни...

— Да-а! — протянул Лунев, странно улыбаясь. — Творится что-то... мудреное! Давит всех и давит. Якову отец житья не дает, Машутку замуж за старого чёрта сунули, ты вот...

Он вдруг тихонько засмеялся и сказал, понизив голос:

— Одному мне везет! Как о чем подумаю — пожалуйте, готово!

— Нехорошо ты говоришь,— пытливо глядя на него, сказал Павел,— смеешься, что ли?

— Нет, кто-то другой смеется! Надо всеми нами смеется кто-то... Гляжу я в жизнь — нет в ней справедливости...

— Я тоже вижу это! — тихо, но как-то всей грудью воскликнул Павел.

На лице его вспыхнули красные пятна, а глаза его засверкали живо и бойко, как, бывало, у здорового.

Они стояли в полутемном углу коридора, у окна, стекла которого были закрашены желтой краской, и здесь, плотно прижавшись к стене, горячо говорили, на лету ловя мысли друг друга. Откуда-то издали доносился протяжный стон, похожий на гудение струны, которую кто-то задевает через равные промежутки времени, а она вздрагивает и звучит безнадежно, точно зная, что нигде нет живого сердца, способного успокоить ее болезненную дрожь. Павел горел от сознания обиды, нанесенной ему тяжелой рукой жизни; он тоже, как струна, вздрагивал от возбуждения и торопливо, бессвязно шептал товарищу свои жалобы и догадки. А Илья чувствовал, что слова Павла точно искры высекают из его сердца, они зажгли в его груди то темное и противоречивое, что всегда беспокоило его. Он чувствовал, что на месте его недоумения пред жизнью вспыхнуло что-то иное, что вот-вот осветит мрак его души и успокоит ее навсегда.

— Почему, ежели ты сыт — ты свят, ежели ты учен — прав? — шептал Павел, стоя против Ильи,

сердце к сердцу. И оглядывался по сторонам, точно чувствуя близость врага, который скомкал жизнь его.

— Кто слова наши поймет? — сурово воскликнул Илья.

— Да! С кем говорить?

Павел замолчал. Лунев задумчиво посмотрел в глубь коридора. Теперь, когда они замолчали, стон раздался слышнее. Должно быть, чья-то большая и сильная грудь стонала и велика была ее боль...

— Ты всё с Олимпиадой? — спросил Павел у Лунева.

— Да, живу! — усмехаясь, ответил Илья. — Знаешь, — усмехаясь, продолжал он, сильно понизив голос, — Яков дочитался до того, что в боге сомневается...

Павел взглянул на него и неопределенным тоном спросил:

— Ну?

— Нашел такую книгу... А ты как насчет этого?

— Я, видишь ли... — задумчиво и тихо сказал Павел, — я как-то так... в церковь не хожу...

— А я — много думаю... И не могу я понять, как бог терпит?

Снова между ними завязался быстрый разговор... Увлеченные им, они проговорили до поры, пока к ним подошел служитель и строго спросил Лунева:

— Ты что тут прячешься, а?

— Я не прячусь... — сказал Илья.

— А ты не видишь, что все посетители ушли?

— Стало быть, не видал... Прощай, Павел. К Якову-то зайди...

— Но-но — пошел! — крикнул служитель.

— Приходи скорее... — попросил Грачев.

На улице Лунев задумался о судьбе своих товарищей. Он видел, что ему лучше всех живется. Но это сознание не вызвало в нем приятного чувства. Он только усмехнулся и подозрительно посмотрел вокруг...

На новой квартире он зажил спокойно, и его очень заинтересовали хозяйка. Хозяйку звали Татьяна Власьевна. Веселая и разговорчивая, она через несколько

дней после того, как Лунев поселился в голубой комнатке, подробно рассказала ему весь строй своей жизни.

Утром, когда Илья пил чай в своей комнате, она в переднике, с засученными по локоть рукавами, порхала по кухне и, заглядывая в дверь к нему, оживленно говорила:

— Мы с мужем люди небогатые, но образованные. Я училась в прогимназии, а он в кадетском корпусе, хотя и не кончил... Но мы хотим быть богатыми и будем... Детей у нас нет, а дети — это самый главный расход. Я сама стряпаю, сама хожу на базар, а для черной работы нанимаю девочку за полтора рубля в месяц и чтобы она жила дома. Вы знаете, сколько я делаю экономии?

Она становилась в дверях и, встряхивая кудерьками, по пальцам высчитывала:

— Кухарка — жалованья три рубля, да прокормить ее надо — семь, — десять!.. Украдет она в месяц на три рубля — тринадцать! Комнату ее сдаю вам — восемнадцать! Вот сколько стоит кухарка!.. Затем: я всё покупаю оптом: масла — полпуда, муки — мешок, сахару — голову и так далее... На всем этом я выигрываю рублей двенадцать... Тридцать рублей! Если бы я служила где-нибудь — в полиции, на телеграфѣ, — я работала бы на кухарку... А теперь я — ничего не стою для мужа и горжусь этим! Вот как надо жить, молодой человек! Учитесь...

Она плутовато смотрела в лицо Ильи бойкими глазами, он улыбался ей. Она нравилась ему и возбуждала в нем чувство уважения. Утром, когда он просыпался, она уже сновала по кухне, вместе с рябой и молчаливой девочкой-подростком, смотревшей на нее и на всё пугливыми бесцветными глазами. Вечером, когда он приходил домой, она, тоненькая, чистенькая, с улыбкой отпирала ему дверь, и от нее пахло чем-то приятным. Если муж ее был дома, он играл на гитаре, а она подпевала ему звонким голосом, или они садились играть в карты — в дурачки на поцелуи. Илье в его комнате было слышно всё: и говор струн, то веселый, то чувствительный, и шлепанье карт, и чмоканье губ. Квартира состояла из двух комнат — спальни и еще одной,

смежной с комнатой Ильи: она служила супругам и столовой и гостиной, в ней они проводили свои вечера... По утрам в этой комнате раздавались звонкие птичьи голоса: тенькала синица, вперебой друг перед другом, точно споря, пели чиж и щегленок, старчески важно бормотал и скрипел снегирь, а порой в эти громкие голоса вливалась задумчивая и тихая песенка коноплянки.

Муж Татьяны, Кирик Никодимович Автономов, был человек лет двадцати шести, высокий, полный, с большим носом и черными зубами. Его добродушное лицо усеяно угрями, бесцветные глаза смотрели на всё с невозмутимым спокойствием. Коротко остриженные светлые волосы стояли на его голове щеткой, и во всей грузной фигуре Автонома было что-то неуклюжее и смешное. Двигался он тяжело и с первой же встречи почему-то спросил Илью:

— Ты птиц певчих любишь?

— Люблю...

— Любишь?

— Нет... — удивленно глядя на околоточного, ответил Илья.

Тот наморщил нос, подумал и спросил еще:

— А ловил?

— И не ловил...

— Никогда?

— Никогда...

Тут Кирик Автономов снисходительно улыбнулся и сказал:

— Значит, ты их не любишь, если не ловил... А я ловил, даже за это из корпуса был исключен... И теперь стал бы ловить, но не хочу компрометироваться в глазах начальства. Потому что хотя любовь к певчим птицам — и благородная страсть, но ловля их — забава, недостойная солидного человека... Будучи на твоём месте, я бы ловил чижиков — непременно! Веселая птичка... Это именно про чижа сказано: птичка божия...

Автономов говорил и мечтательными глазами смотрел в лицо Ильи, а Лунев, слушая его, чувствовал себя неловко. Ему показалось, что околоточный говорит о ловле птиц иносказательно, что он намекает на что-то. Но водянистые глаза Автонома успокоили его; он



НИЖНИЙ НОВГОРОД. ИЛЬИНСКИЙ СЪЕЗД

Конец XIX — начало XX в.

решил, что околоточный — человек не хитрый, вежливо улыбнулся и промолчал в ответ на слова Кирика. Тому, очевидно, понравилось скромное молчание и серьезное лицо постояльца, он улыбнулся и предложил:

— Вечером приходи к нам чай пить... Приходи без стеснения... в карты поиграем, в дурачки... Гости к нам ходят редко. Принимать гостей — приятно, но их надо угощать, а это — неприятно, потому что дорого.

Чем более присматривался Илья к благополучной жизни своих хозяев, тем более нравились они ему. Всё у них было чисто, крепко, всё делалось спокойно, и они, видимо, любили друг друга. Маленькая бойкая женщина была похожа на веселую синицу, ее муж — на неповоротливого снегиря, в квартире уютно, как в птичьем гнезде. По вечерам, сидя у себя, Лунев прислушивался к разговору хозяев и думал:

«Вот как надо жить...»

И, вздыхая от зависти, он всё сильнее мечтал о времени, когда откроет свою лавочку, у него будет маленькая, чистая комната, он заведет себе птиц и будет жить один, тихо, спокойно, как во сне... За стеной Татьяна Власьева рассказывала мужу, что она купила на базаре, сколько истратила и сколько сберегла, а ее муж глухо посмеивался и хвалил ее:

— Ах ты, умница! Ну, дай поцелую...

Он рассказывал жене о происшествиях в городе, о протоколах, составленных им, о том, что сказал ему полицеймейстер или другой начальник... Говорили о возможности повышения по службе, обсуждали вопрос, понадобится ли вместе с повышением переменить квартиру.

Илья слушал, и вдруг его охватывала непонятная тягелая скука. Становилось душно в маленькой голубой комнате, он беспокойно осматривал ее, как бы отыскивая причину скуки, и, чувствуя, что не может больше выносить тяжести в груди, уходил к Олимпиаде или гулял по улицам.

Олимпиада относилась к нему всё более требовательно и ревниво, всё чаще он ссорился с ней. Во время ссор она никогда не вспоминала об убийстве Полуэктова, но в хорошие минуты по-прежнему уговаривала

Илью забыть про это. Лунев удивлялся ее сдержанности и как-то раз после ссоры спросил ее:

— Липа! Почему ты, когда ругаешься, про старика ни словом не помянешь?

Она ответила, не задумываясь:

— А потому, что это дело не мое, да и не твое. Коли тебя не нашли — значит, так ему и надо было. Душить его тебе надобности не было, — ты сам говоришь. Значит, он через тебя наказан...

Илья недоверчиво засмеялся.

— Что ты? — спросила женщина.

— Та-ак... Я подумал, что коли человек неглуп — он обязательно жулик... Всё может оправдать... И обвинить всё может...

— Не пойму тебя, — сказала Олимпиада, качая головой.

— Чего не понимать? — спросил Илья, вздохнув и пожимая плечами. — Просто. Я говорю: поставь ты мне в жизни такое, что всегда бы незыблемо стояло; найди такое, что ни один бы самоумнейший человек ни обвинить, ни оправдать не мог... Найди такое! Не найдешь... Нет такого предмета в жизни...

После одной ссоры Илья, дня четыре не ходивший к Олимпиаде, получил от нее письмо... Она писала:

«Ну и прощай, милый Ильюша, навсегда, не увидимся мы с тобой больше. Не ищи меня, — не найдешь. А с первым пароходом уеду я из окаянного этого города: в нем я душу свою разможила на всю жизнь. Уеду я далеко и никогда не ворочусь, — не думай и не жди. За хорошее твое — спасибо тебе от всего сердца, а дурное я помнить не буду. Еще должна сказать тебе по правде, что ухожу я не куда-нибудь, а просто сошлась с молодым Ананьиным, который давно ко мне приставал и жаловался, что я его погублю, коли не соглашусь жить с ним. Согласилась: всё равно. Мы уедем к морю, в село, где у Ананьиных рыбные ватаги. Он очень простой и даже предлагает обвенчаться, дурачок. Прощай! Как будто во сне видела я тебя, а проснулась — и нет ничего. Как у меня сердце ноет, если бы ты знал! Целую тебя, единственный человек. Не гордись перед людьми: мы все несчастные. Смирная стала я, твоя

Липа, и как под обух иду, до того болит моя душа растерзанная. Олимпиада Шлыкова. По почте послала посылку тебе — кольцо на память. Носи, пожалуйста. Ол. Ш.»

Илья прочитал письмо и до боли крепко закусил губу. Потом прочитал еще и еще. С каждым разом письмо всё больше нравилось ему, — было и больно и лестно читать простые слова, написанные неровными крупными буквами. Раньше Илья не думал о том, насколько серьезно любит его эта женщина, а теперь ему казалось, что она любила сильно, крепко, и, читая ее письмо, он чувствовал гордое удовольствие в сердце. Но это удовольствие понемногу уступало место сознанию утраты близкого человека, и вот Илья грустно задумался: куда теперь, к кому пойдет он в час скуки? Образ женщины стоял пред его глазами, он вспоминал ее бешеные ласки, ее умные разговоры, шутки, и всё глубже в грудь ему впивалось острое чувство сожаления. Стоя пред окном, он, нахмутив брови, смотрел в сад, там, в сумраке, тихо шевелились кусты бузины и тонкие, как бечевки, ветви березы качались в воздухе. За стеной грустно звенели струны гитары, Татьяна Власьева высоким голосом пела:

Пуска-ай кто хо-чет и-и-ищет
В-бога-атых ян-тар-рей...

Илья держал письмо в руке и чувствовал себя виноватым пред Олимпиадой, грусть и жалость сжимали ему грудь и давили горло.

А м-не мо-е ко-ле-е-ечко
До-оста-ань со дна мор-рей,

— раздавалось за стеной. Потом околоточный густо захохотал, а певица выбежала в кухню, тоже звонко смеясь. Но в кухне она сразу замолчала. Илья чувствовал присутствие хозяйки где-то близко к нему, но не хотел обернуться посмотреть на нее, хотя знал, что дверь в его комнату открыта. Он прислушивался к своим думам и стоял неподвижно, ощущая, как одиночество охватывает его. Деревья за окном всё покачи-

вались, а Луневу казалось, что он оторвался от земли и плывет куда-то в холодном сумраке...

— Илья Яковлевич! Чай пить будете? — окрикнула его хозяйка.

— Нет...

За окном раздался могучий удар колокола; густой звук мягко, но сильно коснулся стекол окна, и они чуть слышно дрогнули... Илья перекрестился, вспомнил, что давно уже не бывал в церкви, и обрадовался возможности уйти из дома...

— Я ко всеобщей пойду, — сказал он, обернувшись к двери. Хозяйка стояла как раз в двери, держась руками за косяки, и смотрела на него с любопытством. Илью смутил ее пристальный взгляд, и, как бы извиняясь перед нею, он проговорил:

— Давно в церкви не был...

— Хорошо! Я приготовлю самовар к девяти часам.

Идя в церковь, Лунев думал о молодом Ананьине. Он знал его: это богатый купчик, младший член рыбопромышленной фирмы «Братья Ананьины», белокурый, худенький паренек с бледным лицом и голубыми глазами. Он недавно появился в городе и сразу начал сильно кутить.

«Вот как живут люди, как ястреба, — размышлял Илья с горечью. — Только оперился и сейчас же — цап себе голубку...»

Он вошел в церковь расстроенный, обозленный своими думами, встал там в темный угол, где стояла лестница для зажигания паникадила.

«Господи, помилуй-уй», — пели на левом клиросе. Какой-то мальчишка подпевал противным, резавшим уши криком, не умея подладиться к хриплому и глухому голосу дьячка. Нескладное пение раздражало Илью, вызывая в нем желание надрать мальчишке уши. В углу было жарко от натопленной печи, пахло горелой тряпкой. Какая-то старушка в салоне подошла к нему и брюзгливо сказала:

— Не на свое место встали, сударь мой...

Илья посмотрел на воротник ее богатого салона, украшенный хвостами куницы, и молча отодвинулся, подумав:

«И в церкви свои места...»

После убийства Полуэктова он впервые пришел в церковь и теперь, вспомнив об этом, вздрогнул.

— Господи! Помилуй... — прошептал он, крестясь.

Стройно и громогласно запели певчие. Голоса дискантов, отчетливо выговаривая слова песнопения, звенели под куполом чистым и сладостным звоном маленьких колокольчиков, альта дрожали, как звучная, туго натянутая струна; на фоне их непрерывного звука, который лился подобно ручью, дисканты вздрагивали, как отблески солнца в прозрачной струе воды. Густые, темные ноты басовой партии торжественно колыхались в воздухе, поддерживая пение детей; порою выделялись красивые и сильные возгласы тенора, и снова ярко блистали голоса детей, возносясь в сумрак купола, откуда, величественно простирая руки над молящимися, задумчиво смотрел вседержитель в белых одеждах. Вот пение хора слилось в массу звуков и стало похоже на облако в час заката, когда оно, розовое, алое и пурпурное, горит в лучах солнца великолепием своих красок и тает в наслаждении своей красотой...

Замерло пение, — Илья вздохнул глубоким, легким вздохом. Ему было хорошо: он не чувствовал раздражения, с которым пришел сюда, и не мог остановить мысли на грехе своем. Пение облегчило его душу и очистило ее. Чувствуя себя так неожиданно хорошо, он недоумевал, не верил ощущению своему, но искал в себе раскаяния и — не находил его.

И вдруг его, как иглой, кольнула острая мысль:

«Что, если хозяйка войдет из любопытства в его комнату, начнет рыться там и найдет деньги?»

Илья быстро сорвался с места, вышел из церкви и, крикнув извозчика, поехал домой. Дорогой его мысль неотвязно развивалась, возбуждая его.

«Найдет — ну, что же? Они не донесут, они просто украдут сами...»

Но мысль, что они не донесут, а именно украдут деньги, еще более возбудила его. Он чувствовал, что если это случилось, то сейчас же, на этом же извозчике, он поедет в полицию и скажет, что это он убил Полуэктова. Нет, он не хочет больше маяться и жить в бес-

покойстве, тогда как другие на деньги, за которые он заплатил великим грехом, будут жить спокойно, уютно, чисто. Эта мысль родила в нем холодное бешенство. Подъехав к дому, он сильно дернул звонок и, стиснув зубы, сжал кулаки, ожидая, когда ему отворят дверь.

Дверь отворила ему Татьяна Власьева.

— Ух, как вы громко звоните!.. Что вы? Что с вами? — испуганно вскричала она, взглянув на него.

Он молча оттолкнул ее, прошел в свою комнату и с первого же взгляда понял, что все его страхи напрасны. Деньги лежали у него за верхним наличником окна, а на наличник он чуть-чуть приклеил маленькую пушинку, так что, если бы кто коснулся денег, пушинка непременно должна была слететь. Но вот он ясно видел на коричневом наличнике — ее белое пятнышко.

— Вы больны? — тревожно спрашивала хозяйка, являясь в двери.

— Да, — нездоровится... Вы — извините: я толкнул вас...

— Это пустяки... Подождите... сколько нужно дать извозчику?

— Сделайте милость, отдайте...

Она убежала, а Илья тотчас же вскочил на стул, выхватил из-за наличника деньги и, сунув их в карман, облегченно вздохнул... Ему стало стыдно своей тревоги. Пушинка показалась ему глупой, смешной, как и всё это...

«Наваждение!..» — подумал он, внутренне усмехаясь. В двери снова явилась Татьяна Власьева.

— Извозчику — двадцать, — торопливо заговорила она. — У вас что — закружилась голова?

— Да... знаете, стою в церкви... вдруг это...

— Вы прилягте, — сказала женщина, входя в комнату. — Прилягте, не стесняясь... А я посижу с вами... Я одна, — муж отправился в наряд, в клуб...

Илья сел на постель, а она на стул, единственный в комнате.

— Обеспокоил я вас, — смущенно улыбаясь, сказал Илья.

— Ничего, — ответила Татьяна Власьева, пытливо и бесцеремонно разглядывая его лицо. Помолчали. Илья

не знал, о чем говорить с этой женщиной, а она, всё разглядывая его, вдруг стала странно улыбаться.

— Что вы? — спросил Лунев, опуская глаза

— Сказать? — плутовато спросила она.

— Скажите...

— Не умеете вы притворяться — вот что!

Илья вздрогнул и тревожно взглянул на женщину.

— Да, не умеете. Какой вы больной? Вовсе не больной, а просто получили вы одно неприятное письмо, — я видела, видела.

— Да, получил... — тихо и осторожно сказал Илья.

За окном раздался шелест веток. Женщина зорко посмотрела сквозь стекла и снова повернулась лицом к Илье.

— Это — ветер или птица. Вот что, мой хороший постоялец, хотите вы меня послушать? Я хоть и молоденькая женщина, но неглупая...

— Сделайте милость, говорите, — попросил Лунев, с любопытством глядя на нее.

— Вы это письмо разорвите и бросьте, — солидно заговорила хозяйка. — Если она вам отказала, она поступила, как паинька-девочка, да! Жениться вам рано, вы необеспеченный человек, а необеспеченные люди не должны жениться. Вы здоровый юноша, можете много работать, вы красивый, — вас всегда полюбят... А сами вы влюбляться погодите. Работайте, торгуйте, копите деньги, добивайтесь, чтобы завести какое-нибудь дело побольше, старайтесь открыть лавочку и тогда, когда у вас будет что-нибудь солидное, женитесь. Вам всё это удастся: вы не пьете, вы — скромный, одинокий...

Илья слушал, опустив голову, и внутренне улыбался. Ему хотелось засмеяться вслух, громко, весело.

— Нечего вешать голову, — тоном опытного человека продолжала Татьяна Власьевна. — Пройдет! Любовь — болезнь излечимая. Я сама до замужества три раза так влюблялась, что хоть топитья впору, и однако — прошло! А как увидала, что мне уж серьезно пора замуж выходить, — безо всякой любви вышла... Потом полюбила — мужа... Женщина иногда может и в своего мужа влюбиться...

— Это как? — широко раскрыв глаза, спросил Илья. Татьяна Власьева засмеялась веселым смехом.

— Я пошутила... Но и серьезно скажу: можно выйти замуж не любя, а потом полюбить...

И она снова защебетала, играя своими глазками. Илья слушал внимательно, с интересом и уважением разглядывая ее маленькую стройную фигурку. Такая она маленькая и такая гибкая, надежная, умная...

«Вот с такой женой не пропадешь», — думал он. Ему было приятно: сидит с ним женщина образованная, мужняя жена, а не содержанка, чистая, тонкая, настоящая барыня, и не кичится ничем перед ним, простым человеком, а даже говорит на «вы». Эта мысль вызвала в нем чувство благодарности к хозяйке, и, когда она встала, чтоб уйти, он тоже вскочил на ноги, поклонился ей и сказал:

— Покорно благодарю, что не погнушались... беседой вашей утешили меня...

— Утешила? Вот видите! — она тихонько засмеялась, на щеках у нее вспыхнули красные пятна, и глаза несколько секунд неподвижно смотрели в лицо Ильи.

— Ну, до свиданья... — как-то особенно сказала она и ушла легкой походкой девушки...

С каждым днем супруги Автономовы всё больше нравились Илье. Он видел много зла от полицейских, но Кирик казался ему рабочим человеком, добрым и недалеким. Он был телом, его жена — душой; он мало бывал дома и мало значил в нем. Татьяна Власьева всё проще относилась к Илье, стала просить его наколоть дров, принести воды, выплеснуть помой. Он охотно исполнял ее просьбы, и незаметно эти маленькие услуги стали его обязанностями. Тогда хозяйка рассчитала рябую девочку, сказав ей, чтоб она приходила только по субботам.

Иногда к Автономовым приходили гости — помощник частного пристава Корсаков, тощий человек с длинными усами. Он носил темные очки, курил толстые папиросы, терпеть не мог извозчиков и всегда говорил о них с раздражением.

— Никто не нарушает так порядка и благообразия, как извозчик, — рассуждал он. — Это такие нахальные скоты! Пешеходу всегда можно внушить уважение к порядку на улице, стоит только полицеймейстеру напечатать правило: «Идущие вниз по улице должны держаться правой стороны, идущие вверх — левой», и тотчас же движению по улицам будет придана дисциплина. Но извозчика не проймешь никакими правилами, извозчик это — это чёрт знает что такое!

Об извозчиках он мог говорить целый вечер, и Лунев никогда не слышал от него других речей. Приходил еще смотритель приюта для детей Грызлов, молчаливый человек с черной бородой. Он любил петь басом «Как по морю, морю синему», а жена его, высокая и полная женщина с большими зубами, каждый раз съедала все конфеты у Татьяны Власьевны, за что после ее ухода Автономова ругала ее.

— Это она назло мне делает!

Потом являлась Александра Викторовна Травкина с мужем, — высокая, тонкая, рыжая, она часто сморкалась так странно, точно коленкор рвали. А муж ее говорил шёпотом, — у него болело горло, — но говорил неустанно, и во рту у него точно сухая солома шуршала. Был он человек зажиточный, служил по акцизу, состоял членом правления в каком-то благотворительном обществе, и оба они с женой постоянно ругали бедных, обвиняли их во лжи, в жадности, в непочтительности к людям, которые желают им добра...

Лунев, сидя в своей комнате, внимательно вслушивался: что они говорят о жизни? То, что он слышал, было непонятно ему. Казалось, что эти люди всё решили, всё знают и строго осудили всех людей, которые живут иначе, чем они.

Иногда вечером хозяева приглашали постояльца пить чай. За чаем Татьяна Власьевна весело шутила, а ее муж мечтал о том, как бы хорошо разбогатеть сразу и — купить дом.

— Развел бы я кур!.. — сладко прищуривая глаза, говорил он. — Всех пород: брамапутр, кохинхин, цыцарок, индюшек... И — павлина! Хорошо, чёрт возьми, сидеть у окна в халате, курить папиросу и смотреть,

как по двору, распуская хвост зонтом, твой собственный павлин ходит! Ходит эдаким полицеймейстером и ворчит: брлю, брлю, брлю!

Татьяна Власьева смеялась тихим, вкусным смешком и, поглядывая на Илью, тоже мечтала:

— А я бы тогда летом ездила в Крым, на Кавказ, а зимой заседала бы в обществе попечения о бедных. Сшила бы себе черное суконное платье, самое скромное, и никаких украшений, кроме броши с рубином и сережек из жемчуга. Я читала в «Ниве» стихи, в которых было сказано, что кровь и слезы бедных обратятся на том свете в жемчуг и рубины.— И, тихонько вздохнув, она заключала: — Рубины удивительно идут брюнеткам...

Илья молчал, улыбался. В комнате было тепло, чисто, пахло вкусным чаем и еще чем-то, тоже вкусным. В клетках, свернувшись в пушистые комки, спали птички, на стенах висели яркие картинки. Маленькая этажерка, в простенке между окон, была уставлена красивыми коробочками из-под лекарств, курочками из фарфора, разноцветными пасхальными яйцами из сахара и стекла. Всё это нравилось Илье, навевая тихую, приятную грусть.

Но порой — особенно во дни неудач — эта грусть перерождалась у Ильи в досадное, беспокойное чувство. Курочки, коробочки и яички раздражали, хотелось швырнуть их на пол и растоптать. Когда это настроение охватывало Илью, он молчал, глядя в одну точку и боясь говорить, чтоб не обидеть чем-нибудь милых людей. Однажды, играя в карты с хозяевами, он, в упор глядя в лицо Кирика Автономова, спросил его:

— А что, Кирик Никодимович, так и не нашли того, который купца на Дворянской задушил?..

Спросил — и почувствовал в груди приятное жгучее щекотание.

— То есть Полуэктова? — рассматривая свои карты, задумчиво сказал околоточный. И тотчас же повторил: — То есть Полуэктова-ва-ва-ва?.. Нет, не нашли Полуэктова-ва-ва-ва... То есть не Полуэктова, а того, которого... Я не искал... мне его не надо... а надо мне знать — у кого дама пик? Пик-пик-пик! Ты, Таня, хо-

дила ко мне тройкой,— дама треф, дама бубен и — что еще?

— Семерка бубен... думай скорее...

— Так и пропал человек! — сказал Илья, усмехаясь.

Но околоточный не обращал на него внимания, обдумывая ход.

— Так и пропал! — повторил он.— Так и уकोкошили Полуэктова-ва-ва-ва...

— Киря, оставь вавкаты,— сказала его жена.— Ходи скорее...

— Ловкий, должно быть, человек убил! — не отставал Илья. Невнимание к его словам еще более разжигало его охоту говорить об убийстве.

— Ло-овкий? — протянул околоточный.— Нет, это я — ловкий! Р-раз!

И, громко шлепнув картами по столу, он пошел к Илье пятком. Илья остался в дураках. Супруги смеялись над ним, а его еще более раздражало это. И, сдавая карты, он упрямо говорил:

— Среди белого дня, на главной улице города убить человека — для этого надо иметь храбрость...

— Счастье, а не храбрость,— поправила его Татьяна Власьевна.

Илья посмотрел на нее, на ее мужа, негромко засмеялся и спросил:

— Убить — счастье?

— То есть убить и не попасть в тюрьму.

— Опять мне бубнового туза вlepили! — сказал околоточный.

— Его мне бы надо! — сказал Илья серьезно.

— Убейте купца, и дадут! — пообещала ему Татьяна Власьевна, думая над картами.

— Убей, и получишь туза суконного, а пока получи картонного! — бросив Илье две девятки и туза, сказал Кирик и громко захохотал.

Лунев снова посмотрел на их веселые лица, и у него пропала охота говорить об убийстве.

Бок о бок с этими людьми, отделенный от чистой и спокойной жизни тонкой стеной, он всё чаще испытывал приступы тяжелой скуки. Снова являлись думы о про-

творечиях жизни, о боге, который всё знает, но не наказывает. Чего он ждет?

От скуки Лунев снова начал читать: у хозяйки было несколько томов «Нивы» и «Живописного обозрения» и еще какие-то растрепанные книжонки.

Так же, как в детстве, ему нравились только те рассказы и романы, в которых описывалась жизнь, неизвестная ему, не та, которой он жил; рассказы о действительной жизни, о быте простонародья он находил скучными и неверными. Порою они смешили его, но чаще казалось, что эти рассказы пишутся хитрыми людьми, которые хотят прикрасить темную, тяжелую жизнь. Он знал ее и узнавал всё более. Расхаживая по улицам, он каждый день видел что-нибудь такое, что настраивало его на критический лад. И, приходя в больницу, говорил Павлу, насмешливо улыбаясь:

— Порядок! Видел я давеча — идут тротуаром плотники и штукатуры. Вдруг — полицейский: «Ах вы, черти!» И прогнал их с тротуара. Ходи там, где лошади ходят, а то господ испачкаешь грязной твоей одеждой... Строй мне дом, а сам жмись в ком...

Павел тоже вспыхивал и еще больше подкладывал сучьев в огонь. Он томился в больнице, как в тюрьме, глаза у него горели тоскливо и злобно. Он худел, таял. Яков Филимонов не нравился ему, он считал его полумным.

А Яков, у которого оказалась чахотка, лежа в больнице, блаженствовал. Он свел дружбу с соседом по койке, церковным сторожем, которому недавно отрезали ногу. Это был человек толстый, коротенький, с огромной лысой головой и черной бородою во всю грудь. Брови у него большие, как усы, он постоянно шевелил ими, а голос его был глух, точно выходил из живота. Каждый раз, когда Лунев являлся в больницу, он заставлял Якова сидящим на койке сторожа. Сторож лежал и молча шевелил бровями, а Яков читал вполголоса Библию, такую же короткую и толстую, как сторож.

— «Так! ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен; так! ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен!»

Голос у Якова стал слаб и звучал, как скрип пилы, режущей дерево. Читая, он поднимал левую руку квер-

ху, как бы приглашая больных в палате слушать зловещие пророчества Исаии. Большие мечтательные глаза придавали желтому лицу его что-то страшное. Увидав Илью, он бросал книгу и с беспокойством спрашивал товарища всегда об одном:

— Машутку не видал?

Илья не видал ее.

— Господи! — печально говорил Яков. — Как всё это... словно в сказке! Была — и вдруг колдун похитил, и нет ее больше...

— Отец был? — спрашивал Илья.

Лицо у Якова вздрагивало, глаза пугливо мигали.

— Был. «Довольно, говорит, валяться, выписывайся!» Я умолил доктора, чтобы меня не отпускали отсюда... Хорошо здесь — тихо, скромно... Вот — Никита Егорович, читаем мы с ним Библию. Семь лет читал ее, всё в ней наизусть знает и может объяснить пророчества... Выздоровлю — буду жить с Никитой Егорычем, уйду от отца! Буду помогать в церкви Никите Егорычу и петь на левом клиросе...

Сторож медленно поднимал брови; под ними в глубоких орбитах тяжело ворочались круглые темные глаза. Они смотрели в лицо Ильи спокойно, без блеска, неподвижным матовым взглядом.

— Какая это книга хорошая — Библия! — захлебываясь кашлем, вскрикивал Яков. — И это есть, — помнишь, начетчик в трактире говорил: «Покойны шатры у грабителей»? Есть, я нашел! Хуже есть!

Закрыв глаза, с поднятой кверху рукою, он наизусть возглашал торжественным голосом:

— «Часто ли угасает светильник у незаконных и находит на них беда, и он даст им в удел страдания во гневе своем?» Слышишь? «Скажешь: бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтоб он знал»...

— Неужто так и сказано? — с недоверием спросил Илья.

— Слово в слово!..

— По-моему, это — нехорошо — грех! — сказал Илья.

Сторож двинул бровями, и они закрыли ему глаза. Борода его зашевелилась, и глухим, странным голосом он сказал:

— Дерзновение человека, правды ищущего, не есть грех, ибо творится по внушению свыше...

Илья вздрогнул. А сторож глубоко вздохнул и сказал еще, так же медленно и внятно:

— Правда сама внушает человеку — ищи меня! Ибо правда — есть бог... А сказано: «Великая слава — следовать господу...»

Лицо сторожа, заросшее густыми волосами, внушало Илье уважение и робость: было в этом лице что-то важное, суровое.

Вот брови сторожа поднялись, он уставился глазами в потолок, и вновь волосы на его лице зашевелились.

— Прочитай ему, Яша, от Иова, начало десятой главы...

Яков молча поспешно перебрал несколько страниц книги и прочел тихо, вздрагивающими звуками:

— «Опротивела душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу богу: не обвиняй меня, скажи мне, за что ты со мной борешься? Хорошо ли для тебя, что ты угнеташь, что ты презираешь дело рук твоих...»

Илья вытянул шею и заглянул в книгу, мигая глазами.

— Не веришь? — воскликнул Яков. — Вот чудак!

— Не чудак, а трус, — спокойно сказал сторож.

Он тяжело перевел свой матовый взгляд с потолка на лицо Ильи и сурово, точно хотел словами раздавить его, продолжал:

— Есть речи и еще тяжелее читанного. Стих третий двадцать второй главы говорит тебе прямо: «Что за удовольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты держишь пути твои в непорочности?»... И нужно долго понимать, чтобы не ошибиться в этих речах...

— А вы... понимаете? — тихо спросил Лунев.

— Он? — воскликнул Яков. — Никита Егорович всё понимает!

Но сторож сказал, еще понизив свой голос:

— Мне — поздно... Мне падо смерть понимать... Отрезали мне ногу, а она вот выше пухнет... и другая пухнет... а также и грудь... я умру скоро от этого...

Глаза его давили лицо Ильи, и медленно, спокойно он говорил:

— А умирать мне не хочется... потому что — жил я плохо, в обидах и огорчениях, радостей же — не было в жизни моей. Смолоду — как Яша, жил под отцом. Был он пьяница, зверь... Трижды голову мне проламывал и раз кипятком ноги сварил. Матери не было: родив меня, померла. Женился. Насильно пошла за меня жена, — не любила... На третьи сутки после свадьбы повесилась. Зять был. Ограбил меня; сестра же сказала мне, что это я жену в петлю вогнал. И все так говорили, хотя знали — не тронул я ее, и как она была девкой, так и... издохла... Жил я после того еще девять лет. Страшно жить одному!.. Всё ждал, когда радости будут. И — вот, помираю. Только и всего.

Он закрыл глаза, помолчал и спросил:

— Зачем жил?

Илья слушая его тяжелую речь со страхом в сердце. Лицо Якова побурело, на глазах у него сверкали слезы.

— Зачем жил, — спрашиваю... Лежу вот и думаю — зачем жил?

Голос сторожа иссяк. Он порвался сразу, как будто по земле тек мутный ручей и вдруг скрылся под землю.

— «Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, чем мертвому льву», — снова заговорил сторож, открыв глаза. И борода зашевелилась снова.

— Там же, в Екклесиасте, сказано: «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья — размышляй: то и другое содеял бог для того, чтоб человек не мог ничего сказать против него»...

Больше Илья не мог слушать. Он тихо встал и, пожав руку Якова, поклонился сторожу тем низким поклоном, которым прощаются с мертвыми. Это вышло у него случайно.

Он вынес из больницы что-то по-новому тяжелое, мрачный образ этого человека глубоко врезался в па-

мять. Увеличилось еще одним количество людей, обиженных жизнью. Он хорошо запомнил слова сторожа и переворачивал их на все лады, стараясь понять их смысл. Они мешали ему, возмущая глубину его души, где хранил он свою веру в справедливость бога.

Ему казалось, что когда-то, незаметно для него, вера в справедливость бога пошатнулась в нем, что она не так уже крепка, как прежде: что-то разъело ее, как ржавчина железо. В его груди было что-то несоединимое, как вода и огонь. И с новой силой в нем возникло озлобление против своего прошлого, всех людей и порядков жизни.

Автономовы обращались с ним всё ласковее. Кирик покровительственно хлопал его по плечу, шутил с ним и осанисто говорил:

— Ты пустяками занимаешься, братец! Такой скромный, серьезный парень должен развернуться шире. Если у человека способности частного пристава,— не подобает ему служить околоточным...

Татьяна Власьева стала внимательно и подробно расспрашивать Илью о том, как идет его торговля, сколько в месяц имеет он чистой прибыли. Он охотно говорил с ней, и в нем всё повышалось уважение к этой женщине, умевшей из пустяков устроить чистую и милую жизнь...

Однажды вечером, когда он, охваченный скукой, сидел в своей комнате у открытого окна и, глядя в темный сад, вспоминал Олимпиаду, Татьяна Власьева вышла в кухню и позвала его пить чай. Он пошел неохотно: ему жаль было отвлекаться от своих дум и не хотелось ни о чем говорить. Хмуро, молча он сел за чайный стол и, взглянув на хозяев, увидел, что лица у них торжественны, озабочены чем-то. Сладко курлыкал самовар, какая-то птичка, проснувшись, металась в клетке. Пахло печеным луком и одеколоном. Кирик повернулся на стуле и, забарабанив пальцами по краю подноса, запел:

— Бум, бум, тру-ту-ту! тру-ту-ту!..

— Илья Яковлевич! — внушительно заговорила женщина.— Мы с мужем обдумали одно дело и хотим поговорить с вами серьезно...

— Хо, хо, хо! — захохотал околоточный, крепко потирая свои красные руки. Илья вздрогнул, удивленно взглянув на него.

— Мы обдумали! — широко улыбаясь, воскликнул Кирик и, подмигнув Илье на жену, добавил: — Гениальная башка!

— Мы скопили немножко денег, Илья Яковлевич.

— Мы скопили! Хо, хо! Милая моя!..

— Перестань! — строго сказала Татьяна Власьевна. Лицо у нее стало сухое и еще более заострилось.

— Мы скопили рублей около тысячи, — говорила она вполголоса, наклонясь к Илье и впиваясь острыми глазками в его глаза. — Деньги эти лежат в банке и дают нам четыре процента...

— А этого мало! — вскричал Кирик, стукнув по столу. — Мы хотим...

Жена остановила его строгим взглядом.

— Нам, конечно, вполне достаточно такого процента. Но мы хотим помочь вам выйти на дорогу...

Сказав несколько комплиментов Илье, продолжала:

— Вы говорили, что галантерейный магазин может дать процентов двадцать и более, смотря по тому, как поставить дело. Ну-с, мы готовы дать вам под вексель на срок — до предъявления, не иначе, — наши деньги, а вы открываете магазин. Торговать вы будете под моим контролем, а прибыль мы делим пополам. Товар вы страхуете на мое имя, а кроме того, вы даете мне на него еще одну бумажку — пустая бумажка! Но она необходима для формы. Ну-те-ка, подумайте над этим и скажите: да или нет?

Илья слушал ее тонкий, сухой голос и крепко тер себе лоб. Несколько раз в течение ее речи он поглядывал в угол, где блестела золоченая риза иконы с венчальными свечами по бокам ее. Он не удивлялся, но ему было как-то неловко, даже боязно. Это предложение, осуществляя его давнюю мечту, ошеломило его, обрадовало. Растерянно улыбаясь, он смотрел на маленькую женщину и думал:

«Вот она, судьба...»

А она говорила ему тоном матери:

— Подумайте об этом хорошенько; рассмотрите дело

со всех сторон. Можете ли вы взяться за него, хватит ли сил, уменья? И потом скажите нам,— кроме труда, что еще можете вложить вы в дело? Наших денег — мало... не так ли?

— Я могу,— медленно заговорил Илья,— вложить рублей тысячу. Мне дядя даст... Может быть, и больше...

— Ур-ра! — крикнул Кирик Автономов.

— Значит — вы согласны? — спросила Татьяна Власьева.

— Ну, еще бы! — закричал околоточный и, сунув руку в карман, заговорил громко и возбужденно: — А теперь — пьем шампанское! Шампанское, чёрт побери мою душу! Илья, беги, братец, в погребок, тащи шампань! На,— мы тебя угощаем. Спрашивай донского шампанского в девять гривен и скажи, что это мне, Автономову,— тогда за шестьдесят пять отдадут... Живо-о!

Илья с улыбкой поглядел на сияющие лица супругов и ушел.

Он думал: вот — судьба ломала, тискала его, сунула в тяжелый грех, смутила душу, а теперь как будто прощенья у него просит, улыбается, угождает ему... Теперь пред ним открыта свободная дорога в чистый угол жизни, где он будет жить один и умиротворит свою душу. Мысли кружились в его голове веселым хороводом, вливая в сердце неведомую Илье до этой поры уверенность.

Он принес из погребка настоящего шампанского, заплатив за бутылку семь рублей.

— Ого-о! — воскликнул Автономов.— Это шиказно, братец! В этом есть идея, да-а!

Татьяна Власьева отнеслась иначе. Она укоризненно покачала головой и, рассмотрев бутылку, с укором сказала:

— Рублей пять? Ай, как это непрактично!

Лунев, счастливый и умиленный, стоял пред ней и улыбался.

— Настоящее! — сказал он, полный радости.— В первый раз в жизни моей настоящего хлебну! Какая жизнь была у меня? Вся — фальшивая... грязь, гру-

бость, теснота... обиды для сердца... Разве этим можно человеку жить?

Он коснулся наболевшего места в душе своей и продолжал:

— Я с малых лет настоящего искал, а жил... как щепка в ручье... бросало меня из стороны в сторону... и всё вокруг меня было мутное, грязное, беспокойное. Пристать не к чему... И вот — бросило меня к вам. Вижу — первый раз в жизни! — живут люди тихо, чисто, в любви...

Он посмотрел на них с ясной улыбкой и поклонился им.

— Спасибо вам! У вас я душу облегчил... ей-богу! Вы мне даете помощь на всю жизнь! Теперь я пойду! Теперь я знаю, как жить!

Татьяна Власьевна смотрела на него взглядом кошки на птицу, увлеченную своим пением. В глазах у нее сверкал зеленый огонек, губы вздрагивали. Кирик возился с бутылкой, сжимая ее коленями и наклоняясь над ней. Шея у него налилась кровью, уши двигались...

Пробка хлопнула, ударилась в потолок и упала на стол. Задребезжал стакан, задетый ею...

Кирик, чмокая губами, разлил вино в стаканы и скомандовал:

— Берите!

А когда его жена и Лунев взяли стаканы, он поднял высоко над головой свой стакан и крикнул:

— За преуспевание фирмы «Татьяна Автономова и Лунев» — ур-ра-а!

Несколько дней Лунев обсуждал с Татьяной Власьевной подробности затеянного предприятия. Она всё знала и обо всем говорила с такой уверенностью, как будто всю жизнь вела торговлю галантерейным товаром. Илья с улыбкой слушал ее, молчал и удивлялся. Ему хотелось скорее начать дело, и он соглашался на все предложения Автономовой, не вникая в них.

Оказалось, что Татьяна Власьевна имеет в виду и помещение. Оно было как раз таково, о каком мечтал Илья: на чистой улице маленькая лавочка с комнатой

для торговца. Всё удавалось, всё, до мелочей, и Лунев ликовал.

Бодрый и радостный явился он в больницу к товарищам; там его встретил Павел, тоже веселый.

— Завтра выписываюсь! — возбужденно объявил он Илье, прежде чем поздоровался с ним. — От Верки письмо получил... Ругается... Чертенюк!

Глаза у него сияли, на щеках горел румянец, он не мог спокойно стоять на месте, шаркал туфлями по полу, размахивал руками.

— Смотри! — сказал ему Илья. — Берегись теперь...

— Я? Конечно! Вопрос: мамзель Вера, — желаете вы венчаться? Пожалуйте! Нет? Нож в сердце!

По лицу и телу Павла пробежала судорога.

— Ну-ну!.. — усмехаясь, сказал Илья. — Тоже — нож!..

— Нет уж!.. Будет! Я без нее жить не могу... Пакостей довольно с нее... должна быть сыта... я — по горло сыт! Завтра у нас всё и произойдет... так или эдак...

Лунев всмотрелся в лицо товарища, и вдруг в голове его блеснула простая, ясная мысль. Он покраснел, а потом улыбнулся...

— Пашутка! Знаешь, я свое счастье нашел!

И он кратко рассказал товарищу, в чем дело. Павел выслушал его и вздохнул, сказав:

— Да-а, везет тебе...

— Так повезло, что мне пред тобой теперь даже стыдно... право! По совести говорю.

— И на том спасибо! — усмехнулся Павел.

— Знаешь что? — тихо заговорил Илья. — Я ведь это не хвастаясь, а серьезно говорю, что стыдно мне...

Павел молча взглянул на него и вновь задумчиво опустил голову.

— И я хочу тебе сказать... в горе вместе жили, давай и радость поделим.

— Мм... — промычал Павел. — Я слышал, что радость, как бабу, делить нельзя...

— Можно! Ты разузнай, что надо для водопроводной мастерской, какие инструменты, материал и всё... и сколько стоит... А я тебе дам денег...

— Н-н-ну-у? — протянул Павел недоверчиво. Лу-нев горячо и крепко схватил его руку и сжал ее.

— Чудак! Дам!

Но ему долго пришлось убеждать Павла в серьезности своего намерения. Тот всё покачивал головой, мычал и говорил:

— Не бывает так...

Лунев наконец убедил его. Тогда он, в свою очередь, обнял его и сказал дрогнувшим, глухим голосом:

— Спасибо, брат! Из ямы тащишь... Только... вот что: мастерскую я не хочу, — ну их к чёрту, мастерские! Знаю я их... Ты денег — дай, а я Верку возьму и уеду отсюда. Так и тебе легче — меньше денег возьму, — и мне удобнее. Уеду куда-нибудь и поступлю сам в мастерскую...

— Это ерунда! — сказал Илья. — Лучше хозяином быть...

— Какой я хозяин? — весело воскликнул Павел. — Нет, хозяйство и все эдакое... не по душе мне... Козла свиньей не нарядишь...

Лунев неясно понимал отношение Павла к хозяйству, но оно чем-то нравилось ему. Он ласково, весело говорил:

— А — верно, — похож ты на козла: такой же сухопарый. Знаешь — ты на сапожника Перфишку похож, — право! Так ты завтра приходи и возьми денег на первое время, пока без места будешь... А я — к Якову схожу теперь... Ты как с Яковом-то?

— Да всё — так как-то... не наладимся!.. — усмехнулся Грачев.

— Несчастный он... — задумчиво сказал Илья.

— Ну, этого всем много дадено!.. — ответил Павел, пожав плечами. — Мне всё думается, что он не в своем уме... Пошехонец какой-то...

Когда Илья отошел от него, он, стоя среди коридора, крикнул ему:

— Спасибо, брат!

Илья улыбнулся и кивнул ему головой.

Якова он застал грустным и убитым. Лежа на койке лицом к потолку, он смотрел широко открытыми глазами вверх и не заметил, как подошел к нему Илья.

— Никиту-то Егорыча унесли в другую палату, — уныло сказал он Илье.

— Ну, и — хорошо! — одобрительно заметил Лунев. — А то — больно он страшен...

Яков укоризненно взглянул на него и закашлялся.

— Поправляешься?

— Да-а! — со вздохом ответил Яков. — И похврать не удастся мне, сколько хочется... Вчера опять отец был. Дом, говорит, купил. Еще трактир хочет открыть. И всё это — на мою голову...

Илье хотелось порадовать товарища своей радостью, но что-то мешало ему говорить.

Веселое солнце весны ласково смотрело в окна, но желтые стены больницы казались еще желтее. При свете солнца на штукатурке выступали какие-то пятна, трещины. Двое больных, сидя на койке, играли в карты, молча шлепая ими. Высокий худой мужчина бесшумно расхаживал по палате, низко опустив забинтованную голову. Было тихо, хотя откуда-то доносился удушливый кашель, а в коридоре шаркали туфли больных. Желтое лицо Якова было безжизненно, глаза его смотрели тоскливо.

— Эх, умереть бы! — говорил он скрипящим голосом. — Лежу вот и думаю: интересно умереть! — Голос у него упал, зазвучал тише. — Ангелы ласковые... На всё могут ответить тебе... всё объяснят... — Он замолчал, мигнув, и стал следить, как на потолке играет бледный солнечный луч, отраженный чем-то. — Машутку-то не видал?..

— Н-нет. Как-то всё в ум не входит...

— В сердце не вошло...

Лунев сконфуженно замолчал.

Яков вздохнул и беспокойно заворочал головой по подушке.

— Вот Никита Егорыч не хочет, а умрет... Мне фельдшер сказал... умрет! А я хочу — не умирается... Выздоровлю — опять в трактир... Бесплезный всему...

Губы его медленно растянулись в грустную улыбку. Он как-то особенно поглядел на товарища и заговорил снова:

— Чтобы жить в этой жизни, надо иметь бока железные, сердце железное...

Илья почувствовал в словах Якова что-то неприятное, сухое и нахмурился.

— А я — как стекло в камнях: повернусь, и — трещина...

— Любишь ты жаловаться! — неопределенно сказал Лунев.

— А ты? — спросил Яков.

Илья отвернулся и промолчал. Потом, чувствуя, что Яков не собирается говорить, он задумчиво молвил:

— Всем тяжко. Взять хотя бы Павла...

— Не люблю я его, — сказал Яков, сморщив лицо.

— За что?

— Так... Не люблю...

— Эх!.. надо мне идти...

Яков молча протянул ему руку и вдруг жалобно, голосом нищего, попросил:

— Узнай ты про Машутку, а? Христа ради!..

— Ладно! — сказал Илья.

Уходя, он облегченно вздохнул. Просьба Якова узнать о Маше возбудила в нем что-то вроде стыда за свое отношение к Перфишкиной дочери, и он решил сходить к Матице, которая, наверное, знает, как устроилась Машутка.

Он шел по направлению к трактиру Филимонова, а в душе его одна за другой возникали мечты о будущем. Оно улыбалось ему, и, охваченный думами о нем, он незаметно для себя прошел мимо трактира, а когда увидал это, то уже не захотел воротиться назад. Он вышел за город: широко развернулось поле, огражденное вдали темной стеной леса. Заходило солнце, на молодой зелени дерна лежал розоватый отблеск. Илья шел, подняв голову вверх, и смотрел в небо, в даль, где красноватые облака, неподвижно стоя над землей, пылали в солнечных лучах. Ему было приятно идти: каждый шаг вперед, каждый глоток воздуха родил в душе его новую мечту. Он представлял себя богатым, властным, разоряющим Петруху Филимонова. Он разорил уже его, и вот Петруха стоит и плачется, а он, Илья Лунев, говорит ему:

«Пожалеть тебя? А ты — жалел кого-нибудь? Ты сына мучил? Дядю моего в грех втянул? Надо мной издевался? В твоём проклятом доме никто счастлив не был, никто радости не видал. Гнилой твой дом — тюрьма для людей».

Петруха дрожит и стонет в страхе перед ним, — жалкий, подобно нищему. А Илья громит его:

«Сожгу твой дом, потому что он — беда для всех. А ты — ходи по миру, проси жалости у обиженных тобой; до смерти ходи и сдохни с голоду, как собака!..»

Вечерний сумрак окутал поле; лес вдали стал плотно черен, как гора. Летучая мышь маленьким темным пятном бесшумно мелькала в воздухе, и точно это она сеяла тьму. Далеко на реке был слышен стук колес парохода по воде: казалось, что где-то далеко летит огромная птица и это ее широкие крылья бьют воздух могучими взмахами. Лунев припомнил всех людей, которые ему мешали жить, и всех их, без пощады, наказал. От этого ему стало еще приятнее... И один среди поля, отовсюду стиснутый тьмою, он тихо запел...

Но вот в воздухе запахло гнилью, прелым навозом. Илья перестал петь: этот запах пробудил в нём хорошие воспоминания. Он пришел к месту городских свалок, к оврагу, где рылся с дедушкой Еремеем. Образ старого тряпичника встал в памяти. Илья оглянулся вокруг, стараясь узнать во тьме то место, где старик любил отдыхать с ним. Но этого места не было: должно быть, его завалили мусором. Илья вздохнул, чувствуя, что и в его душе тоже что-то завалено мусором...

«Кабы я не удушил купца, было бы мне теперь совсем хорошо жить...» — вдруг подумалось ему. Но вслед за этим в его сердце как будто откликнулся кто-то другой: «Что купец? Он — несчастье мое, а не грех...»

Раздался шум: небольшая собака шмыгнула из-под ног Ильи и с тихим визгом скрылась. Он вздрогнул: пред ним как будто ожила часть ночной тьмы, и, застоявшись, исчезла.

«Всё равно, — думалось ему, — и без купца покоя в сердце не было бы. Сколько обид видел я и себе и другим! Коли оцарапано сердце, то уж всегда будет болеть...»

Он медленно шагал по краю оврага, ноги его вязли

в сору, под ними потрескивали щепки, шуршала бумага. Вот перед ним кусок незасоренной земли узким мысом врезался в овраг; он пошел по этому мысу и, дойдя до острого конца его, сел там, свесив ноги с обрыва. Воздух здесь был свежее, и, посмотрев вдоль оврага, Илья увидал вдали стальное пятно реки. На воде, неподвижной, как лед, тихо вздрагивали огни невидимых судов, один из них двигался в воздухе, точно красная птица. А еще один, зеленый, зловещий, горел неподвижно, без лучей... У ног Ильи широкая пасть оврага была наполнена густой тьмой, и овраг был — как река, в которой безмолвно текли волны черного воздуха. Грусть окутывала сердце Лунева; он смотрел в овраг и думал: «Было мне хорошо сейчас... улыбнулось, и — нет...» Вспомнилось, как неприязненно говорил с ним сегодня Яков, — стало еще грустнее от этого... В овраге что-то зашумело: должно быть, ком земли оторвался. Илья вытянул шею и посмотрел вниз, во тьму... Ночная сырость пахнула в лицо его... Он взглянул в небо. Там несмело разгорались звезды, а из-за леса медленно поднимался большой красноватый шар луны, точно огромный глаз. И как незадолго перед тем летучая мышь носилась в сумраке, — в душе Ильи быстро замелькали темные мысли и воспоминания: они являлись и исчезали без ответа, и всё гуще становилась тьма в душе.

Он долго сидел и думал, поглядывая то в овраг, то в небо. Свет луны, заглянув во тьму оврага, обнажил на склоне его глубокие трещины и кусты. От кустов на землю легли уродливые тени. В небе ничего не было, кроме звезд и луны. Стало холодно; он встал и, вздрагивая от ночной свежести, медленно пошел полем на огни города. Думать ему уже не хотелось ни о чем: грудь его была полна в этот час холодной беспечностью и тоскливой пустотой, которую он видел в небе, там, где раньше чувствовал бога.

Он поздно пришел домой и, в раздумье стоя пред дверью, стеснялся позвонить. В окнах не было огня. — значит, хозяева спали. Ему было совестно беспокоить Татьяну Власьевну: она всегда сама отпирала дверь... Но всё же пужно войти в дом. Лунев тихонько дернул

ручку звонка. Почти тотчас дверь отворилась, и пред Ильей встала тоненькая фигурка хозяйки, одетая в белое.

— Затворяйте скорее! — сказала она каким-то незнакомым Илье голосом.— Холодно... я раздета... мужа нет...

— Простите,— пробормотал Лунев.

— Как вы поздно! Откуда это, а?

Илья запер дверь, обернулся, чтобы ответить,— и встретил перед собой грудь женщины. Она не отступала перед ним, а как будто всё плотнее прижималась к нему. Он тоже не мог отступить: за спиной его была дверь. А она стала смеяться... тихонько так, вздрагивающим смехом. Лунев поднял руки, осторожно положил их ладонями на ее плечи, и руки у него дрожали от робости пред этой женщиной и желания обнять ее. Тогда она сама вытянулась кверху, цепко охватила его шею тонкими горячими руками и сказала звенящим голосом:

— Ты куда шляешься по ночам? Зачем? Это есть для тебя ближе... милый!.. красавец!.. силач!..

Илья, как во сне, ловил ее острые поцелуи и пошатывался от судорожных движений гибкого тела. А она, вцепившись в грудь ему, как кошка, всё целовала его. Он схватил ее крепкими руками, понес к себе в комнату пошел с нею легко, как по воздуху...

Наутро Илья проснулся со страхом в душе.

«Как я теперь Кирику-то в глаза глядеть буду?» — думал он. Кроме страха пред околоточным, он чувствовал и стыд пред ним.

«Хоть бы зол я был на этого человека или не нравился бы он мне... А то так просто... ни за что обидел я его», — с тревогой думал он, и в душе его шевелилось что-то нехорошее к Татьяне Власьевне. Ему казалось, что Кирик непременно догадается об измене жены.

«И чего она бросилась на меня, как голодная?» — с тяжелым недоумением спрашивал он себя и тут же почувствовал в сердце приятное щекотание самолюбия. На него обратила внимание настоящая женщина — чистая, образованная, мужняя жена.

«Значит, есть во мне что-то особое,— родилась в нем самодовольная мысль.— Стыдно — стыдно... но ведь я не каменный!.. Не гнать же было мне ее...»

Он был молод: ему вспоминались ласки этой женщины, какие-то особенные, еще незнакомые ему ласки. И он был практик: ему невольно думалось, что эта связь может дать ему множество различных удобств. А вслед за этими мыслями на него темной тучей надвигались другие:

«Опять я в угол затискался... Хотел я этого? Уважал ведь бабенку... никогда дурной мысли о ней не было у меня... ан вышло вон что...»

А потом всю смуту в его душе, все противоречия покрывала собою радостная дума о том, что теперь настоящая, чистая жизнь скоро начнется для него. И снова вторгалась острая мысль:

«А всё лучше бы без этого...»

Он нарочно не вставал с постели до поры, пока Автономов не ушел на службу, и слышал, как околоточный, вкусно причмокивая губами, говорил жене:

— Ты на обед сострой пельмешки, Таня. Побольше свининки положи и, знаешь, поджарь их чуточку. Чтобы они, мамочка, смотрели на меня из тарелки эдакими поросятками розовыми... мм-а! И, голубчик, перчику побольше!

— Ну-ну, иди! Точно я не знаю твоих вкусов... — ласково говорила ему жена.

— Голубчик, Татьянчик, позволь поцелуйчик!

Услыхав звук поцелуя, Лунев вздрогнул. Ему было и неприятно и смешно.

— Чик! чик! чик! — проговорил Автономов, целуя жену. А она смеялась. Заперев дверь за мужем, она тотчас же вскочила в комнату Ильи и прыгнула к нему на кровать, весело крикнув:

— Целуй скорей, — мне некогда!

Илья угрюмо сказал ей:

— Да ведь вы сейчас мужа целовали...

— Что-о? «Вы»? Да он ревнивый!.. — с удовольствием воскликнула женщина и, со смехом вскочив с кровати, стала занавешивать окно, говоря: — Ревнивый — это хорошо! Ревнивые любят страстно...

— Я это не от ревности сказал...

— Молчать! — шаловливо скомандовала она, закрывая ему рот рукой...

Потом, когда они нацеловались, Илья, с улыбкой глядя на нее, не утерпев, сказал:

— Ну и храбрая ты — настоящая сорви-голова. Под носом у мужа эдакую штуку затеять!..

Ее зеленоватые глаза задорно блеснули, и она воскликнула:

— Очень даже обыкновенно, и совсем ничего нет особенного! Ты думаешь — много есть женщин, которые интрижек не заводят? Только одни некрасивые да больные. А хорошенькой женщине всегда хочется роман разыграть...

Целое утро она просвещала Илью, весело рассказывая ему разные истории о том, как женщины обманывают мужей. В переднике и красной кофточке, с засученными рукавами, ловкая и легонькая, она птичкой порхала по кухне, приготавливая мужу пельмени, и ее звонкий голос почти непрерывно лился в комнату Ильи.

— Ты думаешь — муж! — так этого достаточно для женщины? Муж может очень не нравиться, если даже любишь его. И потом — он ведь тоже никогда не стесняется изменить жене, только бы нашелся подходящий сюжет... И женщине тоже скучно всю жизнь помнить одно — муж, муж, муж! Пошалить с другим мужчиной — забавно: узнаешь, какие мужчины бывают и какая между ними разница. Ведь и квас разный: просто квас, баварский квас, можжевеловый, клюковный... И это даже глупо всегда пить просто квас...

Илья слушал, пил чай, и ему казалось, что чай горьковат. В речах этой женщины было что-то неприятно взвизгивающее, новое для него. Он невольно вспомнил Олимпиаду, ее густой голос, спокойные жесты, ее горячие слова, в которых звучала сила, трогавшая за сердце. Конечно, Олимпиада была женщина необразованная, простая. Оттого, должно быть, она и в бесстыдстве своем была проще... Слушая Татьяну, Илья принужденно смеялся. Ему было невесело, и смеялся он потому, что не знал, о чем и как говорить с этой женщи-

ной, но слушал ее с глубоким интересом и наконец задумчиво сказал:

— Не ждал я, что в вашей чистой жизни такие порядки...

— Порядки, милый мой, везде одни. Порядки делают люди, а люди все одного хотят — хорошо жить: спокойно, сытно и удобно, а для этого нужно иметь деньги. Деньги достаются по наследству или по счастью. Кто имеет выигрышные билеты, тот может надеяться на счастье. Красивая женщина имеет выигрышный билет от природы — свою красоту. Красотой можно много взять — о! А кто не имеет богатых родственников, выигрышных билетов и красоты, должен трудиться. Трудиться всю жизнь — это обидно... А вот я тружусь, хотя у меня есть два билета. Но я решила заложить их для тебя на магазин... Два билета — мало! Стряпать пельмени и целовать околоточного в угрях — скучно!.. Вот я и захотела целовать тебя...

Она взглянула на Илью и шаловливо спросила:

— Тебе это не противно?.. Почему ты смотришь так сердито?

Подошла к нему, положила руки на плечи его и с любопытством заглядывала в лицо ему.

— Я не сержусь, — сказал Илья.

Она расхохоталась, вскрикивая сквозь смех:

— Да? Ах... какой ты добрый!..

— Я вот думаю, — медленно выговаривая слова, продолжал Илья, — говоришь ты как будто и верно... но как-то нехорошо...

— Ого-о, какой... еж! Что нехорошо? Ну-ка, объясни!

Но он ничего не мог объяснить. Он сам не понимал, чем недоволен в ее словах. Олимпиада говорила гораздо грубее, но она никогда не задевала сердце так неприятно, как эта маленькая, чистенькая птичка. Весь день он упорно думал о странном недовольстве, рожденном в его сердце этой лестной ему связью, и не мог понять — откуда оно?..

Когда он воротился домой — в кухне его встретил Кирик и весело объявил:

— Ну-ну, и настряпала сегодня Танюша! Такие пельмени, — есть жалко и совестно, как совестно

было бы живых соловьев есть... Я, брат, даже тебе тарелку оставил. Снимай с шеи магазин, садись, ешь и — знай наших!

Илья виновато посмотрел на него и тихо засмеялся, сказав:

— Спасибо!

Потом, вздохнув, добавил:

— Хороший вы человек... ей-богу!

— Э, что там? — отмахиваясь от него рукой, воскликнул Кирик. — Тарелка пельменей — пустяк! Нет, братец, будь я полицеймейстером — гм! — вот тогда бы ты мог сказать мне спасибо... о да! Но полицеймейстером я не буду... и службу в полиции брошу... Я, кажется, поступлю доверенным к одному купцу... это получше! Доверенный? Это — шишка!

Жена его, тихо напевая, хлопотала у печки. Илья посмотрел на нее и снова почувствовал неловкость, стеснение. Но постепенно это чувство исчезало в нем под наплывом других впечатлений и новых забот. Думать ему некогда было в эти дни: приходилось много хлопотать об устройстве магазина, о закупке товара. И день ото дня, незаметно для себя, он привыкал к женщине. Как любовница она всё больше нравилась ему, хотя ее ласки часто вызывали в нем стыд, даже страх пред нею. И вместе с разговорами ее эти ласки потихоньку уничтожали в нем уважение к ней. Каждое утро, проводив мужа на службу, или вечером, когда он уходил в наряд, она звала Илью к себе или приходила в его комнату и рассказывала ему разные житейские истории. Все эти истории были как-то особенно просты, как будто они совершались в стране, населенной жуликами обоюбого пола, все эти жулики ходили голыми, а любимым их удовольствием был свальный грех.

— Неужто это правда? — угрюмо спрашивал Илья. Ему не хотелось верить ее словам, но он чувствовал себя беспомощным против них, не мог их опровергнуть. А она хохотала и, целуя его, убедительно доказывала:

— Начнем сверху: губернатор живет с женой управляющего казенной палатой, а управляющий — недавно отнял жену у одного из своих чиновников, снял ей квартиру в Собаьем переулке и ездит к ней два раза

в неделю совсем открыто. Я ее знаю: совсем девчонка, году нет, как замуж вышла. А мужа ее в уезд послали податным инспектором. Я и его знаю, — какой он инспектор? Недоучка, дурачок, лакеишка...

Она рассказывала ему о купцах, покупающих девочек-подростков для разврата, о купчихах, которые держат любовников, о том, как барышни из светского общества, забеременев, вытравляют плод.

Илья слушал, и жизнь казалась ему чем-то вроде помойной ямы, в которой люди возятся, как черви.

— Ф-фу! — устало говорил он. — Да чистое-то, настоящее-то есть где-нибудь, скажи?

— Какое — настоящее? — удивленно спрашивала женщина. — Я говорю о настоящем... Вот чудак! Не подумала же я сама всё это!

— Я — не про то! Ведь где-нибудь, что-нибудь настоящее... чистое есть или нет?

Она не понимала его и смеялась. Иногда разговор ее принимал иной характер. Заглядывая в лицо ему сверкающими жутким огнем зеленоватыми глазами, она спрашивала:

— Скажи мне, как ты в первый раз узнал, что такое женщина?

Этого воспоминания Илья стыдился, оно было противно ему. Он отвертывался в сторону от клейкого взгляда своей любовницы и глухо, с упреком говорил:

— Экие пакости спрашиваешь ты... постыдилась бы...

Но она, весело смеясь, снова приставала к нему, и порою рядом с ней Лунев чувствовал себя обмазанным ее зазорными словами, как смолой. А когда она видела на лице Ильи недовольство ею, тоску в глазах его, она смело будила в нем чувство самца и ласками своими заглаживала в нем враждебное ей...

Однажды, придя домой из магазина, где столяры устраивали полки, Илья с удивлением увидал в кухне Матицу. Она сидела у стола, положив на него свои большие руки, и разговаривала с хозяйкой, стоявшей у печки.

— Вот, — сказала Татьяна Власьевна, с улыбкой кивая головой на Матицу, — эта дама ждет вас... давно уже!..

— Добрый вечер! — сказала дама, тяжело поднимаясь со скамьи.

— Ба! — вскричал Илья. — Жива еще?

— Гнилу колоду и свиня не зыист... — густо ответила Матица.

Илья давно не видел ее и теперь смотрел на Матицу со смесью удовольствия и жалости. Она была одета в дырявое платье из бумазеи, ее голову покрывал рыжий от старости платок, а ноги были босы. Едва передвигая их по полу, упираясь руками в стены, она медленно ввалилась в комнату Ильи и грузно села на стул, говоря сильным, деревянным голосом:

— Скоро околею... Ноги отнимаются... а отнимутся — нельзя буде корму искать... тогда мне смерть...

Лицо у нее страшно распухло, сплошь покрыто темными пятнами, огромные глаза затекли в опухолях и стали узенькими.

— Что на рожу мою смотришь? — сказала она Илье. — Думаешь, бита? Ни, то болезнь меня ест...

— Как живешь? — спросил Илья.

— На папертях грошики собираю... — гудела Матица равнодушно, как труба. — За делом к тебе пришла... Узнала от Перфишки, что у чиновника живешь ты, и пришла...

— Чаем тебя напоить? — предложил Лунев. Ему неприятно было слушать голос Матицы и смотреть на ее заживо гниющее, большое, дряблое тело.

— Пускай черти хвосты себе моют тем твоим чаем... Ты пятак дай мне... А пришла я до тебя — зачем, спроси?

Говорить ей было трудно, дышала она коротко, и от нее удушливо пахло.

— Зачем? — спросил Илья, отвернувшись от нее в сторону и вспоминая, как он обидел ее однажды...

— Марильку помнишь? Заел свою память!.. Богач стал...

— Что она... как живет? — торопливо спросил Илья.

Матица медленно закачала головой и кратко сказала:

— Еще не задавилась...

— Да ты говори прямо! — сердито крикнул Илья. —

Чего меня укоряешь? Сама же за трешницу продала ее...

— Я не тебя—я себя корю...— спокойно возразила женщина и, задыхаясь, начала рассказывать о Маше.

Старик-муж ревнует и мучает Машу. Он никуда, даже в лавку, не выпускает ее: Маша сидит в комнате с детьми и, не спросив у старика, не может выйти даже на двор. Детей старик кому-то отдал и живет один с Машей. Он издевается над нею за то, что первая жена обманывала его... и дети — оба — не от него. Маша уже дважды убежала от него, но полиция возвращала ее мужу, а он ее щипал за это и голодом морил.

— Да, устроила ты с Перфишкой дельце! — хмуро сказал Илья.

— Я думала — так лучше, — деревянным голосом проговорила баба. — А надо было сделать как хуже... Надо бы ее тогда богатому продать... Он дал бы ей квартиру и одежду и всё... Она потом прогнала бы его и жила... Многие живут так... от старика...

— Ну, — а пришла ты зачем? — спросил Илья.

— А живешь ты у полицейского... Вот они всё ловят ее... Скажи ему, чтоб не лсвили... Пусть бежит! Может она и убежит куда... Разве уж некуда бежать человеку?

Илья задумался. Что он может сделать для Маши?..

Матица поднялась со стула, осторожно двигая ногами.

— Прощай!.. Скоро я подохну... — бормотала она. — Спасибо тебе... чистяк! богач!..

Когда она вывалилась из двери кухни, в комнату Ильи вбежала хозяйка и, обняв его, спросила, смеясь:

— Это — твоя первая любовь, да?

Илья развел руки своей любовницы, крепко охватившие его шею, и угрюмо проговорил:

— Едва ноги таскает, а... хлопчет о том, кого любит...

— Кого она любит? — спрашивала женщина, с удивлением и любопытством разглядывая озабоченное лицо Ильи.

— погоди, Татьяна, — сказал Илья, — погоди! Не шути...

Он кратко рассказал ей о Маше и спросил:

— Что тут делать?

— Делать тут нечего! — передернув плечиками, ответила Татьяна Власьевна. — По закону жена принадлежит мужу, и никто не имеет права отнимать ее у него...

С важностью человека, которому хорошо известны законы и который убежден в их незыблемости, Автономова долго говорила Илье о том, что Маше нужно подчиниться требованиям мужа.

— Пусть подождет. Он — старый, скоро умрет, тогда она будет свободна, всё его имущество отойдет к ней... И ты женишься на молодой вдовушке с состоянием... да?

Она засмеялась и снова серьезно продолжала поучать Илью:

— Но будет лучше, если ты прекратишь сношения с твоими старыми знакомыми. Теперь они уже не пара тебе... и даже могут сконфузить тебя. Все они — грязные, грубые... например, этот, который занимал денег у тебя? Худой такой?.. Злые глаза?..

— Грачев...

— Ну да... Какие у простолюдинов смешные птичьи фамилии: Грачев, Лунев, Петухов, Скворцов. В нашем кругу и фамилии лучше, красивее: Автономов! Корсаков! Мой отец — Флорианов! А когда я была девушкой, за мной ухаживал кандидат на судебные должности Глориантов... Однажды, на катке, он снял с ноги у меня подвязку и пригрозил, что устроит мне скандал, если я сама не приду к нему за ней...

Илья слушал ее рассказы и тоже вспоминал о своем прошлом, ощущая в душе невидимые нити, крепко связывавшие ее с домом Петрухи Филимонова. И ему казалось, что этот дом всегда будет мешать ему жить спокойно...

Наконец мечта Ильи Лунева осуществилась.

Полный спокойной радости, он стоял с утра до вечера за прилавком своего магазина и любовался им. Вокруг на полках красовались аккуратно расставлен-

ные коробки и картоны; в окне он устроил выставку, разложив на нем блестящие пряжки, кошельки, мыла, пуговицы, развесив яркие ленты, кружева. Всё это было яркое, легкое. Солидный и красивый, он встречал покупателей вежливым поклоном и ловко разбрасывал пред ними по прилавку товар. В шелесте кружев и лент он слышал приятную музыку, девушки-швейки, прибежавшие купить у него на несколько копеек, казались ему красивыми и милыми. Жизнь стала приятной, легкой, явился какой-то простой, ясный смысл, а прошлое как бы туман задернул. И ни о чем не думалось, кроме торговли, товара, покупателей... Илья взял для услуг себе мальчика, одел его в серую курточку и внимательно следил за тем, чтобы мальчик умывался тщательно, как можно чище.

— Мы с тобой, Гаврик, торгуем товаром нежным, — говорил он ему, — и должны быть чистыми...

Гаврик — человек лет двенадцати от роду, полный, немножко рябой, курносый, с маленькими серыми глазами и подвижным личиком. Он только что кончил учиться в городской школе и считал себя человеком взрослым, серьезным. Его тоже занимала служба в маленьком, чистом магазине; он с удовольствием возился с коробками и картонками и старался относиться к покупателям так же вежливо, как хозяин.

Илья смотрел на него, вспоминая себя в рыбной лавке купца Строганого. И, чувствуя к мальчику какое-то особенное расположение, он ласково шутил и разговаривал с ним, когда в лавке не было покупателей.

— Чтобы тебе не скучно было, ты, Гаврик, когда свободно, книжки читай, — советовал он своему сотруднику. — За книжкой время незаметно идет, а читать приятно...

Лунев ко всем людям стал относиться мягко, внимательно и улыбался улыбкой, которая как бы говорила: «Повезло мне, знаете... Но — вы потерпите! Наверное, и вам вскорости повезет...»

Открывая свой магазин в семь часов утра, он запирали его в девять. Покупателей было немного, и Лунев, сидя у двери на стуле, грелся в лучах весеннего солнца и отдыхал, ни о чем не думая, ничего не желая. Гаврик

сидел тут же в двери, наблюдал за прохожими, передразнивая их, подманивал к себе собак, лукал камнями в голубей и воробьев или, возбужденно шмыгая носом, читал книжку. Иногда хозяин заставлял его читать вслух, но чтение не интересовало его: он прислушивался к тишине и покою в своей душе. Эту тишину он слушал с наслаждением, упивался ею, она была нова для него и невыразимо приятна. Но порою сладостная полнота чем-то нарушалась. Это было странное, едва уловимое предчувствие тревоги; оно не колебало покоя души, а только касалось его легко, как тень.

Тогда Илья начинал разговаривать с мальчиком.

— Гаврик! У тебя отец чем занимается?

— Почтальон, письма носит...

— А семья большая у вас?

— Больша-ая! Нас множество. Которые — большие, а которые еще маленькие.

— Маленьких сколько?

— Пять. Да больших — трое... Большие уже все на местах: я — у вас, Василий — в Сибири, на телеграфе служит, а Сонька — уроки дает. Она — здорово! Рублей по двенадцати в месяц приносит. А то есть еще Мишка... Он — так себе... Он старше меня... учится в гимназии...

— Стало быть, больших-то не трое, а четверо...

— Ну как же? — воскликнул Гаврик и поучительно добавил: — Мишка только учится еще... А большой — который уж работает.

— Бедно живете?

— А конечно! — спокойно ответил Гаврик и громко втянул носом воздух. Потом он начинал рассказывать Илье о своих планах в будущем.

— Вырасту — в солдаты пойду. Тогда будет война... Вот я на войну и закачу. Я — храбрый... Сейчас это впереди всех на неприятеля брошусь и отниму знамя... Дядя мой отнял этак-то, — так ему генерал Гурко крест дал и пять целковых...

Илья улыбался, глядя на рябое лицо и широкий, постоянно вздрагивающий нос. Вечером, закрыв магазин, Илья уходил в маленькую комнатку за прилавком. Там на столе уже кипел самовар, приготовленный

мальчиком, лежал хлеб, колбаса. Гаврик выпивал стакан чаю с хлебом и уходил в магазин спать, а Илья сидел за самоваром долго, иногда часа два кряду.

Два стула, стол, постель и шкаф с посудой составляли убранство нового жилища Ильи. Комната была узкая, низенькая, с квадратным окном, из которого было видно ноги людей, проходивших мимо него, крышу дома на противоположной стороне улицы и небо над крышей. На окно он повесил белую занавеску из кисеи. С улицы окно заграждала железная решетка, она очень не нравилась Илье. А над постелью он повесил картину «Ступени человеческого века». Эта картина нравилась Илье, и он давно хотел купить ее, но почему-то до открытия магазина не покупал, хотя она стоила всего гривенник.

«Ступени человеческого века» были расположены по арке, а под нею был изображен рай. В нем Саваоф, окруженный сиянием и цветами, разговаривал с Адамом и Евой. Всех ступеней было семнадцать. На первой из них стоял ребенок, поддерживаемый матерью, и было подписано красными буквами: «Первые шаги». На второй — ребенок, приплясывая, бил в барабан, а подпись под ним гласила: «5 лет, — играет». Семи лет его «начали учить», десяти — он «ходит в школу», двадцати одного года — он стоит на ступеньке с ружьем в руках и с улыбкой на лице, — подписано: «Отбывает воинскую повинность». На следующей ступени ему двадцать пять лет: он во фраке, со складной шляпой в руке и с букетом цветов в другой, — «жених». Потом у него выросла борода, он надел длинный сюртук с розовым галстуком и, стоя рядом с толстой женщиной в желтом платье, крепко жмет ей руки. Дальше человеку исполнилось тридцать пять лет: в рубахе, с засученными рукавами, он, стоя у наковальни, кует железо. На вершине лестницы он сидит в красном кресле, читает газету, а четверо детей и жена слушают его. И сам он и его семья одеты прилично, чисто, лица у всех здоровые, довольные. В эту пору человеку пятьдесят лет. Но вот ступеньки опускаются книзу: борода у человека уже седая, он одет в длинный желтый кафтан, в руках у него кулек с рыбой и кувшин с чем-то. Под этой ступенькой

подписано: «Домашний труд»; на следующей — человек нянчит своего внука; ниже — его «водят», ибо ему уже восемьдесят лет, а на последней ступеньке — девятилетняя пяти лет от роду — он сидит в кресле, поставив ноги в гроб, и за креслом его стоит смерть с косою в руках...

Сидя за самоваром, Илья поглядывал на картину, и ему было приятно видеть жизнь человека, размеренную так аккуратно и просто. От картины веяло спокойствием, яркие краски ее улыбались, словно уверяя, что ими мудро написана, для примера людям, настоящая жизнь, именно так написана, как она и должна идти. Рассматривая это изображение человеческой жизни, Лунев думал о том, что вот достиг он, чего желал, и теперь жизнь его должна пойти так же аккуратно, как на картине. Будет она подниматься вверх, и на самом верху, когда он накопит достаточно денег, он женится на скромной грамотной девушке...

Самовар уныло курлыкал и посвистывал. Сквозь стекло окна и кисею занавески в лицо Ильи тускло смотрело небо, и звезды на нем были едва видны. В блеске звезд небесных всегда есть что-то беспокойное...

Самовар свистит тише, но пронзительнее. Этот тонкий звук надоедливо лезет в уши, — он похож на писк комара и беспокоит, путает мысли. Но закрыть трубу самовара крышкой Илье не хочется: когда самовар перестает свистеть, в комнате становится слишком тихо... На новой квартире у Лунева появились неизведанные до этой поры им ощущения. Раньше он жил всегда рядом с людьми — его отделяли от них тонкие деревянные переборки, — а теперь отгородился каменными стенами и не чувствовал за ними людей.

«Зачем надо умирать?» — вдруг спрашивает себя Лунев, глядя на человека, нисходящего с вершины благополучия в могилу... И ему вспоминается Яков Филимонов, постоянно думающий о смерти, и слова Якова: «Интересно умереть...»

Илья неприязненно отталкивает от себя эти воспоминания, старается отвернуться от них куда-нибудь в сторону.

«Как-то поживает Павел с Верой?» — возникает у него новый ненужный вопрос.

По улице едет извозчик. Стекла в окнах вздрагивают от шума колес о камни мостовой, лампа трясется. Потом в магазине раздаются какие-то странные звуки... Это Гаврик бормочет во сне. Густая тьма в углу комнаты тоже как будто колеблется. Илья сидит, облокотясь на стол, и, сжимая виски ладонями, разглядывает картину. Рядом с господом Саваофом стоит благообразный лев, по земле ползет черепаха, идет барсук, прыгает лягушка, а дерево познания добра и зла украшено огромными цветами, красными, как кровь. Старик, с ногами в гробу, похож на купца Полуэктова, — такой же лысый и худенький, и шея у него такая же тонкая... Глухой звук шагов раздается на улице: мимо магазина по тротуару кто-то идет, не торопясь. Самовар погас, и теперь в комнате так тихо, что кажется — и воздух в ней застыл, сгустился до плотности ее стен...

Воспоминание о купце не тревожило Илью, и вообще думы не беспокоили его, — они мягко, осторожно стесняли его душу, окутывая ее, как облако луну. От них краски на картине «Ступени человеческого века» немного блекли: на ней как бы являлось пятно. Всегда вслед за мыслью об убийстве Полуэктова Лунев спокойно думал, что ведь в жизни должна быть справедливость, — значит, рано или поздно, человек будет наказан за грех свой. Но, подумав так, он зорко присматривался в темный угол комнаты, где было особенно тихо и тьма как будто хотела принять некую определенную форму... Потом Илья раздевался, ложился в постель и гасил лампу. Гасил он ее не сразу, а сначала вертел вверх и вниз винтик, двигавший фитиль. Огонь в лампе то почти исчезал, то появлялся вновь, тьма прыгала вокруг кровати, бросаясь к ней отовсюду, снова отскакивая в углы комнаты. Илья следил, как неощутимые черные волны пытаются залить его, и долго играл так, широко раскрытыми глазами прощупывая тьму, точно ожидая поймать в ней взглядом что-то... Наконец огонь, вздрогнув последний раз, исчезал, тьма на момент заливала собою всю комнату и как будто колебалась, еще не успев успокоиться от борьбы со светом. Вот из

нее выступало пред глазами Ильи тускло-голубоватое пятно окна. Если ночь была лунная, на стол и на пол падали черные полосы теней от железной решетки за окном. В комнате становилось так напряженно тихо, что казалось, если сильно вздохнуть, всё в ней дрогнет. Лунев плотно закутывался в одеяло, особенно тщательно окутывал шею и, оставив открытым лицо, смотрел в сумрак комнаты до поры, пока сон не одолевал. Поутру он просыпался бодрый, спокойный, и ему было почти стыдно при воспоминании о вчерашних глухостях. Пил с Гавриком чай и осматривал свой магазин, как что-то новое. Иногда к нему забегал с работы Павел, весь измазанный грязью, салом, в прожженной блузе, с черным от копоти лицом. Он снова работал у водопроводчика, таскал с собою котелок с оловом, свинцовые трубы, паяльники. Он всегда торопился домой, а если Илья уговаривал его посидеть, Павел со смущенной улыбкой говорил:

— Не могу! Я, брат, так себя чувствую, как будто у меня дома жар-птица, — а клетка-то для нее слаба. Целые дни одна она там сидит... и кто ее знает, о чем думает? Житье ей серое наступило... я это очень хорошо понимаю... Если б ребенок был...

И Грачев тяжело вздыхал... Однажды он сумрачно сказал товарищу:

— Отвел я всю воду своему огороду, да не потопила бы, боюсь.

Другой раз на вопрос Ильи — пишет ли он стихи? — Грачев, усмехаясь, молвил:

— Пальцем в небе... Э, ну их ко всем чертям! Куда уж нам лаптем щи хлебать!.. Я, брат, теперь всем корпусом сел на мель. Ни искры в голове, — ни искорки! Всё про нее думаю... Работаю — паять начну — всё льются в голову, подобно олову, мечты о ней... Вот тебе и стихи... ха-ха!.. Положим, — тому и честь, кто во всем — весь... Н-да, тяжело ей...

— А тебе? — спросил Илья.

— И мне — оттого тяжело... К веселью она привыкла... вот что! Всё о деньгах мечтает. «Если б, говорит, денег хватить где-нибудь — сразу бы всё перевернулось... Дура, говорит, я: надо бы мне какого-нибудь

купчика обворовать...» Вообще — ерунду говорит. Из жалости ко мне всё... я понимаю... Тяжело ей...

Павел вдруг обеспокоился и убежал.

Часто заходил к Илье оборванный, полуголый сапожник с неразлучной гармонией под мышкой. Он рассказывал о событиях в доме Филимонова, о Якове. Тощий, грязный и растрепанный Перфишка жался в двери магазина и, улыбаясь всем лицом, сыпал свои прибаутки.

— Женился Петруха, жена его — как свекла, а папынок — морковь! Целый огород, ей-богу! Жена — толстая, коротенькая, красная, рожа у нее трехэтажная. Три подбородка человек имеет, а рот — все-таки один. Глазенки — как у благородной свиньи: маленькие и вверх не видят. Сын у нее — желтый, длинный и в очках. Листократ! Зовут его Савва, говорит гнусаво, при матери — блажен муж, а без нее — вскую шаташася языцы... Ка-ампания — мое почтение! Яшутка теперь такой вид имеет, словно в щель забиться хочет, на манер испуганного таракана. Пьет, сердяга, потихоньку да кашляет во всю мочь. Видно, папенька печенки-то ему повредил как следует! Едят его. Парень мягкий. — не подавятся, сожрут... Дядя твой письмо прислал из Киева... По-моему — напрасно он старается: горбатого в рай не пустят, я думаю!.. А у Матицы ноги совсем отвалились: в тележке ездит. Наняла слепого из половины, впрягла его и правит им, как лошадию, — смехота! Кормится все-таки. Хорошая она баба, я скажу! То есть, ежели бы у меня не такая удивительная жена была, я бы на этой самой Матице необходимо женился! Я прямо скажу: на всей земле только и есть две бабы настоящие — с сердцем, — моя жена да Матица... Конечно, она пьянствует, но хороший человек всегда пьяница...

— А Машутка? — напомнил ему Илья.

При напоминании о дочери прибаутки и улыбки исчезали у сапожника, — точно ветер осенний сухие листья с дерева срывал. Желтое лицо его вытягивалось, он сконфуженным, тихим голосом говорил:

— Мне про нее ничего не известно... Хренов прямо сказал мне: «И мимо не ходи, а то я ее изувечу!..» По-

жертвуй, Илья Яковлевич, на построение косушки или шкалика сооружение!..

— Пропадаешь ты, Перфилий,— сказал Илья с сожалением.

— Окончательно пропадаю,— спокойно согласился сапожник.— Многие обо мне, когда помру, пожалуй должны! — уверенно продолжал он.— Потому — веселый я человек, люблю людей смешить! Все они: ах да ох, грех да бог,— а я им песенки пою да посмеиваюсь. И на грош согреси — помрешь, и на тысячи — издохнешь, а черти всех одинаково мучить будут... Надо и веселому человеку жить на земле...

Смеясь и балагурия, задорный, похожий на старого, ошипанного чижа, он исчезал, а Илья, проводив его, с улыбкой покачивал головой. Чувствуя, что ему жалко Перфишку, он понимал ненужность этой жалости и видел, что она мешает ему. Прошлое было недалеко сзади Лунева, и всё, напоминавшее ему о прошлом, будило в нем беспокойное чувство. Он был похож на человека, который устал и, отдыхая, сладко дремлет, а осенние мухи назойливо гудят над его ухом и мешают ему отдохнуть. Разговаривая с Павлом или слушая рассказы Перфишки, Илья сочувственно улыбался, покачивал головой и ждал, когда они уйдут. Иногда ему становилось грустно и неловко слушать речи Павла; в такие моменты он торопливо и упрямо предлагал ему денег и, разводя руками, говорил:

— Чем иным помочь могу?.. Посоветовал бы: брось Веру...

— Бросить ее нельзя,— тихо говорил Павел.— Бросают, что не нужно. А она мне нужна... Ее у меня вырывают,— вот в чем дело... И может, я не душой люблю ее, а злостью, обидой люблю. Она в моей жизни — весь мой кусок счастья. Неужто отдать ее? Что же мне-то останется?.. Не уступлю,— врут! Убью, а не отдам.

Сухое лицо Грачева покрывалось красными пятнами, и он крепко стискивал кулаки.

— Разве замечаешь, что похаживают около нее? — задумчиво спросил Илья.

— Этого не видно...

— Про кого же говоришь: вырывают?

— А есть такая сила, которая вырвать ее хочет из моих рук... Эх, дьявол! Отец мой из-за бабы погиб и мне, видно, ту же долю оставил...

— Никак нельзя тебе помочь! — сказал Лунев и почувствовал при этом какое-то удовлетворение. Павла ему было жалко еще более, чем Перфишку, и, когда Грачев говорил злобно, в груди Ильи тоже закипала злоба против кого-то. Но врага, наносящего обиду, врага, который комкал жизнь Павла, налицо не было, — он был невидим. И Лунев снова чувствовал, что его злоба так же не нужна, как и жалость, — как почти все его чувства к другим людям. Всё это были лишние, бесполезные чувства. А Павел, хмурясь, говорил:

— Я знаю — помочь мне нельзя...

И, глядя в лицо товарища, он с твердой и зловещей уверенностью продолжал:

— Вот ты забрался в уголок и — сиди смирно... Но я тебе скажу — уж кто-нибудь ночей не спит, соображает, как бы тебя отсюда вон швырнуть... Вышибут!.. А то — сам всё бросишь...

— Как же, брошу, дождись! — смеясь, сказал Илья.

Но Грачев стоял на своем. Он, зорко посматривая в лицо товарища, настойчиво убеждал его:

— А я тебе говорю — бросишь. Не такой у тебя характер, чтобы всю жизнь смирно в темной дыре сидеть. И уж наверно — или запьянствуешь ты, или разоришься... что-нибудь должно произойти с тобой...

— Да почему? — с удивлением воскликнул Лунев.

— Так уж. Не идет тебе спокойно жить... Ты парень хороший, с душой... Есть такие люди: всю жизнь живут крепко, никогда не хворают и вдруг сразу — хлоп!

— Что — хлоп?

— Упал да и умер...

Илья засмеялся, потянувшись, расправил крепкие мускулы и глубоко, во всю силу груди, вздохнул.

— Чепуха всё это! — сказал он.

Но вечером, сидя за самоваром, он невольно вспомнил слова Грачева и задумался о деловых отношениях с Автономовой. Обрадованный ее предложением открыть

магазин, он соглашался на всё, что ему предлагали. И теперь ему вдруг стало ясно, что хотя он вложил в дело больше ее, однако он скорее приказчик на отчете, чем компаньон. Это открытие поразило и взбесило его.

«Ага! Так ты меня затем крепко обнимаешь, чтобы в карман мне незаметно залезть?» — мысленно говорил он Татьяне Власьевне. И тут же решил, пустив в оборот все свои деньги, выкупить магазин у сожительницы, порвать связь с нею. Решить это ему было легко. Татьяна Власьевна и раньше казалась ему лишней в его жизни, а за последнее время она становилась даже тяжела ему. Он не мог привыкнуть к ее ласкам и однажды прямо в глаза сказал ей:

— Экая ты, Танька, бесстыдница...

Она только расхохоталась в ответ ему.

Она по-прежнему всё рассказывала ему о жизни людей ее круга, и однажды Илья заметил:

— Коли всё это ты правду говоришь, Татьяна, так ваша порядочная жизнь ни к чёрту не годится!

— Почему это? Весело! — сказала Автономова, пожав плечиками.

— Велико веселье! Днем — одно крохоборство, а ночью — разврат...

— Какой ты наивный! — смеясь, воскликнула Татьяна Власьевна.

И вновь расхваливая пред ним чистую, мещански приличную, удобную жизнь, вскрывала ее жестокость и грязь.

— Да разве это хорошо? — спрашивал Илья.

— Вот забавный человек! Я не говорю, что это хорошо, но если бы этого не было — было бы скучно!

Иногда она учила его:

— Тебе пора бросить эти ситцевые рубашки: порядочный человек должен носить полотняное белье... Ты, пожалуйста, слушай, как я произношу слова, и учись. Нельзя говорить — тыща, надо — тысяча! И не говори — коли, надо говорить — если. Коли, теперь, седни — это всё мужицкие выражения, а ты уже не мужик.

Всё чаще она указывала ему разницу между ним, мужиком, и ею, женщиной образованной, и нередко эти

указания обижали Илью. Живя с Олимпиадой, он иногда чувствовал, что эта женщина близка ему как товарищ. Татьяна Власьевна никогда не вызывала в нем товарищеского чувства; он видел, что она интереснее Олимпиады, но совершенно утратил уважение к ней. Живя на квартире у Автономовых, он иногда слышал, как Татьяна Власьевна, перед тем как лечь спать, молилась богу:

— «Отче наш, иже еси на небесех...— раздавался за переборкой ее громкий торопливый шёпот.— Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша...» Кирия! встань и притвори дверь в кухню: мне дует в ноги...

— Зачем ты становишься коленями на голый пол? — лениво спрашивал Кирик.

— Оставь, не мешай мне!..

И снова Илья слышал быстрый, озабоченный шёпот:

— Упокой, господи, раба твоего Власа, Николая, схимонаха Мардария... рабу твою Евдокию, Марию, помяни, господи, о здравии Татиану, Кирика, Серафиму...

Торопливость ее молитвы не нравилась Илье: он ясно понимал, что человек молится не по желанию, а по привычке.

— Ты, Татьяна, веришь в бога? — спросил он ее однажды.

— Вот вопрос! — воскликнула она с удивлением. — Разумеется, верю! Почему ты спрашиваешь?

— Так... Больно ты всегда торопишься отделаться от него...— сказал Илья с улыбкой.

— Во-первых: не нужно говорить — больно, когда можно сказать — очень! А во-вторых: я так устаю за день, что бог не может не простить мне моей небрежности...

И, мечтательно подняв глаза кверху, она добавила с уверенностью:

— Он — всё простит. Он — милостив...

«Только затем он вам и нужен, чтобы было у кого прощенья просить», — зло подумал Илья и вспомнил: Олимпиада молилась долго и молча. Она вставала пред образами на колени, опускала голову и так стояла неподвижно, точно окаменевшая... Лицо у нее в эти минуты было убитое, строгое.

Когда Лунев понял, что в деле с магазином Татьяна Власьева ловко обошла его, он почувствовал что-то похожее на отвращение к ней.

«Кабы она была мне чужой человек, — ну, пускай! — думалось ему. — Все стараются друг друга обманывать... Но ведь она — вроде жены... целует, ласкает... Кошка поганая! Эдак-то только гулящие девки делают... да и то не все...» Он стал относиться к ней сухо, подозрительно и под разными предлогами отказывался от свиданий с нею. В это время пред ним явилась еще женщина — сестра Гаврика, иногда забегавшая в лавочку посмотреть на брата. Высокая, тонкая и стройная, она была некрасива, и, хотя Гаврик сообщил, что ей девятнадцать лет, Илье она казалась гораздо старше. Лицо у нее было длинное, желтое, истощенное; высокий лоб прорезывали тонкие морщины. Широкие ноздри утинового носа казались гневно раздутыми, тонкие губы маленького рта плотно сложены. Говорила она отчетливо, но как будто сквозь зубы, неохотно; походка у нее быстрая, и ходила она, высоко поднимая голову, точно хвастаясь некрасивым лицом. А может быть, голову ей оттягивала назад толстая и длинная коса темных волос... Большие черные глаза этой девушки смотрели строго и серьезно, и все черты лица, сливаясь вместе, придавали ее высокой фигуре что-то прямое и непреклонное. Лунев чувствовал пред нею робость; она казалась ему гордой и внушала почтение к себе. Всякий раз, когда она являлась в лавке, он вежливо подавал ей стул, приглашая:

— Присядьте, пожалуйста!

— Благодарю! — кратко говорила она и, кивая ему головой, садилась. Лунев украдкой рассматривал ее лицо, резко отличное от всех женских лиц, которые он видел до сей поры, ее коричневое платье, очень поношенное, ее башмаки с заплатками и желтую соломенную шляпу. Она сидела, разговаривая с братом, и длинные пальцы ее правой руки всегда выбивали на ее колене быструю неслышную дробь. А левой рукой она раскачивала в воздухе ремни с книгами. Илье было странно видеть гордой девушку, так плохо одетую. Просидев в лавке две-три минуты, она говорила брату:

— Ну, прощай! Не очень шали...

И, молча кивнув головой хозяину лавки, уходила походкой храброго солдата, идущего на приступ.

— Какая у тебя сестра-то строгая! — сказал однажды Лунев Гаврику.

Гаврик наморщил нос, дико вытаращил глаза, оттопырил губы, и от этого лицо его приняло карикатурно стремительное выражение, очень удачно напоминавшее лицо его сестры. Потом он с улыбкой объяснил Илье:

— Вот она какая... Только она это притворяется...

— Зачем же ей притворяться?

— Так уж, — любит! Я тоже — какую захочу скорчить рожицу, такую и скорчу...

Девушка сильно заинтересовала Илью, и, как раньше о Татьяне Власьевне, он думал о ней:

«Вот на такой бы жениться...»

Однажды она принесла с собой толстую книгу и сказала брату:

— На, читай...

— Что такое, позвольте взглянуть? — вежливо спросил Илья.

Она взяла книгу из рук брата и подала Луневу, говоря:

— Дон-Кихот... История одного доброго рыцаря...

— А! Про рыцарей я много читал, — с любезной улыбкой сказал Илья, взглянув ей в лицо. У нее дрогнули брови, и она торопливо, сухим голосом заговорила:

— Вы читали сказки, а это прекрасная, умная книга. В ней описан человек, который посвятил себя защите несчастных, угнетенных несправедливостью людей... Человек этот всегда был готов пожертвовать своей жизнью ради счастья других, — понимаете? Книга написана в смешном духе... но этого требовали условия времени, в которое она писалась... Читать ее нужно серьезно, внимательно...

— Так мы и почитаем, — сказал Илья.

Первый раз девушка говорила с ним; он чувствовал от этого какое-то особенное удовольствие и улыбался. Но она, взглянув на его лицо, сухо проговорила:

— Не думаю, что это понравится вам...

И ушла. Илье показалось, что слово «вам» она про-

изнесла как-то особенно ясно. Это задело его, и он сердито сказал Гаврику, разглядывавшему картинку в книге:

— Ну, теперь читать не время...

— Да ведь покупателей нет? — возразил Гаврик, не закрывая книги. Илья посмотрел на него и промолчал. В памяти его звучали слова девушки о книге. А о самой девушке он с неудовольствием в сердце думал: «Какая... фря!»

Время шло. Илья стоял за прилавком и, покручивая усы, торговал, но ему стало казаться, что дни идут медленно. Иногда у него возникало желание запереть лавку и пойти куда-нибудь гулять, но он знал, что это отразилось бы на торговле, и не ходил. Уходить вечером тоже было неудобно: Гаврик боялся оставаться один в магазине, да и опасно было оставлять магазин на него: он мог нечаянно поджечь или пустить какого-нибудь жулика. Торговля шла недурно; Илья подумывал о том, что, пожалуй, придется нанять помощника. Связь с Автономовой постепенно ослабевала сама собой, и Татьяна Власьевна тоже как будто не имела ничего против этого. Она весело посмеивалась и очень тщательно проверяла книгу дневного оборота. И, когда она, сидя в комнате Ильи, щелкала косточками счетов, он чувствовал, что эта женщина с птичьим лицом противна ему. Но иногда она являлась к нему веселая, бойкая, шутила и, задорно играя глазами, называла Илью компаньоном. Он увлекался, и возобновлялось то, что он называл про себя поганой канителью. Заходил Кирик, разваливался на стуле у прилавка и балагурил со швейками, если они приходили при нем. Он уже снял с себя полицейскую форму, носил костюм из чечунчи и хвастался своими успехами на службе у купца.

— Шестьдесят рублей жалованья и столько же наживаю, — недурно, а? Наживаю осторожно, законно... Квартирку мы переменили, — слышал? Теперь у нас миленькая квартирка. Наняли кухарку, — велика-а-лешно готовит, бестия! С осени начнем принимать зна-

комых, будем играть в карты... приятно, чёрт возьми! Весело проведешь время, и можно выиграть... нас двое играют, я и жена, кто-нибудь один всегда выигрывает! А выигрыш окупает прием гостей,— хо-хо, душа моя! Вот что называется дешевая и приятная жизнь!..

Он расплывался на стуле, закуривал папиросу и, попыхивая дымом, продолжал, понизив голос:

— Ездил я, братец, в деревню недавно,— слышал? И я тебе скажу: девочки там — такие — фью! Знаешь,— дочери природы эдакие... ядреные, знаешь, не уколупнешь ее, шельму... И всё это дешево, чёрт меня побери! Скляницу наливки, фунт пряников, и — твоя!

Лунев слушал и молчал. Он почему-то жалел Кирика, жалел, не отдавая себе отчета, за что именно жаль ему этого толстого и недалекого парня. И в то же время почти всегда ему хотелось смеяться при виде Автономова. Он не верил рассказам Кирика об его деревенских похождениях: ему казалось, что Кирик хвастает, говорит с чужих слов. А находясь в дурном настроении, он, слушая речи его, думал:

«Крохобор!»

— Да-а, братец, великолепно это — заняться амуrom на лоне природы, под сенью кущ, как выражаются в книжках.

— А если Татьяна Власьевна узнает? — спросил Илья.

— Она этого не захочет узнать, братец,— лукаво подмигивая ему, ответил Кирик.— Она знает, что ей это не нужно знать! Мужчина есть петух по природе своей... Ну, а ты, братец, как — имеешь даму сердца?

— Грешен! — усмехаясь, сказал Илья.

— Швеечку? Да? Эдакую брюнеточку?..

— Нет, не швейку...

— Кухарку? Кухарка — это тоже хорошо, она теплая, сдобная...

Илья хохотал, как сумасшедший, и этот смех убеждал Кирика в существовании кухарки.

— Почаще меняй их, почаще меняй,— тоном знака дела советовал он Илье.

— Да почему вы думаете, что кухарка или швейка? Разве другой какой-нибудь не достоин я? — спросил Лунев сквозь смех.

— Они тебе, братец, подходят по твоему положению в обществе больше других... Ведь не можешь ты завести роман с дамой или девушкой приличного общества, согласишься?

— Да почему?

— Ах, это так понятно... Я не хочу тебя обижать, но ты, мой друг, все-таки, знаешь... простой человек... мужичок, так сказать...

— А... а я с дамой...— задыхаясь от смеха, сказал Илья.

— Шутник! — воскликнул Кирик и тоже захохотал.

Но когда Автономов уходил, Лунев, думая над его словами, испытывал чувство обиды. Ему было ясно, что хотя Кирик добрый парень, однако он считает себя каким-то особенным человеком, не равным ему, Илье, выше его, лучше. В то же время он с женой многим пользуется от него. Перфишка сообщил ему, что Петруха посмеивается над его торговлей и называет его жуликом... А Яков говорил сапожнику, что раньше он, Илья, был лучше, душевнее, не зазнавался, как теперь. И сестра Гаврика тоже постоянно убеждала Илью в том, что она не ровня ему. Дочь почтальона, одетая едва не в лохмотья, она смотрела на него так, точно сердилась на то, что он живет на одной земле с нею. Самолюбие Ильи с той поры, как он открыл магазин, выросло, стало еще более чутким, чем прежде. Его интерес к этой некрасивой, но особенной девушке всё развивался; ему хотелось понять, откуда в ней, бедной, эта гордость, пред которой он всё более робел. Она никогда не хотела заговорить с ним первая, и это задевало его. Ведь ее брат служит у него в мальчиках, и уже поэтому она бы должна смотреть на него, хозяина, поласковее! Он сказал ей однажды:

— Читаю вашу книгу о Дон-Кихоте...

— Ну, и что же? Нравится? — спросила она, не взглянув на него.

— Очень нравится!.. Смешно... чужак был человек.

Илье показалось, что ее черные гордые глаза воткнулись в лицо ему с ненавистью.

— Я так и знала, что вы скажете что-нибудь в этом роде,— проговорила она медленно и внятно.

Илье почудилось что-то обидное, враждебное ему в этих словах.

— Человек я темный,— сказал он, пожав плечами.

Она промолчала в ответ, точно не слышала его.

И вновь в душу Ильи стало вторгаться давно уже не владевшее ею настроение,— снова он злился на людей, крепко и подолгу думал о справедливости, о своем грехе и о том, что ждет его впереди. Неужели он всегда будет жить вот так: с утра до вечера торчать в магазине, потом наедине со своими думами сидеть за самоваром и спать потом, а проснувшись, вновь идти в магазин? Он знал, что многие торговцы, а может быть, и все, живут именно так. Но у него и во внешней жизни и во внутренней было много причин считать себя человеком особенным, не похожим на других. Он вспомнил слова Якова: «Не дай бог тебе удачи... жаден ты...»

И эти слова казались ему глубоко обидными. Нет, он не жаден,— он просто хочет жить чисто, спокойно и чтобы люди уважали его, чтобы никто не показывал ему на каждом шагу:

«Я выше тебя, Илья Лунев, я тебя лучше...»

И снова он думал — что ждет его впереди? Будет ему возмездие за убийство или нет? Иногда ему думалось, что если возмездие за грех будет ему,— оно будет несправедливо. В городе живет много человекоубийц, развратников, грабителей; все знают, что они по своей воле убийцы, развратники и мошенники, а — вот живут они, пользуются благами жизни, и наказания нет им до сей поры. А по справедливости — всякая обида, человеку нанесенная, должна быть возмещена обидчику. И в Библии сказано: «Пусть бог воздаст ему самому, чтобы он знал». Эти мысли бередили старые царапины в его сердце, и сердце вспыхивало буйным чувством жажды отомстить за свою надломленную жизнь. Порой ему приходило на ум сделать еще что-нибудь дерзкое: пойти поджечь дом Петрухи Филимонова, а когда дом загорится и прибегут люди, то крикнуть им:

«Это я поджег! Это я задавил купца Полуэктова!»

Люди схватят его, будут судить и сошлют в Сибирь, как сослали его отца... Это возмущало его, и он суживал свою жажду мести до желания рассказать Кирику о сво-

ей связи с его женой или пойти к старику Хренову и избить его за то, что он мучает Машу...

Иногда, лежа в темноте на своей кровати, он вслушивался в глубокую тишину, и ему казалось, что вот сейчас всё задрожит вокруг него, повалится, закружится в диком вихре, с шумом, с дребезгом. Этот вихрь завертит и его силою своей, как сорванный с дерева лист, завертит и — погубит... И Лунев вздрагивал от предчувствия чего-то необычайного...

Как-то вечером, когда Лунев уже собирался запирать магазин, явился Павел и, не здороваясь, спокойным голосом сказал:

— Верка убежала...

Он сел на стул, облокотился о прилавок и тихо зашвырнул, глядя на улицу. Лицо у него было окаменевшее, но маленькие русые усики шевелились, как у кота.

— Одна или с кем-нибудь? — спросил Илья.

— Не знаю... Третий день нет ее...

Илья смотрел на него и молчал. Спокойное лицо и голос Павла не позволяли ему понять, как относится Грачев к бегству своей подруги. Но он чувствовал в этом спокойствии какое-то бесповоротное решение...

— Что же ты думаешь делать? — тихо спросил он, видя, что Павел не собирается говорить. Тогда Грачев перестал швырять и, не оборачиваясь к товарищу, кратко объявил:

— Зарежу...

— Ну, опять за свое! — воскликнул Илья, досадливо махнув рукой.

— Я об нее всё сердце обломал, — вполголоса заговорил Павел. — Вот ножик.

Он вынул из-за пазухи небольшой хлебный нож и повертел его пред своим лицом.

— Хвачу ее по горлу...

Но Илья вырвал нож и бросил за прилавок, сердито говоря:

— Вооружился на муху...

Павел вскочил со стула и повернулся лицом к нему. Глаза у него яростно горели, лицо исказилось, он весь вздрагивал. Но тотчас же снова опустился на стул и презрительно сказал:

— Дурак ты...
— Ты умен!..
— Сила не в ноже, а в руке...
— Говори!..
— И если б руки у меня отвалились, — зубами глотку ей перерву...
— Ишь как страшно!..
— Ты со мной не говори, Илья... — вновь спокойно и негромко сказал Павел. — Верь — не верь, но меня не дразни... Меня судьба довольно дразнит...
— Да ты, чудак, подумай, — убедительно и мягко заговорил Илья.
— Всё уж передумано... Впрочем, я уйду... Что с тобой говорить? Ты — сыт... мне не товарищ...
— А ты брось безумство-то! — с укором крикнул Лунев.

— Я же — и душой и телом голоден...
— Дивлюсь, как люди рассуждают! — пожав плечами, насмешливо заговорил Илья. — Баба для человека вроде скота... вроде лошади! Везешь меня? Ну, старайся, бить не буду. Не хошь везти? Трах ее по башке!.. Да, черти, ведь и баба — человек, и у нее свой характер есть...

Павел взглянул на него и хрипло засмеялся.

— А я кто? Не человек?..

— Да ты должен быть справедливым или нет?

— А поди ты ко всем чертям с этой самой справедливостью! — бешено закричал Грачев, вскакивая со стула. — Будь ты справедлив: сытому это не мешает... Слышал? Ну, и прощай...

Он быстро пошел вон из магазина и в двери зачем-то снял с головы картуз. Илья выскочил из-за прилавка вслед за ним, но Грачев уже шел по улице, держа картуз в руке и возбужденно размахивая им.

— Павел! — крикнул Лунев. — Постой...

Он не остановился, даже не оглянулся и, повернув в проулок, исчез. Илья медленно прошел за прилавок, чувствуя, что от слов товарища его лицо так горит, как будто он в жарко растопленную печь посмотрел.

— Ка-акой злой! — раздался голос Гаврика.

Илья усмехнулся.

— Кого это он резать собрался? — спросил Гаврик, подходя к прилавку. Руки у него были заложены за спину, голова поднята вверх и шероховатое лицо покраснело.

— Жену свою, — сказал Илья, глядя на мальчика. Гаврик помолчал, потом как-то принатужился и тихо, вдумчиво сообщил хозяину:

— А у нас соседка на Рождестве мужа мышьяком отравила... Портного...

— Бывает... — медленно проговорил Лунев, думая о Павле.

— А этот — он вправду зарежет?

— Отстань, Гаврик!..

Мальчик повернулся, пошел к двери и по дороге пробормотал:

— А женятся, черти!

Уже вечерний сумрак влился в улицу, и в окнах дома напротив лавочки Лунева зажгли огонь.

— Запирать пора!.. — тихо сказал Гаврик.

Илья смотрел на освещенные окна. Снизу их закрывали цветы, сверху белые шторы. Сквозь листву цветов было видно золотую раму на стене. Когда окна были открыты, из них на улицу вылетали звуки гитары, пение и громкий смех. В этом доме почти каждый вечер пели, играли и смеялись. Лунев знал, что там живет член окружного суда Громов, человек полный, румяный, с большими черными усами. Жена у него была тоже полная, белокурая, голубоглазая; она ходила по улице важно, как сказочная королева, а разговаривая — всегда улыбалась. Еще у Громова была сестра-невеста, высокая, черноволосая и смуглая девица; около нее увивалось множество молодых чиновников; все они смеялись, пели чуть не каждый вечер.

— Право, запирать пора, — настойчиво проговорил Гаврик.

— Запирай...

Мальчик затворил дверь, и в магазине стало темно. Потом загремело железо замка.

«Как в тюрьме», — подумал Илья.

Обидные слова товарища о сытости воткнулись ему в сердце занозой. Сидя за самоваром, он думал о Павле

с неприязнью, и ему не верилось, что Грачев может зарезать Веру.

«Напрасно я за нее заступился все-таки... Пес с ними!.. Сами не умеют жить, другим мешают...» — с ожесточением подумал он.

Гаврик громко схлебывал чай с блюдечка и двигал под столом ногами.

— Зарезал или нет еще? — вдруг спросил он хозяина. Лунев сумрачно посмотрел на него и сказал:

— А ты — пей да спать иди...

Самовар шипел и гудел так, точно готовился прыгнуть со стола.

Вдруг перед окном встала темная фигура, и робкий, дрожащий голос спросил:

— Здесь живет Илья Яковлевич?..

— Здесь, — крикнул Гаврик и, вскочив со стула, бросился к двери на двор так быстро, что Илья не успел ничего сказать ему.

В двери явилась тонкая фигурка женщины в платочке на голове. Одной рукой она уперлась в косяк, а другой теребила концы платка на шее. Стояла она боком, как бы готовясь тотчас же уйти.

— Входите, — недовольно сказал Лунев, глядя на нее и не узнавая.

Вздрогнув от его голоса, она подняла голову, и бледное маленькое лицо ее улыбнулось...

— Маша! — крикнул Илья, вскочив со стула.

Она тихонько засмеялась и шагнула к нему.

— Не узнал... не узнали даже... — проговорила она, останавливаясь среди комнаты.

— Господи боже! Да разве узнаешь! Какая ты...

С преувеличенной вежливостью Илья взял ее за руку, вел к столу, наклоняясь и заглядывая ей в лицо и не решаясь сказать, какая она стала. А она была невероятно худая и шагала так, точно ноги у нее подламывались.

— Ах ты... какая! — бормотал он, бережно усаживая ее на стул и всё заглядывая в лицо ей.

— Вот как меня... — сказала она, взглянув в глаза Ильи.

Теперь, когда она села против лампы, он хорошо видел ее. Она оперлась на спинку стула, свесив тонкие

руки, и, склонив голову набок, учащенно дышала своей плоской грудью. Была она какая-то бесплотная, казалась составленной из одних костей. Ситец ее платья обрисовывал угловатые плечи, локти, колени, лицо у нее было страшно от худобы. Синеватая кожа туго натянулась на висках, скулах и подбородке, рот был болезненно полуоткрыт, тонкие губы не скрывали зубов, и на ее маленьком удлинённом лице застыло выражение тупой боли. А глаза смотрели тускло и мертво.

— Хворала ты? — тихо спросил Илья.

— Не-ет,— ответила она.— Я совсем здоровая... это он меня отделал.

Ее протяжные негромкие слова звучали, как стоны, оскаленные зубы придавали лицу что-то рыбье...

Гаврик, стоя около Маши, смотрел на нее, сжав губы, с боязнью в глазах.

— Иди, спи! — сказал ему Лунев.

Мальчик ушел в магазин, повозился там с минуту, и потом из-за косяка двери высунулась его голова.

Маша сидела неподвижно, только глаза ее, тяжело вращаясь в орбитах, передвигались с предмета на предмет. Лунев наливал ей чай, смотрел на нее и не мог ни о чем спросить подругу.

— Очень он мучает меня... — заговорила она. Губы у ней вздрогнули и глаза закрылись на секунду. А когда она открыла их,— из-под ресниц выкатились большие тяжелые слезы.

— Не плачь... — сказал Илья, отвернувшись от нее. — Ты лучше... пей чай... и рассказывай мне всё... легче будет...

— Боюсь — придет он... — покачав головой, сказала Маша.

— Ты ушла от него?..

— Да-а... Я уж четвертый раз... Когда не могу больше терпеть... убегаю... Простый раз я в колодец было хотела... а он поймал... и так бил, так мучил...

Глаза у нее стали огромные от ужаса, нижняя челюсть задрожала.

— Ноги он мне всё ломает...

— Эх! — воскликнул Илья.— Да — что же ты? В полицию заяви... истязует! За это в острог сажают...

— Н-ну-у, он сам и судья,— безнадежно сказала Маша.

— Хренов? Какой он судья,— что ты?

— Уж я знаю! Он в суде недавно сидел две недели кряду... всё судил... Приходил оттуда злой, голодный... Взял да щипцами самоварными грудь мне ущемил и вертит и крутит... гляди-ка!

Она дрожащими пальцами расстегнула платье и показала Илье маленькие дряблые груди, покрытые темными пятнами, точно изжеванные.

— Застегнись,— угрюмо сказал Илья. Ему было неприятно видеть это избитое, жалкое тело и не верилось, что пред ним сидит подруга детских дней, славная девочка Маша. А она, обнажив плечо, говорила ровным голосом:

— А плечи-то как исколотил! И всю как есть... живот ищипал весь, волосы под мышками выщипал...

— Да за что? — спросил Лунев.

— Говорит — ты меня не любишь? И щиплет...

— Может, ты... не девушка уж была, как за него вышла?

— Ну-у, как же это? С тобой да с Яшей жила я... никто меня не трогал никогда... Да и теперь я... к тому неспособна... больно мне и противно... тошнит всегда..

— Молчи, Маша,— тихонько попросил ее Илья.

Она замолчала и снова окаменела, сидя на стуле с обнаженной грудью.

Илья взглянул из-за самовара на ее худое, избитое тело и повторил:

— Застегнись...

— Мне тебя не стыдно,— беззвучно ответила она, застегивая кофту дрожащими пальцами.

Стало тихо. Потом из магазина донеслись громкие всхлипыванья. Илья встал, подошел к двери и притворил ее, сказав угрюмо:

— Перестань, Гаврюшка...

— Это — мальчик? — спросила Маша. — Он — что?

— Плачет...

— Боится?

— Н-нет... жалеет, должно быть.

— Кого?

— Тебя...

— Ишь какой,— равнодушно сказала Маша, ее безжизненное лицо осталось неподвижным. Потом она стала пить чай, а руки у нее тряслись, блюдечко стучало о зубы ее. Илья смотрел на нее из-за самовара и не знал — жалко ему Машу или не жалко?

— Что ты будешь делать? — спросил он после долгого молчания.

— Не знаю,— ответила она и вздохнула. — Что мне делать?..

— Жаловаться надо,— решительно сказал Лунев.

— Он и ту жену тоже так...— заговорила Маша. — За косу к кровати привязывал и щипал... всё так же... Спала я, вдруг стало больно мне... проснулась и кричу. А это он зажег спичку да на живот мне и положил...

Лунев вскочил со стула и громко, с бешенством заговорил о том, что она должна завтра же идти в полицию, показать там все свои синяки и требовать, чтоб мужа ее судили. Она же, слушая его речь, беспокойно задвигалась на стуле и, пугливо озираясь, сказала:

— Ты не кричи, пожалуйста! Услышат...

Его слова только пугали ее. Он понял это.

— Ну ладно,— сказал он, снова усаживаясь на стул. — Я сам возьмусь за это... Ты, Машутка, ночуешь у меня. Ляжешь на моей постели... а я в магазин уйду...

— Мне бы лечь... устала я...

Он молча отодвинул стол от кровати; Маша свалилась на нее, попробовала завернуться в одеяло, но не сумела и тихонько улыбнулась, говоря:

— Смешная я какая... ровно пьяная...

Илья бросил на нее одеяло, поправил подушку под головой ее и хотел уйти в магазин, но она беспокойно заговорила:

— Посиди со мной! Я боюсь одна... мерещится мне что-то...

Он сел на стул рядом с нею и, взглянув на ее бледное лицо, осыпанное кудрями, отвернулся. Стало совестно видеть ее едва живой. Вспомнил он просьбы Якова, рассказы Матицы о жизни Маши и низко наклонил голову.

В доме напротив пели в два голоса, и слова песни

влетали через открытое окно в комнату Ильи. Крепкий бас усердно выговаривал:

Рра-ззо-очарован-ному чу-у-ужды...

— Вот я уж и засыпаю,— бормотала Маша.— Хорошо как у тебя... поют... хорошо они поют.

— Н-да, расппевают...— угрюмо усмехаясь, сказал Лунев.— С одних шкуры дерут, а другие поют...

И н-не м-мог-гу пре-да-ть-ся вновь...

«Р-раз и-и-и-и...» — Высокая нота красиво зазвене-ла в тишине ночи, взлетая к высоте легко и свободно...

Лунев встал и с досадой закрыл окно: песня каза-лась ему неуместной,— она обижала его. Стук рамы за-ставил Машу вздрогнуть. Она открыла глаза и, с испу-гом приподняв голову, спросила:

— Кто это?

— Я... окно закрыл...

— Господи Исусе!.. Ты уходишь?

— Нет, не бойся...

Она поворочила головой по подушке и снова задре-мала. Малейшее движение Ильи, звук шагов на улице — всё беспокоило ее; она тотчас же открывала глаза и сквозь сон вскрикивала:

— Сейчас... ох!.. сейчас...

Стараясь сидеть неподвижно и глядя в окно, снова открытое им, Лунев соображал, как помочь Маше, и угрюмо решил не отпускать ее от себя до поры, пока в дело не вмешается полиция...

«Нужно через Кирика действовать...»

— Просим, просим! — вырвались из окон квар-тиры Громова оживленные крики. Кто-то хлопал в ла-доши. Маша застонала, а у Громова опять запели:

Пар-ра гнедых, запр-ряженных с зар-рею...

Лунев почти с отчаянием замотал головой... Это пе-ние, веселые крики, смех — мешали ему. Облокотясь на подоконник, он смотрел на освещенные окна против себя со злобой, с буйным негодованием и думал, что хо-рошо бы выйти на улицу и запустить в одно из окон бу-лыжником. Или выстрелить в этих веселых людей дробью.

Дробь—долетит. Он представил себе испуганные, окровавленные морды, смятение, визг и — улыбнулся с дикой радостью в сердце. Но слова песни невольно лезли в уши, он повторял их про себя и с удивлением понял, что эти веселые люди распевают о том, как хоронили гулящую женщину. Это поразило его. Он стал слушать с большим вниманием и, слушая, думал:

«Зачем это они поют? Какое веселье в эдакой песне? Вот выдумали, дураки! А тут, в пяти сажнях от них, живой замученный человек лежит... и никому о муках его не известно...»

— Bravo! Бра-во-о! — разнеслось по улице.

Лунев улыбался, поглядывая то на Машу, то на улицу. Ему уже казалось смешным то, что люди веселятся, распевая песню про похороны распутницы.

— Василий... Василич... — бормотала Маша.

Она заметалась на постели, как обожженная, сбросила одеяло на пол и, широко раскинув руки, замерла. Рот у нее был полуоткрыт, она хрипела. Лунев быстро наклонился над нею, боясь, что она помирает; потом, успокоенный ее дыханием, он покрыл ее одеялом, влез на подоконник с ногами и прислонился лицом к железу решетки, разглядывая окна Громова. Там всё пели — то в один голос, то в два, пели хором. Звучала музыка, раздавался смех. В окнах мелькали женщины, одетые в белое, розовое и голубое. Илья прислушивался к песням и с недоумением думал, как они, эти люди, могут петь протяжные, тоскливые песни про Волгу, похороны, нераспаханную полосу и после каждой песни смеяться как ни в чем не бывало, точно это и не они пели... Неужто они и тоской забавляются?

А каждый раз, когда Маша напоминала ему о себе, он тупо смотрел на нее и думал, что будет с нею. Вдруг зайдет Татьяна и увидит ее... Что ему делать с Машей? Он чувствовал себя так, точно угорел. Когда он захотел спать, то слез с подоконника и растянулся на полу, рядом с кроватью, положив под голову пальто. Во сне он видел, что Маша умерла и лежит среди большого сарая на земле, а вокруг нее стоят белые, голубые и розовые барыни и поют над ней. И когда они поют грустные песни, то все хохочут не в лад пению, а запевая веселое,

горько плачут, грустно кивая головами и вытирая слезы белыми платочками. В сарае темно, сыро, в углу его стоит кузнец Савел и кует железную решетку, громко ударяя молотом по раскаленным прутьям. По крыше сарая кто-то ходит и кричит:

— И-лья, И-лья!..

А он, Илья, лежит тут же в сарае, туго связанный чем-то, ему трудно поворотиться, и он не может говорить...

— Илья! Встань, пожалуйста...

Он открыл глаза и узнал Павла Грачева. Сидя на стуле, Павел толкал ногой его ноги. Яркий луч солнца смотрел в комнату, освещая кипящий на столе самовар. Лунев прищурился, ослепленный.

— Слушай, Илья!..

Голос у Павла хрипел, как после долгого похмелья, лицо было желтое, волосы растрепаны. Лунев взглянул на него и вскочил с пола, крикнув вполголоса:

— Что?

— Попалась!.. — тряхнув головой, сказал Павел.

— Что такое? Где она? — спросил Лунев, наклоняясь к нему и схватив его за плечо. Грачев пошатнулся и растерянно проговорил:

— По-осадили в тюрьму...

— За что? — громким шёпотом спросил Илья.

Проснулась Маша и, вздрогнув при виде Павла, уставилась в лицо ему испуганными глазами. Из двери магазина смотрел Гаврик, неодобрительно скривив губы.

— Говорят... у какого-то купца... украли бумажник...

Илья толкнул товарища в плечо и молча отошел от него.

— Помощника частного... по роже ударила...

— Н-ну, конечно, — сурово усмехнувшись, сказал Илья. — Коли уж в острог, так — обеими ногами...

— Поняв, что всё это ее не касается, Маша улыбнулась и тихо сказала:

— Меня бы вот в острог...

Павел взглянул на нее, потом на Илью.

— Не узнаешь? — спросил Илья. — Машу, Перфишки дочь, помнишь?

— А-а,— равнодушно протянул Павел и отвернулся от Маши, хотя она, узнав его, улыбалась ему.

— Илья! — угрюмо сказал Грачев.— А что, если это она для меня постаралась?

Лунев, невымытый и растрепанный, сел на кровать в ногах Маши и, поглядывая то на нее, то на Павла, чувствовал себя ошеломленным.

— Я знал,— медленно говорил он,— что эта история добром не кончится.

— Не слушала меня,— убитым голосом сказал Павел.

— Во-от! — насмешливо воскликнул Лунев.— В том всё и дело, что она тебя не слушалась! А что ты сказать ей мог?

— Я ее любил...

— А на кой чёрт она нужна, твоя любовь?

Лунев начал горячиться. Все эти истории — Павлова, Машина — возбуждали в нем злобу. И, не зная, куда направить это чувство, он направил его на товарища...

— Всякому хочется жить чисто, весело... ей тоже... А ты ей: я тебя люблю, стало быть, живи со мной и терпи во всем недостаток... Думаешь, так и следует?

— А как мне надо поступать? — спросил Павел кротко и тихо.

Этот вопрос несколько охладил Лунева. Он невольно задумался.

Из магазина выглянул Гаврик.

— Отпирать магазин?

— Ну его к чёрту! — с раздражением крикнул Лунев.— Какая тут торговля?

— Мешаю я тебе? — сказал Павел.

Он сидел на стуле согнувшись, положив локти на колени и глядя в пол. На виске у него напряженно билась какая-то жилка, туго налившаяся кровью.

— Ты? — воскликнул Лунев, посмотрев на него.— Ты мне не мешаешь... и Маша не мешает... Тут — что-то всем нам мешает... тебе, мне, Маше... Глупость или что — не знаю... только жить по-человечески нет никакой возможности! Я не хочу видеть никакого горя, никаких безобразий... грехов и всякой мерзости... не хочу! А сам...

Он замолчал и побледнел.

— Ты всё про себя... — заметил Павел.

— А ты — про кого? — насмешливо спросил Илья. — Всяк человек своей язвой язвлен, своим голосом и стонет... Я не про себя, а про всех... потому все меня беспокоят...

— Уйду, — сказал Грачев и тяжело поднялся со стула.

— Эх! — крикнул Илья. — Пойми ты, а не обижайся...

— Меня, брат, как кирпичом по голове ударило... Верку жаль... Что делать?

— Ничего не поделаешь! — решительно сказал Илья.

— О ней пиши — пропала! Засудят ее...

Грачев опять сел на стул.

— А ежели я объявлю, что она для меня это? — спросил он.

— Ты — принц? Скажи, тогда и тебя в тюрьму сунут... Вот что... надо нам привести себя в порядок. Маша, мы уйдем в магазин, а ты встань, приберись... чаю нам налей...

Маша вздрогнула и, приподняв голову с подушки, спросила Илью:

— Домой идти мне?..

— Дом у человека там... где его хоть не мучают...

Когда они вошли в магазин, Павел сумрачно спросил:

— Зачем она у тебя? Дохлая какая...

Лунев кратко рассказал ему, в чем дело. К его удивлению, история Маши как бы оживила Грачева.

— Ишь, старый чёрт! — обругал он лавочника и даже улыбнулся.

Илья стоял рядом с ним и осматривал свой магазин, говоря:

— Ты недавно сказал, что меня вся эта музыка не успокоит...

Он повел по магазину широким жестом и с неприятной усмешкой кивнул головой.

— Верно! Не успокаивает... Какой мне выигрыш в том, что я, на одном месте стоя, торгую? Свободы я лишился. Выйти нельзя. Бывало, ходишь по улицам, куда хочешь... Найдешь хорошее, уютное местечко, посидишь, полюбишься... А теперь торчу здесь изо дня в день и — больше ничего...

— Вот бы тебе Веру в приказчицы взять,— сказал Павел.

Илья взглянул на него и замолчал.

— Идите! — позвала их Маша.

За чаем они все трое почти не разговаривали. На улице светило солнце, по тротуару шлепали босые ноги ребятишек, мимо окон проходили продавцы овощей.

Всё говорило о весне, о хороших, теплых и ясных днях, а в тесной комнате пахло сыростью, порою раздавалось унылое, негромкое слово, самовар пищал, отражая солнце...

— Сидим, как на поминках,— сказал Илья.

— По Верке,— добавил Грачев.— Сижу и думаю: «А ну, как это я ее в тюрьму вогнал?»

— И даже очень это может быть,— безжалостно подтвердил Илья.

Грачев с укором посмотрел на товарища.

— Злой ты...

— А с чего это мне быть доброму? — закричал Илья.— Кто меня по головке гладил?.. Был, может быть, один человек, который меня любил... Да и то распутная баба!

От прилива жгучего раздражения лицо у него покраснело, глаза налились кровью; он вскочил со стула в порыве злости, охваченный желанием кричать, ругаться, бить кулаками о стол и стены.

Но Маша, испуганная им, громко и жалобно заплакала, как дитя.

— Я уйду... пустите меня,— говорила она сквозь слезы дрожащим голосом и болтала головой, точно желая спрятать ее куда-то.

Лунев замолчал. Он видел, что и Павел смотрел на него неприязненно.

— Ну, чего плакать? — сердито сказал он.— Ведь не на тебя я закричал... И некуда тебе идти... Я вот — уйду... Мне нужно... А Павел посидит с тобой... Гаврило! Если придет Татьяна Власьевна... это кто еще?

В дверь со двора постучали. Гаврик вопросительно взглянул на хозяина.

— Отпирай! — сказал Илья.

На пороге двери явилась сестра Гаврика. Несколько

секунд она стояла неподвижно, прямая, высоко закинув голову и оглядывая всех прищуренными глазами. Потом на ее некрасивом, сухом лице явилась гримаса отвращения, и, не ответив на поклон Ильи, она сказала брату:

— Гаврик, выйди на минутку ко мне...

Илья вспыхнул. От обиды кровь с такой силой бросилась ему в лицо, что глазам стало горячо.

— А вы, барышня, кланяйтесь, когда вам кланяются, — сдержанно и внушительно сказал он.

Она еще выше подняла голову, брови у нее сдвинулись. Плотнo сжав губы, она смерила Илью глазами и не сказала ни слова. Гаврик тоже сердито взглянул на хозяина.

— Вы не к пьяным пришли, не к жуликам, — продолжал Лупев, вздрагивая от напряжения, — вас встречают уважительно... и, как барышня образованная, вы должны ответить тем же...

— Не фордыбачь, Сонька, — вдруг сказал Гаврик примиряющим голосом и, подойдя к ней, встал рядом, взяв ее за руку.

Наступило неловкое молчание. Илья и девушка смотрели друг на друга с вызовом и чего-то ждали. Маша тихонько отошла в угол. Павел тупо мигал глазами.

— Ну, говори, Сонька, — нетерпеливо сказал Гаврик. — Ты думаешь, они тебя обидеть хотят? — спросил он. И, неожиданно улыбнувшись, добавил: — Они — чудаки!

Сестра дернула его за руку и спросила Лунева сухо и резко:

— Что вам от меня угодно?

— Ничего, только...

Но тут в голове его родилась хорошая, светлая мысль. Он шагнул к девушке и, как мог вежливо, заговорил:

— Позвольте вам предложить... Видите ли, нас здесь — трое... люди темные, невежи... вы — человек образованный.

Он торопился изложить свою мысль и не мог. Его смущал прямой, строгий взгляд ее глаз; они как будто отталкивали его от себя. Илья опустил глаза и смущенно, с досадой пробормотал:

— Я не умею сразу это сказать... Если время у вас есть... пройдите, присядьте...

И отступил перед нею.

— Постой тут, Гаврик,— сказала девушка и, оставив брата у двери, прошла в комнату. Лунев толкнул к ней табурет. Она села. Павел ушел в магазин, Маша пугливо жалась в углу около печи, а Лунев неподвижно стоял в двух шагах пред девушкой и всё не мог начать разговора.

— Ну-с? — сказала она.

— Вот... в чем дело,— тяжело вздохнув, заговорил Илья.— Видите — девушка,— не девушка, а замужняя... за стариком... Она ее — тиранит... вся избитая, испипанная убежала она... пришла ко мне... Вы, может, что худое думаете? Ничего нет...

Путаясь в словах, он сбивчиво говорил и двоился между желанием рассказать историю Маши и выложить пред девушкой свои мысли по поводу этой истории. Ему особенно хотелось передать слушательнице именно свои мысли. Она смотрела на него, и взгляд ее становился мягче.

— Я понимаю,— остановила она его речь.— Вы не знаете, как поступить? Прежде всего надо к доктору... пусть он осмотрит... У меня есть знакомый доктор,— хотите, я ее свезу? Гаврик, взгляни, сколько время? Одиннадцатый? Хорошо, это часы приема... Гаврик, позови извозчика... А вы — познакомьте меня с нею...

Но Илья не тронулся с места. Он не ожидал, что эта серьезная, строгая девушка умеет говорить таким мягким голосом. Его изумило и лицо ее: всегда гордое, теперь оно стало только озабоченным, и, хотя ноздри на нем раздулись еще шире, в нем было что-то очень хорошее, простое, раньше не виданное Ильей. Он рассматривал девушку и молча, смущенно улыбался.

А она уже отвернулась от него, подошла к Маше и тихо говорила с нею:

— Вы не плачьте, голубчик, не бойтесь... Доктор — славный человек, он вас осмотрит и выдаст бумагу такую... только и всего! Я вас привезу сюда... Ну, милая, не плачьте же...

Она положила свои руки на плечи Маши и хотела привлечь ее к себе.

— Ой... больно,— тихонько застонала Маша.

— Что тут у вас?

Лунев слушал и всё улыбался.

— Это... чёрт знает что такое! — возмущенно вскрикнула девушка, отходя от Маши. Лицо у нее побледнело, в глазах сверкал ужас, негодование.

— Как она избита... о!

— Вот как живем! — воскликнул Лунев, снова вспыхивая.— Видели? А то еще могу другого показать,— вон стоит! Позвольте познакомиться: товарищ мой Павел Савельич Грачев...

Павел протянул руку девушке, не глядя на нее.

— Медведева, Софья Никоновна,— сказала она, разглядывая унылое лицо Павла.— А вас зовут — Илья Яковлевич? — обратилась она к Луневу.

— Точно так,— оживленно подтвердил Илья, крепко стиснув ее руку, и, не выпуская руки, продолжал:— Вот что... уж коли вы такая... то есть если вы взялись за одно,— не побрезгуйте и другим! Тут тоже петля.

Она внимательно и серьезно смотрела на его красивое, взволнованное лицо, потихоньку пытаясь освободить свою руку из его пальцев. Но он рассказывал ей о Вере, о Павле, рассказывал горячо, с увлечением. И сильно встряхивал ее руку и говорил:

— Сочинял стихи, да какие еще! Но в этом деле — весь сгорел... И она тоже... вы думаете, если она... такая, то тут и всё? Нет, вы не думайте этого! Ни в добром, ни в худом никогда человек не весь!

— Как? — переспросила девушка.

— То есть ежели и плох человек — есть в нем свое хорошее, ежели и хорош — имеет в себе плохое... Души у нас у всех одинаково пестрые... у всех!

— Это вы хорошо говорите! — одобрила его девушка, с важным видом качнув головой.— Но, пожалуйста, пустите мою руку — больно!

Илья стал просить у нее прощения. А она уже не слушала его, убедительно поучая Павла:

— Это стыдно, так нельзя! Нужно действовать! Нужно искать ей защитника, адвоката, понимаете?

Я вам найду, слышите? И ничего ей не будет, потому что оправдают... Даю вам честное слово!

Лицо ее покраснелось, волосы на висках растрепались, и глаза горели.

Маша, стоя рядом с нею, смотрела на нее с доверчивым любопытством ребенка. А Лунев поглядывал на Машу и Павла победоносно, с важностью, чувствуя какую-то гордость от присутствия этой девушки в его комнате.

— Если вы в самом деле можете помочь, — дрогнувшим голосом заговорил Павел, — помогите!

— Вы приходите ко мне в семь часов, хорошо? Вот Гаврик скажет где...

— Я приду... Слов у меня для благодарности нет...

— Оставим это. Люди должны помогать друг другу.

— Помогут они! — с иронией вскричал Илья.

Девушка быстро обернулась к нему. Но Гаврик, видимо, чувствуя себя в этой сумятице единственным солидным и здравомыслящим человеком, дернул сестру за руку и сказал:

— Да уезжай ты!

— Маша, одевайтесь!

— Мне не во что, — робко заявила Маша.

— Ах... Ну всё равно! Идемте... Вы придете, Грачев, да? До свидания, Илья Яковлевич!

Товарищи почтительно и молча пожали ей руку, и она пошла, ведя за руку Машу. Но у двери снова обернулась и, высоко вскинув голову, сказала Илье:

— Я забыла... Я не поздоровалась с вами... Это — свинство, я извиняюсь, слышите?

Лицо ее вспыхнуло румянцем, глаза конфузливо опустились. Илья смотрел на нее, и в сердце у него играла музыка.

— Извиняюсь... Мне показалось, у вас тут... кутеж...

Она остановилась, как бы проглотив какое-то слово.

— А когда вы... упрекнули меня; я думала — это говорит хозяйин... и — ошиблась! Очень рада! Это было чувство человеческого достоинства.

Она вдруг вся засветилась хорошей, ясной улыбкой и сердечно, с наслаждением, как бы смакуя слова, говорила:

— Я — очень рада, всё вышло так... ужасно хорошо! Ужасно хорошо!

И исчезла, улыбаясь, точно маленькая серая тучка, освещенная лучами утренней зари. Товарищи смотрели вслед ей. Рожи у обоих были торжественные, хотя немножко смешные. Потом Лунев оглянул комнату и сказал, толкнув Пашку:

— Чисто?

Тот тихонько засмеялся.

— Н-ну... фигура! — легко вздыхая, продолжал Лунев. — Как она... а?

— Как ветром всё смела!..

— Вот — видал? — с торжеством говорил Илья, взбивая жестом руки свои курчавые волосы. — Извинялась как, а? Вот что значит настоящий образованный человек, который всякого может уважать... но никому сам первый не поклонится! Понимаешь?

— Личность хорошая, — улыбаясь, подтвердил Грачев.

— Звездой сверкнула!

— Н-да. И сразу всё разобрала — кому куда и как...

Лунев возбужденно смеялся. Он был рад, что гордая девушка оказалась такой простой, бойкой, и был доволен собою за то, что сумел достойно держаться перед нею.

Гаврик вертелся около них и скучал.

— Гаврилка! — поймав его за плечо, сказал Илья. — Сестра у тебя — молодчина!

— Она добрая! — сказал мальчик снисходительно. — Торговать сегодня будем? А то — пусть будет вроде праздника... я бы в поле пошел тогда!

— Нет сегодня торговли! Павел, идем, брат, и мы с тобой гулять!

— Я пойду в полицию, — сказал Грачев, снова хмурясь, — может, свидание дадут...

— А я — гулять!

Бодрый и радостный, он, не спеша, шел по улице, думая о девушке и сравнивая ее с людьми, которые ему встречались до сей поры. В памяти его звучали слова ее извинения пред ним, он представлял себе ее лицо, выра-

жавшее каждой чертою своей непреклонное стремление к чему-то...

«А как она сначала-то обрывала меня?» — с улыбкой вспомнил он и крепко задумался: почему она, не зная его, ни слова не сказав с ним по душе, начала относиться к нему так гордо, сердито?

Вокруг него кипела жизнь. Шли гимназисты и смеялись, ехали телеги с товарами, катились пролетки, ковылял нищий, громко стучая деревянной ногой по камням тротуара. Двое арестантов в сопровождении конвойного несли на рычаге ушат с чем-то, лениво шла, высунув язык, маленькая собака... Грохот, треск, крики, топот ног — всё сливалось в живой, возбуждающий гул. В воздухе носилась теплая пыль и щекотала ноздри. В небе, чистом и глубоком, горело солнце, обливая всё на земле жарким блеском. Лунев смотрел на всё с удовольствием, какого не испытывал давно уже. Всё было какое-то особенное, интересное. Вот быстро идет куда-то красивая девушка с бойким, румяным лицом и смотрит на Илью так ясно и хорошо, точно хочет сказать ему: «Какой ты славный!..»

Лунев улыбнулся ей.

Мальчик из магазина бежит с медным чайником в руках, льет холодную воду, обрызгивая ею ноги встречных, крышка чайника весело гремит. Жарко, душно, шумно на улице, и густая зелень старых лип городского кладбища манит к себе, в тишину и прохладную тень. Окруженная белой каменной оградой пышная растительность старого кладбища могучей волной поднимается к небу, вершина волны увенчана, как пеной, зеленым кружевом листьев. Там, высоко, каждый лист четко рисуется в синеве небес, и, тихо вздрагивая, он как будто тает...

Вступив в ограду кладбища, Лунев медленно пошел по широкой аллее, вдыхая глубоко душистый запах лип. Между деревьев, под тенью их ветвей, стояли памятники из мрамора и гранита, неуклюжие, тяжелые, плесень покрывала их бока. Кое-где в таинственном полумраке тускло блестели золоченые кресты, полустертые временем буквы надписей. Кусты жимолости, акации, боярышника и бузины росли в оградах, скрывая ветвями могилы. Кое-где в густых волнах зелени мелькал се-

рый деревянный крест, тонкие ветки обнимали его со всех сторон. Белые стволы молодых берез просвечивали бархатом своим сквозь сеть густой листвы; милые и скромные, они как будто нарочно прятались в тени — затем, чтоб быть виднее. За решетками оград, на зеленых холмах, пестрели цветы, в тишине жужжала оса, две белые бабочки играли в воздухе, бесшумно носились какие-то мошки... И всюду из земли мощно пробивались к свету травы и кусты, скрывая собою печальные могилы, вся зелень кладбища была исполнена напряженного стремления расти, развиваться, поглощать свет и воздух, претворять соки жирной земли в краски, запахи, в красоту, ласкающую сердце и глаза. Жизнь везде побеждает, жизнь всё победит!..

Луневу было приятно гулять среди тишины, вдыхая полной грудью сладкие запахи лип и цветов. В нем тоже всё было тихо, спокойно, — он отдыхал душой и ни о чем не думал, испытывая удовольствие одиночества, давно уже неведомое ему.

Он свернул с аллеи влево на узкую тропу и пошел по ней, читая надписи на крестах и памятниках. Его тесно обступили ограды могил, всё богатые, вычурные ограды, кованые и литые.

«Под сим крестом покоится прах раба божия Вонифантия», — прочитал он и улыбнулся: имя показалось ему смешным. Над прахом Вонифантия был поставлен огромный камень из серого гранита. А рядом с ним в другой ограде покоился Петр Бабушкин, двадцати восьми лет...

«Молодой», — подумал Илья.

На скромном белом мраморе в виде колонны он прочитал:

Одним цветком земля беднее стала...

Одной звездой — богаче небеса!

Лунев задумался над этим двустихием, чувствуя в нем что-то трогательное. Но вдруг его как будто толкнуло чем-то прямо в сердце, и он, пошатнувшись, крепко закрыл глаза. Но и закрытыми глазами он ясно видел надпись, поразившую его. Блестящие золотые буквы с коричневого камня как бы врезались в его мозг:

«Здесь покоится тело второй гильдии купца Василия Гавриловича Полуэктова».

Через несколько секунд он уже испугался своего испуга и, быстро открыв глаза, подозрительно начал всматриваться в кусты вокруг себя... Никого не было видно, только где-то далеко служили панихиду. В тишине расплывался тенорок церковнослужителя, возглашавший:

— По-омоли-имси-а-а...

Густой, как бы чем-то недовольный голос отвечал:

— По-ми-луй!

И чуть слышно доносилось звяканье кадила.

Прислонясь спиной к стволу клена, Лунев смотрел на могилу убитого им человека. Он прижал свою фуражку затылком к дереву, и она поднялась у него со лба. Брови его нахмурились, верхняя губа вздрагивала, обнажая зубы. Руки он засунул в карманы пиджака, а ногами уперся в землю.

Памятник Полуэктова изображал гробницу, на крыше была высечена развернутая книга, череп и кости голеней, положенные крестом. Рядом, в этой же ограде, помещалась другая гробница, поменьше; надпись гласила, что под нею покоится раба божия Евпраксия Полуэктова, двадцати двух лет.

«Первая жена», — подумал Лунев. Он подумал это какой-то маленькой частицей мозга, которая оставалась свободной от напряженной работы его памяти. Он весь был охвачен воспоминаниями о Полуэктове, — о первой встрече с ним, о том, как он душил его, а старик мочил слюной своей его руки. Но, вызывая всё это в памяти, Лунев не чувствовал ни страха, ни раскаяния, — он смотрел на гробницу с ненавистью, с обидой в душе, с болью. И безмолвно, с жарким негодованием в сердце, с глубокой уверенностью в правде своих слов, он говорил купцу:

«Из-за тебя, проклятый, всю свою жизнь изломал я, из-за тебя!.. Старый демон ты! Как буду жить?.. Навсегда я об тебя испачкался...»

Ему хотелось громко, во всю силу кричать, он едва мог сдерживать в себе это бешеное желание. Пред ним стояло маленькое ехидное лицо Полуэктова, сердитая лысая голова Строганого с рыжими бровями, самодо-

вольная рожа Петрухи, глупый Кирик, седой Хренов, курносый, с маленькими глазками,— целая вереница знакомых. В ушах у него шумело, и казалось ему, что все эти люди окружают, теснят его, лезут на него непоколебимо прямо.

Он оттолкнулся от дерева,— фуражка с головы его упала. Наклоняясь, чтоб поднять ее, он не мог отвести глаз с памятника меняле и приемщику краденого. Ему было душно, нехорошо, лицо налилось кровью, глаза болели от напряжения. С большим усилием он оторвал их от камня, подошел к самой оgrade, схватился руками за прутья и, вздрогнув от ненависти, плюнул на могилу... Уходя прочь от нее, он так крепко ударял в землю ногами, точно хотел сделать больно ей!..

Домой идти ему не хотелось,— на душе было тяжело, немощная скука давила его. Он шел медленно, не глядя ни на кого, ничем не интересуясь, не думая. Прошел одну улицу, механически свернул за угол, прошел еще немного, понял, что находится неподалеку от трактира Петрухи Филимонова, и вспомнил о Якове. А когда поравнялся с воротами дома Петрухи, то ему показалось, что зайти сюда нужно, хотя и нет желания заходить. Поднимаясь по лестнице черного крыльца, он услышал голос Перфишки:

— Эхма, люди добры, пожалейте ваши ручки, не ломайте мои ребры...

Лунев встал в открытой двери; сквозь тучу пыли и табачного дыма он видел Якова за буфетом. Гладко причесанный, в куцом сюртуке с короткими рукавами, Яков суетился, насыпая в чайники чай, отсчитывал куски сахару, наливал водку, шумно двигал ящиком конторки. Половые подбегали к нему и кричали, бросая на буфет марки:

— Полбутылки! Пару пива! Поджарку за гривенник! «Наловчился!» — с каким-то злорадством подумал Лунев, видя, как быстро мелькают в воздухе красные руки товарища.

— Эх! — с удовольствием воскликнул Яков, когда Лунев подошел к буфету, и тотчас беспокойно оглянул-

ся на дверь сзади себя. Лоб у него был мокр от пота, щеки желтые, с красными пятнами на них. Он схватил руку Ильи и тряс ее, кашляя сухим кашлем.

— Как живешь? — спросил Лунев, заставив себя улыбнуться. — Впрягли?

— Что поделаешь?

Плечи у Якова опустились, он как будто стал ниже ростом.

— Да-авно мы не видались! — говорил он, глядя в лицо Ильи добрыми и грустными глазами. — Поговорить бы... отца, кстати, нет... Вот что: ты проходи-ка сюда... а я мачеху попрошу поторговать...

Он приотворил дверь в комнату отца и почтительно крикнул:

— Мамаша!.. Пожалуйте на минутку...

Илья прошел в ту комнату, где когда-то жил с дядей, и пристально осмотрел ее: в ней только обои почернели да вместо двух кроватей стояла одна и над ней висела полка с книгами. На том месте, где спал Илья, помещался какой-то высокий неуклюжий ящик.

— Ну, вот я освободился на часок! — радостно объявил Яков, входя и запирая дверь на крючок. — Чаю хочешь? Хорошо... Ива-ан,— чаю! — Он крикнул, закашлялся и кашлял долго, упираясь рукой в стену, наклонив голову и так выгибая спину, точно хотел извергнуть из груди своей что-то.

— Здорово ты бухаешь! — сказал Лунев.

— Чахну... Рад же я, что опять вижу тебя... Вон ты стал какой... важный... Ну, каково живешь?

— Я — что? — не сразу ответил Лунев. — Живу... ты вот, интересно знать...

Лунев не чувствовал желания рассказывать о себе, да и вообще ему не хотелось говорить. Он разглядывал Якова и, видя его таким испытанным, жалел товарища. Но это была холодная жалость — какое-то бессодержательное чувство.

— Я, брат... терплю мою жизнь кое-как... — вполголоса сказал Яков.

— Высосал из тебя отец кровь-то...

И-на что тебе рупь?

А ты даром приголубь!

— отчеканивал за стеной Перфишка, подыгрывая на гармонии.

— Что это за ящик? — спросил Илья.

— Это? Это — фисгармония. Отец купил за четвертную, для меня... «Вот, говорит, учись. А потом хорошую куплю, говорит, поставим в трактире, и будешь ты для гостей играть... А то-де никакой от тебя пользы нет...» Это он ловко рассчитал — теперь в каждом трактире орган есть, а у нас нет. И мне приятно играть-то...

— Экий он подлец! — сказал Лунев, усмехаясь.

— Нет, что же? Пускай его... Ведь я и в самом деле бесполезный для него человек...

Илья сурово взглянул на товарища и сказал со злобой:

— Посоветуй-ка ты ему: когда, мол, я, дорогой папаша, помирать буду, так ты меня в трактир вытащи и за просмотрение на смерть мою хоть по пятаку с рыла возьми, с желающих... Вот и принесешь ты ему пользу...

Яков сконфуженно засмеялся и снова стал кашлять, хватая руками то грудь, то горло.

А Перфишка рассказывал про кого-то бойким говорком:

Посты строго соблюдал,
Каждый день недоедал.
В пустом брюхе кишки ныли,
Зато чистенькие были...

— И-эх-ты... Святость! — И его звучная гармония осыпала веселые слова песенки отчаянно задорными трелями.

— Как ты с названным братом живешь? — спросил Илья, когда Яков прокашлялся. Тот, задыхаясь, поднял свое синее с натуги лицо и ответил:

— Он с нами не живет: начальство не велит ему... Дескать — трактир... Он... барином держится...

Яков понизил голос и с грустью продолжал:

— Книгу-то помнишь? Ту?... Отнял он ее у меня... Говорит — редкая, больших, дескать, денег стоит. Унес... Просил я его: оставь! Не согласился...

Илья захохотал. Потом товарищи начали пить чай. Обои в комнате потрескались, и сквозь щели переборки из трактира в комнату свободно текли и звуки и

запах. Всё заглушая, в трактире раздавался чей-то звонкий, возбужденный голос:

— Митрь Николаич! Не перетолковывай ты мои честные слова на жульнический манер!

— Читаю я теперь, брат, одну историю, — говорил Яков, — называется «Юлия, или Подземелье замка Мадзини»... Очень интересно!.. А ты как по этой части?

— Наплевать мне в это подземелье! Сам невысоко живу над землей-то... — угрюмо ответил Лунев.

Яков участливо взглянул на него и спросил:

— Али тоже что-нибудь неладно?

Лунев думал — рассказать Якову про Машу или не надо? Но Яков сам заговорил кротким голосом:

— Ты вот всё того, Илья... ершишься, злобишься... Ну, напрасно это, по-моему. Видишь ли, никто ни в чем не виноват!

Лунев пил чай и молчал.

— И ведь «коемуждо воздастся по делом его» — это верно! Примерно, отец мой... Надо прямо говорить — мучитель человеческий! Но явилась Фекла Тимофеевна и — хоп его под свою пяту! Теперь ему так живется — ой-ой-ой! Даже выпивать с горя начал... А давно ли обвенчались? И каждого человека за его... нехорошие поступки какая-нибудь Фекла Тимофеевна впереди ждет...

Илье стало скучно слушать, — он нетерпеливо двинул свою чашку по подносу и вдруг неожиданно для самого себя спросил товарища:

— Ты теперь чего ждешь?

— Откуда? — широко раскрыв глаза, тихим голосом молвил Яков.

— Ну из... от... впереди — чего ждешь? — резко повторил Илья свой вопрос.

Яков молча опустил голову и задумался.

— Ну? — вполголоса сказал Илья, ощущая в сердце жгучее беспокойство и желание уйти скорее из трактира.

— Что мне ждать? — тихонько и не глядя на него, заговорил Яков. — Ждать... нечего! Помру... вот и всё.

Он вскинул голову и с тихой, довольной улыбкой на измученном лице продолжал:

— Голубые сны вижу я... Понимаешь — всё будто

голубое... Не только небо, а и земля, и деревья, и цветы, и травы — всё! Тишина такая... Как будто и нет ничего, до того всё недвижимо... и всё голубое. Идешь будто куда-то, без усталости идешь, далеко, без конца... И невозможно понять — есть ты или нет? Очень легко... Голубые сны — это перед смертью.

— Прощай! — сказал Лунев, вставая со стула.

— Куда ты? Посиди!

— Нет, прощай!

Яков тоже встал.

— Ну... иди!..

Лунев стиснул его горячую руку и молча уставился в лицо ему, не зная, что сказать товарищу на прощанье. А сказать что-то такое хотелось, так хотелось, что даже сердце щемило от этого желания.

— А Машутка-то? Тоже... слышь, пло-охо живет... — грустно сказал Яков.

— Да...

— Видно, всем нам — одна судьба... Тебе тоже — тяжело, а?

Яков говорил и улыбался слабой улыбкой. И звук его голоса и слова речей — всё в нем было какое-то бескровное, бесцветное... Лунев разжал свою руку, — рука Якова слабо опустилась.

— Ну, Яша, прости...

— Бог простит! Заходи?

Илья вышел, не ответив.

На улице ему стало легче. Он ясно понимал, что скоро Яков умрет, и это возбуждало в нем чувство раздражения против кого-то. Якова он не жалел, потому что не мог представить, как стал бы жить между людей этот тихий парень. Он давно смотрел на товарища как на обреченного к исчезновению. Но его возмущала мысль: за что измучили безобидного человека, за что прежде времени согнали его со света? И от этой мысли злоба против жизни — теперь уже основа души — росла и крепла в нем.

Ночью ему не спалось. В комнате, несмотря на открытое окно, было душно. Он вышел на двор и лег на землю под вязом, у забора. Лежа на спине, он смотрел в ясное небо и чем пристальнее смотрел, тем больше

видел в нем звезд. Млечный путь серебристой тканью разостлался по небу от края до края, — смотреть на него сквозь ветви дерева было приятно и грустно. В небе, где нет никого, сверкают звезды, а земля... чем украшена? Илья прищуривал глаза — тогда казалось, что ветви поднимаются выше и выше. На голубом, усеянном яркими звездами бархате небес черные узоры листвы были похожи на чьи-то руки, простертые к небу в попытке достичь его высот. Илье вспоминались голубые сны товарища, и пред ним вставал образ Якова, тоже весь голубой, легкий, прозрачный, с яркими и добрыми, как звезды, глазами... Вот жил человек, и его замучили за то, что он смирно жил... А мучители живут как хотят...

Сестра Гаврика стала ходить в лавочку Лунева почти каждый день. Она являлась постоянно озабоченная чем-то, здороваясь с Ильей, крепко встряхивала его руку и, перекинувшись с ним несколькими словами, исчезала, оставляя после себя что-то новое в мыслях Ильи. Однажды она спросила его:

— Вам нравится торговать?

— Не так, чтобы — очень, — пожимая плечами, ответил Лунев. — Однако надо чем-нибудь жить...

Она внимательно посмотрела в его лицо серьезными глазами своими, ее лицо как-то еще больше выдвинулось вперед.

— А вы не пробовали жить каким-нибудь трудом? — спросила девушка.

Илья не понял ее вопроса:

— Как вы сказали?

— Вы работали когда-нибудь?

— Всегда. Всю жизнь. Вот — торгую... — с недоумением ответил Лунев.

Она улыбнулась, — и в улыбке ее было что-то обидное.

— Вы думаете — торговля труд? Вы думаете — это всё равно? — быстро спросила она.

— А как же?

Глядя на ее лицо, Лунев чувствовал, что она говорит серьезно, не шутит.

— О нет, — снисходительно улыбаясь, продолжала девушка. — Труд — это когда человек создает что-нибудь затратой своей силы... когда он делает... тесемки, ленты, стулья, шкафы... понимаете?

Лунев молча кивнул головой и покраснел: ему было стыдно сказать, что он не понимает.

— А торговля — какой же труд? Она ничего не дает людям! — с убеждением сказала девушка, пытливо разглядывая лицо Ильи.

— Конечно, — медленно и осторожно заговорил он, — это вы верно... Торговать не очень трудно... кто привык... Но только и торговля дает... не давала бы ба-рыша, зачем и торговать?

Она замолчала, отвернувшись от него, заговорила с братом и скоро ушла, простившись с Ильей только кивком головы. Лицо у нее было такое, как раньше, — до истории с Машей, — сухое, гордое. Илья задумался: не обидел ли он ее неосторожным словом? Он вспомнил всё, что сказал ей, и не нашел ничего обидного. Потом задумался над ее словами, они занимали его. Какую разницу видит она между торговлей и трудом?

Он не мог понять, отчего у нее такое сердитое, задорное лицо, когда она добрая и умеет не только жалеть людей, но даже помогать им. Павел ходил к ней в дом и с восторгом нахваливал ее и все порядки в ее доме.

— Придешь это к ним... «А, здравствуйте!» Обедают — садись обедать, чай пьют — пей чай! Простота! Народищу всякого — уйма! Весело, — поют, кричат, спорят про книжки. Книжек — как в лавке. Тесно, толкаются, смеются. Народ всё образованный — адвокат там один, другой скоро доктором будет, гимназисты и всякие эдакие фигуры. Совсем забудешь, кто ты есть, и тоже заодно с ними и хохочешь, и куришь, и всё. Хороший народ! Веселый, а сурьезный...

— Меня вот, не бойсь, не позовет... — сумрачно сказал Лунев. — Гордячка...

— Она? — воскликнул Павел. — Я тебе говорю — простота! Ты зову не жди, а вали прямо... Придешь и — конечно! У них всё равно как в трактире, — ей-богу! Свободно... Я тебе говорю — что я против их? Но с двух раз — свой человек... Интересно! Играючи живут...

— Ну, а Машутка как? — спросил Илья.

— Ничего, отдышалась немного... Сидит, улыбается. Лечат ее чем-то... молоком поят... Хренову-то попадет за нее!.. Адвокат говорит — здорово влепят старому чёрту... Возят Машку к следователю... Насчет моей тоже хлопочут, чтобы скорее суд... Нет, хорошо у них!.. Квартира маленькая, людей — как дров в печи, и все так и пылают...

— А она, сама-то? — допрашивал Лунев.

О ней Павел рассказывал, как в детстве об арестантах, научивших его грамоте. Он весь напрягался и внушительно сообщал, пересыпая речь междометиями:

— Она, брат, ого-го! Она всем командует, а чуть кто не так сказал или что — она ффр!.. Как кошка...

— Это мне известно... — сказал Илья и усмехнулся.

Он завидовал Павлу: ему очень хотелось побывать у строгой гимназистки, но самолюбие не позволяло ему действовать прямо.

Стоя за прилавком, он упорно думал:

«Людей много, и каждый норовит пользоваться чем-нибудь от другого. А ей — какая польза брать под свою защиту Машутку, Веру?.. Она — бедная. Чай, каждый кусок в доме-то на счету... Значит, очень добрая... А со мной говорит эдак... Чем я хуже Павла?»

Эти думы так крепко охватили его, что он стал относиться ко всему остальному почти равнодушно. В темноте его жизни как бы открылась некая щель, и сквозь нее он скорее чувствовал, чем видел, вдали мерцание чего-то такого, с чем он еще не сталкивался.

— Мой друг, — сухо и внушительно говорила ему Татьяна Власьева, — тесьмы шерстяной узкой надо бы прикупить. Гиюр тоже на исходе... Мало и ниток черных номер пятидесятый... Пуговицы перламутровые предлагает одна фирма, — комиссионер у меня был... Я послала сюда. Приходил он?

— Нет, — кратко ответил Илья. Эта женщина стала для него противной. Он подозревал, что Татьяна Власьева взяла к себе в любовники Корсакова, недавно произведенного в пристава. Ему она назначала свидания всё реже, хотя относилась так же ласково и шуточно, как и раньше. Но и от этих свиданий Лунев, под разными

предлогами, отказывался. Видя, что она не сердится на него за это, он ругал ее про себя:

«Блудня... гадина...»

Она особенно гадка была ему, когда приходила в магазин проверять товар. Вертясь по лавочке, как волчок, она вскакивала на прилавок, доставала с верхних полок картонки, чихала от пыли, встряхивала головой и пилила Гаврика:

— Мальчик при магазине должен быть ловок и услужлив. Его не за то кормят хлебом, что он сидит целый день у двери и чистит себе пальцем в носу. А когда говорит хозяйка, он должен слушать внимательно и не смотреть букой...

Но у Гаврика был свой характер. Слушая щебетанье хозяйки, он пребывал в полном равнодушии. Разговаривал он с нею грубо, без признаков почтения к ее сану хозяйки. А когда она уходила, он замечал хозяину:

— Ускакала пигалица...

— Так нельзя говорить про хозяйку,— внушал ему Илья, стараясь не улыбаться.

— Какая она хозяйка? — протестовал Гаврик.— Придет, натрещит и ускачет... Хозяин — вы.

— И она... — слабо возражал Илья, любивший солидного и прямодушного мальчонку.

— А она — пигалица... — не уступал Гаврик.

— Вы не учите мальчика,— говорила Автономова Илье,— и вообще... я должна сказать, что за последнее время всё у нас идет как-то... без увлечения, без любви к делу...

Лунев молчал и, ненавидя ее всей душой, думал:

«Хоть бы ты, анафема, ногу себе вывихнула, прыгая тут...»

Он получил письмо от дяди и узнал, что Терентий был не только в Киеве, но и у Сергия, чуть было не уехал в Соловки, попал на Валаам и скоро воротится домой.

«Вот еще удовольствие,— с досадой подумал Илья.— Наверно, со мной захочет жить...»

Явились покупатели, а когда он занимался с ними, вошла сестра Гаврика. Устало, едва переводя дыхание,

она поздоровалась с ним и спросила, кивая головой на дверь в комнату:

— Там — вода есть?

— Сейчас подам! — сказал Илья.

— Я сама...

Она прошла в комнату и осталась там до поры, пока Лунев, отпустив покупателей, не вошел к ней. Он застал ее стоящей пред «Ступенями человеческой жизни». Повернув голову навстречу Илье, девушка указала глазами на картину и проговорила:

— Какая пошлость...

Лунев почувствовал себя сконфуженным ее замечанием и улыбнулся, чувствуя себя в чем-то виноватым, но, прежде чем он успел спросить у нее объяснения, она ушла...

Через несколько дней она брату принесла белье и сделала ему выговор за то, что он слишком небрежно относится к одежде — рвет, пачкает.

— Ну-ну, — строптиво сказал Гаврик, — поехала. Меня хозяйка всегда кусает, да ты еще будешь теперь!..

— Что он — очень шалит? — спросила гимназистка Илью.

— Не больше, сколько умеет... — любезно ответил Лунев.

— Я — совсем смирный, — отрекомендовался мальчик.

— Язычок у него длинноват, — сказал Илья.

— Слышишь? — спросила Гаврика сестра, нахмурив брови.

— Ну и слышу, — сердито отозвался тот.

— Это ничего... — снисходительно заговорил Илья. — Человек, который хоть огрызнуться умеет, всё же в выигрыше против других... Другого бьют, а он молчит, и забивают его, бессловесного, в гроб...

Девушка слушала его слова, а на лице ее явилось что-то вроде удовольствия. Илья заметил это.

— Что я вас хочу спросить, — сказал он и немножко смутился.

— Что?

Она подошла почти вплоть к нему, глядя прямо в его глаза. Взгляда ее он не мог выносить, опустил голову и продолжал:

— Вы, понял я, торговцев не любите?

— Да!..

— За что?

— Они живут чужим трудом... — отчетливо объяснила девушка.

Илья высоко вскинул голову и поднял брови. Эти слова не только удивляли, но уже прямо обижали его. А она сказала их так просто, внятно...

— Это — неправда-с, — громко объявил Лунев, помолчал.

Теперь ее лицо вздрогнуло, покраснело.

— Сколько стоит вам вон та лента? — сухо и строго спросила она.

— Эта?.. Семнадцать копеек аршин...

— Почему продаете?

— Двадцать...

— Ну вот... Три копейки, которые берете вы, принадлежат не вам, а тому, кто ленту работал. Понимаете?

— Нет! — откровенно сознался Лунев.

Тогда в глазах девушки вспыхнуло что-то враждебное ему. Он ясно видел это и оробел пред нею, но тотчас же рассердился на себя за эту робость.

— Да, я думаю, вам не легко понять такую простую мысль, — говорила она, отступив от прилавка к двери. — Но — представьте себе, что вы — рабочий, вы делаете все это...

Широким жестом руки она повела по магазину и продолжала рассказывать ему о том, как труд обогащает всех, кроме того, кто трудится. Сначала она говорила так, как всегда, — сухо, отчетливо, и некрасивое лицо ее было неподвижно, а потом брови у ней дрогнули, нахмурились, ноздри раздулись, и, высоко вскинув голову, она в упор кидала Илье крепкие слова, пропитанные молодой, непоколебимой верой в их правду.

— Торгаш стоит между рабочим и покупателем... он ничего не делает, но увеличивает цену вещи... торговля — узаконенное воровство.

Илья чувствовал себя оскорбленным, но не находил слов, чтоб возразить этой дерзкой девушке, прямо в глаза ему говорившей, что он бездельник и вор. Он стиснул зубы, слушал и не верил ее словам, не мог

верить. И, отыскивая в себе такое слово, которое сразу бы опрокинуло все ее речи, заставило бы замолчать ее, — он в то же время любовался ее дерзостью... А обидные слова, удивляя его, вызывали в нем тревожный вопрос: «За что?»

— Всё это — не так-с! — громким голосом прервал он ее наконец, ибо почувствовал, что больше уже не может безответно слушать ее речь. — Нет... я не согласен!

В груди его вскипало бурное раздражение, лицо покрылось красными пятнами.

— Возражайте! — спокойно сказала девушка, садясь на табурет, и, перебросив свою длинную косу на колени себе, она стала играть ею.

Лунев вертел головой, чтоб не встречаться с ее недружелюбным взглядом.

— И возражу! — не сдерживаясь больше, крикнул он. — Я... всей жизнью возражу!! Я... может быть, великий грех сделал, прежде чем до этого дошел...

— Тем хуже... Но это не возражение... — сказала девушка и точно холодной водой плеснула в лицо Ильи. Он оперся руками о прилавок, нагнулся, точно хотел перепрыгнуть через него, и, встряхивая курчавой головой, обиженный ею, удивленный ее спокойствием, смотрел на нее несколько секунд молча. Ее взгляд и неподвижное, уверенное лицо сдерживали его гнев, смущали его. Он чувствовал в ней что-то твердое, бесстрашное. И слова, нужные для возражения, не шли ему на язык.

— Ну, что же вы? — хладнокровно вызывая его, спросила она. Потом усмехнулась и с торжеством сказала: — Возражать мне нельзя, потому что я сказала истину!

— Нельзя? — глухо переспросил Лунев.

— Да, нельзя! Что вы можете возражать?

Она снова улыбнулась снисходительной улыбкой.

— До свиданья!

И ушла, подняв голову еще выше, чем всегда.

— Это пустяки! Неверно-с! — крикнул Лунев вслед ей. Но она не обернулась на его крик.

Илья опустил на табурет. Гаврик, стоя у двери, смотрел на него и, должно быть, был очень доволен

поведением сестры, — лицо у него было важное, победоносное.

— Что смотришь? — сердито крикнул Лунев, чувствуя, что этот взгляд неприятен ему.

— Ничего! — ответил мальчик.

— То-то!.. — угрожающим голосом произнес Лунев и, помолчав, добавил: — Иди... гуляй!

Но и оставшись наедине, он не мог собраться с мыслями. Он не вдумывался в смысл того, что сказала ему девушка, ее слова прежде всего были обидны.

«Что я ей сделал?.. Пришла, осудила и ушла... Ну-ка, приди-ка еще! Я тебе отвечу...»

Грозя ей, искал — за что она обидела его? Ему вспомнилось, как Павел рассказывал о ее уме, простоте.

«Пашку, не бойсь, не обижает...»

Приподняв голову, он увидел себя в зеркале. Черные усики шевелились над его губой, большие глаза смотрели устало, на скулах горел румянец. Даже и теперь его лицо, обеспокоенное, угрюмое, но все-таки красивое грубоватой красотой, было лучше болезненно желтого, костлявого лица Павла Грачева.

«Неужто Пашка ей больше меня нравится? — подумал он. И тотчас же возразил сам себе: — А что ей до моей рожки? Не жених...»

Он пошел в комнату, выпил стакан воды, оглянулся. Яркое пятно картины бросилось в глаза ему, он уставился на размеренные «Ступени человеческого века», думая:

«Обман это... Разве так живут?»

И вдруг добавил безнадежно:

«Да и так если — тоже скука!..»

Медленно подойдя к стене, он сорвал с нее картину и унес в магазин. Там, разложив ее на прилавке, он снова начал рассматривать превращения человека и смотрел теперь с насмешкой, пока от картины зарябило в глазах. Тогда он смял ее, скомкал и бросил под прилавок; но она выкатилась оттуда под ноги ему. Раздраженный этим, он снова поднял ее, смял крепче и швырнул в дверь, на улицу...

На улице было шумно. По той стороне, тротуаром, кто-то шел с палкой. Палка стучала по камням не в раз

с ногой идущего, казалось, что у него три ноги. Ворковали голуби. Где-то громыхало железо, — должно быть, трубочист ходил по крыше. Мимо магазина проехал извозчик. Он дремал, и голова у него качалась. И всё качалось вокруг Ильи. Он взял счеты, посмотрел на них и положил — двадцать копеек. Посмотрел еще и — семнадцать скинул. Осталось три копейки. Он щелкнул по косточкам ногтем; косточки завертелись на проволоке с тихим шумом и, разъединившись, остановились.

Илья вздохнул, отодвинул счеты прочь, навалился грудью на прилавок и замер, слушая, как бьется его сердце.

На другой день сестра Гаврика опять пришла. Она была такая же, как всегда: в том же стареньком платье, с тем же лицом.

«Ишь ты», — неприязненно подумал Лунев, наблюдая ее из комнаты.

На поклон девушки он неохотно склонил перед ней голову. А она вдруг улыбнулась доброй улыбкой и ласково спросила его:

— Вы что какой бледный? Нездоровы, да?

— Здоров, — кратко ответил Илья, стараясь не выдавать перед нею чувства, возбужденного ее вниманием. А чувство было хорошее, радостное: улыбка и слова девушки коснулись его сердца так мягко и тепло, но он решил показать ей, что обижен, тайно надеясь, что девушка скажет ему еще ласковое слово, еще улыбнется. Решил — и ждал, надутый, не глядя на нее.

— Вы, кажется, обиделись на меня? — раздался ее твердый голос. Он так резко отличался от тех звуков, которыми она сказала свои первые слова, что Илья тревожно взглянул на нее, а она уж вновь была такая, как всегда, что-то заносчивое, задорное было в ее темных глазах.

— Я к обидам привык, — сказал Лунев и усмехнулся в лицо ей вызывающей улыбкой, чувствуя холод разочарования в груди.

«А, ты играешь! — думалось ему. — Погладишь да прибьешь? Ну нет...»

— Я не хотела обижать вас...

— Вам меня обидеть трудно! — дерзко и громко заговорил он. — Я ведь вам цену знаю-с: птица вы невысокого полета!

Она выпрямилась при этих словах, удивленная, широко открыв глаза. Но Илья уже не видел ничего: буйное желание отплатить ей охватило его, как огнем, и, намеренно не торопясь, он обкладывал ее тяжелыми и грубыми словами:

— Барство ваше, гордость эта — вам недорого обходятся, в гимназиях всяк может этого набраться... А без гимназий — швея вы, горничная... По бедности вашей ничем другим быть не можете, — верно-с?

— Что вы говорите? — тихо воскликнула она.

Илья смотрел ей в лицо и с удовольствием видел, как раздуваются ее ноздри, краснеют щеки.

— Говорю, что думаю! А думаю я так, что дешевоу вашему барству — грош цена!

— Во мне нет барства! — звенящим голосом крикнула девушка. Братишка подбежал к ней, схватил ее за руку и, злыми глазами глядя на хозяина, тоже закричал:

— Уйдем, Сонька!

Лунев окинул их взглядом и уже с ненавистью, хладнокровно сказал:

— Да-с, — уйдите-ка! Ни я вам, ни вы мне... не нужны.

Они оба как-то странно мелькнули в его глазах и исчезли. Он засмеялся вслед им. Потом, оставшись один в магазине, несколько минут стоял неподвижно, упиваясь острой сладостью удавшейся мести. Возмущенное, недоумевающее, немного испуганное лицо девушки хорошо запечатлелось в его памяти.

«Мальчишка-то... какой...» — вертелась у него в голове бессвязная мысль: поступок Гаврика немножко мешал ему, нарушая его настроение.

«Вот тебе и спесь!.. — внутренне усмехаясь, думал он. — Танечка бы пришла теперь... я бы и ей... заодно...»

Он ощущал в себе желание растолкать всех людей прочь от себя, растолкать их грубо, обидно, без пощады...

Но Танечка не пришла, весь день он пробыл один, и день этот был странно длинен. Ложась спать, Илья чувствовал себя одиноким и обиженным этим одиночеством еще более, чем словами девушки. Закрыв глаза, он вслушивался в тишину ночи и ждал звуков, а когда звук раздавался, Илья вздрагивал и, пугливо приподняв голову с подушки, смотрел широко открытыми глазами во тьму. Вплоть до утра он не мог уснуть, чего-то ожидая, чувствуя себя точно запертым в погребке, задыхаясь от жары и неуклюжих, бессвязных мыслей. Он встал с тяжелой головой, хотел поставить самовар, но не поставил, а, умывшись, выпил ковш воды и открыл магазин.

Около полудня явился Павел, сердитый, с нахмуренными бровями. Не здороваясь с товарищем, он прямо спросил его:

— Ты что это зазнаешься?

Илья понял, о чем он говорит, и, безнадежно трянув головой, промолчал, думая:

«И этот против меня...»

— За что ты Софью Никоновну обидел? — строго допрашивал Павел, стоя перед ним. В надутом лице Грачева и в укоряющих его глазах Илья видел осуждение себе, но отнесся к нему равнодушно.

Медленно, усталым голосом он сказал:

— Ты бы прежде поздоровался, что ли... да и шапку сними — здесь икона...

Но Павел схватил фуражку за козырек, надвинул ее на голову плотнее, задорно скривил губы и заговорил торопливо, горячо, вздрагивающим голосом:

— Форси! Разбогател! Наелся! Вспомнил бы, как говорил — «нет человека для нас!» А вот он нашелся — гонишь его... Эх ты, купец!

Тупое чувство какой-то лени мешало Луневу отвечать на слова товарища. Безразличным взглядом он рассматривал возбужденное, насмешливое лицо Павла и чувствовал, что укоры не задевают его души. Желтые волоски в усах и на подбородке Грачева были как плесень на его худом лице, и Лунев смотрел на них, равнодушно соображая:

«Разве я се очень обидел? Мог хуже...»

— Она всё понимает, всё может объяснить... а ты с ней... эх! — говорил Павел, по обыкновению густо пересыпая свою речь междометиями.

— Перестань, — сказал Лунев. — Что ты меня учишь? Как хочу, так и делаю... Как хочу, так и живу... Надоели вы мне все... Ходите, говорите...

И, тяжело прислоняясь к полкам с товаром, Лунев задумчиво, как бы спрашивая сам себя, выговорил:

— А что вы можете сказать?

— Она всё может! — с глубоким убеждением воскликнул Павел и даже руку поднял кверху, точно готовясь принять присягу. — Они знают всё!

— Ну, и ступай к ним! — равнодушно посоветовал ему Илья. И слова и возбуждение Павла были неприятны ему, но возражать товарищу он не имел желаний. Скука, тяжелая и липкая, мешала ему говорить и думать, связывала его.

— И уйду! — угрожая, говорил Павел. — Уйду потому что понимаю: мне только около них и можно жить... около них можно всё для себя найти, да!

— Не ори! — сказал ему Лунев негромко и бесильно.

Пришла девочка и спросила дюжину пуговиц рубашечных. Илья, не торопясь, дал ей просимое, взял из ее руки двугривенный, потер его между пальцами и возвратил покупательнице, сказав:

— Сдачи нет, — после принесешь...

Сдача была в конторке, но ключ лежал в комнате, и Луневу не хотелось пойти за ним. Когда девочка ушла, Павел не возобновлял разговора. Стоя у прилавка, он хлопал себя по колену снятым с головы картузом и смотрел на товарища, как бы ожидая от него чего-то. Но Лунев, отвернувшись в сторону, тихо свистел сквозь зубы.

— Ну, что же ты? — вызывающе спросил Павел.

— Ничего, — не сразу ответил Лунев.

— Так-таки — ничего?

— Отстань Христа ради! — воскликнул Лунев нетерпеливо.

Грачев кинул картуз на голову себе и ушел. Илья проводил его глазами и снова засвистал.

Большая рыжая собака заглянула в дверь, помахала хвостом и исчезла. Потом явилась в двери старуха-нищая, с большим носом. Она кланялась и говорила вполголоса:

— Подайте, батюшка, милостыньку!..

Лунев молча кивнул ей головой, отказывая в милостыне. По улице в жарком воздухе колебался шум трудового дня. Казалось, топится огромная печь, трещат дрова, пожираемые огнем, и дышат знойным пламенем. Гремит железо — это едут ломовики: длинные полосы, свешиваясь с телег, задевают за камни мостовой, взвизгивают, как от боли, ревут, гудят. Точильщик точит ножи — злой, шипящий звук режет воздух...

Каждая минута рождает что-нибудь новое, неожиданное, и жизнь поражает слух разнообразием своих криков, неутомимостью движения, силой неустанного творчества. Но в душе Лунева тихо и мертво: в ней всё как будто остановилось, — нет ни дум, ни желаний, только тяжелая усталость. В таком состоянии он провел весь день и потом ночь, полную кошмаров... и много таких дней и ночей. Приходили люди, покупали, что надо было им, и уходили, а он их провожал холодной мыслью:

«Я им не нужен, и они мне не нужны... Буду жить один...»

Вместо Гаврика ему ставила самовар и носила обед кухарка домохозяйина, женщина угрюмая, худая, с красным лицом. Глаза у нее были бесцветные, неподвижные. Иногда, взглянув на нее, Лунев ощущал где-то в глубине души возмущение:

«Неужто ничего хорошего так и не увижу я?»

Он уже привык к разнородным впечатлениям, и хотя они волновали, злили его, но с ними всё же лучше было жить. Их приносили люди. А теперь люди исчезли куда-то, — остались одни покупатели. Потом ощущение одиночества и тоска о хорошей жизни снова утопали в равнодушии ко всему, и снова дни тянулись медленно, в какой-то давящей духоте.

Однажды поутру Илья только что проснулся и сидел на постели, думая, что вот опять день пришел — нужно его прожить...

В дверь со двора постучали дробным, частым стуком.

Илья встал, думая, что это кухарка за самоваром пришла, отпер дверь и очутился лицом к лицу с горбуном.

— Эге-ге! — качая головой и улыбаясь, заговорил Терентий. — Девятый час, а у тебя, торговец, лавка не отперта!

Илья стоял пред ним, мешая ему войти в дверь, и тоже улыбался. Лицо у Терентия загорело, но как-то обновилось; глаза смотрели радостно и бойко. У ног его лежали мешки, узлы, и он сам среди них казался узлом.

— Пускай, что ли, в жилье-то!

Илья молча начал втаскивать узлы, а Терентий отыскал глазами образ, осенил себя крестом и, поклонясь, сказал:

— Слава тебе, господи, — вот я и дома! Ну, здравствуй, Илья!

Обнимая дядю, Лунев почувствовал, что тело горбуна стало крепким, сильным.

— Умыться бы мне, — говорил Терентий, оглядывая комнату. Хождение с котомкой за плечами как будто оттянуло его горб книзу.

— Как поживаешь? — спрашивал он племянника, бросая пригоршнями воду на свое лицо.

Илье было приятно видеть дядю таким обновленным. Он хлопотал около стола, приготавливая чай, но отзывался на вопросы горбуна сдержанно, осторожно.

— Ты — как?

— Я? Хорошо! — Терентий закрыл глаза и с довольной улыбкой покачал головой. — Так-то ли хорошо я сходил, — лучше не надо! Живой водицы испил, словом сказать...

Он уселся за стол, намотал свою бородку на палец и, склонив голову набок, стал рассказывать:

— Был я у Афанасья Сидящего и у переяславльских чудотворцев, и у Митрофания Воронежского, и у Тихона Задонского... ездил на Валаам остров... множество земли исходил. Многим угодникам молился, а сейчас был у Петра — Фавроньи в Муроме...

Должно быть, он испытывал большое удовольствие, перечисляя имена угодников и города, — лицо у него было сладкое, глаза смотрели гордо. Слова своей речи он произносил на тот певучий лад, которым умелые рассказчики сказывают сказки или жития святых.

— В пещерах святой лавры тишь стоит непоколебимая, тьма в них страховитая, а во тьме детскими глазыньками лампадки блещут, и святым миром пахнет...

Вдруг хлынул дождь, за окном раздался вой, визг, железо крыш гудело, вода, стекая с них, всхлипывала, и в воздухе как бы дрожала сеть толстых нитей стали.

— Та-ак,— медленно протянул Илья.— Ну, что же — облегчился?

Терентий замолчал на минуту, потом, наклоняясь к Илье, пониженным голосом сказал ему:

— Примером скажу: как сапог ногу, жал мне сердце грех этот, невольный мой... Невольный,— потому, не послушал бы я в ту пору Петра, он бы меня — швырь вон! Вышвырнул бы... Верно?

— Верно!— согласился Илья.

— Ну вот!.. А как я пошел... эдакая легкость на душе явилась... Иду и говорю: «Господи, видишь? Иду ко угодникам твоим...»

— Значит — рассчитался?— спросил Лунев с улыбкой.

— Как он примет мою молитву — не ведаю! — сказал горбун, подняв глаза кверху.

— Да совесть-то как? Спокойна?

Терентий подумал, как бы прислушиваясь к чему-то, и сказал:

— Молчит...

Илья встал, подошел к окну. Широкие ручьи мутной воды бежали около тротуара; на мостовой, среди камней, стояли маленькие лужи; дождь сыпался на них, они вздрагивали: казалось, что вся мостовая дрожит. Дом против магазина Ильи нахмурился, весь мокрый, стекла в окнах его потускнели, и цветов за ними не было видно. На улице было пусто и тихо, — только дождь шумел и журчали ручьи. Одинокий голубь прятался под карнизом, усевшись на наличнике

окна, и отовсюду с улицы веяло сырой, тяжелой скукой.

«Осень начинается», — мелькнуло в голове Лунева.

— Чем иным оправдаться можно, как не молитвой? — говорил Терентий, развязывая свой мешок.

— Просто очень, — хмуро заметил Илья, не оборачиваясь к дяде. — Согрешил, помолился — чист! Валий опять — грешу...

— За-ачем? Живи строго...

— Чего ради?

— А — совесть чистая?

— А что в ней толку?

— Н-ну-у... — неодобрительно протянул Терентий. — Как ты это говоришь...

— Так и говорю, — настойчиво и твердо продолжал Илья, стоя спиной к дяде.

— Грех!

— Ну и грех...

— Наказан будешь!

— Нет...

Теперь он отвернулся от окна и смотрел в лицо Терентия. Горбун, чмокая губами, долго искал слова, чтобы возразить, и, найдя его, внушительно выговорил:

— Будешь!.. Вот я — согрешил и был наказан...

— Чем это? — угрюмо спросил Илья.

— Страхом! Жил и всё боялся — вдруг узнают?

— А я вот согрешил, а не боюсь, — объявил Илья, усмехаясь.

— Дуришь ты, — сказал Терентий строгим голосом.

— Не боюсь! Жить мне трудно, однако...

— А-а! — воскликнул Терентий с торжеством. — Вот и наказание!

— За что? — крикнул Илья почти с бешенством. Челюсть у него тряслась. Терентий смотрел на него испуганно, помахивая в воздухе какой-то веревочкой.

— Не кричи, не кричи! — говорил он вполголоса.

Но Илья кричал. Давно уже он не говорил с людьми и теперь выбрасывал из души всё, что накопилось в ней за эти дни одиночества.

— Не только грабь, — убивай! — ничего не будет!

Некому наказывать... Наказывают неумеющих, а кто умеет — тот всё может делать, всё!

Вдруг за дверью что-то грохнуло, покатилося, затрещало и остановилось где-то близко, у самой двери. Они оба, вздрогнув, замолчали.

— Что это? — тихо и пугливо сказал горбун.

Илья подошел к двери, отворил ее и выглянул на двор. В комнату влетел тихий свист, хрип, шёпот, вихрь звуков.

— Ящики развалились, — сказал Лунев, затворяя дверь и снова проходя к окну.

Терентий присел на пол разбирать свои мешки, говоря:

— Нет, ты подумай! Ты такие слова кричишь, ой-ой, брат! Безбожием бога не прогневаешь, но себя погубишь... Слова — мудрые, — я дорогой слышал их от одного человека... Сколько мудрости слышал я!

Он снова начал рассказывать о своем путешествии, искоса поглядывая на Илью. А Илья слушал его речь, как шум дождя, и думал о том, как он будет жить с дядей...

Зажили недурно. Терентий сделал себе из ящичков кровать между печью и дверью, в углу, где по ночам тьма сгущалась плотнее, чем в других местах комнаты. Присмотревшись к жизни Лунева, он взял на себя обязанности Гаврика — ставил самовары, убирал магазин и комнату, ходил в трактир за обедом и всегда мурлыкал себе под нос акафисты. Вечерами он рассказывал племяннику о том, как Аллилуиева жена спасла Христа от врагов, бросив в горящую печь своего ребенка, а Христа взяв на руки вместо него. Рассказывал о том, как монах триста лет слушал пение птички; о Кирике и Улите и о многом другом. Лунев, слушая его, думал свои думы... По вечерам он уходил гулять, и всегда его манило за город. Там, в поле, ночью было тихо, темно и пустынно, как в его душе.

Через неделю после его возвращения Терентий сходил к Петрухе Филимонову и вернулся от него обескураженный, обиженный. Но когда Илья спросил — что с ним? — он ответил торопливо:

— Ничего, ничего! Был, значит, видел всё, стало быть... поговорили...

— Что Яков? — спросил Илья.

— Он, Яков-то, того... помирать хочет... Желтый... кашляет...

Терентий замолчал, глядя в угол, грустный и жалкий.

Жизнь шла ровно, однообразно: дни походили один на другой, как медные пятаки чеканки одного года. Угрюмая злоба хоронилась в глубине души Лунева, как большая змея, и пожирала все впечатления этих дней. Никто из старых знакомых не приходил к нему: Павел и Маша, видимо, нашли себе другую дорогу в жизни; Матицу сшибла лошадь, и баба умерла в больнице; Перфишка исчез, точно провалился сквозь землю. Лунев всё собирался пойти к Якову и не мог собраться, чувствуя, что ему не о чем говорить с умирающим товарищем. Утром он читал газету, а днем сидел в магазине, глядя, как осенний ветер гоняет по улице желтые листья, сорванные с деревьев. Иногда и в магазин залетал такой лист...

— Преподобне отче Тихоне, моли бога о на-ас... — хрустевшим, как сухие листья, голосом напевал Терентий, возясь в комнате.

Однажды в воскресенье, развернув газету, Илья увидал на первой ее странице стихотворение «Прежде и теперь. Посвящается С. Н. М — ой», подписанное «П. Грачев».

В недуге тяжком и в бреду
Я годы молодости прожил.
Вопрос — куда, слепой, иду? —
Ума и сердца не тревожил.

Мрак мою душу оковал
И ослепил мне ум и очи...
Но я всегда — и дни и ночи —
О чем-то светлом тосковал!..

Вдруг — светом внутренним полна,
Ты предо мною гордо встала —
И, дрогнув, мрака пелена
С души и глаз моих упала!

Да будет проклят этот мрак!
Свободный от его недуга,
Я чувствую — нашел я друга!
И ясно вижу — кто мой враг!..

Лунев прочитал и с сердцем отодвинул газету от себя.

«Сочиняй! Выдумывай! Друг... враг!.. Кто — дурак, тому всякий враг... да!» — он криво усмехнулся. И как-то вдруг, точно другим сердцем, подумал:

«А что, ежели я туда махну? Приду и скажу... вот пришел! Извините...»

«За что?» — тотчас же спросил он себя. И закончил всё это решительным и угрюмым словом:

«Прогонит...»

Потом он, с обидой и завистью в сердце, снова прочитал стихи и снова задумался о девушке...

«Гордая... Посмотрит эдак... ну и — уйдешь с чем пришел...»

В этой же газете, в справочном отделе, он прочитал, что на двадцать третье сентября в окружном суде назначено к слушанию дело по обвинению Веры Капитановой в краже. Злорадное чувство вспыхнуло в нем, и, мысленно обращаясь к Павлу, он сказал:

«Стихи сочиняешь? А она — в тюрьме всё сидит?..»

— Боже! Милостив буди ми грешному, — вздохнув, прошептал Терентий, грустно качая головой. Потом он взглянул на племянника, шуршавшего газетой, и окрикнул его: — Илья...

— Ну?

— Петруха-то...

Горбун жалобно улыбнулся и замолчал.

— Что? — спросил Лунев.

— О-ограбил он меня, — тихо, виноватым голосом сообщил Терентий и уныло хихикнул. Илья равнодушно поглядел на лицо дяди и спросил:

— Сколько украли вы?

Дядя отодвинулся от стола вместе со стулом, наклонил голову и, держа руки на коленях, стал шевелить пальцами, то сгибая, то разгибая их.

— Тысяч десять, что ли? — вновь спросил Лунев.

И — Около семисот!... — со вздохомъ сказалъ Терентій.
— Такъ — большие деньги?

— Гдѣ же такая уйма деньжищъ спрятана была?
— казись бы, все забрали... А, можетъ, Петруха-то еще
надулъ меня... а?

— ~~И~~ ~~хотѣлъ~~ бы ты! сурово сказалъ
Луисъ.

— Да, ужъ теперь, не стоитъ говорить! — согласился
Терентій и тихо: вздохнулъ.

А Луисъ ~~думалъ~~ о жадности человека. Во томъ,
какъ много ~~накостей~~ делаютъ люди ради денегъ. Но
~~тогда~~ у него ~~было~~ ~~только~~ ~~десять~~ ~~тысячъ~~ ~~рублей~~ ~~тогда~~
~~тогда~~ — десятки, сотни тысячъ, онъ
показалъ себя ладнымъ! Онъ заставилъ бы и на четвер-
ренькахъ ходить предъ собой, онъ бы... Увлеченный
истиннымъ чувствомъ, ~~онъ~~ ударилъ
фулакомъ по столу, — вырочивъ отъ удара, взглянула
на дядю и увидѣла, что ~~онъ~~ смотритъ на него,
полуоткрывъ ротъ, съ страхомъ въ глазахъ.

— Задумался и, — хмуро сказалъ онъ, ~~вста-~~
вая изъ за стола.

— Бываетъ, — ~~недовольно~~ согласился тотъ.

Когда Илья пошелъ въ магазинъ, онъ пытливо
смотрѣлъ, вслѣдъ ему, и губы ~~шевели-~~
лись... ~~Илья~~ Илья не видѣлъ, по ~~какимъ~~ чувствовалъ
этотъ подозрительный взглядъ за своей спиной; онъ
уже давно замѣтилъ, что дядя ~~слѣдитъ~~ онъ ~~за~~
~~каждымъ~~ ~~шагомъ~~ ~~его~~ ~~и~~ ~~то~~ ~~что~~ ~~то~~ ~~хочетъ~~ ~~что-то~~ ~~спросить~~.
Это заставляло Луиса избѣгать разговоровъ съ дядей.
Съ каждымъ днемъ онъ все болѣе ясно чувствовалъ,
что горбатый ~~мѣшаетъ~~ ему жить, и все чаще ставилъ
предъ собою вопросъ:

«Долго это будетъ тянуться?»

«ТРОЕ».

Страница повести из восьмого издания т-ва «Знание»
с правкой М. Горького.

Горбун вскинул голову и с удивлением протянул:
— Деся-ать? Что ты, господь с тобой! Всего-навсего три тыщи шестьсот с мелочью, а ты — десять! Хватил!..

— У дедушки больше десяти было, — сказал Илья, усмехаясь.

— Врё-о?

— Ну, вот еще... он сам говорил...

— Да он считать-то умел ли?

— Не хуже вас с Петром...

Терентий задумался, и вновь голова его низко опустилась.

— Сколько Петруха недодал? — спросил Илья.

— Около семисот... — со вздохом сказал Терентий. — Так — больше десяти? Где же такая уйма деньжищ спрятана была? Мы, кажись бы, всё забрали... А может, Петруха-то еще и тогда надул меня... а?

— Молчал бы ты! — сурово сказал Лунев.

— Да, уж теперь не стоит говорить! — согласился Терентий и тяжело вздохнул.

А Лунев подумал о жадности человека, о том, как много пакостей делают люди ради денег. Но тотчас же представил, что у него — десятки, сотни тысяч, о, как бы он показал себя людям! Он заставил бы их на четвереньках ходить пред собой, он бы... Увлеченный мстительным чувством, Лунев ударил кулаком по столу, — вздрогнул от удара, взглянул на дядю и увидал, что горбун смотрит на него, полуоткрыв рот, со страхом в глазах.

— Задумался я, — хмуро сказал он, вставая из-за стола.

— Бывает, — недоверчиво согласился тот.

Когда Илья пошел в магазин, он пытливо смотрел вслед ему, и губы его беззвучно шевелились... Илья не видел, но чувствовал этот подозрительный взгляд за своей спиной: он уже давно заметил, что дядя следит за ним, хочет что-то понять, о чем-то спросить. Это заставляло Лунева избегать разговоров с дядей. С каждым днем он всё более ясно чувствовал, что горбатый мешает ему жить, и всё чаще ставил пред собою вопрос:

«Долго это будет тянуться?»

В душе Лунева словно назревал нарыв; жить становилось всё тошнее. Всего хуже было то, что ему ничего не хотелось делать: никуда его не тянуло, но казалось порою, что он медленно и всё глубже опускается в темную яму.

Вскоре после того, как приехал Терентий, явилась Татьяна Власьевна, уезжавшая куда-то из города. При виде горбатого мужичка, в коричневой рубахе из бумазеи, она брезгливо поджала губы и спросила Илью:

— Это ваш дядя?

— Да, — коротко ответил Лунев.

— С вами будет жить?

— Обязательно...

Татьяна Власьевна, почувствовав что-то вызывающее в ответах компаньона, перестала обращать внимание на горбуна; а Терентий, стоя у двери, на месте Гаврика, покручивал бородку и любопытными глазами следил за тоненькой, одетой в серое фигуркой женщины. Лунев тоже смотрел, как она воробушком прыгает по магазину, и молча ждал, что она еще спросит, готовый закидать ее тяжелыми, обидными словами. Но она, искоса поглядывая на его злое лицо, не спрашивала ни о чем. Стоя за конторкой, она перелистывала книгу дневной выручки и говорила о том, как приятно жить в деревне, как это дешево стоит и хорошо действует на здоровье.

— Там была маленькая речушка, — тихая такая! И веселая компания... Один телеграфист превосходно играл на скрипке... Я выучилась грести... Но — мужицкие дети! Это наказание! Вроде комаров — ноют, клячат... Дай, дай! Это их отцы учат и матери...

— Никто не учит, — сухо заговорил Илья. — Отцы и матери работают. А дети — без призора живут... Неправду вы говорите...

Татьяна Власьевна удивленно взглянула на него, открыла рот, желая что-то сказать, но в это время Терентий почтительно улыбнулся и заявил:

— Господа в деревне теперь — диковина... До-прежде в каждой деревне барин весь век свой был, а теперь наездом бывают...

Автономова перевела глаза на него, потом снова на Илью и, не сказав ни слова, уставилась в книгу. Терентий сконфузился и стал одергивать рубашку. С минуту в магазине все молчали, — был слышен только шелест листов книги да шорох — это Терентий терся горбом о косяк двери...

— А ты, — вдруг раздался сухой и спокойный голос Ильи, — прежде чем с господами в разговор вступать, спроси: «Позвольте, мол, поговорить, сделайте милость...» На колени встань...

Книга вырвалась из-под руки Татьяны Власьевны и поехала по конторке, но женщина поймала ее, громко хлопнула по ней рукой и засмеялась. Терентий, наклонив голову, вышел на улицу... Тогда Татьяна Власьева исподлобья с улыбкой взглянула на угрюмое лицо Лунева и вполголоса спросила:

— Сердишься? За что?

Лицо у нее было плутоватое, ласковое, глаза блестя задорно... Лунев, протянув руку, взял ее за плечо... В нем вспыхнула ненависть к ней, зверское желание обнять ее, давить на своей груди и слушать треск ее тонких костей. Оскалив зубы, он притягивал ее к себе, а она, схватив его руку, старалась оторвать ее от своего плеча и шептала:

— Ой... пусти! Больно!.. Ты с ума сошел? Здесь нельзя обниматься... И... послушай! Дядю неудобно иметь: он горбатый... его будут бояться... Пусти же! Его надо куда-нибудь пристроить, — слышишь?

Но он уже обнял ее и медленно наклонял голову над ее лицом с расширенными глазами.

— Что ты? Здесь нельзя... оставь!

Она вдруг опустила и выскользнула из его рук, гибкая, как рыба. Лунев сквозь горячий туман в глазах видел ее у двери на улицу. Оправляя кофточку дрожащими руками, она говорила:

— Ах, какой ты грубый! Разве не можешь подождать?

У него в голове шумело, точно там ручьи текли. Неподвижно, сцепивши крепко пальцы рук, он стоял за прилавком и смотрел на нее так, точно в ней одной видел всё зло, всю тяжесть своей жизни.

— Это хорошо, что ты страстный, но, голубчик, надо же быть сдержанным...

— Уйди! — сказал Илья.

— Ухожу... Сегодня я не могу принять тебя... но послезавтра — двадцать третьего — день моего рождения... придешь?

Говоря, она ощупывала пальцами брошь и не смотрела на Илью.

— Уйди! — повторил он, вздрагивая от желания поймать ее и мучить.

Она ушла. Тотчас же явился Терентий и почтительно спросил:

— Это вот и есть — компаньонка?

Лунев кивнул головой, облегченно вздыхая.

— Какая... ишь ты! Маленькая, а...

— Поганая! — сказал Илья густым голосом.

— Мм... — недоверчиво промышчал Терентий. Илья почувствовал на своем лице пытливый, догадывающийся взгляд дяди и с сердцем спросил:

— Ну, что смотришь?

— Я? Господи, помилуй! Ничего...

— Я знаю, что говорю... Сказал — поганая, и — конечно! Хуже скажу — и то правда будет...

— Вон оно что-о... — протянул горбун соболезнующим голосом.

— Что? — сурово крикнул Илья.

— Стало быть...

— Что — стало быть?

Терентий стоял пред ним, переступая с ноги на ногу, испуганный и оскорбленный криками: лицо у него было жалкое, глаза часто мигали.

— Стало быть — ты лучше знаешь... — сказал он, помолчав.

На улице было невесело. Несколько дней кряду шел дождь. Серые чистенькие камни мостовой скучно смотрели в серое небо, они были похожи на лица людей. Во впадинах между ними лежала грязь, оттеняя собою их холодную чистоту... Желтый лист на деревьях вздрагивал предсмертной дрожью. Где-то частыми ударами палки выбивали пыль из ковров или меховой одежды — дробные звуки сыпались в воздух. В конце

улицы, из-за крыш домов на небо поднимались густые, сизые и белые облака. Тяжело, огромными клубами они лезли одно на другое, всё выше и выше, постоянно меняя формы, то похожие на дым пожара, то — как горы или как мутные волны реки. Казалось, что все они только за тем поднимаются в серую высоту, чтобы сильнее упасть оттуда на дома, деревья и на землю. Лунев смотрел на их живую стену пред собой, вздрагивая от скуки и холода.

«Надо бросить... магазин и всё... Пусть дядя торгует с Танькой... а я — уйду...»

Ему представилось огромное мокрое поле, покрытое серыми облаками небо, широкая дорога с березами по бокам. Он идет с котомкой за плечами, его ноги вязнут в грязи, холодный дождь бьет в лицо. А в поле, на дороге, нет ни души... даже галок на деревьях нет, и над головой безмолвно двигаются синеватые тучи...

«Удавлюсь», — равнодушно подумал он.

Проснувшись утром через день, он увидел на отрывном календаре черную цифру двадцать три и... вспомнил, что сегодня судят Веру. Он обрадовался возможности уйти из магазина и почувствовал горячее любопытство к судьбе девушки. Наскоро выпив чаю, почти бегом он пошел в суд. В здание не пускали, — кучка народа жалась у крыльца, ожидая, когда отворят двери. Лунев тоже встал у дверей, прислонясь спиной к стене. Широкая площадь развertyвалась пред судом, среди нее стояла большая церковь. Лик солнца, бледный и усталый, то появлялся, то исчезал за облаками. Почти каждую минуту вдаль на площадь ложилась тень, ползла по камням, лезла на деревья, и такая она была тяжелая, что ветви деревьев качались под нею; потом она окутывала церковь от подножия до креста, переваливалась через нее и без шума двигалась дальше на здание суда, на людей у двери его...

Люди были какие-то серые, с голодными лицами; они смотрели друг на друга усталыми глазами и говорили медленно. Один из них — длинноволосый, в легком пальто, застегнутом до подбородка, в измятой шляпе — озябшими, красными пальцами крутил острую рыжую бороду и нетерпеливо постукивал о землю

ногами в худых башмаках. Другой, в заплатанной поддевке и картузе, нахлобученном на глаза, стоял, опустив голову на грудь, сунувши одну руку за пазуху, а другую в карман. Он казался дремлющим. Черненький человечек в пиджаке и высоких сапогах, похожий на жука, беспокоился: поднимал острую бледную мордочку кверху, смотрел в небо, свистал, морщил брови, ловил языком усы и разговаривал больше всех.

— Отпирают? — восклицал он и, склонив голову набок, прислушивался. — Нет... гм!.. А времени много уж... Вы, моншер, в библиотеку не заходили?

— Нет, рано... — в два удара, но в один тон ответил длинноволосый.

— Чёрт возьми... холодно, знаете!

Длинноволосый сочувственно крикнул и сказал задумчиво:

— Где бы мы грелись, если бы не было суда и библиотеки?

Черненький молча передернул плечами. Илья рассматривал этих людей и вслушивался в их разговор. Он видел, что это — «шалыганы», «стрелки», — люди, которые живут темными делами, обманывают мужиков, составляя им прошения и разные бумаги, или ходят по домам с письмами, в которых просят о помощи.

Пара голубей опустилась на мостовую, неподалеку от крыльца. Толстый голубь с отвисшим зобом, переваливаясь с ноги на ногу, начал ходить вокруг голубки, громко воркуя.

— Фь-ю! — резко свистнул черненький человечек. Человек в поддевке вздрогнул и поднял голову. Лицо у него было опухшее, синее, со стеклянными глазами.

— Терпеть не могу голубей! — воскликнул черненький, глядя вслед улетающим птицам. — Жирные... вроде богатых лавочников... воркуют... пр-ротивно! Судитесь? — неожиданно спросил он Илью.

— Нет...

Черненький человек осмотрел Лунева с ног до головы и в нос себе проговорил:

— Странно...

— Чего же странного? — спросил Илья, усмехнувшись.

— У вас лицо обвиняемого, — скороговоркой сказал человек. — А, отпирают...

Он первый нырнул в открытую дверь суда. Задетый его словом, Илья пошел за ним и в дверях толкнул плечом длинноволосого.

— Тише, невежа, — спокойно сказал длинноволосый и, в свою очередь тоже толкнув Илью, опередил его.

Но этот толчок не обидел Илью, а только удивил его.

«Чудно! — подумал он. — Толкается, как будто барин и везде может первым идти, а сам вон какой...»

В зале суда было сумрачно и тихо. Длинный стол, крытый зеленым сукном, кресла с высокими спинками, золото рам, огромный, в рост человека, портрет царя, малиновые стулья для присяжных, большая деревянная скамья за решеткой — всё было тяжелое и внушало уважение. Окна глубоко уходили в серые стены; занавески толстыми складками висели над окнами, а стекла в них были мутные. Тяжелые двери отворялись бесшумно, и без шума, быстро расхаживали люди в мундирах. Лунев осматривался, жуткое чувство щемило ему сердце, а когда чиновник объявил — «Суд идет», Илья вздрогнул и вскочил на ноги раньше всех, хотя и не знал, что нужно было встать. Один из четырех людей, вошедших в зал, был Громов — человек, что жил в доме против магазина Ильи. Он уселся в среднее кресло, провел обеими руками по волосам, взъерошил их и поправил воротник, густо шитый золотом. Его лицо несколько успокоило Илью: оно было такое же румяное и благодушное, как всегда, только концы усов Громов закрутил кверху. Справа от него сидел славный старичок с маленькой седой бородкой, курносый, в очках, а слева — человек лысый, с раздвоенной рыжей бородой и желтым неподвижным лицом. У конторки стоял молодой судья, круглоголовый, гладко остриженный, с черными глазами навывкате. Все они некоторое время молчали, перебирая бумаги на столе, а Лунев смотрел на них с уважением и ждал, что вот сейчас кто-нибудь из них встанет и скажет нечто громко, важно...

Но вдруг, повернув голову влево, Илья увидел знакомое ему толстое, блестящее, точно лаком покрытое лицо Петрухи Филимонова. Петруха сидел в первом ряду малиновых стульев, опираясь затылком о спинку стула, и спокойно поглядывал на публику. Раза два его глаза скользнули по лицу Ильи, и оба раза Лунев ощущал в себе желание встать на ноги, сказать что-то Петрухе, или Громову, или всем людям в суде.

«Вор!.. Сына забил!..» — вспыхивало у него в голове, а в горле у себя он чувствовал что-то похожее на изжогу...

— Вы обвиняетесь в том, — ласковым голосом говорил Громов, но Илья не видел, кому Громов говорит: он смотрел в лицо Петрухи, подавленный тяжелым недоумением, не умея примириться с тем, что Филимонов — судья...

— Скажите, подсудимый, — ленивым голосом спрашивал прокурор, потирая себе лоб, — вы говорили... лавочнику Анисимову: «Погоди! я тебе отплачу!»

Где-то вертелась форточка и взвизгивала:

— Й-у... й-у... й-у...

Среди присяжных Илья увидал еще два знакомых лица. Выше Петрухи и сзади него сидел штукатур — подрядчик Силачев, — мужик большой, с длинными руками и маленьким, сердитым лицом, приятель Филимонова, всегда игравший с ним в шашки. Про Силачева говорили, что однажды на работе, поссорившись с мастером, он столкнул его с лесов, — мастер похворал и помер. А в первом ряду, через человека от Петрухи, сидел Додонов, владелец большого галантерейного магазина. Илья покупал у него товар и знал, что это человек жестокий, скупой, дважды плативший по гривеннику за рубль...

— Свидетель! Когда вы увидали, что изба Анисимова горит...

— Й-у... ию-ю-ю, — ныла форточка, и в груди Лунева тоже ныло.

— Дурак! — раздался рядом с ним тихий шёпот. Он взглянул — с ним рядом сидел черненький человек, презрительно скривив губы.

— Кто? — шепнул Илья, тупо взглянув на него.

— Арестант... Имел прекрасный случай опрокинуть свидетеля,— пропустил! Я бы... эх!

Илья взглянул на арестанта. Это был высокого роста мужик с угловатой головой. Лицо у него было темное, испуганное, он оскалил зубы, как усталая, забитая собака скалит их, прижавшись в угол, окруженная врагами, не имея силы защищаться. А Петруха, Силачев, Додонов и другие смотрели на него спокойно, сытыми глазами. Луневу казалось, что все они думают о мужике:

«Попался — значит, виноват...»

— Скучно! — шепнул ему сосед. — Неинтересное дело... Подсудимый — глуп, прокурор — мямля, свидетели — болваны, как всегда... Будь я прокурором — я бы в десять минут его скушал...

— Виноват? — шёпотом спросил Лунев, вздрагивая от какого-то озноба.

— Едва ли... Но осудить — можно... Не умеет защищаться. Мужики вообще не умеют защищаться... Дрянь народ! Кость и мясо,— а ума, ловкости — ни капли!

— Это — верно...

— У вас есть двугривенный? — вдруг спросил человек.

— Есть...

— Дайте мне...

Илья вынул кошелек и дал монету раньше, чем успел сообразить — следует ли дать? А когда уже дал, то с невольным уважением подумал, искоса поглядывая на соседа:

«Ловок...»

— Господа присяжные! — мягко и внушительно говорил прокурор. — Взгляните на лицо этого человека,— оно красноречивее показаний свидетелей, безусловно установивших виновность подсудимого... оно не может не убедить вас в том, что пред вами стоит типичный преступник, враг законопорядка, враг общества...

«Враг общества» сидел, но, должно быть, ему неловко стало сидеть, когда про него говорили, что он

стоит,— он медленно поднялся на ноги, низко опустив голову. Его руки бессильно повисли вдоль туловища, и вся серая длинная фигура изогнулась, как бы пригтовляясь нырнуть в пасть правосудия...

Когда Громов объявил перерыв заседания, Илья вышел в коридор вместе с черненьким человечком. Человечек достал из кармана пиджака смятую папироску и, расправляя ее пальцами, заговорил:

— Божится, дурак, не поджигал, говорит. Тут — не божись, а прямо — снимай штаны да ложись... Дело строгое! Обидели лавочника...

— Виноват мужик-то, по-вашему? — задумчиво спросил Илья.

— Должно быть, виноват, потому что глуп. Умные люди виноватыми не бывают... — спокойной скороговоркой отрезал человечек, форсисто покуривая свою папироску.

— Тут, в присяжных,— тихо и с напряжением заговорил Илья,— сидят люди...

— Лавочники больше,— спокойно поправил его черненький. Илья взглянул на него и повторил:

— Некоторых я знаю...

— Ага!..

— Народ — аховый... ежели прямо говорить...

— Вору,— подсказал ему собеседник.

Говорил он громко. Бросив папироску, он, складывая губы трубой, густо свистал, смотрел на всех нагло, и всё в нем — каждая косточка — так ходуном и ходила от голодного беспокойства.

— Это бывает. Вообще, так называемое правосудие есть в большинстве случаев легонькая комедия, комедийка,— говорил он, передергивая плечами.— Сытые люди упражняются в исправлении порочных наклонностей голодных людей. В суде бываю часто, но не видал, чтобы голодные сытого судили... Если же сытые сытого судят,— это они его за жадность. Дескать — не всё сразу хватай, нам оставляй.

— Говорится: сытый голодного не понимает,— сказал Илья.

— Пустяки! — возразил ему собеседник.— Великолепно понимает,— оттого и строг...

— Ну, если сытый да честный — ничего еще! — вполголоса говорил Илья, — а когда сытый да подлый, — как может он судить человека?

— Подлецы — самые строгие судьи, — спокойно заявил черненский человек. — Ну-с, будем слушать дело о краже.

— Знакомая моя... — тихо сказал Лунев.

— А! — воскликнул человек, мельком взглянув на него. — Па-асмотрим вашу знакомую...

В голове Ильи всё путалось. Он хотел бы о многом спросить этого бойкого человечка, сыпавшего слова, как горох из лукошка, но в человечке было что-то неприятное и пугавшее Лунева. В то же время неподвижная мысль о Петрухе-судье давила собою всё в нем. Она как бы железным кольцом обвилась вокруг его сердца, и всему остальному в сердце стало тесно...

Когда он подошел к двери зала, в толпе пред нею он увидал крутой затылок и маленькие уши Павла Грачева. Он обрадовался, дернул Павла за рукав пальто и широко улыбнулся в лицо ему, Павел тоже улыбнулся — неохотно, с явным усилием.

Они несколько секунд стояли друг пред другом молча и, должно быть, оба почувствовали в эти секунды что-то, заставившее их заговорить обоих сразу.

— Смотреть пришел? — спросил Павел, криво усмехаясь.

— А эта — здесь? — спросил Илья смущенно.

— Кто?

— Твоя Софья...

— Она не моя, — сухо ответил Павел, перебивая его речь.

Они вошли в зал.

— Садись рядом! — предложил Лунев.

Павел замаялся и ответил:

— Видишь ли... я — в компании...

— Ну... ладно...

— До свиданья!

Грачев быстро отошел в сторону. Илья смотрел вслед ему с таким чувством, как будто Павел крепко потер ему рукой своей ссадину на теле. Горячая боль

охватила его. И было неприятно видеть на товарище крепкое, новое пальто, видеть, что лицо Павла за эти месяцы стало здоровее, чище. На той скамье, где сидел Павел, сидела и сестра Гаврика. Вот он сказал что-то, она быстро повернула голову к Луневу. Увидав ее стремительное, подавшееся вперед лицо, он отвернулся в сторону, и душа его еще более плотно и густо окуталась обидой, злобой...

Привели Веру: она стояла за решеткой в сером халате до пят, в белом платочке. Золотая прядь волос лежала на ее левом виске, щека была бледная, губы плотно сжаты, и левый глаз ее, широко раскрытый, неподвижно и серьезно смотрел на Громова.

— Да... да... нет,— тускло звучал ее голос в ушах Ильи.

Громов смотрел на нее ласково, говорил с ней негромко, мягко, точно кот мурлыкал.

— А признаете вы, Капитанова, виновной себя в том, что в ночь...— подползал к Вере его гибкий и сочный голос.

Лунев взглянул на Павла, тот сидел согнувшись, низко опустив голову, и мял в руках шапку. Его соседка держалась прямо и смотрела так, точно она сама судила всех — и Веру, и судей, и публику. Голова ее то и дело поворачивалась из стороны в сторону, губы были брезгливо поджаты, гордые глаза блестели из-под нахмуренных бровей холодно и строго...

— Признаю,— сказала Вера. Голос ее задребезжал, и звук его был похож на удар по тонкой чашке, в которой есть трещина.

Двое присяжных — Додонов и его сосед, рыжий, бритый человек, — наклонив друг к другу головы, беззвучно шевелили губами, а глаза их, рассматривая девушку, улыбались. Петруха Филимонов подался всем телом вперед, лицо у него еще более покраснело, усы шевелились. Еще некоторые из присяжных смотрели на Веру, и все — с особенным вниманием, — оно было понятно Луневу и противно ему.

«Судят, а сами шупают ее глазищами-то», — думал он, крепко сжимая зубы. И ему хотелось крикнуть, Петрухе: «Ты, жулик! О чем думаешь?»

К горлу его подкатывалось что-то удушливое, тяжелый шар, затруднявший дыхание...

— Скажите мне... э, Капитанова, — лениво двигая языком и выкатив глаза, как баран, страдающий от жары, говорил прокурор, — да-авно вы занимаетесь проституцией?

Вера провела рукой по лицу, точно этот вопрос приклеился к ее покрасневшим щекам.

— Давно.

Она ответила твердо. В публике раздался шёпот, как будто змеи поползли. Грачев наклонился еще ниже, точно хотел спрятаться, и всё мял картуз.

— Как именно давно?

Вера молчала, глядя в лицо Громова широко раскрытыми глазами серьезно, строго...

— Год? Два? Пять? — настойчиво допрашивал прокурор.

Она всё молчала. Серая, как из камня вырубленная, девушка стояла неподвижно, только концы платка на груди ее вздрагивали.

— Вы имеете право не отвечать, если не хотите, — сказал Громов, поглаживая усы.

Тут вскочил адвокат, худенький человек с острой бородкой и продолговатыми глазами. Нос у него был тонкий и длинный, а затылок широкий, отчего лицо его похоже было на топор.

— Скажите, Капитанова, что заставляло вас заниматься этим ремеслом? — спросил он звонко и резко.

— Ничто не заставляло, — ответила Вера, глядя на судей.

— Мм... это не совсем так!.. Видите ли... мне известно... вы рассказывали мне...

— Ничего вам не известно, — сказала Вера. Она повернула к нему голову и, строго взглянув на него, продолжала сердито, с неудовольствием в голосе: — Ничего я вам не рассказывала...

Быстро окинув публику одним взглядом, она обернулась к судьям и спросила, кивая головой на защитника:

— Можно не разговаривать с ним?

Снова в зале поползли змеи, теперь уже громче и явственнее.

Илья дрожал от напряжения и смотрел на Грачева.

Он ждал от него чего-то, уверенно ждал. Но Павел, выглядывая из-за плеча человека, сидевшего впереди его, молчал, не шевелился. Громов, улыбаясь, говорил что-то скользкими, масляными словами... Потом негромко и твердо стала говорить Вера...

— Просто — разбогатеть захотела... и взяла, вот и всё... А больше ничего не было... И всегда была такая...

Присяжные стали перешёптываться друг с другом: лица у них нахмурились, и на лицах судей тоже явилось что-то недовольное. В зале стало тихо; с улицы донесся мерный и тупой шум шагов по камням, — шли солдаты.

— Ввиду сознания подсудимой полагал бы... — говорил прокурор.

Илья чувствовал, что не может больше сидеть тут. Он встал, шагнул...

— Тиш-ше! — громко заметил пристав.

Тогда он снова сел и, как Павел, тоже низко наклонил голову. Он не мог видеть красное лицо Петрухи, теперь важно надутое, точно обиженное чем-то, а в неизменно ласковом Громове за благодушием судьи он чувствовал, что этот веселый человек привык судить людей, как столяр привыкает деревяшки строгать. И в душе Ильи родилась теперь жуткая, тревожная мысль:

«Сознайся я — и меня так же вот будут... Петруха будет судить... Меня — в каторгу, а сам останется...»

Он остановился на этих думах и сидел, ни на кого не глядя, ничего не слушая.

— Н...не хочу я, чтобы говорили об этом! — раздался дрожащий, обиженный крик Веры, и она завyla, хватая руками грудь свою, сорвав с головы платок.

Мутный шум наполнил залу. Всё в ней засуетилось от криков девушки, а она, как обожженная, металась за решеткой и рыдала, надрывая душу.

Илья вскочил и бросился вперед, но публика шла навстречу ему, и как-то незаметно для себя он очутился в коридоре.

— Обнажили душу,— услышал он голос черненького человека.

Павел Грачев, бледный и растрепанный, стоял у стены, челюсть у него тряслась. Илья подошел к нему и угрюмо, злыми глазами заглянул в лицо товарища.

— Что? Каково? — спросил он.

Павел взглянул на него, открыл рот и не сказал ни слова.

— Погубил человека? — продолжал Лунев. Тогда Павел вздрогнул, будто его кнутом ударили, поднял руку, положил ее на плечо Лунева и возбужденно заговорил:

— Разве я? Мы еще подадим жалобу...

Илья страхнул с плеча его руку и хотел сказать ему: «Ты! Не закричал, небойсь, что для тебя она украдала?» — но вместо этого он сказал:

— А судит Филимонов Петрушка... Правильно это, а? — и усмехнулся.

Павел выпрямился, лицо его вспыхнуло, и он торопливо начал говорить что-то, но Лунев, не слушая, отошел прочь. Так, с усмешкой на лице, он вышел на улицу, и медленно, вплоть до вечера, как бродячая собака, он шлялся из улицы в улицу до поры, пока не почувствовал, что его тошнит от голода.

В окнах домов зажигались огни, на улицу падали широкие желтые полосы света, а в них лежали тени цветов, стоявших на окнах. Лунев остановился и, глядя на узоры этих теней, вспомнил о цветах в квартире Громова, о его жене, похожей на королеву сказки, о печальных песнях, которые не мешают смеяться... Кошка осторожными шагами, отряхивая лапки, перешла улицу.

«Пойду в трактир», — решил Илья и вышел на средину мостовой.

— Берегись! — крикнули ему. Черная морда лошади мелькнула у его лица и обдала его теплым дыханием... Он прыгнул в сторону, прислушался к ругани извозчика и пошел прочь от трактира.

«Легковой извозчик до смерти не задавит,— спокойно подумал он.— Надо поесть... Вера теперь совсем пропадет... Тоже гордая... Про Пашку не захотела

сказать... видит, что некому сказать-то... Она лучше всех... Олимпиада бы... Нет, Олимпиада тоже хорошая... а вот Танька...»

Ему вспомнилось, что именно сегодня Татьяна празднует день рождения. Сначала мысль о том, чтобы пойти к ней, показалась ему отвратительной, но почти тотчас же одно острое, жгучее чувство коснулось его сердца...

Крикнув извозчика, он поехал и через несколько минут, прищуривая глаза от света, стоял в двери столовой Автономовых, тупо улыбался и смотрел на людей, тесно сидевших вокруг стола в большой комнате.

— А-а! Явился еси!.. — воскликнул Кирик. — Конфетт принес? Подарок новорожденной, а? Что ж ты, братец мой?

— Откуда вы? — спросила хозяйка.

Кирик схватил его за рукав и повел вокруг стола, знакомя с гостями. Лунев пожимал чьи-то теплые руки, а лица гостей слились в его глазах в одно длинное улыбающееся лицо с большими зубами. Запах жареного щекотал ноздри, трескучий разговор женщин звучал в ушах, глазам было жарко, какой-то пестрый туман застилал их. Когда он сел, то почувствовал, что у него от усталости ломит ноги и голод сосет его внутренности. Он молча взял кусок хлеба и стал есть. Кто-то из гостей громко фыркнул, в то же время Татьяна Власьевна заметила ему:

— Вы не хотите меня поздравить? Хорош! Пришел, не сказал ни слова, уселся и ест...

Под столом она сильно толкнула ногой его ногу и наклонила лицо над чайником, доливая его.

Тогда он положил кусок хлеба на стол, крепко потер себе руки и громко сказал:

— А я целый день в суде просидел...

Его голос покрыл шум разговора. [Гости замолчали.] Лунев сконфузился, чувствуя их взгляды на лице своем, и тоже исподлобья оглядел их. На него смотрели недоверчиво, видимо, каждый сомневался в том, что этот широкоплечий, курчавый парень может сказать что-нибудь интересное. Неловкое молчание наступило в комнате. Обрывки каких-то мыслей кружились в го-

лове Ильи, — бессвязные, серые, они вдруг точно провалились куда-то, исчезая во тьме его души.

— В суде иногда очень любопытно, — кислым голо-
сом заметила Фелицата Грызлова и, взяв коробку
с мармеладом, стала ковырять в ней щипчиками.

На щеках Татьяны Власьевны вспыхнули красные
пятна, а Кирик громко высморкался и сказал:

— Что ж ты, братец, замахнулся, а не бьешь? Ну,
был в суде...

«Конфужу я их», — сообразил Илья, и губы его
медленно раздвинулись в улыбку. Гости снова загово-
рили сразу в несколько голосов.

— Я однажды слушал в суде дело об убийстве, —
рассказывал молодой телеграфист, бледный, черногла-
зый, с маленькими усиками.

— Я ужасно люблю читать и слушать про убий-
ства! — воскликнула Травкина.

А ее муж посмотрел на всех и сказал:

— Гласный суд — благотельное учреждение...

— Судился мой товарищ Евгениев... Он, видите ли,
стоя на дежурстве у денежного ящика, шутил с мальчи-
ком да вдруг и застрелил его...

— Ах, ужас какой! — вскричала Татьяна Влась-
евна.

— Наповал! — с каким-то удовольствием добавил
телеграфист.

— А я однажды был свидетелем по одному делу, —
заговорил Травкин своим шумящим, сухим голосом, —
а по другому делу судился человек, который совершил
двадцать три кражи! Недурно?

Кирик громко захохотал. Публика разделилась на
две группы: одни слушали рассказ телеграфиста об
убийстве мальчика, другие — скучное сообщение Трав-
кина о человеке, совершившем двадцать три кражи.
Илья наблюдал за хозяйкой, чувствуя, что в нем тихо
разгорается какой-то огонек, — он еще ничего не осве-
щает, но уже настойчиво жжет сердце. С той минуты,
когда Лунев понял, что Автономовы опасаются, как бы
он не сконфузил их пред гостями, его мысли станови-
лись стройнее.

Татьяна Власьевна хлопотала в другой комнате

около стола, уставленного бутылками. Алая шелковая кофточка ярким пятном рисовалась на белых обоях стены, маленькая женщина носилась по комнате подобно бабочке, на лице у нее сияла гордость домовитой хозяйки, у которой всё идет прекрасно. Раза два Илья видел, что она ловкими, едва заметными знаками зовет его к себе, но он не шел к ней и чувствовал удовольствие от сознания, что это беспокоит ее.

— Что, брат, сидишь, как сыч? — вдруг обратился к нему Кирик. — Говори что-нибудь... не стесняйся... здесь люди образованные, они, в случае чего, не взыщут с тебя.

— Судили сегодня, — сразу начал Илья громким голосом, — девушку одну, знакомую мне... Она из гулящих, но хорошая девушка...

Он снова обратил на себя общее внимание, снова все гости уставились на него. Зубы Фелицаты Егоровны обнажились широкой и насмешливой улыбкой, телеграфист, закрыв рот рукою, начал покручивать усики, почти все старались казаться серьезными, внимательно слушающими. Шум ножей и вилок, вдруг рассыпанных Татьяной Власьевной, отозвался в сердце Ильи громкой, боевой музыкой... Он спокойно обвел лица гостей широко раскрытыми глазами и продолжал:

— Вы что улыбаетесь? Среди них есть очень хорошие...

— Есть-то есть, — перебил его Кирик, — только ты не того... не очень откровенно...

— Вы люди образованные, — сказал Илья, — обмолвлюсь — не взыщите!

В нем вдруг точно вспыхнул целый сноп ярких искр. Он улыбался острой улыбочкой, и сердце его замирало в живой игре слов, внезапно рожденных его умом.

— Украла эта девушка деньги у одного купца...

— Час от часу не легче, — воскликнул Кирик, комически сморщивши лицо, и уныло покачал головой.

— Сами понимаете, когда и как могла она украсть... а может, еще и не украла, а подарок взяла...

— Танечка! — вскричал Кирик. — Иди сюда! Тут Илья такие анекдоты разводит...

Но Татьяна Власьевна уже стояла рядом с Ильей. Натянута улыбаясь, она проговорила, пожимая плечиками:

— Что ж такое? Очень обыкновенно всё... ты знаешь таких историй сотни... барышень здесь нет... Но — это после... а пока — пожалуйста закусить господ!

— Прошу! — закричал Кирик. — И я с вами закушу, хе-хе! Не фигурен каламбурчик, а веселенький...

— Appetit возбуждает... — сказал Травкин и погладил себе горло.

Все отвернулись от Ильи. Он понял, что гости не желают его слушать, потому что хозяйева этого не хотят, и это еще более возбудило его. Вставши со стула и обращаясь ко всем, он продолжал:

— И вот судят эту девицу люди, которые, может, сами не раз пользовались ею... Некоторые из них известны мне... Жуликами назвать их — мало...

— Позвольте! — строго сказал Травкин, поднимая палец кверху. — Так нельзя-с! Это — присяжные заседатели... и я сам...

— Вот — присяжные! — воскликнул Илья. — Но могут ли они справедливы быть, ежели...

— Па-азвольте-с! Суд присяжных есть, так сказать, великая реформа, введенная на всеобщую пользу императором Александром вторым-с! Как можете вы подвергать поношению учреждение государственное-с?

Он хрипел в лицо Илье, и его жирные бритые щеки вздрагивали, а глаза вращались справа налево и обратно. Все окружили их тесной толпой и стояли в дверях, охваченные приятным предчувствием скандала. Хозяйка, побледнев, тревожно дергала гостей за рукава, восклицая:

— Господа, оставим это! Право же — неинтересно! Кирик, да попроси же...

Кирик растерянно хлопал глазами и просил:

— Пожалуйста!.. ну их к богу, реформы, проформы и всю эту философию...

— Это не философия, а по-ли-ти-ка-с! — хрипел Травкин. — Люди, рассуждающие подобным образом, именуется по-ли-ти-че-ски не-благо-надежными-с!

Горячий вихрь охватил Илью. Любо ему было

стоять против толстенького человечка с мокрыми губами на бритом лице и видеть, как он сердится. Сознание, что Автономовы сконфужены пред гостями, глубоко радовало его. Он становился всё спокойнее, стремление идти вразрез с этими людьми, говорить им дерзкие слова, злить их до бешенства, — это стремление расправлялось в нем, как стальная пружина, и поднимало его на какую-то приятно страшную высоту. Всё спокойнее и тверже звучал его голос.

— Называйте меня, как желательнее вам, — вы человек образованный, но я от своего не отступлюсь!.. Разумеет ли сытый голодного?.. Пусть голодный — вор, но и сытый — вор...

— Кирик Никодимович! — захрипел Травкин. — Что такое? Это-с...

Но Татьяна Власьевна просунула свою руку под его и, увлекая за собой возмущенного человека, стала громко говорить ему:

— Любимые ваши тартинки — селедка, яйца вкрутую и зеленый лук, растертый со сливочным маслом...

— М-да! Это — я знаю-с! — обиженно воскликнул Травкин, громко чмокнув губами. Его жена уничтожающе посмотрела на Илью и, подхватив мужа под другую руку, сказала ему:

— Не волнуйся, Антон, из-за пустяков...

А Татьяна Власьевна продолжала успокаивать дорогого гостя:

— Стерлядки маринованные с помидорами...

— Нехорошо, молодой вы человек! — вдруг обернувшись голову к Илье и упираясь ногами в пол, заговорил Травкин укоризненно и великодушно. — Надо уметь ценить... надо понимать, да-с!

— А я не понимаю! — воскликнул Илья. — Оттого и говорю... Почему Петрушка Филимонов — хозяин жизни?..

Гости проходили мимо Лунева, стараясь не коснуться его. А Кирик подошел вплоть к нему и сказал грубо, обиженно:

— Чёрт тебя дери, болвап ты — и больше ничего.

Илья вздрогнул, у него потемнело в глазах, как от

удара по голове, и, крепко сжимая кулаки, он шагнул к Автономову. Но Кирик быстро отвернулся от него, не заметив его движения, и прошел к закуске. Илья тяжело вздохнул...

Стоя в двери, он видел спины людей, тесно стоявших у стола, слышал, как они чавкают. Алая кофточка хозяйки окрашивала всё вокруг Ильи в цвет, застилавший глаза туманом.

— Мм! — мычал Травкин. — Это удивительно вкусно... удивительно!..

— Хотите перцу? — спросила хозяйка нежным голосом.

«Я тебе задам перцу!» — с холодной злобой решил Лунев и, высоко вскинув голову, в два шага стоял у стола. Схватив чей-то стакан вина, он протянул его Татьяне Власьевне и внятно, точно желая ударить словами, сказал ей:

— Выпьем, Танька!..

Это подействовало на всех так, как будто что-то оглушительно треснуло или огонь в комнате погас и всех сразу охватила густая тьма, — и люди замерли в этой тьме, кто как стоял. Открытые рты, с кусками пищи в них, были как гнойные раны на испуганных, недоумевающих лицах этих людей.

— Выпьем, ну! Кирик Никодимович, скажи моей любовнице, чтобы пила она со мной! Что там?.. Зачем всё втихомолку пакостничать? Будем открыто! Вот я решил — открыто чтобы...

— Негодяй! — резким, визгливым голосом крикнула женщина.

Илья видел, как она взмахнула рукой, и отбил кулаком в сторону тарелку, брошенную ею. Треск разбитой тарелки как будто еще более оглушил гостей. Медленно, беззвучно они отодвигались в стороны, оставляя Илью лицом к лицу с Автономовыми. Кирик держал в руке какую-то рыбку за хвост и мигал глазами, бледный, жалкий и тупой. Татьяна Власьевна дрожала, грозя Илье кулаками; лицо ее сделалось такого же цвета, как кофточка, и язык не выговаривал слов:

— Ты-ы... вреш-шь... вреш-шь... — шипела она, вытягивая шею к Илье.

— А хочешь — я скажу, какова ты нагая? — спокойно говорил Илья. — Сама же ты все родинки твои мне показала... Муж узнает, вру я или нет...

Раздался чей-то подавленный смех. Автономова взмахнула руками, схватила себя за шею и без звука упала на стул.

— Полицию! — крикнул телеграфист.

Кирик обернулся к нему и вдруг, наклонив голову, пошел, как бык, на Лунева.

Илья вытянул руку, толкнул его в лоб и сурово сказал:

— Куда? Ты сырой... я ударю тебя — свалишься... Ты — слушай!.. И вы все, тоже — слушайте... Вам правды негде услышать.

Но, отшатнувшись от Ильи, Кирик снова нагнул голову и пошел на него. Гости молча смотрели. Никто не двинулся с места, только Травкин, ступая на носки сапог, тихо отошел в угол, сел там на лежанку и, сложив руки ладонями, сунул их между колен.

— Смотри, ударю! — угрюмо предупреждал Илья Кирика. — Мне обижать тебя не за что! Ты — глупый... безвредный... Я не видал худого от тебя... отойди!

Он снова оттолкнул его уже сильнее и сам отошел к стене. Там, прислонясь спиной, он продолжал, поглядывая на всех:

— Твоя жена сама на шею мне бросилась. Она умная... Подлее ее женщины на свете нет! Но и вы тоже — все подлецы. Я в суде был... научился судить...

Он так много хотел сказать, что не мог привести в порядок мыслей своих и кидал ими, как обломками камней.

— Я ведь не Таньку обличаю... Это так вышло... само собой... У меня всю жизнь всё само собой вышло!.. Я даже человека удушил нечаянно... Не хотел, а удушил. Танька! На те самые деньги, которые я у человека убитого взял, мы с тобой и торгуем...

— Он сумасшедший! — радостно крикнул Кирик и, прыгая по комнате от одного к другому, он кричал тревожно и радостно:

— Видите? Сошел с ума!.. Ах, Илья!.. ах ты! А-ах, братец!

Илья захохотал. Ему стало еще легче и спокойнее, когда он сказал про убийство. Он стоял, не чувствуя под собою пола, как на воздухе, и ему казалось, что он тихо поднимается всё выше. Плотный, крепкий, он выгнул грудь вперед и высоко вскинул голову. Курчавые волосы осыпали его большой бледный лоб и виски, глаза смотрели насмешливо и зло...

Татьяна встала, пошатываясь, подошла к Фелицате Егоровне и вздрагивающим голосом говорила ей:

— Я видела давно... он давно уже... дикие глаза... страшный...

— Если сошел с ума, нужно позвать полицию, — внушительно сказала Фелицата, присматриваясь к лицу Лунева.

— Сошел, сошел! — кричал Кирик.

— Перебьет всех еще... — прошептал Грызлов, беспокойно оглядываясь. Они боялись выйти из комнаты.

Лунев стоял рядом с дверью, и нужно было идти мимо него. Он всё смеялся. Ему приятно было видеть, что эти люди боятся его; он замечал, что гостям не жалко Автономовых, что они с удовольствием стали бы всю ночь слушать его издевательства, если б не боялись его.

— Я не сумасшедший, — заговорил он, сурово сдвигая брови, — только вы погодите, постойте! Я вас не пущу никуда... а броситесь на меня — бить буду... на смерть... Я сильный...

Протянув свою длинную руку с большим, крепким кулаком на конце, он потряс им в воздухе и опустил руку.

— Скажите мне — что вы за люди? Зачем живете? Крохоборы вы... сволочь какая-то...

— Ты! — крикнул Кирик. — Молчать!..

— Сам молчи! А я поговорю... Я вот смотрю на вас, — жрете вы, пьете, обманываете друг друга... никого не любите... чего вам надо? Я — порядочной жизни искал, чистой... нигде ее нет! Только сам испортился... Хорошему человеку нельзя с вами жить. Вы хороших людей до смерти забиваете... Я вот — злой,

сильный, да и то среди вас — как слабая кошка среди крыс в темном погребе... Вы — везде... и судите, и рядите, и законы ставите... Гады однако вы...

В это время телеграфист отскочил от стены, как мяч, и бросился вон из комнаты, проскользнув мимо Лунева.

— Эх! упустил одного! — сказал Илья, усмехаясь,

— За полицией! — крикнул телеграфист.

— Ну, зови! Всё равно... — сказал Илья.

Мимо него прошла Татьяна Власьевна, шатаясь, как сонная, не взглянув на него.

— Ушиб! — продолжал Лунев, кивая на нее головой. — Она стбит того... гадина...

— Молчать! — крикнул Автономов из угла. Там он стоял на коленях и рылся в ящичке комода.

— Не кричи, дурачок! — ответил ему Илья, усаживаясь на стул и скрестив руки на груди. — Что кричишь? Ведь я жил с ней, знаю ее... И человека я убил... Купца Полуэктова... Помнишь, я с тобой не один раз про Полуэктова заговаривал? Это потому, что я его удушил... А ей-богу, на его деньги магазин-то открыт...

Илья оглядел комнату. У стен ее молча стояли испуганные, жалкие люди. Он почувствовал в груди презрение к ним, обиделся на себя за то, что сказал им об убийстве, и крикнул:

— Вы думаете — каюсь я перед вами? Дожидайтесь. Смеюсь я над вами, вот что.

Из угла выскочил Кирик, красный, растрепанный. Он размахивал револьвером и, дико вращая глазами, кричал:

— Теперь — не уйдешь! Ага-а! Ты — убил?

Женщины ахнули. Травкин, сидя на лежанке, заболтал ногами и захрипел:

— Господа-а! Я больше не могу! Отпустите... Это ваше семейное дело...

Но Автономов не слышал его голоса. Он прыгал пред Ильей, совал в него револьвером и орал:

— Каторга! Мы тебе покажем!..

— Да ведь и пистолетишко-то, чай, не заряжен? — спросил его Илья, равнодушно, усталыми глазами

глядя на него.— Что ты бесишься? Я не уйду... Не куда мне идти... Каторгой грозишь? Ну... каторга, так каторга...

— Антон, Антон! — раздавался громкий шёпот жены Травкина,— иди...

— Я не могу, матушка...

Она взяла его под руку. Рядом друг с другом они прошли мимо Ильи, наклонив головы. В соседней комнате рыдала Татьяна Власьевна, взвизгивая и захлебываясь.

В груди Лунева как-то вдруг выросла пустота — темная, холодная, а в ней, как тусклый месяц на осеннем небе, встал холодный вопрос: «А дальше что?»

— Вот и вся моя жизнь оборвалась! — сказал он задумчиво и негромко.

Автономов стоял пред ним и, торжествуя, вскрикивал:

— Не разжалобишь!

— Да я и не пытаюсь... чёрт вас всех возьми! Я сам скорее собаку пожалею, чем вас... Вот если бы мог я... уничтожить вас... всех! Ты бы, Кирик, прочь отошел, а то глядеть на тебя противно...

Гости тихонько выползли из комнаты, пугливо взглядывая на Илью. Он видел, как мимо него проплывают серые пятна, не возбуждая в нем ни мысли, ни чувства. Пустота в душе его росла и проглатывала всё. Он помолчал с минуту, вслушиваясь в крики Автонома, и вдруг с усмешкой предложил ему:

— Давай, Кирик, поборемся?

— Пулю в башку! — заревел Кирик.

— Да нет у тебя пули! — насмешливо возразил Лунев и уверенно добавил: — А как бы я тебя шлепнул!

Потом, оглянув публику, он просто, ровным голосом сказал:

— Кабы знал я, какой силой раздавить вас можно! Не знаю!..

И после этих слов он уже не говорил ничего, сидя неподвижно.

Наконец пришли двое полицейских с околоточным.

А сзади них явилась Татьяна Власьевна и, протянув к Илье руку, сказала задыхающимся голосом:

— Он сознался нам... что убил менялу Полуэктова... тогда, помните?

— Можете подтвердить? — быстро спросил околоточный.

— Что ж? Можно и подтвердить...— ответил Лунев спокойно и устало.

Околоточный сел за стол и начал что-то писать, полицейские стояли по бокам Лунева; он посмотрел на них и, тяжело вздохнув, опустил голову. Стало тихо, скрипело перо на бумаге, за окнами ночь воздвигала непроницаемо черные стены. У одного окна стоял Кирик и смотрел во тьму, вдруг он бросил револьвер в угол комнаты и сказал околоточному:

— Савельев! Дай ему по шее и отпусти,— он сумасшедший.

Околоточный взглянул на Кирика, подумал и ответил:

— Н-нельзя... эдакое заявление!

— Эх...— вздохнул Автономов.

— Добрый ты, Кирик Никодимыч! — презрительно усмехаясь, сказал Илья.— Собаки вот есть такие — се бьют, а она ласкается... А может, ты не жалеешь меня, а боишься, что я на суде про жену твою говорить буду? Не бойся... этого не будет! мне и думать про нее стыдно, не то что говорить...

Автономов быстро вышел в соседнюю комнату и там шумно уселся на стул.

— Ну-с, вот,— заговорил околоточный, обращаясь к Илье,— бумажку эту можете подписать?

— Могу...

Он взял перо и, не читая бумаги, вывел на ней крупными буквами: Илья Лунев. А когда поднял голову, то увидел, что околоточный смотрит на него с удивлением. Несколько секунд они молча разглядывали друг друга,— один заинтересованный и чем-то довольный, другой равнодушный, спокойный.

— Совесть замучила? — спросил околоточный вполголоса.

— Совесть нет,— твердо ответил Илья.

Помолчали. Потом из соседней комнаты раздался голос Кирика:

— Он с ума сошел...

— Пойдемте! — предложил околоточный, передернув плечами. — Рук связывать вам не буду... только вы не тово... не убегайте!

— Куда бежать? — кратко спросил Илья.

— Побожитесь, что не убежите... ей-богу!

Лунев взглянул на сморщенное, сожалеющее лицо околоточного и угрюмо сказал:

— В бога не верю...

Околоточный махнул рукой.

— Идите, ребята!..

Когда ночная тьма и сырость охватили Лунева, он глубоко вздохнул, остановился и посмотрел в небо, почти черное, низко опустившееся к земле, похожее на закопченный потолок тесной и душной комнаты.

— Иди! — сказал ему полицейский.

Он пошел... Дома стояли по бокам улицы, точно огромные камни, грязь всхлипывала под ногами, а дорога опускалась куда-то вниз, где тьма была еще более густа... Илья споткнулся о камень и чуть не упал. В пустоте его души вздрогнула надоедливая мысль:

«А дальше что будет? Петрухин суд?»

И тотчас же пред ним встала картина суда, — ласковый Громов, красная рожа Петрухи Филимонова...

Пальцы его ноги болели от удара о камень. Он пошел медленнее. В ушах его звучали бойкие слова черненького человечка о сытых людях:

«Прекрасно разумеют, оттого и строги...»

Потом он вспомнил благодушный звук голоса Громова:

«А признаете вы себя виновным...»

А прокурор тягуче говорил:

«Скажите нам, обвиняемый...»

Красная рожа Петрухи хмурилась, и толстые губы на ней двигались...

Невыразимая словами и острая, как нож, тоска впиалась в сердце Ильи.

Он прыгнул вперед и побежал изо всей силы, отталиваясь ногами от камней. Воздух свистел в его ушах, он задыхался, махал руками, бросая свое тело всё дальше вперед, во тьму. Сзади него тяжело топали

полицейские, тонкий, тревожный свист резал воздух, и густой голос ревел:

— Держи-и!

Всё вокруг Ильи — дома, мостовая, небо — вздрагивало, прыгало, лезло на него черной, тяжелой массой. Он рвался вперед и не чувствовал усталости, окрыленный стремлением не видеть Петруху. Что-то серое, ровное выросло пред ним из тьмы и повеяло на него отчаянием. Он вспомнил, что эта улица почти под прямым углом поворачивает направо, на главную улицу города... Там люди, там схватят...

— Эх вы, ловите! — крикнул он во всю грудь и, наклонив голову вперед, бросился еще быстрее... Холодная, серая каменная стена встала пред ним. Удар, похожий на всплеск речной волны, раздался во тьме ночи, он прозвучал тупо, коротко и замер...

Потом еще две темные фигуры скатились к стене. Они бросились на третью, упавшую у подножия стены, и скоро обе выпрямились... С горы еще бежали люди, раздавались удары их ног, крики, пронзительный свист...

— Разбился? — задыхаясь, спросил один полицейский.

Другой зажег спичку, присел на землю. У ног его лежала рука, пальцы ее, крепко стиснутые в кулак, тихо расправлялись.

— Совсем, кажись... башка лопнула...

— Гляди — мозг...

Черные фигуры каких-то людей выскакивали из тьмы...

— Ах, леший... — тихо выговорил полицейский, стоявший на ногах. Его товарищ поднялся с земли и, крестясь, устало, задыхающимся голосом сказал:

— Упокой, господи... все-таки...

II



ССОРА

НАВРОСОК

Котельщик Никита Редозубов шел домой. Шел он и внимательно следил, как по канаве, рядом с панелью, текла вода, унося с собою грязь, смывую с мостовой, льдины, черные прутья, выпавшие из метел дворников: всё это терлось друг о друга, кувыркалось, шуршало, а от воды исходил тяжелый запах.

Редозубов пристально следил за течением, и когда видел, что в узком месте канавы лед, прутья и навоз, свившись в кучу, заграждают путь воде, — он останавливался и ударом ноги разрушал запруды. Метлы, сердито шаркая по панели, брызгали грязью на сапоги Редозубова и на штаны его, выпачканные суриком и ржавчиной, но он не замечал этого. Засунув руки в карманы и наклонив голову, он, не торопясь, шагал по панели и упорно старался не думать о том, как он придет домой и что скажет жене; но ничто не защищало Редозубова от этих дум, и чем ближе подходил он к дому, тем медленнее становились его шаги. У ворот Никита остановился и, задумчиво почесывая бороду, заглянул во двор, покрытый большими глыбами грязного льда. Дворник стоял среди них с пешней в руках и, прищурив глаза, раскуривал трубку. Куры, крупные и сытые, лениво расхаживали по грязи.

Котельщик неприязненно посмотрел на кур и дворника, но тот шагнул в ворота и быстро пошел в угол двора.

— Взял, Никита Иваныч? — крикнул дворник.

— А тебе какое дело? — угрюмо ответил Редозубов.

Лестница на чердак показалась ему необычайно крутой, и ноги Никиты с трудом поднимались со ступеньки на ступеньку, так что у двери в свою комнату он несколько секунд постоял, прежде чем отворить ее.

— Взял? — тревожно спросила его жена, едва он ступил на порог.

— Сорвалось...

— Ну-у? — испуганно и тихо произнесла жена.

Среди комнаты, грязной, тесной, с закопченным потолком, возились дети, два мальчика и девочка. Четвертый ребенок, грудной, лежал на руках у матери. Она, сидя под окном, кормила его грудью, сморщенной и желтой.

— Вы! Пшли из-под ног! — сердито крикнул Редозубов детям.

Они, как тараканы, быстро поползли по полу и спрятались куда-то за печку.

— Сорвалось! — повторил Никита и, сбросив с головы картуз, непечатно выругался.

— Что же... Как же? — огорченно спросила жена.

Ее вялая грудь выскользнула из губ ребенка; он тербил ее ручками, протягивал к ней губы, чмокал ими, но мать не обращала на него внимания. Плотно сжав губы, она скорбными глазами смотрела, как муж, сидя на полу, снимает сапоги, и слушала его равнодушный, угрюмый рассказ.

— Пришел я... давай, говорю, сделаю за двадцать — пользуйся! «Э, нет, говорит, я, говорит, тебе давал — ты ломался, не брал; ну так не хочешь ли теперь за пятнадцать?» Ах ты жулик, думаю... Эх, говорю, Александр Савельич, — стыдно! Нехорошо, говорю! Ведь грабишь ты... видишь — некуда податься человеку, и жмешь его... Ну... выгнал он меня... Вон, говорит...

— Я тебе советовала — бери! Бери, говорила... А ты заартачился... Как же! Ма-астер!

В словах жены звучал упрек и насмешка.

Никита взглянул на нее, поежился и сказал:

— Дура! Что же — даром работать? Разве такая работа двадцать стоит? Ведь ее в пять недель не сделаешь...

— Ну вот и... рассуждай! И сиди... А хлеба — ни куска. Что будем жрать? Подумал бы — дети ведь! Эх, ты-ы!

— Помолчи! — крикнул Никита.

За печкой раздался пугливый шорох, а ребенок на руках матери плакал, хватал ручками кофту и тянул ее в рот.

— Не буду молчать! — вдруг закричала женщина таким голосом, точно в груди у нее что-то разорвалось. — Будет, помолчала я... эх! Бродяга ты, пьяница! Ведь всю зиму ты палец о палец не ударил... а детей, небойсь, народил! Корми их! Ну, корми!? Эх, ты-ы...

Она говорила «ты-ы» визгливо и как-то сквозь зубы, и зубы ее обнажались, отчего желтое и худое лицо ее становилось голодным и безумным.

Никита сначала возражал ей презрительно и угрюмо, но без злобы, однако вскоре упреки и тонкий злой визг жены раздражили его, и он тоже закричал:

— Молчи, говорю!

А она торопливо бросала в него обидными словами и грозила ему кулаком:

— Ах ты-ы! Бесстыжая твоя рожа... дармоед ты!

Лицо Никиты исказилось, он подошел к ней и тихо, не разжимая губ, зашипел:

— Я что приказываю?

Она наклонила голову набок, чтобы смотреть прямо в лицо ему, и завизжала злорадно и громко:

— Би-ить будешь? Не любишь правды? Эх ты-ы! Одиннадцать лет ты меня мучил — всё молчала я! Кровь мою ты сосал — молчала! Иссохла вся — молчала! Будет!

— Ах ты, сука! — размеренно и со злым изумлением заговорил Никита, — да ты что это? а? Одиннадцать лет, а? А я? Я на тебя не работал одиннадцать лет? Не кормил я тебя? Не обувал, не одевал? а? И щенков твоих не воспитал? Как же ты можешь подлые твои слова говорить?

— Съел ты меня! Задушил ты меня! Пьяница ты разнесчастный! Ведь места живого нет во мне... замучилась, задохлась я с тобой!

— А хочешь ты, шкура барабанная, я тебя вон швырну? — спросил Никита спокойно и зловеще, а рыжая борода его тряслась.

За печкой было тихо. Ребенок посинел от крика и уже хрипел, надутый, как пузырь; мать судорожным

движением рук подбрасывала его в воздухе, с жалкой злобой смотрела в лицо мужа и всё кричала, визгливо, со слезами в горле, и кашляла она и дышала так тяжело, как загнанная лошадь...

— Выгонишь? Гони! Ну и гони! Эх ты-ы! Да ведь, как червь, погибнешь ты без меня!

— Ступай вон! — сказал Никита и, отойдя на шаг от нее, кивнул ей головою на дверь.

— Не смеешь ты гнать меня!

— Ступай вон! С детьми... Ну!

— Врешь! Не пойду!

— Дай сюда ребенка!

— Вр-решь...

Никита шагнул к ней и с размаха ударил ее кулаком по голове. Она покачнулась на стуле, едва не выронила ребенка из рук, а потом встала на ноги, взглянула на мужа с ненавистью в глазах и вызывающе спросила:

— Идти?

— Без разговору!.. Ребятишки — собирайся!

Из-за печки один за другим медленно выползли дети; они на четвереньках совались по комнате и, хныкая, надевали на себя какие-то лохмотья...

— Я уйду! — тихо бормотала женщина, положив ребенка в угол комнаты, в корзину. — Пойду... К губернатору пойду... скажу: защитите! Дети, скажу... а ты... а он — изверг! Помогите, скажу... Что же?

— Молчать тебе! — крикнул Никита, толкнув ее в шею.

Но она, дрожащими пальцами застегивая кофту на груди, всё говорила жалкие, бессвязные слова и смотрела на мужа глазами, полными горя, ужаса, ненависти.

Рыжий, горбоносый, с растрепанной бородой, Никита грозил ей кулаком, скалил зубы и дышал тяжело. Схватив с постели шаль, он швырнул ею в жену и пошел в угол, где надрывался от крика ребенок. Там, поворотясь спиной к жене и детям, которые всё еще возлились на полу, робко всхлипывая, он наклонился над корзиной, начал трясти ее и диким голосом запел:

— О-о-о! О-баю! О-баю, баю, баю...

— Прощай, разбойник! — сказала жена. Он не ответил ей.

— Прощай, изверг! — повторила она.

— Иди-ка, иди! Погуляй... простынешь несколько... — злорадно сказал Никита.

Хлопнула дверь... Потом за нею раздался топот детских ног... Никита оглянулся — в комнате было пусто.

— С-собака! — вздохнув, сказал он. — Попрекает... одиннадцать лет, а? А я? О-о-о! Молчи ты...

Вытащив ребенка из корзины, он сел с ним под окно, на то место, где раньше сидела жена. Ребенок дрыгал ногами и ревел. Глядя на его синее, облитое слезами лицо, Никита чувствовал в груди у себя что-то нехорошее, жгучее. Не первый раз он выгонял жену и детей, и раньше это не тяготило его; он знал, что жена пойдет в слободу, к своему отцу, переночует там ночи две и — воротится. И когда она воротится — оба они даже не вспомнят об этой ссоре и ни слова не скажут друг другу о ней. Они уже привыкли к этому. Но сегодня Никита чувствовал что-то особенное. Он качал ребенка на руках и, зло улыбаясь, односторонне говорил:

— Ишь ты... замучил! А я? Дерево я? Или, может, камень я? Не кричи ты! О-о-о! Баю, баю! Мне — легко, вы скажете? Черти... Спи, спи ты... свисток!

Ему стало жалко себя. Но неугомонный крик ребенка раздражал его и мешал ему думать о себе.

— Вот я тебя! — грозил он ребенку и, сделав страшное лицо, завыл и зарычал на него:

— У-у-у! Молчи! Р-рр-р...

Это не помогло. Тогда он сунул ребенка в корзину, сошел вниз и попросил кривую старуху-нищую, жившую в подвале, посмотреть за ребенком, а сам ушел из дома, захватив с собой все платья и кофточки жены...

В три дня он пропил всё, что было дома — все женнины тряпки, стол, стулья, сундук; пропил даже ту корзину, в которой спал ребенок.

Ребенка взяла мать, придя на квартиру в отсутствие Никиты. Она делала это и раньше, но теперь котельщик рассердился на нее и в отместку перебил все горшки и посуду. Он сделал это так: составил всё с полок на шесток, потом взял ухват, засунул им посуду в печь

и, работая ухватом, как рычагом, с удовольствием искрошил в черепки тарелки, горшки, чашки... Все три дня он провел в дрянном трактире, который посещали только золоторотцы; там он продавал вещи, там он пропивал деньги и, пока было что пропивать, — не скучал и не думал ни о чем.

А на четвертый день ему уже не на что было опохмелиться. Он проснулся от холода и боли в костях; и когда осмотрелся, то понял, что лежит в бочке из-под сахара, на дворе трактира. Первый звук, который поймало его ухо, был хрюканье свиньи, а первая дума — дума о том, что надо выпить. В голове у него было тяжело и мутно, во рту горько, весь он трясся от холода и недомоганья. Он выглянул из бочки и увидел серые высокие каменные стены с большими пятнами на них... Они окружали двор со всех четырех сторон, и только в одной из них были окна, а к трем прижались какие-то деревянные полугнилые постройки. Никите показалось, что он лежит на дне глубокого колодца. Неподалеку от него, за дверью маленького сарая, хрюкали свиньи, и из-под двери высовывался свиной нос с розоватыми дрожащими ноздрями...

Он спешно вылез из бочки и вошел в трактир с заднего крыльца. Там уже много сидело народа, и вся большая комната была полна табачного дыма, звона посуды и пьяных криков.

Высокая рябая женщина подошла к Редозубову, заглянула в лицо его и так засмеялась, точно в ладоши захлопала.

— Выспался?

Никита посмотрел на ее щеки, покрытые красными и синими пятнами, точно ржавчиной изъеденные, и, отвернувшись, сказал:

— Выспался...

— Ну, давай опохмелимся...

— Пошла ты прочь...

— Что, видно, профинтился? — И, снова засмеявшись, она толкнула его плечом. — Иди, садись, я тебе поднесу...

Никита пошарил в карманах, но кроме куска огурца ничего не нашел в них.

— Чисто? — спросила женщина.

— Ты кто такая? — хмуро и сердито сказал Редозубов.

— Милая твоя, — ответила она и так противно скосила свои большие серые глаза и так оскалила зубы, что Редозубов качнул головой и плюнул:

— Ну, рржа!

— Сойдет! — смеясь ответила она.

Потом взяла за стойкой полбутылки водки и уселась за стол рядом с Никитой, навалившись плечом на плечо ему. Выпили. Потом еще выпили и закусили огурцом, от которого пахло соленой рыбой.

После двух рюмок водки в голове Никиты прояснилось, но грудь ему ломила тупая боль, его покачивало, и казалось ему, что сидит он не на стуле, а на краю крутого оврага и что если он пошевелится, то сейчас же сорвется и упадет вниз, в какую-то бездонную глубину.

— Что же я... с тобой, что ли, шил? — спросил он рябую женщину.

— Со мной, душка, со мной...

— Компания! — горько усмехнулся Никита.

— По Сеньке — шапка...

И женщина снова оскалила зубы и скосила глаза.

— А ты кто такая? — угрюмо спросил Никита.

— А тебе что за дело?

— Так... говорить-то надо с тобой?

— А! для разговору... скажу я тебе, мил-друг, вот как: зовут меня Луковица, а была я — Лукерья...

— Девка, что ли?

— Замужняя...

— Что же муж-то бьет ли тебя за твою подлую жизнь?

— Фью! — свистнула женщина. — Он сам у меня подлец...

— А кто он?

— Кучер был... Вместе на местах живали... Он кучер, а я, значит, кухарка...

— Он где же?

— В тюрьме сидит...

— За что?

— Украл... Пьяница был... Спился, воровать стал... Никита испуганно взглянул на нее, поник головой и замолчал. Потом снова начал спрашивать:

— Что это он?

— А то же вот, что ты... Очень даже обыкновенно... Пил и пил... Детей двое, а он пьет... Я страдаю, а он пьет... И я тоже стала пить...

— А где дети? — тихонько спросил Никита.

— Тут...

— Здесь?..

— В улице...

— Зачем?

— Собирают по миру... Разве я могу их содержать? Я тоже пьяница... А около вашего брата не много возьмешь... Голь... Ах, какие вы все...

Она крепко ругнулась...

— Уж мы бабы,— а вы — даже и слова для вас нет... такие вы дьяволы, такие... — Она говорила монотонно, деревянным голосом, но ржавые пятна на лице ее переливались, становясь то краснее, то синее. Никите стало неловко с ней...

— Надо идти,— сказал он ей и встал.

— Куда? — спросила женщина.

Редозубов наклонил голову и задумался...

— Не дать ли тебе пятак? — предложила ему рябая и стала искать карман в юбке. — Я могу... У меня копеек с тридцать... Твои же...

Никита хотел что-то сказать ей, но круто повернулся и без слов ушел из трактира...

День был ясный, теплый, улицы кое-где уже просохли, а местами на них еще лежал лед, и от него во все стороны ползли ручьи. Каждая куча льда была похожа на огромное, разбитое о камни мостовой гниющее черное чудовище... Яркий блеск весеннего солнца резал Никите глаза, он щурил их и торопливо шел по улицам всё прямо и ни о чем не думая. Сердце у него билось испуганно, торопливо, и в нем шевелилось что-то неприятное, точно большой червяк заполз туда. Точно было ему, и когда он вышел из города в поле, то глубоко и облегченно вздохнул, передвинул картуз с уха на ухо и остановился, не зная, что ему делать.

Далеко пред ним на горизонте стоял синий лес. Никита посмотрел туда и подумал, что там, должно быть, тихо и ни одной души человеческой нет среди голых, безлистных деревьев... Ему захотелось пойти туда, в тишину, и, свернув в сторону с дороги, он пошел к лесу...

На ногах у него были худые опорки — а земля напталась водой, как губка; каждый шаг Никиты выдавливал воду из нее, и скоро боль в ногах остановила его. Поджав одну ногу, он с минуту постоял, как гусь, и вдруг повернул назад, в город.

Шел он, и ему казалось, что город всей своей массой надвигается на него... Благовест к вечерне, задушевный голос небольшого колокола плавал в воздухе, и звон... звон... звон... Над крышами домов деревья простирали в воздухе черные сучья. Каждая ветка отчетливо рисовалась на голубом небе, а выше всех ветвей сиял золотой крест на колокольне церкви Варвары Великомученицы. Никита посмотрел на крест и вспомнил, что в этой церкви он венчался...

В опорки ему набилась холодная жидкая грязь и хлюпала там при каждом шаге. Никита подумал, что если зайти в церковь и постоять там — ноги согреются и перестанут болеть...

Через несколько минут он уже стоял в темном углу храма, прислонясь спиной к теплым изразцам печи, и слушал внушительные возгласы священника. В полумраке, наполнявшем храм, слабо вздрагивали маленькие, редкие огоньки свеч, и кроткий блеск их почти не освещал лики икон. Темные фигуры молящихся бесшумно колыхались... И несмотря на гулкий голос священника и на гнусавое пение, казалось, что церковь полна тишины — жуткой тишины, которая пропитала собой всё здесь, и даже иконы вслушиваются в нее... Теплота и сладкий запах ладана, ласково окутывая Никиту, согревали и тело и сердце его, избывшее еще более, чем тело...

... Никите почему-то вспомнилось, как однажды в детстве он говел. Послала его мать причащаться и дала ему пятак, а он купил бабок на копейку да и проиграл и пятак весь и обедню. Вечером мальчишки сказали

матери, что он не причащался... Как она его была тогда!..

...Прошел сторож с зажженной свечой в руках; поравнявшись с Никитой, он замедлил шаги и пристально оглянул его с головы до ног.

«Видно, за жулика принимает...» — подумал Никита. От этой думы ему стало обидно, и вслед за ней в сердце его закипела обида и жгучая тоска...

«Что это, господи, за жизнь! Нигде нет места... В церкви, в доме твоём,—и то не дают отдохнуть... Обижают... Я грешник... скажем, мерзавец я... Но мерзавцу тоже отдохнуть надо... Вот я жизнь свою разрушил, всё пропил, всех прогнал — разве за это нельзя меня пожалеть? Разве я от себя это? Ведь не камень я... Господи! прости... Накажи, строго накажи!.. *Убей, но не обижай...*»

От жалости к себе в груди Никиты рождалось что-то горячее, сильное, он выпрямился, перекрестился, часто заморгал глазами и сделал несколько шагов вперед... А навстречу ему из царских врат на амвон вышел священник — маленький седобородый старик, — вышел и что-то заговорил людям, отечески ласково. Люди склонили перед ним головы, иные опустили на колени и слушали его слова, и огни свеч, тихонько вздрагивая, тоже как будто слушали...

Купол церкви был наполнен лунным и призрачным светом,—как будто бы только что растаяло белое легкое облако, и сквозь дымку его Саваоф смотрел вниз, на коленопреклоненных людей. Слова молитвы печальными звуками сердечного сокрушения плавно поднимались туда, к светлому лицу бога. И еще по церкви носился тихий и робкий шёпот — звук молитвы людей...

Никита тоже опустился на колени. В церкви он давно уже не был и молитвы почти все забыл, но это не мешало ему молиться и жаловаться богу па жизнь.

— Господи! Ежели человека изо дня в день всё давит... и нет никакой радости — что же я могу? Я виноват... беззаконник и безобразник я... Отче наш, иже еси на небеси! Да святится имя твое!.. Да придет царствие твое!

Дальше Никита не помнил слов молитвы. Он долго

стоял на коленях, смотрел в пол, наклонив голову, и думал о том, как он пойдет к жене и станет просить у нее прощенья... Он искал слова, подбирал их и составлял из них жалостливую искреннюю речь... к жене. «Саша! Пропившись... виноват и перед тобой и перед детьми...»

Но ему всё не нравилось... он досадливо тряхнул головой, поднял ее и — вздрогнул. Со стены на него смотрело большими и строгими глазами суровое черное лицо, всё в морщинах. Мерцание свечи перед ним заставляло его то хмуриться, то проясняться, но и проясненное оно было сухо и строго. Никита встал на ноги и покорно, низко поклонился ему.

А потом тихонько отступил пред ним и, стараясь не стучать своими опорками, ушел из церкви.

Была ночь; темное небо и звезды смотрели в окно чердака Никиты. Он сидел на полу, у окна, рядом с женой, и, положив ей руку на плечо, убедительно, вполголоса говорил:

— Надо понимать, Саша, надо соображать — почему? Почему пьянство? Почему озорство? На всё нужны ответы, Саша... разве кто из людей есть враг себе? Человек себя любит, но, между прочим, идет даже против себя. Почему?

Во тьме лицо его жены казалось синим, а поза у нее была убитая — голова склонилась на грудь, плечи опустились, руки бессильно лежали на коленях ее вытянутых ног. Никита же сидел на корточках рядом с ней и, наклоняя голову, всё заглядывал в ее лицо.

В комнате было пусто — ни стульев, ни стола не было в ней, и только на полу лежали в ряд четыре маленьких тела. Они были прикрыты какими-то тряпками, из-под тряпок высовывались голые темные ножки. Кто-то из них бредил во сне, болезненно и гнусаво вытягивая:

— Ма-а-ам...

— Господи! — тоскливо и тихо воскликнула женщина. — Как будем жить? Ничего, ничего нет... всё пропил... всё!

— Я говорю тебе — больше не буду. Вот как перед истинным господом говорю — больше не могу! Боюсь... Чувствую, что если еще раз допущу себя до этой слабости — пропал я! И ты... и все!

Его жена печально качнула головой и застонала.

— Простить надо меня! Пожалеть надо,— смущенно говорил Никита, ласково глядя плечо жены рукою.— Разве это от себя я? Сердце озябло... ну, и греешь его водкой... Дайте вздохнуть!

— Как будем жить? — всё качая головой, со страхом говорила женщина.— Откуда всё возьмем? Ни чашки, ни ложки... Царица небесная!

Никита отодвинулся от нее и замолчал, глядя в окно. Одна из звезд в небе была такая роскошно-яркая, она сверкала разными огнями и была больше всех, всех красивее. Никита долго смотрел на нее и вдруг снова заговорил, подвигаясь к жене:

— Саша — прости уж! Больше, ей-богу, не буду! Никогда! Разве я не понимаю вину мою пред тобой? Был я в церкви... даже бог от меня отворотился! — Голос Никиты дрогнул, и он безнадежно махнул рукой.

— Я говорю: господи! Мерзавец я...

И тут Никита горько всхлипнул, закрыл лицо руками и, как бы желая спрятаться от чего-то, ткнулся головой в ноги жены. Она же наклонилась низко над ним и долго молчала, глядя на его дрожащие от рыдания плечи...

— Не плачь,— тихонько сказала она.

А он всё всхлипывал. И ребенок бредил:

— Ма-а-ам... о-оде-ень...

— Тридцать восемь лет... живу... и что? зачем? — бормотал Никита сквозь слезы.

— Бу-удет тебе...— вздыхая, сказала женщина.

— Ни света... ни радости... Саша! Прости меня!

— Христос с тобой! — помолчав, сказала женщина. — Что я, чужая, что ли? Не плачь уж... не мучь себя... и так много у нас всякой муки... И ради матери пречистой не пей ты, Никитушка! Голубчик мой! Ведь пропадем... И детишки... детишки-то!

Она схватила его голову, подняла ее и крепко прижала к груди, точно боясь, что кто-то вырвет мужа

из рук ее, и стала жадно целовать его, а он, рыдая, говорил глухо и покаянно:

— Не буду... родная ты моя... замученная... любимая ты моя...

И от этих славных слов она тоже заплакала легкими, почти счастливыми слезами...

...Больше они уже не разговаривали, ибо, выплакав свои слезы, стали оба дремать. Она — сидя на полу, опершись спиной о стену и затылком о подоконник, он — положив голову на колени ее...

Тьма ночи окутывала их, и в комнате было тихо; лишь порой ребенок вскрикивал плачущим голосом:

— Ма-ам... о-одень...

ГОЛОДНЫЕ

С НАТУРЫ

Пришлось мне недавно поехать верст за сто вниз по Волге, и на обратном пути видел я голодающих. Они хлынули на наш пароход с одной из пристаней; их было около сотни, всё больше старики, старухи, бабы с грудными ребятами на руках и дети — много детей! Тут были все возрасты — от недельного ребенка до десятилетних парнишек, желтоволосых, чумазных, с острыми рожцами, обтянутыми бескровной серой кожей. Цепляясь за подолы матерей и бабушек, они молча сбегали по сходням на пароход и, очутившись на просторной чистой палубе, останавливались и смотрели вокруг широко раскрытыми, серьезными глазками. Взрослые крестились.

С утра весь день шел дождь, и все эти большие и маленькие, но одинаково беспомощные люди были переначканы в глине, обленившей их ноги, лохмотья и пустые котомки.

— Проходи на корму! В четвертый класс иди! — командовали им матросы.

И они тяжело двинулись по указанному направлению, молчаливые и сосредоточенные в своем горе.

— Откуда вы? — спросил их кто-то из пассажиров.

— Из-за Пьяны...

— Куда едете?

— Сбирать...

— По миру...

— Не подают в наших-то местах...

— Трое суток шли вот...

— Которые в город поедут, которые в Лысково...

Голоса — надорванные и глухие, на иных лицах стыд и смущение, большинство равнодушно и тупо;

две-три рожи испорчены противными минами хажества, и это как раз самые сытые и плотные фигуры в общей массе усталых, тощих, ободранных людей с подведенными животами и растерянными взглядами.

На нарах четвертого класса все места заняты, и, свесив оттуда головы, публика, тоже не особенно сытая, молча смотрит на палубу, посреди которой располагаются новые пассажиры. Высокий, бородатый, угрюмый мужик в худом армяке и в лаптях роется в пещуре, достает краюху черствого пшеничного хлеба и протягивает вниз бабе, закачивающей на руках плачущего ребенка:

— Пожуй да дай ему...

— Спаси Христос!

Она жадно ломает зубами хлеб, торопливо жует его и... проглатывает.

— А ты ребенку-то сначала дай,— укоризненно говорит старик.

— Дам, родной, дам,— сконфуженно говорит баба, снова жует и, вытащив пальцем из своего рта жвачку, отправляет ее в рот ребенка.

Ребенок присасывается к ее пальцу, раскрывает глаза, закрывает их и урчит... Это, знаете, странный такой, голодный звук маленького животного, которое долго хотело есть и вот ест наконец — ест и радо всеми фибрами своего тела.

Рядом с бабой сидит на палубе, поджав колени, маленький старичок с красными больными глазами. Он поднимает голову к подавшему хлеб и, указывая на бабу, говорит:

— Дочь моя... со внуком.

— Так,— отвечает старик с нар.

— А вы кто будете? — допрашивает дед, ласково моргая глазами.

— Плотники...

— Издалече?

— С Василь-Сурского...

— А как там?

С нар несетя тяжкий вздох.

— Везде одинако истощала почва земли.

...В другом месте голодающих окружили матросы и сумрачно слушают рассказ бойкой бабы, обвешанной четырьмя детьми мал мала меньше.

— И вот, судари мои, как пришло нам совсем уж неведомо, и надумали мы всей деревней в кусочки пойти... Большаки же у нас кто куда по работу разбрелись, а мы вот собрали ребятишек да и пошли: авось, мол, бог да добрые люди прокормят кое-как...

— Твои всё ребята-то? — спрашивает один из матросов.

— Не-е... двое-то, вот эти, мои... а эти двое — сестрицы... Она приспособилась у меня на лесопильню в стряпухи, а ребятишек-то мне сдала... Вот я с ними и пустилась... авось, господь помилует!

— Трудно с четырьмя-то?..

— Да ведь что поделаешь!.. Терпеть надо...

...Около машины — группа детей. Они смотрят, привстав на цыпочки, в стекла и переговариваются.

— Ишь, как ворочат! — говорит один.

— А масло-то... так и капаит!..

Один из них увлечен работой машины и, серьезный, с надутыми щеками, должно быть, неволью подражает движению поршней, тыкая в воздух худыми кулачками. Быстро подходит еще один маленький и чумазый человек, босой, в рваной ситцевой рубашке. Он дергает товарищей за одежду и вполголоса, торопливо, с горящими глазами говорит:

— Братцы! Вон там стряпают повары — целых три... бе-елые... Говядины у них — страсть сколько!

— Подем поглядим...

— Прогонят, — нерешительно возражают ему.

— Ничего! Айда!

И, топая по палубе ножонками, покрытыми грязной корой, они идут прочь от машины, смотреть на говядину, которой «страсть сколько!»

... Мужик, высокий и худой, в бабьей кацавейке и в лохматой шапке на голове, стоя в группе пассажиров, рассказывает, умно и сконфуженно улыбаясь:

— Решились... потому что других ходов нету нам, кроме как по миру. Повздевали на себя что похуже, для жалости, стало быть, да и пошли...

— Пойдешь, ежели выжимает из деревни-то!

— Пошли... думаем, все-таки на людях...

— Конечно... человек человеку должен помочь...

Кое-кто из пассажиров третьего класса делится с ребяташками хлебом; какая-то женщина в красном платье и с нахальным лицом взяла себе на руки беловолосую девочку лет двух и поит ее молоком из бутылки. Человек в длинном черном кафтане, в шляпе и с длинными волосами, обрамляющими постное лицо, — очевидно, начетчик-старообрядец, — ломает колобашку на равные куски, а его окружили ребяташки и жадными глазами измеряют доли хлеба.

...На пароходе стон стоит... Плачут голодные дети у груди голодных матерей; матери поют и шипят, успокаивая их; всюду раздаются медленные нескладные речи, прерываемые вздохами, и всё это, сливаясь с глухим гулом машины, образует скорбный шум, от которого в голове и на сердце становится тяжело и больно...

— Матрос-от подошел с решетом, а повар-та почерпнул из котла говядины — большущей такой ложкой! — и вывалил ему в решето, — раздается захлебывающийся от волнения детский голос.

— Много?

— Ужаси!

— Пять фунтов?

— Бо-ольше!

— Нам бы...

Это — детские грезы.

...Эх! «Истошала почва земли!»..

СИРОТА

В туманный и дождливый день у ворот кладбища маленькая группа людей, стоя в луже грязи, торговалась с извозчиками.

— Пятиалтынный! — густым басом восклицал высокий и тучный священник в ответ на дружные крики извозчиков, просивших по четвертаку.

— Ах, какие вы бесстыжие! — укоряла их одна из четырех женщин, окружавших священника. Она держала зонт над его головой и сама плотно жалась к его боку, стараясь укрыться от дождя, мелкого, как пыль.

— Погоди, мать, не толкайся! — говорил священник, внушительно приподнимая кверху правую руку. — Ну, за пятиалтынный везете?

— Ах, какие вы жадные! — огорченно восклицала матушка, нетерпеливо переступая по грязи с ноги на ногу. На ее худом лице с большими круглыми глазами пылало негодование, и она, высоко подобрав свою юбку, так нетерпеливо дергала ее, точно хотела бежать.

— Далеко ли тут? — говорила она, убедительно качая головой. — Вы подумайте — далеко ли?

Но извозчики не хотели думать. Ожесточенно дергая вожжами и раскачиваясь на козлах, они кричали, перебывая друг друга:

— Помилуйте, батюшка! Не торгуйтесь, матушка! Пожалуйте! Притом же — за упокой души...

Дьякон, псаломщик с крестом в руках и еще три женщины, укутанные в большие платки, тоже возмущались жадностью извозчиков и ревностно поддерживали оживление торгового дела. Они очень шумели пред входом в обитель вечного покоя, и холодный ветер, точно желая скорее прогнать их, сбрасывал им на плечи крупные

капли дождя с ветвей берез и лип, уныло осенявших каменную ограду кладбища...

Нищие, в грязных и мокрых лохмотьях, окружали этих людей и, разбрызгивая грязь своей тяжелой обувью, болезненно и назойливо ныли:

— Подайте Христа-а ра-ади...

— Копеечку за упокой ее душеньки — пода-айте!

— Поминаючи усопшую...

— Фу, какие ненасытные! — кричала матушка, высовывая голову из-под зонта. — Да ведь вам уже подали... ведь получили вы по баранке... Ай-я-яй! Как вам не стыдно!

Понуро опустив головы, четыре лошади вздрагивали, стравивая с себя воду, и покорными глазами косились на своих хозяев, ожидая привычного окрика или удара кнутом.

— Батюшка! — решительно воскликнул один извозчик, — желаете поехать за двугривенный?

— Пятиалтынный... — отрицательно качнул головой батюшка.

— Боже мой, какие...

Но прежде чем попадья кончила начатый упрек, извозчик озлобленно хлестнул лошадь кнутом и поехал прочь. Другие извозчики тоже задергали вожжами...

— Ну, ладно! Ну — давай! — махнул рукой священник. — За двугривенный — давай! Садись, мать, на этого... полезай, отец дьякон! Садитесь все... Пошел с богом!.. Стой, стой! А где... внук?

— Ай матушки! Где он? — пугливо воскликнула попадья.

— Извозчик — стой! Отец дьякон, а? Бабы, вы как же это? чего вы смотрите? — строго спрашивал священник.

Женщины, уже сидевшие на пролетках, стали слезать в грязь, растерянно бормоча что-то.

— Экий какой... шельмец! — угрюмо ворчал дьякон, тоже прыгивая с пролетки. — У могилы остался, видно... Вы, отец Яков, поезжайте, не беспокойтесь, а я с Кириллом останусь... мы привезем мальчонку...

И, подобрав рясу, дьякон пошел к воротам кладбища, внимательно глядя себе под ноги.

— Да, да — как же? — говорил священник, усаживаясь на пролетке и следя, чтоб широкие одежды его не попали в колесо. — Надо его найти... он мне поручен... и прочее такое! Извозчик — трогай! На могиле, отец дьякон, ищи его... на могиле!

Две пролетки с дребезгом поехали. На передней сидел священник с женой, на второй — три женщины, а третья — со псаломщиком — осталась у ворот. Псаломщик поставил большой крест себе в ноги, обнял его руками, прижал к груди, а потом засунул руки в рукава пальто и наклонил голову на левое плечо, чтоб защитить от дождя щеку. Нищие исчезли как-то вдруг, точно грязь поглотила их и они растворились в ней.

— Вот торговались, небойсь... а теперь я стой и дожидайся чего-то... — сказал извозчик, глядя вслед уехавшим. Псаломщик, тоже недовольный этим ожиданием под дождем, промолчал.

— Кого потеряли-то? — подождав, спросил извозчик.

— А тебе что?

— Мне-то? А ничего... только вот — жду я...

— И подождешь! — хмуро сказал псаломщик.

— Известно — подожду... Однако у старухи-то, у покойной, слышь, деньги были...

— Ну?

— Кому же это она их определила?

— Не тебе...

— Известно, не мне... Кабы мне — я бы и не спрашивал... а я спрашиваю — на церковь, мол, или как?

— На воспитание ее внука священнику нашему, — сообщил псаломщик, ежась от дождя, попадавшего ему за воротник пальто.

— Та-ак! — сказал извозчик. Потом он спросил, велик ли внук и сколько осталось денег, но псаломщик уже не отвечал ему.

— Стало быть, невелик он, внук-то, коли некуда его девать, кроме как на воспитание, — вслух умозаключил извозчик. Его лошадь взмахнула хвостом — он обругал ее, ударил вожжами и умолк. Дождь сыпался беззвучно, а голые и мокрые ветви деревьев, качаясь под ударами ветра, вздыхали и стонали.

А на кладбище, под одним из бесчисленных крестов его, стоял маленький мальчик с лицом, распухшим от слез. Он съежился в черный комок и молча смотрел на бугор земли пред ним — свежий, только что утрамбованный лопатами бугор мокрой глины. Часто с вершины бугра, бесшумно скользя по его боку, сползал к ногам мальчика комок земли. Мальчик следил за его движением светлыми и печальными глазами и вздыхал тихонько. В одном углу кладбища хоронили бедных, тут не было ни одного памятника из камня, не было и деревьев вокруг мальчика; стояли только одни деревянные, простые, черные, зеленые, белые, неокрашенные гнилые и искривленные кресты — все мокрые от дождя и красноречивые в своем торжественном молчании. Мальчик стоял, прислонясь к большому черному кресту, упорно смотрел на новую могилу и не видел ничего, кроме этого мокрого коричневого бугра, таявшего под дождем.

На черном мохнатом пальто мальчика осели мелкие серебристые капельки дождя, и тоскливое лицо его тоже было мокро. Он держал руки в карманах и голову склонил на грудь. Из-под круглой шапки выбилась прядь рыжеватых волос и прилипла к его правому виску. И, одинокий среди множества крестов, символов страдания, он своим белым и печальным личиком тронул сердце дьякона, подошедшего к нему с раздражением за прогулку среди могил по грязи и под дождем.

— Ну, чего же ты стоишь тут, Петрунька? — сказал дьякон, взяв его за руку. — А мы тебя ищем... все уже уехали. Пойдем...

— Куда? — тихо спросил мальчик.

— К отцу Якову... ты у него жить будешь теперь... ты не плачь... это воля божия. Господь может прогневаться на тебя за слезы твои... И опять же — ведь она старая была у тебя, бабушка-то, а все люди — смертны. Все умрут в час свой... и я и ты — все умрут!

Он вел мальчика за руку и следил за тем, чтоб не потерять своих галош в грязи. Он хотел говорить ласково, но говорил озабоченно, потому что боязнь потерять галоши мешала ему быть ласковым с сиротой. Мальчик закусил губу, удерживая рыдания, разбужен-

пые угрюмыми словами, и почти бежал за дьяконом, шагавшим широко и быстро.

— Ничего! — сказал дьякон, мельком взглянув в его лицо.— Отец Яков — хороший человек... ты будешь играть с Мишуткой и Зоей... заживешь весело... да!

Мальчик представил себе Зою, смуглую и бойкую девочку с черными глазами. Она прыгает пред ним, показывая ему нос, и дразнит его, распевая злым голосом:

— «Рыжий от грыжи, рыжий от пропажи, рыжий свечи зажигать, рыжий трубы затыкать...»

— Я не люблю Зою...— печально сказал он.

— Ну, это пустяки!.. Полюбишь, в одной комнате жить-то будете...

— Я не буду...

— А... нельзя этого...

Мальчик тихо заплакал.

— Эх ты... сиротина! — вздохнул дьякон, глядя на него.

Когда дошли до извозчика, дьякон заботливо усадил его в ноги псаломщику и поощрительно сказал:

— Сиди крепче!.. Приедем — чай будем пить...

— Ну-у, жаба! — крикнул извозчик на лошадь.

Пролетка запрыгала по мостовой сквозь серую завесу дождя и тумана. Из тумана выдвигались дома, и, казалось, они тихо и молчаливо плывут куда-то, оглядывая мальчика большими и бесцветными глазами. В груди мальчика было холодно и тесно для сердца.

В СОЧЕЛЬНИК

...Как-то раз я сидел в кабачке с неким человеком и, скуки ради, уговаривал его рассказать мне какую-нибудь историйку из его жизни. Собеседник мой был субъект невероятно изодранный и истертый,— казалось, что он всю жизнь свою шел какими-то тесными местами и всюду задевал своим телом, вследствие чего костюм на нем превратился в лохмотья, а тело куда-то исчезло, как будто его сорвало с костей. Был этот человек тонок, угловат и совершенно лыс,— на желтом его черепе не росло ни одного волоса. Щеки у него провалились, скулы торчали двумя острыми углами, и кожа на них была так туго натянута, что даже лоснилась, тогда как всюду на лице она была сплошь изрезана тонкими морщинами. Но глаза у него смотрели бойко и умно; хрящеватый длинный нос то и дело насмешливо вздрагивал, и речь этого человека очень гладко лилась из его уст, полузакрытых жесткими и рыжими усами. Мне думалось, что жизнь его была очень интересна.

— Рассказать вам историю мою? — спросил он меня сиповатым голосом. — Так-с... Надо рассказать, коли вы угощаете... Но ежели всю историю — это не годится... чрезмерной длины жизнь я прожил!.. Скучно слушать и невесело рассказывать... А вот кусочек, анекдотец какой-нибудь могу! Желаете? Хорошо-с! Но только вы спросите еще парочку пивка... за труды мне. Ведь иной раз для человека опуститься в свое прошлое может быть столько же неприятно, как в помойную яму слазить...

...Рассказишко этот, сударь вы мой, едва ли покажется вам значительным и для вашей писательской цели пригодным. Но для меня он... мне он нравится.

Дело, извольте видеть, весьма простое и вот в чем заключается.

Однажды в сочельник рождественский мы — я и мой товарищ Яшка Сизов — целый день торчали на улице. Мы предлагали свои услуги разным барыням по части переноски их покупок. Но барыни, нам не внимая, садились на извозчиков и уезжали, — из чего вы видите, что нам с Яшкой совсем не везло. Мы также просили милостыню и этим способом настреляли немножко: я — 29 к., из которых гривенник, данный мне каким-то барином на крыльце окружного суда, оказался фальшивым, а Яшка, — парень вообще более талантливый, чем я, — к вечеру был настоящим богачом — у него было 11 р. 76 к. Эту сумму, по его словам, сразу дала ему какая-то барыня, причем она, барыня-то, была так великодушна и добра, что подарила Яшке не только деньги, а и кошелек и даже носовой платок прибавила. Это, знаете, бывает. Иногда человек в такое состояние от доброты приходит, что становится почти полоумным и прямо изувечить вас готов своей добротой, только бы избыть ее...

Когда Яшка рассказывал мне об истинно христианском поступке этой барыни, он почему-то всё оглядывался вокруг себя, — должно быть, хотел еще раз поблагодарить добрую душу за щедрую милостыню... И всё торопил меня:

— Айда, айда скорее!..

А мы и без того бежали сломя головы. Я всем существом моим, каждым кусочком изыбшего тела торопился скорее в тепло. Дул ветер, взметывая снег с дороги и сбрасывая его с крыш; холодные и острые колючки летали в воздухе и сыпались мне за шиворот. Рожу точно ножами скоблило, а шея до того изыбла, что, казалось, стала тоненькой, как палец, и готова была переломиться при неосторожном движении, так что я всё прятал ее в плечи, боясь потерять голову. Мы оба были одеты не по сезону, но Яшке было тепло от удачи, а мне, от зависти, еще холодней...

Я, видите ли, неудачник, чёрт бы меня взял... Один раз в жизни моей мне подарили самовар, да и то с горячей водой, так что, когда я бежал с ним, вода ошпарила

мне ногу, и поэтому я недели полторы лечился в тюремной больнице. А другой раз... Ну, да это к делу не относится...

Так вот — бежим мы это с Яшкой вдоль по улице, а он всё мечтает:

— Здорово мы встретим праздник! За квартиру заплатим... Получи, ведьма! Н-да... Водки четверть... Окорок бы? Мм... хорошо бы окорок! У-у! Дорого, поди? Ты не знаешь, как нынче окорока — в цене?

Я не знал. Но я знал внутреннюю цену окорока, и мы решили приобрести его, мы уговорились пойти покупать его в ту лавочку, в которой больше народу. Когда в лавочке тесно от покупателей — значит в ней хорош товар, — ерго ¹, как, бывало, говорили латинцы, можно выбрать вещь по вкусу.

— Позвольте окорок! — кричал Яшка, втискиваясь в толпу покупателей. — Покажите мне окорок... не из крупных, но хороший... Извините, и вы мне тоже саданули в бок... Я очень хорошо понимаю, кто тут невежа... но знаю и то, что здесь с вежливостью невозможно... Я не виновен, что тут неудобно, тесно... Что-с? Я ваш карман щупал? Извините! Это ваша рука с моей встретилась, когда ко мне за пазуху лезла... Я покупаю на деньги, вы на деньги, — стало быть мы оба в одинаковом праве...

Яшка так вел себя в лавке, точно пришел покупать целую партию окороков, штук в триста. Я же, пользуясь произведенной им суматохой, скромными моими средствами приобрел коробку мармелада, бутылку прованского масла и две больших вареных колбасы...

— Ну, вот мы и с праздником! — радовался Яшка. — Попируем!.. — Он подпрыгивал на ходу, громко шмыгал своей «форточкой», как именовался его толстый и широкий нос, а серые глазки его так и сверкали от радости. Я тоже был рад...

Изредка вкусно поесть — большое удовольствие для маленьких людей.

¹ следовательно (лат.)

И вот, сударь вы мой, двигаемся мы к дому нашему, а вьюга нас подгоняет. Жили мы в ту пору на краю города, в подвальчике у одной благочестивой старушки, торговки на толчке. Места у нас в тех краях глухие были, пустынные, бывало, зимой после шести часов вечера на улицах — ни души! А ежели и появится какая-нибудь фигура, так уж душу свою непременно в пятках несет.

Бежим мы и вдруг видим — человек впереди нас идет. Идет и шатается, очевидно — пьяный. Яшка толкнул меня и шепчет:

— В шубе!..

А встретить человека в шубе тем, видите ли, приятно, что у шубы пуговиц нет и очень уж легко она снимается. Идем мы сзади этого человека и видим — человек широкоплечий, росту немалого... Бормочет что-то. Мы соображаем.

Но вдруг он сразу остановился, так что мы чуть ему носами в спину не воткнулись, — остановился, взмахнул руками да как рявкнет здоровнейшим басом:

— Я то-от, кого никто-о не лю-юбит...!

Точно из пушки выстрелил! Мы оба так и шарахнулись от него. Но уж он заметил нас. Встал спиной к забору — опытный человек! — и спрашивает:

— Кто такие? Жулики?

— Нищая братия... — скромно ответил ему Яшка.

— Нищие! Это хорошо... Ибо я тоже нищ... духом...

Куда идете?

— В конурку нашу... — сказал Яшка.

— И я с вами! Ибо — куда еще пойду? Некуда мне... Нищие! Возьмите меня с собой! Кормлю и пою вас... Приютите меня... приласкайте!

— Зови! — шепнул мне Яшка.

Я слышал в ревушем голосе этого человека ноты пьяные, но слышал в нем и еще нечто — вой и рев в кровь расцарапанного большого сердца. У меня есть хорошее чутье драмы, я в свое время суфлером в театре служил... И я стал усердно звать к себе этого ревушего человека...

— Иду! Иду к вам, нищие! — гудел он во всю силу свою широкой груди.

Мы пошли рядом с ним, и он говорил нам:

— Знаете ли вы, кто я? Я есть человек, бегущий праздника! Податной инспектор Гончаров, Николай Дмитрич — вот я кто! У меня дома есть жена, там дети у меня... два сына... и я их люблю... Там цветы, картины, книги... Всё это — моё... Всё — красивое... Уютно и тепло у меня дома... Вот бы всё, что есть у меня дома, вам бы, нищие... Вы бы долго пропивали всё это... Вы — свиньи, конечно... и пьяницы... Но я — не пьяница, хотя вот — пьян теперь. Я пьян потому, что мне душно... Ибо в праздник — мне всегда тесно и душно... Вы этого не можете понять. Это — глубокая рана... это — болезнь моя...

Я слушал его с большим любопытством. Мне всегда, когда я вижу большого и здорового человека, думается, что вот этот человек — несчастный есть. Потому что жизнь — не для здоровых и больших людей. Жизнь сделана для маленьких, слабеньких, худеньких, дрянненьких. Пустите осетра в болото — он сдохнет в нем, непременно сдохнет. А лягушки, пьавки и всякая другая дрянь не может жить в чистой, проточной воде. Для меня этот ревуший человек был очень любопытен...

И вот мы привели его к себе, в наш подвал, чем очень испугали хозяйку. Она так поняла, что мы завели его к себе, чтоб ограбить, и хотела было сообщить о таком нашем намерении полицейской власти. Мы ее успокоили, попросив старуху обратить внимание на наши чахлые фигуры и на него — огромного, с длинными ручищами, широкорожего, широкогрудого... Он мог удушить и нас и старуху и даже не вспотел бы от этого. Затем успокоенная старушка была откомандирована в кабак, а мы, втроем, сели за стол.

Сидим мы в миниатюрном логовище нашем и возливаем понемножку на встречу праздника. Наш гость сбросил шубу и остался в одной рубашке, без жилета. Сидел он против нас и ревел нам:

— Вы, очевидно, жулики, я чувствую... Вы врете, что нищие, — для нищих вы молоды... И потом — глаза у вас слишком наглы... Но кто б вы ни были, мне всё

равно! Я знаю, что вам не стыдно жить, — вот в чем дело! А мне — стыдно! И я бежал из дома от стыда...

Вы знаете, сударь мой, болезнь есть такая нервная, пляской святого Витта называется она. Так вот есть люди, у которых совесть болит этой болезнью. И я видел, что инспектор именно из таких людей...

— У меня в доме — всё, всё устроено на этакую порядочную ногу. Это ужасно противно — жить на порядочную ногу! Всё расставлено и развешано раз навсегда, и всё так приросло к месту, что даже землетрясение не способно сдвинуть всех этих стульев, картин, этажерок... Они пустили корни и в пол и в душу моей жены... Они, деревянные и бездушные, вросли в нашу жизнь, и я сам не могу жить без их участия. Вы понимаете? От привычки ко всей этой деревянной дряни — сам деревенеешь. Привыкаешь к ней, заботишься о ней, чувствуешь к ней жалость, чёрт ее возьми! Она всё растет и стесняет вас, она выталкивает воздух вон из комнаты, и вам нечем дышать. Теперь она, эта армия привычек, нарядилась к празднику, вымылась, вытерлась и — блестит. Противно блестит. Она смеется надо мной... Да! Она знает — когда-то у меня было ее всего три: койка, стул и стол. Был еще портрет Герцена... Теперь у меня сотня мебели... Она требует, чтобы на ней сидели люди, достойные ее цены... Ну, и ко мне явятся сидеть на ней достаточные люди...

Инспектор тянул стакан водки и продолжал:

— Это всё порядочные люди, это полумертвые люди, это благочестивые коровы, воспитанные пресными травами с лугов российской словесности... Мне с ними — невыразимо скучно, я задыхаюсь от запаха их речей... Я уже всё знаю, что могут они сказать, и знаю, что они ничего не могут сделать для того, чтобы стать живее, интереснее. У-у! Они страшные люди по тупости их душ... Они все тяжелые такие, большущие, и слова у них тяжелые, как камни... Они могут раздавить человека... Когда они приходят ко мне, мне кажется, что вот меня обкладывают кирпичами, хотят замуровать в глухую стену... Я их ненавижу... Но я не могу их выгнать вон, и потому я боюсь их... Их не я привлекаю к себе... Я человек угрюмый, молчаливый... Они при-

ходят просто для того, чтобы сидеть на моей мебели... Я, однако, и мебель не могу выбросить вон — ее любит жена... У меня жена ради мебели и существует, ей-богу! Она уже и сама стала деревянная...

Инспектор хохотал, прислонясь спиной к стене. А Яшка, которому, должно быть, ужасно скучно было слушать инспекторские вопли, воспользовавшись перерывом в его рассказе, сказал:

— А вы бы, ваше благородие, эту самую мебель изломали об жену...

— Что-о?

— То есть... видите, сразу бы эдак — вон всё!

— Дур-рак!

Он тряхнул пьяной головой и, опустив ее на грудь, просто сказал:

— Ужасно тошно! И — как я одинок! Завтра праздник... А я не могу... я не могу быть дома... Решительно не могу!

— У нас погостите! — предложил Яшка.

— У вас? — Инспектор оглянулся вокруг: наша квартирнка была насквозь прокопчена и пропитана грязью.

— У вас тоже гадко... Но слушайте вы, черти!.. Мы переедем в гостиницу — идет? Завтра! И будем пьянствовать! Хотите? И будем думать... Как жить — подумаем! Идет? Ей-богу, — ведь надо перестать жить порядочной жизнью, пора! Да? Вы, впрочем, жулики, и вам это непонятно...

— Я понимаю, в чем дело! — сказал я инспектору.

— Ты? Ты кто? — спросил он меня.

— Я тоже бывший порядочный человек... — сказал я. — Я тоже испытал прелести безмятежного и мирного жития. И меня выжимали из жизни ее мелочи... Они выжали, вытеснили из меня и душу и всё, что в ней было... Я тосковал, как вы теперь, и запил, и спился... имею честь представиться!

Инспектор вытаращил на меня глаза и долго в угрюмом молчании любовался мною. Его толстые красные губы, я видел, брезгливо вздрагивали под пушистыми усами, а нос сморщился совсем нелестно для меня.

— Весь тут? — вдруг спросил он.

— Весь и — *omnia mea mecum porto!*¹ — подтвердил я.

— Кто же ты такой? — спросил он, всё рассматривая меня.

— Человек... Всякая сволочь — есть человек... и наоборот...

Я раньше был великий мастер говорить афоризмами.

— Мм... премудро, — сказал инспектор, не сводя с меня глаз.

— Мы народ тоже образованный, — скромно заговорил Яшка. — Мы можем вам соответствовать вполне... Люди простые, а не без ума... И тоже — мебели разной роскошной не любим... К чему она? Ведь человек не рожей на стул садится... Вы вот подружитесь с нами...

— Я? — спросил инспектор. Он как-то сразу протрезвился.

— Вы! Мы вам завтра такие тайны жизни откроем...

— Подай мне шубу! — вдруг приказал Яшке инспектор, поднимаясь на ноги. И на ногах он стоял совершенно твердо.

— Вы куда же? — спросил я.

— Куда?

Он с испугом посмотрел на меня большими телячьими глазами и вздрогнул, точно озяб.

— Я... домой...

Посмотрел я на его вытянувшееся лицо и ничего больше не сказал. Каждому скоту уготован судьбою хлев по природе его, и сколь бы скот ни лягался, — на месте, уготованном ему, он будет... хе-хе-хе!

Так и ушел инспектор... Слышали мы, как, выйдя на улицу, он во всё горло рявкнул:

— Извозчик!..

—

Собеседник мой замолчал и начал пить пиво медленными глотками. Выпив стакан, он начал свистать и барабанить пальцами по столу.

— Ну и что же дальше? — спросил я.

— Дальше? Ничего... А вы чего ожидали?

— Да... праздника...

— Ах, вот что! Праздник — был... Я не сказал, что инспектор подарил Яшке свой кошелек... В нем оказалось 26 рублей с копейками!.. Праздник был...

¹ всё свое пошу с собою! (лат.).

ПУЗЫРИ

РАССКАЗ

Ежегодно,— с той поры, как он стал «нашим известным и талантливым беллетристом»,— Иван Иванович Иванов устраивает для себя елку...

Вот почему, вечером 31 декабря 1890 года, луна, взойдя в небеса, неподвижно остановилась среди них, изумленная. Высоко подняв брови и раскрыв губы, дрожащие от сдерживаемой улыбки, она смотрела на землю и, казалось, не верила своим глазам. Она смотрела в окно квартиры Ивана Ивановича и — вот что она видела там.

Среди большой комнаты стояла высокая ель, и в темной зелени ее весело сверкали огни свеч, а вокруг елки медленными шагами расхаживал, заложив руки за спину, Иван Иванович, одетый по-праздничному и ясно, счастливо улыбавшийся.

Кроме свеч, на елке не было никаких украшений,— она вся была увешана лишь вырезками из газет, да кое-где на ветках ее висели резиновые игрушки, изображавшие собак, ослов, свиней и прочих животных. Иван Иванович одиноко ходил вокруг елки, порой останавливался против одной из бумажек, тщательно расправлял ее руками и, откашлявшись, начинал читать вслух сладостно трепетавшим голосом:

— «Новый рассказ нашего известного и талантливого беллетриста г. И. И. Иванова еще раз свидетельствует о благородстве его воззрений на явления жизни, о его горячей любви к людям и подтверждает наше мнение о глубине его таланта...»

Иван Иванович счастливо улыбался, аккуратно складывал бумажку и, поставив себе на ладонь резиновую собачку, повешенную за хвост, глядя на нее с иск-

ренным сожалением, говорил ей тоже вслух и убедительно:

— Слышал? А ты вот не признаешь во мне таланта! А ты всё ругаешься... всё разносишь меня... ах ты! Ведь это ты из зависти, я знаю! Тебе завидно, что у меня такой большой талант... Нехорошо завидовать!.. Вот — ты мне завидуешь, а я тебя за хвостик на елку повесил, — да-а!

Он сбрасывал собачку с ладони, и она долго трепетала в воздухе, болтаясь на нитке, точно ей было больно висеть в такой неудобной позе.

А Иван Иванович уже читал другую бумажку:

— «Русская литература обогатилась в лице И. И. Иванова еще одним крупным талантом...»

— Хе-хе-хе! — смеялся талантливый Иван Иванович и, взяв в руки резиновую свинку, говорил ей: — Что? Висишь? Ну, вот видишь ты, как опасно быть несправедливой! Вот ты пишешь про меня, что я — так себе писателишка, а другие говорят, что я — почти Тургенев... И других-то больше, да-а! Вот оно что! Вот сосчитай-ка: здесь на елке висят 62 лестные рецензии, а вас всех, которые меня ругают, — только семеро... Что?

Иван Иванович щелкнул свинью пальцем в рыло и снова начал читать рецензию:

— «Когда пессимисты кричат об оскудении русской литературы, — мне кажется, что они просто не знают ее, ибо разве такое явление нашей литературы, как гениальный Иван Иванов...»

Иван Иванович почувствовал, что у него даже спина покраснела. Он оглянулся вокруг, счастливо смущенный, но в комнате, кроме него, никого не было. Эта рецензия была самой дорогой для него. Получив ее, он — вообще человек весьма равнодушный к религии — отправился в церковь и отслужил молебен за здоровье неизвестного критика.

А теперь, прочитав свидетельство о своей гениальности вслух, всё до конца, он глубоко вздохнул и благоговейно облобызал его... А затем, обращаясь к повешенным на елке изображениям критиков, недовольных его творениями, он, внушительно подняв палец кверху, сказал им глубоким голосом:

— P-разумейте, языцы!..

Затем он начал снимать их с елки и, связав в пучок, бросил в угол комнаты. Но ему было грустно расстаться с рецензиями... Он смотрел на них и мигал глазами. Хотелось еще насладиться ими. Но как? Он несколько минут стоял в раздумье. И наконец, ясно улыбнувшись, стал снимать их и расстилать на диване, стоявшем в углу комнаты. Покрыв ими весь диван, он потушил свечи на елке, разделся и лег на эти бумажки, полные хвалебных отзывов о нем...

В комнате было темно и тихо. Порой шуршала бумага, мягким таким, ласкающим ухо звуком. Порой раздавался тихий, счастливый смех:

— Хе, хе-хе-е! И-ги!

Затем послышалось тихое всхрапывание...

Луна в небесах надула щеки и поплыла своим путем, едва удерживая смех...

Снилось ему, что лежит он на куче рецензий и дремлет, а у ложа его стоит хор критиков и поет на голос «баюшки-баю»:

А пиши-пиши-пиши,
Для души пиши-пиши!

Лица у критиков были всё такие светлые, ласковые, и — странное дело! — ни у одного из них не было зубов! Темные дыры их открытых ртов напоминали собой печные душники и — больше ничего. Из них веяло снотворным теплом и лилась шипящая ласковая мелодия:

А пиши-пиши-пиши,
А пиши-пиши-пиши...

Иван Иванович смотрел на них и тронутым голосом говорил:

— Благодарю вас! Покорнейше вас благодарю! Я, ей-богу, сконфужен... мне неловко... я ведь... что же? Я готов... Очень благодарен! Я — тронут! Я вам напишу... роман, очень хороший... Спасибо, спасибо, господа!

И он чувствовал, что по всему его телу разлилась какая-то горячая струя, омывая его пылкой лаской...

И вдруг якобы все фигуры критиков объединились в одну яркую фигуру. Это была женщина.

Полная, с обрюзглым лицом, сильно разрисованным, она играла подведенными глазами, и ее слишком яркие губы фамильярно улыбались Ивану Ивановичу. Костюм ее соединял цвета желтый, красный и зеленый...

В одной руке она держала веточку, похожую на розгу, а в другой — что-то вроде венка, от которого пахло лавровым листом.

— Что такое? — обеспокоился Иван Иванович, кутаясь в одеяло. — Я... что вам угодно? Я, кажется, уже встречал вас... Вы кто?

И вдруг — она, громко засмеявшись, сказала ему:

— Не узнал? Я — Слава!

— И-извините! — воскликнул Иван Иванович. — Но — бога ради! Я не могу встать пред вами... я не одет... то есть я — раздет! Визит ваш... неожиданный и так приятный мне...

— Не смущайся, Ванечка! — сказала Слава тоном доброй матери. — Я ведь не считаюсь с приличиями... Я пришла венчать тебя... Прими же мой поцелуй!..

Она, склоняясь над ним, впиалась в его уста своими раскрашенными губами, и Иван Иванович почувствовал, что поцелуй ее пахнет типографской краской.

— Иван! — говорила Слава, обняв его одной рукой за шею, а другою натягивая венки на череп ему, как обруч на бочонок. — Иван! Идем со мною на Парнас! Пора! Тебя там ждут!

— Сударыня! Позвольте мне одеться, — сказал Иван Иванович, трепеща от восторга.

— Иван! Поверь, что гений не должен ничего скрывать от мира!

— А я не простужусь? — спросил Иван Иванович.

— О, нет! — сказала Слава.

Она выдернула его из-под одеяла и, схватив в объятия, стала покрывать лицо его поцелуями. Иван Иванович чувствовал себя так, точно он таял на груди ее, таял и — вскипал. Ему казалось, что на его теле вздуваются пузыри, как от ожогов, и что — о боже мой! — он весь, всё существо его надувается, превращаясь в огромный водянистый пузырь.

— Что ты со мной делаешь? — вскричал он так громко, что чуть не лопнул.

Слава торжествующе улыбнулась ему, и тут Иван Иванович Иванов потерял сознание...

...Ощущение сырости и холода заставило его очнуться от забытья. И как только он очнулся, то сейчас же понял, что с ним совершилось удивительное и фантастическое превращение.

Он видел, что он — не более как пузырь, один из тех эфемерных пузырей, которые вскакивают на лужах воды в ненастную погоду. И еще он видел, что действительно он — «наш известный и талантливый беллетрист» — плавает по поверхности некоторой мутной лужи, небольшой и ограниченной бордюром жидкой грязи. Вокруг его плавало многое множество ему подобных; они подталкивали его, обгоняли и, шипя, лопались. Над лужей носился странный и однообразный звук — что-то шипело и попискивало, как перекишная опара, когда ее месят. С неба, покрытого безнадежно серыми тучами, падали унылые капли дождя; они падали на поверхность лужи, вода морщилась от их ударов, а пузыри всё вскакивали на ней, куда-то плыли, толкая друг друга, шипели и лопались. За краткий миг своего бытия они едва успевали отразить в себе окружающее их и серое небо над ними. Они повторяли шипение друг друга и металась на поверхности лужи, маленькие, мутные, несчастные...

Иван Иванович сначала держался в стороне от них. Надувшись до возможных, без риска лопнуть, размеров, он с пренебрежительным любопытством оглядывался вокруг себя, стараясь понять — где он?

Что это такое?

Мимо него следовала к берегу лужи кучка мелких пузырей, и один из них шипел, поучая следующих за ним:

— Смысл жизни — в красоте...

— Те, те, те! — возгласил один из пузырей, следовавших за учителем, принимая вид умника, которому

сразу всё стало ясно, важно надулся и — тотчас же лопнул.

— Писатель есть дудка, чрез кою проходя, мудрость жизни превращается в гармонию звуков и слов... И он есть кисть в руке духа жизни, — кисть, которой некто мудрый пишет на скрижалях искусства...

Но тут оратор тоже лопнул, а на месте, которое он занимал, не осталось никакого знака.

«Это знакомые речи! — подумал Иван Иванович. — И, кажется, это знакомые лица... Но — странно! — почему же они не замечают меня?»

И он еще немножко надулся.

Но вот его толкнули, и он увидал рядом с собой неизвестного ему пузыря.

— Здравствуйте, Иванов! Не узнали? А помните критическую статью о вашей повести в «Ропоте отживших»? Это моя!

— Ах! — воскликнул приятно изумленный Иванов. — Это вы? Поверьте, что мне... что я вас... чрезвычайно рад! Благодарю! Такая тонкая и умная, такая лестная статья!

— По заслугам! Ваш талант дал мне в общей сложности материала на десять фельетонов — плюс наслаждение при чтении ваших ярких произведений... Большой у вас талант!

— Ги-и! Я очень рад... Хорошо, когда нравишься, значит, попал как раз в точку... Но, однако, иные и поругивают меня...

— О, стоит ли с ними считаться? Что они понимают в литературе? Я же, не забудьте, уже сто третий год занимаюсь критикой... да-с!

— Чрезвычайно обязан вам. Но скажите — это что же? это где же мы? — спросил Иван Иванович.

Критик повернулся на своем основании и ответил:

— Это — Парнас! Наш современный Парнас...

Иван Иванович съежился от изумления...

— Н-да-а! — сказал он, помолчав. — Вот как! Ничего... но — несколько тесно здесь и сыро, знаете...

— О, к этому привыкаешь! Место, действительно, обильное влагой... Но...

Вдруг Иван Иванович почувствовал, что на него чем-то брызнуло, — точно собеседник чихнул, — и, оглянувшись, увидел, что критика уже нет рядом с ним.

«Как они быстро лопаются!» — подумал Иван Иванович и еще немножко съежился. А вокруг его всё возникали новые и новые пузыри. Они, вскакивая на поверхности лужи, схватывали изоощренным слухом что-либо сказанное ранее их и, всю жизнь повторяя это слово или фразу на один и тот же лад, исчезали.

Толкали они друг друга основательно, но старались делать это незаметно. Было ясно видно, что все они терпеть не могут друг друга, и было ясно слышно, что в звуках их речей шипит злоба, оскорбленное самолюбие, зависть. Каждый из них старался как можно больше обратить на себя внимания, каждый стремился заслонить другого от света, и все одинаково желали подметить друг в друге то место, ткнув в которое, можно причинить пузырю наибольшую боль и раздражение.

— Мы отражаем жизнь... мы отражаем жизнь... — раздавалось шипение...

«Однако где же жизнь? то есть как же они видят жизнь?» — подумал Иван Иванович.

В этой мутной воде, сплошь покрытой пузырями, было очень мало похожего на жизнь, если не считать тех дурных чувств, мыслей и речей, которые испускали из себя пузыри. Было много беззубого шипения, было много поползновения и потуг изобразить из себя что-то большее пузыря, но это оканчивалось одинаково грустно. Раздавался краткий «пшик!» — и на месте бытия пузыря оставалась морщина, быстро исчезающая с поверхности воды...

Ивану Ивановичу стало как-то неловко.

— Однако... надо им сказать! Да, надо... Надо сказать так: «Господа! Вы все вне жизни! Берегитесь! Ибо она строго накажет! Вы, собравшись в этой трясине, обманываете себя, думая, что живете... К жизни, господа, к жизни! Бросим раздоры и — к жизни!..» Н-да, если я это скажу — все обратят на меня внимание! Я сразу поднимусь всех выше!

Иван Иванович стал надуваться, чтобы найти в себе

достаточно духа для подвига, и, надувшись, как мог, он вдруг громко сказал:

— Господа! Вот я...

Но тотчас же лопнул...

...И проснулся.

Он прежде всего ощупал руками — тут ли, под ним ли рецензии о нем?

И, когда они приятно зашуршали под его пальцами, он почувствовал, что всё обстоит благополучно, и подумал про себя:

«Глупый сон... Невероятно нелепый сон... Фу!»

Но все-таки, когда он закрыл глаза, ему стало казаться, что вся комната полным-полна воздушных мутных пузырей, они мнутся в воздухе и бесшумно лопаются...

Это видение не помешало Ивану Ивановичу крепко заснуть.

ПЕСНИ ПОКОЙНИКОВ

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Одиннадцать раз жалобно прозвучал колокол на колокольне церкви святых Петра и Павла, и медные крики его утонули в диком вое вьюги. Над церковью и по кладбищу вокруг ее летали густые тучи снега — казалось, кружились в бешеной пляске огромные белые тени и выли, свистели, стонали в безумном исступлении...

Вьюга одевала кресты и памятники над могилами в пышные ризы из снега и тотчас же с хохотом и свистом срывала одежды долой, превращая их в мутную пыль. И тогда казалось, что обнаженные кресты, печальные и темные, среди этой пыли, похожей на пену морских волн, носятся по воздуху вместе с нею, как обломки разбитых бурей лодок носятся среди волн морских. Лишь церковь стояла неподвижно, как белая скала, под ударами воющей снежной бури.

Вокруг нее, на тесной ниве мертвых, всё жило в бешеных порывах, всё двигалось, охваченное вихрем, стонали обледеневшие деревья, судорожно встряхивая ветвями, крутились тучи снега и, становясь всё гуще, всё плотнее, принимали разнообразные формы. Как будто огромные белые птицы в предсмертных судорогах рвались к небу, скрытому от них вьюгой и ночью, как будто вереницы ангелов, в ужасе от близости земли, безумно реяли над кладбищем, стремясь туда, назад, в бездонную равнину неба, где солнце светит и сияют звезды. В смятении и страхе пасть на землю все эти странные создания зимней вьюги, уныло и тоскливо вскрикивая, то собирались в длинную вереницу и стремительно летели куда-то вдаль, прочь от жилища мертвых, то, соединяясь в белый хоровод, с тихим плачем

носились вокруг колокольни и вдруг, точно кем-то напуганные, разрывались на отдельные стаи и, с визгом бросаясь в разные стороны, исчезали в мутной мгле.

Тогда на кладбище наступало угрюмое молчание, — всё молчало, всё было неподвижно, и всё как бы ожидало чего-то в безмолвном, напряженном ужасе. Это ожидание длилось недолго — вот снова мчитя стая белых туч, похожая на толпу привидений, она гудит и поет что-то унылое и страшное, она поет и плачет, слезы ее падают холодными снежинками на церковь, на ветви деревьев и кресты... И снова всё дрожит и стонет, качаются деревья, скрипя ветвями, и носятся по воздуху кресты, утопая в пене бешеной метели, содрогаясь от ее скорбной песни... Ветер разрыл, разметал мерзлую землю тесных могил, и вот из них поднялись мертвые, они носятся в воздухе тесной толпой, вьюга играет их саванами, и они поют глухими голосами:

— Нам тесно! Нам тесно! Нам холодно в мерзлой земле! Нас раньше времени в землю зарыли, мы еще долго могли бы жить! Мы еще молоды, мы еще сильными были, когда житель кладбища, Тиф, уложил нас в могилы... Весной, когда мертвые дышат на землю гниением, весной, когда всё расцветает и жизнь так прекрасна, весной мы погибли от Тифа, дыхания мертвых... Мертвым потребен покой; если же дома их близки к жилищам живых — шум вашей жизни могил достигает и спать вечным сном мертвецу не дает... Близость кладбища к житейскому морю — мертвым обидна. Волны житейского моря сон мертвеца беспокоят и будят тоску о живущих в его загнивающим сердце... Мертвые шума не любят. Мертвые жаждут покоя. Тесно и шумно на этом убогом кладбище, тесно и шумно! Нам тесно! Нам тесно! Нам тесно! О, дайте нам место, где было б покойно, свободно, не узко в могиле! Не тесно, не тяжело! О, дайте покой для умерших, от близости мертвых, от яда могильных дыханий, от мести умерших живым... О, дайте нам места побольше в земле, нас призвавшей! Нам тесно!.. А если вы нам не дадите покойного места подальше от города, дальше от жизни, от шума и глупости вашей, а если вы нам не дадите свободы в земле — на земле мы ее не просили, — а если вы нам не дадите покоя в земле —

на земле мы всю жизнь лишь покоя искали, — мы, мертвые, вам отомстим! Весною, когда на земле так всё ярко, весною, когда расцветают цветы и надежды, весною, когда все вы радостно жаждете жизни, — из мрака могил наших выйдет на землю дыхание мертвых и воздух отравит! Мы ядом гниения отравим вам кровь вашу, души отравим! Мы, мертвые, мстительны больше, чем все вы, живые. Мы будем дышать из земли теплым паром гниющего мяса, на вас мы навеем болезни! И вот вы умрете тогда, когда даже былинки охвачены жаждою жизни, растут, поглощая дыханье живое весны! А вы — вы надышитесь ядом с кладбища... Мы, мертвые, щедры! Вы нашим живете! Уйдя от вас в землю, оставили мы предрассудки вам в память о нас... Вы — нашим наследством живете!.. Мы жили и цепи ковали — хорошие, крепкие цепи — суждений и мнений, — мы умерли, вы же остались, и цепи остались на ваших мозгах... Мы глупости нашей с собою не взяли, от вас уходя, и идолы наши остались для вас... Мы, мертвые, щедры! Мы в саваанах только уходим, а всё остальное — всё вам. Так дайте ж нам место в земле! Подумайте — мертвые щедры! И смерти веленьям послушны... Прикажет владычица жизни — и наше дыханье над вами чумой пронесется... Живые! Послушайте мертвых — живите подальше от кладбищ!.. Жизнь — область безумств благородных: быть может, она — лишь дурная привычка, а может быть — подвиг, а может — недуг неизбежный... Но жизнь есть движенье! Жизнь — радуга мыслей, надежд, ощущений, желаний, догадок, побед, поражений! Иллюзии счастья ее украшают, и в поисках счастья проходит она... Смерть — мертвая мудрость... Смеяться — не может, любить — не умеет, ни слова не скажет, лишь бьет аккуратно. И в мудром молчанье своем — холодная, жуткая, темная — тому, кто умеет жить, просто жалка и смешна. Мы, мертвые, с нею знакомы — ей скучно и скверно на свете. Смерть — старая дева, не больше! О, если б рожать научилась она что-нибудь, кроме горя и скорби. О, если б родить удалось ей хоть даже мокрицу! Она бы, наверно, от радости сдохла!..

Дикая песнь мертвых завывает в воздухе, в мутных тучах снежной пыли, и носится над кладбищем, мчитя

на город, летит над крышами домов... В домах тепло и свет, там смех и веселый говор, никто не слышит воя вьюги, и угрозы мертвецов не достигают слуха живых, и тогда вновь над кладбищем, вокруг колокольни, белыми стаями носятся тени и поют заунывную песнь...

— Мы дети — жертвы Дифтерита и Скарлатины, Кори, Малярии... Нам тесно здесь лежать в могилах мерзлых, вблизи от жизни! Мы каждый день всё слышим смех и крики живых братишек наших... Весной и летом в саду, в соседстве с нами, они играют... а мы — в могилах лежим недвижно. Нам скучно, тесно в могилах наших. От плоти сгнившей земля над нами вся — жир тяжелый... Бурьян питаем мы соком тела... Репей колючий растет над нами. Земля нас давит, шум жизни будит, и вот ночами, в тоске о жизни мы бьемся, бьемся на волю, к свету, к небу!.. Мы все погибли от мести мертвых... Нас задушило кладбище это, дыханье мертвых нас задушило... Не видев жизни, мы взяты смертью. И нам здесь тесно, нам беспокойно... Умершим детям свободы дайте, покоя просим... Пустите в поле... на волю, к лесу, где воздух чище, где свету больше, где нет бурьяна, репьев и сора... Нам тесно в этой ограде старой...

Унылый вой вьюги снова несется на город с кладбища и снова летит назад. Веют в воздухе белые тени, то вздымаясь высоко в небо, то припадая к земле, спускаясь на кресты и могилы. Мятежно носятся вокруг колокольни длинные вереницы видений, носятся и трепещут в тоске и в отчаянии, исчезают, вновь являются и всё поют заунывные песни. Снег бьет о медь колоколов, и колокола чуть слышно вздыхают под резкими ударами бешеной вьюги.

И печальный звук потревоженной меди, сливаясь со стонами метели, несется на город, сопровождая белые стаи теней, рожденных кладбищем и этой вьюжной ночью...

МУЖИК

ОЧЕРКИ

I

В провинциальных городах все интеллигентные люди друг друга знают, давно уже выболтались друг пред другом, и, когда в среду их вступает новое лицо, оно вносит с собою вполне естественное оживление. На первых порах ему рады, с ним носятся; более или менее осторожно ощупывают — нет ли в нем чего-либо особенного, при этом иногда немножко царапают его. Затем, если человек легко поддается определению, его определяют каким-нибудь словом, и — дело сделано. Новое лицо входит в круг местных интересов и становится своим человеком, а если местные интересы не охватят его, оно будет скучать от одиночества и, может быть, запыет, сопьется с круга, — никто ему в этом не помешает.

В деле познания нами души ближнего есть какая-то странная торопливость, — мы всегда спешим определить человека как можно скорее. Поспешность эта в большинстве случаев ведет к тому, что тонкие черты и оттенки характера не замечаются нами, а может быть, даже и намеренно не замечаются, потому что, не укладываясь в одну из наших мерок, мешают нам скорее покончить с определением человека. И, наверное, часто бывает так, что эти черты, — быть может, очень важные в человеке, готовые развиться в нем до оригинальности, — не развиваются лишь потому, что остаются не замеченными со стороны, и, может быть, человек сам заражается невниманием к ним и борется с их ростом, боясь быть непохожим на людей. Если же эти черты и оттенки особенно выпуклы, они вызывают в обществе даже враждебное чувство, и тогда к обладателю их начинают отно-

ситься так же, как нищие на церковной паперти к своему товарищу, который получил от купчихи семишником больше, чем они.

Полугода не прошло с того дня, как в наш город приехал на службу архитектор Аким Андреевич Шебуев, и уже о нем заговорили, он стал желанным гостем во всех интеллигентных кружках. Он сразу возбудил к себе всеобщий интерес, но в то же время никому не понравился. Суждения о нем были очень разнообразны, но одинаково сдержанны, сухи, и за ними явно чувствовалось нечто нелестное для архитектора: какое-то недоверие и даже враждебность к нему. Он не только не поддавался определению, но чем дальше, тем более замечалось в нем каких-то еретических особенностей. Уже одно то, что он ходил ко всем и никому не отдавал предпочтения, возбуждало неприязненное чувство к нему. В каждом кружке есть своя мораль, свои симпатии и вкусы — невидимые, но прочные веревочки, которые, связывая всех членов кружка в одно целое, отграничивают его от других кружков. Было замечено, что Шебуев не хочет связать себя этими веревочками и даже дерзко и насмешливо пытается спутать или порвать их. А это вызывало раздражение против него, но вместе с тем и усиливало интерес к нему.

Он и с внешней стороны сразу привлекал к себе внимание. Это был человек лет тридцати, среднего роста, широкоплечий, с большой головой на крепкой жилистой шее и несоразмерно длинными руками. Природа, должно быть, очень торопилась создать его и поэтому отделала чрезвычайно небрежно. Лицо у него было грубое, скуластое; широкий лоб слишком выдавался вперед, отчего серые глаза глубоко ввалились в орбиты. Длинный горбатый нос некрасиво загибался к русым усам и вместе с толстой нижней губой, которая казалась пренебрежительно оттопыренной, придавал лицу выражение насмешливое и неприятное. Но его живые, блестящие глаза несколько скрапивали это топорное лицо, а когда он улыбался, оно принимало выражение добродушно-умное, но опять-таки какое-то снисходительное. Говорил он громко и уверенно, сопровождая и подчеркивая речь сильными угловатыми жестами длинных рук,

а голос у него был какого-то неопределенного тембра, как будто еще не выработался. И вообще в нем было что-то незаконченное, угловатое. Одевался он в очень дорогие костюмы из каких-то особенно плотных и прочных материй. Сшитые удобно, они отличались явным пренебрежением к моде. То он являлся в длинном сюртуке, застегнутом наглухо вплоть до ворота и похожем на военный мундир, то на его широкой фигуре красовалось какое-то подобие австрийской куртки. И это особенно раздражало некоторых.

— Уж если он действительно оригинал, — говорил наш умный и рассудительный доктор Кропотков, — так зачем же подчеркивать это еще и костюмом? И почему, — раз он хочет привлекать к себе внимание даже и внешностью своей, — почему бы тогда не одеваться во всё красное или голубое?

Доктор был человек солидный и ужасно любил порядок. Идя по тротуару и увидав камешек на нем, он непременно ловким ударом трости отшвыривал его из-под ноги на мостовую и всегда после этого так оглядывался вокруг себя, точно приглашал всех людей брать с него пример. Все вопросы он давно уже решил, и всё в жизни было для него просто и ясно. Настроение у него было спокойное, внешность внушительная, речь уверенная; он имел в городе большую практику среди купечества, играл в винт по маленькой и искал себе невесту. У него была роскошная русая борода, и во время разговора он всегда поглаживал ее медленным и красивым жестом. Высокого роста, здоровый, он держался прямо.

Шебуев с первых же встреч возмутил его:

— Помилуйте! — даже несколько обиженно говорил он, — ведь это бог знает что! У него всё в голове спутано, перемешано, и он решительно не имеет того, что называется определенным мирозерцанием и для меня имеет значение, так сказать, диплома на звание культурного и, скажу, передового человека. Я, конечно, не буду отрицать его ума, но скажу — это ум грубый, негибкий ум, первобытный, не огранный дисциплиной логики...

У доктора был огромный запас прилагательных, и когда он начинал что-нибудь определять, то как будто

кирпичами обкладывал предмет определения. Так как при всех своих достоинствах доктор был еще и либеральный человек, то он считал своим долгом аккуратно посещать субботы Варвары Васильевны Любимовой.

Около этой женщины собрались в маленький, тесный кружок, быть может, самые интересные люди в городе, и она пользовалась среди них искренним уважением. По специальности акушерка, она училась еще и за границей, привезла оттуда диплом на звание врача, но как врач не практиковала. Однако диплом этот дал ей возможность читать курс гигиены в местной женской гимназии и в воскресной школе. Устроилось это благодаря ее хорошим отношениям с губернаторшей, у которой она принимала, а также, наверное, благодаря тому, что в ней самой было нечто неотразимое, искренно и глубоко располагавшее всех к ней. Образованная, работающая и скромная, она была красива тою здоровой русской красотой, которая теперь встречается уже редко, почему-то отцветая из поколения в поколение.

Высокого роста, стройная, с могучей грудью и овальным лицом, с огромной косой каштановых волос, она двигалась плавно, голову держала высоко, и это придавало ее фигуре осанку гордую и смелую... Очень хорош был взгляд ее темно-голубых глаз, красиво оттененных густыми, почти черными бровями. Спокойный, ласкающий и умный, — он как-то сразу вызывал почтительное чувство к этой женщине, возбуждая у каждого желание понравиться ей. Всегда красиво-ласковая, всегда приветливая, она умела как-то особенно улыбаться, — спокойной бодростью духа веяло на человека от этой улыбки. Голос у нее был мягкий, грудной, но она говорила немного, кратко, и в каждом слове ее чувствовалась искренность прямой и несложной души. На вечерах у нее всегда было шумно, и в оживлении гостей ее сдержанность и молчаливость выступали особенно заметно. Была у нее одна странность — она не любила женщин, и у нее не было подруг, кроме Татьяны Николаевны Ляховой.

Татьяна Николаевна заведовала воскресной школой и любила свое дело всей силой сердца. А сердце у нее было хорошее, неисчерпаемо доброе и, должно быть,

такое же живое, трепетное, испещренное лучистыми морщинами, как и ее милое лицо. Она была вдовой почетного мирового судьи и председателя съезда мировых Матвея Кирилловича Ляхова, умершего от разрыва сердца лет восемь тому назад, в день ареста его единственного сына, только что кончившего университет. Татьяна Николаевна схоронила мужа, проводила сына до Перми и, возвратясь домой, вся ушла в свою школу, и прежде горячо любимую ею. В тот же год помер и сын ее от чахотки. Говорили, что, узнав об его смерти из официальной бумаги, Татьяна Николаевна с испугом подняла кроткие глаза свои к небу и робко, вся вздрагивая, спросила:

— Ну, зачем это?.. За что это?..

А через три дня уже снова взялась за работу. Школа была для нее как бы храмом, и она неустанно служила в нем, полная священного трепета и непоколебимой веры в свое дело. Была она маленькая, худенькая, нервная; на ее сморщенном, розоватом личике, как две неугасимые лампы, горели славные, по-детски ясные глаза. Одета всегда в одно и то же гладкое черное шерстяное платье, она, как ласточка, изо дня в день мелкими и быстрыми шагами носилась по улицам города, отыскивая уроки для молодежи, посещая захандрившую от усталости или больную учительницу, вечно с книгами под мышкой, вечно озабоченная и живая... Сердце у нее, наверное, не умолкая, ныло от тоски по сыне, но никто не умел и не мог так, как она, ободрять утомившихся и тоскующих людей... Ее все любили, хотя порою и подтрунивали над нею за то, что она называла своей верой. А вера у нее была ясная и наивная, как и сама она.

Каждый раз, когда при ней говорили о неустройстве жизни и искали кратчайший путь к достижению всеобщего довольства на земле, Татьяна Николаевна приходила в нервное возбуждение и, складывая ладошками свои сухонькие, крошечные ручки, говорила умоляющим голосом:

— Ах, господа, всё это не так! Всё это разрешается гораздо проще! Увеличьте количество сознательно живущих, критически мыслящих людей — и всё разрешит-

ся! Дайте народу образование, и он перестроит жизнь, он сам создаст новые формы жизни,— уверяю вас!

Познакомившись с Шебуевым, она с первой же встречи стала на него обиженно фыркать. Послушает его и вдруг, пресмешно надувши губы, фыркнет, встанет со стула и демонстративно уйдет куда-нибудь в уголок, подальше от него.

— Я удивляюсь вам, господа! — говорила она, волнуясь и вздрагивая,— чего вы так носитесь с ним? Помоему, он просто декадент и... ужасный эгоист... и вообще совершенно неинтересный и несимпатичный... ни во что не верующий... противный человек!

Но однажды у Варвары Васильевны между старушкой и доктором вскипел ожесточенный спор о роли интеллигенции. Доктор внушительно говорил ей:

— Все мы, уважаемая Татьяна Николаевна, должны, скажу, непоколебимо стоять на страже лучших заветов, святых заветов прошлого, должны охранять наследие эпохи великих реформ...

— Как будочки на перекрестках, да? Как столбы деревянные, да? — кипела, взмахивая ручками, уважаемая Татьяна Николаевна.— Ах, какая живая, какая великая, героическая роль! Да как вам не сты-ыдно, о доктор!

— Но позвольте же, почтенная Татьяна Николаевна,— снисходительно улыбаясь, говорил доктор,— в чем же вы полагаете обязанности интеллигенции, а?

Как раз в разгаре спора пришел Шебуев.

— Вот еще один, вот! — набросилась на него Татьяна Николаевна.— Ну-с, а вы что скажете?

— Я прежде всего скажу — здравствуйте, Татьяна Николаевна,— протягивая ей руку, с добродушной улыбкой сказал Шебуев.

— Ах, это приличия! Ну, хорошо — и будет, достаточно приличий. Нет, вы вот скажите-ка, что такое интеллигенция, да-с... Ну-те-ка, скажите!

И она наскакивала на него с таким видом, точно хотела ущипнуть.

— Интеллигенция?.. А это цвет ржи...

Татьяна Николаевна удивленно взглянула на него,

на секунду замерла на месте, и вдруг глаза у нее радостно заблестели.

— То есть? То есть? — с живостью вскричала она.

— Видели вы, как рожь цветет?

— Рожь? Как это метко! Как это славно! Какой вы... милый! Нет, право, какой вы умный! А ведь я думала, что вы декадент. Вы меня простите!

— Да вы подождите ликовать! — смеясь, сказала ей Варвара Васильевна. — Ведь он не сказал ничего нового... Всем известно, что интеллигенция — цвет народной массы... А вы спросите-ка его — в чем же роль интеллигенции?

Шебуев повернулся к ней и ответил:

— А вот именно в том, чтоб цвести ныне, и присно, и во веки веков...

— Ну, и это не ново...

— Не ново, — согласен. Новое, я думаю, начнется с того времени, как вырастут зерна насущного хлеба жизни...

— А кто же его будет есть, этот хлеб? — спросил доктор.

— Мужик! — кратко и спокойно сказал Шебуев.

— Ну да, конечно! Народ, ну да! — в радостном волнении закричала Татьяна Николаевна. — Ведь я всегда говорила, что он — самое главное, он — цель нашей жизни... Ах, Аким Андреевич, как мне приятно понять вас! Как я рада, что вы так верно понимаете всё!

И с этой поры она перестала отличать Шебуева от хороших людей, которых, впрочем, она насчитывала вокруг себя десятками.

Но особенно близко и скоро сошелся с Шебуевым молодой санитарный врач Павел Иванович Малинин. Это был высокий и стройный мужчина с красивыми темными глазами и с острой черной бородкой. Он носил длинные волосы, писал стихи и частенько печатал их в толстых журналах, но относился он к ним как-то небрежно, сам же подсмеивался над ними и сочинял на них пародии. И в стихах его, иногда очень искренних и красивых, и в пародиях на них всегда звучало что-то грустное, какая-то болезненно дребезжавшая нота. Постоянно задумчивый и сосредоточенный, он был как-то

странно тих, редко оживлялся, но очень любил говорить о ничтожестве всего земного, о таинственной судьбе человечества, о противоречиях ума и чувства в человеке и о других столь же премудрых вопросах. Голос у него был приятный, мягкий, и порою его лирический пессимизм, изливаясь из груди в грустных баритональных нотах, наводил на людей тоску.

— Будет вам ныть, Павел Иванович! — говорили ему.

Он не обижался и умолкал, с доброй и грустной улыбкой поглядывая на публику. Его очень любили в городе, и, кажется, больше всего он привлекал к себе любовь своей беспощадной искренностью. Мягким, ласковым голосом, с тихой улыбкой в красивых глазах он говорил всем такие вещи и задавал такие вопросы, за которые всякого другого человека возненавидели бы. Но его слушали, конфузились пред ним, смущенно посмеивались и отвечали ему и любили его. Ибо все понимали, что человек этот не судит и не осуждает, а как бы чего-то ищет в людях, ищет с мучительным напряжением ума и чувства.

Он и ввел архитектора в кружок Варвары Васильевны. Оказалось, что он знал Шебуева еще во времена студенчества и что Шебуев вместе с ним слушал медицину, но со второго курса перешел в институт гражданских инженеров. В ту пору он держался в стороне от товарищей и слыл среди них за человека себе на уме. Было известно, что он жил уроками и часто голодал, но за помощью ни к студентам, ни в благотворительные общества не обращался.

— Помню, кто-то говорил мне, что Шебуев — крестьянин, что, кончив учиться в школе, он тихонько от родных убежал в город... Очень бедствовал, но как-то ухитрился подготовиться к экзамену зрелости и наконец попал в университет. Много рассказывали о нем, но я позабыл и спутал всё, хотя помню, что рассказы были крайне любопытные, даже с драматизмом, и производили сильное впечатление, очень лестное для него.

Выслушав рассказ Малинина, доктор начал гладить бороду, что всегда было верным признаком его желания высказаться.

— Господа! Доктор начинает искать в своей бороде мысли! — вскричал Сурков, человек дерзкий, вечно всех задиравший и даже с виду похожий на ерша. Доктор терпеть его не мог и постоянно с ним спорил, но на этот раз он не обратил внимания на выходку Суркова. Видно было, что он глубоко заинтересован рассказом Малинина.

— Я думаю, — начал он, — я думаю, что этот господин — то, что называется карьерист! Вы обратите внимание — человек уходит из университета в институт инженеров... Это характерно — не правда ли? Карьеру доктора, возможность утешать боли и страдания людей, нельзя менять на карьеру инженера, да-с! Скажу больше, — если он действительно мужик, то уж, вероятно, карьерист... Они все, эти наши мужички, очень жадны до денег, — это факт. И это естественно, ибо, по их представлению, деньги — огромная сила, всё нивелирующая, всё покупающая, на всё готовая... Они воспитаны в этом, и я, разумеется, их не виню. Они всю жизнь и всюду видят мощь денег, они не могут не замечать, что человек с деньгами всегда прав... Но и вообще мужик нечто особенное в смысле морального строя... И, скажу, он даже и тогда, когда порядочен, непременно скрывает где-то внутри себя... жадного до денег хитреца... Опять-таки я его не виню. Жадность эта — его природное свойство и внушается ему условиями быта. Он голоден, и потому он жаден...

— Позвольте спросить, доктор, — вежливо обратился к нему Сурков, — ведь вы, кажется, мещанин по происхождению?

— Да, я мещанин... Ну-с, что же дальше?

— Сделав столь ценную характеристику мужика, не можете ли вы набросать нам схему мещанской души, мещанской морали? Конечно, не в тоне исповеди, а так, слегка...

Доктор пренебрежительно посмотрел на него и ответил:

— Вам бы, милостивый государь, должен быть известен тот факт, что на некоей высоте интеллектуального развития человек утрачивает типические черты особенностей своего класса...

— То есть я должен допустить, что рыло свиньи, изучившей, например, философию, может облагородиться до сходства с лицом Диогена? Нет, я это пошутил, я не могу допустить такого перерождения... Но позвольте, мещанин может переродиться, а мужик — нет?

— Степень высоты самосознания у мещанина, как жителя города, как человека более культурного, чем мужик с его первобытным мирозерцанием, обуславливает и более острую самокритику... — важно и убедительно внушал доктор.

Споры с Сурковым обыкновенно затягивались до бесконечности, — этот человек умел всех раздражать, как оса. Публика, привыкшая уже к его парадоксам, дерзостям и задору, прекратила его спор с доктором, попросив Малинина сказать его мнение о Шебуеве.

— Я ведь знаю его не больше вас, — уклончиво ответил он.

— Ну, полноте! — сказал доктор. — Определите, как он — нравится вам, — не нравится? Что именно говорит за него, что против, на ваш взгляд? Ваше определение очень ценно для всех... вы такой у нас... такой...

Малинин с упреком взглянул на него и убедительно заговорил:

— Я не люблю определять человека... Это значит — обижать его, стискивать сложность его души... Это нехорошо... Впрочем, я могу сказать, что он совершенно не похож на меня, и уже одно это — очень большое достоинство... В нем сила есть...

Разговор о Шебуеве замялся после этих грустных слов. Малинина считали влюбленным в Варвару Васильевну, и его отказ говорить о Шебуеве поняли как проявление возникающей ревности, хотя отношение Малинина к архитектору, казалось бы, не могло допускать такого толкования. Малинин чуть не каждый день виделся с Шебуевым, бывал у него на квартире, ходил с ним гулять и, видимо, искренно привязывался к нему. И Шебуев всегда смотрел на грустного человека более мягко и ласково, чем на других, а в разговоре с ним зачем-то даже понижал голос.

Кроме Малинина и других до сей поры названных лиц, ближайшими членами кружка Варвары Василь-

евны были еще несколько мужчин. Один из них — Филипп Николаевич Хребтов — представлял собою удивительно курьезную фигуру. Длинный, сутулый, с кривыми ногами и страшно изъеденным оспой лицом, он был крайне близорук. Но его золотые очки, очевидно, плохо помогали ему, и он смешно вытягивал голову вперед, что вместе с его изогнутым телом и напряженным взглядом каких-то неподвижных светлых глаз производило чрезвычайно странное впечатление. Казалось, он видит вдали что-то крайне соблазнительное для него, что-то упорно влекущее его к себе и хочет прыгнуть туда, в эту даль. Весь он был какой-то цепкий, подстерегающий и твердо уверенный в чем-то, известном только ему.

Он учился в университете, но курса не кончил и теперь занимал должность управляющего в местном книжном магазине. По происхождению сын портного, он имел в городе среди ремесленников неисчислимое количество родных и знакомых. То и дело он пировал на свадьбах, именинах, крестинах и даже «просто так» у медников, сапожников, портных. Относился он к этим пирам как к делу в высшей степени серьезному и важному и от приглашений никогда без уважительной причины не отказывался. Он писал своим знакомым разные деловые бумаги, вмешивался в их семейные дела, даже вел в суде и выиграл очень сложный процесс ремесленной управы с городом. Кажется, он вообще был в этой среде человеком полезным и, видимо, по мере сил, влиял на нее. Благодаря именно его инициативе и помощи при ремесленной управе открыли очень порядочную библиотеку и читальню. Любил он выпить, но, выпивши, не терял какой-то приличной и скромной уверенности в себе и не становился более разговорчивым, чем был в трезвом виде. Он не любил говорить, и, когда у Варвары Васильевны поднимались споры на отвлеченные темы, Хребтов тихо сидел где-нибудь в сторонке, засунув под стул свои кривые ноги, внимательно слушал, низко наклонившись вперед, и, упираясь в колени руками, всё время быстро шевелил пальцами. Это была его обычная поза, к ней все привыкли — и она не возбуждала недоумения. Но если при нем начина-

ли обсуждать какой-нибудь, хотя бы и незначительный вопрос практической жизни, Хребтов тотчас же цеплялся за него с разных сторон и не отступал уже до той поры, пока дело не являлось перед ним, как очищенное от скорлупы яичко.

К Шебуеву он отнесся на первых порах с большим вниманием и любопытством. Слушая его речи, он еще более нагибался вперед и быстрее шевелил пальцами. Но вскоре ему, очевидно, что-то не понравилось в архитекторе, и это тотчас же все заметили: он перестал слушать Шебуева. Разумеется, его сейчас же спросили — в чем дело.

— Я, может быть, ошибаюсь: я плохой психолог, — тонким, режущим уши голосом заговорил Хребтов. — Мне показалось, что он снисходительно относится ко всем нам, как бы с какой-то высшей точки зрения... Знаете, что-то самодовлеющее звучит в нем. Это мне не нравится... это что же такое! И затем, если это так, если высшая точка зрения, то пусть объяснит... Несомненно, что у него есть своя программа... Но это ведь не резон для того, чтоб... так странно относиться к нам...

— Он — буржуй! — рявкнул своим огромным басом Кирмалов, товарищ Хребтова в его сношениях с ремесленниками, а по специальности — архиерейский певчий, сотрудник местной газеты и горячий пьяница. Это был типичный представитель талантливых и потому несчастных русских людей. В маленьких рассказах из быта певчих и рабочих, которые он печатал в местной газете, всегда было много горячей любви к людям и хотя грубой, но сильно волнующей душу поэзии. Было в них и знание быта и умение схватывать характерные черты... И всегда при чтении этих рассказов с грустью чувствовалось, что автор мог бы сказать больше того, сколько сказал, мог бы лучше сказать и даже до ужаса за людей взволновать душу читателя. Но чего-то не хватало автору...

Человек этот держался неестественно прямо и говорил ревущим басом и имел что-то сходное с фабричной трубой. Во время его речи было даже странно видеть, что из его огромного рта не идет дым. Глаза у него были вдохновенно-безумные, волосы на голове всегда

растрепанные, одевался он грязно и небрежно и вообще производил впечатление человека грубого, звероподобного. Но в то же время он тонко чувствовал и прелесть звучного стиха и горькую отраву тоски в заунывной русской песне; он до безумия любил хорошую музыку, глубоко понимал ее красоту и сам удивительно хорошо играл на гуслях. Большую часть своего времени он проводил с рабочими и разными оборванцами в кабаках и труппах, а когда рассказывал о них, — гнев, скорбь, страстная любовь к людям переливались в его голосе и сверкали в глазах...

А Владимир Ильич Сурков играл в кружке роль дрожжей. Маленький, тонкий человечек, быстрый в движениях, с круглой головкой, на которой коротко остриженные и жесткие волосы стояли щеткой, — он был такой живой, задорный, дерзкий и даже немножко злой. Являлся он со своим острым носом, оседланным пенсне, кидал в публику две-три фразы — и все возбуждались, сердились, набрасывались на него. Он сладко прищуривал свои черные мышинные глазки, задорно поднимал нос кверху и говорил еще что-нибудь раздражающее. Ему, очевидно, ужасно нравилось раздражать людей, и он ради этого положительно не щадил себя. Порою он пресерьезно и даже как будто с искренней горячностью отстаивал прямо-таки дикие и всех возмущавшие парадоксы и выходки.

Так, например, однажды в каком-то городе во время пожара в доме трудолюбия сгорели заживо двадцать четыре старушки. Сурков сейчас же воспользовался этим трагическим фактом и преубедительно начал доказывать, что для общества и государства сжигать стариков и старух чрезвычайно выгодно и что со временем это будет даже законодательным порядком введено в обиход жизни как мера чрезвычайно выгодная. С великолепно сделанной серьезностью на своей бойкой роже он начал высчитывать, сколько затрачивается денег на дело призрения престарелых и сколько пудов можно получить костяного удобрения, если их сжигать без излишних хлопот. Операция выходила, действительно, очень выгодной. Разумеется, его стыдили, упрекали, даже ругали, но все-таки спорили с ним. И каждый раз,

когда спор кончался, все чувствовали, что в головах как будто посвежело, как будто с мозга пыль стерли этим нелепым, но всегда острым, а порою даже блестящим спором. Сурков был единственным сыном зажиточного старика-чиновника, умершего, оставив сыну крупное состояние. Он недавно кончил университет, зачислился в помощники к одному из местных присяжных поверенных и — на этом остановился.

Вскоре после того, как он вошел в кружок Любимовой, он откровенно заявил:

— Господа! В городе этом, — я хотел сказать: в этом вместилище идиотов и мошенников, — вы — самые порядочные и интересные люди, всё же остальное просто корм, приготовляемый судьбою для смерти, этой ненасытной свиньи. Но и вы — тоже довольно-таки бесцветные люди, и никаких новых тропинок в жизни вам не проторить, уверяю вас. Всю вашу жизнь вы будете шагать по старым дорогам, потихоньку, гуськом друг за другом, как слепые...

Доктор обиделся и надулся, Хребтов не обратил на эту выходку никакого внимания, Кирмалов прорычал что-то непонятное, а Варвара Васильевна, которой Сурков сразу очень понравился, взглянула на него с недоумением и хотела что-то сказать, но ее предупредил Малинин.

— Почему так? — тихо спросил он и с напряжением в глазах уставился на Суркова.

— А потому, что вы только усердные и верные... лакеи ваших идей. Вы идете не в ногу с ними, а сзади них... И вы гораздо более вдыхаете пыли от движения идей, чем воздуха, освеженного их движением...

Тут вступился доктор — артиллерия кружка, — и вскоре по всей линии житейских вопросов закинул ожесточенный бой.

Всех ближе Сурков сошелся с Кирмаловым и, очевидно, не столько по симпатии к нему, сколько ради оригинальности. С внешней стороны оба они взаимно друг друга отрицали. Один — грязный, лохматый, неуклюжий, с воспаленными пьянством и обилием невыраженных чувств глазами, другой — изящный, с острой и своеобразно красивой мордочкой хорька, наду-

шенный тонкими духами, рисующийся своим уменьем острословить... Один — полуграмотный, другой — пресыщенный книгами, которые он читал на трех языках.

Как ни уклончиво вел себя Шебуев в смысле выражения своих симпатий к представителям местного общества, но скоро все члены кружка Любимовой с удовольствием заметили, что архитектор явно желает познакомиться с ними поближе. Хребтова это несколько обеспокоило.

— Надо бы, знаете, заставить его разговориться... как вы думаете, господа? Для меня это имеет крупное практическое значение... Ходит человек и ходит... сидит, слушает... А зачем ходит? Что, собственно, его привлекает? Это нужно понять.

— Да, это интересно, — согласился Малинин и вопросительно взглянул на Варвару Васильевну.

— Ну что ж? — сказала она с улыбкой. — Вы вот попросите Владимира Ильича, — он вам его...

— Я вам его расковыряю! — с жаром воскликнул Сурков.

И он выполнил свое обещание с полным и даже блестящим успехом, хотя это удалось ему без особенного труда. Он уже и раньше не раз пытался опарашить Шебуева разными дикими выходками, но архитектор только хохотал, внимательно присматриваясь к нему. Но вот однажды он подсел к Шебуеву, изощрился и начал говорить на интересную тему о вреде для людей умственного развития. Все молчали, ожидая, как отразит Шебуев град парадоксов бойкого юноши. Архитектор тоже сначала молчал и только любезно улыбался, но по лицу его нельзя было сказать, насколько искренна эта любезность. И вдруг, в момент высшего развития вдохновенных нелепостей Суркова, он, ко всеобщему удивлению, пресерьезно и с удовольствием в голосе заявил:

— Я могу во многом согласиться с вами...

— Что-о-о? — недоверчиво воскликнул тот, окидывая публику торжествующим взглядом. — Скорее, Аким Андреевич, возьмите назад ваши слова!.. Видите эти испытующие взгляды? Ждут объяснений от вас... ага! Вы согласились в чем-то с еретиком...

— Какой ты еретик? — качнув лохматой головой, густо сказал Кирмалов. — Ты шут, а не еретик...

— Егор, ты врешь! Я — еретик, если я шут. Все шуты — еретики, ибо все шуты — смелые умом люди, а все такие люди — еретики...

— Ишь завертелся! — уже с удовольствием заметил певчий.

— Вы находитесь среди дворовых людей русского свободомыслия! — говорил Сурков Шебуеву, всё разгораясь. — Российское свободомыслие давно уже легло татарским игом на раблепные умы русских людей... И все, здесь присутствующие, закованы в кандалы свободомыслия, сидят в колодках разных измов и сами же оные колодки всё туже стягивают. Это на языке рабов именуется саморазвитием и составляет обычное русского интеллигента занятие, чрезвычайно сладостное ему. Я же представляю здесь преданного холопа истинной свободы ума...

— Это не свобода, а черная немощ, — равнодушно прогудел Кирмалов.

— Хорошо, Егор! В тяжелых и сырых твоих словах всегда есть кровь! Да, верно, — я страдаю припадками противоречия всему существующему... Ну, а по-твоему, — в чем свобода?

— Я, брат, не знаю... Я разве что знаю? Я просто чувствую, что ты не от свободы говоришь... а так себе... от шалости... со скуки... для озорства... Вот!

— Bravo! — воскликнул Сурков, громко хлопнув ладонями. — Bravo и — верно! Ты прав, — ты никогда не узнаешь свободы... ни-ко-гда! И верно, что я со скуки говорю... Но — пошел к чёрту и не перебивай меня...

— А мне можно сказать вам два слова, Владимир Ильич? — попросил Малинин, ласково улыбаясь.

— Вам? Извольте... Я уже давно чувствую, что вы приготовили кривой нож вашего любопытства и желаете с нежной улыбкой пырнуть меня в бок... брр... Но — пожалуйста! — я готов...

— Я, знаете, слушая вас, всегда в душе удивляюсь, — заговорил Малинин, и действительно его глаза ласково улыбались, — зачем вы показываете себя таким... как

бы озлобленным, всё отрицающим? Совсем нельзя допустить, чтобы вы и в самом деле не имели в себе веры при такой возбуждаемости чувства... Я, знаете, думаю, что у вас уже есть огромная вера во что-то... Но, должно быть, она еще не выяснилась вам, не сожгла еще собой противоречий вашей души... хотя вы ее уже ощутили наверное... Только так я и могу объяснить задор вашего отрицания и все эти ваши, по-видимому, бесцельные шутки...

Малинин замолчал.

— Ну-с? Дальше... — сказал Сурков, подняв кверху нос и пытливо глядя на Малинина в свое пенсне.

— Больше ничего... Я ведь это для себя заметил...

— Гм... Чёрт! Однако и на этом спасибо... Возвращаюсь к началу... Вот, Аким Андреевич, посмотрите на этого лучшего из русских поэтов... среди санитарных врачей. Он являет собой прекрасную иллюстрацию к моему утверждению, что умственное развитие вредно для людей... Ум у него — микроскопический... извините, Павел Иванович! — я хотел сказать: ум — микроскопического устройства... Человек сей с удивительной отчетливостью видит всевозможные мелочи, совершенно незаметные для других. И он постоянно ищет, рассматривает их, этих невидимых букашек, населяющих душу человека, этих микробов психики... Он никуда не идет, а всё только топчется на одном месте, осматривается по сторонам, щупает почву, как слепой, но шагнуть вперед — не может. Он ослеплен умом; это очень распространенная болезнь у нас — слепота души от зоркости ума... И когда та, которую Павел Иванович со временем полюбит, скажет ему, раскрыв объятия: «Иди ко мне!» — он задумается и спросит ее: «А ты меня щекотать не будешь?» Потому что он, наверное, не выносит щекотки. Ведь вы боитесь щекотки?

— Боюсь, — сказал Малинин сквозь смех.

Смеялись все; бас Кирмалова грохотал и господствовал надо всеми звуками.

— Позвольте! — оживленно воскликнул Шебуев, всё время с явно напряженным вниманием слушавший разговор, рассматривая публику. — Не надо больше

иллюстраций! Я уже сказал, что в вашей, разумеется, очень парадоксальной мысли, основа все-таки, по моему, живая и здоровая...

— Шши! — зашипел Сурков с комическим ужасом на своей круглой рожице. — Опять вы соглашаетесь со мной? Поймите же, — о несчастный самоубийца! — что это не принято здесь!

— Не шалите, Владимир Ильич, — серьезно сказала хозяйка. — Это очень важно... Пожалуйста, Аким Андреевич...

Шебуев уселся в кресле поплотнее и с серьезным лицом заговорил, явно стараясь смягчать свой голос и с видимой осторожностью подбирая слова.

— Я согласен с вами, — да, наверное, и все согласятся с тем, что непомерно развитой интеллект всегда ослабляет непосредственное чувство. Даже больше — часто он подтачивает и самый инстинкт жизни. Развиваясь на почве инстинкта, он питается его соками, и хотя он не чужеродное, а коренится в чувстве бытия, с ним родственно объединен и является необходимо присущим человеку стремлением к самопознанию, однако росту его должно бы полагать некоторую границу, для того, знаете, чтоб он не опережал человека, ибо ведь в основе своей — человек есть инстинкт жизни, воплощенный в известную форму материи... Так вот границу-то чрезмерному росту интеллекта ставить, пожалуй, необходимо... и ставить ее могло бы чувство самосохранения. Но оно почему-то упускает удобный для вмешательства в рост интеллекта момент, и равновесие сил в человеке нарушается: человек опережает самого себя... А знаете, скверно, когда нет в человеке равновесия, когда он внутренне искривлен и сам из себя с болью рвется куда-то... рвется потому, что ум его вступил в напряженное противоречие с чувством...

— Гм... — сказал доктор, снисходительно улыбаясь. — Мысль странная... А если этот рост интеллекта создаст из человека Канта, — что вы скажете?

— Что скажу? А скажу, что Кант был очень жалкий и уродливый человек, ибо он не знал ничего в жизни, кроме своей философии. Но все-таки он — Кант, и пускай он жалок, пускай он только жертва нам,

нашему стремлению познать тайны бытия... Пускай он всю жизнь думал и, быть может, никогда не чувствовал, что он живет. Его несчастье полезно для нас, оно — наша гордость и слава. И, разумеется, для общей пользы жизни нужны такие люди, что не мешает мне считать их уродами. Нужно быть именно Спинозой, а не человеком, чтобы наслаждаться созерцанием пауков, пожирающих друг друга, и не пожелать иного наслаждения. Таких... мудрецов я не сочту людьми: не могу! Я буду изумляться силе их мысли и даже преклонюсь пред этой силой, но односторонне развитой человек — не идеал человека. Канты и Спинозы — только огромные головы, Бетховены — только изумительно развитые уши и пальцы. А жизнь хочет гармоничного человека, человека, в котором интеллект и инстинкт сливались бы в стройное целое. Нужен человек, все способности которого были бы приведены в строй равномерный и, одна другую оттеняя, всегда, все и всегда, гармонически откликались бы на каждое впечатление бытия. Нужен человек не только умный, но и добрый, не только всё понимающий, но и всё чувствующий.

— Не поместить ли в газетах объявление: нужен человек и прочее — вашими словами? — не утерпев, сказал Сурков и тотчас же понял, что это у него вышло неуместно и глупо.

— Человек должен быть всесторонен, — мельком взглянув на остряка, продолжал Шебуев, — и лишь тогда он будет жизнеспособен и жизнедеятелен, то есть будет уметь не только применяться к жизни, но и изменять ее условия сообразно росту своего «я»...

Все с напряженным вниманием слушали уверенную речь Шебуева. Говоря, он некрасиво взмахивал руками, и голос его то поднимался до высоких резких нот, то падал глухими ударами, так что казалось, будто архитектор рубит что-то.

В безумных глазах Кирмалова, неподвижно смотревших на Шебуева, сверкало какое-то мрачное чувство. Сурков прищурился и, остро улыбаясь, нервным движением руки гладил свои щетинистые волосы. Хребтов, сидя в углу на стуле, весь изогнулся, наклонился вперед и подставил ухо, как бы ловя речь архитектора. На лице

доктора выражалось высокомерное пренебрежение, а Малинин грустно смотрел в лицо Варвары Васильевны. Она, облокотясь на стол и наклонив голову, с напряжением всматривалась в лицо Шебуева, быстро изменявшее выражения. Архитектор говорил, обращаясь то к одному, то к другому, и по глазам его было видно, что он зорко следит за впечатлением.

— Так вот, господа, признаем чудовищное развитие интеллекта необходимым для исключительных людей, преклонимся пред ними, если это нужно нам, — им не нужно, я думаю, — и от души пожалеем их... И посмотрим теперь на себя, на то, что мы же назвали «интеллигенция». Нас, как известно, обвиняют в пассивности, в дряблости, говорят, что мы — люди слова и мысли, а не дела, что наше влияние на жизнь ничтожно и вообще мы — негодный материал для построения новой жизни на земле. Надо думать, что всё это правда; уже по тому одному правда, что ведь это наши судят нас, это ведь самоосуждение горячее, искреннее, порою злое и желчное, но всегда правдивое. Я говорю — всегда правдивое, да! Мы все действительно люди — извините за выражение! — жалкие и несчастные. Нас так много!.. Нас очень много, господа! И по количеству мы — давно уже сила. У нас много желаний, хороших и честных... затем у нас потоки речей и — ни крупинки дела! Ну, пожалуй, крупинки есть... Все эти журналы, романы, статьи — вот крупинки... именно крупинки, не более... Одни из нас пишут, другие читают, прочитав — спорят, поспорив — забывают прочитанное... а воз наших идеалов и ныне там, если не подвинулся назад. Рак берет засилие, в то время как щука делает себе карьеру, а лебедь с поломанными крыльями сидит, где приказано, и поет лебединую песню... не особенно трогательно и звучно поет, говоря по совести... Все мы точно с похмелья, хотя никакого пира не пировали... Вкуса к жизни у нас нет. Что для нас жизнь? Пир? Нет. Труд? Нет! Битва? О нет!.. Жизнь для нас что-то скучное, тягучее, серое, какая-то обуза. Мы несем ее, вздыхая от усталости и жалуясь на тяжесть ноши. Любим ли мы жить? Любовь к жизни?.. Ведь это даже звучит совершенно чуждо нашему уху. Мы любим читать,

спорить, мы любим наши мечты о будущем... Впрочем, платонической любовью любим их, бесплодной любовью...

— Батюшка! — воскликнул Сурков. — Да ведь это какая-то зауспокойная литургия! Мы такого разговора не можем долго терпеть.

— Нет, уж потерпите! — с улыбкой, но настойчиво сказал Шебуев. — Жизнь — этот прекрасный процесс созидания идей, накопления красоты и мудрости, неустанного творчества новых форм, процесс таинственный, глубоко интересный и радостный, да! радостный! — жизнь мы не любим. Любим мы какую-то частность, что-то выдуманное нами... только не идеал новой жизни! Любовь к идеалу — чувство деятельное и страстно склонное к жертве... Даже женщин, любить которых нас так упорно заставляет инстинкт, — мы и женщин не любим. Нечем! Нет чувства! Отсохло у нас сердце в мудрствованиях лукавых! Женщина для нас — физиологическая необходимость и — только, а нравственно, эстетически она нам уже не нужна. Возьмите, для примера, наши семьи... Чувство наше покрылось книжной пылью, изъедено молью довольно пошленьких сомнений, которыми мы еще и рисуемся... Послушайте наших поэтов и писателей... Личный опыт каждого из нас паразитально ничтожен. Ведь мы жизни не знаем, — с детства учимся грамоте лет по десяти кряду, а потом живем в углах на содержании своего воображения. Кормимся мы больше литературой, а здоровую пищу непосредственного впечатления наш мозг отказывается переваривать. Когда жизнь насмешливо бросает нам в лицо одним из своих бесчисленных противоречий, мы тотчас беремся за книгу, чтоб посмотреть — а что там по этому поводу написано? И только... Да, мы питаемся по преимуществу книгой и слишком развили наш ум в ущерб здоровью чувства... Мы все — умны и всё умнеем... Вместе с тем мы становимся всё пассивнее и впечатления бытия вызывают у нас не звучный и здоровый отзвук, а какой-то болезненный дребезг души... Очень мы жалкие люди, господа!..

Шебуев оглядел всех с неопределенной улыбкой в глазах и, качнув головой, замолк. И публика молчала,

немного подавленная его длинной речью. Все сидели неподвижно, лишь Сурков вертелся на стуле, вопросительно и злорадно поглядывая то на одного, то на другого. Первым пришел в себя доктор.

Осанисто погладив бороду, он поправился в кресле, тихонько кашлянул, как бы приглашая всех обратить на него внимание, и заговорил:

— Отдавая должное убежденности и, так сказать, вескости чувства, вложенного вами в вашу речь... я, однако, должен заявить вам, что всё это — и речь и чувство — субъективно. Нападки на интеллигенцию раздаются давно и впредь будут раздаваться... И я не против этого, о нет! Конечно — самокритика, самоанализ и, так сказать, са-мо-по-вер-ка — это необходимо. Но, скажу, не слишком ли много самокритики? И я решительно не могу согласиться с вашим объяснением причины пассивности нашей... Я даже отрицаю пассивность. Вы слишком мрачно набросали всё это и — извините! — поверхностно, утрированно... Ведь надо согласиться — мы все-таки работаем. Кто дает тон и направление в земстве? Мы, — вы этого не станете отрицать. Журналистика — уже сплошь дело интеллигенции. Воскресные школы, масса просветительных обществ... Да мало ли мы можем насчитать заслуг за собой? А та непоколебимая оппозиция консервативным влияниям, которую мы так стойко выдерживаем? В одном я могу согласиться с вами — нас действительно много, и мы — сила, это факт! Мы всё растем и зреем... Вы забыли упомянуть о том, что существуют серьезные внешние преграды, задерживающие наш рост. Это очень важно и многое объясняет... Ну-с, а исходная ваша точка зрения — она... парадоксальна, согласитесь. Это уж нечто во вкусе Владимира Ильича, который, наверное, внутренне блаженствует теперь, хотя и не показывает нам этого...

— Не пытайтесь читать в сердцах, доктор, и продолжайте плести ваше возражение, — сказал Сурков, покручивая свои маленькие усы.

— Я кончил... — объявил доктор.

Шебуев наклонил голову и хотел что-то сказать, но в это время заговорил Малинин.

— Меня не столько занимает ваша основная мысль, Аким Андреевич, сколько процесс ее образования. Как, под какими влияниями создалась эта мысль? Мне она представляется рожденной отчаянием...

— Вот те раз! — воскликнул Сурков с удивлением.

Было видно, что и Шебуев удивился, но он промолчал, подвинулся к Малинину, и на лице его выразилась любезная готовность слушать.

— Мне кажется — придти к убеждению, что рост интеллекта уродует людей, мог только человек, отчаявшийся в благодетельной силе мысли, в творческой способности ума. Ваше убеждение — упадочное, декадентское. Я думаю, что декадентство — это отчаяние людей, сбитых с толку противоречиями жизни. Ваша мысль как бы кричит — назад! А зов назад — зов искуса, зов отчаяния...

— Позвольте! — спокойно сказал Шебуев, как бы щупая глазами Малинина, — ведь я говорил о чрезмерном развитии интеллекта, я указывал, что его перевес над чувством роковым образом обессиливает человека. Человеком двигают желания, а не логика. Если же будет развиваться только мысль, как возможен цельный, гармоничный человек?

В это время раздался угрюмый и как будто озлобленный бас Кирмалова:

— Никакой гармонии в человеке никогда не будет! И не надо гармонии! Вот!

Он часто заключал свою речь восклицанием «вот!» и произносил его как-то странно, одним звуком — «от», причем «о» казалось каким-то огромным, а «т» было почти не слышно. И звучало это восклицание так, точно его из груди Кирмалова вышибал какой-то тяжелый невидимый удар.

— Гармония — выдумка! Как можно, чтобы гармония, когда миллионы — почти звери? Сначала человеческим миллионы, потом гармония, коли нужно... Но — не будет гармонии! Не надо! Надо не равновесие, а чтобы всё кипело... Чтобы человек всегда носил в себе огонь. Где же огонь, если равновесие. Надо гореть, чтобы всем стало светло... Вот!

Он сурово оглядел всех и вместе со стулом шумно

подвинулся куда-то в сторону. Ему не ответили: на его речи мало обращали внимания, — один Сурков поощрял их. Теперь же только доктор поморщился и пробормотал вполголоса:

— Терпеть не могу ничего истерического!

А Шебуев бросил вслед ему мягкий, сочувствующий взгляд и снова обратился к Малинину, взмахнув руками и ударив ими по своим коленям:

— Отчаяние, говорите вы? Это не моя специальность. Мне только тридцать два года, я здоров, умею работать... Позвольте мне сделать попытку к выяснению моего делового взгляда на жизнь.

Хребтов встал со стула, бесшумно подошел поближе к архитектору и встал около него, облокотясь на кресло, в котором сидел Владимир Ильич.

— Я думаю вот что: всем нам пора уже понять, что наше время — время крупных практических дел, требующих не только энергии ума, но и напряжения и выносливости чувства. Мне кажется, что мы уже достаточно долго соображали о том, что делать, и дожили наконец до поры, когда нужно всё делать. Кто во что горазд... Нужно и должно пустить в обращение накопленный нами духовный капитал...

— Совершенно верно! — спокойно сказал Хребтов своим тонким голосом. — Теперь возникает вопрос о методе... о приемах...

— А ведь вы, кажется, радикал или что-то в этом духе? — воскликнул Сурков и посмотрел на архитектора подозрительно и с разочарованием.

— Я кличек не боюсь. Зовите как хотите... но послушайте!

— С удовольствием! У вас есть свой запах...

— Это комплимент?

— Пожалуй...

— Спасибо! Так вот, господа: мы живем колониями, сектами и ни сами дальше дома единомышленника не ходим, ни к себе еретика не зовем. Это происходит, кажется мне, потому, что мы оценили самих себя немножко выше, чем стбим на самом деле, и развили в себе некоторую брезгливость по отношению к людям, которые думают иначе, чем мы. Это — аристократизм нашего

ума... вредный нарост! В нем есть что-то подозрительное для меня, и, не скрою, порой мне кажется, что это — просто боязнь жизни. Мы как будто сомневаемся в силе и остроте нашего оружия, в умение владеть им... Нам чуть ли не боязно, что то, во что мы верим, столкнувшись с жизнью, разобьется о твердыни невежества и предрассудков...

— Сколько я понимаю — дело идет о так называемом обывателе? — с усмешкой сказал доктор. — И, кажется, вы желаете, чтоб я пошел к нему, пил с ним водку, играл в карты и между всем этим очищал его душу от вековой копоти предрассудков и так далее?

— Доктор играет в карты с людьми только такой же высоты ума и духа, как он сам. Водку не пьет, а пьет вино... — внушительно пояснил Сурков Шебуеву.

— Нет, господа! — воскликнул архитектор, вставая со стула и энергически тряхнув головой. — Жить должно, жить можно, и можно очень хорошо, богато и весело жить. Я уверен, что даже деревья, когда они растут, то ощущают наслаждение процессом роста; мы же, люди, — и люди хорошие, честные, умные, — мы не чувствуем удовольствия жить! В этом есть что-то непонятное, невозможное, это что-то выдуманное, неестественное для живого существа... Для человека — жизнь прекрасна! Для существа, одаренного сознанием, всегда есть что почерпнуть из бурного потока жизни...

В горле Шебуева что-то клокотало, его неуклюжая фигура смело выпрямилась и хотя не стала от этого красивее, но приобрела что-то выразительное и оригинальное. Широкий и какой-то четырехугольный, он стал странно похож на те большие мраморные камни, которые ставят над могилами. Но глаза его сверкали ярко, и в них была та обаятельная искренность, которая придает красоту и уроду.

— Неправда, что жизнь мрачна, неправда, что в ней только язвы да стоны, горе и слезы! Даже в ее мрачном есть благородное и красивое. Среди ее язв есть благородные раны, полученные в битвах за права людей, за расширение для них пути к свету и свободе! Среди ее стонов звучат благородные проклятия побежденных героев, звучат и призывают к мести! В потоке слез есть

и слезы радости... В ней не только пошлое, но и героическое, не только грязное, но и светлое, чарующее, красивое. В ней есть всё, что захочет найти человек, а в нем — есть сила создать то, чего нет в ней! Этой силы мало сегодня, — она разовьется завтра! Жизнь — прекрасна, жизнь — величественное, неукротимое движение ко всеобщему счастью и радости. Я верю в это, я не могу не верить в это! Я прошел тяжелый путь... никто из вас и даже все вы вместе не знали столько горя, страданий и унижений, как я знал! О да, я — знал! С меня живьем сдирали кожу, да, сдирали! Мне грубыми руками раскрывали сердце и плевали в него плеватками пошлого издевательства надо мной... Меня однажды били пучком сосновой лучины по спине, и доктор в больнице вынул из моего мяса сорок семь заноз... Но — жизнь прекрасна!

При словах его о занозах на бледном от волнения лице Варвары Васильевны выразился ужас, и она протянула к нему руку. Но он не заметил ее движения, охваченный страстным возбуждением.

— Когда мне было лет пятнадцать, хозяин мой, безграмотный мужик и пьяница, призывал меня и заставлял рассказывать ему о том, как земля вертится вокруг солнца. Я гордился в ту пору своими знаниями: ничего лучшего, чем они, не было в жизни моей. И, рассказывая о земле, я увлекался до восторга, до забвения, кто я и где. Но в момент наивысшего моего увлечения хозяин грубо и насмешливо прерывал мой рассказ и посылал меня кормить свиней. Их было семь; они сидели в темном хлеве, они были огромные, прожорливые и страшно злые от темноты. Они бросались на меня, услышав запах корма, сбивали меня с ног и давили своими тяжелыми тушами. Я падал в грязь хлева и чуть не захлебнулся однажды в ней...

— Будет! О, пожалуйста, будет! — громко вскричала Варвара Васильевна.

— Не бойтесь! Не кричите! Жизнь — все-таки прекрасна! Ведь я пришел снизу, со дна жизни, оттуда, где грязь и тьма, где человек — еще полужверь, где вся жизнь — только труд ради хлеба... Там она льется медленно, темным, густым потоком, но и там сверкают на

солнце неопценимые алмазы великодушия, ума, героизма, и там есть любовь, и там красота — всюду, где есть человек, есть и хорошее! В крупичах, в малых зернах, да! но — есть! И зерна не гибнут все: они растут и расцветают, и дадут плод своей жизни, о, дадут! Дадут! Поверьте мне, что человек всюду носит в себе бога, и, где бы и чем бы он ни был, он останется человеком и есть лучшее на земле! Право мое верить так я дорого купил, да! — но зато я имею это право на всю жизнь! И в этом праве другое я имею — право требовать, чтоб и вы верили так же, как я, ибо я есть правдивый голос жизни, грубый крик тех, которые остались там, внизу, отпустив меня к вам для свидетельства о страданиях их! Они тоже хотят наверх — к самосознанию, к свету, свободе!..

В конце речи его голос звучал громко, как рев большого животного, раздраженного голодом или болью. Глаза сверкали возбужденно, даже как бы гневно, и было в их блеске что-то жестокое. Когда его слова оборвались, он глубоко вздохнул и, дотронувшись рукой до головы, грузно опустился на стул. Прошла минута молчания, все сидели неподвижно, и даже Сурков замер в созерцании изящно обточенных ногтей на своих пальцах.

— Здорово! — вскакивая на ноги, вдруг рывнул Кирмалов таким голосом, точно у него в груди что-то разорвалось. — Верно! Свято! Я знаю, я тоже проходил сквозь свинство... я тоже всё видел! Но у меня порвалась струна жизни, и я дребезжу. Я — дурак! Я сказал про вас — буржуй, да... Это мне стыдно... Простите! Я всё понял теперь... хоть и болван... Вот!

— Я очень, очень рад, что вижу вас таким... — серьезно и искренно сказал Шебуев, улыбаясь ему своей хорошей улыбкой.

— Да-а! — заговорил доктор с непонятным недоумением в голосе и на лице. — Всё, что вы сказали нам, — сказано сильно, веско... хотя и субъективно... И, разумеется, непосредственный опыт, как базис мирозерцания, прочнее теории... глубже залегает в душу... Но, скажу, ограничиваться им, подвергая остракизму теории... было бы односторонностью... Главной силой ска-

ванного вами, сколько я понимаю, является это бодрое настроение, этот, столь редкий в наше время, оптимизм...

— О, я не оптимист! — быстро воскликнул Шебуев.

— Нет? Но позвольте, — как же мы назовем ваше настроение? Жизнь — прекрасна, говорите вы... На мой взгляд, такое утверждение является характерным симптомом оптимизма...

— Доктору необходимо поставить диагноз вашей болезни, — заявил Сурков необычным для него грубым голосом. — Определив ее как оптимистический взгляд на людей, он, наверное, пропишет вам близкое знакомство с ним, доктором, и... и вы скоро выздоровеете, Аким Андреевич!

— Ваши дерзости, милейший Владимир Ильич, не могут задеть меня, как и ваше остроумие не доставляет мне удовольствия.

— О доктор! Не говорите так протяжно, такими длинными фразами... Слушаешь вас, и кажется, что душа ваша куда-то ползет из вас...

— Господа! — строго и спокойно воскликнула Варвара Васильевна, вставая со стула и опираясь руками на стол. Лицо у нее было взволнованное, глаза расширены, и дышала она прерывисто. — Я прошу вас прекратить эти неуместные — извините! — даже неприличные острооты и дерзости. Я думаю, что Аким Андреевич сказал больше того, сколько вы заметили в его словах... Вы обижаете его... и меня... и еще вот их, людей, которые относятся к жизни серьезнее вас...

Она указала жестом руки на Хребтова, который сидел, медленно потирая руки и с таким видом, как будто он припоминал что-то, на Кирмалова, угрюмо и с раздражением смотревшего в лицо доктора, и на Малинина, который, облокотясь на стол рядом с ней, крепко сжал руками голову и, казалось, не слышал ничего.

— В словах Акима Андреевича было нечто и для вас, Владимир Ильич...

— Для меня? — сощурился глаза, воскликнул Сурков, нимало не смущенный выговором. — Нового для меня было немного... но, поверьте, Аким Андреевич, я слушал вас с искренним наслаждением. Если ваш голос и не крик жизни, то это все-таки жизненный голос!

Я даже готов уважать вас... право! Говорю готов, потому что не уважаю людей... На это у меня есть причины... и, быть может, одной из них является то, что я всю жизнь вертелся в кругу людей бесцветных, дряблых, безличных, людей интеллигентных, как вы выругались. А новым для меня были занозы. Сорок семь заноз в спину, но жизнь все-таки прекрасна!.. В этом есть что-то фанатическое... Тут звучит восторг раба-христианина, который горит, облитый смолой, и уже ноги у него обуглились, но уста всё поют хвалу богу... Это — хорошо! Это — сильно и хотя старо, а свежо! Господа! — задорно оглядывая всех черными глазками, звонко крикнул Сурков. — Я от всей души желаю вам по сорок семь сосновых заноз в спины. Доктор! Сообщите в «Новости терапии» рецепт для возбуждения жизни — сосновые занозы в спину по одному разу в неделю.

— Опять спрыгнул! — угрюмо сказал Кирмалов и безнадежно махнул рукой.

— Это слишком часто! — смеясь, сказал Шебуев.

Он смотрел на юношу, как большая, спокойная собака-волкодав на разыгравшегося котенка.

— Ваши шутки утомляют, Сурков! — с гримасой усталости на бледном лице заговорил Малинин. Он был как-то подавлен и болезненно раздражен. — Неужели вы не чувствуете, что здесь сейчас прочитали всем нам отходную.

Шебуев с доброй улыбкой, дрожавшей на его губах, обернулся к Малинину, но в это время в комнате раздался тихий насмешливый свист.

Свистнул, конечно, Сурков. Он свистнул, кивком головы сбросил с носа пенсне, ловко поймал его в воздухе и сказал:

— Вы уже трусили, бедненький? О, успокойтесь! Быть может, вся эта громкая музыка играла только сбор на охоту, а не призыв к атаке.

И тотчас же, вздрогнув, он осекся и даже побледнел.

Несколько секунд все молчали, сразу почувствовав, что произошла крупная неловкость, сказано что-то двусмысленное и грубое. И все не смотрели на Шебуева. А он, спокойно улыбаясь, следил, как Сурков, стоя среди

комнаты и смущенно посмеиваясь, ежился, точно от холода.

— Что вы хотели сказать? — тревожно прозвучал резкий голос Хребтова.

Варвара Васильевна искоса, виноватыми глазами взглянула на Шебуева и, должно быть, ободренная его спокойствием, попробовала рассеять неловкое настроение, охватившее всех.

— Ну, что же, Владимир Ильич? Сознаться, что острога вышла неудачной, и мы вас великодушно помилуем...

Тут вмешался доктор.

— Владимир Ильич, кажется, заврался в своих шуточках. Это случается с остроумцами...

Но Шебуев, заметив смущение Варвары Васильевны, прервал его речь.

— Ба, — сказал он, усмехаясь, — кажется, словам... Владимира Ильича все придали какое-то... особенное значение?

Перед тем, как назвать имя Суркова, он на секунду замолчал, глаза его блеснули, и всем показалось, что вот сейчас он нанесет оскорбление Суркову. Но он только улыбнулся и продолжал:

— Вы смутили его, господа... и напрасно. Из его слов можно сделать лишь один вывод — он умный человек. Он выразил недоверие ко мне... это естественно... Для всех вас я — таинственный незнакомец. Владимир Ильич, мне кажется, только это и хотел сказать...

— Благодарю вас, благородный рыцарь! — низко кланяясь Шебуеву, сказал Сурков, — быть может, он хотел поклоном скрыть свое покрасневшее лицо. — Благодарю вас! Отныне моя жизнь принадлежит вам. Не приди вы ко мне на помощь — сии антропофаги, сиречь человекаядцы, сожрали бы меня с костями... Благодарю вас!

— Не стоит... Сосчитаемся... Узнав друг друга поближе...

— О, да! И отныне это цель моей жизни...

— Владимир Ильич! — с досадой и гневом воскликнула хозяйка. — Вы сегодня просто невозможны! Что с вами?

Он живо повернулся к ней, но в это время раздался тихий, прерывающийся от волнения голос Малинина:

— Во всем, что вы сказали, Аким Андреевич... самое главное то, что вы... выставили себя посланником... представителем от тех... от несчастных... со дна жизни... Какая роль! Ведь это святая, героическая роль! Это ужасно высоко... невероятно трудно... Меня поразила... до глубины души потрясла ваша... смелость... Я хотел даже сказать — дерзость... Прийти оттуда, от тысяч живых, погибающих во мраке людей... взойти на верх жизни и сказать о чувствах, думах, желаниях этих людей... и потрясти сердца до ужаса, до отчаяния, которое перерождается в безумную храбрость... в страстное стремление на помощь им... Ведь для этого нужно иметь язык пророка Исаии... Ведь это... чрезмерно для человека! Оттуда приходили... много! Некоторые владели пером, они рассказывали, и — что же? Ведь вот и здесь, кроме вас, есть люди оттуда — но что же? Всё больше и больше людей поднимается оттуда... Они приходят сюда... но не расширяют пути для тех, которые остались там... не могут почему-то подать им руку помощи...

— Ну, как это? — сказал Хребтов, точно ворона каркнула. И вслед за ним прогудел бас Кирмалова:

— Руки коротки...

Все смотрели на Шебуева, ожидая, что он скажет.

— Вы меня удивили, — начал он с недоумением и пожимая плечами и как-то сострадательно глядя на Малинина. — Я не вижу в своей задаче ничего героического... и на роль пророка уж никак не могу претендовать... Должно быть, я говорил очень неясно и сбивчиво... если вы сделали такой вывод. Ведь я, в сущности, не сказал нового ни слова. Что я сказал? Не надо забывать тех, что остались сзади нас, тем более не надо, что мы сами только что явились оттуда. Вы отметьте — мы сами оттуда, — это очень важно! Нам не из сострадания, не из высших соображений, а из простого расчета не следует забывать о товарищах наших, живущих в грязи в то время, как мы попали на лоно культуры. Нас, демократов по крови, еще не так много для того, чтобы

нам не заботиться о судьбе наших товарищей. Забыв о них, мы рискуем услышать их упреки: ведь нас помнят, и мы каждый день можем встретиться с друзьями детства на улице. И встречаемся. Я встречался не раз. Однажды еду на извозчике, а он вдруг оборачивается ко мне и говорит: «Богат стал, Яким,— не узнаёшь товарища... Забыл, как мы с тобой пескарей ловили?» Н-да... нечто вроде голоса с того света. И, знаете, неловко как-то чувствуешь себя после такой встречи... Очень неловко...

Он помолчал, зачем-то крепко потер ладонью свой бритый подбородок и снова заговорил, наклонив голову и глядя в пол:

— Я думаю вот что. Был у нас интеллигент-дворянин. Он на своих плечах внес на родину культуру Запада, создал огромные, вечные ценности и — все-таки отцвел, не окупив, может быть, и половины тех затрат, которые употребила страна на то, чтобы взрастить его... На смену ему явился интеллигент-разночинец. Этот дешево стоил стране: он явился в жизнь ее как-то сразу и своей огромной силой поднял страшный груз. Он надорвался в труде и ныне тоже отцветает... Может быть, он возродится? Не знаю... не охотник я до гаданий... Вижу — он отцветает. Это ведь про него я говорил давеча. Думается мне, что дворянин и разночинец потому так скоро... устали жить, что одиноки были. Родни в жизни у них не было, работали они для человечества и народа, а это — величины мало реальные, неосязательные... На смену ему идет мужик, рабочий-интеллигент, и в то же время растет буржуа — купец-интеллигент... Посмотрим, что сделает мужик... Но первая его задача — расширять дорогу к свету для своего брата-мужика — для брата по крови, оставшегося внизу и назад... Свой брат — это уж реальность... Вот и всё... Простите — я, кажется, утомил вас, господа...

Он стал озабоченно серьезен и как-то сух со всеми. Скоро он простился и ушел. С ним ушел и доктор. Оставшиеся у Варвары Васильевны с жаром принялись говорить о Шебуеве. Сначала Варвара Васильевна сердито и с упреком стала читать нотацию Суркову за его нелепое поведение.

— В какое дикое положение поставили вы всех нас вашей... дерзкой выходкой! Человек новый...

— Ох, это не новый человек! — вскричал Сурков. — Клянусь вам — это старый человек! Он, несомненно, родня Соломину — Штольцу и другим положительным людям...

— Не то! — сказал Малинин. — Нет, в нем есть свое, оригинальное...

— Не может этого быть! — кричал Сурков. — В России оригинальные люди от женщин не рождаются, — их выдумывают литераторы...

— Вы по обыкновению шутите, — заговорил Хребтов, потирая руки, — а человек этот заслуживает серьезного внимания. Он — деловой человек, вот увидите...

— Деловой? О, да! Этого не отвергаю... Он — несомненно деловой человек... И я согласен — в нем что-то есть, но я думаю, что это что-то не новое, а старое... быть может, только одетое по моде. Посмотрим!.. Я буду следить за каждым его шагом... А не замечаете ли вы, что он похож на тощую фараонову корову?

— Фараоновых коров я не видал, — загудел Кирмалов, — а глаза у этого господина мне не того... не по душе... Господин — интересный... когда он говорит — я ничего... даже уважаю... А ткнет он глазами — уважение вон, и становится мне... не по себе как-то.

— И мне что-то не нравится в нем... Но я его... кажется, даже люблю... — задумчиво сказал Малинин и обратился к Варваре Васильевне: — Вам нравится?

— Да, — ответила она, не взглянув на него.

Он улыбнулся и замолчал.

Сурков стал прощаться, извиняясь за свое поведение пред хозяйкой.

— Владычица сердца моего! Не судите меня строго... Ваши укоризненные взгляды вонзаются мне в душу сосновыми занозами...

— Будете вы когда-либо серьезным человеком? — с улыбкой спросила его она.

— Я? Никогда! — с жаром вскричал Сурков и ушел. За ним ушли и Хребтов с Кирмаловым.

Оставшись одна с Павлом Ивановичем, она ласково, как мать на дитя, посмотрела на него и сказала:

- Ну, и вам пора...
- Уже?
- Пора, голубчик...
- Вы устали?
- Очень...
- Хорошо, я уйду...

Не глядя в лицо ей, он пожал ее руку и вышел, странно наклонив голову, как-то сгорбившись... А она, стоя среди комнаты, посмотрела вслед ему, озабоченно нахмутив брови, и тихонько вздохнула...

С этого дня Сурков действительно стал следить за каждым шагом архитектора. Он знал всех в городе, всюду бывал, и это очень облегчало ему его капризную задачу. Являясь к Варваре Васильевне, он последовательно, со странной тщательностью и совершенно серьезно излагал день за днем всю жизнь Шебуева. Рассказывал, у кого бывает архитектор, о чем говорит и какое производит впечатление. Из его рассказов было можно сделать такой вывод: Шебуев быстро завоевывает определенное положение в местном обществе купцов и деловых людей и приобретает среди них репутацию умного, знающего человека.

Рассказывая, Сурков хвастался своей способностью шпионить.

— Напрактикуюсь, — говорил он, — отшлифую свой талант и тогда предложу себя на службу в подлежащее ведомство...

Но в скором времени Сурков заметил, что доктор, ни на минуту не утрачивая свойственной ему солидности, начинает корректировать и даже дополнять его сведения.

— Ба! — не преминул воскликнуть дерзкий юноша. — Однако не я один склонен к сыску... Должно быть, верно говорят, что в России много талантливых людей... но жаль, что они всегда кому-нибудь подражают...

Доктор сконфузился, потом обиделся, сказал несколько очень длинных фраз и — снова начал дополнять сведения Суркова.

Вскоре все знали, что Шебуев особенно близко сошелся с Марком Чечевицыным, одним из богатейших местных купцов. Этот купец получал ордена за свою

благотворительную деятельность и постоянно судился из-за грошей с рабочими своего судостроительного завода, с матросами своих пароходов, с приказчиками. Он выстроил городу три прекрасные школы и приют для сирот, каждую весну устраивал для школьников катанья на пароходах с музыкой и обильным угощением, подарил городу обширное и ценное место под условием устроить на нем детский сад и, вообще очень много делал для ребятшек. В то же время о нем знали, что он носит сапоги до поры, пока они совершенно не развалятся, отдает их по пяти раз чинить и во всем для себя скуп до смешного. Он же пожертвовал сто тысяч рублей на ремонт и расширение больницы для душевнобольных в память о сыне своем, который вообразил, что у него в голове и в животе ерши развелись, в припадке умоисступления разбил о печку череп свой и — умер. Капитал у купца был огромный, считался миллионами, а единственный наследник Чечевицына — его племянник — служил у него конторщиком при заводе на тридцати рублях жалованья.

Шебуев постоянно бывал у этого старика, ездил с ним по городу в его тяжелом, старомодном экипаже, запряженном парой больших жирных лошадей, и, приходя к Варваре Васильевне, отзывался о купце как-то двусмысленно, со снисхождением к нему, которое очень не нравилось всем.

— Вы говорите прямо — дерет Маркушка шкуру с живых людей или не дерет? — спросил Кирмалов, угрюмо уставив свои глаза на лицо Шебуева.

Шебуев пожал плечами и спокойно сказал:

— Дерет, конечно... И не может не драть, заметьте...

— Почему?

— Природа...

— Какая природа?

— Волчья, хищная.

— А мораль?

— Откуда у него может быть мораль?

— Позвольте! В ад верит?

— Кажется, верит...

— Стало быть, имеет мораль... стало быть, благ отворит со страха...

— Возможно... Но для меня неважно, почему именно он благотворит... Важно то, что он добровольно сбрасывает обществу известный процент с капитала...

— Да ведь это — колокола... Ведь это для звона о его доброте, для заглушения голосов правды...

— Вашего голоса этот звон не заглушит. Да, наконец, даже маленький грешок вызывает больший шум, чем крупный праведный поступок...

Эта терпимость производила в кружке Любимовой впечатление, очень нелестное для Шебуева. Его быстрые успехи среди купцов всех поражали и в то же время усиливали подозрительное и недоверчивое отношение к нему среди интеллигентных кружков, которые он посещал всё чаще, но уже явно отдавая предпочтение кружку Варвары Васильевны. И всюду среди интеллигенции он продолжал возбуждать общее раздражение против себя, сталкиваясь со всеми во взглядах, относясь со скептической усмешкой к установившимся мнениям и постоянно стараясь доказать их практическую неприменимость.

— Американец! — с усмешкой говорили о нем. — Посмотрим, что будет дальше...

Так прошло еще с год времени. Шебуев всё преуспевал, а интеллигенция присматривалась к нему.

И вот в местной газете появилась заметка, извещавшая читателей, что «наш известный благотворитель, коммерции советник Марк Федорович Чечевицын» решил выстроить в городе «народный дом». В верхнем этаже этого дома предполагается устроить чайную, столовую и помещение для ночлега на триста человек, а в нижнем — большой зал для детских игр в зимнее время, — нечто вроде яслей. Далее сообщалось, что проект дома уже разрабатывается городским архитектором Шебуевым, который и будет строить здание.

— Это вы его настроили? — спросила Варвара Васильевна Шебуева, когда он пришел к ней. Спрашивая, она смотрела в глаза ему как-то особенно пристально и прямо.

— Я, — ответил он.

— Ну... я вас от души поздравляю... Это мне нравится...

Она улыбнулась ему хорошей, одобряющей улыбкой.
— Спасибо... сердечное спасибо вам! — отозвался он и даже поклонился ей. — Я рассчитывал на большее... Но пока — только... А нужно все-таки не это... Нужен театр, библиотека и читальня... И это будет... Старик не жалеет денег, но он не может понять... он боится театра... Но — это всё будет...

Лицо у него было недовольно, нахмурено, но глаза сверкали упрямо...

— Вы убеждены уже — будет?.. — спросила Варвара Васильевна, ласково глядя в лицо ему.

— Да, я убежден... Будет и театр и читальня... И это скоро решится...

— Вот бы славно! — с удовольствием воскликнула Любимова.

— Это будет... — еще раз твердо повторил архитектор.

Пришли Кирмалов и Хребтов и, когда узнали, что будет театр и читальня, оба искренно обрадовались.

— Это я понимаю, хе-хе-е! — потирая руки, взвизгивал Хребтов.

Было странно видеть этот почти детский восторг в его кривом и болезненном теле...

— Здорово! — гудел Кирмалов, тоже с удовольствием вращая глазами. — Театр — это штука! Я хор составлю из разных народов... вот! В антрактах буду былины на гусях играть... вот! Я покажу кое-что! Такие красоты поднимем со dna-то жизни — небеса возвеселятся!

— На небесах, Егор, всегда хохочут, когда юродивые на земле восторгаются! — ободрил его вошедший в это время Сурков. — Поздравляю с завоеванием! — обратился он к Шебуеву. — А театрик-то вам не удался?

— Вы уже знаете? — сухо спросил архитектор.

— Как видите...

— Вот что, — отвернувшись от Суркова, сказал Шебуев певчому, — вы это серьезно сказали о хоре?

— А то как? Да я вам таких певцов соберу...

— А можете вы устроить духовное пение?

— Я? Да духовное-то еще скорее можно... Духовное! В нем такие красоты есть...

— Театр тоже скоро будет, Владимир Ильич! — сказал Шебуев Суркову. — Скорее, чем я думал...

— Верю... И понимаю — вы Чечевицына на духовном пении поймаете. Одобряю...

— Ты всё шуточки шутишь! — свирепо взглянув на Суркова, сказал Кирмалов. — А тут отверзаются двери... и человек, доселе выдавший лишь пакость, ныне может лицезреть красоту... Чучело!

— Егор, не говори высоким стилем! А большого труда стоило вам, Аким Андреевич, наладить это дело?

— Немалого...

— Но вы довольны?

— Нет...

— Бедняга Чечевицын!

Шебуев мельком взглянул на хозяйку и промолчал, лишь на скулах у него явились красные пятна. Скоро он ушел, такой же недовольный и угрюмый, каким явился.

— Нет, — воскликнул Хребтов, проводив его, — этот человек... мне нравится... А?

— Вы как будто не совсем твердо уверены в этом? — спросил Сурков.

— Н-не совсем? Гм... чёрт знает...

— А я совсем уверен, — объявил Кирмалов.

— Неужели и его длинные руки нравятся тебе, Егор?

— Руки? — Кирмалов задумался немножко. — Что ж руки? Если работают, то хороши... А прочее — эстетика... И чего ты всё намекаешь? — вдруг рассердился он.

— Да, Владимир Ильич, — сказала хозяйка, — вы его... травите... Зачем? Для этого мало не любить человека... Вы посмотрите, как он одинок...

— О, пусть не беспокоит вас его одиночество! — воскликнул Сурков значительно и насмешливо. — Он скоро приобретет себе хорошего, очень хорошего друга!

Варвара Васильевна спокойно посмотрела на него и, красивым жестом руки перебросив свою косу с груди за плечо, сказала:

— Да, это возможно...

На одной из площадей города ломали большой каменный дом — старые казармы, купленные Марком Чевицыным.

Длинный двухэтажный корпус, со множеством труб на крыше, был весь обставлен лесами, — издали он казался опутанным серой паутиной. Из окон на площадь вырывались густые облака пыли; она тяжелым туманом носилась в воздухе, и всё вокруг побелело от нее. Часть железа с крыши уже была сорвана, и обнаженные строения высунулись, как ребра скелета.

На лесах шумно возились плотники, — раздавался стук топоров, шипела и взвизгивала пила; кровельщики, ползая по крыше, отдирали листы железа и бросали их вниз, — железо, падая, изгибалось в воздухе и гремело, а ударяясь о землю, покрывало все звуки воющим грохотом. В доме что-то трещало, сыпалось, падало; вместе с пылью из окон, похожих на дымящиеся раны, высывались какие-то доски; плотники подхватывали их и куда-то тащили эти изломанные кости старого дома.

Пыль, точно иней, осела на бородах и одеждах рабочих; от нее все они поседели и хотя задыхались в ней, но работали споро и весело, ибо работа разрушения — приятная и легкая работа.

И день был веселый — ясный и ласковый день ранней весны. На площади, в десятке сажен от разрушаемого дома, раскинулся небольшой садик, и почки на деревьях в нем уже готовы были распусться. Из клочьев рыжей прошлогодней травы пробивались к свету нежно-зеленые стрелки, и всюду — в воздухе и на земле — чувствовался канун веселого праздника природы. По дорожкам сада гуляли дети. Бледные, заморенные зимою в душных комнатах, они ходили медленно и жмурились от яркого сияния солнца. А у низенькой решетки сада, упираясь в нее руками, стоял архитектор Шебуев и, тихонько посвистывая сквозь зубы, сосредоточенно смотрел, как ломают дом. Его черное пальто из толстого драпа было выпачкано известью и на фуражке, с инженерным знаком, осела пыль.

— На-а подъе-о-о-м берем да-о-о-о! — дружно и громко пели внутри дома.

Раздался треск, тяжелый грохот, дом точно вздрогнул и, выдохнув из окон клубы пыли, окутался в мутную тучу...

— Дядя Осип! — заорал кто-то неистовым голосом.

И снова раздался стройный крик:

— По-оды-мем-ка еще-о разок!

И архитектор высвистывал этот напев, наблюдая, как маленькие фигурки людей разрушают огромное здание.

На площадь тяжело въехала старомодная колесница Марка Чечевицына и остановилась около сада. Большой и тучный купец в сюртуке, похожем на поддевку, и в сапогах бутылками медленно вылез из нее на мостовую, остановился и, приложив руку козырьком ко лбу, тоже стал смотреть на дом.

— Марк Федорович! — крикнул Шебуев, идя к нему.

Тот повернулся на крик, не отнимая руки от лица, и брюзгливо сказал хрипящим голосом:

— А, ты тут...

— Доброго здоровья!..

— Благодарствуй...

— Пойдемте в сад... на лавочку сядем...

— Можно...

Они подошли к решетке сада; Шебуев отворил калитку, посторонился и пропустил купца вперед себя.

— Ишь ты, детишек-то сколько высыпало! — сказал Чечевицын и, сняв с головы картуз, провел по лысине большим желтым платком.

Лицо у купца было землистого цвета, пухлое и как бы недовольно надутое, но при виде детей оно дрогнуло, прояснилось и ожило. Отвисшая нижняя губа подтянулась, сложившись в улыбку; маленькие, серые, недоверчиво прищуренные глазки, под седыми бровями, заблестели умиленно и ласково. Тяжело согнув спину, он медленно опустился на скамью и, продолжая смотреть на детей, говорил:

— Дать бы вот им по гривенничку на гостинцы... да, поди, нельзя? Не примут?

— Неловко,— сказал Шебуев, усмехаясь.

— Э-эх! Закавычки всё везде... это вот вы, образованные, человека стесняете! Неловко! А гривенник-от, глядишь бы, и освятился... оправдал бы себя-то...

— Ничего! На чем-нибудь другом оправдается...

— А надо оправдаться-то ему? — искоса взглянув на Шебуева беспокойными глазами, спросил купец.

— Всякая копейка должна быть оправдана или трудом, или добрым делом...

— Труда-то всё не признаешь за мной?..

— Я уж говорил с вами об этом, — неохотно сказал Шебуев.

— То-то вот и есть, что говорил... Говорил и наговорил... Разбередил меня, а успокоить вот не можешь... А мне успокоиться надо — потому — помру скоро! Эх ты! — купец вздохнул, помолчал и снова начал ворчать своим брюзгливым голосом: — Так, стало быть, и остается — вроде транзитной станции был я на земле. Проходит через меня капитал, и лежит на мне, и дальше идет! А я — ни к чему? Только, значит, место одно? Одна задержка?

— Нет, это немножко не так! — сказал Шебуев, добродушно взглянув на купца.

— Чего уж там! Понимаю я... отвергаешь ты меня от жизни! У-ученый! Очень вы безжалостные люди, ученые... Рассудили... Али я не человек, как все? На человека-то купцу скидки не будет? Нельзя?

Он вдруг тяжело повернулся к Шебуеву и, строго глядя на него, заговорил усиленным голосом:

— Ты, однако, не подумай, что я милости прошу... смотри!

— Ну вот ещё! Что это вы?

— То-то! Окромя бога, ни у кого милости нет... и никто ничего понимать не может, окромя бога... А что я говорю с тобой этак... по откровенности души — так это оттого, что нравишься ты мне... За жизнь твою нравишься... очень, брат, тяжелая жизнь была у тебя. Теперь ты много можешь нагрешить... оч-чень много! Но может всё тебе проститься за прошлую твою жизнь... Бог — он справедливый! И за твердый ум уважаю тебя... За ум, да... А первое всего в тебе — правду ты любишь... Это, брат, тоже зачтется... Кто ее любит, правду-то?

Н-да-а... А ты любишь... и любишь — не боишься. И вот, что не боишься ты — очень это большая твоя заслуга будет перед господом! Так-то, Яким... — Он глубоко вздохнул, и в груди у него захрипело. Лицо Шебуева подергивалось, и на губах его мелькала острая усмешка. Купец, упираясь подбородком в грудь, угрюмо смотрел в землю. Дышал он тяжело, и при каждом вздохе в груди у него хрипело и шумело, как будто что-то постороннее попало туда и мешало дышать ему.

— Вот ты вчера говорил мне... дерзости твои и всё это... умное твое... Как молотком, по голове меня, старика, стучал... И сидел я и думал про себя: «Зачем слушать это? Зачем знать? Не сказать ли мне человеку этому — тебе-то: „Уйди от меня прочь!“» Подумал, а не сказал... Не сказал... и ты это цени... Раздражитель ты человеческий! Э-эх! Господи, помилуй!..

Он замолчал и снова стал смотреть на детей, нахмурив свои седые клочковатые брови и поглаживая опухшей большой рукой белую бороду с какими-то желтыми волосками в ней. И рука у него тоже вся была покрыта жесткой рыжеватой шерстью; даже на суставах пальцев росли кустики шерсти. Шебуев взглянул на эту руку, похожую на лапу зверя, и безучастно отвернулся в сторону. Лицо его стало спокойно, даже скучно, и лишь в глазах сверкало что-то подстрекающее, какое-то ожидание.

— А хорошо на детишек глядеть... — снова заговорил Чечевицын. — Что есть на свете лучше детей?.. Ничего нет, Яким, так и знай... Ничего... Умрем мы, а они жить будут... до-олго, много!.. И в ихней жизни беспорядка и склоки уж меньше будет, чем у нас теперь... Н-да-а! Много меньше! Потому, брат, жизнь-то год от году всё больше к порядку идет... А от порядка в жизни и в человеке порядка больше будет — так?

— Так! — сказал Шебуев.

— Вот за то я и люблю детей, что они лучше нас с тобой будут... Вот это в них и есть главное самое... это в них и трогательно, что они лучше-то нас будут... это и привлекательно сердцу... И даже — боязно... Я вот иду по тротуару, и когда они навстречу бегут, — сторонюсь, дорогу им даю... А мне — шестьдесят три

года, и губернатор первый кланяется... а? Хо-хо! Смешно... А вот поди-ка — сторонюсь... Потому — дети... Они будут, а я уж был, да вот весь вышел... Вон доктора-то говорят — за границу поезжай! Печенки-то у меня надорвались, слышь. Ты чего молчишь?

— Слушаю... Вы вот насчет порядка сказали... что всё к порядку идет... Это — какой же порядок будет, по вашему?

— А такой, что все люди правильно разделятся... каждый по своему месту... Это уж началось...

— Не видать что-то! — с сомнением сказал Шебуев, любопытно взглянув в лицо Чечевицына.

— А ты гляди в оба — и увидишь... Купец-от всё множится да богатеет? Верно?

— Верно...

— Вот видишь! А мужик становится умнее... себя понимать начал?

— Это откуда видно?

— Ты кто родом?

— Крестьянин... да-а, вот вы о чем!..

— Ну, разумеешь?.. Мало вас таких развелось? И везде мужик шевелится, кверху лезет... даром что житье у него тяжелое...

— О-ой раз! Еще раз! Еще-о разик, еще раз! — разнесся в воздухе дружный крик рабочих.

— Ишь галдят... — заговорил Чечевицын. — Ты за границей бывал?

— Бывал! Недолго...

— Ну, что там — при работе поют?

— Иногда поют...

— Лучше, чем у нас? Поют-то, мол, лучше?

— Нет... едва ли... Там кричат.

— С натуги, значит... силы не хватает. А у нас вот поют... У нас силы вдоволь. У нас — всё лучше... Эх, заболтался я с тобой... Ну, что — рад ты, что ломать начал?

— Мне чего же радоваться особенно? Работе — рад. Работать я люблю.

— Велика работа! Ходи да поглядывай... А не нравится мне эта твоя затея... как хочешь!

— Театр-то?

— Вот он самый... Разврат это... Пляс да песня, да смех... Что тут нужного для человека?

— Для человека, Марк Федорович, всё нужно! — внушительно, с уверенностью в голосе и на лице сказал Шебуев. — Нужно, чтоб он и пел и плясал, нужно, чтоб смеялся, чтоб веселее жилось. Но театр не для одного веселья, он и для пользы... в театр будут ходить — в кабаки не будут.

— И в церкву не будут.

— Кому нужно в церковь — театр ему дороги не загородит. А коли вы иначе думаете — значит, церковь не уважаете.

— Вот, Яким Андреич, — сказал купец, пристально и с чувством, близким к почтению, глядя на строгое лицо Шебуева, — заговоришь ты вот этак и — удивишь меня даже до крайности! Ведь уж вижу, — я старый воробей, и меня не обманешь! — вижу, чувствую я, что не больно тебе до церкви дела много, а всё же говоришь ты верно про нее. Верно! Ничем дорогу к ней заставить нельзя... она — сила превыше всего, в ней бо господь обитает. Но ты-то как про нее правду знаешь?

— Я сам могу верить, могу и не верить, но ежели я во что верую, так уж крепко... И от других того же требую... Верись, — ну, так не думай, что твоей вере чужой смех мешает, а коли ты это думаешь, стало быть, слабо верись...

— И опять верно! — с удовольствием воскликнул Чечевицын. — Верно, умница! Или в божью силу верь, или в дьяволу...

— Вот видите...

— А все-таки театр этот твой — затея пустая... Вот разве для ребятишек устройшь в нем, как обещал... разное там, веселое... ну и пение духовное тоже...

— И детям и взрослым от этой затеи только польза будет, а вам — памятник на сто лет... Хороший памятник, поверьте! Выше всякой колокольни... От колокольни только звон, а из театра свет... Ведь вы согласились со мной, что чем больше человек видит, тем больше умнеет?

— Слышал я это от тебя. И очень понимаю, что от ума человеку вреда не состоится... ежели ему воли не

давать... Первее всего нужно, чтоб человек во всем сдерживать себя умел, да! И уж коли театр — пускай его! Дуй тебя горой!..

Чечевицын развеселился, глазки у него довольно заблестели, и даже его желтые щеки стали бурыми от оживления, а может быть, от воздуха весны и блеска солнца.

— Ну, я поеду на биржу... Поедем? Завтраком накормлю...

— Минуточку подождите, Марк Федорович,— озабоченно сказал Шебуев.— Есть у меня к вам большая просьба...

— Ну-у опять... Чего еще?

— Вот что — дайте мне денег...

— Э! А я думал — насчет этого всё...

Он кивнул головой на театр и, расстегнув скюртук на груди, сунул руку за пазуху, говоря:

— Сколько же тебе денег-то этих? Смотри, многого со мной нет...

— Мне нужно тридцать восемь тысяч...— спокойно сказал Шебуев, но скулы у него покраснели и глаза сузились в ожидании.

Чечевицын вынул руку из-за пазухи, тщательно застегнул скюртук, поглядел на архитектора и удивленно протянул:

— Ого-го! Это ты... тово... ничего! Это, знаешь, кусок немалый... На кой те ляд такую уйму? Это на первый раз голому человеку можно шубенку спить... да-а!

— Мне нужно тридцать восемь тысяч,— повторил Шебуев, понизив голос и не глядя на купца.

— Слышал... цифра хорошая!.. В аккурат тридцать восемь? А не тридцать пять и не сорок? Верно счел?

В глазах купца искрился острый смешок, и губы у него вздрагивали.

— За тридцать пять я куплю здесь в уезде имение...

— Чье это?

— Скурагова...

— Мм... Сорок две он желает взять... Тридцать пять — это цена законная... Ничего цена... Только не тово, неважное это дело, помещичать-то. Какой ты помещик?

— Мне для ценза нужно...

— А! Вот оно что! Да ты, чудак, болотце у меня купи... У меня хорошее болотце есть — десятин около двухсот... лесок еловый... клюква, грибы-козляки там... вот те и поместье будет! По чину... хо-хо! И Скуратову будешь сосед притом же!

— Мне, Марк Федорович, необходимо Скуратово купить... Оно сразу в земство меня пустит...

— Пустит,— это что и говорить! Верно рассчитал, пустит... Ах, голова! Верно всё у тебя... и очень ты этим побеждаешь!

— Дальше я соображаю так: болото ваше вы тоже мне продайте...

— Мм... И болото? Ах ты... пострели те горой! На что оно при Скуратове?

— Я завод сухой перегонки дерева устрою, лес сведу, а болото высушу...

— Правильно!.. Н-да-а... Вот оно как... Это будет... братец ты мой... это, Аким Андреевич, выйдет так, что Скуратово-то тогда тыщ около двухсот оценится... мм!..

Шебуев сложил руки ладонями вместе и, сунув их между колен, крепко стиснул колени. Чечевицын внимательно и серьезно поглядел на его широкую согнутую спину, на крепкую шею и покачал головой. Потом поджал губы, потрогал себя за бороду и, сбоку глядя на архитектора, заговорил, как бы рассуждая сам с собой:

— Земля там наклонна к реке... м-да... Ежели через большую дорогу канавочку проковырять — вода сбежит, верно! А я вот — дурак... Семнадцать лет владел, а не догадался... Вот она, наука-то... Нет, в ней тоже есть применимость... Что ни говори... Пес те возьми, а? Правильно! И заводик у места будет... хм! Подвел рекой дощаничишко и грузи себе полегоньку... а в половодь — к самому заводу подъедешь... ловко! Эх, кабы не пора мне умирать! Кабы у меня печенки покрепче были... Взял бы я тебя, Аким Андреевич, в управляющие — получи двенадцать тыщ!

— А я пошел бы? — спокойно спросил Шебуев, не изменяя своей позы.

— Н-да-а... ты бы не пошел... хо-хо! Где тебе чужим делом править? Ах ты... сделай милость! Обидный для

меня твой план, Аким Андреевич! Очень обидный... так вышло у нас, что вроде как ты меня дураком обругал... да-а... А я должен чувствовать, что правильно ругаешься...

— Ну так как же? Даете денег, Марк Федорович? — спросил Шебуев, выпрямившись и глядя купцу прямо в глаза.

— Денег-то? Это так нельзя... Это непорядок... так сразу и дай тебе! Надо подумать... Надо очень подумать...

— Да ведь дело правильное!..

— Ну что ж? Твое дело... а деньги мои. Н-да... Так сразу нельзя... «Дай!» — «Изволь!» Нет, этак не ведется...

Шебуев вдруг весело и искренно расхохотался.

— Да ведь дадите же!

Купец чмокнул губами и, как бы сам себе не веря, вскричал:

— А... дам! Ну те к лешему! Дам... живи! Вали! Не могу не помочь умному парню... Стыдно не помочь. Ах ты... Как не дашь? Только ты погоди... я подумаю... для прилику... Ну и прощай... прощай, брат! Уйти от тебя скорее, а то миллион выпросишь — хо-хо!

Чечевицын смеялся, щеки у него вздрагивали, и, встав со скамьи, он как-то нерешительно переступал с ноги на ногу. Но в глазах у него было что-то пораженное, какое-то смятение. Он похлопывал Шебуева по плечу большой пухлой лапой, и глазки его беспокойно бегали по твердому лицу Шебуева.

— Иду... еду на биржу... скоро двенадцать... уж не зову тебя: некогда завтракать-то, — говорил он, усмехаясь, и вдруг как бы против своего желания закончил свою речь: — А... а опасный человек, Яким Андрееч... охо-хо какой! М-много ты нагресишь на земле... ей-богу, правда!

— Ничего, не бойтесь! — сказал Шебуев, спокойно тряхнув головой.

— Да я... не боюсь! Не сын ты мне... не сын... Прощай же!

— До свиданья!

Чечевицын пошел из сада, тяжело передвигая огром-

ные ноги. Корпус его был странно неподвижен и похож на большую черную бочку. А Шебуев снова сел на лавку, крепко провел рукой по лицу и облегченно вздохнул. Но он не стер рукой с лица своего ни озабоченности, ни той неприятной и неприязненной усмешки, которой он проводил купца. Он и теперь с этой же улыбкой разглядывал землю пред собою, низко наклонив голову и не замечая, что по дорожке сада к нему тихо идет Малинин. Он вскинул голову уже тогда, как увидал пред собою ноги врача.

— А! Павел Иванович! — воскликнул он, и выражение его лица тотчас же стало искренно приветливым.

— Экую вы пылицу пустили! — сказал Малинин, пожимая его руку и указывая глазами на разрушаемый дом.

— Уж потерпите! Не водой же поливать этот ковчег ветхозаветный... Куда вы?

— Гуляю... Я уже давно здесь хожу... да вы тут с Чечевицыным сидели...

— Сидел...

Лицо Шебуева снова дрогнуло, и он с ожесточением и злорадно воскликнул:

— Заглотался, подавился, старый волк! Смерть чувствует и — подло трусит... га-адина!.. А я его всё наталкиваю на мысль о ней... И, ей-богу, мне приятно видеть, как он корчится от страха...

Малинин уже сел рядом с ним на скамью, но при этих словах вдруг поднялся и с крайним изумлением на лице взглянул в лицо архитектора.

— Что вы... так смотрите? — спросил Шебуев.

Видя, как слова его подействовали на Малинина, он вдруг осекся, даже смутился, и его злорадно сверкавшие глаза погасли. Он даже улыбался немножко конфузливо, но уже весело.

— Вы меня... — заговорил Малинин медленно, опускаясь на лавку и не сводя с него глаз, — вы страшно удивили меня...

— Уж вижу, вижу... но чем — не понимаю!

— Этой... жестокостью... Послушайте! Значит, вам среди них не легко?

— Какой вы наивный, Павел Иванович! — вздохнул Шебуев.

— Но вы всегда так защищаете их... и я думал — Чечевицын искренно нравится вам...

— Он? В нем есть кое-что... Он лучше других... А все они тем хороши, что жить умеют... звери! Хорошо знают цену жизни... Эх, Павел Иванович! Я сейчас этому Чечевицыну сражение проиграл... Глупо проиграл, знаете... Обидно глупо... да! Нашло на меня что-то... бросился сразу, и... он мне не даст денег, старый чёрт!

Архитектор махнул рукой и замолчал. Малинин смотрел на него с сожалением и упреком.

— Что вы? — спросил архитектор. — Думаете — звереть начинаю? Нет еще... рано еще! Хотя среди них озвереешь... Я вот уже две недели не отдыхал от них... Сегодня вечером иду к Варваре Васильевне... Вы что такой бледный?..

— Не спал ночь...

— Стихи писали?

— Доклад о кладбищах...

— Бедняжка!..

— Потом лег спать... но не спалось. В голове какая-то муть... Лежал, глядя в потолок, и, слушая, как бьется сердце, думал в такт его биению: «Жизнь идет, жизнь идет!» Скучное занятие!

Павел Иванович не спеша достал папиросницу, закурил и, выпустив изо рта клуб дыма, стал следить, как дым колеблется и тает в воздухе.

— Н-да, вы избрали себе невеселую специальность, — сказал Шебуев, ласково поглядывая на его лицо.

— Это вы про санитарию?

— Нет, про мечтания...

В доме, сзади них, что-то с грохотом повалилось: раздались громкие крики, лязг железа, дребезг стекол, и все звуки тучей поплыли над садом.

— О, чёрт... что там? — вскричал Малинин, побледнев и вскакивая со скамьи.

Шебуев взял его за рукав пальто и потянул вниз, с усмешкой говоря:

— Не беспокойтесь... Самое обыкновенное дело... жизнь идет и разрушает старые постройки...

— Вы уверены... никого не задавило? — нервно подергиваясь, спросил врач.

— Уверен, уверен! Вам бы холодненькой водицей полечиться, а?

— Мне и так холодно... жить...

— Тогда влюбитесь... Это согревает...

Малинин мельком взглянул на него и, не сказав ни слова, стал тихо сдувать пепел с папиросы.

— Быть влюбленным — славно! — заговорил Шебуев негромко и глядя куда-то в глубь сада. — Сейчас — это захочется... улучшить себя... прибраться... нарядить душу во всё яркое... захочешь быть лучше всех людей для любимой женщины... всех умнее, всех сильнее... Славно!

— А потом праздничный костюм долой, и — бедная женщина вместо рыцаря увидит перед собой грубого виллана с претензиями владыки...

— Может, и увидит... Это уж ее дело... Захочет она — и праздничный костюм не износится во всю жизнь... Пусть только чинит вовремя, пусть не дает рыцарю обноситься и расстегнуться...

— Вы читали «Без догмата»? — спросил Малинин.

— Читал... Отвратительная книга! Вот где, батенька, гипертрофия интеллекта изображена во всей гнусности...

— Вы шутите? — с изумлением воскликнул врач.

— Нимало.

— Не может быть! Да неужели вам чужда эта тонкость психики, острота чувств, духовная сложность героя?

— И никаких чувств там нет, а есть одни разнузданные умствования бескровного человека.

— Да ведь это вопль всё познавшей души.

— Ого! Это писк трусливой плоти, которая хочет жить, но боится жить...

— Ну, вы сели на своего конька! Я не спорю больше... у меня голова болит!.. — воскликнул Малинин, раздраженно отвертываясь от собеседника.

Тот помолчал несколько секунд и спокойно предложил:

— Пойдемте завтракать?

— Идемте!..— согласился Малинин. А потом почти с удовольствием воскликнул: — Ну, право же, нет ни одного пункта, на котором мы сошлись бы!

— Верно! Но — и пускай не будет, да?

— Н-не знаю...

— Ну, идемте...

— Посидим еще минут пять?

Они взглянули друг на друга, и оба дружно расхохотались.

— А весело мне с вами! — вскричал Шебуев.

Малинин с улыбкой взглянул на него и, помолчав, сказал:

— Ну, пойдете!.. В самом деле хочется есть...

Они встали и, не торопясь, пошли по дорожке сада. Малинин шел, покачиваясь, наклонив голову и глядя себе под ноги, а Шебуев, глубоко вдыхая весенний воздух, поглядывал на врача сбоку и, добродушно улыбаясь, шагал твердо. Шебуеву нравился этот задумчивый и прямой человек, хотя порою его искренность казалась архитектору болезненно вспухшей, никому не нужной и тягостной даже для самого Павла Ивановича... Порою он ловил себя на чувстве жалости к Малинину; иногда его печальные речи представлялись архитектору похожими на теплый пепел. Но в то же время он замечал за Павлом Ивановичем настойчивое желание встать ближе к нему; это было почему-то лестно для Шебуева и усиливало его симпатию к врачу.

— Вы о чем думаете? — дружески спросил он его минуты через две молчания.

— О вас,— с улыбкой ответил Малинин.— Что это вы проиграли Чечевицыну?

— Э, немного... то есть не особенно много... Обидно, что натолкнул его на мысль увеличить капитал... Чёрт знает, зачем мне это понадобилось... Молод еще я... И тороплюсь там, где надо бы поспешать медленно...

Малинин снова задумался, помолчал и, заглянув в лицо Шебуева, ласково заговорил:

— Я... хочу спросить вас... но боюсь, что это неловко.

— Ну, вот еще! Спрашивайте, не стесняясь... В чем дело?

— Говорят... у вас на стройке работает плотник... ваш родной дядя... у которого вы воспитывались? Вы извините...

— В чем это извинить? Работает дядя — и хороший плотник. Будь он грамотен — я б его десятником сделал... А почему он вас интересуется?

Малинин помолчал.

— Почему? Да... мне думается, что это неловко... то есть должно стеснять вас... меня бы стесняло...

— Что же собственно стесняло бы вас? — с искренним удивлением спросил архитектор.

— Да... эта разница положений... Старик — ведь он уже стар? — работает за несколько рублей в месяц... тогда как я... архитектор... зарабатываю сотни...

Шебуев с острым блеском в глазах осмотрел собеседника и серьезно сказал:

— Н-да, при таких чувствах вам для уравнивания с дядюшкой в зарплатке пришлось бы тоже пойти в плотники...

— Зачем же? — задумчиво возразил Павел Иванович. — Можно бы отправить его в деревню, на покой... Дать ему несколько сот...

— А, вон что! — воскликнул Шебуев. — Но я не филантроп и не охотник плодить в деревне кулаков, находя, что их и без моего дядюшки достаточно...

Малинин быстро взглянул на него и смутился.

— Аким Андреевич! — торопливо и мягко заговорил он. — Я, кажется, сделал неловкость? Вы обиделись, да? Ведь вы же знаете... я всегда говорю... вслух то, что не говорят...

— Да вы не беспокойтесь! — искренним тоном воскликнул Шебуев, — разве я вас не понимаю? И если б я обиделся, то не на вас, а за вас. Действительно, обидно видеть людей хороших и честных, когда они ставят себя в зависимость от пустяков. Ведь что такое дядя-плотник? Пустяк!..

— О, что это вы? — тихонько проговорил Малинин.

— Ну да! Пустяк, мелочь! Да разве я учился и работал для того, чтобы устроить беспечальную жизнь моему дядюшке?

Малинин тихонько дотронулся рукой до его плеча и спросил:

— Вы ясно, вполне ясно представляете себе, для чего вы учились и работали?

— Да, ясно, вполне! — твердо ответил архитектор.

— Я так и думал... Это... хорошо, должно быть... А вот мне так становится ужасно скучно и... даже смешно, когда я вспомню, что двенадцать лет учился лишь для того, чтобы потом обнюхивать помойные ямы, колбасные, разные мастерские...

— Слушайте, милейший Поль! Хотите, я вас научу сделать солидное и очень нужное дело? Хотите, ну?

— Господи! Как он вспыхнул!

— Вы вот что: вы обнюхивайте мастерские, обнюхивайте их! И штрафуйте хозяев — беспрестанно штрафуйте, высшей мерой штрафа! Бейте их по карманам сегодня, завтра, всегда! Бейте без пощады, жестоко разоряйте, если можно! А я — зайду с другой стороны! Я подъеду с проектом дешевых жилищ для рабочих... вы понимаете? И ручаюсь вам, что в пять лет рабочие в городе будут жить в прекрасных квартирах! Я таких казарм настрою, что все Западные Европы рты поразевают от зависти... Да еще от хозяев за это благодарность получим... Вы только слушайте меня, вы только действуйте!

Шебуев даже вздрагивал весь от возбуждения, а глаза у него так и сверкали. Санитарный врач смотрел на него с грустью и наконец прервал его речь, тихо и с сожалением сказав:

— Сколько у вас энергии! И как жаль, что вам приходится тратить себя на мелочи... Это ужасно, знаете. Это даже трагично... Вы представьте себе ваше положение с того момента, в который для вас станет ясно, что всю жизнь вы истратили на маленькие полезности и что все они растворились в жизни, но не обогатили ее, не облагородили человека... Как страшно станет вам тогда и как вы пожалеете себя! А силы уже будут подорваны трудом, уже разменяются на устройство театров, скотобоев, бараков... Удовлетворения нет... Захочется что-то сделать, чем-то завершить свою жизнь... но ничего нельзя сделать. Нечем делать!

— Чёрт вас возьми, Малинин! — раздраженно про-
бормотал архитектор, толкая ногой дверь в ресторан. —
Неужели вы не понимаете, что вся эта ваша лирическая
размазня обращается у вас в самовнушение, что вы
гипнотизируете себя своими вздохами?

— Лакеи слушают, — тише! — остановил Малинин
громкое и сердитое ворчание архитектора.

Они поднимались по широкой лестнице ресторана,
и навстречу им сверху лились ручьи густых и тягучих
звуков оркестриона. Октавы и басы гудели однообразно,
и что-то мутное, усталое чувствовалось в их протяжном
реве, медленно колебавшемся в пахучем воздухе высоко-
го и большого зала. Альты и дисканты то нервно вскри-
кивали, заглушая друг друга, то начинали петь какую-
то заунывную, но неясную русскую мелодию. Большой
барабан бухал пессимистическим и роковым звуком,
а маленький судорожно трещал, и в трелях его
чувствовалось что-то лихорадочно торопливое, точно
он стремился как можно больше натрещать и — лоп-
нуть.

— Вот чёртова музыка! — сказал Шебуев, усажива-
ясь за столик под окном. — Терпеть не могу! Точно в этом
чулане компания хороших русских людей сидит и судь-
бы мира решает.... Ей-богу, похоже! Вы вслушайтесь —
вот это Кирмалов ревет — чу! Бум! Это он... А барабан—
это Сурков рассыпается... А эта тоненькая и милая дис-
кантовая дудочка — вы... ха-ха! Ей-богу, вы! И мелодия
ваша — слышите? Душа с богом прощается...

Малинин рассматривал пальмы на окне и тихо сме-
ялся.

— И какого они чёрта играют, эти дурацкие ме-
дяшки? Слушай, дядя! — обратился Шебуев к лакею,
стоявшему у стола, почтительно склонив голову. — Пре-
крати, брат, музыку!

— Никак нельзя-с! — сказал лакей, улыбаясь. —
Публике нравится...

— Скверный вкус у публики... Павел Иванович!
Бифштекс?

— Пожарскую котлету!.. — сказал Малинин и, усев-
шись за стол, задумчиво произнес: — Ужасно люблю
пальмы...

— А мне в ресторанах раки нравятся...— пробормотал Шебуев, просматривая карточку вин.

— В них есть что-то странное и так чуждое нам... нашим печальным березам...

— Вот этого бутылку! — сказал Шебуев лакею, тыкая пальцем в карточку. — Вы что-то насчет эстетики говорите?

— Я — о пальмах...

— Ага! Н-да-с... пальмы — это... красивые цветы...

— Это деревья...

— Ну, хорошо, деревья... Деревья, конечно, лучше... На дереве повеситься можно... А желал бы я видеть русского человека, повешенного на африканской пальме. У меня, знаете, своеобразный эстетический вкус... Вы как думаете, Павел Иванович, Чечевицын даст мне денег?

— Не знаю... Думаю — не даст...

— А я думаю — даст... да! Спрашивать вас о таких вещах — всё равно, как спрашивать соловья, любит ли он олады...

И оба они добродушно улыбнулись друг другу... Но Малинин тотчас же снова стал серьезен, подумал немножко и сказал:

— А замечаете вы, как быстро русские люди, о чем бы они ни говорили, соскакивают на шутку?..

— Они на всё наускакивают и от всего быстро отскакивают. Уж такое у них блохоподобное поведение... А! Этот идет... как его? Чёрт его дери... противная рожа! Нагрешин...

К ним шел высокий человек с черной клинообразной бородкой, одетый в щегольски сшитый мундир судебного ведомства. На ходу он как-то особенно вывертывал ноги и громко шаркал ими о паркет пола. Его длинное лицо любезно улыбалось, и на висках около глаз собрались лучистые морщинки, что придавало ему вид сияющий и счастливый. Прищуривая свои голубые, немножко нахальные глаза, он пожал руку Малинина и вместо приветствия сказал:

— Новость!

И тотчас же, быстрым движением корпуса обернувшись к Шебуеву, повторил:

— Крупная новость!

Затем согнулся, с ловкостью акробата подбросил под себя стул, сел и, упираясь руками в колени, начал говорить, повертывая голову то направо к архитектору, то налево к врачу.

— Траур у Лаптевых кончился — понимаете? Надежда Петровна вступает в общество. Первого мая она устраивает поездку в лес и просила меня пригласить вас, господ! Понимаете? Едут доктор, Скуратов, Ломакин, Редозубов и еще много народу... Будет очень, очень весело! Вы приглашены, господа. Так? Великолепно!

Говорил он быстро, и его глаза, острые, как гвозди, точно царапали всё, на чем останавливались.

— Поблагодарите от меня Надежду Петровну, — сказал Шебуев.

— А вы, Павел Иванович?

— Я... едва ли поеду... Мне не нравятся эти кутежи... да и публика какая-то странная.

— Странная? — спросил Нагрешин. — Почему странная? Люди — всё хорошие... все умеют быть веселыми...

— Я не люблю веселых...

— Ну да, вы — поэт... Луна, томная грусть и прочее... Но поверьте, что иногда и в маленьком кутеже очень много поэзии... А потом — вы подумайте! — ведь теперь около Надежды Петровны разыгрывается, так сказать, турнир, ха-ха! Именно — турнир. Ну да! Состязание женихов! Ведь не могут же люди остаться такими, как всегда, около девушки, у которой четыре миллиона приданого?! Каждый непременно сочтет необходимым подтянуться, выставить свои достоинства во всем их блеске, каждый будет стараться обратить на себя внимание Надежды Петровны... Что это будет! Боже мой! Это будет замечательно... а? Борьба!

— Вы готовы? — спросил Шебуев, с усмешкой разглядывая Нагрешина.

— Я? Я готов, да! Вы думаете, я буду рисоваться, буду говорить благородные слова, вроде того, что, мол, четыре миллиона — пустяки и что... ну, я не знаю, как и что там еще можно сказать по поводу естественного желания человека иметь четыре миллиона рублей... Я ничего такого не скажу... За четыре миллиона я вам

женюсь на сорока старухах, а не то что на молодой, здоровой девушке... хотя она и... неинтересна, правду говоря...

— Это хорошо, что вы так откровенны... — заметил Шебуев.

— Да-с, я откровенен, — воскликнул Нагрешин с вызовом в глазах. — Я прямо говорю: четыре миллиона — это огромная вещь! Это — силища...

— Не отрицаю...

— Ага? Вот Павел Иванович, — он не... он действительно равнодушен... Ему это недоступно... А вы — вы не можете быть равнодушным, хотя и кажетесь... да-с! Вы силу денег знаете.

— Знаю... и вижу... — сказал Шебуев.

— И видите? Это намек на мое... возбуждение... понимаю! Но пускай намек! Пускай...

Нагрешин в самом деле был очень возбужден. Лицо у него покраснело, руки вздрагивали, он беспокойно вертелся на стуле, и на лбу у него даже пот выступил.

— Но вы, Аким Андреевич, напрасно намекаете! Вы думаете — меня возбуждает что?.. корыстолюбие? Ошибаетесь! Четыре миллиона не могут возбуждать корыстолюбия! да-с! Не могут-с! Корыстолюбие возбуждают тысячи, а не миллионы! Миллион — сила благородная... это — идеал, если вы хотите!

— Иван Иванович! — укоризненно сказал Малинин, с сожалением посмотрев в лицо Нагрешину. — Вы ведь клевете на себя... ну, разве вы так думаете о деньгах?

— Вы... вы... — обернувшись к нему, пониженным голосом заговорил Нагрешин, — вы не понимаете! Тут, поймите, не деньги просто, а миллионы... слышите? И даже за один из них, я, Иван Иванов Нагрешин, сын дьячка, простил бы людям все унижения, испытанные мною в юности моей, студенческие голодовки, всю эту мерзость, которую я пережил... Она надорвала меня... изломала... и — я ведь знаю! — я очень... неважный человек!.. Но — дайте мне миллион! Я всё и всем прощу, я даже полюблю людей, искренно пожелаю им добра и даже — буду пытаться помогать им жить. Буду, да-с! И — верьте! — миллион может переродить человека — может!

Малинин отрицательно покачал головой и тихо, но убежденно сказал:

— Никогда и ничто материальное не может изменить человека в лучшую сторону...

— Ах, идеалы! — воскликнул Нагрешин и так сморщил лицо, точно у него вдруг заболели зубы. Он тоже начал качать головой, тоскливо глядя на Малинина. — Всё идеалы... небеса... Но ведь в небесах только торжественно и чудно, а больше ничего нет, на земле же всегда творится чёрт знает что! Батюшка вы мой! Идеалы — это хорошо, но и жирные щи с говядиной человеку необходимы... И кто такие щи в продолжение четверти века даже и по праздникам не едал, для того они — тоже идеальные щи!

— Это цинизм, — сказал Малинин и, отворотившись к окну, стал смотреть на улицу.

— Цинизм? Очень может быть... Пускай его, коли цинизм! А я все-таки буду говорить, что одной моральной силой ничего в жизни мы не разрушим и ничего не создадим!

— Кто это — мы? — спросил Павел Иванович, не оборачиваясь к нему.

— Интеллигенция-с! А если бы вооружиться нам деньгами...

— Аким Андреевич! — сказал Малинин, встав со стула и строго глядя на Шебуева. — Вы слышите? Это ваша мысль!

— Почти, — сказал Шебуев спокойно, выдерживая возмущенный взгляд Малинина.

Он ел свой бифштекс, а лицо у него было равнодушно, и, казалось, он не слушал разговора. Но в глазах его то и дело вспыхивали какие-то искорки, и во внимании, с которым он разрезал мясо, было слишком много озабоченности.

— Почти? — переспросил Малинин, и уже строгое выражение его лица изменилось в умоляющее. — Но вы видите, какая это опасная мысль?

— Вижу...

— Это не опасная, это ценная, здоровая мысль! — с жаром заговорил Нагрешин. — Подумайте, кто мы? У крестьян есть мир, у мещан — управа, у купцов, у

дворян — у всех классов есть нечто... а у нас намерения, идеалы и прочее и прочее... невесомое и нереальное... И все мы — какие-то выдуманные люди. А вооружись мы тем же оружием, что и враг наш...

— Котлета-то у вас простыла, Павел Иванович! — вдруг сказал Шебуев, не поднимая глаз от тарелки. Голос у него звучал удивительно равнодушно, даже обидно равнодушно.

Малинин удивленно взглянул на него и взялся за нож и вилку. А Нагрешина эти простые слова точно сшибли с какой-то высоты. Он схватился за бородку и, крутя ее, начал бормотать:

— Да-с... Вот как... Так вы, господа, приглашены...

Через несколько минут он простился и ушел, так же шаркая ногами по полу, но уже не такой оживленный и сияющий.

— Боже мой! Что он говорил! — с отвращением воскликнул Малинин.

— Говорил не красно...

— Только?

— Мм... Видите ли что, непорочный Павел Иванович! — не переставая есть, спокойно заговорил Шебуев. — У него имеется крупное смягчающее вину обстоятельство... впрочем, общее всем разночинцам. Парнишка — слабый, худого питания, в организме недостаток всяких здоровых соков. Поступает в гимназию... Курточка прорвана, постоянно голоден, товарищи смеются и поколачивают его... Дома — теснота и грязь... Восемь лет сидит под прессом классицизма. Кончил гимназию. Университет... Голод, холод, урочишки, униженьишки... Парнишка, повторяю, слабый. Люди ходят по улицам в крепких калошах, в теплых пальто, бывают в театрах, валандаются с девицами, даже влюбляются... а у него — всё удовольствие в том, чтобы поесть досыта... Эх, Павел Иванович, какое иногда большое... даже сладострастное удовольствие может испытать человек, поглощая вареную колбасу с черным хлебом!.. Такие наголодавшиеся люди, вступая в жизнь, вносят с собой неутолимую алчность к ее благам... но некоторые из них остаются аскетами до конца дней. Аскетизм — тоже уродство и болезнь, а потому я не знаю, кто лучше — аскет или На-

грешин... Заметьте вот еще что: иные жаждут миллиона не ради того, чтобы свинничать, а лишь желают им, как фиговым листом, прикрыть наготу своей души. Душа у них — голая, ограбленная жизнью, нет в ней ни надежд, ни мечтаний — ничего нет! А желание чем-то быть, что-то представлять собою — осталось... И вот человек пытается прикрыть наготу души своей обаянием денег... Этот Нагрешин... слов нет — довольно противная фигура... Но — вы слышали? — он надеется, что миллион очеловечит его...

— Не знаю — так ли это? — сказал Малинин, недоверчиво поглядывая на архитектора. — А Нагрешин... всем известно, что он жил и, кажется, еще живет на содержании у старухи Дятловой...

— Такие, как он, и на это способны... — заметил Шебуев, прихлебывая вино.

— Аким Андреевич! Вы не возмущаетесь? — нервно отталкивая от себя тарелку с недоеденной котлетой, подавленным голосом спросил Малинин.

Архитектор прищурил один глаз и, подняв стакан с вином на свет, внимательно посмотрел на него открытым глазом.

— Пожалуй... нет, не возмущаюсь... Я, надо вам сказать, полагаю так, что если мы станем уделять хорошим людям побольше внимания, а дурным поменьше, то от этого и те и другие сильно выиграют. Хорошим людям будет легче жить, а дурным тяжелее. Мне всё думается, что дурные люди еще хуже становятся, когда на них обращают внимание. «А! ты меня видишь — значит, я величина!» — думает мерзавец и надувается, рисуется, капризничает. Надо бы помнить, что все дурные люди ужасно самолюбивы. Не троньте, не замечайте его, и он лопнет, исчезнет, ибо без внимания жить не может. Вот вы дотронулись до Нагрешина, а он вздулся свыше меры... и уж, верно, наврал на себя, зарвался...

— Это называется «индифферентизм», — уныло сказал Малинин. Его, видимо, угнетало спокойствие собеседника.

— Ага! Вот как это называется. А я по части номенклатуры слаб... и до сей поры не знал имени моего порока...

— Вы относитесь ко мне... без достаточного уважения, Аким Андреевич! — опустив голову, тихо сказал Малинин. — За что? Ведь я только понять хочу вас... я воздерживаюсь судить. Мне многое не нравится, многое пугает меня... вы такой... духовно пестрый человек. Слишком резко переплелось в душе вашей черное и белое... слишком запутано всё! Но и то и другое... привлекает меня к вам... Я хочу разобраться... хочу понять. А вы — отталкиваете... Разве я так груб?

Шебуев быстро схватил его руку и крепко сжал ее. Глаза у него вспыхнули, и лицо так странно изменилось, точно с него маска упала. Это было лицо человека бесстрашно искреннего.

— Отталкивать вас я не хочу, — вы ошибаетесь! — негромко заговорил он, и на скулах у него вспыхнули красные пятна. — Я желаю близости с вами... она мне приятна и нужна. Вас многое пугает во мне? Я понимаю это... я сам порой чего-то боюсь в себе... Вы парень честный... как хорошее зеркало... ваше отношение ко мне я оценил, поверьте!

— Пустите руку! — тихо и болезненно крикнул Малинин.

Он был бледен, губы у него вздрагивали, а когда Шебуев выпустил его руку из своей, он поднял ее и, помахивая ею в воздухе, сказал:

— Ка-ак вы стиснули...

— Простите! — глухо молвил Шебуев, не глядя на него.

— Это вы должны извинить мне... — смущенно улыбаясь, говорил Малинин, разглядывая покрасневшую руку. — Я вам испортил хорошую минуту... да?

— Ничего!.. Она воротится... Однако уже два часа... Мне надо сходить на стройку и к Суркову... Вы вечером у Варвары Васильевны?

— Да, непременно...

— Значит — увидимся... Давайте, я пожму вам левую руку. До свиданья!

— Вы извините меня? — беспокойно спросил Малинин.

— Э, боже мой! Ну конечно! И что случилось? Экий вы мнительный...

На улице Шебуев почувствовал, что этот тихий крик «Пустите руку!» звучит в его памяти, звучит и, проникая всё глубже в душу, будит в ней уже знакомое ему ощущение одиночества. Раньше ощущение это не тяготило его, а, напротив, только увеличивало его бодрость и уверенность в себе: он даже гордился перед собой тем, что одинок. Но теперь каждый раз, когда это чувство являлось, вместе с ним в душе Шебуева возникало злое пренебрежение к людям. Раньше он раздражал людей, не желая этого, теперь он к этому стремился, хотя и сдерживал себя. Он знал, что в городе на него смотрят как на человека с гибкой моралью, как на узкого практика, склонного к наживе. Это его обижало, и бывали минуты, когда ему трудно было скрывать в себе обиду. Он уже замечал за собою, что иногда, в спорах, он доводил свои взгляды до крайностей, не свойственных им и противных его чувству порядочности; он видел, что делает это намеренно, для того, чтоб раздражать людей, обидеть их. Он понимал, что усиливает подозрения против себя, укрепляет в интеллигентных людях отношение к нему как к человеку карьеры.

И он видел, как к тому, что он считал своей правдой, что вынес из непосредственного знакомства с жизнью и чем свято дорожил, уже примешивается нечто постороннее, чуждое ему, коверкающее его душевный строй. В этом он считал виновными людей, — это они своим недоверием к его искренности, своей сухостью в обращении с ним сеют в душе его темные зерна. В кружке Варвары Васильевны только она и Малинин относились внимательно и с искренним интересом к нему и его деятельности, хотя в этом внимании и чувствовалось что-то близкое к опеке. Хребтов, видимо, сторонился от него, Кирмалов рычал и тоже смотрел с угрюмым недоверием, а доктор уже не мог скрыть явно враждебного чувства.

С некоторого времени он заметил за собою, что ему хочется видеть в спокойных глазах Варвары Васильевны еще больше ласкового внимания к нему. Но, заметив это, он тут же сказал себе: «Рано...», хотя с этой поры стал чаще бывать у Любимовой.

Теперь, шагая по улице, он взвешивал в уме отношение публики к нему и свое к ней, пытаясь

определить — кто кому больше портит крови? Он чувствовал желание сказать: «Я больше!..»

Шел он к Суркову, и его мысль всё чаще останавливалась на этом человеке. Неугомонная живость, смелость и горячий задор юноши — всё это нравилось Шебуеву, и в то же время он замечал, что с некоторого времени Сурков придирается к нему меньше, чем к другим, и не говорит таких резких дерзостей, как раньше. Это очень усиливало интерес Шебуева к «сущему декаденту», как звала юношу Татьяна Николаевна.

Остановясь пред крыльцом маленького домика в три окна с зелеными ставнями, Шебуев дернул ручку звонка и посмотрел на дом. В маленьком палисаднике перед его окнами густо разрослись сирень и акация; на крыше торчали три шеста со скворешницами. В фасаде дома, окрашенном в коричневую краску, было что-то старчески приветливое и ласковое. Крыльцо, под деревянным навесом, гостеприимно подвинулось к самому тротуару тихой улицы, со множеством садов, а сзади домика росли огромные, старые липы, и ветви их осеняли крышу.

«Гнездо не по птице», — подумал Шебуев.

За дверью раздались неторопливые и твердые шаги. Щелкнул замок, и пред Шебуевым встал высокий старик с длинной белой бородой и большими неподвижными глазами.

— Вам кого? — глухо спросил он, глядя через плечо Шебуева на улицу. А выслушав ответ гостя, он прежде отхаркнулся и высунул голову на улицу и, плюнув, сказал: — Идите!

— Гурий Николаевич! Кто это? — раздался откуда-то сверху голос Суркова.

— Мужчина... — ответил старик.

Шебуев поднял глаза кверху и увидел в квадратном отверстии на потолке крыльца щетинистую голову хозяина дома.

— Здравствуйте, Владимир Ильич!

— А-а! Прекрасно! Идите в комнату, Аким Андреевич, — я сейчас...

Шебуев вошел в маленькую прихожую, половину которой занимал какой-то зеленый сундук, сбросил

пальто и, видя две двери, спросил старика, стоящего сзади него, спрятав руки за спину:

— Куда идти?

— Куда хотите,— сказал старик, не двигаясь с места.

Архитектор шагнул в дверь направо и очутился в небольшой и светлой комнате, в которой было тесно от множества мебели, но уютно. У одной из стен стоял широкий диван, обитый черной матовой клеенкой, а пред диваном — большой и тяжелый стол, заваленный картами и книгами. У другой стены возвышался до потолка старинный книжный шкаф. В простенках между окон висели какие-то ящики, полные медалей. В углу, около двери в прихожую, зияла черная пасть камина, и по всей комнате была разбросана мягкая мебель. Шебуев окинул глазами комнату и взял за спинку кресло, намереваясь сесть.

— Это не трогайте: у него нога сломана,— спокойно предупредил его старик, смотревший из прихожей.

— Так вы его вынесли бы! — посоветовал Шебуев, с улыбкой взглянув на старика.

— А куда?

— Ну, я уж не знаю.

— На чердак разве? — предложил старик.

— Хоть на чердак... а починить нельзя?

— Можно. Почему нельзя?

— Что ж вы не почините?

Старик взглянул на Шебуева и, отвернувшись, спокойно сказал:

— Я не столяр...

— Ага! — вскричал Сурков, проскользнув в комнату мимо старика. — Вы с Гурием Николаевичем беседуете? Душеполезное занятие... Гурий Николаевич, достопочтенный мудрец! Дайте нам чаю...

— Да они, может, еще не хотят? — сказал Гурий Николаевич, кивая головой на Шебуева.

— Хотят, хотят! Уж вы, пожалуйста, похлопочите...

— Хорошо,— согласился старик и ушел.

— Что это у вас... — начал было Шебуев.

— Это? Это — премудрый старикан! Это — самый умный человек в России, если хотите знать! По уму он

даже и не русский: русские люди очень умными крайне редко бывают... они чаще талантливы, чем умны... Хотите, я вам расскажу несколько черт из жизни Гурия Николаевича Потютюшкина? Фамилия — единственный его недостаток, но в России нет звучных и красивых фамилий, и лучший русский поэт назывался Пушкин, что прилично разве только для бомбардира, а не для поэта... Вы извините, что я сразу так много говорю, — четыре дня не выходил из дома и говорил только с Гурием Николаевичем. С ним говорить чрезвычайно поучительно и поэтому... ужасно скучно!

Сурков оживленно метался по комнате, отталкивая ногами и руками мебель, наконец подскочил к столу, с усилием приподнял его за край, — карты и книги поехали со стола и упали частью на диван, частью на пол.

— Это вы зачем? — спросил Шебуев.

— А сейчас старикан чаю принесет... поставить некуда... Вы столкните с дивана всю эту чепуху... и усаживайтесь на ее место... Я — тоже... и мы будем беседовать. Знаете, чем я сейчас занимался? Делал скворешник...

Одетый в голубую шелковую рубаху и в курточку поверх нее, Сурков казался еще моложе, чем был. Он поглядывал на гостя приветливо, с любопытством и, видимо, был доволен, что Шебуев пришел.

— Нет, я не умею водворять порядок! — вскричал он, перестав толкать мебель и бросаясь на диван. — Я рад, что вы пришли ко мне, Аким Андреевич! Это значит...

— Я давно хотел побывать у вас, — сказал Шебуев.

— А! вы не хотите знать, что значит для меня ваш приход? Ну, всё равно! Вы, наверное, правы!.. Но я боюсь, что вы пришли по делу, а?

— Отчасти — по делу, но больше — так себе, просто, — открыто глядя на него сказал Шебуев.

— Ах, это жаль! — недовольно сморщив лицо, воскликнул Сурков. — Но говорите, ради бога, сначала о деле, а потом уж так себе... В чем дело?

— Можно быть кратким?

— Необходимо!

— Хорошо!.. Как вы думаете поступить с деньгами, которые вам оставил покойник-отец?

— Фу-у! Я так и знал! — тяжело вздохнув, сказал Сурков, и на лице у него выразилось искреннее уныние. — С той поры, как отец умер, я, знаете, начал чувствовать себя раздетым донага и вымазанным медом... серьезно! Мне кажется, что по телу у меня ползают мухи, пчелы и разные другие насекомые... и люди все ко мне прилипают, желая меня облизать... и барышни смотрят на меня жадными глазами, точно я не человек уже, а какая-то конфекта, и они хотят меня съесть... Зубы у них стали острые... я их боюсь и — еду в Индию! Вы видите — книги и карты? Это английские карты, их тут на сорок рублей... Я три дня изучал их... потому что — еду в Индию. Вы думаете — я шучу? Нет, я серьезен, как принц уэльский. Прощайте! Я вам не дам ни копейки!

Сурков замолчал, с торжеством на лице взглянул на гостя и, видя, что он спокойно улыбается, спросил, нахмурившись:

— Вы, кажется, хотите показать, что ожидали от меня чего-нибудь в этом роде и не удивлены?

— Конечно, ожидал! — смеясь, воскликнул Шебуев. — А вы, кажется, думаете, что я собирался просить у вас денег для себя?

— Нет, я этого не думал! Никто не просит денег для себя: все желают иметь их для дела... Даже Кирмалов берет у меня деньги для каких-то земных ангелов, случайно попавших в проститутки... Покупает им на мои деньги машины, мужей и еще чего-то... Мужья деньги пропивают, бьют Егора палкой по голове... а он является ко мне и ругает меня буржуем, советует сделаться дисконтером, открыть кассу ссуд и — чёрт знает что еще! Нет, я везу деньги в Индию!..

— Это хорошо, если вы серьезно решили, — сказал Шебуев, с удовольствием замечая, что юноша у себя дома держится лучше, чем при людях, и гораздо меньше остроумничает.

— Почему хорошо? — недоверчиво спросил Сурков.

— А потому, что вам полезно было бы поехать куда-нибудь.

— Да не в Индию же! — неожиданно и с искренним огорчением воскликнул Сурков.

Шебуев расхохотался. Юноша посмотрел на него и тоже начал смеяться, смущенно разглядывая свои ногти.

— Мне хочется ехать в Париж...— заговорил он, улыбаясь.— А Индия меня несколько не занимает... Я не люблю браминов, холеру, философию, жару и всё индусское...

— Поезжайте в Париж...

— Не поеду...

— Почему? Бойтесь француженок?

— Нет, я боюсь, что для человека вредно делать только то, что ему нравится... Мне хочется уметь побеждать себя...

Шебуев быстро взглянул на него, — лицо у Суркова было раздраженное, глаза смотрели тоскливо и пальцы на руках сцепились как-то слишком крепко.

«Эге-е! Вот те и преданный холоп истинной свободы ума!» — воскликнул про себя Шебуев.

— Да, мне этого очень хочется! — сказал Сурков.— Вы что же не удивляетесь?

— Нечему...

— Да?

— А чему бы?

— Я думаю... это не совсем похоже на меня?

— Я слишком мало знаю вас для того, чтоб ответить на такой вопрос,— уклончиво ответил Шебуев.

— Однако бросим это! Вам на что нужны мои деньги?

— Мне не нужны... Я хотел вам предложить — не купите ли вы книжный магазин?

— На кой мне чёрт книжный магазин?

— Капитал поместите...

— Чепуха! Это Хребтову впору... а не мне.

— Хребтову не разрешат...

— А вы тут при чем?

— Я? Я думал так: ваши деньги дают вам процентов пять, не больше? Вложив их в магазин, вы бы удвоили ваш доход... а магазин сдали бы Хребтову в полное его ведение... Человек он солидный, дело знает. С настоящим владельцем ему трудно ладить. Вас всё это ничуть

не стеснило бы... вы совершенно свободны, как и теперь. Получаете доход — и больше ничего!

— А вы? — вновь спросил Сурков, внимательно слушая гостя.

— Что я?

— Где же вы?

— Рядом с вами, на диване сижу...

— Это неостроумно. Нет, в чем тут ваш интерес?

— Хороший книжный магазин — дело весьма интересное...

Сурков с недоумением посмотрел на него и, пожав плечами, воскликнул:

— Чёрт вас знает, чего вы хотите! Но только я ни за что, никогда не поверю, чтоб вам... чтоб вы могли находить удовлетворение во всех этих ваших... деятельности! Вы должны быть умнее.

— Спасибо! Но, право же, я — человек практики, маленький человек... деловой человек. Надеюсь со временем убедить вас в этом...

— Не верю я вам! — сказал Сурков, отрицательно покачав головой.

— Лестное недоверие, знаете ли...

— Денег на магазин не дам...

— Ага... жаль!

— Будто бы это так безразлично для вас?

— Совсем нет. Я сказал — жаль. Мне было бы очень приятно, если бы вы дали денег. Книжный магазин в руках интеллигентного человека...

— Слушайте, Аким Андреевич! Не притворяйтесь! Ведь сразу видно, что вы умнее книжного магазина! Ведь вы вот не говорите мне убедительных речей на тему о том, что и я тоже должен внести каплю меда в улей культурной работы — или как это говорится?

— Не говорю. И не буду говорить...

— Почему?

— Вы тогда и в самом деле не дадите денег...

Сурков вскочил с дивана и почти гневно закричал:

— А теперь дам, вы думаете? Ни за что! Нет! Еду в Индию! Гурий Николаевич! — обратился он к старику, вошедшему в комнату с подносом. — Мы с вами едем в Индию...

— Хорошо, — сказал старик, ставя поднос на стол. — Укладывать белье?..

— Н-нет еще... А вот книги и карты надо бы убрать с пола... Впрочем, я сам...

Сурков опустился на колени и, поднимая книги, стал подавать их старику. Старик смотрел на него неподвижными глазами, принимал из его рук тяжелые томы и складывал их у себя на левой согнутой руке. Когда из них на его руке образовалась порядочная стопа, он сказал хозяину:

— Будет!

Повернулся и ушел.

— Странный у вас слуга! — заметил архитектор.

Сурков прыгнул на диван, уселся на нем с ногами и, наклонясь к Шебуеву, тихо заговорил:

— Заметили? Я говорю: «Едем в Индию!» Он совершенно равнодушно отвечает: «Хорошо!» Как это вам нравится? Вы знаете, с ним, чёрт его дери, пожалуй, в самом деле в Индию уедешь, а? Уложит чемоданы, придет и скажет: «Готово, едемте!» Ведь я тогда поеду... это очень возможно!

— Где вы его взяли? — смеясь, спросил Шебуев.

— На пожаре. Горел здесь в улице деревянный дом. Разумеется, собралась толпа зрителей, и впереди всех стоит, заложив руки за спину, высокий старик, с седой бородой. Его толкают полицейские, толкает публика, пожарные брызгают водой на него. А он, освещенный красным огнем, стоит, как монумент, и, не мигая, смотрит странными глазами. Я тоже смотрел на него, и мне ужасно хотелось понять — о чем думает старик? Вдруг, знаете, несколько бревен с верху дома отрываются и летят вниз. Публика шарахнулась прочь, но улица поката, и горящие бревна катятся по земле за ней. А старик повернулся к ним задом и, не торопясь, идет прочь от них. Головня вот-вот ударит его по ногам. Ему кричат: «Беги! беги, старик!» А он себе идет потихоньку и руки всё за спиной держит... Я смотрю в лицо его — ни страха, ни ужаса! Головня, разгораясь от движения по земле, настигает его... Я подскочил к нему, схватил за ворот и потащил за собой. Оттащил в сторону, кричу: «Какого вы чёрта не бежали?» И вдруг он,

с великолепным таким видом, говорит мне: «Я — стар, чтобы бегать для вашей потехи! А что вы меня позорно за шиворот влекли, так этот ваш поступок я предложу рассмотреть господину мировому судье нашего участка. Мы, говорит, с вами в одном участке живем, и я вас знаю...» Вот чёрт! Ужасно он мне понравился... Ну, и познакомился я с ним... Интересный человек! Совершенно ко всему равнодушен и обо всем так здраво судит, что, я вам скажу, — удивительно! Прожив с женой, — женат был дважды, — прожив со второй женой четыре года, он десять лет тому назад разошелся с ней, и как? Великолепие! Усаживает ее против себя и говорит: «Так как я взял тебя замуж для взаимного нашего удовольствия, а ты уже завела себе жандарма, то, значит, тебе нет надобности жить со мной, да и мне после жандарма ты совсем неприятна». Хорошо, а? Отдал ей половину всего, что имел, и выгнал вон... Это даже красиво, а?

Сурков рассказывал очень оживленно, но в этом оживлении его гость чувствовал что-то механическое, даже искусственное. Глаза юноши против обыкновения не прищуривались и не метали веселых и задорных искр. Широко раскрытые, они смотрели устало, невесело и как бы безмолвно спрашивали о чем-то.

— Да, это умно, — сказал Шебуев, когда Сурков кончил рассказ и вопросительно взглянул на него.

— Это просто и красиво! — с настойчивостью произнес Сурков и начал пить остывший чай медленными глотками. Выпив стакан, он шумно швырнул его на блюдце и вдруг спросил Шебуева:

— Вам скучно?

— Почему? Нимало!

— Наверное, скучно... Вы ведь уж, конечно, заметили, что я... поблек?

— У вас действительно настроение неважное... кажется...

— А нравится вам равнодушный старик с неподвижными глазами? Старик, который ничему не удивляется, ничто его не волнует... он всё понимает и ничего не ждет... Нравится?

— Ну, нет...

— Мне нравится... Я завидую старику... Быть рав-

подушным может только животное или мудрец... Старик — не животное...

— Сколько вам лет? — спросил Шебуев.

— Двадцать шесть... дальше?

— Рано вам начинают нравиться старики...

— «Как вам не стыдно и так далее в такие годы, с вашим образованием и прочее... Еще работы в жизни много и тому подобное!..» Я знаю всё, что вы можете мне сказать, Аким Андреевич.

Сурков вскочил с дивана, прошелся по комнате и, остановившись перед Шебуевым, заговорил, весь вспыхнув:

— Когда российский порядочный человек начинает развивать свое мирозерцание — его речь имеет вкус деревянного масла с мухами. Если вы не знаете, до какой степени это противно — возьмите когда-нибудь летом лампадку от образов и загляните в нее — вкус масла, настоящего на мухах, прекрасно познается зрением. Деревянное масло — это порядочность, мухи — убеждения либеральных людей. Вот почему русские порядочные люди скверно пахнут... Но до сего дня я не слышал от вас этого запаха... А... вы знаете, что я начал водку пить?

Закончив свою речь этим неожиданным вопросом, Сурков отвернулся от гостя и стал прохаживаться по комнате, сунув руки в карманы и высоко вздернув голову. Шебуев был несколько оглушен его выходкой и заговорил не сразу.

— Я, по совести сказать, давно и внимательно присматриваюсь к вам, Владимир Ильич, — с недоумением разводя длинными руками, начал он, — но не могу понять источника вашего... ну, озлобления, что ли?

— Да, я злюсь! — вскричал Сурков. — Я злюсь, потому что меня тоже считают порядочным человеком!

Он снова остановился пред гостем и, наклонясь к нему, со злым блеском в глазах, раздельно проговорил:

— Порядочный человек?! Слышите, как это звучит? Ведь оскорбительно! Ведь в самом слове «порядочный» чувствуется снисходительное презрение...

Сурков схватил кресло, с шумом пододвинул его к себе, сел и, наклонясь к лицу Шебуева, продолжал:

— Вы... вы вряд ли понимаете меня! Вы за что-то уцепились и живете уверенно... Куда вы идете — чёрт вас знает! Я знаю всё, что вы делаете... и прекрасно вижу, что вы умнее всего, что делаете. Откровенно говоря... я вам ни крошечки не верю! Извините! Чем богат...

— Ничего! — спокойно сказал Шебуев. — Вы не стесняйтесь... Я ведь знаю ваше отношение ко мне...

— Знаете? Гм... ну, всё равно! Между нами нет общего — вы строите, я хотел бы разрушать... но мы оба не принадлежим к числу порядочных людей и можем говорить откровенно. Вы, я говорю, живете уверенно... хотя вы не узкий человек... А вот я — никак не могу начать жить! То я изучаю карту Индии — на кой мне чёрт Индия, скажите пожалуйста? То я делаю скворешники, а Гурий Николаевич красит их. Скворешники тоже не нужны, ибо интеллигентный человек должен заботиться об устройстве гнезд для людей, а не для скворцов... Шляюсь я с Егором по разным трущобам и там испытываю ужас за человека. Егорка очень доволен этим и даже пророчит мне, что из меня со временем выйдет... порядочный человек! А я именно потому не могу начать жить, что не хочу выродиться в порядочного человека... Я боюсь превратиться в порядочного человека, — вы понимаете? Все порядочные люди — это идейные мещане... Порядочность — мещанский идеал. Порядочный человек образуется из платонического почтения к великим реформам и скрытой боязни будочника... Порядочный человек обязан склеивать себе убеждения из передовых статей либеральных газет, и хотя такие убеждения не отличаются прочностью, но шелестят, как шелковые... Когда, полуголодный и оборванный, он жил среди товарищей-студентов, он целыми днями жрал книжки, и по ночам его кусали думы о воплощении в жизнь разных высоких идеалов. Но уже на пятом курсе его товарищи стали казаться ему идеалистами и начали нравиться англичане. Самая культурная нация на земле! Только они одни неуклонно, постепенно, шаг за шагом, улучшают жизнь. Все они едят ростбиф, пудинги, пьют джин и виски, и каждое поколение всё увеличивает порции. Примерная нация! Сбросив с себя мундир студента, он из уважения к

Англии шьет себе клетчатый костюм и идет на службу в одно из учреждений, созданных эпохой великих реформ, причем присваивает себе звание скромного культурного работника. Когда он судит кого-нибудь, то обнаруживает прекрасные познания в вопросах морали, но если возьмет у вас книгу для прочтения, то уж не возвратит ее никогда! о, никогда! Он твердо знает, что позорно бить прислугу по морде при свидетелях и безнравственно обманывать жену более двух раз в год. Он вешает у себя в квартире портрет любимого писателя, которого читал однажды, еще будучи мальчиком, тыкает в него пальцем, говоря с умилением: «Это мой учитель!» — отчего портрет коробится и линяет... Эпоху великих реформ он уважает искренно потому, что без великих реформ ему на земле было бы совершенно нечего делать, Великие реформы увеличили культурную массу, то есть создали клиентов и пациентов, а также и учреждения, в которых порядочные люди за известный оклад производят культурную работу. Преобладающее настроение порядочного человека скромно-кислое... но в пьяном виде он непременно вспоминает свою *alma mater* и со слезами кричит: «*Gaudeamus igitur*», после чего обнаруживает желание дать кому-нибудь в зубы, но редко позволяет себе делать это, а обыкновенно едет к девочкам... Он не прочь получить небольшую конституцию или хотя бы маленький орден. Всю жизнь хвалит англичан за их умение быть культурными и искренно любит ростбиф... В голове у него царит такой строгий порядок, что хочется сунуть туда палку и перемешать мозги... Но будет! Я устал, вы — тоже...

Сурков резким движением отвернулся от Шебуева и, скорчившись в кресле, нервно застучал пальцами по его ручке.

Шебуев задумчиво молчал. В окна комнаты смотрело вечернее солнце. Было тихо и грустно.

— Соблаговолите изречь что-нибудь... — проговорил Сурков, не оборачиваясь к гостю.

— Что я скажу? — спросил сам себя Шебуев и, помолчав, хлопнул себя по коленям ладонями длинных рук. — Нарисованный вами порядочный человек... букашка иротивная... это так... Но у меня нет вашей не-

примиримости... нет этой остроты чувства... Вы, кажется, смотрите на жизнь эстетически... я — проще и грубее... Человек я черный.

— Вы не... откровенный человек...

— А может быть...

Сурков вдруг повернулся к нему и раздражительно крикнул:

— С какой это чёртовой высоты вы смотрите на людей? Откуда у вас эта снисходительная нота в голосе?

— Что вы? — удивленно спросил его Шебуев, поднимаясь с кресла.

— Я? Действительно, я... кричу... Вы извините, однако... Скучно, как во чреве китовом... Вокруг какая-то теплая слизь... Вы не сердитесь, пожалуйста... у меня нервы, должно быть...

Он стоял перед Шебуевым, опустив голову, и в его позе было что-то очень трогательное и милое.

— Я не сержусь... Меня просто нервозность ваша поразила... Ну, надо идти...

— Пойдемте гулять?..

— Пойдемте!

— Вот хорошо... Я сейчас оденусь...

Он уже сделал движение, чтоб уйти, но Шебуев взял его руку и, потянув к себе, с ласковой улыбкой спросил:

— Так деньги-то вы дадите?

Сурков взглянул на него с недоумением и вдруг расхохотался.

— Нет, вы молодчина! Ей-богу!..

— Давайте-ка! Что дурить? Дело хорошее...

— Ах, чёрт возьми! Я дам... дам... Ведь вы, впрочем, знали, что дам?

— Не совсем... не был уверен...

— Ну что уж скромничать! Так я дам деньги... Но — я даю не потому, что вы убедили меня в пользе дела, и вообще не из каких-либо высших соображений, а только потому, что это мне выгодно...

— Я вас не убеждал, — спокойно сказал Шебуев, — вы сами дали...

— Сам?

— Ну да! Я предложил — вы согласились...

— Чёрт вас возьми! А ведь верно! Нет, вы... человек любопытный!

Смеясь, он ушел одеваться. А Шебуев, оставшись один в комнате, заложил руки за спину и, подойдя к ящикам с медалями, висевшим на стене, стал их рассматривать, тихо и спокойно посвистывая. Один из ящиков висел криво, — он его поправил и, отступив на шаг, взглянул — верно ли? Оказалось, что теперь ящик висит прямо. Тогда архитектор снова шагнул вперед и снова начал свистеть и рассматривать медали.

— А! — воскликнул Владимир Ильич, являясь в дверях. — Заинтересовались жетонами? Мой папёнка лет десять собирал сии знаки. Я называю их бронзовыми улыбками истории... Тут есть очень любопытные жетоны. Вот этот выбит в память победы Нельсона под Абукиром... Это — объединение швейцарских союзов... А знаете что? Одеваясь, я подумал про вас: «Вот человек, который, имея миллионы, мог бы чёрт знает чего построить!»

— Н-да, — усмехаясь, сказал Шебуев, — кабы мне этак миллиона четыре...

— Представьте себе, что я именно о четырех миллионах думал! — вскричал Сурков.

— Могу это представить... Даже знаю о чьих...

— Нет, серьезно?

— О лаптевских...

— Верно! И знаете, что я думал? — спросил Сурков, с острым любопытством разглядывая спокойно улыбавшееся лицо архитектора.

— Знаю... — сказал Шебуев.

— Почему бы вам не жениться на Лаптевой?

— Вот именно! И представьте себе, — Шебуев вынул из кармана часы и взглянул на них, — вот уже с лишком три часа, как я всё думаю — почему бы мне не жениться на Лаптевой?

Сурков отступил от него, и, щелкнув пальцами, с удовольствием вскричал:

— Вот это остроумно!

Серые глаза архитектора юмористически прищурились, на переносье образовалась резкая морщинка, и он спросил своим сиповатым голосом:

— А ведь я совсем не похож на порядочного человека?

— О, нет! Вы... умнее...

III

Петр Ефимович Лаптев был человек здоровый, румяный и круглый, как шар. Быстрый в движениях, всегда веселый, всем довольный, он занимался торговлей хлебом и ростовщицеством. Он очень любил музыку, не пропускал ни одного концерта, а когда в город приезжала опера, то брал на все спектакли кресло первого ряда. Слушая арию Ленского пред дуэлью или проклятия умирающего Валентина Маргарите, он плакал — хорошая музыка всегда вызывала у него слезы на глазах. А разоряя людей — он шутил и смеялся.

Говорили, что, когда закадычный друг Петра Ефимовича — Трунов — стоял перед ним на коленях, умоляя его обождать с протестом векселей, Лаптев положил ему руку на плечо и задумчивым голосом сказал:

— Э-эх, Миша! Разве я не знаю, что разорю тебя вдребезги? Знаю, друг! А отложить протеста не могу. Не потому, что в деньгах нуждаюсь, а потому, что было мне видение во сне насчет твоих делов... Явился будто покойный отец твой, Никифор Савельич, и одет он, братец ты мой, во всё черное. Лик у него этакий копченый и пахнет будто бы от него серой и чадом... И говорит он мне таково строго: «Петр, говорит, Христом богом прошу тебя — пусти Мишку по миру! Забыл, говорит, Михайло про отца, совсем, говорит, замятовал, ровно бы отца у него и не было. Так ты, говорит, Петр, разори его, нищим будет — родителя вспомнит, тогда, небось, помолится за меня». Вспыхнул тут он, отец-то твой, синим огнем и исчез.

Трунов был объявлен несостоятельным и заключен под стражу, где вскоре и умер от огорчения. Всё время, пока товарищ сидел в остроге, Лаптев аккуратно два раза в неделю посылал ему по бутылке малаги, которую тот очень любил.

Вообще Петр Ефимович любил пошутить, и случилось, что шутки стоили ему очень дорого. Пожертвовал

он как-то раз колокол полиелейный в одну из бедных городских церквей. Привезли этот колокол на церковный двор, поставили на клетки и уже хотели поднимать, как вдруг видят, что вместо изображения святых на колоколе вылито что-то совсем непохожее. Рассмотрели, и оказалось, что это изображение самого Петра Ефимовича. А внутри колокола нашли выбитой такую надпись: «Слава купцу Петру Лаптеву, слава!» Хотя церковный причт и был в хороших отношениях с Петром Ефимовичем, но всё же по городу пошел шум о купеческой шутке, и, чтобы заглушить этот шум, Лаптев долго звел мошной.

Любил Лаптев и покутить, любил женщин и всегда имел одну — а то и двух — на содержании. Добывал он их в Москве в кондитерских и швейных магазинах. Купит девочку, привезет ее к себе в город, устроит ей квартиру и аккуратно каждую субботу и среду посещает ее. А когда она ему надоедала, он ее или другому любителю передавал, или просто стращал полицией, и девочка сама уходила от него. Среди купечества Лаптев почетом не пользовался. Как с денежной силой, с ним, разумеется, считались, даже побаивались Петра Ефимовича, но от дружбы с ним сторонились, считая его «фармазоном» и скандалистом. Он же относился к купцам с явной насмешкой и презрением.

— Дикие люди! — говорил он про них. — Ничего не понимают! После шампанского селедку могут жрать... А которые и благочестивы, так это оттого, что трусят согрешить...

В огромных комнатах у Петра Ефимовича на стенах висели картины масляными красками, изображавшие голых женщин; на подзеркальниках стояла бронза, и вообще было много блеска, резавшего глаза. В зале стоял дорогой рояль и несколько музыкальных ящиков.

Зимою у него часто собирались гости. Это были артисты местного театра, судебные пристава, разорившиеся помещики и даже просто какие-то странные личности.

Они говорили басами, могли очень много пить и есть, с наслаждением и счастливо играли в карты, и хотя фигуры у них были гордые, а манеры — благородные, однако они не обижались, когда хозяин в глаза называл

их «шушерой». Бывали и женщины — артистки из театра и еще какие-то вдовы, всегда немножко подкрашенные, шикарно одетые и очень веселые. Все эти люди, собравшись в доме большой и шумной толпой, пили, ели, пели, танцевали и играли в карты целые ночи напролет.

Жена Лаптева — Матрена Ивановна — и его единственная дочь, Надя, учившаяся в пансионе, конечно, стояла в стороне от этой жизни, у них в доме была своя половина. Матрена Ивановна давно уже махнула на мужа рукой и лишь иногда с сокрушением говорила кому-нибудь из своих подруг:

— Слышала, матушка, мой-ёт кобель жирный опять новую мамзельку привез себе? Привез, мать моя, привез, бесстыжий! Уж помяни ты мое слово — оберут они его, мамзельки эти, ох, оберут! Растрянжирут с ними весь капиталишко...

Но она почти не вмешивалась в жизнь мужа. Она любила покушать, попить чайку, помолиться богу. У нее была своя компания из таких же, как она сама, пожилых и благочестивых купчих: она смаковала с ними наливки, ездила по монастырям на богомолья и тоже нескучно жила.

Петр Ефимович относился к жене с насмешливой почтительностью. Когда она начинала обличать его зазорное поведение, он с улыбкой слушал ее и молчал до поры, пока она не надоедала ему, а когда надоедала, то говорил ей:

— В рассуждениях ваших, благочестивая Матрена Ивановна, как в скрипе тупой пилы, никакой музыкальности, смысла нет... Каким таким идеям можете вы научить меня, человека современного, если у вас в голове нет никакого строя? Слушать вас я могу только из великодушия и моей гуманности, но так как вы мне уже надоели...

Он топал ногой в пол и, указывая на дверь, зычно кричал жене:

— М-марш на задний стол к музыкантам!

Она уходила, ругаясь. Иногда Лаптеву некогда было говорить красноречиво, и он говорил просто:

— Ты, кулебяка! Пошла к чёрту! А то...

Она уж не дожидалась конца его речи...

А Надя жила под надзором фрейлен Гаген, рижской немки, рекомендованной содержательницей пансиона, в котором Надя училась. Это была девица лет сорока, высокая, толстая, с большим красным носом. Она прекрасно говорила по-русски, даже без акцента, и тоже очень любила покушать и выпить домашней наливки. С Матреной Ивановной у нее установились прекрасные отношения. Старуха почему-то назвала немку Феней и хотя сначала всё доказывала ей, что она некрещеная еретица и ежели не окрестится в русскую веру, то после смерти попадет в ад, но скоро привыкла к ней до того, что, даже отпуская ее от себя к Наде, напутствовала:

— Уж ты скорее там, Феня, скучно мне без тебя... Не больно уж мучай девку-то... Что, в самом деле, ведь нам наука-то для приличий нужна, а не то, чтобы что... Мы люди не бедные какие. Для нас бы можно уж, чай, и не каждый день уроки-то задавать. Ты скорее, Феня.

И Феня никогда не заставляла себя долго ждать.

Шум и запах жизни, которой жил отец, проникал и в те комнаты, где жила Надя со своей подругой Лидой, сиротой, дочерью какого-то чиновника. Эту Лиду Лаптевы взяли в дом для развлечения дочери, которой было скучно жить одной. По ночам, когда мать и Феня засыпали, девушки, лежа в постелях, чутко прислушивались к музыке и шуму в комнатах отца. Вокруг них безмолвно вздрагивали тени от огня лампы, зажженной у образов, густой храп спящей немки мешал им спать и пугал их. А из комнат отца доносились взрывы смеха, звуки музыки, и девушки знали, что там светло, весело, нарядные барыни танцуют с ловкими кавалерами, и смеются, и поют песни... Воображение подруг возбуждалось, и они начинали шёпотом разговаривать о том, что делается в передней половине дома... И вот однажды они захотели увидеть в действительности эту сказочно интересную жизнь. Встав с постель в одних рубашках, они прикрылись одеялами и, выйдя в коридор, упростили бойкую горничную Сашу показать им, что делается у отца. Горничная спрятала их в темную комнату, где

стояли шкафы с платьем, и указала им щель в переборке комнаты, под потолком. Девушки забрались на один из шкафов и увидали с него много такого, от чего у них краснели щеки, захватывало дыхание и по телу пробегала странная дрожь. С этой поры каждый раз, когда у отца собирались гости, обе подруги шли в темную комнату и сидели в ней на шкафе, с трепетом и жадностью глядя в отверстие, расширенное услужливой горничной, для которой было и приятно и выгодно доставлять барышням это удовольствие. Матрена Ивановна и Феня спали крепко, горничная была ловка, девочки осторожны, и ничто не мешало им наслаждаться созерцанием кутежей Петра Ефимовича. Наде в эту пору было пятнадцать лет. Лида была на два года старше ее. Однажды они видели и слышали такую сцену: отец Нади предложил одной из дам двести рублей за то, чтоб она, обнажив грудь до пояса, протанцевала русскую. Дама, высокая и стройная красавица, спросила за это пятьсот. Лаптев поторговался, но дал ей пять радужных бумажек. И тогда девушки увидели, как полуголая женщина плясала среди толпы мужчин, молчаливо смотревших на нее, и видели, как сверкали глаза мужчин. А потом, когда женщина, кончив пляску, остановилась среди комнаты, гордо подняв голову, они слышали страстный, оглушительный рев восторга... Они убежали, охваченные сильным, неведомым им чувством, и всю ночь не могли заснуть.

У девушек была своя большая комната. Матрена Ивановна позволяла дочери приглашать к себе подруг из пансиона, и подруги бывали у Нади каждый день по две, по три, по пяти. Всё это были купеческие дочери, полные, сытые, хорошо понимавшие силу денег. С ними являлись их братья — ученики гимназии и реального училища, краснощекие парни, курившие папиросы. Они приносили с собой коробки шоколадных конфет с ромом и ликерами и угощали барышень. Потом в зале играли в жмурки, танцевали, дурачились. Зимой Надя с подругами часто бывала в театре, на вечерах, пиновала на свадьбах, ходила на каток, ездила кататься на тройках, — всё это разрешалось ей... В доме Петра Ефимовича Лаптева всем жилось весело.

И вот в разгаре этой жизни Лаптев умер от воспаления легких. Однажды в жаркий летний день, придя откуда-то домой разгоряченный и потный, он выпил квасу со льдом, а через пять дней после этого уже лежал в зале на столе, весь синий, раздувшийся, страшный.

Когда Петр Ефимович умер, его жена в ужасе всплеснула руками и закричала на весь дом:

— Батюшки! Что мы будем делать-то? Сироты остались горемычные,— батюшки! Ограбят ведь нас теперь, обворуют нас, сиротиночек!

И уже потом начала с воем причитать по муже:

— Ра-азлюбе-езный ты мо-ой Пет-ру-ушечка-а! И на-а кого-о это ты по-окинул жену с до-очерью? Да уж и как теперь на-ам на све-ете жи-ить?

Знакомые слушали ее вопли и с одобрением говорили:

— Ишь ведь как убивается!

Надю смерть отца тоже страшно испугала. Когда из груди отца вырвался последний вздох и его жирное тело, вздрогнув, замерло, она широко раскрытыми глазами взглянула на его потемневшее лицо с раскрытым ртом, истерически завизжала и бросилась вон из спальни отца. Прибежав в свою комнату, она уткнулась там головой в угол и, охваченная дрожью ужаса, просидела так почти час. Потом, когда к ней пришла Лида и стала отпаивать ее водой, она, оглядываясь вокруг безумными глазами, начала шептать:

— Страшно! Страшно! Я тоже умру, Лида... ох! Спрячь меня...

По комнатам дома разливался заунывный вой Матрены Ивановны, бегала прислуга, и все звуки казались неестественно громкими.

— Спрячь меня, Лидочка,— дрожащим голосом просила Надя подругу, крепко обнимая ее. Лида с трудом вырвалась из судорожных объятий и убежала за доктором.

Пришел Петр Кириллович Кропотов, усадил Надю на кушетку и, сам усевшись рядом с нею, стал внушительно уговаривать девушку:

— Ай, ай, ай, какое малодушие! Разве можно так

пугаться, разве это не стыдно? Человек должен спокойно выносить удары судьбы. Надо знать, что смерть — явление вполне законное и ничто живое не может избежать ее.

Высокая фигура доктора в изящном сюртуке, его красивое лицо с пышной бородой, твердый и самоуверенный взгляд его глаз — всё это постепенно успокаивало Надю, и уже вскоре она недовольно и тоскливо заметила ему:

— Как неприлично воеет мамаша!

А вскоре пришла портниха, чтобы спросить о чем-то по поводу траурных костюмов, потом явились подруги, знакомые, и все хотели знать, как умер Петр Ефимович, и всем нужно было рассказывать об этом. Лишь ночью, под тихое журчание голоса монашенки, читавшей у гроба псалтирь, Надя снова ощутила страх и задумалась об отце. С тяжелым недоумением в душе она задала себе вопрос — что же теперь будет, как эта смерть отзовется на ее жизни?

До этого дня она видела отца каждый день, но почти всегда мельком. Он называл ее Наденькой, иногда целовал в щеки, часто дарил ей красивые и ценные вещи, давал денег. Последние годы он говорил ей с усмешкой:

— А ведь замуж пора, Наденька? Хочется замуж-то? Погоди немножко, скоро я это дело настрою. Свадьбу-то какую сыграем — батюшки мои!

И он сладко прищуривал глазки. Надя не могла бы точно сказать — хочется ей замуж или нет, но мысль о свадьбе всегда приятно раздражала ее. Свадьбы она очень любила, но никто из знакомых кавалеров не правился ей. И, когда она думала, что после свадьбы необходимо жить иначе, чем теперь, в других комнатах, с другими людьми, а главное всю жизнь с одним из тех молодых людей, которые ухаживали за пею, — ей становилось неловко, неприятно, и свадьба даже немного пугала ее. Из мужчин ей больше всех нравились студенты, гимназисты и юнкера. Они и веселые, и танцуют хорошо, и говорят просто, всё о таких приятных вещах — о подругах, прогулках, театре, некоторые даже пишут стихи...

— Чай, тебе уж нравится какой-нибудь этакий Евгений Онегин или, примерно, Ленский? — спрашивал отец.

Ей нравился и тот и другой, хотя она находила, что брюки у обоих смешные и даже неприличные. Нравился ей и Валентин, когда он ползал по сцене, проколотый шпагой Фауста. И вообще на сцене ей нравились все артисты, говорившие о любви громко и с этакими отчаянными жестами. Она всегда приятно вздрагивала, когда влюбленный актер падал на колени перед возлюбленной, изо всей силы стучаясь костями по доскам сцены. Но, встречая их на улице или у отца, она видела, что щеки у них синие, под глазами мешки, и что они во всем ведут себя, как самые обыкновенные люди, а водку пьют даже жаднее обыкновенных людей.

И на вопрос отца она однажды ответила:

— Никто мне не нравится... И все эти Онегины только из ложи хороши...

— Дурочка! Я тебя спрашиваю про настоящих людей, а не про актеров. Актер — он для увеселения живет, и нам до него нет дела... Я спрашиваю — не приглянулся ли тебе какой-нибудь маркиз Поза из купеческого звания?..

В то время из настоящих людей Наде нравился гимназист восьмого класса Рубанович, сын члена окружного суда, стройный юноша с маленькими черными усами. Он играл героев в любительских спектаклях и великолепно танцевал все танцы. Но Надя ни слова не сказала отцу про него.

В ней рядом с наивностью уживалось очень широкое знание дурных сторон в людях. И теперь, думая об отце, она вспомнила, как однажды в церкви за всеобщей Лиды, указав ей глазами на красивую молоденькую брюнетку, шепнула:

— Новая твоего отца... Тоже Надей зовут...

Она посмотрела на девушку, и ей стало обидно за себя, — в ушах «новой» сверкали серьги из прекрасных рубинов. А она вот уже давно просит папашу купить ей рубины, но безуспешно. Ей всегда показывали содержанок отца, и они, красивые, роскошно одетые, часто вызывают у нее чувство зависти и недовольства отцом.

Матрена Ивановна тоже при ней открыто обсуждала отцовы вкусы:

— Мой-ёт кобель сменил свою толстую тетеху на фитюльку какую-то рыженькую... В раззор раззорят его, старого пса, девчонки эти...

В познании жизни Наде очень помогала подруга Лида. Она всегда всё знала о делах Петра Ефимовича и всё подробно передавала его дочери. Последнее время она ненавидела Лаптева и, не скрывая этой ненависти, с наслаждением рассказывала Наде о его похождениях.

Лежа в постели и чутко прислушиваясь к чтению псалтиря, Надя долго не спала, всё думая об отце, и наутро проснулась хотя печальной, но совершенно спокойной. За панихидами и во время похорон она много плакала, но уже на поминках снова была спокойна. Через несколько дней она с удивлением убедилась, что смерть отца не внесла в ее жизнь никаких перемен, кроме обязанности носить прекрасно сшитые, дорогие траурные костюмы. А еще через некоторое время она начала замечать, что все люди, начиная с прислуги и кончая доктором, стали относиться к ней как-то особенно, и это особенное отношение было очень приятно ей.

Доктор Кропотов, давно уже лечивший всех Лаптевых, после смерти главы дома стал ездить к ним аккуратно по два раза в неделю — в среду и в воскресенье. Всегда прекрасно одетый, он солидно входил в комнаты со шляпой в руке, внушительно здоровался с дамами и начинал озабоченно расспрашивать их о состоянии здоровья. Матрена Ивановна подробно рассказывала ему о том, как у нее «спирает дыхание и подкатывает под душу», он рекомендовал ей побольше ходить пешком и принимать прописанную в прошлый раз микстурку.

— Ну-с, а вы, Надежда Петровна, как себя чувствуете? — ласково обращался он к Наде, которая всегда чувствовала себя пред ним маленькой девочкой.

— Благодарю вас, я здорова, — отвечала она.

Среднего роста, полная, с румяными щеками и высокой грудью, она действительно была девушкой очень здоровой и даже миловидной. Нос у нее был немножко широк, но свежие и полные губы, светло-голубые глаза

и пепельно-русые волосы как-то скрашивали этот, не особенно заметный, недостаток. В ее круглом лице и светлых больших глазах было еще много чего-то детского, но она выучилась делать какие-то пренебрежительно капризные гримаски, часто во время разговора употребляла их, и они очень портили ее. Особенно обезображивала она себя, когда, нелепо выкатывая глаза из орбит, высоко поднимала свои красивые брови, тогда лоб ее становился узеньким, на нем являлись глубокие жирные складки, и всё ее лицо старело, принимая какое-то овеchie выражение.

Разговаривая с доктором, она всегда покорно наклоняла пред ним голову и редко смотрела ему в глаза; эта покорность обыкновенно вызывала у доктора снисходительно-довольную улыбку. В первый же месяц после смерти Лаптева, в одно из воскресений, он, сидя с дамами за кофе, сказал Наде:

— Знаете что, дорогая Надежда Петровна? Вы бы могли употребить печальное время траура с большой пользой для себя... Вы теперь лишены возможности пользоваться привычными вам удовольствиями, и вам, наверное, скучновато? Так вот я хочу рекомендовать вам одно огромное и полезное удовольствие, даже, скажу, наслаждение...

— Ну-ка, Петр Кириллыч, в самом-ту деле, поучи-ка ее чему-нибудь, поучи! А то девка-то живет без отца... хоть он, покойник...

— Мамаша! — перебила Надя мать, готовую потокровенничать с доктором. — Опять вы начинаете... это даже неприлично!

— Я хочу, — продолжал доктор, — предложить вам — почитайте-ка вы немножко, а?

— Хорошо, я могу... — согласилась Надя и почему-то вздохнула.

— Я принесу вам хороших книг... Вы и займитесь вот с Лидией Николаевной...

— Я очень люблю читать, — с удовольствием сказала Лида.

— Только ты, батюшка, которые похабные — не носи, — обеспокоенно завозившись на стуле, сказала Матрена Ивановна. — И-и ни за что не надо! Вот у отца

были с картинками на еретицких языках — срамота одна! Ты уж таких не носи!

— Мамаша! — строго крикнула Надя.

Доктор успокоил Матрену Ивановну и снова начал внушать Наде:

— Чтение хороших книг приносит человеку большую, даже великую пользу, оно, так сказать, пополняет пробелы образования...

Он говорил очень долго, а когда ушел, то Надя вскочила со стула и, с искренней тоской заломив руки за голову, вскричала:

— Ах, господи! Такой красивый, такой важный и такой скучный. Я даже вспотела вся от его разговора... Вот извольте теперь читать! Не буду! Он не имеет права заставлять читать! Книжки не лекарство, да!

Но, подумав немножко, она предложила Лиде:

— Знаешь что, Лидочка? Ты, пожалуйста, читай и рассказывай мне... я тебе за это ротонду свою подарю, хорошо?

— Хорошо! — согласилась Лида.

Это была стройненькая, быстрая в движениях фигурка, с маленькой головой в черных кудрявых волосах. Горбатый нос на ее смуглом лице придавал ей сходство с еврейкой. Ее тонкие красные губы улыбались всегда одной и той же острой, холодной улыбкой, но она никогда не смеялась. Глаза у нее были темные, миндалевидные. Она их прищуривала, и, почти закрытые длинными ресницами, они не изменяли выражения ее худого и подвижного лица. В этом лице с полузакрытыми глазами было что-то неискреннее и неприятное, но когда Лида возбуждалась чем-либо, ресницы у нее вздрагивали, в глазах сверкали огоньки, и лицо девушки казалось красивым. К подруге она относилась как старшая к младшей, к ее матери почтительно, но сухо-вато, вообще же держалась в доме с большим достоинством. Одевали ее почти так же богато, как Надю, но именно потому, что ей перешивали Надины платья.

Кроме доктора, который скоро стал у Лаптевых необходимым человеком не как целитель недугов, а как лицо, достойное доверия, к ним часто забегал Эраст Лукич Ломакин, адвокат, большой приятель покойного Петра

Ефимовича. Лысый, с утиным носом и маленькой острой бородкой, он был похож на паучка. Его тонкие и быстрые ножки всегда с каким-то особенным веселым вывертом выскакивали из-под его фрака и, колыхая, несли на себе приятно округленное, жизнерадостное брюшко. Его пухлые ручки неумоимо и с такой быстротой летали вокруг его круглого туловища, что казалось — у него их четыре и все они стремятся схватить в воздухе что-то видимое только для живых и веселых глазок Эраста Лукича. Эта черная, круглая и юркая фигурка производила крайне странное впечатление — точно Эраст Лукич однажды был охвачен неким вихрем, завертелся в нем и с той поры уже не может остановиться. Он давно вел дела Лаптева, вместе с ним кутил, считался другом дома, возил Наде конфеты, с Матреной Ивановной пробовал наливки и даже раскладывал ей замысловатый пасьянс, называя его «влюбленный Бисмарк и пьяный Бонапарт». Матрена Ивановна любила Ломакина, называла его Ерастушкой, но ни в чем не доверяла ему и даже однажды обратилась к доктору с такой просьбой:

— Петр Кириллыч! Будь отец родной — присмотри ты, бога ради, за Ерастушкой-то, как бы он меня с Надеждой не ограбил... Уж такой это, я тебе скажу, жулик, такой-то ли жулик, что даже и сказать нельзя...

Доктор нахмурился и строго сказал ей:

— Почтенная Матрена Ивановна, я должен вам заметить, что Эраста Лукича знаю вот уже несколько лет, и, скажу, знаю хорошо... Поэтому я решительно заявляю вам, что его нравственные качества не имеют ничего общего с вашими словами. Это человек легкомысленный, но вполне порядочный, он, если хотите, кутила, но знаток своей специальности... Впрочем, я исполню вашу просьбу!.. — совершенно неожиданно закончил доктор свою защиту Ломакина.

Неизвестно — следил ли он за действиями Ломакина по делам Лаптевых, но уже вскорости он заметил, что Эраст Лукич постепенно окружает Надю довольно странными людьми. К Лаптевым начал ходить Нагрешин, за ним явился молодой купец Редозубов, сын богатого мясника, известный в городе тем, что однажды

подарил какой-то певице в Москве накладные на шесть вагонов мяса, привезенного им на продажу, был за это избит отцом до полусмерти и посажен в погреб, где высидел целые сутки. После этого он с месяц хворал, но тотчас же, как только выздоровел, стащил у отца три тысячи и вновь уехал к своей певице и снова был безжалостно избит. За Редозубовым явился Константин Васильевич Скуратов, бывший гвардейский офицер, помещик и страстный любитель голубиной охоты.

Приезжая в обычные дни с визитом, доктор наконец чуть не каждый раз стал встречать у Лаптевых всё новых лиц. Он видел, что все они внимательно ухаживают и за Матреной Ивановной и за Надей и каждый на свой лад старается обратить на себя исключительное внимание. Нагрешин учит мать и дочь играть в шестьдесят шесть, рассказывает им про убийства и грабежи, Редозубов изображает широкую русскую натуру, ходит в поддевке, в красной шелковой рубахе и смазных сапогах, порывается петь народные песни, но по случаю траура хозяева не позволяют ему этого. Скуратов страшно курит и, с какой-то особенной улыбкой поглядывая на всех, говорит о Петербурге, о голубях, о маневрах, а с Лидой о графе Монте-Кристо, графине Монсоро, шевалье де Мезон Руж и других знатных иностранцах.

Доктор, конечно, прекрасно видел, на что именно рассчитывают все эти люди, и счел своей обязанностью поговорить по этому поводу с Матреной Ивановной.

В один из своих визитов, сидя наедине с купчихой, он послушал ее пульс и озабоченно сказал:

— М-да... Есть маленькое возбуждение... Вам, знаете, надо бы жить более спокойно...

— Ох, надо бы, батюшка, надо бы! — сокрушенно вздохнув, сказала Матрена Ивановна.

— У вас последнее время так много бывает гостей...

— Да, да! Вон сколько их развелось... Уж я смотрю да всё думаю — ох-хо-хо! Что-то будет?

— То есть чего же вы от них ожидаете?

— Да ведь чего мне ждать-то? Мне ждать нечего... мне уж сорок восемь лет стукнуло... Надежда их это подманивает, ей с ними и валандаться... А народ-от всё

ненадежный, голодный... в карманах-то едва на штаны хватает.

И Матрена Ивановна печально закачала головой. Доктор погладил бороду, помолчал и, нахмурившись, усиленно внушительным голосом спросил:

— Сколько я вас понимаю, вы смотрите на них как на претендентов... то есть, проще говоря, как на женихов?

— Какие уж они женихи, окромя разве Митьки Редозубова... Этот хоть тоже шалыган, а все-таки человек купеческого звания...

— Гм! Теперь, знаете, купечество выдает дочерей не только за купцов, но и за людей других классов. Однако не в этом дело; если и они вам не нравятся, то... зачем же вы их... принимаете?

— Да ведь не гнать же их, коли пришли они да и сели!..

— Не нужно было приглашать...

— Ну, уж я тут не виновата! Это всё Ерастушка натаскал их... Приведет какого-нибудь эдакого... «Позвольте представить!» Ну, тот пошаркает ногами по полу да и засядет. Народ-то они ничего ведь, занятные все такие, веселые... Только вот жениться-то хочется им, это мне опасно... И так-то ли беспокожно, господи Исусе! Поглядишь это на них — ласковые такие все... как коты... охо-хо!

Доктор простился с удрученной матерью и уехал очень задумчивый и недовольный.

Дня через два после этого он заехал к Ломакину и имел с ним такой разговор:

— Я, Эраст Лукич, хочу поговорить с вами откровенно как с человеком, скажу, высокоинтеллигентным, мнение которого для меня очень ценно...

Ломакин, летавший по своему кабинету, обставленному с легкомысленной роскошью, бухнулся в широкое мягкое кресло, весь засиял улыбками, завертел головой и, потирая руки, тенорком сказал:

— Покорнейше благодарю, любезнейший Петр Кириллович, за лестное мнение! Поверьте, что и я глубоко уважаю вас и в восторге от вашего ума и такта... хе-хе-хе!

Тонкий веселенький смешок был его привычкой. Говорили, что он однажды известил одну даму, свою клиентку, о смерти ее мужа в такой форме:

— Хе-хе! Я, извольте видеть, явился к вам с ужасно печальной вестью... ей-богу же! Трагическая весть!.. Супруг ваш неожиданно скончался, честное слово — хе-хе-хе!

И теперь он потирал ручки, посмеивался и, ласковыми глазами глядя на доктора, ждал его речи. Доктор собрал бороду в кулак, поднес ее ко рту и, вдруг раскрыв руку, сильно дунул на нее, отчего борода рассыпалась по его груди красивым веером.

— Я хочу поговорить с вами о Лаптевых,— предупреждающим тоном сказал он.

— Все ли они здоровы? — участливо осведомился Ломакин, сняв ноги с кресла.

— Все и совершенно. Но ведь вы сегодня были у них?

— Был... Недавно... хе-хе!

— А спрашиваете — здоровье... гм!

— Это от избытка симпатии к ним,— объяснил Ломакин с улыбочкой и снова бросил ноги на кресло. Доктор встал и молча прошелся по кабинету.

— Видите ли, в чем дело, Эраст Лукич... Ввели вы к ним этих... разных лиц...

— Воистину разных... — засмеялся Эраст Лукич.

— Так вот... Я не знаю, чем именно вы руководствовались, вводя их в этот дом...

Доктор замолчал. Но и Ломакин тоже не говорил ни слова.

— Но мне кажется, что влияние всех этих... лиц на молодую девушку может быть только отрицательным. Что они могут дать ей? Какие стороны ее ума могут развить? Как вы думаете?

Так как доктор спрашивал в упор, то Ломакин, пошлепывая себя по лысине левой рукой, ответил, как бы извиняясь:

— Я педагогическими целями не задавался, знакомя Наденьку с этой компанией... Траур, думаю себе, скучно девице... Ну, для развлечения ее и того... Представил ей... А вы уж сейчас прямо в корень — какое

влияние? Я вам от всей души скажу, добрейший Петр Кириллович, что там, где вы, — никакие другие влияния не могут иметь успеха — хе-хе! Не могут-с! И, видя вашу близость к семье моего покойного приятеля, я прямо говорю, что участь его дочери нимало меня не беспокоит... хе-хе!

— Благодарю вас за столь лестное обо мне мнение... — сказал доктор, приятно улыбаясь. — Но, право же, вы преувеличиваете мою роль в этой семье...

— А книжки-то? а? Книжечки-то? — как мяч, отскочив от кресла, громко шепнул Эраст Лукич, а затем подбежал к доктору и, грозя ему пальцем, продолжал шёпотом: — Ах вы пр-ропагандист, а? хе-хе! Шпильгаген? Лео? Ах вы агитатор!

Доктор немножко и снисходительно посмеялся и, вновь приняв вид солидной уверенности, сказал, пожав плечами:

— Право, я не считаю этого лишним... Я убежден, что книга — это сила огромная и что она всегда найдет читателя, куда вы ее ни сунете, и всюду посеет свои зерна, — зерна правды и добра... не так ли?

— О, конечно! Кто же в этом сомневается? — свернув себе голову набок, вскричал Эраст Лукич.

На лице у него выразилось что-то близкое к отвращению, и, очевидно, это чувство было адресовано тому, кто осмелился бы сомневаться в силе книги. Но тотчас же он задумался и тихо заметил:

— А все-таки глупенькая-то она оригинальнее!

— Кто? — с удивлением спросил доктор.

— Наденька...

— Н-не понимаю вас!..

— Миллион, завернутый в онучку, примерно... во что-нибудь эдакое незначительное, особый смак приобретает, — щелкнув пальцами, сказал Ломакин. Но снова он весь передернулся и схватил доктора за руки, торопливо говоря: — Шучу! Это я шучу! Нет, я ведь понимаю! хе-хе! Я очень хорошо понимаю! Разумеется, надо! Я ведь отчасти имел это в виду, когда знакомил ее с этими... Книги, конечно, очень важны... ну да! Но тут — живые люди! Купец, чиновник, дворянин...

смотри и сравнивай! А? Нет, честное слово! Ведь это развивает? Сравнение-то?

— Вы, кажется, только сейчас придумали такое... шутовское объяснение? — спросил доктор, и брови у него дрогнули.

— Какой пронизательный ум! — тихо воскликнул Ломакин, отскакивая от гостя и как-то комом падая в кресло.

Доктор глубоко вздохнул и, опустив голову, с минуту молчал. Эраст Лукич дергал себя за бороду, гладил свою лысину и с ожиданием поглядывал на гостя...

— Вы, Эраст Лукич, — заговорил доктор, — отнесите ко мне в данном случае недостаточно серьезно, как кажется, и, пожалуй, даже несколько недоверчиво...

— Не может этого быть! — возгласил Ломакин, всплескивая руками. Но было трудно понять — удивляется он словам доктора или протестует против них.

— Позвольте мне откровенно выяснить вам мой образ действий и причины, побуждающие меня действовать именно так.

— Да разве я не понимаю?

— Нет, позвольте! Надежда Петровна, являясь обладательницей такого огромного, даже, скажу, редкого состояния, представляет собою в данный момент могучую силу, хотя и потенциальную пока... Но она стоит на опасном пути... Будучи молодой и неопытной девушкой, она совершенно лишена, так сказать, чувства осязания добра и зла. Жизнь делится для нее на веселое и скучное, приятное и неприятное... Ей совершенно чужды культурные веяния современности, и она, т. е. ее капитал, даже может явить собою оплот против них. Выйдет замуж за какого-нибудь кулака и заживет обычной жизнью богатой купчихи... в то время как ее капитал, под усилиями мужа, будет всё расти и давить людей своею тяжестью. Я, как вы знаете, не марксист и в росте капитала не могу видеть прогрессивного явления. И я думаю, что на обязанности моей, человека интеллигентного, с определенными принципами, лежит прямая задача — попытаться облагородить эту силу, попытаться дать ей направление, противоположное тому, которое она, предоставленная сама себе, естественно и

необходимо должна будет принять. Вы понимаете? Я думаю, что купечество достаточно богато и без этих четырех миллионов... Как человек интеллигентный, вы должны понять мою простую мысль. Однако к моей попытке внушить Надежде Петровне интерес к чтению вы отнеслись... легко и шутливо, как мне показалось. Я думаю, что в интересах лучших стремлений жизни вы должны решительно встать на мою сторону...

— Аминь! — воздев руки к потолку, воскликнул Эраст Лукич, и всё его кругленькое личико так и задрожало. — Преклоняюсь перед вами! Вы меня устыдили! Вы меня просветили, честное слово! Я действительно шутил... но в этом, ей-богу, повинна моя проклятая фамилия. Что такое Ломакин? В словаре Академии Российской сказано: «Ломаный — посредством ломания целости лишенный», — видите? Верю Академии, даже памятуя, что в ней на законном основании заседает известный князь Дундук, всё-таки верю! Да, я — человек, посредством ломания лишенный целости, но вы! Вы, Петр Кириллович, — целый человек!

— Я был бы чрезвычайно рад... — начал было доктор.

Но Ломакин вскочил на ноги и, не давая ему говорить, замахал руками, забегал, завертелся и оживленно закричал:

— Конечно! Я всё понял и всё уразумел! Дорогой Петр Кириллович, — как не понять? Ведь я и сам думал, что кабы эти денежки да в руки человека интеллигентного, со вкусом к жизни...

— Человека с определенными общественными задачами, — усталым голосом поправил его доктор.

— Именно! С задачами... э-э! Ведь я понимаю! Критически мыслящая личность, вооруженная знаниями, стремлениями и миллионами, — а? Я шучу, шучу! Ломакин — вот несчастье! Но всё же я понимаю, как сладко нашему брату откусить от купеческих капиталов четыре миллиончика! Это я понимаю...

Доктор ушел от игривого адвоката с чувством неудовлетворенности и смутного беспокойства. И когда он уходил, а Ломакин провожал его, то доктору почему-то всё казалось, что Эраст Лукич приплясывает

у него за спиной и строит ему рожи. Он несколько раз круто и неожиданно оборачивался к хозяину, желая проверить свое странное впечатление, но всякий раз встречал ясно улыбавшееся лицо хозяина. Оно сияло и сливалось вместе с лысиной в желтое блестящее пятно.

В следующий визит к Лаптевым доктор встретил у них Эраста Лукича, который явился только что перед ним и еще знакомил с гостями Акима Шебуева. Глаза Петра Кирилловича грустно мигнули, и вслед за тем его лицо приняло выражение сухое, строгое и обиженное.

Шебуева встретили у Лаптевых очень недружелюбно, и все сразу как-то подтянулись при нем. Нагрешин, увидав его входящим в столовую, где гости пили чай, даже закашлялся, а Редозубов застегнул поддевку и пересел на другое место, причем усы у него вздрогнули. Лишь Скуратов, уже давно знакомый с архитектором, здороваясь с ним, сказал, лениво и устало улыбаясь:

— И вы?.. Падают мои шансы...

Шебуев тоже улыбнулся в ответ ему. Кроме этих троих, около Нади вертелось еще несколько молодых людей, но все они были какие-то незначительные и уступали первые позиции Скуратову, Нагрешину и купчику. Скуратова выдвигала вперед его родовитость и светский лоск. Бравая, солдатски прямая фигура, барский тон речи, загорелое открытое лицо с пепельными усами и большие глаза, улыбающиеся красивой улыбкой, сразу привлекали к нему внимание. На лице у него уже было много морщинок, а в выражении глаз замечалось что-то усталое, ленивое, но коротко остриженные волосы были еще густы, а движения и походка обнаруживали много силы и грации. Скуратов знал, что он красив, и немножко рисовался. Своих намерений он не скрывал и держался у Лаптевых всех порядочнее.

Нагрешина выдвигала вперед его способность неустанно рассказывать анекдоты из судебной практики и та ловкость, с которой он ухаживал за Матрешей Ивановой и Надей, всегда как раз вовремя подавая им коробки с конфетами, вазы с вареньями, платки. Его

стройная фигура постоянно находилась в движении, он всегда извивался, как уж, на лице у него сияли улыбки, на мундире — пуговицы.

В молодом Редозубове было много удали лихого русского парня. Здоровый, сильный, искренний, он всегда готов был совершить что-то необычайное, нелепое и смелое, — эта готовность так и сверкала в его темных глазах. А все остальные люди, окружавшие Надю, напоминали своим скромным видом и беспокойной жадностью в глазах маленьких трусливых собачек, сидящих с поджатыми хвостами неподалеку от вкусного куска, около которого уже стояли, зорко насторожившись, три сильных пса. Они подвизгивали этим псам голодным, алчным визгом и, наверное, прекрасно понимали, что их ожидание безнадежно, что им ничего не перепадет, кроме трепки в возможной драке трех больших собак. Но все-таки они сидели и ждали, и подвизгивали, и, мучая себя, возбуждали аппетит сильных. Им стало еще более мучительно, когда они увидали, что явился четвертый большой и сильный пес, спокойный, уверенный в себе, с крепкими зубами и жилистыми лапами. Но, однако, у этих маленьких, робких собачек не хватило чутья для того, чтобы правильно сосчитать своих врагов...

А кусок — этот вкусный, жирный кусок — чувствовал, что его хотят сожрать, и это было лестно для него, он как бы поджаривался на огне общего внимания к нему и в сладком соку сознания своей притягательной силы.

Наде было лестно, но и тревожно, беспокойно среди этих людей. Они смотрели на нее с улыбками, и зубы их зловеще сверкали, а глаза блестели жадностью. Иногда она чувствовала себя раздраженной ухаживаниями и любезностями, ей становилось как бы приторно, и чувство острого беспокойства охватывало ее.

— Господи! — устало и тоскливо говорила она Лиде. — Сколько их собралось!.. И все-то, до одного, хотят жениться на мне!.. А хоть бы один был какой-нибудь такой.. особенный, какой-нибудь... хоть бы негр, что ли? Только бы непохожий на них...

Тонкие губы Лиды вздрагивали от сдерживаемой

улыбки, и, глядя сквозь ресницы в растерянное лицо подруги, она говорила:

— Зазнаешься ты...

— А если не негр... так хоть бы горбатый или сумасшедший какой... — лежа на кушетке, мечтала Надя.

Но утомление быстро проходило, и Надя вновь наслаждалась ухаживанием за ней. Мать ее была совершенно подавлена вниманием и почетом со стороны гостей. Ходить она стала медленно, выпячивая живот, смешно надувала губы и, казалось, даже вспухла от важности.

— Ты чего, Лидушка, глазами-то хлопаешь? — сказала она воспитаннице как-то раз за ужином. — Прикармливай которого-нибудь... Вишь их сколько! Дадим за тобой хорошее приданое.

— Прежде Нади неудобно, — ответила девушка.

— Ну, что там за неудобство? Ты не сестра младшая... Это когда младшая наперед старшей выходит — нехорошо... А ты — чужая... Вон Скуратов-то как ластится к тебе...

— Мамаша! — спросила Надя, — кто вам из них больше всех нравится?

— О-хо-хо! Все они хороши... что-то только будет? И какой всё народ пошел разный да пестрый, ровно бы шуты в цирке... Господи помилуй! А хоть и разный и пестрый — все одинаково денежки любят, все к ним так-таки и льнут...

— Да не рассуждайте, мамаша! — с досадой вскричала Надя. — Я спрашиваю, — кто из них, по-вашему, лучше?

— Что ты, девка, на мать-то зыкаешь? Али это порядок? Не я невеста, чтобы женихов разбирать... Да и кто их разберет? Женихами-то они все норовят в ножки, а поженятся — в зубы да в шею... Вон пуцай Лидушка говорит.

Сначала Лида отказывалась сказать, кто из женихов лучше, но потом, опустив голову над своей тарелкой, сказала:

— Они все люди хорошие, но в мужья ни один не годится. Редозубов, как только женится, кутить начнет так, что небу жарко станет... Иван Иванович Нагре-

шин начнет жену, как собачку, манерам разным учить. «Ты-де чиновница, держи голову прямо». Скучно с ним будет! После свадьбы он уж не станет рассказами потешать, а будет серьезный-серьезный... И скоро растолстеет. Скуратов... этот лучше всех! Он тоже будет кутить и изменять будет, и всё... лошадей заведет... Какую-нибудь вавилонскую башню начнет строить... Разорит и даже может прогнать жену вон...

— Ну уж, матушка,— с изумлением сказала Матрена Ивановна,— коли при таких-то качествах да он всех лучше... я уж и не знаю, что у тебя выходит!

Лида подняла немножко голову и объяснила:

— Он потому будет лучше, что дворянин настоящий...

— Какие там дворяне, коли шиш в кармане! — махнув рукой, сказала купчиха.

Лида помолчала и возразила ей тихим голосом:

— Надо, чтобы не только деньги в кармане, а чтобы и благородство в душе было...

Надя взглянула на нее и заметила:

— Это ты из романов...

А мамаша нашла еще поговорку:

— На что благородство, коли нет воеводства... старики говорили... Ну, а про доктора что ты скажешь, пророчица?

— Доктор? Я бы лучше в погреб села, чем за него идти.

— Он красивый,— сказала Надя равнодушным голосом.

А Матрена Ивановна рассердилась и укоризненно стала качать головой:

— Ах, девка, девка! Совсем ты дурная! На-ко! Самого-то настоящего, который всех умнее,— швырь в сторону! Ду-ура! Он, гляди, лошадь хочет завести, а им всем кошку покормить нечем. Да кабы я,— я бы за него и вышла, потому лучше-то нет. С ним и под руку-то по улице пройти приятно. Мужчина видный, борода длинная, ходит степенно, ноги прямые... не как у Ерастушки, в разные стороны не играют...

— Он красивый...— мечтательно повторила Надя.

— А всего удобнее за Эраста Лукича выйти,— сказала Лида, не возражая на выговор Лаптевой.

— Он веселый,— глядя в потолок, заметила Надя.

— Да вы с ума спятили, девки! — всплескивая руками, сердито закричала Матрена Ивановна. — За этого-то плясуна? Ведь он плясун картонный! Лысый, губы мокрые — тьфу! И... оберет, уж непременно оберет, всю-то обчистит, как козел липку... Ах-ах-ах!

— Ему, кроме денег, ничего не надо,— продолжала Лида, не обращая внимания на старуху, которая, хотя и сердилась, но, видимо, была сильно заинтересована разговором. — Он жене полную свободу даст, живи, как хочешь, только денег ему дай...

— Так, так! Ах ты, еретица! Мысли-то какие, а? Свобода, а? Да разве бабе свобода нужна? Бабе нужно, чтоб ее муж любил, ду-уреха!

— Так уж всё только муж да муж... больше никакого удовольствия? Очень приятно! — усталым голосом сказала Надя и презрительно фыркнула.

— Надька! Какие это слова? Ах вы, распутницы...

— Не кричите, мамаша, у меня голова болит... А архитектор, Лида?

— Ну, этот... какой-то... — задумчиво заговорила девушка и вдруг вскричала, смеясь: — Вот тебе негр! Помнишь, ты негра-то хотела? Особенного-то?

— Не-егра? Господи Исусе! — с удивлением и даже страхом расширив глаза, взвизгнула Матрена Ивановна.

— Что в нем особенного? — пожимая плечами, сказала Надя. — Разве только нос горбатый?

— Нос совиный... Нет, а ты мне, дочка милая, скажи, какой это тебе негр понадобился, а? Что вы, девки...

— Мамаша! Отстаньте вы, Христа ради... тут и без вас голова кругом идет! Поймите вы, пожалуйста, что ведь не капусту мы покупаем...

Надя раздраженно вскочила со стула, с шумом оттолкнула его и в волнении забегала по комнате.

— Ну, взъерепенилась! Что нос совиный, так это верно, нечего на меня кидаться, матушка моя, да! А что человек он степенный — это при нем и остается. Уж коли кто доктору под стать, так это он... хоть и некрасив... Человек здравый, все говорят это...

— Он не особенно некрасив,— поправила Лида.

— Серьезный уж очень... — сказала невеста и вслед за тем почти с отчаянием крикнула: — О господи! Зачем так много людей на свете?!

Они сидели за огромным столом на тяжелых дубовых стульях с высокими спинками. Бронзовая лампа, спускаясь с потолка, освещала только большой круг на столе и в этом круге разные тарелки с мясом, соленьями, рыбой, консервами. Только пицца была облита ярким светом лампы, всё же остальное в комнате покрывала тень. Дубовые стены, дубовый потолок и пол, темные материи на дверях и окнах — всё это замерло в тяжелой неподвижности, всё это было прочно, чудовищно, велико и как бы поглощало собою свет. И, как только женщины отклонялись от стола, их тоже обнимала собою тень...

К концу траура они, под влиянием постоянного присутствия в доме чужих людей и разговоров о них, дошли до состояния почти полной растерянности, до утраты сознания своих личных желаний и интересов. Каждый день у них кто-нибудь бывал и каждый день внушал им что-либо. По воскресеньям все женихи являлись целой стаей и ухаживали, говорили любезности, смеялись, курили невесте и ее матери фимиам. У женщин кружились головы, они чувствовали себя приятно опьяненными, возбуждались, веселились, и эта шумная жизнь охватывала их всё крепче. Доктор предлагал выписать книги — и являлись груды книг. Ломакин продавал им какую-то бронзу и картины — они покупали и то и другое. Им предлагали ехать кататься на пароходе — они собирались и ехали кататься, не отдавая себе отчета в том, приятно это им или нет. В общем суета и веселая суতোлка нравилась им и чем далее, тем глубже всасывала их в себя. И уже им становилось скучно, когда в доме не было гостей.

Шебуев держался у Лаптевых особняком и хотя уверенно, но слишком уж как-то серьезно для компании, окружавшей его. Говорил он немного, а любезностей совсем не говорил. Чаще всего он являлся к ним со Скуратовым и беседовал с ним больше, чем с другими. Это было не особенно выгодно для него, ибо Скуратов своей бравой фигурой еще резче оттенял его угловатость и

неуклюжесть. Кроме Скуратова, все женихи относились к архитектору сухо и подозрительно. Являясь к Лаптевым, он обыкновенно садился куда-нибудь к сторонке и оттуда, с маленькой улыбочкой на губах, следил за всеми. Его присутствие вносило в веселую компанию некоторое стеснение, женихи постоянно то тот, то другой оглядывались в его сторону, как бы безмолвно приглашая и его принять участие в их острословиях и во всем, чем они пытались завоевать исключительное внимание Нади, которая жеманничала и портила себе лицо гримасами. Но Шебуев сдержанно молчал, а когда начинал говорить о чем-нибудь, то вскоре разговор принимал направление совсем не свойственное женихам и мало понятное для Лаптевых.

В глазах доктора Кропотова архитектор окончательно упал. Случилось это так: однажды у Лаптевых собрались только четверо — доктор, Шебуев, Нагрешин и Эраст Лукич. Между доктором и Нагрешиним, при веселом участии Ломакина, завязался разговор о Скуратове. Нагрешин с большим усердием рассказывал о жизни Скуратова в Петербурге, в полку, очень живописно изображал его кутежи, высчитывал его долги и в заключение воскликнул:

— Такой породистый человек и — представьте, не нынче — завтра нищий! Именье у него назначено в продажу... но оно не в состоянии покрыть и одной пятой его обязательств. Ведь у него их свыше двухсот тысяч! Мне его, ей-богу, жаль!

— Какое доброе сердце у этого юноши! — возводя глаза в дубовый потолок столовой, воскликнул Ломакин.

— Жаль? — с сомнением сказал доктор. — Не понимаю этого чувства по отношению к разорившемуся в кутежах барину! Жалеть мужика, у которого пала лошадь, жалеть рабочего, которому машина оторвала руки и тем лишила его единственного средства к жизни, — это я могу! Но гвардейца, скажу, гвардионца — за что жалеть?

— Вот как должен говорить человек с принципами! — воскликнул Эраст Лукич. — Не речь, а сталь, честное слово!..

— Ну, знаете, все-таки... — снисходительно говорил Нагрешин. — Он человек порядочный... такой перелом, как необходимость бросить все привычки, выработавшиеся в течение сорока двух лет...

— Разве он такой старый? — протяжно и капризным голосом спросила Надя. Говорить так она начала недавно в наивном убеждении, что это очень красиво.

— Иван Иванович лишку накинуд шесть лет... он щедрый парень! — сказал Ломакин.

— Ах, вы о физических неудобствах говорите? — презрительно заметил доктор.

— Тут и психика задета...

— Дворянская психика? — спросил доктор.

— Ну да... гонор этот и всё...

— Мне, скажу прямо, глубоко противна эта спесь людей, отпоенных рабской кровью, — с презрением на лице и в голосе сказал доктор.

— Носив сало, посив мак — ось тоби як! — громко шептал Ломакин на ухо улыбавшейся Наде.

— А вот я, — раздался сиплый голос Шебуева, — к дворянам слабость питаю. Психика лучших представителей этого класса возбуждает у меня что-то вроде зависти к ним, — зависти, смешанной с почтением. В ней, видите ли, много того, что называется благородством, много высоко и тонко развитого чувства собственного достоинства, врожденного отвращения ко всякой пошлости и подлости... И эта дворянская гордость, инстинктивное чувство, наслоившееся в продолжение десятилетий, порою придает дворянину высокую духовную красоту. Вспомним декабристов. Прекрасные были люди! Уже одно то, что барину трудно быть холопом, для меня очень ценно. А в нас, плебейх, живет инстинктивное холопство, вбитое барской рукой в нашу внутреннюю суть. И оно так глубоко вросло в плебей, что, даже и поднявшись на высоты культуры, он вносит туда с собою холопские чувства... Если мы посмотрим на современного плебей на высоте, в роли человека, облеченного властью... мы все-таки увидим в нем много общего с волостным старшиной... И если в чем плебей перевешивает патриция, так чаще всего в жадности ко благам материальным... А насчет крови, которую из нас

выпили дворяне... это дело прошлое, утрата невозвратимая. Это — забыть пора уж... и даже полезно забыть... Вредно человеку помнить, что он был рабом...

— Вы говорите что-то... ужасно странное! — с недоумением пожимая плечами, воскликнул доктор. — Вы демократ по крови... и вдруг такое, скажу... удивительное, унижающее вас суждение...

— Да ведь это суждение не одного меня унижает... если только оно унизительно, — спокойно улыбаясь, говорил Шебуев. — Вижу я недостатки крупные в плебейской психике и не хочу закрывать на них глаза. А у нас на этот счет слабо... демократу всякое снисхождение, аристократа — суди по всей строгости. А надо как раз наоборот. Снисходительное отношение к демократу может только портить его... Он в жизни — молодое лицо, и, ежели с ним поостроже обращаться, ему это преполезно будет... А дворян надо предоставить их исторической участи и не мешать им испаряться... но капитал их, лучшее в их психике, необходимо присвоить и усвоить. Чувство человеческого достоинства развито у них прекрасно, и именно в нем, по-моему, основа того, что зовется аристократизмом... Я даже прямо скажу, что демократия должна стремиться к аристократизму в его лучших свойствах.

— Отказываюсь понимать вас! — сказал доктор.

— Да-а, — протянул Нагрешин, всё время пристально смотревший на архитектора, — суждение чрезвычайно... оригинальное... Почему дворянин должен обладать каким-то особенным благородством психики?.. Не понимаю!..

— Это, однако, легко понять, — говорил Шебуев. — Я, видите ли, думаю, что психика-то в большой зависимости от химии. И отсюда полагаю, что человек, питавшийся всегда великолепно, рожденный от людей, тоже всю жизнь употреблявших хорошую, питательную пищу, обязательно должен был наесть себе некоторые особенности. Наверное, химизм мозга у человека, который ел хорошо, отличается чем-нибудь от мозга мужика, всю жизнь потреблявшего ржаной хлеб с мякиной да картошку и прочие злаки... Фосфора, что ли, там больше, кровь, пожалуй, почище...

— Кость белая...— вставил доктор.

— Да, и кость, надо думать, особенная. Ведь дворянин-то не только хорошо ел, а и белье носил тонкое и в комнатах жил чистых да высоких...

— А то, однажды, я сочинил такой экспромпт,— громко шептал Эраст Лукич, занимавший дам.— Говорили о правде, а я, знаете, и бухнул:

Правду сравнивают с солнцем;

Я на солнце вижу пятна,

И запятнанная правда

Мне, ей-богу, неприятна...

Хе-хе-хе!

— Как это хорошо! — громко сказала Надя. А Матрена Ивановна жирно засмеялась и ласково сказала Эрастушке:

— Ах ты, игрун ты забубенный!

— Как человек, знакомый с физиологией...— возмущенно говорил доктор.

— Верно, Аким Андреевич,— вдруг крикнула Лида,— дворяне всех благороднее и честнее...

— Что такое? — встрепенулся Ломакин.— Постоите, Лидия Николаевна, почему дворяне честнее?

— А потому и честнее, что все герои — дворяне... Атос, Портос, Арамис, д'Артаньян...

— Вот-с! — сказал доктор Шебуеву, красивым жестом руки указывая на Лиду.— Всего больше дворянство давало Атосов и Портосов.

— Тургеневых и Сен-Симонов, Чаадаевых и Байронов...

— И эта ваша... пищевая теория совершенно не объясняет, почему же купечество, которое тоже ест много и хорошо, не пополняет рядов интеллигенции?

— Подождите, пополнит! Оно еще вчера явилось из деревни, и не только его деда, а и отцы мякину ели... Из его среды уже выскакивали и Боткины и...

— Нет, извините, но ваш демократизм вызывает у меня недоумение...

— Это называется пессимизм! — объяснял Эраст Лукич Лиде.— И я по этому поводу тоже однажды сказал экспромпт:

Кто в тридцать лет не пессимист,
А в пятьдесят не мизантроп,
Тот, может быть, душой и чист,
Но идиотом ляжет в гроб!

— Батюшки, страх какой! — сказала Матрена Ивановна с неудовольствием, махнув рукой на Ломакина. — Ну те к шуту, Ерастужка!

— Позвольте! — вскричал Нагрешин. — Я это читал! Эраст Лукич, это было напечатано!

— Как же, как же! Было! Я ведь в юности печатал кое-что... как же, хе-хе-хе!

— А где это было?

— В «Вестнике Европы»... за-а... кажется за тысяча восемьсот восемьдесят шестой год.

— Это было помещено в сборнике автографов, изданном в пользу голодавших в девяносто втором году, — сказал Шебуев.

— А-а? Значит, перепечатали? Ну что ж? Я не претендую.

И Эраст Лукич вновь обратился к дамам.

Спор доктора с Шебуевым прекратился, прерванный экспромптом Эраста Лукича, но с этой поры доктор, ранее относившийся к архитектору хотя и холодно, но внимательно, стал смотреть на него с снисходительным сожалением и здороваться с некоторой небрежностью.

Когда Кропотков сообщил у Варвары Васильевны о том, что Шебуев тоже начал посещать дом Лаптевых, Малинин заметил, что на женщину это произвело неприятное впечатление, а сам он, наоборот, почувствовал удовольствие при словах доктора. И ему тотчас же стало стыдно пред собой за это чувство, захотелось сказать о Шебуеве что-нибудь хорошее.

— Наверное, его привлекает туда любопытство, — сказал он доктору.

— Гм... Я думаю, что он слишком практичен... для того, чтоб к этому любопытству не примешивать некоторых надежд, — ответил доктор.

— Как он держится с Лаптевой? — спросила Варвара Васильевна.

— Должен сказать, что более прилично, чем остальные претенденты на ее руку... Но он и не сумел бы дер-

жаться так, как они... В нем нет этой... гибкости... хотя в суждениях он крайне эластичен... В нем нет легкости ума, уменья ухаживать... этих кавалерских способностей...

— Я не могу подозревать его в желании жениться на Лаптевой, — сказал Малинин, но в голосе его не звучало уверенности.

Чуть-чуть улыбнувшись его словам, Варвара Васильевна спросила:

— Почему же?

И пожала плечами.

— Он должен быть выше этого...

— Вы говорите — должен быть, — внушительно отметил доктор.

— А Петр Кириллович уверен, что не выше, — сказала Любимова своим спокойным голосом.

— Доктор не любит его... доктор вообще не любит людей, — взглянув ей в лицо тихо произнес Малинин, точно доктора и не было в комнате.

— Благодарю вас за это мнение... — с усмешкой сказал доктор.

— Вы не сердитесь... ведь это правда. Я думаю, что вы уважать способны... может быть... но любовь... это тяжело для вас.

Малинин говорил тихо, ласково и смотрел в лицо доктора с неотразимой прямоотой. Варвара Васильевна засмеялась:

— Вот беспощадный человек!

А доктор взял свою бороду в кулак и сумрачно сказал, не глядя на Павла Ивановича:

— Я вполне согласен с определением этого... певчего Кирмалова... Сурков делает свои дерзости с перцем и с уксусом, а вот Павел Иванович со сливками и сахаром. Но результат одинаков — на них никто не реагирует...

— Вы сердитесь, доктор! — предупредила его Варвара Васильевна.

— О, нет! Нисколько, — с жестом, которым он как бы отстранял что-то от себя, возразил доктор и стал прощаться. Но Малинин не отставал от него. С обычным грустно-задумчивым лицом он пожимал руку доктора и говорил ему:

— Вот вы сейчас сказали — «этот певчий Кирмалов»... Кирмалова зовут Егор Максимович, и он очень хороший человек. Зачем вам нужно говорить о нем пренебрежительно — «этот певчий»?

— Я извиняюсь пред вами за Егора... Максимовича Кирмалова, — сказал доктор, осторожно освобождая свою руку из руки Малинина.

Доктор ушел, Малинин и Варвара Васильевна остались одни в небольшой, просто мебелированной комнате с двумя окнами в сад. Хозяйка сидела за столом, разливая чай, Малинин против нее на низком и широком диване, обитом темной клеенкой. Против него, за спиной Варвары Васильевны, вся стена была занята полками, на которых тесными рядами стояли книги. На верхней доске полки помещались чьи-то бюсты и два пучка ковыля, большие и пышные. Маленькое круглое зеркало на одной из стен и какая-то гравюра в простенке между окнами тоже были окружены пышными рамами из ковыля и засушенных растений. Кроме большого стола, за которым сидела хозяйка, в комнате было несколько кресел, круглый стол у окна, на котором лежали альбомы и стоял в широкой черной раме портрет какой-то кудрявой девушки. Хозяйка была одета в темное платье, красиво облежавшее ее статную фигуру, и, задумчиво откинувшись на спинку кресла, перебирала в руках свою тяжелую косу. А Павел Иванович, облокотясь на стол и подпирая голову рукою, смотрел через раскрытое окно в сад, где бесшумно вздрагивала листва сирени.

Приближался вечер, из сада пахло свежим листом, сырой землею, иногда доносился еле слышный полувздых, полущёпот.

— Вам было неприятно слышать то, что говорил доктор о Шебуеве, — произнес Малинин, не отводя глаз от окна.

Варвара Васильевна подняла голову и, взглянув на него, тихонько вздохнула.

— Вы спрашиваете или утверждаете? — спокойно и негромко осведомилась она.

— Утверждаю...

— А! Да, мне было неприятно... Я не люблю, когда о человеке говорят худо... мало зная его...

— Не только поэтому... Вам особенно неприятно, когда о Шебуеве говорят нехорошо...

— Вы заметили?

— Да. Он нравится вам...

— Вы правы...

Лицо у Малинина дрогнуло, и он с минуту молчал. Потом вдруг повернулся к ней лицом, поставил оба локтя на стол и, сжимая виски ладонями, нервно заговорил:

— Но если так, то зачем же вы не хотите привлечь его ближе к себе? Зачем вы не хотите влиять на него, указать ему, что он во многом ошибается, рискует сбиться с пути... зачем он ходит к Лаптевым? Вы должны сказать ему это... потому что, я знаю, — он послушает вас... Вы... такая сильная... спокойная...

Варвара Васильевна сильным взмахом головы перекинула свою косу за спину и ласково сказала:

— Павел Иванович, голубчик, не надо быть неискренним...

— Почему вы... думаете, что я говорю неискренно? — воскликнул Малинин, опутив глаза под мягким взглядом женщины.

— Ах, я же не маленькая! Разве можете вы искренно желать, чтоб мое отношение к Шебуеву...

— Не надо говорить об этом! — тихо попросил Малинин.

— Вот видите... У вас есть стремление мучить себя... это — лишнее и болезненное, нужно избавиться от этого...

— Я не мучаюсь... Я просто хочу ускорить... событие, которое должно сделать вас чужой для меня...

Варвара Васильевна вздохнула и с грустью посмотрела на него, говоря:

— Это не так... Я чувствую, вы надеетесь на что-то... Милый Павел Иванович, право же, ничто не может измениться! Я знаю себя... И снова говорю — не могла бы я быть для вас хорошей женой... Я простой рабочий человек и совсем не умею отвлекаться от работы в ту область, где живете вы лучшими свойствами вашей души... Вы — поэт, мечтатель... жизнь для вас как-то не интересна... вы окрашиваете действительность в мрачные цвета и ищете яркого и радостного вне действительности. Вы хо-

роший человек... но что же между нами общего? И на чем мы могли бы сойтись, подружиться? А ведь мужу и жене необходимо подружиться... Любовь пройдет, уважение плохо греет, а жизнь холодна все-таки... И надо подружиться для того, чтобы долго жить вместе и не чувствовать себя лишними друг для друга. А у нас вышло бы повторение басни о коне и лани... Вы именно трепетная лань... пугливая такая...

Она замолчала, а на лице ее дрожали грустные тени.

— Как я люблю, когда вы говорите! — тихо сказал Малинин, глядя на нее с тоской в глазах. — И как вы всегда правы... Это верно, я не люблю жизнь... Что такое жизнь? Когда о ней говорит Шебуев, она является у него то какой-то метафизической сущностью, то живым и нервным идолом, чудовищем, которое охвачено безумным стремлением быть совершенным, как бог, и почерпает силу стремиться — в жертвах ему, в жертвах людьми. Я не понимаю этого, не понимаю жизни... Какая это жизнь, когда нет красоты в людях, когда человек жалок и бессилён и лучшее его желание не поднимается выше желания видеть всех людей равно сытыми и равно умными? Я не вижу смысла в жизни... И уверен, что чем умнее будет человек, тем горше будет ему на земле... Счастье было возможно только в прошлом... когда жизнь была ярче, сил у человека было больше... когда все любили одеваться в цветные платья... А теперь <она> стала одноцветна, как осеннее небо... Я не знаю, чего можно ждать... Но я вижу, что чем более живет человечество, тем более видит вокруг себя и в себе самом грязи, пошлости, грубого и гадкого... и всё более хочет совершенного, красивого, чистого... Откуда же можно ждать счастья? Еще Екклезиаст говорил, что «кто умножает познания — умножает скорбь»... Шебуев говорит, что жизнь прекрасна... Он не знает ее... Он ослеплен ею...

— Ну, мне кажется, что именно он-то и должен знать ее! — сказала Варвара Васильевна.

— Что такое жизнь? Это сумма моих впечатлений... не больше! — воскликнул Малинин, вскакивая с дивана. Он тоскливо заметался по комнате и, отбрасывая руками волосы, падавшие ему на глаза, продолжал говорить:

— Шебуев видел, как нищий разделил с другим нищим свой последний кусок хлеба. И вот он кричит: человек добр! жизнь прекрасна! Я не могу так кричать... Я вижу только двух нищих, которые хотя и поели, но все-таки оба голодны... Кирмалов говорит, что ему стыдно каждый день есть, ибо он знает массу людей, которые не могут этого... Я думаю, что это смешной стыд и — только... Хребтов полагает, что если все рабочие объединятся в ассоциации, то на земле наступит царствие божие... Я думаю, что все рабочие — это такое же нереальное и неуловимое умом, как человечество, общество... Я знаю только человека и нахожу, что ему становится нечем жить, как только он начинает спрашивать себя о том — как жить? чем жить?..

Он замолчал, ткнулся в кресло у окна и высунул голову на воздух в сад.

В комнате зазвучал ласковый и мягкий голос женщины:

— Вы знаете,— я не умею говорить о таких мудрых вещах... Моего сердца и ума как-то не трогают эти мысли... а было время, когда я их считала совершенно чуждыми человеку, выдуманнными им для красоты... и даже для оправдания своей пассивности. Теперь я знаю, что они нужны, они действительно украшают жизнь и дерзость их плодотворна для нее. Но всё же они чужды мне... Я верю, что люди могут быть счастливы, знаю, что я должна работать для их общего счастья, и мне приятно работать. Как можно жить иначе? Я не представляю себе... Мне приятно толковать гимназисткам русскую историю, приятно объяснять рабочим в воскресной школе строение человеческого тела... Я даже как-то по-детски рада, когда вижу пред собой эти славные, пылливо сверкающие глаза и думаю о том, что настанет время и эти глаза увидят многое такое, что пока недоступно им. Они будут наслаждаться книгой, как я... и музыкой... И всё, что мне дает хорошие минуты, даст и им... Это славно! Быть может, моя радость — действительно только радость нищего, который делится с товарищем своим куском... быть может! Но это — радость... и я ею дорожу... Я для того, чтоб испытать ее, пойду на многое... Вот и всё мое...

Малинин встал с кресла грустный и бледный и с жадностью в глазах сказал ей тихо:

— Какая вы... простая! И я... я бы тоже на многое пошел... для вас!

— Нет, вы не пойдете... — грустно ответила ему женщина.

Он рванулся к ней... Но в это время за дверью спросили:

— Можно войти? Можно?

И, не дождавшись разрешения, в комнату вошла Татьяна Николаевна. Лицо у нее сияло, она задыхалась от волнения или усталости и как только явилась в комнату, то сейчас же восторженно и торопливо заговорила:

— Варя, Варя! Что я нашла! Павел Иванович, я была у вас... вы мне нужны! Ах, милый Павел Иванович, как я рада! Варя, какой он смешной, нелепый.

— Кто это? — улыбаясь, спросила Варвара Васильевна, обнимая старушку за талию и пытаясь усадить ее на диван.

— Это вы про меня? — удивленно осведомился Малинин, еще бледный от волнения.

— Подожди, Варя! Не тащи меня никуда! Я сейчас всё расскажу... по порядку... Павел Иванович! Какие у меня есть стихи!

Она бегала по комнате, зеркало отражало ее фигуру, и казалось, что всё в комнате как-то ожило, повеселело.

— Вы сами написали стихи? — засмеялась Варвара Васильевна.

— Ах, дайте же мне сесть!

Татьяна Николаевна птичкой вспрыгнула на диван и, вытащив откуда-то измятый кусочек серой бумаги, с восторгом потрясла им над головой.

— Вот — видите? Это — стихи!

— Ага-а! Еще один Кольцов? — нервно смеясь, воскликнул Малинин.

Одной из маленьких слабостей Татьяны Николаевны была ее страсть находить Кольцовых. Открывала она их штук по десяти в год, и все они действительно писали стихи. Как она находила их — это было известно только ей, но около нее был всегда какой-нибудь парень, которого она величала поэтом из народа, одевала его, кор-

мила, учила грамоте и всячески баловала. В большинстве случаев избалованный и захваленный ею поэт из народа важно выпячивал губы, поднимал нос кверху, надувался сознанием своей исключительности, как дождевой гриб влагой, и терял всякую охоту и учиться, и работать, и даже стихи писать. Проживая у Татьяны Николаевны, он кушал и спал, а в свободное от этих занятий время ухаживал за ее горничной Женей, тоже поэтессой. Когда Татьяна Николаевна убеждалась, что талант поэта окончательно затек жиром на ее хлебах, она с искренней грустью говорила:

— Это я испортила его, это я виновата!

Один из таких самородков взломал у нее шкаф и утащил серебряный подстаканник и ордена ее мужа. Но иногда под ее руководством из поэтов вырабатывались очень славные парни. Они уже не писали стихов, но русская литература едва ли много теряла от этого, жизнь — несомненно выигрывала, ибо в ней увеличивалось количество людей твердых духом и упорных в своей жажде правды, а Татьяна Николаевна говорила о них со слезами радости на глазах. Но всё же она сердилась, когда ей напоминали о неудачах с поэтами. И теперь, в ответ на слова Павла Ивановича, она вся встрепенулась и затрещала своим бойким язычком:

— Ска-ажите, как важно! «Еще один Кольцов!» А я говорю — выше, чем Кольцов... и уж во всяком случае не чета вам с вашей лирикой, пессимизмом, восходами и закатами солнца, гирляндами грез, цветами души и прочей звонкой мишурой — да-с! Что — хорошо я вас отбрила? Так вам и надо! Вы... вы чужой человек в жизни... вы ей чужой!

— Миленькая Татьяночка, не будьте жестокосердной! — подходя к ней и ласково положив ей руку на плечо, сказала хозяйка.

— А зачем он смеется! «Кольцов!» Ведь это он воспевает сладость разочарования в людях... ему нравится быть разочарованным, а мне — нет!

— Вы уж слишком очарованы... — сказал Малинин тихим голосом.

— Ну и пускай! Я влезла, мне и падать... Только я, кроме могилы, никуда не упаду... а в могилу мне еще

рано... я еще долго-долго буду жить и назло всем пессимистам стану кричать с Шебуевым: «Жизнь прекрасна!» Вот вам!

— Да прочитайте стихи-то! — попросила Варвара Васильевна.

— Ах, нет! Я прежде расскажу всё... Хожу я вчера по базару... купила мяса, овощей и ношу на руке корзиночку... Вдруг говорят мне: «Барыня, дайте я поношу!» Смотрю — юноша... Оборванный, худой, колени голые, глаза большие, лицо грязное. Глаза — огромные... половина лица — всё глаза! Смотрят так прямо... Лицо самое мужицкое, простое и милое... Я его и спрашиваю: «Ты кто? Ты почему такой? Ты голоден? Ты откуда?» И оказалось...

Веки Татьяны Николаевны вдруг покраснели, а из ее живых глазок одна за другою полились крупные светлые слезы. Они сбегали по морщинам ее щек, и от этого лицо ее стало еще более радостным и сияющим.

— Он идет из Вятской губернии в Москву учиться. Ему восемнадцать лет, и он учился в земской школе... Он идет третий месяц, пешком идет, оборванный, голодный... снег и грязь на дороге... он просил под окнами Христа ради кусок хлеба... Он и в школу убежал против воли родных... Его ругали и били за то, что он хотел учиться. Он говорит: «Ничего, что били! А я вот — иду! И я ведь знал, что встречу кого-то... какого-то человека, который мне во всем поможет!» Вы понимаете — он знал! Он верил, что кто-то ему поможет... Эта вера в кого-то... Это великая вера! Вы поймите... вы подумайте! Идет из Вятки в Москву пешком, через леса, по грязным дорогам, голодный, полуголый человек, томимый жаждой знания, идет и верит, что кто-то ждет его, кто-то поможет ему!.. Вы поймите — ведь это он в нас верит!

— Татьяночка! Не волнуйтесь так! — сказала Варвара Васильевна, любовно приглаживая своей красивой рукой растрепавшиеся седые волосы на голове старушки.

— В этом волнении — лучшее жизни, Варя! Я упиваюсь им, как живой водой... а ты говоришь — «не волнуйтесь!» Разве можно видеть человека, воскресшего из

мертвых, и не волноваться радостью?.. Я привела его к себе... Его зовут Яков... Послала его в баню, одела... Сегодня утром за чаем он подает мне вот эту грязную, милую бумажку и говорит: «А я вот стихи написал! Поглядите-ка...» Я взяла стихи и прочитала... расцеловала его, опрокинула всё на столе, разбила чашки...

Она смеялась, а слезы всё брызгали из ее глаз...

— Вот стихи! — вскричала она, расправляя измятую, исписанную карандашом бумажку:

В непросветной глуши
Я родился и рос...
Много видел я зла,
Много видел я слез!

В муках сердца я жил,
Рвался к свету, страдал
И в борьбе за себя
Не погиб, не упал...

И теперь я хочу
Моим братьям помочь:
Их стеснила собой
Непроглядная ночь,

Оковали их жизнь
И пужда и порок.
И не знают они,
Как мир божий широк,

Как хорош человек,
Как велик наш народ,
Как всё быстро кругом
К свету, к правде идет!

Мой несчастный народ!
Долго ль биться тебе
И себя изнурять
В неустанной борьбе?

Сколько силы в тебе
Сокровенной лежит!
Да на горе твое
Воля смелая спит! *

Изнуренная возбуждением, Татьяна Николаевна безмолвно опустила руку и замерла в неподвижной позе, с ожиданием глядя в глаза Варвары Васильевны.

Малинин молча подошел к Татьяне Николаевне, вынул из ее руки бумажку со стихами и стал рассматривать крупные буквы на ней, написанные карандашом. На его губах играла неопределенная улыбка и в лице было что-то недоверчивое. А Варвара Васильевна села на диван рядом с Ляховой и, взяв ее руки в свои, заговорила:

— Мне понравились стихи... славно это сказано: «Как мир божий широк! Как хорош человек!»

— Не правда ли, — радостно встрепенулась Татьяна Николаевна. — Теперь уж настоящий поэт! Я чувствую — настоящий! Я слышу детский, ликующий крик... Маленький русский мальчик рос в непросветной глуши и ушел из нее, повинувшись влечению к свету... Увидел свет и радостно закричал: «Как хорошо!» Но сейчас же вспомнил, что сзади него остались в глуши скованные нуждою и тьмой другие русые мальчики, и затосковал о них... Как это хорошо, что он и в радости своей вспомнил о других, как хорошо!

— Вы, Татьяночка, только уж не хвалите его, не балуйте!

— Не буду! не буду!.. Я его... не оставлю у себя... Мне это будет обидно... но не оставлю! Павел Иванович!.. Ну, что же вы? Хорошо? У него есть талант?

— Это трудно сказать... Стихи написаны... неумело, конечно... но в них действительно есть что-то...

Малинин говорил нерешительно, небрежно и вдруг, стиснув бумажку в руке, обратился к Варваре Васильевне:

* Стихи эти написаны крестьянином Нижегородской губернии Новиковым, парнем 18 лет, учившимся в земской школе. Новиков служит рабочим на огороде в одном поместье губернии.

— Мне жалко этого... поэта! Вот он будет читать книги. И чем шире станут раскрываться его глаза, тем более тесным и узким он увидит божий мир... Скоро он узнает, что и человек не так хорош... и совсем не быстро всё кругом идет к свету и правде... Узнает он интеллигенцию и сначала почувствует, что она чужда ему... потом увидит, что она бессильна и ничего не может дать ему, кроме противоречивых теорий и гипотез... Наконец, он спросит себя — где правда?

— И пускай спросит, и пускай увидит всё в настоящем свете! — задорно закричала Татьяна Николаевна. — И пускай страдает! Что за важность, если человек страдает? Достоевский страдал в каторге и написал «Мертвый дом»... И многие другие люди украсили жизнь страданием своим... И уголь чувствовал боль, когда из него создавался алмаз...

— Вы хотите приготовить еще одну жертву жизни?.. Хорошо. Но я желал бы понять, кого же насыщают этими жертвами.

— Ах, право же, я подарю вам револьвер! — раздраженно воскликнула Ляхова.

— Я сам куплю, не трудитесь. Но вы не ответили на мой вопрос — кто выигрывает оттого, что жизнь пожирает людей?

— Жизнь! — сказала Варвара Васильевна спокойно и серьезно.

А старая Ляхова, утвердительно кивая головой, добавила:

— Да, жизнь! Потому что она от этого становится всё разнообразнее, быстрее, интереснее.

Малинин тихонько засмеялся.

— Нет, право же, это Шебуев заразил вас — жизнь! жизнь!

— Шебуев? Что ж? Когда он говорит, что жизнь надо любить, — он прав!

— Да что такое эта жизнь? — воскликнул Павел Иванович.

Старушка вскочила с дивана и сказала с дрожью в голосе:

— Я — не знаю... Я прожила пятьдесят лет и так страдала! Какие страшные минуты, часы и дни и даже

годы переживала я... Смерть дочери... потеря мужа... арест и смерть сына моего... сына! Но я прожила бы еще пятьдесят, еще сто лет и готова вдвойне страдать... А если я узнала бы, что моей старой кровью можно еще ярче окрасить идеал,— я умру хоть сейчас...

Она стояла среди комнаты, и по блеску ее глаз, по дрожи морщин на ее лице Малинин видел, что она действительно готова умереть хоть сейчас, если узнает, что это надо... Он смотрел на нее и молчал.

— Что вы скажете? — спросила его Варвара Васильевна, с любовью и гордостью в глазах указывая рукой на Татьяночку, тоненькую и стройную, как девушка.

— Ничего не могу сказать... — тихо произнес Малинин, пожимая плечами. — Но порою мне, знаете, кажется, что между героем и рабом есть что-то родственное... Да и вообще пружины, двигающие человеком, — однообразны... по существу и отличаются одна от другой, должно быть, только упругостью и ритмом сокращений...

— Ох, это слишком мудро для меня! — сказала Татьяна Николаевна. — Не мне рассуждать и думать о героизме... а вот что между вами, Павел Иванович, и Сурковым, этим сущим декадентом, есть много общего — это я чувствую... Кстати, Варя, ты знаешь? Этот твой талантливый Владимир Ильич начал пить... да, да! Очень хорошо, не правда ли?

— Да, он пьет, — подтвердил Малинин.

Варвара Васильевна нахмурила брови и молча проплась по комнате.

— Странное время, странные люди! — задумчиво проговорил Малинин, глядя в окно. В саду тихо вздрагивала листва сирени, а на вершины старых лип и одинокого клена уже лег золотисто-красноватый отблеск заката.

— Мне как-то не жалко Владимира Ильича! — заговорила Варвара Васильевна. — Пьет? Ну, что же? И Кирмалов пьет...

— Ах, это другое дело! — воскликнула Татьяна Николаевна. — Он совсем особенный... к нему даже идет, когда он выпивши... Он такой... пылающий...

Малинин оглянулся на женщин и засмеялся.

— Что вы смеетесь, Павел Иванович? — спросила Любимова. — Вино губит Кирмалова... да! Но он живет жизнью, которой... можно завидовать! Вы знаете, как его любят все эти его товарищи — певчие, рабочие, босяки? Он им поет, читает, нагоняет на них тоску, как он говорит... Они зовут его Егорий Головня, слушают его, тоскуют с ним, и когда, под его влиянием, их души возбуждаются, — приходит Филипп Николаевич...

— И приносит с собой универсальную микстуру для лечения всех болезней духа — курс политической экономики, — сказал Малинин.

Варвара Васильевна серьезно взглянула на него и продолжила:

— И придает возбуждению этих людей целесообразность, методически развивает их самосознание...

— Не говорите больше, Варвара Васильевна! — воскликнул <Малинин>. — Мне делается больно, когда я слышу такие речи из ваших уст. Вы, такая красивая, такая...

— Павел Иванович! — укоризненно сказала Любимова.

— Хорошо, я молчу... Я знаю, что, говоря о Кирмалове, вы думаете: «Но есть люди, которые не пьют, никого и ничему не учат, а всё только спрашивают — зачем?» Да, такие люди есть. И, может быть, они действительно чужие жизни люди... никому не нужные... слабые... но — в них нет жестокости верующих.

Лицо Малинина дрогнуло и побледнело. Он торопливо, молча простился и вышел из комнаты. Варвара Васильевна ничего не сказала ему. Но Ляхова тотчас же воскликнула:

— Ой, Варя! Ты уж очень строго... Разве можно так?

— Татьяначка! Вы же сами предлагали ему подарить револьвер. И это вы назвали его чужим...

— Да неужели? Да, да! Ах, старая дура... Какая грубость...

Старушка заволновалась и, виноватыми глазами глядя на Любимову, стала спрашивать ее:

— Как же быть, Варя? Извиниться пред ним... Ах, господи...

Варвара Васильевна, сложив руки на груди, задумчиво ходила по комнате и молчала, нахмутив брови.

— Варя?

— Я знаю Павла Ивановича вот уже четыре года... Всё это время я всеми силами старалась рассеять его унылое настроение... но не только не успела в этом, а вышло еще хуже... Он влюбился в меня... И эта теплая, бессильная любовь меня... обидела... Да, обидела. Для каждой женщины любовь без радости обидна... А он однажды сказал, что любовь к женщине — печальная обязанность мужчины... и в подтверждение этих слов начал мне толковать Шопенгауэра... Я не думаю, что есть женщина, которую не оскорбила бы любовь по рецепту философа... Не скрою... Павел Иванович нравился мне сначала... И если бы я¹

¹ На этих словах машинопись обрывается.

О ПИСАТЕЛЕ, КОТОРЫЙ ЗАЗНАЛСЯ...

ФАНТАЗИЯ

...Нехорошо, когда писатель имеет много почитателей, нехорошо! Только болотным растениям не вредит избыток сырости, дубам нужно ее в меру.

Здесь я рассказываю об одном писателе, который по дороге к цели своей неожиданно забрел в трясины популярности, о том, как смешно и нелепо он вел себя, наглотавшись тины похвал, и что произошло с ним, когда голова его закружилась от туманных испарений славы.

Был он парень молодой, простодушный, но не совсем дурак, и отличался он от товарищей по ремеслу тем, что, всегда искренний, каждый день противоречил сам себе.

Жил он в стране, литература которой пользовалась всемирной славой, и когда начал спотыкаться о первые признаки популярности, то отнесся к ним с негодованием и подумал:

«Странно!.. В трубы им трубят — не слышат, дудочка поет — радуются!»

Парень этот не был скромн, отнюдь нет! Но он знал себе цену, вот в чем дело... И еще он знал, что в его родной стране нет народа — есть только «публика» — и что именно публика создает литературные и иные репутации, а народ живет своим бытом, писателями пренебрегает, верит в колдунов, всю жизнь только работает, но всегда голоден и всю литературу, вместе с другими любимыми публикой искусствами, в любой момент готов променять на мешок муки...

Но хоть герой мой и твердо знал всё это, однако человек он был! К тому же все писатели, и даже мудрые, — люди более или менее ограниченные. Он начал чувствовать, что ожесточенное внимание публики к его книгам приятно ему. Он стал получать от читателей лестные

письма... Один читатель писал: «Талантливый»... Другой черным по белому выводил: «Многоуважаемый»... Какая-то читательница писала просто, но сильно: «Душка! спасибо!» Точно писатель-то шелку на кофточку ей подарил. А один лавочник, торговавший книгами, прислал письмо такого содержания:

«М. г. господин писатель!

Будучи заинтересован, почему это публика так здорово покупает ваши многоуважаемые книги, я оные прочел, и из меня вылились нижеследующие стихи:

Как лили в болоте,
В душе моей унылой
Цвели мечты и грезы
О жизни без препон...
Цвели они, но робко,
Цвели и — увядали,
И в тине сердца гнили,
И пахло очень скверно...
Но ты проник мне в сердце,
Своим горячим словом,
Как искрами, осыпал
Ты мрак моей души!
И запылал я страстью,
Я стал безумно храбрым
И ныне гордо пахну
Паленою свиньей...

С истинным почтением

Сила Коршунов.

И много других сладостных знаков внимания получал писатель от публики. А чёрт, верный спутник писателя, смеясь подсказывал ему:

— Не смущайся, дурачок, ведь это по заслугам тебе, не смущайся! Ты для публики, как молодая любовница расслабленному старику. А также и не притворяйся скромным, ибо «карась любит, чтобы его жарили в сметане», а писатель — чтобы его коптили в дыму славы!

И вот герой мой начал потихоньку высовываться на глаза влюбленной в него публики, а она — рукоплещет.

И стал он к этому шуму привыкать, как пьяница к водке, и стало ему без рукоплесканий скучновато жить, а с тем вместе зазнаваться парень стал...

Однажды в людном месте толпа публики окружила его, прижала к стенке и, хлопая в ладоши, одобрительно покрикивала: «Бра-ва! Бра-ва!» А он стоял перед толпой, умильно улыбаясь, и было ему так сладко, точно его в патоке варили. Первый раз видел он публику на близком расстоянии. Но вдруг ему стало неловко, даже жутко; показалось ему, что сейчас начнут его щекотать под мышками, и в голове его зароились разные нелепые мысли. Казалось, что каждый из толпы, разглядывая его, мысленно сравнивает свои уши с ушами писателя, желая с точностью определить: чьи длиннее? Он почувствовал, что уши его растут, растут, достигают гигантских размеров... А публика стоит и кричит: «Бра-во-о!» Тогда в душе моего героя загорелось зловещее сомнение в принадлежности самому себе, и он подумал:

«Они считают меня своей собственностью и сейчас начнут играть мною, как мячом...»

А чёрт стоял около него и ехидно посмеивался: — Гляди-ка, гляди!..

Видит писатель — с десятков возросла толпа до сотен, а всё рукоплещет. Стоят среди нее благовоспитанные потомки Иуды Искарюта, Игнатия Лойолы и всех христородавцев, стоят твердо и тоже рукоплещут ему. Глаза публики, как сотни иголок, воткнулись в грудь моего героя, он смотрел в смущении на толпу: лица ее слились в одно огромное, мрачное, рабье лицо, глаз на нем не было, а только два мутных пятна на месте их, и нос был длинен, как хобот слона.

— Смотри! — сказал чёрт, — вожди ее вытянули ей нос, но не зажгли огня в сердце ее, и вот она слепая! И посмотри, какой у нее язык, ты посмотри!

Перед глазами моего героя шевельнулись огромные чувственные губы, открывая глубокую черную яму; в глубине этой ямы ворочалось какое-то скользкое, короткое, толстое ботало и со смрадом выговаривало: «Браво!» Писатель в страхе закрыл глаза, чувствуя, что его куда-то всасывает. Но когда он открыл их, перед ним стояли люди, самые обыкновенные люди стояли перед

ним крепкой стеной, лица их улыбались, глаза сверкали удовольствием детей, увидавших новую игрушку, и всё вокруг него было просто, обычно. От этих улыбок и ласковых глаз стало писателю тепло, страх таял в сердце его, и ему захотелось сказать что-нибудь публике, что-нибудь этакое задушевное. Он вздохнул как мог глубоко и сказал, прижав руку к своему испуганному сердцу:

— Господа!

— Bravo! Тсс... тише!

— Господа! — сказал он, — внимание ваше приятно щекочет мне сердце. Я, кажется, понимаю вас. Когда я был маленьким и слышал военную музыку, я, бывало, бежал за нею, и меня тоже занимала не столько сама музыка, сколько то, как солдат, играющий на большой трубе, надувает щеки... Благодарю вас, господа!

— Бра-воо-оо! — закричала публика.

— Мы любим вас! — громко сказал кто-то.

— Спасибо! — сказал писатель, растроганный и умиленный.

— Бра-воо!

— Господа! — возносясь куда-то, крикнул мой герой, — давайте поговорим по душе!

— Бра-воо!

А чёт, стоя сзади писателя, всё посмеивался — хитрый!

— Я, господа, в искренность вашего отношения ко мне верю, только плохо понимаю, чем я вызвал у вас столь теплые чувства. Иногда, знаете, мне кажется, будто вы меня за то любите, что я не ношу сюртука и в своих рассказах часто употребляю неприличные слова. И порой мне думается, что если бы я научился лирические стихи левой ногой писать, вы бы еще теплее, еще с большим вниманием относились ко мне...

— Бра-воо! — крикнула публика.

— И, видите ли, мне думается, что вы не настоящие читатели, а просто почитатели. Читатель — он знает, что важен не человек, а важен дух человеческий, и писателя не разглядывает, как теленка о двух головах. Он его читает, но ему не верит, и над книгой сам думает: «Вот это так, а это не так». А подумав, он делает что-ни-

будь хорошее, и потом это хорошее называется «историей», вы же, господа, творите не историю, а скандалы... И настоящего читателя совсем немного на земле, а таких, как вы, — вон сколько... По совести моей, я должен сказать, что никаких симпатий, и тем более уважения, не питаю к вам. Товарищи говорили мне, что публику уважать надо, но никто не мог объяснить — за что. Как вы думаете, за что можно уважать вас? —

Писатель замолчал, вопросительно поглядывая на публику. Она тоже молчала и как бы затуманилась немножко.

Откуда-то подуло холодным ветром.

— Вот видите ли, — после долгого молчания кротко сказал писатель, — вы и сами не в состоянии придумать, за что можно было бы уважать-то вас.

Какой-то рыжий человек открыл рот и басом молвил:

— Мы люди...

— Ну, много ли среди вас настоящих-то людей? Может быть, человек пять на тысячу найдется таких, которые страстно верят, что человек есть владыка и творец жизни, а право его свободно думать, говорить, ходить — святое право; может, только пять из тысячи способны бороться за это право и без страха погибнуть в борьбе за него. Большинство из вас рабы жизни или наглые хозяева ее — и все вы кроткие мещане, временно заступающие должности настоящих людей. То же, что есть в вас человеческого, — только зоологическое, — я вот смотрю в ваши тусклые и робкие глаза и со страхом вижу, как мало среди вас смелых, как мало честных! Бедна страна моя людьми сильными, а уж вновь наступило время, когда ей нужен герой! —

Человек двадцать из публики повернулись к оратору затылками и отошли прочь. Он же продолжал:

— Хороший, живой человек всегда куда-нибудь стремится, чего-нибудь ищет, а вы живете тихо, смиренно, неподвижно, так, как приказывают вам. Жить вам тяжело, думать лень, двигаться вы боитесь. Вокруг вас, точно у кокотки в гостиной безделушки на полочке, торчат полусгнившие традиции да разные житейские правила, ни к чёрту не годные. Всё это мешает вам свободно рукой шевельнуть, но всё это — ваши маленькие идола,

и вы не смеее низвергнуть их, хотя они — оковы вам. Когда ветер с поля приносит в затхлый воздух ваших нор новые свежие запахи, вы, опасаясь флюса в сердце, закрываете все форточки. Беспокойства не любите вы, беспокойство пугает вас! Но вам нужно иметь что-нибудь для разговора, нужно чем-нибудь занимать ваших гостей, как нищие на паперти, протягиваете вы руки к литературе, чтобы взять у нее что-нибудь для развлечения. Литература для вас острая приправа к пресноте вашей сумрачной жизни, вам нравится, когда пишут кровью и желчью, но только нравится. И ни любви, ни ненависти не возбуждает в груди у вас литература, — ничего, кроме крика одобрения или хулы. Вы не люди, вы зрители, публика. Жизнь не дрогнула бы, если бы вы все сразу исчезли из нее; провалились бы сразу в землю — ничего не изменится на земле!

Вы стойки, потому что рабы. Вас бьют — вы молчите, вас оскорбляют — вы улыбаетесь. Вас возмущают только жены, когда невкусен обед, а страдаете вы от жадности к благам жизни, от зависти друг к другу и от несварения желудка. Когда сапог вам жмет ногу — вы стонете: «О, как прав Шопенгауэр!» А слыша крик «Свобода!» — вы думаете про себя: «Что ему Гекуба?..» Чёрт бы всех вас побрал. Если бы вы знали, как вы жалки, как вы противны, как ужасно тяжело жить среди вас! Вам говорят — жизнь страшна, жизнь мрачна, она вся сочится кровью. Вы не верите, — ваша жизнь только пошловата и скучна, и когда вам указывают смерть и ужас этой пошлости, вы остаетесь спокойными, интересуясь лишь одним: красиво ли указано? Эстетика, утопающие в грязи, хоть бы скорее захлебнулись вы ею! —

Публика постепенно таяла. Она не любит длинных речей. А чёрт посмеивался — он ведь знал настоящую цену всего этого. Но оратор, увлеченный исполнением своего долга, ничего не замечал.

— Жизнь — героическая поэма о человеке, который ищет сердца ее и не находит, хочет всё знать и не может, стремится быть могучим — и не в силах победить своей слабости. Слыхали ли вы что-нибудь об истине, о справедливости, о желании видеть всех людей

земли гордыми, свободными, красивыми?.. Вам хочется быть только сытыми, жить в тепле, насиловать и развращать женщин под видом любви к ним, вам хочется жить спокойно, уютно, потихоньку — вот ваше счастье! А желание ваше лучшего счастья — купить на грош пятаков. Счастье ловят крепкими, мускулистыми руками, а вы трусливые, слабые, хилые, — вы даже и муху не можете поймать без помощи со стороны, вы и с мухой сражаетесь посредством ядовитой бумажки «Смерть мухам!» Мне жалко мух. Они жужжат и тем мешают спать; но я с радостью написал бы для вас бумажку «Смерть мухам!», чтобы вы, читая ее, отравлялись беспокойством. Вижу — я не прав здесь, вы беспокоитесь... Когда вам становится неудобно жить, потому что не хватает жалованья на прокормление семьи или оттого, что вам от скуки житья с вами изменяют ваши жены, — вы стонете, философствуете, жизнь кажется вам гадкой и тяжелой до поры, пока вам не прибавят жалованья или вы не найдете себе любовницы. И, наполняя жизнь старческим брюзжанием, скверным скрипом разочарования, своими жалобами на нее, вы отравляете души ваших детей. Вы останавливаете их мысль на мелочах жизни, на пошлостях ее, и эта мысль тупится, как меч, которым рубят дерево.

Потом и дети, утомленные вашими рассказами о жизни, которой вы не знаете, тихо идут проторенными тропами, преждевременно старенькие, холодненькие, дрянненькие. Идут они и ищут жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь уютную; находят ее и существуют потихоньку по примеру отцов. Они, как свежая известка, которой замазали трещину в старом здании. Это тяжелое, грязное здание всё пропитано кровью людей, которых оно раздавило; оно сотрясается от дряхлости, охвачено предчувствием близкого разрушения и в страхе ждет толчка, чтобы с шумом развалиться. И уже зреют силы для толчка; они нарастают, вспыхивают, они едва могут сдерживать сами себя, то там, то здесь вспыхивают пламенем нетерпения. Они придут; тогда старое здание задрожит, рухнет на голову вам и раздавит вас, хотя вы только за то достойны казни, что ничего не сделали. Но <не>виновных пет в жизни!—

Публики осталось совсем немного. Часть ее смотрела на писателя с сожалением, — любя читать его рассказы, она с грустью слушала его речь, ибо в этой речи не было ничего эстетического. Некоторые смотрели с сожалением. Всем было скучно, и никто не обижался. Вот какой-то юноша, нахмурившись, сердито крикнул:

— Всё это слова! Вы покажите, какая у вас программа, практика!

А почтенный господин заметил со вздохом:

— Эх, и я в молодости был романтиком...

Дама в черном платье спросила:

— Что, он и женщин ругает?

Чёрт смеялся.

— Еще нужно сказать вам: очень уж вы любите быть несчастными. Я думаю, вы это делаете по расчету: вам нечем возбудить друг к другу уважение и любовь, вот вы и становитесь нарочно несчастными, чтобы возбудить к себе жалость, сочувствие, дешевенькие эмоции, которыми вы одинаково обильно оделяете друг друга и с той же силой — собачонку, когда колесо экипажа раздробило ей ногу. Если бы у вас было здоровое, цельное чувство любви к жизни! Ведь вы не любите жизни, вы боитесь ее, вы тихонько, как вор, отрываете от нее кусочки. Кроткие люди! Бедные нищие! Пошли, господи, побольше бед на ваши головы, дабы вы обеспокоились; дай, боже, множество тревог вам, чтобы вы ожили! —

Из группы людей, стоявших перед оратором, один обиделся и закричал:

— Да не все мы таковы, чёрт возьми! Это, наконец, несправедливо!

— Господа, не требуйте от меня справедливости, ее нет в жизни, ее нет пока. Как среди вас может родиться справедливость? И вы все одинаково плохи. Вы — общество, как делить вас на хороших и дурных? Вы все в юности вооружались знанием, сидя в школах, и всех вас учат одному и тому же. Я думаю, что вы учились хорошему. Мне трудно представить университет, в котором учили бы человеконенавистному, бесстрастному отношению к жизни, стремлению к тепленьким местечкам и прочим премудростям. Мне почему-то всегда ка-

залось, что учат не тому. Но, однако, когда вы входите в жизнь, все эти мерзости не убывают в ней от вашего присутствия. Я не уверен, что вы приносите в жизнь свеженькие пошлости, и этого не буду утверждать. Я только знаю, что в 25 лет вы отрицаете собственность, в 35 лет у вас собственные приличные дома. Я знаю, вы умеете работать на себя, но спрашиваю — что вы сделали для жизни? Вы все одинаково холодно чувствуете, даже те из вас, которые горячо говорят. Сколько мерзости вокруг вас! Вы пробуете уничтожить ее, вы изгоняете ее? Нет! Но лучшие из вас, я видел, брезгливо прячутся от нее. Стремление быть чистеньким — недурное стремление, но честный человек не боится грязи. Будем говорить по совести: в том, что наша жизнь так скверна, мы все одинаково виноваты. На земле нет правых, нет еще! А откуда у вас так много холопства перед силой и где вы научились рабски бояться за целостность ваших шкур? Я утверждаю: всё подлое и отвратительное, что бросается в глаза на каждом шагу, — живо, сильно и так ярко цветет всюду вокруг нас потому только, что опирается на ваш страх за свои шкуры, на ваши холопские чувства. В позоре жизни виноваты мы все одинаково. И если бы я верил в силу проклятия, я бы проклял вас всех... Но я верю в нечто другое: скоро придут иные люди, люди смелые, честные, сильные, — скоро!

— Ну будет уж, — сказал чёрт улыбаясь.

Мой герой оглянулся. Перед ним и вокруг не было ни души.

— Странно, — сказал он, — неужели они все ушли?.. Я еще не кончил!..

— Они сгорели в огне твоих речей!.. Видишь копоть на потолке? Это всё, что от них осталось! Идем!

Я не знаю, что было дальше с моим героем. Мне не хочется выдумывать конец этой истории, я не предчувствую в нем ничего хорошего. Но я уверен, что нехорошо, когда у писателя разведется много почитателей. И всякий человек, имеющий дело с публикой, должен время от времени насыщать воздух карболовой кислотой правды вокруг себя.

Вот и всё...

ПЕРЕД ЛИЦОМ ЖИЗНИ

Перед лицом Жизни стояли двое людей, оба недовольные ею, и на вопрос: «Чего вы ждете от меня?» один из них усталым голосом сказал:

— Я возмущен жестокостью твоих противоречий, разум мой бессильно пытается понять смысл бытия, и сумраком недоумения перед тобой душа моя полна. Мое самосознание говорит мне, что человек есть лучшее из всех творений...

— Чего ты хочешь от меня? — бесстрастно спросила Жизнь.

— Счастья!.. Для счастья моего необходимо, чтобы ты примирила две основы противоречий души моей: мое «хочу» с твоим «ты должен».

— Желай того, что должен,— сурово сказала Жизнь.

— Я жертвой твоей быть не желаю! — воскликнул человек. — Я властелином жизни быть хочу, а должен व्यю гнуть в ярме ее законов — для чего?..

— Да вы говорите проще! — сказал другой, стоявший ближе к Жизни, а первый продолжал, не уделив внимания словам товарища:

— Я хочу свободы жить в гармонии с желаниями своими и не желаю быть для ближнего — по чувству долга — ни братом, ни слугой, я буду тем, чем захочу свободно — рабом или братом. Я не желаю в обществе быть камнем, который общество кладет, куда и как захочет, устраивая тюрьмы благополучия своего. Я человек, я дух и разум жизни, я должен быть свободен!

— Постой,— сказала Жизнь.— Ты много говорил, и всё, что скажешь дальше, мне известно. Ты хочешь быть свободным! Что же? Будь! Борись со мной, победи меня

и будь мне господин; а я тогда твоей рабой буду. Ты знаешь, я бесстрашна и победителям всегда легко сдавалась. Но нужно победить! Ты на борьбу со мной, своей свободы ради, способен? Да? Достаточно силен ты для победы и в силу веруешь свою?

И человек сказал уныло:

— Ты вовлекла меня в борьбу с самим собой, ты наточила разум мой, как нож; он вонзился мне глубоко в душу и раздвоил ее!

— Да вы с ней строже говорите, не жалуйтесь,— сказал другой.

А первый продолжал:

— Я отдохнуть хочу от гнета твоего. О, дай вкушать мне счастья!

Жизнь снова усмехнулась усмешкой, подобной блеску льда:

— Скажи: когда ты говоришь, ты требуешь или просишь?

— Прошу,— как эхо, человек сказал.

— Ты просишь, как привычный нищий; но, бедный мой, сказать тебе должна я — Жизнь милостыни не дает. И знаешь что? Свободный, он не просит, он сам берет дары мои... А ты, ты только раб своих желаний, не более. Свободен тот, в ком сила есть от всех желаний отказаться, чтобы в одно себя вложить. Ты понял? Отойди!

Он понял и улегся, как собака, у ног бесстрастной Жизни, чтобы тихонько ловить куски с ее стола, ее объедки.

Тогда бесцветные глаза суровой Жизни взглянули на другого человека — то было грубое, но доброе лицо:

— О чем ты просишь?

— Я не прошу, а требую.

— Чего?

— Где справедливость? Дай ее сюда. Всё остальное после я возьму, пока нужна мне только справедливость. Я долго ждал, я терпеливо ждал, я жил в труде, без отдыха, без света! Я ждал... но будет! Где справедливость?

И Жизнь ему бесстрастно ответила:

— Возьми.

О ВЕСПОКОЙНОЙ КНИГЕ

Я — не мальчишка, мне сорок лет, да! Я знаю жизнь, как морщины на своих ладонях и щеках, меня нечему и некому учить. У меня семья, и, чтобы создать ей благосостояние, я гнул спину двадцать лет, да-с! Гнуть спину — занятие не особенно легкое и совсем не приятное. Но — это было, прошло, и я теперь желаю отдохнуть от трудов жизни — вот что я прошу понять вас, сударь мой!

Отдыхая, я люблю почитать. Чтение — высокое удовольствие для культурного человека, я ценю книгу, она — моя дорогая привычка. Но я отнюдь не принадлежу к тем чудакам, которые бросаются на всякую книгу, как голодные на хлеб, ищут в ней какого-то нового слова и ждут от нее указаний, как жить.

Я знаю, как надо жить, знаю-с...

Я читаю с выбором только хорошие, тепло написанные книги, мне нравится, когда автор умеет показать светлые стороны жизни, когда он и дурное описывает красиво, так, что о достоинстве жареного не думаешь, наслаждаясь вкусом соуса. Нас, людей, поработавших на своем веку, книга должна утешать, она должна баюкать нас, вот что я вам скажу, сударь мой. Спокойный отдых — мое священное право, — кто скажет, что это не так?

Ну-с, и вот купил я однажды книгу одного из этих новых хваленых писателей.

Купил, любовно принес домой и вечером, разрезав осторожно листы, приступил к чтению. Должен сказать — с предубеждением приступил. Не верю в эти молодые, симпатичные и иные таланты. Люблю Тургенева — писатель тихий, кроткий, читаешь его — как

густое молоко пьешь и, читая, думаешь: «Это было давно, всё это прошло, прожито!» Люблю Гончарова — спокойно писал, солидно, убедительно...

Но — читаю... Что за чёрт! Прекрасный, точный язык, беспристрастие, этакая, знаете, ровность — очень хорошо! Прочитал один маленький рассказ, закрыл книгу, подумал... Впечатление грустное, но читать можно без боязни. Нет этих, знаете, резкостей, экивоков в сторону обеспеченных людей, нет стремления выставить меньшого брата образцом всяких добродетелей и совершенств, нет ничего дерзкого, всё очень просто, очень мило... Читаю еще рассказик — очень, очень хорош! Bravo! Еще... Говорят, что, когда китаец хочет отравить какого-нибудь благоприятеля, который почему-либо надоел ему, китаец угощает его имбирным вареньем. Великолепное, вкусное варенье, и до известного момента его кушаешь с невыразимым наслаждением. Но когда наступает этот «известный момент», человек вдруг падает, и — готово! Больше никогда и ничего ему не надо кушать, ибо он сам готов уже в пищу червям могилы.

Так вот и эта книга — я прочитал ее, не отрываясь. Дочитывал уже в постели, а когда кончил — погасил огонь и собрался баиньки. Лежу, спокойно вытянувшись. Темно и тихо...

Как вдруг, знаете, чувствую что-то необычное — начинает казаться, что надо мною во тьме вьются и кружатся с тихим жужжаньем какие-то осенние мухи, — знаете этих навязчивых мух, которые умеют как-то сразу сесть вам и на нос, и на оба уха, и на подбородок? Лапки их особенно раздражающе щекочут кожу...

Открываю глаза — ничего. Но в душе — что-то мутное, невеселое. Невольно вспоминается прочитанное, встают пред глазами сумрачные образы героев... Люди всё дряблые, тихие, бескровные, жизнь у них — нелепая, скучная.

Не спится мне...

Начинаю думать: прожил я сорок лет, сорок лет, сорок лет. Желудок варит плохо. Жена говорит, что я — гм! — что я ее уже не так горячо люблю, как любил лет пять тому назад... Сын — болван. Отметки у

него прескверные, ленится, катается на коньках, читает идиотские книги... Надо посмотреть, какие это книги... Школа — мучительное учреждение и уродует детей. У жены под глазами — гусиные лапки, а она — туда же... Служба моя — совершенная глупость, если рассуждать правильно. И вообще — вся моя жизнь, если рассуждать правильно...

Тут я попридержал вожжи своего воображения и вновь открыл глаза. Что за чертовщина?

Смотрю — у моей кровати стоит книга. Сухая, тощая, на тонких длинных ножках, она качает одобрительно маленькой головкой и тихим шелестом страниц говорит мне:

— Рассуждай правильно...

Лицо у нее какое-то длинное, свирепо-тоскливое, и глаза мучительно ярко сверкают и сверлят мне душу.

— Подумай-ка, подумай — зачем ты прожил сорок лет? Что ты внес в жизнь за это время? Ни одной свежей мысли не родилось в твоей голове, ни одного оригинального слова не сказал ты за эти сорок лет... Никогда твоя грудь не вмещала в себе здорового, сильного чувства, и, даже полюбив женщину, ты всё соображал — удобной ли женой она будет для тебя? Половину жизни ты учился, другую — забывал то, чему выучился. И всегда ты заботился только об удобствах жизни, о тепле, о сытости... Ничтожный, незаметный ты человек, лишний, не нужный никому. Ты умрешь, и — что останется после тебя? Как будто ты и не жил...

Лезет она на меня, эта проклятая книга, вваливается мне на грудь и давит. Страницы ее дрожат, обнимают меня, шепчут мне:

— Таких, как ты, — десятки тысяч на земле. Все всю жизнь сидите в своих теплых щелях, как тараканы, и оттого жизнь так скучна и сера.

Я прислушиваюсь к этим речам и чувствую, как будто в сердце мне залезли чьи-то тонкие холодные пальцы, шевыряются в нем, и мне тошно, больно, беспокойно. Жизнь никогда не казалась мне особенно яркой, я смотрел на нее как на обязанность, которая вошла в мою привычку... А впрочем, вернее сказать, я никак не смотрел на нее... Жил и — всё тут. Но теперь эта

дурацкая книга окрасила ее в какой-то невыносимо скучный, досадно серый цвет.

— Люди страдают, чего-то хотят, к чему-то стремятся, а ты служишь... Чему ты служишь? Для чего? Какой смысл в этой службе? И сам ты не находишь в ней удовольствия, и другим ничего не дает она... Зачем ты живешь?..

Эти вопросы кусали меня, грызли, я не мог спать. А человек должен спать, сударь мой!

Со страниц книги смотрели на меня лица ее героев и спрашивали:

— Зачем живешь?

«Не ваше дело!» — хотел я сказать и не мог. Как-ие-то шорохи, шёпоты звучали в моих ушах. Мне казалось, что волны житейского моря подхватили мою кровать и уносят ее со мною куда-то в безбрежность и качают меня. Воспоминания о прожитых годах вызывали у меня что-то вроде морской болезни... Никогда я не проводил столь беспокойной ночи, клянусь вам, сударь мой!

И я спрашиваю вас — какая польза человеку от книги, которая беспокоит его и не дает ему спать? Книга должна повышать мою энергию, а если она сеет иглы на мою постель — зачем мне она, позвольте узнать? Подобные книги следует изъять из употребления, — вот что, сударь мой! Ибо — человек нуждается в приятном, а неприятности он сам способен создать...

— Чем это кончилось? Очень просто-с. Я, знаете, поутру встал с постели злой, как чёрт, взял эту книгу и отнес ее к переплетчику.

А он мне ее пе-ре-плел! Переплет крепкий, тяжелый. Она стоит на нижней полке моего книжного шкафа, и, когда мне весело, я, тихонько дотронувшись до нее носком сапога, спрашиваю ее:

— Что, взяла, а?

ПЕСНЯ О СЛЕПЫХ

Как-то раз летним вечером, бродя по окраинам города, по кривым узким улицам, среди маленьких домиков, полусгнивших от старости, я заглянул в открытую дверь кабака и удивился, что в нем много людей, но сидят они тихо.

Оглянул я кабак,— маленькую комнату с кривым полом и провисшим потолком,— в полутьме разглядел взлохмаченные головы, ситцевые рубахи без поясов, ноги босые и в опорках и увидел, что в углу около столика тесной кучкой сидят пять или шесть человек. Кто-то из них густым хриплым голосом говорит:

— А то есть в моей стороне тополь-дерево, не такой, что у вас, а прямой, як свеча перед образом...

Я шагнул через порог,— человека два мельком взглянули на меня и молча отворотились в ту сторону, откуда раздавался голос. Старик-кабатчик, сидевший за стойкой, бесшумно встал навстречу мне; я негромко спросил у него бутылку пива...

— Всё иное в моей стороне, всё милое... только бедность такая ж, як здесь...

— Она везде одинакова...— сказал кто-то другим голосом.

Сидя под окном у стола, я рассматривал людей и, через головы их, лицо того, кто говорил о тополях. Я тоже люблю тополя,— они так прямо и гордо поднимаются к небу.

О них говорила женщина. Она была немножко выпивши; ее толстые губы улыбались блаженной и грустной улыбкой человека, вспомнившего хорошее. Большая, полная, она тяжело навалилась грудью на стол

и, закрыв глаза, говорила, печально покачивая головой:

— Нигде не хорошо человеку, як на родине...

— Бедному — где хлеб, там и родина... — вновь сказал кто-то тонким голосом.

Человек, сидевший против женщины, налил рюмку водки и подвинул к ней...

— Выпей!

Человек этот был высокий, худой, в шапке черных волос на голове, в рваной рубахе с расстегнутым воротом. Глаза у него были большие. Он беспокойно вращал ими во все стороны и всё поглаживал свою бороду, черную, густую, растрепанную. Рядом с ним сидел коренастый рыжий парень с солдатскими усами, с ремнем на голове, — должно быть, пекарь. Третьим против женщины сидел знакомый мне жестянщик Нюшка. Он был сильно пьян и дремал, глядя на женщину тупыми глазами, сквозь ресницы, тяжело опустившиеся на его мутные зрачки. Иногда он открывал рот, как засыпающая рыба, и бормотал:

— Х-хохлаша... пой! Ну... пой!

Остальные люди — человек шесть — как-то расплывались в полутьме и облаках табачного дыма. Все они сидели неподвижно, молча пили водку и пиво; лишь порой кто-нибудь из них бросал в воздух слово, и оно тихо, малой птичкой, перелетало из одного угла комнаты в другой.

— Пийдешь на ярмарок — слипци поють! — рассказывала женщина. — Хорошо слушать их! Хорошо...

Против меня у другого окна за столом сидел человек, лицом похожий на дьякона. Длинные волосы падали ему на плечи и сутулую спину, клочковатая рыжая борода осыпала грудь широким веером. В массе волос лицо его казалось уродливо маленьким. На нем был надет черный сюртук, весь измятый, и крахмаленная рубаха, тоже смятая и вся в пятнах. Из-под бороды высовывался конец развязавшегося галстуха. Его левый глаз затек синеватой опухолью, а правым он неподвижно смотрел на женщину.

— Я был там! — вдруг сказал он глухим рыкающим голосом и ударил ладонью огромной руки по

столу. Все обернулись, и женщина, приподняв голову, вытянула шею к нему.

— Был в Киеве... Белой Церкви... и еще во многих городах... имена их уже не помню теперь. Всё, о чем ты говоришь, видел я, знал. Днепр... Гой ты, Днепр ли мой широкий! Это я пел, когда был в оперном хору...

Голос его наполнял кабак подземным рокотом, властно вторгался в грудь вместе с воздухом, и в груди у меня стало тяжело от этого угрюмого и безнадежного звука.

— Садись ко мне, женщина, я тебя угощу пивом...

Черный и худой человек встал и заявил:

— Нельзя! Я угощаю...

— Ну, всё равно. Ты или я — всё равно...

— П-пой, хохлуша! — застонал жестянщик.

Женщина ласково взглянула на человека с подбитым глазом и сказала:

— Коли вы были тамо, то знаете...

— Сердце глупого подобно разбитому сосуду и не удержит в себе никакого знания, женщина... Это говорит Иисус, сын Сирахов... Можешь ты петь? Я тебе дам двугривенный.

Он тяжело завозился, отыскивая рукой карман в брюках.

— Заплатят без вас! — с презрением и обидой крикнул черный человек с беспокойными глазами.

— Всё равно! Всё — всё равно... Ты, я, она... мы все — как помет осла в пустыне, по дороге к Иерусалиму...

Рыжий мужик с угрозой взглянул на философа, вынул из кармана кисет и потряхнул им в воздухе. Звякнули деньги.

— Видал? — спросил рыжий и снова засунул кисет в карман.

Женщина закрыла глаза и, качнув головой, заговорила:

— Ось, теперь як пред очима воны... Сидять на земли, близ дорози, а сонечко пече им головы, и витер осыпае пылью...

— Так. Помню! — точно молотом ударил, сказал человек с подбитым глазом.

— Кругом стоять люди тыном... И поют воны, ти слипенькне...

Из большой груди женщины вырвался густой дрожащий звук.

Ма-а-ти-и-нко!..

— Так! — рывкнул бывший оперный хорист, снова ударяя рукой по столу.

— Позвольте вам сказать — не мешайте! — с раздражением крикнул черный мужчина. — Я сам певец. И хоть голос у меня не бычий, как у вас, ну — постоять за себя могу во всякое время...

— Дурак! — густо сказал человек с бычьим голосом. — Что ты сердисься? Разве не знаешь: речь глупого — как бремя в пути, и в устах глупых — сердце их, уста же мудрых в сердце их...

Рыжий уже перемигивался со своим товарищем, толкал его локтем в бок и засучивал рукава рубахи, а черный и худой человек стиснул зубы и сжал кулаки. Но из угла раздался чей-то тонкий голос:

— Если вы, господин, человек ученый, то не мешайте людям иметь удовольствие... Говорите хорошие слова и ругаетесь... не подобает!

Женщина открыла глаза, вздохнула и вновь закрыла их. Потом, закинув голову и положив одну руку на грудь себе, она запела голосом низким и сильным, как рев большой медной трубы:

Ой, да пожа-аийте бидных слипеньких...

Бо не може-емо мы ро-обити-и...

Бо не вп-пдять на-аши оченьки...

Все люди в кабаке успокоились. Черный человек сел и стал помахивать рукой в такт однотонной мелодии. Лицо рыжего стало серьезным. Он важно оглянулся и, подняв кверху палец, прошипел:

— Ш-ш-ш...

Но в этом не было надобности. Все сидели неподвижно, как сидят дряхлые старики, греясь на солнышке. Человек в сюртуке вытянул шею, подставил ухо под голос женщины и замер, внимательно слушая. Один глаз его в сумраке казался мне огромным и чер-

ным, как погасший уголь, а другой был маленький и блестял напряженно и живо.

О-ой, не ви-идять свету бо-ожо-го...

О-ой, не ви-идять ясна со-онечка...

По-ожали-йте бидных сли-ипеньки-и-их...

Мотив песни был однообразен, как рыдание. В нем, может быть, были только две ноты, только две. Они располагались в мелодии, как зубы на длинной железной пиле, но от их однообразного движения рождалась музыка, резавшая сердце острой скорбью.

Пожа-алийте, люди бо-ожи-я...

В звуках песни было заключено невыносимое страдание человека, который хочет видеть солнце — и не может, и горько стонет, безнадежно качая головой.

Ой, ку-уда идем, не види-имо-о-о...

Голос женщины хорошо передавал мучительный рев человека, плененного тьмой. Слова в ее пении казались круглыми, они болезненно дрожали от напряжения выразить силу и боль того чувства, которое влагалось в них... В кабаке было тихо. Густой голос женщины наполнил собой всю комнату, как смолой обливал всех людей, сидевших в кабаке, и широкой дрожащей струей тек в открытую дверь на улицу.

Я смотрел на поникшие головы людей, на их фигуры, охваченные песнью и сумраком, и в окно, на небо. Солнце зашло, и небо на западе рдело алыми цветами. В пламени заката таяла маленькая туча странных очертаний, похожая на огромную птицу с распростертыми крыльями. На пурпуровой завесе горизонта четко рисовались черные деревья, и туча, похожая на птицу, как бы опускалась к их ветвям. В поле было тихо и пустынно. Только прозрачные тени ползли по земле, невидимо являясь справа и слева от солнца, глубоко ушедшего в землю. Глухой дрожащий голос женщины наполнял меня, как вода сосуд, и, кажется, все другие чувствовали себя тоже полными рыдающих звуков. Все сидели неподвижно, все молчали. Только однажды раздался хриплый голос пьяного Нюшки:

— За-ачем она воет?

Но он утонул в пении, как камень в глубоком ручье, где даже звук падения его был еле слышен.

Ой, свя-атая ма-ати бож-ая,

Ой, за-а что-о ты на-аказала-а на-ас?

— пела женщина, кивая головой в такт своей песне. Она как бы молилась и так шевелила пальцами руки своей, прижатой к груди, точно касалась ими невидимых людям струн, туго натянутых в сердце ее.

Я видел, как рыжий мужик с ремнем на голове протянул руку к женщине и положил перед нею большой пятак. Положил и — перекрестился.

Не открывая глаз, женщина нащупала рукой монету, взяла ее в пальцы, тихонько стукнула ею по столу и снова положила на прежнее место. Рыжий вздохнул, пошевелился и вновь низко опустил голову.

Сумрак в кабаке всё рос, росла и сила звуков песни о слепых. Во мне эта песня будила странное, большое и жуткое чувство. Было мне жалко всех — и слепых, и зрячих, и самого себя — за всё то, что я видел в жизни моей. Хотелось тоже петь о чем-то, и, глядя в небо на багровый отблеск ушедшего от земли солнца, я думал с боязнью — взойдет ли?.. И еще другие, тоже странные мысли рождались в голове. Казалось, что это невыразимо грустное пение дрожало в теле моем, и ничего я не слышал, кроме его, точно оно охватило собою всё вокруг и звучало, как плач всех людей в кабаке.

Вот к голосу женщины стал примешиваться другой, еще более глухой, чем ее, голос. Он пел негромко, без слов, одними звуками и был похож на отдаленное рычание грома. Низкий, октавный — он расстилался в воздухе бархатной полосой, от него дрожали стекла в окнах; слова, которые выпевала женщина, опирались на него, росли на нем, и он был им — как почва. Теперь уже точно две трубы гудели в воздухе, — одна, большая, давала фон для мелодии, другая, меньше, выговаривала мелодию угрюмым плачем, скорбными словами. И в самой бедности звуков песни было что-то странно грустное, до боли сжимавшее душу скорбью...

Слипы о-очи, и душа сли-ипа-а,
Ой, и слез нет, чтобы пла-а-кати...

— О-о-о! — гудело в воздухе мрачное эхо.

Это пел человек с подбитым глазом, тот, длинно-волосый. Он согнулся на стуле, вытянул шею к женщине, его волосы упали ему на щеки, осыпали всё лицо и скрыли его. Конец галстука болтался в воздухе, точно на шее этого человека была надета петля.

По-ожалийте, люди до-обрые...

— раздавалось жалобно в кабаке.

— Будет! — крикнул черный мужчина, ударив кулаком по столу.

— Молчать! — рыкающим голосом возразил ему человек с подбитым глазом.

Женщина, должно быть, не слыхала этих двух криков. Не открывая глаз, она всё перебирала пальцами на груди, и качала головой, и пела:

По-омо-ги-ть, кто в бога ви-пруе...

— О-о-о! — вторило ей эхо.

Я встал с места, кинул деньги за пиво и ушел скорыми шагами из кабака, где было уже совсем темно и где душно мне было, — на улицу и вдоль по ней в поле, где еще не угасли отблески заката и было тихо...

Жадно глотая прохладный воздух, я шел, дышал и смотрел в небо, ожидая первых звезд.

Вот предо мной широкая прямая дорога вдаль, на закат солнца; по сторонам ее неподвижно стоят старые печальные березы и точно прислушиваются к чему-то; ни одна ветка не дрогнет на них. Ночная птица бесшумно пронеслась в воздухе. Черная, она явилась так же незаметно, как являются в душе воспоминания, и исчезла в сумрачной дали.

Я шел всё дальше, предо мною тихо гасла заря, и в груди моей глухим эхом звучало:

Слипы о-очи, и душа-а слипа-а...

По-омоги-ить, кто в бога вируе-е...

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Архив Г_{1-х1}* — Архив А. М. Горького, т. I. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939; т. II. Пьесы и сценарии. М., Гослитиздат, 1941; т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе, 1951; т. IV. Письма к К. П. Пятницкому, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой, 1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, 1957; т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладъжникову, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1960; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., Изд-во АН СССР, кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым, М., «Наука», 1966.
- БЖ* — издание Библиотека «Жизнь».
- Воровский* — В. В. Воровский. Литературно-критические статьи. М., ГИХЛ, 1956.
- Г и Короленко* — М. Горький и В. Короленко. Сборник материалов. Переписка, статьи, высказывания. М., Гослитиздат, 1957.
- Г и Чехов* — М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания. М.—Л., 1951.
- Г, Материалы* — М. Горький. Материалы и исследования, тт. I — IV. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1934—1951.
- Гр₁₋₂* — М. Горький. Собрание сочинений. Ред. и комм. И. А. Груздева, тт. I—XXIII, М.—Л., ГИЗ, 1928—1930; тт. I—XXIII, 1930—1931; тт. I—XXVI, изд. 2, дополненное.
- Грж* — М. Горький, Избранные рассказы. 1893—1915. Петербург, Берлин, Москва, изд. З. И. Гржебина, 1921.
- Г-30* — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. Гослитиздат, 1949—1953.
- Г Чтения*, — Горьковские чтения, 1958—1959. М., Изд-во АН СССР, 1961.
- ДБЗ* — Дешевая библиотека товарищества «Знание», СПб., 1906, №№ 1—35.

- ДЧ*₁₋₂ — М. Горький. Очерки и рассказы. СПб., изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, тт. I—II, 1898; т. III, 1899; т. I—II, изд. 2; СПб; 1899.
- ЖЗ* — Сочинения М. Горького. СПб., «Жизнь и знание», тт. X—XII, 1914; тт. XIII, XVII—XX, 1915; тт. XIV, XVI, XVII, 1916; т. XV, 1917.
- Зн*₁₋₁₀ — М. Горький. Рассказы. СПб., изд. товарищества «Знание», тт. I—IV, 1900, т. V, 1901; тт. I—IV, изд. 2, 1901; т. VI («Пьесы»), 1902; т. V, изд. 2, 1903; тт. I—IV, изд. 3, 1901; тт. I—V, изд. 4, 1903; тт. I—VI, изд. 5, 1903; тт. I—V, изд. 6, 1903; тт. I—V, изд. 7, 1903; тт. I—IV, изд. 8, 1903; тт. I—VI, изд. 9, 1903; т. VII («Пьесы»), изд. 1, 1906; т. VIII («Пьесы»), изд. 1, 1908; т. I, изд. 10, 1908; т. II, изд. 10, 1911; т. IX, изд. 1, 1910; т. III, изд. 10, 1912; т. IV, изд. 10, 1910.
- К* — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21, Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.
- ЛБГ* — Личная библиотека М Горького, хранящаяся в мемориальном музее на улице имени В. И. Качалова в Москве.
- ЛЖТ*_{I-IV} — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.
- Лит Насл* — Горький и Леонид Андреев. «Литературное наследство», т. 72. М., Изд-во АН СССР, 1965.
- Луначарский* — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.
- Поссе* — В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М., 1929.
- Пр Зн*_{8,10} — текст *Зн*_{8,10} с авторской правкой для издания *К*, хранящийся в Архиве А. М. Горького.
- ПТ* — первопечатный текст.
- Чехов* — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 20 томах. М., 1944—1951.

В пятый том настоящего издания вошли повесть «Трое», рассказы, очерки, наброски, написанные Горьким в период с апреля 1899 по февраль 1901 гг. Поэма «Двадцать шесть и одна» и повесть «Трое» включались автором в *Зн₁-10*, *К*. Поэма «Двадцать шесть и одна» вышла также отдельным изданием в *ДБЗ*, позднее была включена автором в однотомник *Грж*.

11 произведений этого тома в собрания сочинений и авторизованные сборники Горьким не включались. Все они (за исключением третьей главы «Мужика») были опубликованы при жизни автора и, кроме «Песен покойников», вошли в собрание сочинений в 30 томах.

Рассказы и очерки «Ссора», «Голодные», «Сирота», «В сочельник», «Пузыри», «Мужик», «О писателе, который зазнался...», «Перед лицом жизни», «О беспокойной книге», «Песня о слепых», «Песни покойников» после первой публикации самим автором не перепечатывались. Текст произведений «О писателе, который зазнался...» и «Перед лицом жизни» правился Горьким после их первой публикации, но не печатался им.

Основные принципы распределения произведений в настоящем издании изложены в предисловии Института (т. 1, стр. 5—10). Условные сокращения основных источников, используемых при подготовке настоящего издания, приведены в данном томе. Отсутствие специальной оговорки о рукописях и машинописях означает, что либо они не сохранились, либо редакция ими не располагала.

Тексты включенных в том произведений подготовили и примечания к ним составили: *Э. Л. Ефременко* («Двадцать шесть и одна»); *В. А. Максимова* («Мужик»), *Ф. Н. Пицкель* («Ссора», «Голодные», «Сирота», «В сочельник», «Пузыри», «О писателе, который зазнался...», «Перед лицом жизни»), *А. А. Тарасова* («Песни покойников», «О беспокойной книге», «Песня о слепых»). Текст повести «Трое» подготовлен *Л. Н. Смирновой*, примечания к повести написаны *А. И. Овчаренко* (творческая история), *Л. Н. Смирновой* (история текста) и *И. И. Вайнбергом* (реальный комментарий).

Тексты рассмотрены и утверждены специальной Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

В редакционной работе, связанной с подготовкой тома к печати, принимал участие *Н. Н. Жегалов*, в библиографической проверке — *И. И. Соколова*.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ И ОДНА

(Стр. 7)

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1899, т. XII, декабрь, стр. 263—276.

В Архиве А. М. Горького хранится текст *Зн*₁₀ с авторской правкой для *К* (ХПГ-8-2-1).

Печатается по тексту *К* с исправлением: *стр. 12, строка 33*: «и при часах» вместо «при часах» (по всем предыдущим источникам).

По свидетельству современников, рассказ написан в конце декабря 1898 г. в Нижнем Новгороде. Как вспоминал А. Е. Богданович, осенью 1898 г. семья Пешковых поселилась в доме на углу Полевой улицы и Н. Базарной площади, куда вскоре «приехал к А <лексею> М <аксимовичу> друг детства Н. З. Васильев с семьей <...> Вот тут-то, о рождестве, А <лексей> М <аксимович> совершил творческий подвиг: запершись в маленькую комнатушку в мезонине, он, по его словам, в 24 часа почти непрерывной работы написал рассказ „Двадцать шесть и одна“ (А. Богданович. Страницы из жизни Максима Горького. Минск, 1965, стр. 34, 35).

Возникает, однако, вопрос: действительно ли это было в 1898 году? Если так, то чем объяснить, что рассказ появился в печати спустя год после написания? В письме к Д. Д. Протопопову (конец февраля 1900 г. — *Архив Г_{VII}*, стр. 14) Горький датировал поэму «Двадцать шесть и одна» 1899 годом, под этой же датой она была опубликована в четвертом томе «Рассказов» издания товарищества «Знание». Косвенным подкреплением этой датировки служит и сообщение Горького в письме к Чехову (конец ноября 1899 г.), что к декабрю он должен написать для «Жизни» рассказ (*Г-30*, т. 28, стр. 104). То, что произведение было написано в очень короткий срок, подтвердил сам Горький в ответе на специальную анкету: «Бывали случаи, когда писал круглые сутки и больше, не вставая из-за стола. Так написаны: „Изергиль“, „Двадцать шесть и одна“ (*Г-30*, т. 26, стр. 224).

В основу произведения положены впечатления писателя, связанные с жизнью в Казани и работой в булочной Семенова. В «Моих университетах» Горький писал: «Этот период жизни очерчен мною в рассказах „Хозяин“, „Коновалов“, „Двадцать шесть и одна“ — тяжелое время! Однако — поучительное» (*Г-30*, т. 13, стр. 539).

После первой публикации Горький почти не исправлял текст рассказа, осуществив небольшую стилистическую правку лишь при подготовке его для *Грж* (см. варианты). При подготовке текста для *К* эта правка учтена не была.

Рассказ получил высокую оценку выдающихся русских писателей и общественных деятелей.

Н. К. Крупская в своих воспоминаниях «Ленин и Горький» писала: «Владимир Ильич очень ценил Алексея Максимовича Горького как писателя <...> любил он такие вещи Горького, как „Страсти—мордасти“, как „Двадцать шесть и одна“» («В. И. Ленин и А. М. Горький». М., 1961, стр. 321). В июне 1934 г. Н. К. Крупская писала Горькому: «Вспоминался мне всё Ваш рассказ „26 и одна“—один из моих любимых Ваших рассказов...» («Октябрь», 1941, № 6, стр. 26).

Чехов писал Горькому 15 февраля 1900 г.: «„Двадцать шесть и одна“ — хороший рассказ, лучшее из того, что вообще печатается в „Жизни“, в сем дилетантском журнале. В рассказе сильно чувствуется место, пахнет бубликами» (Чехов, т. XVIII, стр. 336).

Восторженно встретил поэму В. В. Вересаев, писавший Горькому 20 января 1900 г.: «„Двадцать шесть и одна“ — чудно, мне крепко хотелось пожать Вам за нее руку» (Архив А. М. Горького, КГ-п-15-6-3).

Понравился рассказ и Л. Н. Толстому; особенно хвалил он начало рассказа (см. Н. Н. Гусев. «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910». М., 1960, стр. 354). Однако Толстой высказал и ряд критических замечаний. В неотправленном письме к В. Г. Короленко Горький, вспоминая свою первую встречу с Толстым, писал: «В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет, — это было в Хамовниках, — усадил против себя и стал говорить о „Вареньке Олесовой“, о „Двадцать шесть и одна“ <...>

Потом он начал говорить о девушке из „Двадцати шести“, произнося одно за другим „неприличные“ слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял „отреченные“ слова только потому, что находил их более точными и меткими...» (Г и Короленко, стр. 107). В статье «О том, как я учился писать» Горький вспомнил еще об одном замечании Толстого: «„А печь стоит у вас не так“, — заметил мне Л. Н. Толстой, говоря о рассказе „Двадцать шесть и одна“. Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня» (Г-30, т. 24, стр. 489—490).

В критике произведение вызвало разнообразные отклики. «Этот рассказ можно бы назвать „символистским“, если бы люди, выведенные в нем, не являлись глубоко и даже резко реальными, — писал Л. Е. Оболенский. — Символистическим же он может назваться только потому, что идея, вложенная в него, вынесена из гораздо более широкого круга явлений и, благодаря этому, может снова (будучи признана по рассказу Горького) выступить из своей узкой рамки и явиться в своем широком и общем

значении <...> „Она“ — это идеал, это вера — идеал и вера, <...> которыми живо человечество, без которых его жизнь была бы еще ужаснее, еще темнее, мертвеннее и постылее...

И вот, эта вера изредка воплощается перед забытыми несчастными людьми: они видят ее среди себя во плоти, и счастливы. Но они так забыты, так лишены веры в себя самих и чувства собственного достоинства, что взять это воплощение идеала, оставить его у себя, дать ему постоянную жизнь в своей жизни, — им на ум не приходит <...> Они умеют только мечтать и верить, что идеал придет сам.

А в это время человек, уверенный в себе, смелый, решительный, хотя и глубоко развращенный, овладевает этим идеалом, без любви к нему, без сознания его святости, его цены, его огромного значения...

И тогда несчастные обитатели подвала проклинаят свой бытовой идеал <...>

Они вопят, что идеал обокрал их, украл у них всё самое дорогое, что привязывало их к жизни, — веру в себя.

Но они никогда не поймут, что обокрали себя сами...» («Критические статьи о произведениях Максима Горького». СПб., 1901, стр. 233, 235).

Реакционной критикой рассказ был встречен крайне враждебно. Ф. Добронравов, тенденциозно изложив содержание рассказа, иронизировал по поводу того, что у «знаменитого бытописателя» «все его двадцать шесть бубличников в нравственном отношении — безукоризненны, как на подбор». Впрочем, это не помешало Добронравову назвать горьковскую поэму «порнографической хроникой» (Ф. Д о б р о н р а в о в. Прогорький романтизм Максима Горького. СПб., 1902, стр. 80—81). Таким же тенденциозным и пошлым было безымянное изложение рассказа, помещенное в журнале «Ежемесячные сочинения» (1900, апрель, стр. 225, 226, 227). М. О. Меньшиков, «анализируя» творчество Горького раннего периода, утверждал: «Физическая сила, красота, сладострастие, разгул безбрежный, свобода от „стопудовой добродетели“ — вот что представлено, как радость жизни <...> Припомните красавицу Мальву <...> красавца Артема, живущего на содержании у купчих и торговек, или красавца солдата из „Двадцать шесть и одна“» («Книжки „Недели“», 1900, № 9, стр. 239).

Против вульгарных измышлений Меньшикова выступил сочувствовавший марксистам видный ученый и общественный деятель М. М. Филиппов. Говоря о рассказе «Двадцать шесть и одна», он отметил реалистическое изображение Горьким тягот трудовой жизни. «Трудовая жизнь супругов Орловых, пока они еще вели ее в сапожной мастерской, представляется Горькому жизнью в смрадной яме, способною лишь развратить и пригнупить людей. Еще хуже положение таких рабочих, как пекари, в рассказе „Двадцать шесть и одна“ <...> Здесь Горький пишет даже не как сторонний наблюдатель, но по автобиографическим воспоминаниям — он сам когда-то исполнял эту работу и, по его словам, более трудной работы, чем эта, ему не приходилось исполнять,

хотя он видал всякие виды» («Научное обозрение», 1901, № 2, стр. 106).

Об этом же писал и Н. Геккер: «... в „Двадцать шесть и одна“ мы впервые находим полную картину труда, в которой описание работы дано не с внешней стороны или с точки зрения ее влияния на отдельного работника, а в связи с душевным состоянием всех ее участников. Впервые нам изображена мастерская (булочная), в которой мы видим „двадцать шесть“ не только работающими изо дня в день при одних и тех же утомительных, изнурительных и опустошающих душу условиях, но и одинаково чувствующими, думающими и одинаково поступающими. Мы видим жизнь мучительную, поистине каторжную, и в ней людей, хватающихся за каждое упование, надежду, даже иллюзию, которая может заполнить опустошенное содержание этой жизни» («Критические статьи о произведениях Максима Горького». СПб., 1901, стр. 211—212).

В оценке поэмы критиком-марксистом А. А. Дивильковским наша дальнейшее развитие (см. комментарии к рассказу «Канн и Артем» в т. IV, стр. 568) его мысль о героической теме, общей всем произведениям Горького: «„Поэма“ эта имеет полное право на свое название, несмотря на весьма непоэтическую грязь, в ней изображенную <...> она вылилась, так сказать, одним порывом из души автора, отчего и носит характер одной большой, закругленной, поэтической, даже музыкальной фразы.

Содержанием поэмы служит опять сопоставление с одной стороны слабых, обращенных историей <...> в безличное стадо рабов, до того уже сходных между собою, что их можно, как заправский скот, считать на „головы“ („Двадцать шесть“); — и с другой стороны, сильных, нищих свое счастье, эгоистическое счастье, на стороне, в одиночку и в одиночестве („одна“), далеко от слабых собратий. Это картина разлада, разброда, разъединения, вносимого в жизнь вырождением героической идеи, соединяющей людей. И, однако, при такой розни стремлений и именно *через нее*, не менее ярко выступает, как неизгладимая форма жизни, как ось, на которой она вертится <...>, исконно человеческий культ героизма. Только здесь, в „поэме“, героический культ получает особую рельефность, благодаря тому, что автор дает нам зараз „двадцать шесть“ (синоним массы) рабов жизни, одушевленных общим обожанием „одной“ <...> они обожают свою Таню, своего „идола“, „божка“ (по словам автора), как настоящие рабы — низко, подло, угодливо, не уважая себя, считая себя окончательно плевыми, никчемными людьми <...> они на самом деле и в Тани не уважают человека, обожая кумира; они не признают за ней ни малейшего права ошибаться, оступаться, поступать по-своему <...>

В данной поэме, как и в „Канне и Артеме“, также подчеркивается, однако, необходимость для сильного тех же слабых, которые доставляют ему столько мучений. Без них он страшно одинок, следовательно, и бессилён, и бессмыслен, и ненужен. И как ни гордо ушла от „арестантов несчастных“ оскорбленная Таня <...> унесла она глубокую рану в груди <...> Жизнь ждет своего

обновления, времена созрели. Но обновление жизни не обозначает перелития ее в какую-то новую, хотя бы и гениально выдуманную форму, а просто — развитие той живой формы, которая определяет и двигает жизнь искони, развитие ее до полного, довлеющего проявления всех ее сил и возможностей» («Правда», 1905, апрель, стр. 111—113).

Сам Горький в статье «О том, как я учился писать» назвал рассказ «Двадцать шесть и одна» одним из первых рассказов реалистического плана «...у меня было так много впечатлений, — говорил Горький о причинах появления таких произведений, — что „не писать я не мог“» (*Г-30*, т. 24, стр. 473).

В июне 1925 г., отвечая из Сорренто на предложение Е. Зоули напечатать в издательстве «Огонек» несколько рассказов, Горький писал ему: «Лично я хотел бы видеть в „Огоньке“ „Озорника“, „На плотях“, „26 и одна“, „Хозяина“, „Романтика“» (*Архив Г х*; кн. 2, стр. 111).

ТРОЕ

(Стр. 23)

Впервые напечатано, не полностью, в журнале «Жизнь», 1900, тт. XI и XII, ноябрь, декабрь; 1901, тт. I—IV, январь — апрель, с посвящением: «Товарищу моему Владимиру Поссе с уважением посвящаю». Журнальный текст обрывался на эпизоде посещения Луневым кладбища (кончая словами: «...он так крепко ударял в землю ногами, точно хотел сделать больно ей!..», стр. 265). Конец повести не был напечатан в связи с запрещением журнала. Полностью впервые напечатано: М. Горький. Рассказы, т. V. СПб., издание товарищества «Знание», 1901.

В Архиве А. М. Горького сохранился текст пятого тома *Зн*₈, правленный автором для *К* (ХПГ-46-17-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 29, строка 2: «а над нею» вместо «над нею» (по *ПТ*, *Зн*₁₋₁₀, *Пр Зн*₈).

Стр. 31, строка 3: «он улыбался Илье» вместо «улыбался Илье» (по *Пр Зн*₈).

Стр. 46, строка 22: «она в глаза убирается» вместо «она убирается» (по *ПТ*).

Стр. 51, строки 33—34: «в воду мырцула» вместо «в воду нырнула» (по *ПТ*, *Зн*₁₋₁₀, *Пр Зн*₈).

Стр. 83, строка 26: «хозяин заговорил с Ильей, и мальчик сказал ему» вместо «и хозяин заговорил с Ильей, мальчик сказал ему» (по тем же источникам).

Стр. 98, строка 15: «темными кудрями» вместо «тонкими кудрями» (по *ПТ*).

Стр. 99, строка 10: «сахар и хлеб» вместо «сахару и хлеб» (по *Пр Зн*₈).

Стр. 103, строки 12—13: «чувствовал, что» вместо «и чувствовал, что» (по *Пр Зн*₈).

Стр. 113, строка 41: «Все ноют, жалуются» вместо «Все поют, жалуются» (по ПТ, Зн₁).

Стр. 120, строка 15: «беспокойны» вместо «беспокойные» (по Пр Зн₈).

Стр. 135, строка 1: «за свою надежду» вместо «на свою надежду» (по ПТ, Зн₁₋₇).

Стр. 136, строка 28: «не просыпалась уж до Христа» вместо «не просыпалась до Христа» (по ПТ, Зн₁₋₁₀, Пр Зн₈).

Стр. 140, строка 16: «Екатерининский» вместо «Екатеринский» (по тем же источникам).

Стр. 144, строки 31—32: «поддерживали под руки» вместо «поддерживали под руку» (по ПТ).

Стр. 158, строка 35: «Это я сделал» вместо «Это я делал» (по ПТ, Зн₁₋₁₀, Пр Зн₈).

Стр. 185, строка 4: «мой сын» вместо «это мой сын» (по Пр Зн₈).

Стр. 185, строка 37: «как его били в молодости» вместо «как били в молодости» (по ПТ, Зн₁₋₁₀, Пр Зн₈).

Стр. 195, строки 5—6: «закусил губу» вместо «закусил губы» (по ПТ).

Стр. 204, строка 37: «короткую и толстую» вместо «коротенькую и толстую» (по Пр Зн₈).

Стр. 227, строки 38—39: «запирал его в девять» вместо «запирал его в десять» (по Пр Зн₈).

Стр. 231, строка 26: «человек будет» вместо «а человек будет» (по Пр Зн₈).

Стр. 276, строки 25—26: «неподвижное, уверенное лицо» вместо «подвижное, уверенное лицо» (по ПТ, Зн₁₋₁₀, Пр Зн₈).

Стр. 286, строка 5: «оба, вздрогнув, замолчали» вместо «оба вздрогнули, замолчали» (по Пр Зн₈).

Стр. 297, строка 9: «Вор!.. Сына забил!» вместо «Вот! Сына забил» (по Зн₁).

Начало работы над повестью, видимо, относится к лету 1900 г., когда Горький жил в Мануйловке (Полтавской губ.). В июле этого года он писал К. П. Пятницкому: «Сочиняю драму, коя будет ни к чёрту не годна. Наплевать, говоря по-русски. А вот скоро я начну писать повесть — это дело другое. Она мне давно уже спать не дает, а теперь я ее обмозговал. Рад. Но приятель — страшно. Замысловатая штука! Надо так ее написать, чтобы всякий человек — порядочный, разумеется, — прочитал и заиграл радугой: эго какой я человек, хороший, сильный, смелый <...> Знаете, что надо написать? Две повести: одну о человеке, который шел сверху вниз и вниз, в грязи, пашел — бога! — другую о человеке, к <ото>рый шел снизу вверх и тоже нашел — бога! — И бог сей бысть един и тот же! Вот в чем дело» (Архив ГИВ, стр. 13).

Во второй половине августа 1900 г. писатель в шутовском тоне писал из Мануйловки А. П. Чехову: «Сим извещаю Вас, дорогой Антон Павлович, что драма М. Горького, довезенная им, в поте лица, до третьего акта, благополучно скончалась. Ее ра-

зорвало со скуки и от обилия ремарок. Разорвав ее в мелкие клочки, я вздохнул от удовольствия и в данное время сочиняю из нее повесть» (*Г-30*, т. 28, стр. 126—127). 26 августа 1900 г. Горький сообщил Л. В. Средину: «А я пишу <...> Повесть пишу дли-и-нную...» («Литературная газета», 1967, № 51, 20 декабря, стр. 6). О том же он писал Средину в следующем письме: «Я недавно порвал три акта драмы и написал пять глав повести. Вот будет повесть! Действующих лиц — 173. Действие продолжается 22 года. Каждому году посвящаю 10 глав. Писать, так уж писать!» (*Г-30*, т. 28, стр. 127).

Перед отъездом из Мануйловки Горький в августе того же года делился своими планами с Пятницким: «В начале сентября еду в Нижний, на несколько дней остановлюсь в Москве. Потом обработаю свою повесть в Нижнем и повезу ее к Вам» (*Архив Г_{IV}*, стр. 14). Во второй декаде (между 11 и 15) сентября 1900 г. Горький сообщил Чехову из Нижнего Новгорода: «Пишу повесть и скоро ее кончу...» (*Г-30*, т. 28, стр. 130). Между 1 и 7 октября — ему же: «А хорошо работать! Вот я пишу и — очень доволен, хотя повесть-то длинна и скучна будет. Очень смущен тем, что никак не могу дать ей название» (там же, стр. 136).

Печатаение началось до того, как повесть была доведена автором до конца. 15 октября 1900 г. В. А. Поссе писал Горькому: «Начало „Троих“ превосходно, едва ли не лучше начала „Фомы“. Размах широкий. Разделим на ноябрь и декабрь, чтоб было время обработать хорошенько всю повесть. Не сжимай слишком. Такую вещь сжимать опасно, как бы не вышло давки» (*Архив А. М. Горького*, КГ-п-60-1-15). Писатель продолжал интенсивно работать над второй половиной повести, обещая завершить ее к концу осени. В связи с этим Поссе писал ему в конце октября или в самом начале ноября 1900 г.: «Повесть ты не сади на мель, она начата у тебя превосходно, и тебе не следует ни за что другое братья, пока ее не одолеешь<...> Не раскидывайся, друг. Кончай повесть, кончай во что бы то ни стало» (там же, КГ-п-60-1-17а). В начале декабря 1900 г. Горький писал В. С. Миролюбову: «Скоро закончу мою повесть...» (*Г-30*, т. 28, стр. 144). И — через несколько дней в письме к Пятницкому интересовался: «Как вам показалось начало <повести>?» (*Архив Г_{IV}*, стр. 16).

По всей вероятности, повесть была окончена в последних числах января или в феврале 1901 г. 4 февраля 1901 г. Поссе писал Горькому: «Твоих „Троих“ пока еще нет» (*Архив А. М. Горького*, КГ-п-60-1-25). Конец произведения предполагалось напечатать в майском номере «Жизни» за 1901 год. Но на этом номере журнал был закрыт по решению совещания четырех царских министров от 8 июня 1901 г.

Автор рассчитывал напечатать конец повести в «Нижегородском листке». Однако в письмах от 3 и 8 августа 1901 г. Пятницкий просил подождать (по финансовым соображениям) с публикацией конца повести в газете (там же, КГ-п-62-1-15 и 17). 9—10 августа писатель ответил: «Конец „Троих“ еще не напечатан в „Листке“ и едва ли будет печататься, ибо: во-1-х, нигде не могу найти этого конца, во-2-х, „Листок“ боится цензуры» (*Архив Г_{IV}*,

стр. 25). 11 августа того же года Горький телеграфировал Пятницкому: «„Трое“ „Листке“ печатать не буду» (там же, стр. 27).

Видимо, при разгроме «Жизни» была изъята и рукопись конца повести «Трое». В конце сентября 1901 г. Горький писал Чехову: «Конца „Троих“ — не имею. Разгром „Жизни“ был так свиреп, что не осталось даже листочков, и я должен был просить типографию, в которой печатался журнал, чтобы мне прислали хоть один оттиск. Прислали — цензурный, весь в помарках. Я отправил его „Знанию“» (Г-30, т. 28, стр. 178).

К этому времени повесть «Трое» уже была набрана для пятого тома «Рассказов» Горького в издании товарищества «Знание». Набор осуществлялся в школе — августе 1901 г. 4 августа Пятницкий писал Горькому: «1) Просматривая оригинал „Троих“, я заметил, что Вы не делили повесть на главы. Это подразделение производилось в редакции „Жизни“: новая книжка — новая глава. Согласны ли Вы с этим подразделением? Ведь оно случайное. Если хотите делить по-своему, укажите, как. Ведь у Вас есть книжки „Жизни“».

На этот вопрос нужно было ответить поскорее. Большая часть „Троих“ уже набрана и прошла через две корректуры. Начало подписано к печати. Отливается стереотип.

Укажите, в каких местах должны начинаться новые главы.

2) Что войдет в V том, кроме „Троих“ и „Буревестника“? Не ограничиться ли этими вещами» (Архив А. М. Горького, КГ-п-62-1-14).

Ответил ли Горький на это письмо — неизвестно. Деление на главы, произведенное в книжках «Жизни», в последующих переизданиях не было сохранено.

5 сентября 1901 г. Пятницкий сообщил Горькому, что «пятый том набран сполна» (там же, КГ-п-62-1-16). В конце сентября Горький известил Чехова: «„Трое“ уже напечатаны, в октябре поступят в продажу. Напишу, чтобы немедленно прислали Вам» (Г-30, т. 28, стр. 178). Имелось в виду издание: М. Горький. Рассказы, т. V. СПб., издание товарищества «Знание», 1901. В конце ноября 1901 г. книга поступила в продажу, а 15 декабря Пятницкий сообщал автору: «Пятый том выпущен в 30 000 экз. За двадцать дней разошлось около 20 000 экз. Возможно, что в ближайшие месяцы придется печатать снова» (Архив А. М. Горького, КГ-п-62-1-31).

Перечитав отдельное издание повести, Горький обнаружил опечатки и неисправности в тексте, о чем и написал Пятницкому 3 или 4 декабря 1901 г. Видимо, это навело автора на мысль внести некоторые поправки. Горький писал: «Впрочем — я пришлю Вам экземпляр „Троих“ с поправками» (Г-30, т. 28, стр. 205). 15 декабря 1901 г. Пятницкий ответил, что многие ошибки попали в издание из оригинала, и просил Горького прислать пятый том с поправками (Архив А. М. Горького, КГ-п-62-1-31).

Работа Горького над исправлением своих сочинений для нового издания развернулась, видимо, в январе 1902 г., так как 22 или 23 декабря он писал об этом лишь как о намерении. «С ужасом и отвращением, но, кажется, я должен буду прочитать

всего Горького от строки до строки, все 100 000 000 000 000 листов, написанные им, будь он проклят!» (Г-30, т. 28, стр. 207). Между 7 и 11 января 1902 г. он сообщил Пятницкому: «Занимаюсь корректурой своих книг» (там же, стр. 224). «Корректур», однако, переросла в редактуру, основное направление которой определил сам Горький в письме Пятницкому от 13 января 1902 г.: «Я работаю — с увлечением — над сокращением М. Горького. Первый том — сократил немного. Сокращаю — пятый. Прикрашу Пашку, включу в его речи несколько — два-три — кратких стихотворения, а у Ильи и прочих поотнимаю излишек слов» (там же, стр. 229).

Работа над пятым томом, куда входила повесть «Трое», была окончена к февралю 1902 г.; в письме от 31 января — 1 февраля 1902 г. Горький сообщил Пятницкому: «Дешевое издание должно выйти в исправленном виде, два тома — первый и пятый — у меня готовы» (Архив Г_{IV}, стр. 76).

В процессе работы над повестью Горький внес в текст более 300 поправок, включая в это число и сокращения. Ярко проявляются две тенденции: 1) автор усиливает разочарование и сомнения Ильи в разумности и целесообразности существующих отношений между людьми, более резко подчеркивает атеистические мысли героя, расшатывает веру Ильи в бога, 2) характеру Павла Грачева в заключительной части повести придается большая твердость, подчеркивается способность этого героя к дальнейшей борьбе.

Если в журнальной редакции и в *Зн₁* Ильи только задавал себе бесплодные вопросы: «Кто водит его по жизни, кто толкает на него всё дурное ее, всё тяжкое?», то теперь он находит и ответ: «Ты это, господи?» (стр. 118, строка 31). Горький снимает фразу: «Разгорались в пламя мысли о наказании, которое готовит ему бог, и жгли ему душу; он искал одиночества и не находил его». Вместо этого Ильи теперь ожесточенно думает о боге. Ему непонятно, как это бог «всё видит, а — допускает» (стр. 170, строка 40). Вычеркивает автор слова Ильи — его совет Якову не читать книгу, отрицающую идею бога: «Я тебе говорю — брось эту книгу. Видишь — против бога написано» (стр. 176, строка 38, после слов: «То-то, просто!»). Снимаются слова о намерении Ильи чистой безгрешной жизнью оправдать перед богом свой поступок. Монолог — раздумье Ильи о чистом и безгрешном житье, сменившееся острой тоской от сознания несправедливости и грязи настоящего, в *ПТ* и *Зн₁*, — оканчивался так: «...грудь его была полна в этот час холодной беспечностью». В *Зн₂* Горький дописывает: «и тоскливой пустотой, которую он видел в небе, там, где раньше чувствовал бога» (стр. 217, строки 33—36). Включение в текст этих слов показывает читателю, что Ильи стихийно приходит к атеизму. Автор устраняет описания религиозных служб, церковной обрядности, имеющие в восприятии Ильи некоторый мистический оттенок. Видимо, в связи с усилением мотива богоборчества Ильи писатель снял после слов «...у деда тоже слезы из глаз текли» (стр. 41, строка 20) большой монолог тряпичника Еремея о неминуемом возмездии за совершенное.

Существенны поправки, связанные с концептуальными изменениями в трактовке образа Павла Грачева. В *ПТ* и *Зн₁* вместо текста стихотворения Грачева «Прежде и теперь» («В недуге тяжком и в бреду ∞ И ясно вижу — кто мой враг», стр. 287—288, строки 29—4) было:

«Раньше, бывало, как черные вороны,
Думы клевали мне сердце усталое...
Были надежды от сердца оторвапы,
Горя и муки изведаль не мало я! —

писал Павел. Лунев читал его стихи, и пред ним вставало подвижное лицо товарища — то беспокойное, со светлыми и бойкими глазами, то грустное и тусклое, всё сосредоточенное на одной мысли. В стихах своих Павел рассказывал о том, как будто бы бродил он, оборванный и одинокий, по чужому городу и не видал ни от кого ни ласки, ни привета. И вот, почти умирая с тоски и голода, он встретил добрых людей, а они пригрели его, обласкали, и он „ожил от слова, любовью согретого“, которое запало в сердце ему горячей искрой.

И загорелось сердце надеждами,
Думы поют ему песни отрадны...»

Шестнадцать строк нового стихотворения, которое ввел Горький в текст *Зн₂*, коренным образом отличаются от вышеприведенного по своему пафосу, по идейному звучанию. Послание получило конкретного адресата. Стихотворение стало мажорным, боевым, приобрело социальное звучание. Пафос его — в призыве к духовному освобождению, к борьбе с мраком. Теперь по этим стихам можно судить о духовном росте Павла Грачева под влиянием общения с кружком Софьи Медведевой.

В этом же ключе сделана еще одна замена и вставка. В первых публикациях на упрек Лунева, что Павел виновник гибели Веры, Грачев отвечал приниженно: «...жалким голосом тоже спросил: — Разве я?» В *Зн₂* авторскую ремарку Горький заменяет словами: «возбужденно заговорил», к реплике Грачева добавляет «Мы еще подадим жалобу...» (стр. 304, строка 13), а несколькими строками ниже вставляет фразу: «Павел выпрямился, лицо его вспыхнуло, и он торопливо начал говорить что-то, но Лунев, не слушая, отошел прочь» (стр. 304, строки 19—21).

Вышеприведенными примерами исчерпывается идейно-художественная правка повести в *Зн₂*. Другие исправления дают по преимуществу стилистические варианты. Сокращения сводятся, главным образом, к изъятию сцен и эпизодов второго плана, не связанных с основной фабулой произведения.

Автор исключает из текста несколько мест, в которых повторяется мотив недовольства Ильи, ощущение несправедливости и неустроенности жизни, освобождает текст от множества мелких диалогов, тормозящих развитие действия, от внутренних монологов, в которых варьруется и дублируется основная тема.

В некоторых случаях Горький работает над фразой, давая новый художественный вариант, но чаще делая сокращения внутри предложения. Редактируя фразу, Горький стремится упростить ее конструкцию, избавиться от «литературности», выпренности, от тавтологий, просто от тяжелых оборотов. В нескольких случаях Горький вычеркивает многоступенчатые эпитеты и определения.

В авторской редакции конца 1901 — начала 1902 г. с незначительными изменениями (не авторского происхождения) текст повести «Трое» прошел через все издания товарищества «Знание». Новая редакция повести была предпринята писателем в 1922 г. в связи с подготовкой текста *К*. Правка повести «Трое» по своим тенденциям и идейно-художественной мотивировке во многом соотносится с исправлениями, сделанными в этот же период в других произведениях. Вместе с тем она во многом продолжает и завершает правку 1902 года.

В текст «Троих» Горький вносит около 3000 поправок, приблизительно столько же, сколько и в текст «Фомы Гордеева». Основной принцип редакторской работы писателя — сокращение. Текст повести равномерно сжимается, отдельные части ее становятся более соразмерными, фраза — более компактной.

Правки, существенно меняющей идейное содержание, пересмысливающей коллизии или характер взаимоотношений персонажей, почти нет. Она исчерпывается несколькими случаями.

Продолжая в правке одну из линий, начатую в 1902 г., Горький значительно «сжимает» монолог тряпичника Еремея об участии бога во всех делах человека и непременном воздаянии за хорошие и дурные поступки; снимает диалог Павла и Ильи, из которого может быть сделан вывод, что причиной неравенства в человеческом обществе является образование. Из диалога Ильи и Олимпиады автор убрал угрозы Ильи прикончить Полуэктова, придающие оттенок преднамеренности, а не случайности убийства. Этот же мотив устраняется Горьким из внутреннего монолога Ильи, выраженного несобственно-прямой речью.

Печальную судьбу Якова Горький усугубляет еще и тем, что наделяет его чахоткой.

Большинство сокращений и поправок носит стилистический характер. Писатель продолжает очищать текст от второстепенных эпизодов, «неработающих» диалогов, повторяющихся мотивов. Значительным сокращениям подвергаются многочисленные внутренние монологи Ильи и диалоги его с разными действующими лицами, варьирующие мотив неустroенности общества, несправедливости, выражающие желание Ильи понять причины человеческих поступков.

Существенно сократил Горький, в частности, диалог Ильи и Павла Грачева, происходивший в больнице, сняв многие реплики. В *ЛТ*, *Зн*₁₋₁₀ после слов: «...глаза его засверкали живо и бойко, как, бывало, у здорового» (стр. 189, строки 20—21) было: « — И я вижу — паш брат дотла ограблен, — говорил он на ую Илье. — Чего ни коснись — всё не про нас...

— Вот!

— Всё — не пам! Возьму примерно — девушка у меня. Она мне за жену, хоть и не венчаны мы. Она мне... вся нужна! Всякому человеку женщина вся нужна! Но мне — нельзя иметь ее для себя одного... и ей меня тоже. А я ей тоже весь нужен... Как так? А! Я — бедный? Хорошо! Но я работаю или нет? Я всю жизнь мою, с десяти лет, работаю тяжелую работу! Позвольте мне за это жить!..

— А Петрушка Филимонов без работы живет легко и может иметь всё, что желает, и делать всё, что хочет, — почему? — дополниая мысль товарища, сказал Илья, ехидно оскалив зубы.

— Доктор на меня, как на арестанта, кричит... за что? — продолжал Грачев.— Он ученый, он должен благодарно обращаться с людьми. Человек я или нет? Вот в чем дело... Я Верку прогнал... но я — не дурак, я знаю — не ее вина.

— Не палка бьет, а тот, кто ей владеет...»

Несколько ниже в *ПТ*, *Зн*₁₋₁₀ после слов: «...врага, который сомкал жизнь его» (стр. 190, строка 2) было: «Ну, хорошо, я голоден — я глуп... но ведь есть у меня душа? Или нет души у голодного? Я вижу — жизни мне нет настоящей... окарнали мою жизнь, обрезали мне все мои желанья и на всех моих путях стены стоят... За что?» В заключительной части этой сцены писатель вычеркнул размышления Ильи, резюмирующие весь разговор.

Многочисленным и скрупулезным исправлениям подвергаются второстепенные сценки и эпизоды, диалоги эпизодических лиц. Горький сокращает, например, рассказ о деревенской жизни в воспоминании Ильи, описание «раскопок» Ильи и тряпичника, сценки, происходящие в трактире Петрухи Филимонова, характеристики второстепенных лиц, многие авторские описания, различные эпизоды и т. п. (см. варианты).

Наконец, Горький тщательно правит стиль и язык повести.

Редактура, предпринятая Горьким в 1922 году, была последней.

Так же, как это было при появлении в печати «Фомы Гордеева», писатели, литературные критики, широкие круги читателей с огромным интересом встретили новое произведение Горького. Споры вокруг повести закипели задолго до появления в печати ее окончания. Выше уже цитировались письма Поссе, редактора «Жизни», читавшего повесть в рукописи по мере поступления ее частей в журнал. Вот еще два характерных отзыва его. 3 декабря 1900 г. он писал Горькому: «Страсть нравятся мне твои „Трое“. Хоть бы еще десяток таких. Дьявольски хорошо ты пишешь повести...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-60-1-18). И две недели спустя — ему же: «„Трое“ идут хорошо. Молю тебя, друг и товарищ, не комкай их. Теперь только развертывается настоящая картина, и я страшно боюсь, как бы <ты> не смазал ее, как смазал последнюю часть „Фомы“. Там Фома — один, а тут целых трое, и каждый стоит трех Фом» (там же, КГ-п-60-1-21).

Восторженные отзывы начало «Троих» вызвало и у крупнейших писателей. «Ваши „Трое“, — писал автору Чехов 18 марта 1901 г. из Ялты, — читаю с большим удовольствием — имейте

ние в виду — с громадным удовольствием» (*Г и Чехов*, стр. 87). 3 марта того же года он писал Поссе: «„Трое“ Горького в январьско^й книжке мне чрезвычайно понравились по тону письма. Девки неверны, таких нет, и разговоров таких никогда не бывает, но всё же приятно читать. В декабрьско^й книжке мне не так понравилось, чувствовалось напряжение. И напрасно Горький с таким серьезным лицом творит (не пишет, а именно творит), надо бы полегче, немножечко бы свысока» (там же, стр. 187). После закрытия «Жизни» Чехов дважды просил Горького прислать ему конец «Троих». 24 июля 1901 г. он спрашивал у писателя: «И когда вы пришлете мне окончание „Троих“? Вы обещали, не забудьте! Дядюшка моей Оли, немец-доктор, ненавидящий всех нынешних писателей, в том числе и Льва Толстого, вдруг оказывается в восторге от „Троих“ и — славословит Вас всюду» (там же, стр. 95). Однако заключительная часть повести не удовлетворила Чехова. «Читал конец „Троих“, повести Горького, — писал он 7 декабря 1901 г. О. Л. Книппер-Чеховой. — Что-то удивительно дикое. Если бы написал это не Горький, то никто бы читать не стал. Так мне кажется, по крайней мере» (там же, стр. 191). Видимо, с этим впечатлением связано и более позднее высказывание Чехова в письме А. И. Сумбатову-Южину от 26 февраля 1903 г.: «„Фому Гордеева“ и „Трое“ читать нельзя, это плохие вещи...» (там же, стр. 202).

Об отношении к повести «Трое» Л. Н. Толстого сохранилось свидетельство самого Горького. В конце декабря 1901 г. он сообщил в письме Пятницкому из Оленино: «Сегодня у меня был Толстой; он снова ходит пешком, пришел из Гаспры версты за две. Очень нахваливал Леонида <Андреева> и меня за первую половину „Троих“, а о второй сказал, что „это анархизм, злой и жесткий“» (*Г-30*, т. 28, стр. 210).

22 апреля 1901 г. художник М. В. Нестеров писал своему знакомому А. А. Турыгину: «Читал ли ты Горького „Трое“? Прочти, размашисто, шельмец, пишет, — ярко! Хотя, быть может, несколько и грубо. Меня занимают всякие „критики“ на него. Я думаю, что эти господа со злости лопаются, говорят о „подноготной“, а о таланте-то и забывают!» (М. В. Нестеров. Из писем. Л., 1968, стр. 153).

Высоко оценил «Троих» Леонид Андреев. 17 декабря 1901 г. он писал Горькому: «„Трое“ — замечательно хорошо! <...> Первый раз при чтении мне меньше нравилось — благодаря откровенности, что ли» (*Лит. Насл.*, т. 72, стр. 118).

Горький не согласился с этим отзывом: «„Трое“ тебе нравятся? Зря, — писал он Л. Андрееву 23 декабря 1901 г. — Скверно, душечка, написано это произведение — будем говорить по совести — скверненько. Вещица — однобокая. Видишь ли что: вся жизнь — всё, что вокруг нас вертится и ревет, — всё это сводится к одному: к борьбе раба за свободу, господина — за власть и свободу власти. В „Троих“ это не показано. В течение жизни моей я стучал кулаками по многим истинам, чтобы узнать, что у них внутри, и все они звучали под ударами моими, как пустые горшки. Только вера — вот истина, дающая при ударе по ней звук живой и пол-

ный. В „Троих“ это не показано. Вообще — эта книжка — как вообще все мои крупные задачи — не удалась мне» (там же, стр. 122).

Перечитав повесть в отдельном издании, Л. Андреев писал Горькому 30 декабря 1901 г.: «„Трое“ нравятся мне не безусловно. Задуманы они сильно — это видно сразу — исполнены слабо. Хуже всего Илья. Он должен был погибнуть, но ты погубил его на интеллигентный манер — он съел всего себя без остатка, как заправский Гамлетик, и когда мозги его вылетели из башки, в них уже ничего не оставалось путного. Он должен был стать силой, темной силой, так как ночью, во тьме, лили и не распускаются — но не тряпкой. Свое отчаяние о жизни он должен был вылить в отчаянные формы. Он прошел полосу буржуазного благодушия; он также должен был миновать полосу интеллигентного бессилия, а не застревать в ней. Ведь от него анархистом за версту пахнет. Силен яд, которым *наша* интеллигенция отравляет идущие снизу силы, но Илья должен был вынести его. Вынести — и всё отправить насмарку. Бессильное топтание Ильи на одном месте прямо злит меня. Ни протеста настоящего, ни злой критики — а просто обалдел человек.

Самое скверное, что [смерть] интеллигентная гибель его не естественная, а насильственная. Почти полкнижки Илья растет у тебя, как дубок, и вдруг сразу — стоп машина! Закружился на одном месте, как подстреленный, рассыпался, как воз с интеллигентной рухлядью. Да тот ли это Илья?

Зло берет! Если бы он, как Моор, в разбойники пошел, и то было бы лучше, чем, по образу и подобию Раскольниковца, кувыркаться перед самим собою и народом. Первое было бы правдой.

Находят сходство между ним и Фомой. Не знаю. На мой взгляд, он антитеза Фомы. Тот неминуемо должен был закончить тем, чем он у тебя закончил, а Илья — анархией. Фома родился большим, и вся его жизнь — роковое умаление, а Илья родился маленьким, и вся жизнь его — рост, синтез, воля, разными протоками сливающаяся в одно русло. Он должен был проглотить и Якова и Пашку, которым гибель на роду была написана, и претворить их страдания в кровь, и растолстеть от них так, что ни в один ворота уже не пролезть, а нужно ломать стену по целому <...> Нравятся мне „Трое“ потому, что написаны удивительно, по-горьковски одним словом. Вольной кистью, а не кисточкой, которой глаза барыни подводят. Ширь, простор и чисто весенняя острая свежесть. Будто не в комнатке при лампе писано, а лежал ты брюхом где-нибудь на высоте, над Волгой, глядел далеко, дышал крепко и рассказывал» (там же, стр. 126).

Несмотря на меткость многих частных суждений, Андреев прошел мимо самого главного в повести «Трое» — острой и новой постановки вопроса о том, каким образом трудящийся человек может найти путь к подлинному счастью. Гибель Ильи Лунева символизирует судьбу человека, который пытался осуществить мечту о собственном «чистеньком» предприятии, сделаться «хозяйчиком» и зажечь счастливо. Печальный конец Якова Филимонова свидетельствует о невозможности для трудящегося человека

встать «над жизнью», уйти от «земной юдоли» в миражи, религию, мистику и достичь таким путем счастья. Упорное сопротивление жизни закаляющегося в непрерывных столкновениях с ней Павла Грачева, пролетаризирующегося представителя городской бедноты, отвергающего как путь, избранный Ильей Луновым, так и путь, который ищет Яков Филимонов, сближающегося с социалистически настроенной интеллигенцией, символизирует единственный реальный путь, ведущий человека к действительному счастью. Именно поэтому Лев Толстой и отозвался о финале повести отрицательно. С этим же связаны любопытные трансформации взглядов многих критиков на повесть «Трое» по мере печатания ее глав на страницах «Жизни», вызывавшие у Горького ироническое отношение. Что же касается письма Л. Андреева, то на него Горький ответил:

«Про „Трех“ ты написал хорошо, хотя и не критик. Но Илью — понял не так, как я его понимаю.

Илья не кается пред людьми, а говорит им от презрения. Суда над собой он не может принять ни от людей, которых сам осудил, ни от бога, которого потерял» (там же, стр. 129).

Недовольство своим новым произведением Горький выражал в письмах и к другим адресатам. Ему казалось, что он не сумел воплотить свой замысел с необходимой выразительностью и лаконизмом. В начале декабря 1901 г. Горький признавался в письме Е. Н. Чирикову: «А с „Тронми“ — я опять срезался. Вышло длинно и скучно, сиречь — не удачно» (*Архив Г VII*, стр. 34). В феврале 1902 г., отказываясь от участия в «Северных цветах», Горький писал В. Я. Брюсову: «...Времени у меня написано что-либо сносное и раньше не было и теперь нет, теперь — особенно. Вы, Брюсов, наверное, и по „Тронм“ видите, что писать я — не могу» (*Г-30*, т. 28, стр. 152).

Вместе с тем, не снимая критических замечаний, сделанных в письмах к Андрееву, Брюсову, Чирикову, автор говорил об общественной значимости своего произведения. 3 или 4 декабря 1901 г. он писал Пятницкому:

«Сейчас прочитал „Трое“. Знаете — это хорошая книга, несмотря на длинноты, повторения и множество других недостатков, хорошая книга! Читая ее, я с грустью думал, что если бы такую книгу я мог прочесть пятнадцать лет тому назад, — это избавило бы меня от многих мучений мысли, столь же тяжелых, сколько излишних.

А теперь я думаю: если б можно было продавать эту книгу по гривеннику!

Знаю, что по поводу ее печать и сытая публика будет говорить о падении таланта, порче языка и т. д. Прекрасно! Очень хорошо, ибо — достаточно сочинять „изящную словесность“, столь любезную сердцам скучающих мещан и мещанок. Я думаю, что обязанность порядочного писателя — быть писателем неприятным публике, а высшее искусство суть искусство раздражать людей» (*Г-30*, т. 28, стр. 204—205).

Первые главы «Троих» вызвали восторг почти у всех критиков: народников, либералов, радикалов, постепенцев (см. непод-

писанную статью «Журнальная литература в 1900 г.» в газете «Россия», 1901, № 606, 1 января, а также статьи И. Н. Игнатова «Новости литературы» в «Русских ведомостях», 1901, № 11, 11 января, А. Измайлова «Литературные заметки» в «Биржевых ведомостях», 1901, № 49, 20 февраля, В. М. Шулятикова «Критические этюды» в «Курьере», 1901, № 222, 13 августа, № 236, 27 августа). Некоторые выражали даже опасение... не поправел ли Горький. Так, например, умеренно либеральный редактор «Русской мысли» писал в связи с первыми главами повести: «Замечается, на мой взгляд, и некоторое уклонение автора в п р а в о. Критические статьи г. Горького<...> как будто подтверждают мое предположение. По всей вероятности, это неблагоприятно отразится на творчестве талантливого писателя, от которого многие ждут н о в о г о с л о в а» (В. Гольцев. Русская литература в 1900 г.— «Курьер», 1901, № 1, 1 января).

В 1901 г. известный критик В. Г. Подарский <Н. С. Русанов> рецензировал в народническом журнале «Русское богатство» повесть «Трое» по мере печатания ее в «Жизни». Отзыв о первых главах произведения полон самых высоких похвал Горькому и самых негодующих слов по адресу марксистов, которым одно время удалось якобы сбить Горького «с толку неумеренными похвалами» и восстановить против интеллигенции и мужика, увлечь его несбыточными идеалами, в результате чего он создавал не художественные образы, а карикатурный шарж «ни к чему, мол, не годной интеллигенции...» («Русское богатство», 1901, № 2, отд. II, стр. 187). Теперь, продолжал критик, писатель возвращается на путь истины. Новая повесть отличается необычайной художественностью, рельефностью изображаемых типов: «со страниц повести г. Горького выступают живые люди с определенными чертами, лицом, жестами, мыслями, горестями и радостями, и звучит настоящая человеческая речь». Особенно выразительны образы Павла Грачева, Якова Филлимонова и Ильи Лунева: «...эти типы „троих“ героев выступают очень рельефно во всей своей индивидуальности». Павел испил огромную чашу горя, но не позволяет «нигде частушнить себе на ногу», носит «в своей душе элемент активного возмущения против тяжелой жизни масс...» (там же, стр. 188). Успех Горького критик связывает с его поворотом к деревне. Приписывая автору деревенские настроения его героя, он пишет: «Таким образом, г. Горький, хотя и затронутый марксизмом своих комментаторов, с точки зрения непосредственных ощущений человека, втянутого в водоворот каторжной жизни городской бедноты, отдает скорее преимущество деревне, где, несмотря на гнетущие условия своего рода, борьба за существование не принимает таких свирепых форм. Здесь мы уже далеки от преклонения перед городом потому только, что он город, и от создания кумира из фабричного котла потому только, что это фабричный котел» (там же, стр. 189).

Появление новых глав насторожило Подарского. «Прочитав то, что помещено в январской книжке, я начинаю бояться за г. Горького, удастся ли ему путем справиться с жизненной эволюцией „Троих“ <...> Мое возражение <...> касается именно

социальной, или, как сказала бы редакция „Жизни“, „классовой“ психологии <...> Я с любопытством жду, как художественный талант автора справится с дальнейшей эволюцией героев „Троих“...» («Русское богатство», 1901, № 3, отд. II, стр. 182, 183).

В следующем отзыве Подарский уже не только недоумевает, но протестует против «капиталистического крещения» Ильи Лулева автором. «Что это, неужели символическая картина „первоначального накопления“? <...> Так ли надо понимать новые эволюции Ильи?» (там же, № 5, отд. II, стр. 183).

Новый поворот в судьбе Ильи обрадовал критика. «Стыд и раскаяние проникают в душу Ильи; и он и его товарищи ждут от барышни разрешения давно волновавших их вопросов и удовлетворения неясных порывов к иному, лучшему существованию <...> Интересно то идеальное, почти наивно-прекрасное освещение, в котором является на сей раз у г. Горького человек из интеллигенции: обещает ли это желание автора приняться за изображение интеллигентных типов без того предвзятого недоверия и той излишней иронии, которые характеризовали до сих пор отношение нашего автора к интеллигенции?» (там же, № 7, отд. II, стр. 82).

Конец повести, видимо, совершенно не удовлетворил Подарского, так как он не откликнулся на него, хотя о Горьком писал и позднее (см. «Русское богатство», 1902, № 1, отд. II, стр. 159—161).

Критик из «Биржевых ведомостей» А. Измайлов, умевший угодить своими писаниями и народникам, и либералам, и консерваторам, обрушился на Горького за то, что его герои — философы, протестанты, тяготеют к существующим порядком, всем им тесно в жизни: «Все они, точно по предварительному уговору, говорят одни и те же слова: „Жизнь — помойная яма, где люди возятся, как черви“» («Биржевые ведомости», 1901, № 344, 17 декабря).

Оценивая литературные успехи за 1901 год, А. И. Богданович писал на страницах либерально-демократического журнала: «Самым значительным, по нашему мнению, является повесть г. Горького „Трое“, не только по обычной для этого писателя яркости таланта, но и по широкому захвату жизни и по тем важным вопросам, которые возбуждает это произведение» («Мир божий», 1902, № 1, отд. II, стр. 5). Положительное начало в повести критик связывал с Ильей Лулевым — наиболее типичным и сильным, «в котором кипит всё время жгучая тоска по настоящей, как он выражается, „чистой“ жизни. Два других его товарища, Павел, рабочий, и сын трактирщика Яков — только дополняют Илью <...> Один, Яков, подчиняется грубой силе своего отца, заколачивающего его в гроб, и смиренно чахнет, в конце концов, за стойкой в трактире. Павел — тип обычного рабочего, которого на время лишь выбивает из колеи трудовой подневольной жизни его любовная история с Верой. Его дальнейшая жизнь не представляет уже никакого интереса <...> выше он не в силах поднестись» (там же).

Харьковский критик В. Харциев связал «Трое» с «Песней о Буревестнике». Он писал: «5-й том сочинений Максима Горького, где помещена повесть „Трое“, заканчивается „Песней о Буревестнике“ в стиле „Песни о Соколе“. Этот небольшой лирический этюд, написанный тоже „для публики“, с его буревестником, жаждущим бури... представляет лирическое обобщение только что изложенной повести» («Мирный труд», 1902, № 2, стр. 87).

Реакционные критики из «Нового времени», «Московских ведомостей», «Ежемесячных сочинений» встретили «Троих» в штыки. «В „Моск(овских) вед(омостях)“ статья Басаргина о „Троих“, — писал Горький в январе 1902 г. Пятницкому, — озаглавлена — „Бесстыдная проповедь цинизма“. Здорово! Доказано, что я „радикально невежествен“» (Г-30, т. 28, стр. 28). Статья, о которой упоминал Горький, появилась 29 декабря 1901 г. В таком же тоне о Горьком писали нововременец Ченко («Новое время», 1901, № 9133, 8 августа), «независимый» И. Ясинский, сторонник «чистого искусства» Ю. С. Айхенвальд, бывший народник Ф. Добронравов. «Жаль, что „Мужик“ был напечатан. К той же категории неудачных произведений надо отнести и „Трое“, — писал Ясинский («Ежемесячные сочинения», 1901, № 2, стр. 160). «Типичности и жизни... — писал Айхенвальд, — в троих нет» («Русская мысль», 1902, № 5, отд. III, стр. 137). Добронравов пытался развенчать Горького в специальной книжке. Называя писателя невеждой, Добронравов заявлял, что в «Троих» он воспеваеt «вселенский разврат увриера», выступает как «гонитель мужика и верхоглядствующий экономический материалист, марксистик» (Ф. Д о б р о н р а в о в. Прогорькший романтизм Максима Горького. СПб., 1902, стр. 6).

В более сдержанном тоне высказывалась либерально-буржуазная пресса. Критик И. Н. Игнатов писал, что из всех героев повести только Павлу Грачеву «предстоит продолжать жизненную борьбу наряду с новыми союзниками»; фигуру эту он считал опасной, поскольку якобы девиз Павла: «Нож в сердце!», да и всё остальное в нем «не говорит о здоровом душевном состоянии» («Русские ведомости», 1901, № 338, 14 декабря). Критик В. П. в связи с повестью «Трое» утверждал: «...Горький — поэт не столько „бывших“, сколько *будущих* людей, поэт тех зародышей культуры, которые бродят уже в массе и обещают расцвести здоровым и пышным цветком» («Новости дня», 1902, № 6665, 1 января).носителем зародышей новой культуры критик называл Павла Грачева, изживающего до конца свой индивидуализм и переходящего «в тот лагерь, который должен закалить людей будущего»; Илья — возможный союзник «людей будущего». Однако В. П. считал, что прежде, чем начать борьбу, такие, как Павел Грачев, должны пойти на выучку к буржуазной интеллигенции: «Конечно, они — сила, эти люди будущего! Конечно, дорогу им! Но пока — лишь к той культуре, которая коснулась их только краешком, разбудила их ум, раздражила мысль, но еще не дисциплинировала их, не наполнила их содержанием... И когда эти сильные сердцем, добрые мыслью и духом люди пройдут через ее горнило — о, тогда мы сами постараемся очистить им путь и пойдем за ними» (там же).

«Повесть носит название: „Трое“, хотя, в сущности, является рассказом об одном, а не о троих, и потому с успехом могла бы быть названа: „Илья Лунев“ <...>, — писала Е. Колтоновская в статье «Новое о старом у Горького». — Два других героя, товарищи Илья, Яков и Павел только дополняют собою фон, на котором рельефно выделяется крупная своеобразная фигура Ильи» («Образование», 1902, № 1, отд. III, стр. 23). Подчеркивая, что все герои повести бунтари, непримиримы в своей мятежной тоске по идеалу, называя, в частности, Илью «крупной и сочной моральной силой», признавая также, что от героев повести «Трое» «веет уже совсем новою человечностью и широтой», Е. Колтоновская вместе с тем писала: «...Создать или даже набрести на путь, ведущий к созданию, эта отрицательная сила не может. Впрочем, вопрос еще в том, наступило ли уже то время, когда можно даже мечтать о создании?» (там же, стр. 29).

Принципиально иную, высоко положительную оценку повесть «Трое» получила в марксистской критике, а также в среде революционных социал-демократов.

«Вспомнилось, — писала Горькому 30 сентября 1932 г. Н. К. Крупская, — как в 1900—1901 г., когда я отбывала ссылку в Уфе, прочла я начало Ваших „Троих“ и так это меня захватило, что я в „Самарскую газету“ даже что-то написала...» («Октябрь», 1941, № 6, стр. 26). Уехав с В. И. Лениным за границу, Крупская сумела и там достать полюбившуюся ей книгу. А вскоре из России М. И. Ульянова послала брату вышедший пятый том сочинений Горького. 26 февраля 1902 г. Ленин писал матери: «Маняшу еще раз благодарю за книги: я получил все. Горького 5-й том¹ у нас уже (случайно) имеется». А 7 июня 1902 г. он сообщал ей же: «Горького, Скитальца получил и читал с *очень большим* интересом. И сам читал и другим давал» (В. И. Л е н и н. Письма к родным. 1894—1919. Партиздат, 1934, стр. 279, 284).

С таким же интересом к повести «Трое» отнеслись и сподвижники В. И. Ленина. Рабочий-большевик С. В. Малышев вспоминал: «В 1903 году в Крестах сидела группа большевиков. После голодовки мы завоевали в Крестах кое-какую свободу и начали устраивать доклады, которые читались через окна. Один из первых докладов был сделан тов. М. И. Калининным на тему о творчестве М. Горького и о новых его книгах, которые тогда вышли, кажется, „Трое“ и „Фома Гордеев“. Беседы были жаркие, говорили все много» («Прожектор», 1928, № 13, 25 марта, стр. 12).

С положительной оценкой повести выступил в печати критик-большевик А. А. Дивильковский. Правда, он несколько недооценивал образ Грачева. «Пашка Грачев (поэт), — утверждал Дивильковский, — хотя и выскочил как бы, под конец, из лап жизни, но до того измятый телесно и душевно, что вряд ли много обе-

¹ М. Г о р ь к и й. Рассказы, т. V. СПб., издание товарищества «Знание», 1901. Этот том состоит из повести «Трое» и «Песни о Буревестнике».

щает» («Правда», 1905, апрель, стр. 123)¹. Вместе с тем критик связывал пафос произведения в целом с подъемом могучей волны освободительного движения, возглавляемого пролетариатом. Намечая генеалогию положительного героя в творчестве Горького (Озорник — Краснощекоев — Грачев и Лунев — Нил), Дивильковский указывал на рост героического, коллективистского его миропонимания и заявлял, что знамя идеи, вложенной в «Трое», «Мещане», «принадлежит скорее историческому приливу, родящему на наших глазах пробуждающихся героев, а не людям „на дне“» (там же, стр. 139).

О популярности «Троих» свидетельствуют и сохранившиеся в личном архиве Горького письма читателей. Так, 3 декабря 1900 г. нижегородский знакомый Горького писал ему из Москвы: «Вчера вечером прочел с товарищем Новиковым, которого Вы видели у меня, в только что полученной XI-й книжке ж. „Жизнь“ начало Вашей новой повести „Трое“. Боже мой! Какое высокое наслаждение доставили Вы нам и как всколыхнули душу своим последним художественным произведением. Как это всё знакомо нам и верно действительности. Какой Вы сердечный человек! Как глубоко Вы понимаете душу ребенка и взрослого непосредственного человека. До чего хороши у Вас дедушка Еремей, Илья, Яков, Пашка и Перфишка! Чую, что из Якова выйдет чистый господин. За Вашу горячую любовь к обездоленным следует нам поклониться Вам в ноги. Ваша простота и задушевность изложения невольно заставляют глубоко уважать Вас<...> С нетерпением буду ожидать продолжения Вашей повести» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-3-27-1).

Через 31 год, 14 апреля 1932 г., М. П. Кудашева, жена Р. Роллана, писала Горькому: «Читая „Трое“, я чувствовала себя матерью того мальчика (забыла его имя), который в центре рассказа, главного героя, настолько живо, что видела его в своем собственном сыне <...> Помните, я сказала Вам „спасибо“, когда была у Вас <...> Вы спросили: „За что?“—Я сказала: „За то, что помогли мне попасть к Р...“ Но это было не всё,—хотелось еще сказать: „За „Трое“, за „Детство“ и „Университеты“...“» (там же, КГ-ин-ф-4-49-3).

Повышенный интерес к «Троим» был закономерным, поскольку по словам А. В. Луначарского, и это произведение и «Фома Гордеев» вытекают «из стремления решить основные социальные вопросы в России, найти положительный тип среди бедноты». «Свой роман „Трое“,— писал Луначарский,— Горький посвятил задаче — крепко ударить по стремлениям людей своего слоя, то есть выходцев из низов, к устройству мещанского личного благополучия. В этом романе его враг — жажда „устроиться“.

Горький прекрасно сознавал, что такое эта жажда устроиться „чисто“, жажда „человечком стать“, которая представля-

¹ Статья Дивильковского была написана еще до того, как Горький подверг свою повесть тщательному редактированию и, по его словам, «прикрасил Пашку».

ла собой огромной значительности силу, стихию, напиравшую снизу вверх. В драме Ильи Лунева Горький показал, что путь устройства „чистой жизни“ может быть, и даже часто бывает, чрезват величайшими моральными падениями и, главное, заводит в тот самый тупик, из которого значительная часть общества уже тоскливо ищет исхода.

В романе „Трое“, как и в некоторых других рассказах Горького, вырисовываются контуры фабрики, заметно стремление к разрешению социальных и личных проблем через нее» (*Луначарский*, т. 2, стр. 149—150).

Стр. 25. *Среди лесов Керженца рассеяно много одиноких могил...* — Керженец — река на севере Нижегородской губернии (ныне Горьковская область), левый приток Волги. Лесистая и заболоченная местность по берегам Керженца стала со второй половины XVII в. (со времени церковных реформ Николая) приютом старообрядцев, скрывавшихся от преследований.

Стр. 25. *...когда разорjali скиты...* — Скит — раскольничий монастырь (или небольшое поселение монастырского типа). Особенно известны были керженские скиты, ярко описанные П. И. Мельничковым-Печерским в романах «В лесах» (1874) и «На горах» (1881). В 1853 г. керженские скиты были закрыты, но долго еще продолжали существовать тайно.

Стр. 26. *Радения* — религиозный обряд, во время которого верующие с помощью особых песнопений, плясок и т. п. приводят себя в состояние религиозного экстаза. Участники радения считают, что они таким образом входят в непосредственное общение со «святым духом». Обряд этот характерен для мистическо-экстатических сект (хлысты, молокане-прыгуны, пятидесятники и т. п.), но был усвоен также и некоторыми течениями старообрядчества, т. н. «старообрядцами-беспоповцами» (см.: Ф. Федоренко. Секты, их вера и дела. М., Изд-во политической литературы, 1965, стр. 319).

Стр. 32. *Фармазон* — так в просторечии называли масонов, или франкмасонов (от франц. franc-maçon, букв. «вольный каменщик») с их мистическими обрядами, и вообще людей, проявлявших несогласие с установленными обычаями и верованиями.

Стр. 33. *Шабер* — сосед.

Стр. 47. *Всёночная* — церковная служба в православной церкви накануне воскресенья и некоторых религиозных праздников, начинающаяся после заката солнца и продолжающаяся в ряде случаев далеко за полночь.

Стр. 47. *Клирос* (от греч. kleros—часть) — в православной церкви место перед иконостасом справа и слева от «амвона» (возвышение, с которого читаются евангелия и произносятся проповеди); «клирос» предназначен для певчих и чтецов.

Стр. 48. *Царские врата* — двухстворчатые двери в иконостасе, отделяющем алтарь (восточная часть храма, приподнятая над полом на две-три ступени) от остальной части православного храма.

Стр. 70. *«Гуак, или Непреоборимая верность»* — популярное

лубочное издание рыцарской повести «Гуак, или Непреоборимая верность» в двух частях. См., например, девятое издание, ч. 1, М., 1869; ч. 2, М., 1870.

Стр. 70. *«История о храбром принце Францыле Венециане и прекрасной королеве Ренцывене»* — переделка рыцарского романа, лубочное издание: «История о храбром рыцаре Францыле Венециане и о прекрасной королеве Ренцывене». Есть издания — М., 1829, 1837, 1844, 1865 гг. Популярность этого романа и других лубочных книг была отмечена В. Г. Белинским.

Стр. 70. *Они ознакомились с похождениями «Яшки Смертенского»...* — лубочная повесть.

Стр. 70. *...восхищались Япанчой, татарским наездником...* — «Япанча, татарский наездник, или Покорение Казани Иоанном Васильевичем Грозным. Историческая повесть в 3-х частях. Сочинение И. С. И.», М., изд-во Губанова, 1898. Ряд изданий был без автора и с другим заголовком. Впервые полное имя автора И. С. Касиров (псевдоним И. С. Ивина) появилось в издании — М., 1892.

Стр. 72. *Был в городе Казани... Там есть памятник одному, — за то, что стихи сочинял...* — Памятник Г. Р. Державицу (1743—1816), открытый в 1847 г. во дворе Казанского университета и в 1871 г. перенесенный на Театральную площадь. Памятник не сохранился.

Стр. 74. *...у городи Хороли...* — Хорол, уездный город Полтавской губ.

Стр. 75. *Семишник* — в просторечии монетка в две копейки.

Стр. 75. *Чулочка* — замарашка, грязнуха.

Стр. 79. *Стоит он гласным в думе...* — Одной из буржуазных реформ 1860—1870 гг. было создание выборных городских дум (самоуправлений); гласный — член городской думы.

Стр. 80. *Тузлук* — раствор для засола рыбы.

Стр. 85. *«Новейший фокусник и чародей»* — очевидно, одна из многочисленных лубочных книжек о фокусах, о «магии», толковании сновидений и т. п. Например, издательством Р. В. Любич в Варшаве был выпущен «Полный курс гипнотизма» (год не указан — очевидно, конец XIX или начало XX в.). Эти «жанры» лубочной литературы иронически отмечены В. Г. Белинским в заметке «Ключ к изъяснению снов» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. III. М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 43).

Стр. 91. *...смиреномудр, как сказано в писании...* — Призывы к смиреномудрию часто встречаются в священном писании. Так, например, в «Послании к колоссянам святого апостола Павла» говорится: «Итак облекитесь, как избранные божиин, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиреномудрие, крепость, долготерпение» (гл. 3, стих 12).

Стр. 91. *Сказано — взявши нож, от него и погибнешь...* — Имеется в виду поучение Иисуса Христа: «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечем погибнут» («Евангелие от Матфея», гл. 26, стих 52).

Стр. 92. *...книжка есть «Альбигойцы»* — *Есть там один — Симон Монфор...* — Несомненно, речь идет о романе «ужасов и

тайн» английского писателя Чарлза Роберта Мэтьюрина (Maturin) (1782—1824) «Альбигойцы» (1824, рус. пер. 1835), так как менее вероятно, чтобы дети читали «Историю альбигойцев и их времени» Н. А. Осокина (т. 1—2, Казань, 1869—1872).

Альбигойцы — еретическая секта (XII и XIII вв.) в Южной Франции (название получили по г. Альби — одному из центров их движения). Альбигойцы проповедовали простую, уединенную жизнь, выступали с обличениями против господствующей римской церкви, обвиняя ее в развращенности земными богатствами, отрицали католические таинства, ад и рай и т. п. Религиозное движение альбигойцев было формой выражения социально-экономического протеста.

Симон де Монфор (Старший) — северо-французский рыцарь, граф (убит в 1218 г.), предводитель одного из крестовых походов против альбигойцев.

Стр. 99. *Шпандырь* — ремень, которым сапожники прикрепляют работу к ноге.

Стр. 103. *Сказано им Адаму и Еве: плодитесь, множьтесь и населяйте землю...* — В Библии говорится: «И сотворил бог человека по образу своему, по образу божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их бог, и сказал им бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею...» («Бытие», гл. 1, стихи 27—28).

Стр. 104. *Говорят, есть книга, — наука, — черная магия...* — Магия (от греч. *mageia*) — волхование, ведовство, т. е. обряды и церемонии, связанные с верой в существование сверхъестественного мира и в возможность влиять на окружающую действительность с помощью сверхъестественных сил. Магические приемы разделяются на два разряда: «белая магия», противостоящая всему злему, и «черная магия», направленная к тому, чтобы «навести порчу» на определенное лицо или группу лиц (см.: В. Ф. Зыковец. О черной и белой магии. М., 1965). «Книга», о которой говорит Яков, — вероятно, одно из многочисленных лубочных изданий, посвященных «магической науке» (вроде «Магии», выпущенной книжным торговцем Н. И. Холмушиным в С.-Петербурге, б/г), которые Энгельс относил к числу «бессмысленных порождений пагубного суеверия» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 1956, стр. 350).

Стр. 106. *Я-а не ча-ял... тебя измыкати...* — русская народная песня «Седина ль моя, сединушка...» (см. «Песни, собранные П. В. Киреевским». Новая серия, вып. II, ч. 2. М., 1929, № 2583).

Стр. 106. *Сказано: «Яко соблюл еси слово терпения моего, и аз тя соблюду в годину искушения ѿ Понеже тепл еси, а не студен еси, ниже горяч — имаю ти избевати из уст моих»* — Из «Откровения святого Иоанна Богослова»: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохранию тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле». «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих» (гл. 3, стихи 10 и 16).

Стр. 106. *«Аз люблю, обличаю и наказую...»* — Из «Откро-

вения святого Иоанна Богослова»: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревостен и покайся» (гл. 3, стих 19).

Стр. 106. *«Не суди, да не судим будешь...»* — Одно из поучений Иисуса Христа: «Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете судимы...» («Евангелие от Матфея», гл. 7, стихи 1—2).

Стр. 106. *Давид* — израильский царь (предположительно конец XI — начало X веков до н. э.), основатель династии, правившей сначала всем Израилем, затем Южным Иудейским царством. В позднейшей легендарной традиции известен как автор «Псалмов Давида».

Стр. 107. *Изошё-ол я, добрый молодец...* — русская народная песня «Седина ль моя, сединушка...» (см. выше примечание к стр. 106).

Стр. 110. *Святая Анна...* — Вероятно, икона святой Анны — матери богородицы.

Стр. 115. *«...покойны дома у грабителей...»* — не совсем точная цитата из библейской «Книги Иова»: «Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих бога, которые как бы бога носят в руках своих» (гл. 12, стих 6).

Стр. 115. *Шематонить* (простореч., устарел.) — от французского *schouer* — бездельничать, быть праздным.

Стр. 140. *Крестовик* — петровский рубль, с крестом из четырех букв «Петр».

Стр. 143. *Сказано: и волос с головы человека не упадет без воли божией...* — «Евангелие от Луки», гл. 21, стих 18; «Евангелие от Матфея», гл. 10, стихи 29—31; «Первая книга царств», гл. 14, стих 15.

Стр. 144. *По дисконту первый в городе был...* — т. е. по дисконтным операциям, от англ. слова *discount*, учет векселей. Человек, занимающийся учетом векселей, — дисконтер.

Стр. 148. *Псалтирь* (греч. *psalterion* — книга псалмов) — сборник 150 песнопений, одна из книг Библии; автором Псалтири церковь считает царя Давида (см. выше); вместе с песнопениями в отдельном издании Псалтири печатались также молитвы.

Стр. 148. *...о начале вещей...* — Речь идет о книге: «Полидора Виргилия Урбинского осмь книг о изобретателях вещей», СПб., 1720. Яков приводит выдержки из первой главы «О первобытии богов языческих и откуда бог наречется».

Стр. 148. *Фалес* (ок. 624—547 до н. э.) — первый исторически достоверный представитель древнегреческой философии, основатель стихийно-материалистической «Милетской школы». Первоосновой всего сущего Фалес считал воду.

Стр. 148. *Диагор* (втор. пол. V в. до н. э.) — греческий философ, один из видных атеистов древности, прозванный «безбожником».

Стр. 148. *Эпикур* (341—270 до н. э.) — греческий философ, материалист и атеист.

Стр. 150. *К страстнбй неделе...* — Последняя неделя перед пасхой; название получила от «страстей» (страданий), которые,

согласно евангельской легенде, испытал распятый (в предпасхальные дни) Христос.

Стр. 175. «Глава третья...» — Яков продолжает читать книгу Полидора Виргилия Урбинского (см. выше). Для облегчения понимания цитируемого в романе текста приводим эту выдержку по более позднему изданию Н. Новикова (М., 1782 г.): «Первое начало человеков, как свидетельствует Диодор, у учнейших мужей, писавших о естестве вещей, двоякое полагается: ибо некоторые думали, что мир сей несоздан и нетленен, и род человеческий не имеет рождению начала, и был от века. Сего мнения держались, по свидетельству Ценсорина (Цицерона. — *Ред.*), Пифагор Самийский, Архита Тарентинский, Платон Афинский, Ксенократ, Аристотель Стагирита, и многие другие перипатетики тож думали, говоря, что всех вещей, которые в присносущем сем мире находились, и быть имеют, не было никакого начала, в котором каждого рожденного начала купно и конец является» (стр. 11).

Стр. 176. ...свидетельствующу Цицерону... — т. е. согласно свидетельству Цицерона (древнеримский оратор, писатель и политический деятель, 106—43 до н. э.).

Стр. 176. Пифагор Самийский (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий математик и философ, родившийся на острове Самос.

Стр. 176. Архита Терентин — Архит Тарентский (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ, пифагореец; родом из Тарента, друг Платона.

Стр. 176. Платон Афинский (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, жил в Афинах.

Стр. 176. Ксенократ, из Халкедона (395—314 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, ученик Платона.

Стр. 176. Аристотель Стагиритский (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ, родился в Стагире, во Фракии.

Стр. 176. Перипатетики (греч. *peripatetkos* — совершаемый во время прогулки) — последователи философии Аристотеля. Название происходит от того, что в философской школе Аристотеля (Ликее), основанной в Афинах в 335 г. до н. э., обученные происходили обычно во время прогулок.

Стр. 178. Ой, ку-уме, ку-уме, добра горилка... — украинская народная песня (ср. «Пісні Явдохи Зуїхи. Записав Гнат Танцюра», Київ, вид-во «Наукова думка», 1965, стр. 517—518).

Стр. 195. Пуска-ай кто хо-чет и-и-щет / В-бога-атых ян-тар-рей... — Переработка «Песни» В. А. Жуковского («Жаль-цо души-девицы...», 1816). В песенниках — с 1820-х годов. Музыка А. А. Алябьева.

Стр. 196. Паникадило — большая люстра в церкви или большой подсвечник для 12 свечей или лампад, стоящих перед иконами.

Стр. 201. «Как по морю, морю синему» — народная песня (см.: А. И. Соболевский. Великорусские народные песни, т. II. СПб., 1895, № 244—258).

Стр. 202. «Иова» — иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в Петербурге с 1870 по 1918 год.

Стр. 204. «Живописное обозрение» — еженедельный иллюстрированный журнал «для семейного чтения», издававшийся в Петербурге в 1874—1905 гг.

Стр. 204. «Так! ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен...» — Из библейской «Книги пророка Исаии» (гл. 15, стих 1). Речь, видимо, идет о городе моавитян — семитического племени, жившего на восточном берегу Мертвого моря.

Стр. 205. ...зловещие пророчества Исаии. — Исаия — библейский пророк, будто бы живший в VIII в. до н. э. В книге, которая ему приписывается, обличается «нечестие» как причина всех бедствий народных.

Стр. 205. «Часто ли угасает светильник *С* бог бережет для детей его несчастье его — из библейской «Книги Иова» (гл. 21, стихи 17 и 19).

Стр. 206. «Опротивела душе моей жизнь моя *С* презираешь дело рук твоих...» — не совсем точная цитата из «Книги Иова» (гл. 10, стихи 1—3).

Стр. 206. «Что за удовольствие *С* пути твои в непорочности?» — не совсем точная цитата из «Книги Иова» (гл. 22, стих 3).

Стр. 207. «Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, чем мертвому льву» — из «Книги Екклесиаста» (гл. 9, стих 4).

Стр. 207. «Во дни благополучия пользуйся благом...» — не совсем точная цитата из «Книги Екклесиаста» (гл. 7, стих 14).

Стр. 213. *Пошехонец* — нарицательное обозначение тупого, беспросветно-отсталого, захолустного обывателя, совершающего анекдотические глупости.

Стр. 228. *Гурко* — И. В. Гурко (1828—1901) — генерал-фельдмаршал; получил известность во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Стр. 229. «*Ступени человеческого века*» — популярная старинная лубочная картина.

Стр. 233. ...*блажен муж *С* вскую шаташася языцы...* — «Блажен муж» (человек) — выражение, нередко употребляемое в Ветхом и Новом заветах: «Послание апостола Иакова», гл. 1, стих 12; «Послание к римлянам святого апостола Павла», гл. 4, стих 8; «Псалтирь», псалом 1, стих 1 и пр. «Вскую шаташася языцы» — первый стих второго псалма Давида: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?»

Стр. 237. «*Отче наш...*» — основная молитва христиан («Евангелие от Матфея», гл. 6, стихи 9—13; «Евангелие от Луки», гл. 11, стихи 2—4).

Стр. 251. *Ра-ззо-очарован-ному чу-у-ужды...* — Слова из романа М. И. Глинки «Разуверение» («Не искушай меня без нужды», 1825). Автор текста Е. А. Баратынский (1821).

Стр. 251. *Пар-ра гнедых, запр-ряженных с зар-рею...* — А. Н. Апухтин «Пара гнедых» (1870-е годы), вольный перевод французского романа «*Rautes chevaux*» (французский текст

и музыка композитора С. И. Донаурова). Песня приобрела большую популярность, подвергалась переработке. Вошла в лубочные песенники.

Стр. 252. ...*песни про Волгу, похороны, нераспаханную полосу...*— Возможно, имеются в виду хоровые песни на слова Н. А. Некрасова: отрывок из стихотворения «Размышления у парадного подъезда» («Выдь на Волгу: чей стон раздастся...»; 1858); из стихотворения «Похороны» («Меж высоких хлебов затерялося / Небогатое наше село...»; 1861) и из стихотворения «Нежская полоса» (1854). Музыка неизвестных авторов, в песенники стали включаться с начала XX в.

Стр. 268. *«Юлия, или Подземелье замка Мадзини...»* — Роман неизвестного автора (М., 1802), вышедший (как и множество других) под именем английской писательницы, создательницы жанра «готического романа» или «романа ужасов и тайн», — Анны Радклиф (1764—1823).

Стр. 268. *«...коемуждо воздастся по делу его»...* — Пророчество, встречающееся в Ветхом и Новом заветах, например, в «Евангелии от Матфея» (гл. 16, стих 27), в «Послании к римлянам святого апостола Павла» (гл. 2, стих 6), в одном из псалмов Давида («Псалтирь», псалом 61, стих 13).

Стр. 273. *...был не только в Киеве, но и у Сергия, чуть было не уехал в Соловки, попал на Валаам...*— В Киеве — в Киево-Печерской лавре, одном из крупнейших древнерусских монастырей, основанном в середине XI в. в княжение Ярослава Мудрого; у Сергия — в Троице-Сергиевом монастыре, основанном в середине XIV в. иноком Сергием, недалеко от Москвы, в нынешнем Загорске; в Соловки — в Соловецкий монастырь на острове Соловецком в Белом море, основанный на рубеже 20-х и 30-х годов XV в.; на Валаам — в Валаамский Преображенский мужской монастырь на одном из Валаамских островов в северной части Ладожского озера, — основателями этого монастыря считаются монахи Сергей и Герман (X—XII вв.).

Стр. 283. *Был я у Афанасья Сидящего, и у переяславльских чудотворцев, и у Митрофания Воронежского, и у Тихона Задонского... О а сейчас был у Петра — Фаворны в Муроме...*— у Афанасья Сидящего — вероятно, в Афанасьевском мужском монастыре, основанном в 1615 г. в Ярославле; у переяславльских чудотворцев — очевидно, в монастырях и церквях Переяславля-Залесского, уездного города Владимирской губернии. Наиболее известны из них — Спасопреображенский монастырь, основанный в XII в. и служивший усыпальницей переяславльских князей, гробницы которых сохранились; Троицкий Данилов монастырь, основанный в 1508 г. Даниилом чудотворцем, который там и был захоронен; Князь-Андреевская церковь, где «хранились мощи» святого князя Андрея Переяславльского; у Митрофания Воронежского — Митрофаний Воронежский — первый воронежский епископ (1623—1703), причисленный к лику святых и канонизированный в 1832 г.; у Тихона Задонского — в Задонском монастыре, где поселился в 1769 г. Тихон Задонский (1724—1783), епископ

Воронежский и Елецкий, он там и умер, а в 1861 г. был канонизирован как святой; у Петра — Февроньи в Муроме — в Муромской соборной церкви, где хранятся «мощи» Муромского князя Петра и его жены Февронии (умерли в 1228 г.), причисленных к лику святых; их деяния описаны в древнерусской «Повести о Петре и Февронии».

Стр. 286. *Акафисты* (от греч. akaphistos — несидящий) — вид христианско-церковного хвалебного песнопения, при исполнении которого церковные правила не разрешают сидеть.

Стр. 286. *Вечерами он рассказывал племяннику о том, как Аллилуева жена спасла Христа от врагов, бросив в горящую печь своего ребенка, а Христа взяв на руки вместо него.* — Из духовного стиха (раскольнического), озаглавленного «Песня об Аллилуевой жене»; в другом варианте: «Стих о милостивой жене, милосердной» («Сборник русских духовных стихов, составленный В. Варенцовым». СПб., 1860, стр. 174—177; 177—178; 178—179).

Стр. 286. *Рассказывал о том, как монах триста лет слушал пение птички.* — Легенда из сборника повестей и рассказов, переведенных с польского языка в XVII веке — «Великое Зерцало». «Небесного сладкопения наслаждающаяся един монах от птицы через 300 возвратися» (см. П. В. В л а д и м и р о в. Великое Зерцало. М., 1884, приложение второе, стр. 21, № 217).

Стр. 286. *...о Кирике и Улите...* — святые мученики; история их рассказана в книге «Великие Минеи Четьи» за 15 июля.

Стр. 308. *Суд присяжных* — введен при Александре II в связи с судебной реформой 1864 г. (основные начала ее были утверждены еще в 1862 г.), но из его подсудности были изъяты дела политические и религиозные, а позже дела о должностных преступлениях.

II

ССОРА

(Стр. 321)

Впервые напечатано в газете «Одесские новости», 1899, № 4602, 18 апреля.

Печатается по тексту газеты с исправлением:

Стр. 323, строка 6: «помолчала я» вместо «помогала я».

После первой публикации рассказ «затерялся». И. А. Груздев, обнаруживший это произведение на страницах «Одесских новостей» и перепечатавший его в «Ленинградском альманахе», так комментировал свою публикацию: «Алексей Максимович вспоминал этот рассказ, вспоминал одну деталь его, как рабочий „расталкивал“ грязь на улице. Названия рассказа он не помнил, а местом печати считал „Приазовский край“ <...> В 1899 году в марте — апреле Алексей Максимович жил в Крыму. В это время „Одесские новости“, видимо, и попросили у него рассказ для „пасхального номера“. Как „поднадзорный“ Горький получил разрешение министерства внутренних дел прожить в Ялте два месяца для лечения <...> Но недели через две эта спокойная жизнь была нарушена <...> Горький уехал из Крыма, не проживши там месяца <...> из-за цензурного вмешательства в его повесть „Фома Гордеев“ <...> Суббота, в которую приехал Горький в Москву, была страстная суббота, 17 апреля. В первый же день Пасхи, вечером 18 апреля, он поехал в Нижний. Как раз в этот день — 18 апреля — „Одесские новости“ поместили рассказ Горького».

Рассказывая далее о напряженной работе Горького в Нижнем над «Фомой Гордеевым» после учиненного цензурой погрома, Груздев пишет: «Неудивительно, что в такой бешеной работе Горькому было не до рассказа, который он дал в „Одесские новости“. И только много лет спустя, в последние годы жизни, он вспомнил сцену с рабочим и просил меня отыскать этот рассказ» («Ленинградский альманах», 1955, кн. 10, стр. 17—18).

В воссозданную Груздевым картину жизни писателя весной 1899 г. следует внести одно уточнение. Около 20 мая 1899 г. Горький писал по поводу рассказа «Ссора» И. А. Бунину, жившему в то время в Одессе: «...написал я Вашим свиным „Новостям“, что они мне мало заплатили денег за рассказ и что следует деньги за мой рассказ отдать в пользу голодающих

от их, „Новостей“, имени. Не узнаете ли Вы, сделали они это?» (*Г Чтения*, 1961, стр. 12).

Стр. 321. *Пешня* — лом на деревянной рукоятке для пробивания льда.

ГОЛОДНЫЕ

(Стр. 334)

Впервые напечатано в литературно-художественном сборнике «Помощь пострадавшим от неурожая». М., 1899, стр. 7—10. В 1900 г. сборник вышел вторым изданием.

Печатается по тексту первого издания сборника.

Написано в 1899 г., не позднее начала апреля. В марте этого года Н. П. Ашешов, сотрудник московской либерально-буржуазной газеты «Курьер», один из организаторов сборника «Помощь пострадавшим от неурожая», обратился к Горькому с приглашением участвовать в сборнике. 22 марта Горький пишет Е. П. Пешковой из Ялты: «Ответь „Курьеру“ — Ашешову — я ничего не имею против помещения в сборнике рассказа» (*Архив Г_v*, стр. 57). 10 апреля газета известила читателей о предполагаемом содержании сборника. Среди других произведений: «„Голодные, с натуры“, М. Горького». Газета «Нижегородский листок» поместила аналогичное объявление 9 апреля 1899 г.

Поскольку в марте — апреле 1899 г. писатель жил в Крыму, можно думать, что волжские впечатления, легшие в основу произведения (см. первую фразу очерка), относятся к 1898 году. В нижегородских газетах этого времени уже нередки сообщения о голоде в деревнях.

27 мая 1899 г. сборник прошел цензуру, а 27 июня того же года вышел в свет. Кроме Горького, в нем приняли участие А. П. Чехов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. И. Тимковский, Евг. Чириков и др.

Деятельность Горького по оказанию помощи пострадавшим от неурожая 1898 г. не ограничилась участием в сборнике и была самой разнообразной. 30 марта 1899 г. он писал из Ялты жене: «Будет вечер в пользу голодающих: Чехов, Елп (атьевский) и я будем читать» (*Архив Г_v*, стр. 59). В июне того же года — С. П. Дороватовскому: «„Фома“, корректура, начальство прижимает, голодающие заездили — страшно устал! У нас в Нижегородской — цинга и маленький тифик. Нужно очень много денег и нам, и в Казань, и в Сарапул <...> Собираю, посылаю, встречаю, направляю, провожаю» (*Г-30*, т. 28, стр. 86).

Стр. 334. *Пьяна* — река, приток Суры.

Стр. 334. *Которые в город поедут, которые в Лысково...* — Лысково — большое село на правом берегу Волги. Почти напротив него расположен Макарьев, в то время уездный город Нижегородской губернии.

Стр. 335. *Пещур* (пещер) — котомка, лубяная корзинка.
Стр. 335. *С Василь-Сурского...* — Васильсурск — уездный город Нижегородской губернии, на берегу Волги.

СИРОТА

(Стр. 338)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1899, № 272, 4 октября.

Печатается по тексту газеты с исправлением:

Стр. 338, строки 9—10: «Она держала зонт» вместо «Одна держала зонт».

Произведение высоко оценил А. П. Чехов в письме Горькому от 2 января 1900 г.: «Писал ли я Вам, что Ваш рассказ „Сирота“ мне очень понравился и что я послал его в Москву превосходным чтецам? На медицинском факультете в Москве есть профессор А. Б. Фохт, который превосходно читает Слепцова. Лучшего чтеца я не знаю. Так вот я ему послал Вашего „Сироту“» (*Г и Чехов*, стр. 60).

В СОЧЕЛЬНИК

(Стр. 343)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1899, № 354, 25 декабря.

Печатается по тексту газеты с исправлениями (по смыслу):

Стр. 347, строка 15: «большого и здорового» вместо «большого и здорового».

Стр. 350, строка 11: «а не без ума» вместо «а без ума».

Горький предполагал включить рассказ в 7-й том собрания сочинений в издании «Знание». 10—11 октября 1903 г. он писал К. П. Пятницкому: «〈...〉 мы можем выпустить том 7-й. Для него есть „Погром“, „Песня о слепых“, „В сочельник“» (*Архив ГИУ*, стр. 138). Но работа над 7-м томом задержалась (предыдущий, 6-й, вышел в 1903 г., а 7-й только в 1906), и содержание его было, по-видимому, пересмотрено: в него вошли пьесы «Дачники» и «Дети солнца».

Стр. 343. *Сочельник* — канун церковных праздников Рождества и Крещения.

Стр. 346. *Я то-от, кого никто-о не лю-любит...* — Из арии Демона в опере А. Г. Рубинштейна по поэме М. Ю. Лермонтова.

ПУЗЫРИ

(Стр. 351)

Впервые напечатано в газете «Северный курьер», 1900, № 60, 1 января.

Печатается по тексту газеты.

Создание рассказа совпало с деятельностью Горького по организации елки для детей нижегородской бедноты.

Понять внутренние побуждения автора в период работы над рассказом помогает письмо Л. В. Средину от 5 января 1900 г. Горький писал:

«...когда я подумаю о людях, которые читают, и о тех, которые *не читают*, — мне делается неловко, неудобно жить. Вы только сообразите, что из пятисот вчерашних мальцов, быть может, всего *один* будет читать. Да, не больше. Ибо остальные издохнут преждевременно от кори, тифа, скарлатины, дифтерии, холеры, поноса — от голода, холода, грязи; те же, что будут живы, — будут пьяницы и воры, по примеру родителей своих, или — выючные животные, по тому же примеру. Понимать это — неприятно, горько, тоскливо <...> Я всё получаю письма от читателя, — хорошие письма. Как и Вы, читатель пишет:

А пиши, пиши, пиши,
Для души пиши-пиши...

И под звук сей колыбельной песни я пишу, для его удовольствия. Но в то же время и для своего. Пишу я, знаете, и мысленно обращаюсь к читателю:

„Милостивый государь! Вы читаете и хвалите... весьма вам за сие благодарен. Но, государь мой, — что же дальше? Какие же жизненные эмоции я пробуждаю в вашей душе, столь похожей на затертую тряпицу, какие вы подвиги на пользу жизни думаете совершить под влиянием сих моих писаний? Какая польза жизни от этой кантели? Государь мой! Что, кроме приятного забвения скучного времени вашего, протекающего медленно и однообразно по руслу мелочей и средь берегов всякой пошлости, — что именно дал и даю я вам?“ <...> В дополнение рекомендую мой пасквиль, напечатанный в № 1 „Север<ного> курьера“ под заголовком „Пузыри“. Это — скверный, торопливо написанный, но искренний шум моего сердца. Вам не нравится мой второй чёрт? А мне — нравится — ибо он многих обидел. Мне страшно хотелось бы уметь обижать людей» (Г-30, т. 28, стр. 109—110).

Стр. 353. *Разумейте, языцы!*.. — фраза из старославянского текста Библии — «Книга пророка Исаия», гл. 8, стих 9.

ПЕСНИ ПОКОЙНИКОВ

(Стр. 359)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1900, № 1, 1 января, с подзаголовком «Святочный рассказ».

Печатается по тексту газеты.

Первая и вторая главы, под названием «Мужик. Очерки», впервые были напечатаны в журнале «Жизнь», 1900, т. III (март), стр. 128—161, т. IV (апрель), стр. 1—34. Третья глава при жизни автора не печаталась. Впервые, под заглавием «Добыча», она была опубликована в 1936 г. в книге Г, *Материалы*, т. II, стр. 10—50. Эта публикация ошибочно дана без последнего абзаца, восстановленного в настоящем издании.

Произведение осталось неоконченным.

Первая и вторая главы печатаются по журналу «Жизнь», третья глава — по машинописной копии с авторской правкой, хранящейся в Архиве А. М. Горького (ХПГ-11-1-1). Внесено исправление по смыслу: «уже примешивается» (стр. 424, строка 24) вместо «уже не примешивается».

О замысле произведения Горький говорил Н. К. Михайловскому в Петербурге 9 октября 1899 г.

«Я, — вспоминал он, — рассказал ему план книги „Мужик“ — полуфантастическую историю карьеры архитектора из крестьян.

— Час от часу не легче! — воскликнул он, удивленно разведя руками. — Про него говорят — марксист, а он собирается писать какую-то апологию буржуа! <...>

Тип героя — „мужика“ лепился у меня довольно ясно и прочно из моего знакомства с культурной работой Милютина, череповецкого головы, и моих наблюдений над жизнью поволжских городов.

— Может быть, это будет интересно, — Николай Константинович недоверчиво пожал плечами, — во всяком случае — оригинально. Буржуй как положительный тип — вы это будете печатать в марксистской „Жизни“? Тоже оригинально!» (Г-30, т. 15, стр. 122—123; ЛЖТ₁, стр. 247).

Судя по поздним воспоминаниям писателя, произведение должно было быть очень большим по объему. «Это была весьма громоздкая затея, листов на 20. Ее вызвали мои наблюдения над тем, как люди, известные мне — по Нижнему и Казани — с отрочества моего, начали „устраиваться“ в жизни, устраиваться как строители и как разрушители» (там же, т. 30, стр. 5—6).

13 (25) декабря 1899 г. Горький писал из Нижнего Новгорода Чехову: «Я скоро начну еще одну большую ахинею. Буду изображать в ней мужика — образованного, архитектора, жулика, умницу, с благородными идеями, жадного к жизни, конечно» (Г-30, т. 28, стр. 108).

К работе над «Мужиком» Горький приступил не позднее начала февраля 1900 г. 12 или 13 (24 или 25) февраля он писал из Нижнего Новгорода А. П. Чехову в Ялту: «<...> поеду я к Вам, когда кончу повесть для „Жизни“» (там же, т. 28, стр. 120). А 14 или 15 (26 или 27) февраля 1900 г. в письме Л. Н. Толстому Горький сообщал: «<...> работаю на всех парах, — пишу повесть о

мудрствующих лукаво, каковых не люблю. Они есть самый низкий сорт людей, по-моему» (Г-30, т. 28, стр. 122).

I, II и III главы написаны Горьким до 12 марта 1900 г., о чем свидетельствуют воспоминания В. А. Поссе. 12 марта 1900 г. писатель выехал из Москвы в Крым. В вагоне «Горький мне и Миролюбову, — писал Поссе, — читает по рукописи продолжение своего „Мужика“, — ту „порцию“, которая предназначалась для майского номера „Жизни“ <...> Порция солидная» (Поссе, стр. 166).

Поссе так объяснял, почему Горький бросил работу над произведением:

«Мы <...> глотали ее без особого аппетита <...> Когда он <Горький> кончил, мы с Миролюбовым промолчали. Молчание вышло неловкое и Горькому неприятное <...> „Мужик“ был убит.

Горький заявил мне, что прочитанное „продолжение“ он уничтожит и больше „Мужика“ писать не будет.

Решение было окончательное и непоколебимое» (там же, стр. 166—168).

Читая книгу Поссе, Горький подчеркнул слова: «„Мужика“ писать не будет» и написал на полях: «Не верно» (ЛБГ, № 20-2-33).

О том, что Горький намеревался реализовать свой замысел, свидетельствует его письмо из Мануйловки Пятницкому от 18—19 июня 1900 г. Горький сообщает в этом письме, что пробудет в Мануйловке до октября и будет там «работать над „Мужиком“ и прочими вещами» (Архив Г_{IV}, стр. 11).

18 декабря 1900 г. Н. Д. Телешов в письме Горькому спрашивал о судьбе «Мужика» (Архив Г_{VII}, стр. 256). Горький ответил (22 декабря 1900 г.) уклончиво: «„Мужик“? Дорогой мой, у меня на эту тему такне есть шедевры! Некогда воспользоваться! Недавно здесь в коренной купецкой семье разыгралась драмочка, — прелесть! Вам бы, сэр, надо эту сферу тронуть» (Архив Г_{VII}, стр. 21).

Однако осталось неизвестным, продолжал ли Горький работу над «Мужиком» после написания главы III.

На вопрос, почему произведение осталось неоконченным, ответил В. А. Десницкий. «Надо, — писал он, — предполагать, что фигура „мужика“, в известной мере полемически задуманная и противопоставленная образам „народолюбческой“ литературы, показала автору в процессе работы непригодной для широкого полотна, как типическая, как центральная в российской действительности начала XX века. И автор прекратил „полемику“ с народниками на художественных образах, считая ее и для себя и для читателя излишней <...> Мои <...> предположения о прекращении работы над „Мужиком“ Алексей Максимович признал правильными» (В. А. Д е с н и ц к и й. М. Горький и П. Якубович в 1900 году. — Г, Материалы, т. II, стр. 361).

В письме Д. А. Лутохину от 9 января 1927 г. Горький говорил по поводу «Мужика»: «Написал я листов 6—8, кажется, и — на этом кончил. Помешал ряд сложнейших обстоятельств, среди них было одно очень курьезное: в редакцию поступило продол-

жение романа <...> не мною писано, но очень ловко под меня» (Г-30, т. 30, стр. 6). Об этом же рассказывал Горький и Десницкому: «<...> получаю корректуру продолжения „Мужика“. Читаю и ничего не понимаю. Совсем не мой текст, с первыми главами ничем не связан, одно имя какого-то из моих персонажей сохранено. Волнуюсь. Отправил телеграмму Поссе. В конце концов выяснилось, что он, получивши „продолжение“, отправил рукопись, не читая, в набор. Как это он мог сделать, не понимаю. Ведь он же знал мой почерк, я тогда сам переписывал свои рукописи. Оказывается, какая-то дама из Курска, насколько помню, продолжила вместо меня „Мужика“. Понравился он ей... Она еще потом мне возмущенно сообщала, что пишет и дальше, посылает в „Жизнь“, а там не печатают. Графоманка, должно быть.

— Не понравилось мне это, — закончил Алексей Максимович, — и тоже помешало продолжать» (Г, Материалы, т. II, стр. 361).

Как видно из некоторых авторских оценок, Горький не был доволен своим произведением. Еще в феврале 1900 г. он сообщал Чехову: «Пишу повесть довольно нелепую» (Г-30, т. 28, стр. 121). 11 или 12 (24 или 25) октября того же года Горький, сообщая Чехову о посещении Толстого в Ясной Поляне, писал: «Говорилось о Вас отечески-нежным тоном. Хорошо он о Вас говорит. Поругал меня за „Мужика“ — тоже хорошо» (там же, стр. 138).

В записях А. Б. Гольденвейзера и П. А. Сергеенко о разговоре с Толстым 5 июля 1900 г. сообщается: «Льву Николаевичу очень нравится Горький как человек. В его сочинениях, однако, он начинает разочаровываться. „Мужика“ Лев Николаевич считает слабой вещью» (Н. Н. Гусев. «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910». М., 1960, стр. 354).

Не понравился «Мужик» и Чехову, о чем свидетельствует запись А. С. Суворина в дневнике 15 мая 1900 г.: «13-го, в субботу, провел с Чеховым <...> О Горьком говорили <...> Об его „Мужичке“ сказал, что это бездарно» (Дневник А. С. Суворина. М.—Пг., 1923, стр. 240).

Писатель А. В. Яровицкий — один из организаторов первого Нижегородского комитета РСДРП — 7 (20) апреля 1900 г. в письме брату выразил свое отношение к той части «Мужика», которая была опубликована в мартовском номере «Жизни»: «Очень интересно (из жизни интеллигенции), но, по моему мнению, мало художественно; по крайней мере, пока напечатанное имеет главным образом философскую ценность, а не художественную» (Горьковский сборник (К 100-летию со дня рождения М. Горького). Ученые записки. Серия филологических наук, вып. 110. Волго-Вятское кн. изд-во, 1968, стр. 302).

В среде литераторов-народников новое произведение Горького было встречено неодобрительно, а образ Шебуева не был ими понят. «В публике, — писал П. Ф. Якубович 20 апреля 1900 г. Горькому, — многие думают почему-то, что сам автор ничуть не сочувствует своему герою (Шебуеву) и что в конце концов непременно сделает из него жулика (!), но я, конечно, не могу этого думать. Шебуев, разумеется, излюбленное дитя Вашей фантазии:

но за что же, скажите, за что?.. Почему это он будет лучшим служителем народа, чем его предшественники — дворяне и разночинцы? <...> Но самое главное, что мне лично не нравится, — это упразднение Вашим Шебуевым понятий „долга“, „жалости“ и других „выспренных“ мотивов служения народу и замены их простым „расчетом“. Что же это за расчет такой, я решительно отказываюсь понять <...> Очерк не пришелся мне по вкусу своим теориям, но написан он горячо и в тех местах, которые касаются бытовой стороны жизни, блещет Вашим обычным талантом» (Г, Материалы, т. II, стр. 378—379).

Как видно из последующего письма Якубовича, Горький, вероятно, в своем ответе разъяснил ему, что образ Шебуева отнюдь не является его идеалом (письма Горького к П. Ф. Якубовичу до сих пор не разысканы). 29 мая 1900 г. Якубович писал Горькому: «Признаюсь, меня прямо поразило Ваше объяснение „Мужика“. Мне кажется, решительно невозможно было думать по первым двум очеркам, что автор глядит на Шебуева как на „жулика и самохвала“. Я, право, боюсь, что Вы шутите надо мной, Алексей Максимович... С какой же стати Вы вложили, напр<имер>, в уста жулика и самохвала эту горячую и прекрасную тираду о жизни („Жизнь прекрасна!“)? Да, наконец, в его речах мне прямо слышатся многие собственные Ваши взгляды» (там же, стр. 380).

Несмотря на то, что в печати появились только первые главы «Мужика», произведение вызвало многочисленные отклики. «Да, идут новые люди, — писал Old Gentleman <А. В. Амфитеатров>, — может быть, и не так быстро, как утверждает романтический архитектор из мужиков в опять-таки покуда романтическом „Мужике“ М. Горького, — но идут всюду и твердым шагом» («Россия», 1900, № 339, 4 апреля). Шебуев, — писал В. Е. Чехин-Ветринский, — «представляет живой интерес по той жажде жизни и практически нужного людям дела, какая буревает его и изливается в полных лиризма монологах» («Нижегородский листок», 1900, № 99, 13 апреля). Н. Геккер вначале считал появление «Мужика» «крупным событием в литературе наших дней»: в нем выведен «представитель рабочей интеллигенции», «редкий положительный тип в нашей литературе», «непосредственный участник» жизни, ее «боец и протестант». «Мужик» «принес не новую мудрость и не новую программу, а новое настроение, доброе, свежее, энергичное и жизнерадостное» («Одесские новости», 1900, № 4933, 15 апреля). Однако после появления второй главы «Мужика» Геккер говорит о своем разочаровании в «героическом» образе Шебуева («Одесские новости», 1900, № 4938, 20 апреля).

Большинство критиков было единодушно в своем отрицательном отношении к новому произведению Горького. Неудачным было признано изображение интеллигенции, якобы чуждой и непонятной Горькому. Рецензент «Русских ведомостей» утверждал: «Отрицательное отношение автора к интеллигенции, проявляющееся и в других более ранних рассказах, здесь приняло

ярко тенденциозный характер, неблагоприятно отразившийся на художественных достоинствах очерков» («Русские ведомости», 1901, № 1, 1 января). В таком же духе писали и другие рецензенты, обвиняя писателя в «презрительном» отношении к интеллигенции (см.: В. Гольцев. Литературные отголоски. — «Курьер», 1900, № 106, 17 апреля, и № 141, 22 мая).

Резкую критику вызывала публицистичность «Мужика». Номо Новус (А. Р. Кугель) писал: «Произведения последнего времени на тему о мужике носят на себе одну из двух явно тенденциозных окрасок: „народническую“ или „марксистскую“. Народники идеализируют мужика, деревню, общину и пр. <...> Марксисты всё это топчут в грязь <...> Но, оказывается, г. Горький взял своего мужика не *au naturel*, как можно было предположить, но в очищенном, профильтрованном высшим образованием виде <...> Мы хотим лишь <...> отметить тот грустный факт, что молодой писатель, беспорно подававший надежды стать крупным художником, „не успевши расцвести“, пустился в опасное плавание по зыбким волнам публицистики» («Наблюдатель», 1900, № 5, стр. 290, 293).

О перегруженности повести диалогами писал А. А. Измайлов: «Все первые главы нового произведения г. Горького посвящены характеристике теоретических воззрений „Мужика“ и сплошь состоят из одних разговоров, чтение которых становится под конец однообразно-утомительным» («Биржевые ведомости», 1900, № 128, 12 мая).

Творческую неудачу увидела в «Мужике» и благожелательно настроенная к Горькому критика. Так, М. М. Филиппов — редактор журнала «Научное обозрение» — в статье «О Максиме Горьком» замечал: «Написал <...> Горький не окончанный до сих пор рассказ „Мужик“, чуть ли не самое неудачное из всех его произведений <...> В этом рассказе мы пока именно мужика не увидели, а прочли лишь искусственно построенные умные разговоры между более или менее развинченными представителями интеллигенции. Это дело лучше бросить Горькому: здесь совсем не его стихия... Ничего так не далеко от него и не чуждо его таланту, как пустое резонерство» («Научное обозрение», 1901, № 2, стр. 107).

Евг. Соловьев также охарактеризовал «Мужика» как «неудачное произведение». Судя по первым главам повести, отмечал критик, «читатели думали, что здесь они найдут, наконец, ответ на тревожный вопрос: „Что делать?“», но начало «Мужика» оказалось «единственно неудачным произведением» писателя (Евг. Соловьев. Очерки из истории русской литературы XIX века. СПб., 1903, стр. 351).

Высоко оценивая художественное дарование Горького, А. А. Дивильковский также отрицательно отнесся к «Мужику». Но, считая это произведение случайным в творчестве писателя, он ограничился лишь небольшим замечанием. В статье «Максим Горький» он писал, что в последние годы у Горького наметился «новый оборот» творчества, что «носителями героической идеи автор выбирает теперь не чуждые нам, иногда фантастические

существа, а, наоборот, живых, реальных людей из нашей же среды <...> Этот новый оборот творчества указывает не только на большую зрелость таланта у художника, но, без сомнения, и на то, что за десяток лет, протекший с начала карьеры автора, сама жизнь изменила лицо свое, и такие глубокие знатоки жизни, как М. Горький, не могут пройти мимо новых типов, типов пробудившегося сознания о праве людей на самостоятельное строительство жизни <...> Уже в „Гордееве“ и „Троих“ пробиваются черты этого рода <...> но лишь в „Буревестнике“ чутая решительный поворот». К этому месту статьи автор сделал следующее примечание: «Политика „положительного“ типа замечается и в начале романа „Мужик“. Но так как сам автор, по-видимому, осудил эту политику, то я не стану ею здесь заниматься» («Правда», 1905, апрель, стр. 126—127).

Стр. 366. ...*в воскресной школе.*— Воскресные школы для взрослых впервые были организованы в Англии в конце XVIII в. с целью религиозного воспитания населения. В России воскресные школы возникли в середине XIX столетия и являлись одним из видов внешкольного образования. Первая воскресная школа была открыта Н. И. Пироговым в Киеве в 1859 г. Особенно большой рост воскресных школ наблюдается в России с середины 90-х гг. Демократическая и революционная интеллигенция использовала воскресные школы для пропаганды своих идей. Н. К. Крупская вспоминала: «Я работала в вечерне-воскресной Смоленской школе, что за Невской заставой, с 1891 по 1896 год, и эти занятия на всю жизнь остались для меня одним из самых светлых воспоминаний, они дали мне чрезвычайно много в смысле понимания рабочей среды, рабочего быта» (Н. К. Крупская. О коммунистическом воспитании. Избранные статьи и речи. М., 1956, стр. 20). Царское правительство, опасаясь влияния демократической интеллигенции на народные массы, постоянно преследовало воскресные школы.

Стр. 368. ...*наследие эпохи великих реформ...*— Для буржуазно-либеральной интеллигенции, к которой принадлежал доктор Кропотков, «великими» были реформы 60—70-х годов XIX века, отражавшие политику приспособления самодержавного строя к потребностям капиталистического развития: отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.), учреждение земства — выборных органов, занимавшихся хозяйственными вопросами в масштабе уезда и губернии (1864 г.), создание выборных городских дум (1870 г.), новые судебные уставы (1864 г.), предусматривавшие участие присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел. Реформы эти означали известное движение России по буржуазному пути развития, «по пути превращения феодальной монархии в буржуазную монархию» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 165).

Стр. 381. *Нужно быть именно Спинозой чтобы наслаждаться созерцанием пауков...*— О нидерландском философе Спинозе (1632—1677) рассказывали, что он в свободное время, «чтобы освежить свой ум <...> развлекался, наблюдая борьбу мух и пау-

ков и рассматривая под микроскопом „мельчайших насекомых“» («Б. Спиноза. Его жизнь и философская деятельность». Биографический очерк Г. А. Паперна. Серия «Жизнь замечательных людей». Биографическая библиотека Ф. Павленкова. СПб., 1895, стр. 57). Спиноза, — пишет С. Г. Ковнер, — в часы отдыха «любил покурить <...>, иногда с этим удовольствием он связывал еще другое <...> хватал мух, которых бросал в паутину, или отыскивал пауков, которых заставлял драться, и смотрел на наступивший бой с таким наслаждением, что нередко бывало вдруг разразится громким и звучным хохотом <...>» («Спиноза, его жизнь и сочинения». Очерк составленный доктором С. Г. Ковнером. Варшава, 1897, стр. 119—120).

Стр. 389. *Остракизм* (греч.) — изгнание из отечества; в расширительном значении — лишение прав.

Стр. 393. *Исаия* — см. наст. том, стр. 534.

Стр. 395. *...родня Соломину — Штольцу...* — Соломин — персонаж романа И. С. Тургенева «Новь». Штольц — персонаж романа И. А. Гончарова «Обломов». В образах Соломина и Штольца изображены «деловые люди» эпохи первоначального накопления в России.

Стр. 395. *...он похож на тощую фараонову корову...* — В Библии рассказывается о том, как одному фараону приснилось семь прекрасных и тучных коров и столько же уродливых и тощих, причем вторые пожрали первых; сон этот, по толкованию Иосифа (сына еврейского патриарха Иакова), означал, что за семью годами благоденствия последуют в стране семь неурожайных лет («Книга бытия», гл. 41).

Стр. 408. *Мне для ценза нужно ∞ Скуратова ∞ сразу в земство меня пустит...* — Ценз (от лат. *sensus* — ценю, оцениваю) — административно-юридический термин, означающий уровень имущественного благосостояния или образования, необходимый для приобретения определенных прав. Земская реформа 1864 года (см. выше), формально предоставляя право всем сословиям выбирать своих представителей в органы местного управления, фактически обеспечивала господствующее положение помещикам, так как выборы проходили на основе высокого имущественного ценза.

Стр. 412. *Виллан* (средневек. лат.) — крестьянин эпохи феодализма, во Франции — лично свободный, державший землю от помещика, в Англии — крепостной.

Стр. 412. *«Без догмата»* — роман польского писателя Генриха Сенкевича (1846—1916), появившийся в 1890 г. и в том же году переведенный на русский язык («Русская мысль», 1890, №№ 1—5).

Стр. 416. *Оркестрион* (от фр. *orchestriion*) — механический музыкальный инструмент; благодаря системе труб, по звуку приближается к духовому оркестру.

Стр. 420. *...в небесах ∞ торжественно и чудно...* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...»

Стр. 428. *Дисконтер* — см. наст. том, стр. 532.

Стр. 435. *Alma mater* (лат.) — мать-кормилица (так студенты называют свой университет).

Стр. 435. «*Gaudeamus igitur*» (лат.) — студенческая песня «Итак, будем веселиться...» Существует предположение, что текст песни возник в XVI в. (см.: С. И. Соболевский. Песня «*Gaudeamus igitur*» и ее история. «Журнал Министерства народного просвещения», 1905, декабрь). В 1781 г. «*Gaudeamus*» была обработана немецким поэтом К. В. Киндлебном, мелодия ее частично заимствована из песни немецкого композитора И. Г. Гюнтера (1717). На мелодию «*Gaudeamus*» Ф. Листом (1811—1886) написаны «Концертная парафраза» (1843) и «Юмореска» (около 1870) для фортепьяно (см.: Энциклопедический музыкальный словарь. М., 1966, стр. 110 и Я. Мильштейн. Франц Лист. М., 1956, т. II. Библиография). В 1874 г. П. И. Чайковский переложил мелодию «*Gaudeamus*» для мужского хора с фортепьяно (см.: Музыкальное наследие П. И. Чайковского. Из истории его произведений. М., 1958, стр. 488).

Стр. 437. ...в память победы Нельсона под Абукиром... — В 1798 году у Абукира (Египет) произошло сражение между английской и французской эскадрами. Победили англичане под командованием адмирала Горацио Нельсона (1758—1805).

Стр. 437. ...объединение швейцарских союзов... — Вероятно, имеется в виду объединение швейцарских кантонов, состоявшееся 6 ноября 1848 года.

Стр. 438. ...проклятия умирающего Валентина Маргарите... — Ария Валентина из оперы Шарля Гуно, заканчивающаяся словами:

Прочь! Тебя презираю!
Позором бесчестья
Себя ты покрыла,—
Так будь же ты проклята.

(М. Карреп Ж. Барбье. Фауст. Либретто. 1937, Музгиз, стр. 91).

Стр. 439. *Фармазон* — см. наст. том, стр. 529.

Стр. 445. *Маркиз Поза* — персонаж драмы «Дон Карлос» Ф. Шиллера.

Стр. 450. ...о графе Монте-Кристо, графине Монсоро, шевалье де Мезон Руж — персонажи романов А. Дюма: «Граф Монте-Кристо», «Графиня Монсоро» и «Шевалье де Мезон-Руж».

Стр. 453. ...Шпильгаген? Лео? — Фридрих Шпильгаген — немецкий писатель (1829—1911); Лео — персонаж романа Шпильгагена «Один в поле не воин».

Стр. 455. ...известный князь Дундук... — Использована эпиграмма Пушкина:

В Академии наук
Заседает князь Дундук...

Стр. 465. *Правду сравнивают с солнцем...* — Этот «экспромт» принадлежит Горькому. В архиве писателя сохранился автограф в несколько иной редакции:

Солнце сравнивают с правдой,
Я на солнце вижу пятна.
А запятанная правда
Мне нимало не приятна.

Под текстом подпись: «Алексей худой и длинный» (Архив А. М. Горького, ХПГ-52-15); это четверостишие (с ошибочной датой — 18 декабря 1905 г.) опубликовано в кн.: М. Г о р ь к и й. Стихотворения. Библиотека поэта. Малая серия, изд. 3. М.—Л., 1963.

Стр. 465. ...*Атос, Портос, Арамис, д'Артаньян* — герои трилогии А. Дюма «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон».

Стр. 465. *Боткины* — очевидно, речь идет о С. П. Боткине (1832—1889), выдающемся русском враче; С. П. Боткин происходил из купеческой семьи.

Стр. 466. ...*в сборнике автографов, изданном в пользу голодавших в девяносто втором году*...— В 1892 г. вышло много сборников в пользу голодавших, но издание под названием «Сборник автографов» не зарегистрировано. Возможно, имелся в виду сборник «Отклик», вышедший в Одессе в 1892 г., в котором был большой раздел под названием «Автографы». Часть их воспроизведена фототипически на листе, вклеенном в книгу. Однако и в этом сборнике нет четверостишия «Кто в тридцать лет не пессимист...».

Стр. 470. ...*повторение басни о коне и лани*...— Очевидно, взят образ из поэмы Пушкина «Полтава»:

В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань.

Стр. 470. *Еще Екклесиаст говорил, что «кто умножает познания — умножает скорбь»*...— В состав Библии входит «Книга Екклесиаста», сборник философских размышлений, приписываемых царю Соломону. Одно из наиболее популярных изречений «Екклесиаста» гласит: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (гл. 1, стих 18).

Стр. 476. *Новиков Н. И.* (1879—1933) — поэт, родился в бедной крестьянской семье. В 1900 г. в Нижнем Новгороде вышла его книжка «Стихотворения крестьянина». Горький познакомился с Новиковым в феврале 1900 г. и оказывал ему поддержку. В том же году Горький опубликовал в журнале «Жизнь» (т. 5) стихотворение Новикова «Попутчик» (см. «Нижегородское окружение А. М. Горького». Горький, 1968, стр. 118—119).

О ПИСАТЕЛЕ, КОТОРЫЙ ЗАЗНАЛСЯ...

(Стр. 481)

Впервые напечатано гектографическим способом в марте 1901 г. в Москве. Текст, отпечатанный типографским способом, появился в газете «Русский Туркестан» (Ташкент), 1901, № 211, 31 октября, № 215, 4 ноября, а также в нелегальном издании: М. Г о р ь к и й. О писателе, который зазнался. СПб., типография «Рабочего союза», 1901 (ниже сокращенно — *Лб*).

Зарубежные издания: М а к с и м Г о р ь к и й. О писателе, который зазнался (фантазия). Приложение к № 14 «Свободной мысли». Onex, près Genève, Suisse, 1901 (*СМ*); М а к с и м Г о р ь к и й. Три рассказа. (Воспрещены русской цензурой). С послесловием М. Суkenникова¹. Издание 1—2. Берлин, 1902 (*ТР₁₋₂*); М. Г о р ь к и й. Запрещенное. Берлин, 1902 (*Зпр*).

В «Русском Туркестане» напечатано со следующим примечанием:

«Настоящая фантазия перепечатывается нами с личного разрешения автора.

Эта фантазия является ответом Горького на ту массу газетных толков, которые вызваны были случаем с ним в одном из московских театров. М. Горький вместе с А. Чеховым посетил театр. Их появление было встречено публикой шумными рукоплесканиями, но слишком откровенное внимание толпы показалось Горькому назойливым любопытством, и он не скрыл неприятного впечатления и выразил это, по-русски, просто и энергично».

Это примечание, по-видимому, спасло произведение от запрещения цензуры, которая, во-первых, была введена в заблуждение словом «перепечатывается» и, во-вторых, поверила тому, что произведение представляет собой всего-навсего ответ писателя на «массу газетных толков», вызванных инцидентом в Художественном театре. «...небольшая русская газета, издающаяся где-то в глухой провинции и имеющая исключительно местный интерес, внезапно обратила на себя внимание всей русской прессы, как и всей русской читающей публики», — писал М. Суkenников (М а к с и м Г о р ь к и й. Три рассказа, стр. 27).

В Архиве А. М. Горького сохранились: 1. Машинописный текст рассказа из «Запрещенного» с авторской правкой, предпринятой в начале 20-х годов в связи с предполагавшимся выходом публицистических произведений Горького в издании К. На 1-й странице машинописи рукой автора сделана надпись: «Прочитано на банкете, устроенном нижегородской публикой в 900 году, когда автора выслали из Нижнего» (ХПГ-40-8-1; год указан Горьким ошибочно: рассказ был прочитан им в ноябре 1901 г.). 2. Текст памфлета, переписанный неизвестной рукой (ХПГ-40-8-6). 3. Неавторизованная машинопись с правкой неизвестного лица (в тетради, включающей также «Весенние мелодии» и «Перед ли-

¹ Послесловие датировано маем 1902 г.

цом жизни», ХПГ-40-8-2). 4. Четыре гектографических издания, одно из которых датировано: Москва, март 1901 г. (ХПГ-40-8-7), остальные — без даты (ХПГ-40-8-11, ХПГ-5-2-4 и ХПГ-40-8-13). Два последних включают и «Весенние мелодии».

По тексту нелегального рукописного журнала нижегородских семинаристов вторая часть рассказа была напечатана в журнале «Сибирские огни», 1932, № 7—8. «Печатаемый ниже отрывок, — сообщается в журнале, — взят из старой рукописной тетради, имеющей 30-летнюю давность. Тетрадь принес в редакцию „Новосибирского рабочего“ тов. Петров, совработник, бывший нижегородский семинарист. Передавая тетрадь, он заявил: „Это второй номер нелегального семинарского журнала. Первый номер у меня не сохранился. В них помещен малоизвестный рассказ Максима Горького „Писатель, который зазнался“. В этой тетради — вторая половина рассказа“» («Сибирские огни», 1932, № 7—8, стр. 83).

Большинство архивных источников, а также текст «Сибирских огней» пестрят ошибками и искажениями. Печатные источники, при большом количестве разночтений (см. варианты), в общем делятся отчетливо на две группы. К одной из них относятся тексты «Русского Туркестана», петербургского издания и издания «Свободной мысли», к другой — тексты берлинских изданий — «Трех рассказов» и «Запрещенного». Говорить о двух редакциях рассказа нет оснований; можно лишь предположить, что все эти источники восходят к двум спискам, которые имели между собой некоторые разночтения. Кроме разночтений, вторая группа отличается от первой большим количеством ошибок и искажений. В частности, в берлинских изданиях неправильно сверстана часть текста, что в известной степени исказило смысл произведения. Можно предположить, что список, легший в основу берлинских изданий, имел в виду Горький, когда писал Л. Н. Андрееву: «Жаль <...> что „Писатель“ распространялся в этой редакции, когда имеется другая, почище» (*Лит Насл.*, т. 72, стр. 144).

В авторизованной машинописи начала 20-х годов тоже есть большие погрешности: к ошибкам, автоматически перенесенным сюда из печатного текста («Запрещенное»), прибавились ошибки, допущенные при перепечатке. Что касается правки Горького, то наряду с закономерной авторской переработкой, в машинописи встречаются и случаи такой правки, на которую вынуждал автора искаженный текст и которая не потребовалась бы в тексте исправном.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту газеты «Русский Туркестан» с учетом поправок и изменений, внесенных Горьким при подготовке произведения для предполагавшейся публикации в издании *К* (кроме, естественно, тех, которые диктовались неисправностью текста «Запрещенного»), и со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 482, строка 31: «смеясь подсказывал ему» вместо «подсказывал ему» (по *Пб*, *ТР*₁₋₂, *Зпр*).

Стр. 483, строки 7—8: «точно его в патоке варили» вместо «точно в патоке варили» (по тем же источникам).

Стр. 483, строка 25: «Игнатия Лойолы» вместо «Игнатия Крамолы» (по тем же источникам).

Стр. 485, строки 3—4: «таких, как вы» вместо «таких, как вас» (по смыслу).

Стр. 485, строка 40: «мешает вам» вместо «лишает вас» (по тем же источникам).

Стр. 487, строка 25: «Потом и дети» вместо «Потом дети» (по Пб, СМ, ТР₁₋₂, Зпр).

Стр. 487, строки 28—29: «жизнь теплую, жизнь сытую» вместо «жизнь сытую» (по Пб, СМ, ТР₁₋₂).

Стр. 487, строка 35: «ждет толчка» вместо «ждет только» (по ТР₁₋₂, Зпр).

Стр. 488, строка 20: «одинаково обильно» вместо «одинаково образно» (по Пб).

Стр. 488, строка 27: «чтобы вы ожили!» вместо «чтобы ожили» (по Пб, СМ, ТР₁₋₂, Зпр).

Стр. 489, строка 11: «Нет! Но лучшие из вас» вместо «Но лучшие из вас» (по тем же источникам).

Стр. 489, строка 19: «что бросается в глаза» вместо «что бросается» (по ТР₁₋₂, Зпр).

Рассказ написан, как видно из ряда документов, в ноябре 1900 г. 26 ноября 1900 г. Горький писал об этом произведении как о законченном В. Я. Брюсову (см. Г-30, т. 28, стр. 141). В последней декаде ноября сведения о рассказе проникают в газеты: «В одном из литературных сборников, имеющих в недалеком будущем появиться в свет, будет напечатан очерк М. Горького „О писателе, который зазнался (Фантазия)“». Талантливый беллетрист дает крайне интересное и глубокое освещение вопроса об отношении писателя к толпе, основанное на характеристике современной русской публики («Нижегородский листок», 1900, № 321, 22 ноября; см. также «Одесские новости», 1900, № 5139, 26 ноября). По свидетельству С. Г. Скитальца, Горький после «инцидента» в Художественном театре, вернувшись в Нижний, «не желая даже разговаривать о неприятном случае <...>, засев на несколько дней в кабинете, чертыхаясь, написал по этому поводу великолепный памфлет „О писателе, который зазнался“» («Октябрь», 1937, № 6, стр. 99).

Как сообщил Горький в письме к Брюсову от 12 января 1901 г., рассказ предназначался «для сборника в пользу голодающих евреев» (Г-30, т. 28, стр. 150). Сборник «В помощь евреям, пострадавшим от неурожая» вышел в июле 1901 г. Рассказ, видимо, по цензурным условиям, в нем напечатан не был.

Поводом к написанию рассказа послужил «инцидент» в Московском Художественном театре 28 октября 1900 г. на спектакле А. П. Чехова «Чайка». Писатель Н. Д. Телешов рассказывал:

«Горький и я вдвоем сидели в директорской ложе, а в антрактах переходили в соседнюю небольшую комнату, где помещался тогда директорский кабинет Вл. И. Немировича-Данченко. Сюда

нам подали чай. С первого же антракта к этому кабинету стала подходить значительная часть публики, постучивать в дверь и всё настойчивее и громче вызывать Горького. Тот недоумевал:

— Зачем они вызывают меня, когда идет пьеса Чехова?

Но возгласы за дверью становились всё настойчивее. В третьем антракте вызовы перешли в громкий рев:

— Горько-ва!!

Дверь наконец насильственно распахнули. Весь коридор был полон народу. Загремели аплодисменты, заликовали поклонники. Но Горький не только не раскланялся в ответ, но решительно вышел из кабинета в толпу и резко спросил:

— Что вам от меня нужно? Чего вы пришли смотреть на меня? Что я вам — Венера Медицейская? Или балерина? Или утопленник? Нехорошо, господа! Вы ставите меня в пеловкое положение перед Антоном Павловичем: ведь идет его пьеса, а не моя. И притом такая прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович находится в театре. Стыдно! Очень стыдно, господа!

Газеты подхватили этот эпизод, перепутали факты, бранились за то, чего не было, обрадовались случаю сводить направленные счета <...> и года два подряд в разных изданиях помещались карикатуры на Горького то в виде Венеры или балерины, то в виде утопленника, а то человека, сидящего за столом и положившего ноги на стол» (Н. Т е л е ш о в. Записки писателя. М., 1952, стр. 92—93).

Фраза, брошенная по адресу Горького одной из буржуазных газет, раздувавших «инцидент» в Художественном театре, — «Писатель зазнался», — была иронически использована Горьким в названии памфлета.

Произведение носило программный характер; писатель выразил в нем свое основное требование к литературе — быть орудием преобразования жизни, служить делу революции. «Пассивную роль я считал недостойной литературы», — писал Горький впоследствии (*Г-30*, т. 25, стр. 351), вспоминая ряд своих произведений, в том числе — «О писателе, который зазнался...» Создавая рассказ, Горький отдавал себе ясный отчет в том, что в основе его лежит социальная проблематика. Об этом, а также о критическом отношении Горького к художественной форме своего произведения свидетельствует фраза из его письма к В. Я. Брюсову от 26 ноября 1900 г.: «Думаю, что моя реляция о писателе, к(ото)рый зазнался, не понравится Вам; она плохо написана — раз, и написана на социальный мотив — два» (там же, т. 28, стр. 141). «Историю эту с театром связывать не надо», — писал он Леониду Андрееву в апреле 1902 г. (*Лит Насл.*, т. 72, стр. 144).

Идейная направленность и широкий смысл рассказа, в котором традиционная для передовой русской литературы тема гражданского служения писателя решалась в условиях революционного подъема — как тема борьбы за свержение власти «хозяев жизни», не всеми были правильно поняты. Некоторые из людей, в то время близко стоявших к Горькому, слишком тесно связывали памфлет с частным эпизодом в биографии писателя и потому советовали автору отказаться от его публикации. В. А. Поссе

21 ноября 1900 г. писал Горькому: «Милый мой, не печатай ты своего „Писателя, который зазнался“ или во всяком случае отложи решение хоть на месяц. Ты бьешь тех, кого бить не следует и бьешь не сильно. На меня твоя „фантазия“ произвела самое удручающее впечатление. Твое настроение я понимаю, но палишь ты не туда, куда следует, и не так, как следует <...> В увлечении тобой есть много хорошего и радостного, с этим увлечением надо обращаться бережно. Весь твой разговор с публикой (я думал, ты говорил с „депутацией“) — действительно вздор, раздутый из зависти и злобы, но зачем ты сам хочешь придать ему значение и из-за подлых газетчиков лупить своих читателей?» (Архив А. М. Горького, КГ-п-60-1-16). 11 декабря 1900 г. Поссе писал Е. П. Пешковой: «Я надеюсь, что Алексей, подумавши, уничтожит свою фантазию <...> Нехорошо, что он сам помогает раздувать пустячный случай» (там же, КГ-п-60-1-20а).

Горький ответил ему: «Все мои „друзья“ советуют мне не печатать фантазию, и — скажу по совести — мне как-то неловко видеть тебя с ними <...> У меня такое настроение, чтобы стекла бить, и я буду бить стекла в одиночестве» (там же, ПГ-рл-31-15-12). 29 ноября 1901 г. Поссе снова писал Горькому: «Я понимаю твое желание „бить стекла“ и охотно к нему присоединяюсь, но остаюсь при прежнем мнении относительно твоей фантазии, которую сегодня высылала обратно. Приходится быть в не слишком приятной компании, но суть в мотивах» (там же, КГ-п-60-1-17).

Нижегородец А. А. Гусев, не понявший, что инвектива Горького, брошенная в лицо буржуазной публике, ни в какой степени не относится к демократическому и революционному читателю, обиделся на автора. Горький должен был написать Гусеву:

«От Вас я — этого не ожидал.

Мне кажется, Вы дурно, неверно поняли себя.

Подумайте, подумайте! Обидой Вашей на меня ведь Вы себя унижаете! <...>

На Вас я всегда смотрел как на личность, как на человека, который медленно, но верно и упрямо работает тому, во что верит, и верит, что работа — не только труд и обязанность, но и удовольствие.

Часто, говоря с Вами, я видел на Вашем лице и в глазах ясную мысль: когда труд — удовольствие, жизнь — хороша.

И Вы <...> принимаете себе то, что брошено свиньям!

Стыдились бы!» (Г-30, т. 28, стр. 195).

В это же время в одной из провинциальных газет появилась статья с более серьезной оценкой произведения Горького. Автор ее, Слово-Глаголь (С. С. Гусев), писал: «Эпизод с ним произошел маленький, а в результате получается кое-что не лишнее значения <...> Г-н Горький, сам того не подозревая, поставил вопрос о читателе и писателе, о писателе и публике, и этот вопрос не пустяковинный» («Одесские новости», 1900, № 5139, 26 ноября).

С весны 1901 г. в печати начали появляться развернутые сообщения и отзывы о памфлете; причем интерес к нему был так велик, что каждая заметка или статья перепечатывалась самими различными газетами и журналами.

Некий Ю. К. в статье «Новый рассказ М. Горького „О писателе, который зазнался“» сообщает, что на днях ему пришлось познакомиться с произведением по рукописи. Изложив содержание памфлета, он переходит к его истолкованию: «Признавая лишь читателя, который видит в книге не личность писателя, а мысли самого произведения, а таких мало, — герой Горького бичует публику, которую он ненавидит, к которой чувствует отвращение. Он видит в ней всё наше общество, погрязшее в тине самодовольства и шкурного вопроса, не способное ни на что, кроме заботы о сохранении, спасении своей шкуры, давно уже потерявшее образ людей, чувствующих себя владыками мира и носителями гуманности, правды и справедливости; и как в отцах, так и в детях <...> не видит он жизни бодрой, сильной, способной воскрешать и порождать стремления. Поэтому-то он и не радуется вниманию подобной публики, представительницы такого общества, ищущей лишь сильных ощущений для себя, хватающейся за последние новинки модного писателя, в надежде оживить свою застывающую кровь» («Русское слово», 1901, № 88, 31 марта). Статью Ю. К. перепечатали: «Петербургская газета», 1901, № 89, 3 апреля; «Волгарь», 1901, № 91, 6 апреля; журналы «Литературное обозрение», 1901, № 4, и «Литературные вечера „Нового мира“», 1901, № 4.

«Самарская газета» (1901, № 232, 27 октября) в статье без подписи «Новые произведения М. Горького» довольно подробно и близко к тексту изложила содержание памфлета, пояснив, что сведения сообщены ей одним из ее столичных корреспондентов. Статья была перепечатана в «Нижегородском листке», 1901, № 306, 8 ноября, а также в московском и петербургском журналах: «Искры», 1901, № 45, 11 ноября; «Литературное обозрение», 1902, № 1.

Особенно велик был интерес к произведению в революционно настроенных кругах молодежи. В начале 1901 г. в Нижнем Новгороде образовался революционный кружок, преимущественно из студентов, высланных из Петербурга и Москвы за участие в студенческих волнениях. Члены кружка (Б. В. и В. В. Морковины, С. Ф. Корсак, Л. И. Израцлевич, А. В. Яровицкий и др.) печатали прокламации, организовывали демонстрации, выпускали сборники революционных песен и материалы о студенческом движении. Горький принимал близкое участие в работе кружка, о чем свидетельствует, например, следующее письмо от 6 апреля 1901 г. Б. Морковина, перехваченное охранкой: «У нас своя компания человек в 15; <...> У нас бывают нередко Горький и Скиталец. Теперь я убедился, что Горький замечательный человек. У него замечательно полно и ясно выработанное миросозерцание. Его талант находится на пути усиленного развития <...> Из Горького вырабатывается теперь общественный деятель новой молодой России. Он представитель демократии великого *свободного* русского народа, который начинает просыпаться от своей вековой спячки, и недалеко то время, когда разогнет он свою спину и стряхнет с себя иго присосавшихся к нему эксплуататоров <...> Читал нам Горький свои новейшие произведения, не пропущенные цензурой, — „О писателе, который зазнался“ и „Весна“ <„Весен-

ние мелодии“). Первая вещь ему не нравится самому, и он летом напишет новую, где гораздо полнее охарактеризует наше общество. Вторая вещь привела нас всех в восторг» (ЛЖТ₁, стр. 307).

31 марта 1901 г. Нижегородское жандармское управление донесло в департамент полиции о том, что высланные в Нижний Новгород студенты предполагают устроить собрание на Откосе «для обсуждения разных вопросов, а также организовать поездки на лодках». «К компании этой принадлежат состоящий под надзором негласным Алексей Пешков и В. Морковин». Департамент полиции предложил Нижегородскому жандармскому управлению «установить наблюдение за деятельностью Пешкова и сношениями его с учащейся молодежью» (ЛЖТ₁, стр. 309). Б. В. Морковин в беседе с горьковедом, состоявшейся 7 октября 1964 г. в Москве, рассказывал: «Мы печатали на мимеографе „Весенние мелодии“, „Пусть сильнее грянет буря“ — в „Буревестнике“. Эту литературу мы рассылали по всей России, включая Москву, в Ташкент, Астрахань и другие города для перепечатки» (Стенограмма беседы. Архив А. М. Горького, МоГ-9-31-1).

Возможно, что публикация рассказа «О писателе, который зазнался...» в «Русском Туркестане» тоже имеет своим истоком деятельность кружковцев. Это тем более вероятно, что братья Морковины имели связь с Ташкентом, где они ранее жили и учились в гимназии. Кроме того, нельзя не учитывать, что Ташкент был местом ссылки. В 1901—02 годах сюда высылались студенты за участие в революционных волнениях. Среди них были и волжане, лично знакомые с Горьким.

Памфлет «О писателе, который зазнался...» распространялся по всей России. 29 мая 1902 г. начальник Иркутского губернского жандармского управления доносил в департамент полиции, что студент Петербургского университета А. Дыбовский «принял на себя миссию распространения среди учащейся молодежи сочинений Максима Горького, печатаемых в г. Красноярске (<...> мне доставлен один экземпляр изготовленного на гектографе сочинения М. Горького „О писателе, который зазнался (фантазия)“...» (ЛЖТ₁, стр. 387). В августе этого же года рассказ был перепечатан нелегально для распространения среди работающих в Бронницких артиллерийских парках («Красный архив», 1936, т. 5, стр. 52). Учитель из Могилев-Подольска А. В. Иванов в письме к Горькому от 6 августа 1935 г. рассказывал, что в Клеве в 1902 или 1903 г. было издано нелегально произведение «О писателе, который зазнался...», на котором было обозначено — «издание студентов-политехников» (Архив А. М. Горького, КГ-п-30-5-1). Другой корреспондент писал Горькому, что нашел старый список от руки под названием «Зазнавшийся писатель» (там же, КГ-рзн-10-17-1).

В воспоминаниях Е. Д. Стасовой о Горьком имеется интересное свидетельство: «В. И. Ленин очень интересовался всем, что выходило из-под пера М. Горького. И мы, работники партии, старались держать Ленина в курсе того, что писал Горький. Так, его рассказ „О писателе, который зазнался“, появившийся в Петербурге нелегально, был переписан В. Ф. Кожевниковой и мною

химическими чернилами между строк диссертации К. А. Крестникова „К морфологии крови при свинке“ (*Г и революция 1905 г.*, стр. 71).

Горьковское выражение «Писатель, который зазнался» использовано В. И. Лениным в его книге «Что делать?» (см. В. И. Ленин и н. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 16).

6 ноября 1901 г. состоялось публичное чтение писателем своего рассказа. Связано оно было со следующими обстоятельствами. 21 сентября Горькому был объявлен приказ о высылке из Нижнего Новгорода в Арзамас под надзор полиции. По состоянию здоровья ему было разрешено, перед ссылкой, поехать в Крым для лечения. Нижегородская общественность решила устроить писателю прощальный банкет. О банкете, на котором Горький прочел свой рассказ-памфлет, и о последовавших затем событиях — проводах Горького, вспыхнувшей в связи с этим демонстрации в Нижнем Новгороде, о революционных выступлениях в ряде других городов, куда ждалл прибытия поезда, — существуют многочисленные воспоминания и документы (см. воспоминания: А. Е. Богдановича, В. В. Морковина и А. А. Белозерова в сб. «М. Горький в Н.-Новгороде», Н.-Новгород, 1928; А. А. Гусева и А. А. Богодурова в сб. «М. Горький на родине», Горький, 1937; М. С. Нарокова в журнале «Театр», 1937, № 3; см. также сб. «Революционный путь Горького». По материалам департамента полиции. М.—Л., 1933, стр. 61—70; «Красный архив», 1936, т. 5, стр. 46—48; *Г-30*, т. 28, стр. 195—197).

Незадолго до банкета Горький писал К. П. Пятницкому: «Провожать меня хотя бы довольно демонстративно: устраивают обед — что не весьма мне приятно, — подносят издание лубочных картин Ровинского и еще какие-то штуки. Это хорошо, потому что оппозиционно, но это может быть и нехорошо, ибо я во время обеда могу сказать такую штуку, что мои чествователи, пожалуй, подавятся от неожиданности» (*Г-30*, т. 28, стр. 193).

В ответ на пышные приветствия нижегородских «почитателей» Горький прочел на банкете свой памфлет «О писателе, который зазнался...» О том, как чувствовали себя умеренно-либерально настроенные буржуазные интеллигенты, поняв, что они являются не только слушателями, но и «героями» произведения Горького, одна из мемуаристок рассказывала: «По мере чтения лица менялись. Начали слушать с умплением и приятной улыбкой, улыбки скоро пропали и люди стали оглядываться друг на друга с недоумением. Вот встал один и тихонько двинулся к выходу, за ним другой, третий; многие ушли — не выдержали <...> Пришел хозяин гостиницы, стал просить, чтоб разошлись, а то выйдет полиция, которая ждет внизу. Публика начала расходиться. Я ехала домой с А. М. Он угрюмо молчал почти всю дорогу. „Все-таки я рад, что так вышло, теперь они не будут лицемерить“» (В. Н. К о л ь б е р г. Из дальних лет. Архив А. М. Горького, МоГ-6-7-1).

Мемуаристы подчеркивают, что памфлет Горького был поразному воспринят буржуазной интеллигенцией — земцами, адвокатами, врачами, с одной стороны, и революционной

молодежью, с другой. Когда Горькому подносили адрес от нижегородских «почитателей», революционная молодежь не присоединилась к нему. От нее был прочитан другой адрес, в котором клеймилось насилие и содержался призыв к протесту, к сопротивлению, к борьбе. Эти люди поняли, что стрелы горьковского памфлета летят не в них, и горячо приветствовали революционные идеи произведения. Так, Ж. Э. Заломова, жена и сподвижница известного сормовского рабочего-революционера, присутствовавшая на банкете, вспоминала: «Все ждали выступления Горького. И вот он, одетый в косоворотку, встал и начал читать рассказ „О писателе, который зазнался“. Выбор этого произведения меня несколько удивил. Кому брошен был в лицо вызов в памфлете? Нам?— Нет, решили мы: это к нам не относится, не мы изображены в этом памфлете, а буржуазные интеллигенты» (Ж. Э. Заломова. Встречи с А. М. Горьким. В кн.: *Г и революция 1905 г.*, стр. 72).

Публичное чтение Горьким памфлета привлекло к себе широкое внимание современников. И в самом памфлете и в факте его публичного чтения автором они увидели явление большой общественной значимости. М. Суkenников в послесловии к сборнику «Три рассказа» писал: «...этот фельетон не появлялся в русской печати только лишь вследствие цензурных условий. Горький между тем давал его читать своим друзьям и сам прочитал его вслух на банкете, устроенном в его честь в Нижнем Новгороде, перед его отъездом в Крым (...) Это чрезвычайно интересно и характерно. Устами героя Горького говорит сам Горький, и когда он вместо ответного благодарственного слова чествовавшим его интеллигентам прочитал им по тетрадке свою суровую отповедь под заглавием „Писатель, который зазнался“, наступило, по рассказу очевидца, общее смятение. Кое-кто смутился. Другие нахмурились и отвернулись. Третьи, насупившись, разбрелись по углам. Ясно было, что даровитый писатель попал им, что называется, не в бровь, а прямо в глаз. Устыдились ли они той горькой правды, которую им пришлось выслушать из уст Горького? Мы не знаем (...)». Далее автор статьи подчеркивал, что Горький «бесконечно прав в своей суровой отповеди русской интеллигенции», и выражал уверенность в том, что русская молодежь, чуждая косности и равнодушия, «может создать другую, иную интеллигенцию, преобразованную, возродившуюся, обновленную, свободолобивую, любящую жизнь» (Максим Горький. Три рассказа. Берлин, 1902, стр. 27—28, 34, 36).

Не менее решительно встал на сторону Горького С. С. Гусев (Слово-Глаголь): «Мне сдается, что хороший урок дает печати г. М. Горький. Вам, конечно, уже известно о том инциденте, который разыгрался недавно при отъезде этого писателя из Н.-Новгорода в Крым (...) Около ста двадцати человек интеллигентов восхваляли г. М. Горького, сравнивали его с Добролюбовым, изливались в искренних, без сомнения, любезностях, и „настроение было прекрасное“, как удостоверяет газетный отчет об этом банкете. Но вот М. Горький выступил со своим ответом. Он прочел свою „Повесть о зазнавшемся писателе“».

Приведа цитаты из памфлета и рассказав о его содержании, Гусев заключал: «На самом деле, что такое эти почитатели? Писатель зовет на борьбу, поэтизирует героев, отвергающих все обычные общественные предрассудки, а эти интеллигентные нули тешат себя лишь тем, что, как вол, идут в своем ярме и развлекаются восторженными и бесплодными речами по поводу переезда писателя из Нижнего в Крым. Писатель не видит своих единомышленников в этой празднично-болтающей толпе и говорит ей то, что о ней думает <...> Он оказался груб. Но он был последователен и правдив» (С. С. Гусев. Наши общественные дела и безделье... СПб., 1902, стр. 193—195).

Публичное чтение Горьким памфлета, как факт большого значения, было отмечено ленинской «Искрой». В корреспонденции «Из Нижнего Новгорода» сообщалось:

«7 ноября из Нижнего уезжал в Крым М. Горький, и его отъезд взбаламутил наше мирное болотище и, видимо, уже надолго. Местная либеральная интеллигенция, присяжные поверенные, доктора и проч., решили устроить Горькому прощальный обед и поднести ему адрес. Молодежь, с своей стороны, тоже решила участвовать в этом „банжете“ и воспользоваться этим случаем, чтобы раз навсегда указать этой буржуазной интеллигенции, что между ней (буржуазной интеллигенцией) и людьми, хоть сколько-нибудь желающими активно проявить свой протест против существующего строя, нет ничего общего. На „банжете“ присутствовало человек 150. Адрес интеллигенции, написанный на изящном свитке, в пышных и туманных фразах восхвалял Горького, воспевшего „безумство храбрых“. От молодежи был прочитан адрес следующего содержания:

„Дорогой Алексей Максимович! Я буду говорить от лица моих товарищей, высланных студентов и курсисток и некоторой части местной интеллигенции. Не имея времени, по некоторым обстоятельствам, вылить свои чувства в красиво отделанную форму, мы выскажемся, может быть, не особенно красноречиво, но зато не скрывая своих мыслей, которые мы привыкли соединять с Вашей личностью и настроением, проникающим все Ваши произведения.

Вынужденное расставание с Вами побуждает нас начать выражение своего сочувствия к Вам — идейному борцу за свободу личности — с выражения своего крайнего негодования. Мы возмущены совершенным и совершаемым над Вами насилием и считаем его проявлением тех безобразных условий русской жизни, которые дают всякого честно мыслящего и чувствующего человека и так нуждаются в освежающей буре.

Исторические условия и недавние свежие факты резко и определенно выставили задачей нашего времени: борьбу за свободу, и мы, высоко ставя Ваш огромный художественный талант, больше всего ценим Вас за идеи, красной нитью проходящие через все Ваши произведения: мощное прославление свободной, смелой личности, отрицающей все условности, стесняющие ее развитие, могучий призыв к открытой и смелой борьбе за свободу. Но и это прославление и этот призыв привлекают нас не столько

красотой формы, сколько ясностью и определенностью, которые не допускают никаких колебаний и которые кажутся нам так необходимыми. Ваше могучее слово особенно нужно теперь, когда человеческая личность всё более и более подавляется растущей наглостью темных сил, когда реакция всё усиливается, когда открытая борьба и смелость становятся необходимыми. Да! в наше время странно восхищаться Вашими идеями и проповедовать „благоразумие и постепенность“, не последовательно отзываться на Ваш призыв „к свободе и к свету“ и оставаться в бездействии тогда, когда сажают по тюрьмам всех, кто не мирится с гнетом и протестует против тьмы. Мы благодарны Вам за Вашу песнь „безумству храбрых“, так как в ней мы черпаем силы, в ней мы видим оружие против тех, кто называет смелость безумной.

Дорогой Ал. Макс.! Наступает новая эпоха в русской жизни: смелость и откровенность становятся необходимыми, и мы считаем Вас самым ярким ее представителем, самым талантливым ее провозвестником. Мы не забудем, что Вы дали лозунг, который помог и поможет нам бороться с нашими врагами и разобраться в наших друзьях“.

Предполагалось, что после прочтения возникнут споры, что либералы не согласятся с адресом, но, к величайшему удивлению, они были „со всем согласны“. Горький, с своей стороны, высказал свое отношение к либеральной интеллигенции, а отчасти и к радикальной молодежи, прочтя свое произведение „О писателе, который зазнался“, где клеймил холопство, трусость, полнейшее отсутствие активности, господствующее в современном обществе.

На этом же „банкете“ молодежь было решено устроить по поводу отъезда Горького демонстрацию» («Искра», 1902, № 15, 15 января).

Большой материал о Горьком помещен в 13-м номере «Искры» (раздел «Из нашей общественной жизни»). На основании целого ряда показаний очевидцев газета в подробностях восстановила картину нижегородской демонстрации, которую устроили, провожая Горького, рабочие и революционная молодежь сначала на вокзале, а затем и в городе, протестуя против произвола властей. В корреспонденции «Из Москвы» рассказано о встрече, которая готовилась Горькому здесь, и об административных репрессиях, которым подвергся писатель, не допущенный в город. Политическая оценка всех этих событий содержится в передовой этого номера «Искры» — «Начало демонстраций», — статье, написанной В. И. Лениным (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 369—370).

Осенью 1901 г. в связи с исключением из гимназии группы гимназистов, обвиненных в организации библиотеки, нижегородским революционным подпольем была выпущена и распространялась прокламация под названием «Открытое письмо к Нижегородскому обществу». Прокламация, как и памфлет Горького, страстно бичует пассивность, безволие, равнодушие «общества»: «Вы, их матери, отцы, братья и сестры, многочисленные друзья и знакомые, ни звуком не отозвались на эту чудовищную жесто-

кость, пальцем не шевельнули, чтобы вступить за судьбу несчастных юношей и мальчиков, и не нашли в себе смелости произнести во всеулышанье свое веское слово негодования и протеста <...> Кто же виноват в этом? На чью голову падут капли молодой крови? Мы не говорим о главном виновнике — это каждому известно и называть его, пожалуй, нет надобности. Но кто же дает такой простор применению жестокости к учащемуся юношеству, как не вы, отцы и матери, робеющие вступиться за своих собственных детей? Ведь даже дикие звери, и те защищают своих детенышей от нападения, часто идут прямо под пулю и жертвуют за них своей жизнью. А вы что? Вы позорно и трусливо молчите и ждете только, чтобы поскорей окончилась эта неприятная для вас история! Беспоконства не любите вы, беспоконство пугает вас! <...> Мы обращаемся к вам, сограждане, к вашему уму и сердцу, просим вас открыть глаза на весь позор вашего положения, на всю гнусность вашей роли трусливых созерцателей избиения ваших же собственных детей и братьев ...» (цит. по кн.: Л. М. Фарбер. А. М. Горький в Нижнем Новгороде. Горький, 1968, стр. 183—184). Текстуальное совпадение фразы из прокламации — «Беспоконства не любите вы, беспоконство пугает вас!» с соответствующим местом в памфлете «О писателе, который зазнался...» (см. стр. 486) было для исследователей творчества Горького одним из доказательств того, что автор прокламации — Горький (см. об этом: Л. М. Фарбер. А. М. Горький в Нижнем Новгороде, стр. 184; А. Овчаренко. Публицистика М. Горького. М., 1965, стр. 153).

Стр. 482. ...«карасть любит, чтобы его жарили в сметане...» — Несколько перефразированное выражение из рассказа А. П. Чехова «Рыбья любовь» (1892) (Чехов, т. VIII, стр. 487).

Стр. 483. *Игнатий Лойола* (1491—1556) — основатель ордена иезуитов; в интересах церкви считал допустимыми любые преступления.

Стр. 486. *Вы стоики, потому что рабы.* — Последователи философской школы «стоицизма», возникшей в Греции в IV в. до н. э., утверждали, что счастье — в свободе от страстей, в спокойствии духа.

Стр. 486. «*О, как прав Шопенгауэр!*» — Шопенгауэр, Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист, в работах которого выражено пессимистическое воззрение на жизнь как на страдание.

Стр. 486. «*Что ему Гекуба?*..» — Из монолога Гамлета (В. Шекспир. Гамлет, д. II, сц. 2).

ПЕРЕД ЛИЦОМ ЖИЗНИ

(Стр. 490)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1900, № 354, 25 декабря. Три последующих издания появились за границей: в журнале «Рабочее дело», органе Союза русских со-

циал-демократов. Женева, 1901, № 10, сентябрь,— с редакционным примечанием: «Издано на гектографе Киевским Союзным советом в пользу Комитета помощи студентам, пострадавшим в движении 1900—1901 годов»; в книге: Максим Горький. Три рассказа. (Воспращены русской цензурой). С послесловием М. Сукенникова. Издание 1—2. Берлин, 1902; в книге: М. Горький. Запрещенное. Берлин, 1902. Перепечатано в книге: «Перед лицом жизни». Сборник (М. Горький, К. Баранцевич, В. Ленский, Далин, А. Куприн и др.). Типография «Земля», Москва, <1913>.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Семь нелегальных изданий произведения, отпечатанных на гектографе (ХПГ-42-11-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), с обозначениями на двух из них: «Издание группы курсисток, 1902» и «Издание кассы радикалов»; некоторые издания иллюстрированы. 2. Неавторизованная машинопись с правой неустановленного лица, переплетенная в тетрадь с обложкой (включает кроме «Перед лицом жизни» — «Весенние мелодии» и «О писателе, который зазнался...» (ХПГ-40-8-2). 3. Список, сделанный неизвестной рукой, в тетради, включающей также «Весенние мелодии» (ХПГ-5-2-8). 4. Машинопись, представляющая собой текст произведения, перепечатанный из «Запрещенного» с авторской правкой начала 20-х годов, предпринятой в связи с предполагавшимся выходом публицистических произведений в издании К (ХПГ-42-11-1).

Печатается по авторизованной машинописи с исправлениями: Стр. 490, строка 19: «выю» вместо «шею» (по всем изданиям). Стр. 491, строка 9: «п раздвоил ее!» вместо «и режет ее» (по ПТ; «режет ее» — вынужденное исправление автора, поскольку в текст «Запрещенного» здесь вкралась опечатка: «раздвоил» вместо «раздвоил»).

По-видимому, только аллегорическая форма помогла этому произведению, насыщенному революционным содержанием, дважды пройти через царскую цензуру. В большинстве случаев цензура была бдительней. Она следила не только за русскими, но и за всеми заграничными изданиями, попадавшими в Россию. В 1906 г. в поле зрения С.-Петербургского цензурного комитета попали изданные в Берлине «Три рассказа» с произведениями Горького «О писателе, который зазнался...», «Перед лицом жизни» и «Весенние мелодии». В рапорте С.-Петербургского цензурного комитета Центральному комитету иностранной цензуры от 8 марта 1906 г. говорится: «Возвращая при сем доставленную при отношении от 25 минувшего февраля за № 692 заграничную брошюру под заглавием „Максим Горький. Три рассказа. (Воспращены русской цензурой)». Берлин. Издание Иоанна Рэде“, С.-Петербургский цензурный комитет имеет честь уведомить Центральный комитет иностранной цензуры, что брошюра эта применительно к пункту 1 статьи 129 уголовного уложения издания 1903 г. к обращению в русской публике дозволена быть не может» (Г, Материалы, т. III, стр. 412). 12 ноября 1902 г. Варшавский цензурный комитет, заслушав доклад цензора А. А. Сидорова о сборнике

произведений Горького на польском языке, постановил изъять из него рассказ «Перед лицом жизни», так как в нем «выражается резкий протест против существующего строя жизни» (там же, стр. 409).

Произведение широко распространялось в нелегальных гектографических изданиях. Так, например, в донесении Казанского губернского жандармского управления в департамент полиции от 4 апреля 1902 г. сообщалось, что 30 марта 1902 г. в студенческой столовой г. Казани распространялась брошюра с произведением Горького «Перед лицом жизни» («Красный архив», 1936, т. 5, стр. 50). В записке Петербургского охранного отделения говорилось о распространении того же произведения, изданного на гектографе «кассой радикалов», в студенческой столовой Петербургского университета 4 апреля 1902 г. (там же).

О БЕСПОКОЙНОЙ КНИГЕ

(Стр. 492)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1900, № 357, 29 декабря.

В Архиве А. М. Горького хранится гектографическое издание произведения: М. Г о р ь к и й. О беспокойной книге. Очерк. Издание «Крота», 1902. Текст этого издания содержит ряд разночтений с газетным: пропуски отдельных слов и целой фразы, перестановка слов, изменение их грамматических форм. Вероятно, источник текста был рукописный, а не печатный, и многие разночтения возникли в результате неразборчивости почерка, так как для большинства пропущенных слов переписчиком оставлено место. Гектографическое издание рассказа распространялось нелегально среди петербургских студентов в марте 1902 г. (ЛЖТ₁, стр. 377).

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ПЕСНЯ О СЛЕПЫХ

(Стр. 496)

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1901, № 1, как первое произведение из серии «Рассказы из жизни на окраинах города».

Печатается по тексту журнала.

Рассказ написан в конце 1900 г. В письме к редактору «Журнала для всех» В. С. Миролюбову в ноябре 1900 г. Горький писал: «Рассказ пришлю дня через два, три. Он уже написан. Он — как бы предисловие к дальнейшим <...> Сколько будет рассказов в моей серии — не знаю. Следующий — „Жестящик Ньюка“ — дам вскорости, м. б., до января. Потом — „Веселый почтальон Силуянов“. И т. д.» (Г-30, т. 28, стр. 142).

В январе 1901 г. Горький писал И. А. Бунину: «Спасибо, товарищ, за отзыв о „Слепых“. Думаю поместить в „Журнал для слепых“ ряд таких маленьких шуток» (*Г Чтения*, 1961, стр. 18). Однако продолжения серии не последовало.

Горький предполагал включить «Песню о слепых» в седьмой том своих «Рассказов» в издании товарищества «Знание», о чем писал К. П. Пятницкому в октябре 1903 г. (см. *Архив Г I V*, стр. 138), но затем отказался от этого намерения.

Стр. 498. *Гой ты, Днепр ли мой широкий!* — Первая строка из песни, сочиненной М. Н. Загоскиным в 1833 году для либретто к опере Верстовского «Аскольдова могила» (по одноименному роману М. Н. Загоскина). Необычайный успех оперы сделал популярной и эту песню:

Гой ты, Днепр ли мой широкий,
Лейся быстрою волной,
Днепр широкий и глубокий,
Ты кормилец мой родной.
Я забыл свою кручину
На волнах твоих седых,
Горемыку-сиротину
Ты укачивал на них.
Бесприютный, одинокий,
Я живу одним тобой,
Днепр широкий и глубокий,
Ты кормилец мой родной.

См.: «Песни русских поэтов». Библиотека поэта. Малая серия, изд. 2. М., 1950.

Стр. 498. *Сердце глупого подобно разбитому сосуду и не удержит в себе никакого знания* — Это говорит Иисус, сын Сирахов... — Иисус, сын Сирахов (евр. Иосиф бен Сира) — иудейский книжник из Иерусалима, живший в первой половине II в. до н. э., автор «Премудрости», сборника религиозно-моралистических наставлений, переведенного ок. 130 г. до н. э. на греческий язык; еврейский оригинал сохранился лишь в отрывках. Перевод с греческого вошел в состав русской Библии. Цитируемое изречение взято из главы 21-й, стих 17. В горьковском экземпляре Библии, имеющем на чистой странице в начале книги автограф писателя — «А. Пешков. Самара. Апрель 1898 г.», напротив приведенного стиха (как и ряда других стихов) его же рукой сделана карандашная пометка: «NB» (Архив А. М. Горького).

Стр. 499. *Матинко* — песня слепых нищих, которую можно отнести к импровизационному жанру «жебранок» или «благальниц». Слепые, прося подаяние, пели эти песни, заимствуя друг у друга запас поэтических средств и образов. Песню, приводимую в рассказе, Горький, очевидно, слышал, живя в Мануйловке. Точно такая «жебранка» в опубликованных фольклорных материалах не встречается, но есть близкие ей. Вот отрывок из «же-

бранки», которую записал Д. Щербаковский на базаре в Умани от нищей старухи в 1911 г.:

Дайте ви за своей душі спасеніє.

Змилуйтесь над моім каліцтвом довічним,

Над моім, моя мамочко, каліцтвом немаючим,

Над моїми, мій папочку, оченьками затемненними.

А мої оченьки як кленовим листом затемнило,

Ніби тайними дверцями мої очі зачинило,

А я не бачу, як яснее сонечко восходжає,

А я не бачу, коли темная ніченька наступає.

Як би я цей світ, моя мамочко, видала,

То я б ваших стежечок та доріжечок не переходжала,

То я б вашої головоньки не клопотала,

А воліла б я, моя мамочко, заробити,

А й воліла б я, моя мамочко, зорочко, заслужити<...>

Пожалійте мене, моя мамочко, своїми світленькими

оченьками,

Пожалійте мене, моя мамочко, роботящими рученьками.

Як єдина та милостенька не велпка утрата,

Буде вам, моя мамочко, од господа милосердного заплата... и т.д.

(В. Г н а т ю к. Жебрацькі благальниці.— «Записки Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка», т. СХ, Львів, 1912, стр. 162).

С т р. 499. ...речь глупого — как бремя в пути...— «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова», гл. 21, стихи 19 и 29.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Нижний Новгород, 1900—1901 г. Фото М. Дмитриева. Фронτισпис.	
«Трое». Титульный лист пятого тома сочинений М. Горького в издании т-ва «Знание» с поправкой автора.	37
А. М. Горький, Е. П. Пешкова, Максим Пешков и А. И. Ланин. Ялта, 1900 г.	160
Нижний Новгород. Ильинский съезд. Конец XIX — начало XX в.	192
«Трое». Страница повести из восьмого издания т-ва «Знание» с правкой М. Горького.	289

СОДЕРЖАНИЕ

I

	Текст	Примечания
Двадцать шесть и одна. <i>Поэма</i>	7	509
Трое.	23	513

II

Ссора. <i>Набросок</i>	321	537
Голодные. <i>С натуры</i>	334	538
Сирота.	338	539
В сочельник.	343	539
Пузыри. <i>Рассказ</i>	351	540
Песни покойников. <i>Святочный рассказ</i>	359	540
Мужик. <i>Очерки</i>	363	541
О писателе, который зазнался... <i>Фантазия</i>	481	550
Перед лицом жизни	490	561
О беспокойной книге	492	563
Песня о слепых	496	563
ПРИМЕЧАНИЯ		503—565
Список иллюстраций		566

*Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР*

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, **Б. А. БЯЛИК**, **С. С. ЗИМИНА**,
Г. М. МАРКОВ, **А. И. МЕТЧЕНКО**, **А. С. МЯСНИКОВ**,
В. С. НЕЧАЕВА, **В. В. НОВИКОВ**,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, **Б. Л. СУЧКОВ**, **Е. Б. ТАГЕР**,
К. А. ФЕДИН, **М. Б. ХРАПЧЕНКО**, **В. Р. ЩЕРБИНА**

Тексты подготовили и комментарии составили:
*И. И. Вайнберг, Э. Л. Ефременко, В. А. Максимова,
А. И. Овчаренко, Ф. Н. Пицкель, Л. Н. Смирнова,
А. А. Тарасова*

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор пятого тома *А. Г. Соколов*

*

Редактор издательства *А. П. Корчагин*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *О. М. Гуськова*
Корректоры *В. Г. Богословский, Т. А. Пономарева*

*

Сдано в набор 25/IV 1969 г. Подписано к печати 15/IX 1969 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Усл. печ. л. 30,13.
Уч.-изд. л. 28. Тираж 299 500 экз.
Изд. № 4216/69. Тип. зак. № 3779.
Цена 1 р. 50 к.

*Издательство «Наука»
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28*

1850г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»